

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ



СЛАВЯНОФИЛЫ
В ВОСПОМИНАНИЯХ, ДНЕВНИКАХ,
ПЕРЕПИСКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнеописания, воспоминания и дневники выдающихся русских людей – святых и подвижников, царей и правителей, воинов и героев, мыслителей, писателей, деятелей культуры и искусства, создавших Великую Россию.

Аксаков И. С.
Аксаков С. Т.
Александр III
Александр Невский
Алексей Михайлович
Андрей Боголюбский
Антоний (Храповицкий)
Баженов В. И.
Белов В. И.
Бердяев Н. А.
Болотов А. Т.
Боровиковский В. Л.
Булгаков С. Н.
Бунин И. А.
Васнецов В. М.
Венецианов А. Г.
Верещагин В. В.
Гиляров-Платонов Н. П.
Глазунов И. С.
Глинка М. И.
Гоголь Н. В.
Григорьев А. А.
Данилевский Н. Я.
Державин Г. Р.
Дмитрий Донской
Достоевский Ф. М.
Екатерина II
Елизавета
Жуков Г. К.
Жуковский В. А.
Иван Грозный

Иларион митрополит
Ильин И. А.
Иоанн (Снычев)
митрополит
Иоанн Кронштадтский
Иосиф Волоцкий
Кавелин К. Д.
Казаков М. Ф.
Катков М. Н.
Киреевский И. В.
Клыков В. М.
Королев С. П.
Кутузов М. И.
Ламанский В. И.
Левицкий Д. Г.
Леонтьев К. Н.
Лермонтов М. Ю.
Ломоносов М. В.
Менделеев Д. И.
Меньшиков М. О.
Мещерский В. П.
Мусоргский М. П.
Нестеров М. В.
Николай I
Николай II
Никон (Рождественский)
Нил Сорский
Нилус С. А.
Павел I
Петр I
Победоносцев К. П.

Погодин М. П.
Проханов А. А.
Пушкин А. С.
Рахманинов С. В.
Римский-Корсаков Н. А.
Рокоссовский К. К.
Самарин Ю. Ф.
Семенов Тянь-Шанский П. П.
Серафим Саровский
Скобелев М. Д.
Собинов Л. В.
Соловьев В. С.
Солоневич И. Л.
Солоухин В. А.
Сталин И. В.
Суворин А. С.
Суворов А. В.
Суриков В. И.
Татищев В. Н.
Тихомиров Л. А.
Тютчев Ф. И.
Хомяков А. С.
Чехов А. П.
Чижевский А. Л.
Шаляпин Ф. И.
Шарапов С. Ф.
Шафаревиц И. Р.
Шишков А. С.
Шолохов М. А.
Шубин Ф. И.

СЛАВЯНОФИЛЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ, ДНЕВНИКАХ, ПЕРЕПИСКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2016

УДК 329
ББК 66.1(2)5
С 47

Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников // Сост., предисл. и примеч. А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2016. — 656 с.

В книге собраны воспоминания, дневники и переписка современников о славянофилах – великих русских мыслителях и выдающихся общественных деятелях, сыгравших большую роль в развитии русского национального сознания и формировании национально-патриотической идеологии.

Многие из публикуемых в этой книге произведений публикуются впервые после 150-летнего перерыва.

ISBN 978-5-4261-0161-6

© Институт русской цивилизации, 2016

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Их подвиг – был подвиг народного самосознания»

Друзья мои: разве вы не знаете, что любовь не умирает.

А славянофильство есть просто любовь русского к России.

И она бессмертна.

Назовите ее «глупою» – она бессмертна.

Назовите ее «пошлою» – она бессмертна.

Назовите ее «гадкою», «скабрешною», «отрицающею просвещение» и ваш «прогресс» – и она все-таки не умрет.

Она будет потихоньку плакать и закроет лицо от ваших плевков – и будет жить.

Пока небо не откроется. Пока земля станет небом.

В. В. Розанов

При разборе сочинения К. Д. Кавелина «Задачи психологии» в январском 1875 г. письме к нему Ю. Ф. Самарин отметил: все то положительное, что нашел автор в его письмах, не есть только личные убеждения Ю. Ф. Самарина. То же самое К. Д. Кавелин мог услышать от «всякого христианина по убеждению». И добавил: «Стало быть, родословная моего воззрения на нашей, русской почве восходит до 988 года и обнимает ровно 887 лет»¹.

Такая скрупулезность в подсчетах сама по себе замечательна. Здесь указана и почва славянофильского учения – не западная философия и ее часть – гегельянство, но «Свято-Владимирский путь», о котором впослед-

¹ Самарин Ю. Ф. Сочинения: В 12 т. М., 1877–1911. Т. 6. С. 444.

ствии так неустанно будет говорить архиепископ Аверкий (Таушев) как единственно спасительном русском пути¹.

В речи начала 1860-х гг. о С. Т. Аксакове Ю. Ф. Самарин сказал: «Чтобы открыть ему глаза и вызвать к жизни его самородный, свежий талант, нужен был поворот в общественном сознании, известный нам под названием славянофильства, названием, которое почему-то казалось когда-то очень смешным тем, которые не понимали или не хотели понять его. Можно сказать, что это направление общественной мысли зачалось в доме С. Т. Аксакова, в кругу самых близких друзей и почти ежедневных гостей его»².

В приведенных словах мы видим уже новые оттенки в понимании славянофильства Ю. Ф. Самариным – это и «поворот в общественном сознании», и «направление общественной жизни». Конечно же, оценка «славянофильства» этим никак не исчерпывалась.

В «Заключительном слове» сходящей с «журнального поприща» «Русской беседы» при подведении итогов сделанного отмечалось, что она «представила немаловажные образцы самостоятельной, независимой, своеобразной русской мысли», в том числе и в области философии, истории, филологии. Среди конкретных заслуг отдельно указывалось на обоснование народности в науке, уяснение вопроса об общинном устройстве, основанном на общинном землевладении, и об освобождении крестьян с землей, возведение «славянского вопроса» «из области археологического интереса в область живого, деятельного сочувствия»³.

Из тех же, кто поднял «знамя народного самосознания во всех областях жизни и духа», чаще всего называли три имени: А. С. Хомяков, К. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин, не забывая, конечно, и о братьях И. В. и П. В. Киреевских, вспоминая Д. А. Валуюва (список других имен требует пространных комментариев, выходящих за пределы нашего рассмотрения). Причем их деятельность считали не иначе как «подвигом». И. С. Аксаков в полемике с Э. Дмитриевым-Мамоновым подчеркивал:

¹ См. *Архиеп. Аверкий (Таушев)*. Современность в свете Слова Божия. Слова и речи: В 4 т. Джорданвилль, 1975–1976.

² *Самарин Ю. Ф.* Указ. соч. Т. 1. С. 262–263.

³ «Русская беседа». 1859. № 6. С. 2–8.

«Они (славянофилы) допрашивали духа жизни в былом, т. е. в истории, в допетровской старине, и в современном быте простого народа. В этом заключается все призвание, весь смысл, вся заслуга славянофильства. Их подвиг – был подвиг народного самосознания»¹.

Существовавшее до них («политическое национальное чувство», патриотизм, протесты против подражательности и т. д.) было «бессильно и бесплодно, потому что сознание коснулось только внешних форм жизни, а не проникало в глубь начал, составляющих духовную сущность русской народности. Вот эти-то начала и дождались своего оправдания в лице... славянофилов»; «...основным началом русской народности признано было Православие...», ибо «Православие мыслимо и вне России; Россия же немыслима вне Православия»². По И. С. Аксакову, «только приняв в свою душу Православие», И. В. Киреевский «почувствовал» «себя естественно ближе к русскому народу, стал углубляться в народную сущность, вникать в туземные предания и только с того времени стал “славянофилом”»³.

Эти замечания имеют огромное значение. Несмотря на то что при жизни главных славянофилов И. С. Аксаков не смог внести заметный вклад в славянофильскую идею исторического развития России, в прояснении сущности этой идеи в последующие годы, особенно после смерти сестры Веры (1864) и Ю. Ф. Самарина (1876), он был одним из самых ревностных деятелей. Нельзя не отметить, что его оценки исторического значения славянофильства исходят уже из иного внутреннего состояния: «...вся вселенная не стоит единой души человеческой», «и разве может опошлить человека ежедневная будничная жизнь, когда есть молитва, когда есть возможность читать Евангелие?»⁴

Риторический вопрос 1865 г. вряд ли был бы возможен для младшего Аксакова в предшествующие десятилетия, а потому и цена его

¹ Аксаков И. С. Письмо к издателю по поводу предыдущей статьи // Русский архив. 1873. № 12. С. 2520.

² Там же. С. 2521.

³ Там же. С. 2522.

⁴ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах: В 2 ч., в 4 т. М., 1888–1896. Ч. 2. Т. 4. С. 114, 115.

высказываниям и оценкам теперь должна быть иной. Он, сознательно взявшийся «поддержать по крайней мере нравственную чистоту знамени» славянофильства, «предупредить перерыв преданий», надеялся «дождаться, может быть, времени, когда явится человек более достойный, способный наследовать преемство духа всего учения» (см. письмо к гр. А. Д. Блудовой от 7 февраля 1861 г.¹).

Как раз эту роль невыполнимой для себя считал Ю. Ф. Самарин. В письме к К. Д. Кавелину от 11 ноября 1873 г. он писал: «...я убежден, что общие теоретические обвинения в такой переразвращенной среде, какова наша образованная, не могут иметь того характера и значения, какие они имели 30 лет тому назад. Теперь ставится в вину не неверие, а убеждение какое бы то ни было»². В 1876 г., менее чем за месяц до своей кончины, отвечая на совет заняться исключительно богословием из-за распространяющегося неверия, Ю. Ф. Самарин писал: «Мысль бросить все и поднять с земли нить размышлений, выпавшую из рук умиравшего Хомякова, меня много раз занимала; но я сознаю слишком глубоко, что до этой задачи я далеко не дорос умственно и не подготовлен душою (это главное)»³. Ю. Ф. Самарин решал «вопрос совести», когда «все кругом молчит и дремлет», т. е. «молчала и дремала» «переразвращенная среда». В такой среде требовался подвиг духа, а совесть заставляла сомневаться в достаточной подготовленности.

* * *

В суждениях о славянофильстве И. С. Аксаков иногда называл лишь два имени: А. С. Хомякова и брата Константина, например: «Я вполне верю, что мысль Хомякова и брата есть мысль жизненная и плодотворная» (см. письмо к гр. А. Д. Блудовой от 7 февраля 1861 г.⁴). В «Слове при погребении Юрия Федоровича Самарина» 30 марта 1876 г. его духов-

¹ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах: В 2 ч., в 4 т. М., 1888–1896. Ч. 2. Т. 4. С. 182.

² Самарин Ю. Ф. Указ. соч. Т. 6. С. 382.

³ Там же. С. 485.

⁴ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 2. Т. 4. С. 182.

ник протоиерей А. Ключарев (впоследствии архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий) подчеркнул, что «это не был человек школы, системы или известной партии, это не был и в общем смысле человек жизни, а это был раб Божий, служивший всеми своими силами славе Божией и благу человечества. <...> Это был истинный сын своей Церкви и своего народа, без двоедушия и лукавства»¹. А чуть раньше протоиерей А. Ключарев подчеркнул, что «порядком своей жизни Юрий Федорович напоминал древних аскетов, т. е. христиан, живших среди мира, но в отчуждении от него и в служении Богу и ближним»².

Почти те же слова мы можем отнести к жизни и деятельности А. С. Хомякова, К. С. Аксакова, И. В. и П. В. Киреевских, Д. А. Валуева. И в этом смысле они так же, как и Ю. Ф. Самарин (а протоиерей А. Ключарев все же основывал свои суждения на времени преимущественно по завершении переходного периода у Ю. Ф. Самарина), были людьми не «школы, системы или известной партии», а «истинными сынами своей Церкви и своего народа». К ним можно отнести и слова протоиерея В. Нечаева о почившем Ю. Ф. Самарине: он «...был истинно церковный человек. Идея Церкви как семейства Божия, как братства во Христе Иисусе была любимейшею его идеей. Ближайшее осуществление эта идея находит в храме – в церковном богослужении»³.

Еще более высокую оценку дал сам Ю. Ф. Самарин почившему А. С. Хомякову, сказав, что последний «жил в Церкви», будучи «учителем Церкви». Тот же смысл имели и отзывы о братьях Киреевских. Вот что сообщал 20 июля 1856 г. Т. И. Филиппов отцу Макарию (Иванову): был вчера у митрополита Филарета, он «разговорился со мною о Наталье Петровне (Киреевской. – А. К.), об ее положении. Он узнал о смерти Ивана Васильевича из “Ведомостей”. Я ему объявил, что его похоронили рядом с отцом Леонидом (в Оптиной пустыни. – А. К.); он на это сказал: “Ах! где Бог удостоил его лечь!”»⁴. О высоте христианской жизни свидетельствует

¹ Памяти Юрия Федоровича Самарина // Православное обозрение. 1876. Т. 1. С. 689.

² Там же.

³ Там же. С. 691.

⁴ Историческое описание Козельской Оптиной пустыни и Предтечева скита. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. С. 212.

и кончина К. С. Аксакова, отзывы о его исповеди, разрешение митрополита Филарета на повторное отпевание – «вещь неслыханную!»¹.

Протоиерей А. Ключарев назвал и «любимые мысли» Ю. Ф. Самарина: «...о преимуществах, какие имеет член Православной Церкви, стоящей на древних канонах, в обсуждении всех уклонений в духе и направлениях иных христианских исповеданий и всех явлений современной науки и жизни; о необходимости стараться содержать наш народ в послушании Церкви, создавшей его нравственный характер и его высокую судьбу; о нашей обязанности тщательно сохранять наши права на каждый участок земли Русской, Богом нам дарованной и добытой кровию и трудами наших отцов и предков, и заботиться о бесспорном владычестве одной власти и одного закона во всей России от одного конца ее до другого; о братской любви к единокровным и единоверным с нами славянам и другим членам Православной Церкви не ради своекорыстных политических целей, а ради их собственной свободы, счастья и преуспеяния. В его сознании ясно предносился светлый идеал России, достойно представляющей собою живую великую часть Православной Вселенской Церкви, самостоятельно соединившей свободу, искренность и цельность веры с глубоким и всесторонним образованием, от нижних до верхних слоев народа, как было в старину, проникнутой одними началами и убеждениями, с ясным сознанием своего исторического призвания»².

Мы видим, что «истинный раб Божий» в то же время был «пламеннейшим патриотом в самом светлом, высоком значении этого слова», ибо патриотизм в христианском смысле есть «естественная, как телесное здоровье, добродетель, благодатию Христова учения освещаемая и возвышаемая до степени величайшего подвига: больше сея любви никто же имать!.. И к сожалению, не случайно то явление, что охлаждение сей любви рука об руку идет с оскудением веры: что и кого любить в самом деле, да и как любить, если не веришь?»³

¹ Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. Ч. 2. Т. 4. С. 43.

² Памяти Юрия Федоровича Самарина. С. 690.

³ Там же. С. 698, 699.

Все вышесказанное о Ю. Ф. Самарине без всякого исключения относится ко всем рассматриваемым нами славянофилам, стремившимся к тому, о чем писал летом 1850 г. Ю. Ф. Самарин в письме к А. С. Хомякову: «...напоминать беспрестанно, елико то возможно, о духовном начале, и если, наконец, отнята будет всякая возможность говорить о нем, то унести его с собою в тишину частного, домашнего быта»¹.

Итак, славянофильская идея исторического развития России есть идея органического, неразрывного соединения любви к Отечеству Небесному и Отечеству земному. Да, мы можем согласиться с И. С. Аксаковым, что славянофильство было не только «эмансипация народного духа от иноземного ига (в чем заключалась бы только отрицательная заслуга), но и подвиг народного самосознания, разъяснивший и определивший те духовные и социальные начала русской народности, которые призваны быть могучими факторами всемирно-человеческого развития и просвещения. В них, Хомякове, Константине Аксакове и Самарине, русская народность, можно сказать, получила свое первое, высшее оправдание как в самостоятельных мыслителях и деятелях, в них олицетворилось примирение цивилизации западной с востоком <...> характеристическою, существенною особенностью славянофильства было его нравственное содержание, его логически неразрывная связь с христианскою верою и учением»².

И. С. Аксаков называет славянофильство «духовной и нравственной школой», и это совершенно не случайно. Только такая школа могла подготовить человека, способного на подвиг, «на подвиг народного самосознания». Именно так, «подвигом», определяет и А. С. Хомяков деятельность не названного И. С. Аксаковым в приведенном отрывке И. В. Киреевского и его соратников: «Иван Васильевич Киреевский принадлежал к числу людей, принявших на себя подвиг освобождения нашей мысли от суеверного поклонения мысли других народов, передавших нам начала общечеловеческого знания, и, может быть, более и яснее всех уразумел он шаткость и слабость тех мысленных основ, на которых стоит все современное строение европейского просвещения»³.

¹ Самарин Ю. Ф. Указ. соч. Т. 12. С. 435.

² Памяти Юрия Федоровича Самарина. С. 713–714.

³ Цит. по: Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С. 406.

Не только И. В. Киреевскому, но и всем славянофилам в первую очередь пришлось вести «отрицательную» работу – критическое осмысление западного и «русского» просвещения, но уже сама эта критика приносила положительные результаты – обращала взоры к собственно русскому самосознанию и его духовной ценности. Деятельность Д. А. Валуева осталась светлым периодом в становлении славянофильской идеи исторического развития России. «Вся духовная жизнь Валуева была посвящена России, нашей родине, славянам и чистому христианству – Православию, полной и высшей истине на земле, лучшему и единственному залогу развития для будущего человечества», – так сказал о нем А. С. Хомяков, подытожив: «Он жил не в душу живу, которая есть эгоизм, но в дух животворящ, который есть любовь»¹.

Те же слова можно сказать и о братьях Киреевских, хотя при этом нельзя не видеть разногласий Ивана Васильевича с некоторыми представителями славянофильского кружка, касавшихся в основном второй составляющей славянофильской идеи – отношения к земному Отечеству и его истории, вернее – к отдельным этапам и сторонам его бытия. И некоторые из этих противоречий так и остались непреодоленными.

В последний день 1855 г. И. В. Киреевский записал: «Ужасно, невыразимо тяжело это время; никакою ценою нельзя купить того блаженства, чтобы русский православный дух – дух истинной христианской веры – воплотился в русскую общественную и семейную жизнь! А возможность эта потому только невероятна, что слишком прекрасна»². Под этими словами подписались бы все славянофилы, что они и сделали впоследствии под «Посланием из Москвы». Это-то и есть не что иное, как «славянофильская идея исторического развития России» в одном из вариантов ее афористичного выражения. «Предисловие» же А. С. Хомякова к «Русской беседе» есть расширенный вариант вышеприведенной фразы И. В. Киреевского.

Оценивая сделанное им, А. С. Хомяков писал: «Этих плодов (И. В. Киреевского. – А. К.), этих новых выводов немного; но такова участь труже-

¹ Цит. по: Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С. 404.

² Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 1. С. 81.

ников философии: одну, две мысли добывают они трудом целой жизни, напряженною работою всех мыслящих способностей и, можно сказать, кровию сердца, алчущего истины; но каждая из этих мыслей есть шаг вперед для всего человеческого мышления. Два, три такие вывода записывают в истории науки еще одно великое имя и питают целые поколения своим разнообразным развитием, сосредоточивая в себе разумный труд поколений предшествовавших»¹.

А. С. Хомяков в данном случае имел в виду философское наследие своего только что почившего друга. Примерно те же слова можно сказать о всех, кто разрабатывал славянофильскую идею исторического развития России. Но вот конкретизация, детализация этой идеи влечет за собой погружение в такие нюансы, пренебрегать которыми отнюдь не следует.

* * *

Как и в 1847 г., в письме к «московским друзьям», И. В. Киреевский в конце 1855 г. отмечает: «Впрочем, в стремлении к русскому народному духу есть возможность недоразумения, которое, к сожалению, часто встречается и много путает. Под русским духом разумеют не одушевление общечеловеческого ума духом православного истинного христианства – но только отрицание ума западного. Под народным разумеют не целостный состав государства, но одно простонародное – смешанный отпечаток полуизглаженных общественных форм, давно изломанных и, следовательно, уже не восстановимых. Дух живет – но улетает, когда им хотят наполнить разбитые формы»². Его соратники в полемике о народности вполне конкретно и определенно ответили на то, что они разумеют под «народностью», «народным» и «русским духом». Они также имели в виду прежде всего воплощение духа истинно христианской веры в русскую народную жизнь и значимость этого духа для всего человечества.

Но и А. С. Хомяков, и К. С. Аксаков не считали, что допетровская жизнь умерла. Именно в том, что она еще была жива, и заключалась ре-

¹ Хомяков А. С. Указ. соч. С. 407–408.

² Киреевский И. В. Указ. соч. Т. 1. С. 81.

альная надежда на возрождение русской жизни и русского пути. В речи на заседании Общества любителей российской словесности от 30 марта 1860 г. А. С. Хомяков подчеркнул: «То, что заключается в кротком и величавом спокойствии православного духа, того, может быть, не угадал бы и наблюдатель далеко не поверхностный». <...> До сих пор иные еще позволяют себе говорить о нем (православном русском духе. — А. К.) с легкомысленным пренебрежением, не догадываясь, что они унижают себя, а не народ, которого они не умеют понять»¹. То есть для А. С. Хомякова прежде необходимо понять народ, научиться это делать самой своей жизнью.

Именно поэтому так важны были и для него, и для К. С. Аксакова обычаи народа, которые И. В. Киреевский называл «смешанным отпечатком полууизглаженных общественных форм». На одном таком «отпечатке» мы кратко и остановимся. Славянофилы были отнюдь не первые, кто выступил с критикой западноевропейского платья. Прежде всего эту одежду «не принимала» сама жизнь русского народа, главным образом крестьянства, не говоря уже о духовенстве и монашестве. Во-вторых, если брать даже и «светское общество», то и здесь славянофилы не были первыми. Приведем лишь несколько примеров.

В «Записке князя Г. А. Потемкина-Таврического об одежде и вооружении войск» читаем: «В Россию, когда вводилось регулярство, вошли офицеры иностранные с педантством тогдашнего времени; а наши, не зная прямой цены вещам военного снаряда, сочли все священным и как будто таинственным. Им казалось, что регулярство состоит в косах, шляпах, клапанах, обшлагах, в ружейных приемах и проч. Занимая себя таковою дрянью, и до сего времени не знают хорошо самых важных вещей и оборотов... Словом, одежда войск наших и амуниция такова, что придумать нельзя лучше к угнетению солдат, тем паче, что он, взят будучи из крестьян в 30 почти лет возраста, узнает узкие сапоги, множество подвязок, тесное нижнее платье и пропасть вещей, век сокращающих»².

¹ Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1900. Т. 3. С. 450.

² О долге и чести воинской в российской армии: Собр. материалов, док. и ст. 2-е изд. М., 1991. С. 37.

Если сравнить этот текст с рассуждениями А. С. Хомякова о флоте («К сербам. Послание из Москвы»), то он близок не только по смыслу, но и буквально: «Этих немецких слов, этих названий, вовсе бессмысленных для русского уха и не представляющих ничего русскому уму, набрались тысячи. Теперь поступает на корабль будущий моряк, человек, которого Бог одарил и ловкостью, и смелостью необычайною... Ему надо твердить тысячи бессмысленных и дико звучащих слов, и в этом бессмысленном учении проходят года его горячей и живой молодости. Вместо любви к своему делу, вместо опытности моряка он приобретает равнодушие и даже как бы отвращение от своего занятия, от своего корабля, от самого моря. Пройдут года, и морской богатырь обратится в полумертвый немецкий словарь. Правда, он будет исправлять свою обязанность, потому что он христианин и русский; но истинный моряк уже погиб в нем безвозвратно»¹.

Приведенные отрывки легко могут быть восприняты как один текст, но это вовсе не значит, что князь Г. А. Потемкин был славянофилом более чем за полстолетия до А. С. Хомякова. У него речь идет о практичности, целесообразности, удобстве одежды, о здравом смысле, наконец. А. С. Хомяков на этом не останавливается. Он убежден, что «всякое живое создание имеет свои законы бытия, свой строй и лад, на которых основано самое существо его и которые в свою очередь определяют свойства его проявлений и произведений»².

А. С. Пушкин в «Дневнике» от 6 декабря 1833 г. записывал: «Дамы представлялись в русском платье. На это некоторые смотрят как на торжество. Скобелев безрукий сказал кн. В-ой: я отдал бы последние три пальца для такого торжества!»³. Так что заслуга некоторых славянофилов не в предпочтении русского платья. Д. Самарин в полемике против В. Соловьева, обратив внимание на то, что «только трое или четверо из славянофилов и носили бороду и русское платье», заключает, что этому ношению они придавали «значение мелочей обычая, которыми

¹ Цит. по: Хомяков А. С. О старом и новом. С. 354.

² Там же. С. 355.

³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 8. С. 31.

не следует пренебрегать»¹. Но тут же Д. Самарин опровергает сам себя, процитировав А. С. Хомякова («...слиться с жизнью русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая и, так сказать, обрядным единством как средством к достижению единства истинного и, еще более, как видимым его образом»)².

Итак, «платье», «борода» и тому подобные «мелочи» есть «мелочи обычая». А это не просто «мелочь», но элемент «обычая», значение которого А. С. Хомяков понимает очень высоко: эта «мелочь обычая» позволяет осуществляться «обрядному единству», а последнее есть не что иное, как средство к достижению истинного единства. Следовательно, без таких «мелочей обычая» нет и «единства истинного».

Как славянофилов упрекали в излишнем внимании к форме, обряду, так и некоторые представители славянофильского окружения упрекали саму русскую историю, русский народ в том же излишестве. Однако данные упреки имеют под собой шаткую почву. Обратимся к одному из писем святителя Феофана Затворника. Вот что он пишет по поводу второго письма М. М. Сперанского: «Припомните, как идет у нас обычно дело жизни. Родившись естественно, почти тотчас мы отраждаемся благодатно в купели крещения и становимся членами Церкви. Нас носят только в Церковь, причащают и дома не удаляют от того, когда совершаются какие-либо священнодействия и молитвы. Потом, став на ноги, мы растем в порядке религиозной христианской жизни и навываем всему, что обычно делают все христиане, по требованию Церкви. В дух всего этого мы можем входить и не входить или нас могут вводить и не вводить; но, вступая в жизнь или приходя в возраст, мы всегда находим, что все пути жизни нашей облечены и ограждены религиозными порядками, составляющими устав Церкви. Вот вам и внешняя религия... Пока так идет дело, вы не видите, как все эти навыки благотворны. Вы это ощутите и возблагодарите Бога, что все около вас так есть, когда будете наведены или сами нападете на убеждение, что Богу надобно кланяться духом и истиною, а не одним этим внешним чином, — воз-

¹ Самарин Д. Поборник вселенской правды. СПб., 1890. С. 8.

² Там же.

благодарите потому, что, как только делом возьметесь за такого рода жизнь, вы, во внешних чинах Церкви... найдете не только истолкование той внутренней духовной жизни, но и все способы к ее возгреванию и поддержанию. Вы начинаете теперь пользоваться всем разумно, растете и крепнете духом, пока возрастаете до полного образования духовного. И вот внешняя религия стала для вас путем к истинному благочестию. В ней зародилась у вас духовная жизнь, в ней воспиталась и созрела. Она то же для вас, что утроба матери для образующегося дитяти или лоно природы для семени. Зачатое дитя или пробудившийся росток в семени вокруг себя находят все элементы, потребные для своего развития и образования. И вы нашли все нужное для вашей духовной жизни в строе Церкви, будто бы и внешнем, но проникнутом духовными элементами, — и возросли духовно. Дитя, образовавшись, выходит на свет; вы, созревши, в свое время перейдете в другой мир, в отношении к которому теперешнее ваше состояние то же, что пребывание дитяти в утробе матери»¹.

Итак, «одежда», «борода», «быт», «внешний обряд», «обычай» были далеко не «мелочами», и русское платье для А. С. Хомякова, С. Т. и К. С. Аксаковых было нечто неизмеримо большее. Сложнее в данном случае опять с И. В. Киреевским. Тот, кто более всех представителей славянофильства был связан с монашеством, менее всего подчеркивал значение «обычая» и «обряд», так и не сумев полюбить деревню, быт простого народа. Посетив после четырехлетней разлуки Долбино в 1855 г., он напишет А. И. Кошелеву: «В жизни деревенской есть что-то душевное и грустное, по крайней мере для меня»², что как бы перекликается с тютчевскими признаниями: «места немилые, хоть и родные». Но для И. В. Киреевского не мил и Петербург с его «не-русским духом, дрожащим от австрийского кулака»³. Очень хорошо ему было в Оптиной пустыни, «там в самом деле душа отдыхает»⁴.

¹ Святитель *Феофан Затворник*. Письма о духовной жизни. М., 1996. С. 75–77.

² *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 2. С. 285.

³ Там же. С. 282.

⁴ Там же. С. 286.

* * *

Среди немногих одобрительных слов о славянофильстве, исходящих из лагеря его идейных непримиримых противников, можно встретить утверждения-комплименты, что именно И. В. Киреевскому принадлежит честь считаться основоположником самобытной русской философии. Этого не отрицают и объективно относящиеся к славянофилам исследователи и мыслители (добавляя разве что имя А. С. Хомякова), а также их действительные или мнимые сторонники, союзники, последователи и эпигоны. На самом деле такая единодушная комплиментарность оказала плохую услугу определению истинного вклада славянофильской идеи в области философии. Обратимся кратко еще раз к тому, что предлагает И. В. Киреевский в своей незаконченной работе «О необходимости и возможности новых начал для философии».

Образованным западной мудростью русским «самою удобною ступенью мышления от заимствованных систем к любомудрию самостоятельному, соответствующему основным началам древнерусской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цельному сознанию верующего разума», предлагается именно немецкая философия и ее развитие в «последней системе Шеллинга»¹. Но ведь не кто иной, как сам еще «не обратившийся» И. В. Киреевский в 1830 г. оставил неутешительные выводы об этой философии. Кроме того, и им, и другими, действительно глубоко изучавшими немецкую философию, делались выводы о крайне слабом, поверхностном ее усвоении в России (вспомним хотя бы увлечение гегельянством В. Г. Белинского, не знавшего немецкого языка и имевшего представление об этой философии со слов других «знатоков», каковым считался тогда молодой офицер М. Бакунин).

Далее. Ко второй половине 1850-х гг. в моде в России были уже не только и не столько немецкие философы-идеалисты. Открытый материализм совершал свое победное шествие. Об этом свидетельствовали и К. Маркс, и Ю. Ф. Самарин, и А. С. Хомяков, и сам И. В. Киреевский... Да

¹ Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 1. С. 264.

и почему русский образованный человек не может перейти к «любомудрию самостоятельному» и необходима еще «ступень мышления», пусть даже и «самая удобная», в виде наисложнейшей вереницы систем чуждой философии. Является ли «самой удобной» именно «система Шеллинга», если сам И. В. Киреевский перед этим признал, что «шеллингова христианская философия оказалась и не христианскою, и не философией». В другом месте И. В. Киреевский заключает, что, не претендуя «шеллинго-гегельянская система» на «высшее и полное познание истины», ее понятие о разуме не противоречило бы понятию о разуме в творениях святых отцов. И если писания последних могут быть и «живительным зародышем», и «светлым указателем пути», то трудно признать, что им не будет противоречить пантеизм гегельянской системы.

Трудно добиться и того, что, пройдя (если, действительно, можно пройти) по такой явно сомнительной (по И. В. Киреевскому – «самой удобной») «ступени», можно подчинить раздвоенную образованность Запада «цельному сознанию верующего разума». Таких примеров, подобно И. В. Киреевскому, мы знаем очень немного – это К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихомиров, некоторые другие, а в XX веке – отец Серафим (Роуз).

Даже столь краткое, схематичное, неполное рассмотрение некоторых из предлагаемых И. В. Киреевским путей к плодотворному сотрудничеству русской и западной образованности оставляет много неясностей. Но это вовсе не означает, что в подобной неясности пребывали современные И. В. Киреевскому подвижники благочестия, например духовно близкие И. В. Киреевскому оптинские старцы, отец Макарий, о котором Иван Васильевич когда-то написал: «Ваши объяснения могут только указать, куда смотреть, а не дадут глаз, которым видеть»¹. «Плодом» же было «умозрение жизненное и живое, которое горит как свеча пред Господом и освещает все вокруг себя, и зажигает светильник в чистых лампадах, Вас окружающих; это свет, на который мы, далекие от Вас, смотрим с благоговением и любовью, как на Божий дар...»² Письмо датировано 13 ноября 1854 г.

¹ Историческое описание Козельской Оптиной пустыни и Предтечева скита. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. С. 198.

² Там же. С. 198–199.

и, следовательно, предшествовало опубликованию статьи «О возможности и необходимости новых начал для философии». В таком случае мы можем говорить о существовании различных подходов у И. В. Киреевского. Его «глаз» при всех выдающихся достоинствах был все же не так зорок, как у отца Макария. И понимал он это достаточно ясно.

О том, какова роль философии, задумывались не только светские мыслители, ее важность еще острее ощущала церковно-богословская мысль. Обратимся лишь к части наследия святителя Игнатия (Брянчанинова) – запискам (1862–1866) о «действиях, существенно нужных для Российской Церкви». Говоря о преподавании в духовных семинариях, «особенное внимание» он предлагает обратить именно на философию, «из которой должно преподавать с удивительною полнотою логику, впрочем уклоняясь от утонченностей, отвлеченностей и схоластицизма, вредно действующих на природную способность, на ум»¹.

При всей значимости философского, да и литературно-критического, публицистического наследия И. В. Киреевского «удивительную полноту» его логики мы можем увидеть не всегда. Что же касается постоянного обращения И. В. Киреевского к движению философских умов на Западе, то и здесь святитель Игнатий (Брянчанинов) дает четкий, духовно выверенный ответ: «Историю философии должно преподавать кратко, объясняя учащимся, что основания, на которых философы всех времен создали свои системы, произвольны, по этой причине не имеют никакой прочности и противоречат одна другой, что человеческая философия должна быть признана не чем другим, как только игрою воображения и собранием мнений, чуждых истине. Того, кто эту игру воображения, эти произвольные мнения примет за учение истины, философия вводит, по необходимости, естественно, в заблуждение и умоповреждение. А это совершается то и дело»².

Данное правило святитель Игнатий считал необходимым сохранить «по отношению к юношеству». Но вряд ли это не относится к тем, кто

¹ Святитель *Игнатий (Брянчанинов)*. Из записок 1862–1866 гг. (Действия, существенно нужные для Российской Церкви) // Журн. Моск. патриархии. 1993. № 4. С. 42.

² Там же.

уже нахватался заимствованных систем, ибо «к истинной философии приводит одно христианство; только при посредстве его можно быть не-погрешительным психологом и метафизиком»¹. Никаких других, пусть даже и «самых удобных ступеней», святитель Игнатий не предлагал, да и предложить просто не мог, памятуя слова апостола: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол 2:8).

Обратим внимание и на то, что святитель Игнатий различает «истинную философию» от «человеческой», могущей привести «в заблуждение и умоповреждение». И. В. Киреевский, конечно, не ставил последнее целью ни для себя, ни для других. Цель была совсем иная: «самый источник разумения, самый способ мышления возвысить до сочувственного согласия с верою»². Но вот предложенный путь совсем необязательно мог привести к ней.

Святитель Игнатий говорил о другом, единственном пути – истинном покаянии и исправлении жизни согласно Слову Божию. И на этом пути уже не оставалось места ни «системе Шеллинга», ни «шеллинго-гегельянской системе», ни какой-либо другой системе вообще. Иначе не придавал бы он такое большое значение распространению богоборческого по своей сути рационализма: «Рационализм с своими постановлениями не может остановиться в движении своем, как имеющий основанием непрестанно изменяющийся разум человеческий. Надо ожидать большего и большего развития болезни...»³ А вот и о собственно «системах»: «Враждебно против Церкви... подействовали европейские учения... Действие европейских учений на Россию непрестанно усиливается: должны усиливаться и последствия этого действия. Минутное противоположное действие ненадежно: оно должно быть уничтожено, увлечено всеокрушающим потоком»⁴.

¹ Там же. С. 42–43.

² Киреевский И. В. Указ. соч. Т. 1. С. 249.

³ Цит. по: Михайлов Андрей. Святитель Игнатий Брянчанинов – делатель и учитель покаяния // Москва. 1993. № 7. С. 198.

⁴ Там же.

Очевидно, что сама постановка И. В. Киреевским вопроса «О необходимости и возможности новых начал для философии» – это постановка вопроса для «русских иностранцев», «верхнего образованного слоя». Ибо для воцерковленного образованного человека чужда сама мысль о «новых началах», пусть даже и «для философии». Но то, что осталось незаконченным в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии», дополняет отрывок из письма И. В. Киреевского, который под названием «Индифферентизм» был опубликован в 1861 г. В. И. Аскоченским в «Домашней беседе для народного чтения». И. В. Киреевский подчеркивает: «...для того, чтобы соглашать истины разума с превышающею разум истинною Откровения, нужна двойная деятельность разума. Мало того, чтобы устраивать разумные понятия сообразно положениям Веры, избирать соответственные, исключать противные и таким образом очищать их от всего противоречащего, – надобно еще самый образ разумной деятельности возвышать до того уровня, на котором разум может сочувствовать Вере и где обе области сливаются в одно нераздельное созерцание истины. Такова цель, определяющая направление умственного развития православного христианина, и внутреннее сознание этого искомого края мысленной деятельности постоянно присутствует в каждом движении его разума, дыхании его мысленной жизни...»¹ К такой цели и стремился И. В. Киреевский. И на пути к ней оправдывалось еще одно его положение: «Естественно, что человек, искренно верующий учению Православной Церкви, чем более будет развивать свой разум, тем более будет соглашать его понятия с истинами Божественного Откровения»². Подобное можно сказать обо всех без исключения рассмотренных нами мыслителях.

Таким образом, главное для И. В. Киреевского – не литературная критика, художественное творчество, публицистика или даже философские упражнения, а собственно сама жизнь: «обращение», возвращение в Церковь и работа над изданием святоотеческого наследия. Основыва-

¹ Киреевский И. В. Индифферентизм // Домашняя беседа для народного чтения. 1861. Вып. 46. С. 885–886.

² Там же. С. 885.

ясь именно на таком видении, нельзя не заключить, что издание «Европейца» или даже «Москвитянина» – лишь эпизоды, хотя в какой-то степени и этапные.

Нельзя не помнить и о том, что не И. В. Киреевскому принадлежит сама идея и решающая роль в издании творений святых отцов. Духовное окормление, благословение, благожелательное отношение и непосредственное участие святителя Филарета (Дроздова), оптинских старцев – вот главный двигатель общего дела, в котором наряду с супругами И. В. и Н. П. Киреевскими подвизались и другие светские делатели: С. П. Шевырев, А. Н. Муравьев, В. И. Асоченский, Т. И. Филиппов... Да и самим оптинским трудам предшествовали издаваемые с 1842 г. в Московской духовной академии по благословению святителя Филарета (Дроздова) переводы святых отцов, тогда же был создан и печатный орган академии – «Прибавления к творениям святых отцов».

Весьма важно помнить, что и в случае с И. В. Киреевским (в частности, прочтение отцом Макарием его статьи «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России»), и в случае с А. С. Хомяковым (прочтение и отзыв святителя Филарета (Дроздова) о трактате «Церковь одна»), как и в случае с Н. В. Гоголем (отзывы на «Выбранные места из переписки с друзьями» святителей Филарета (Дроздова), Игнатия (Брянчанинова), отца Матфея Константиновского и др.), каждый раз подчеркивалось именно духовное устремление, направление, вектор пути, хотя о результатах оговорки были, и отнюдь не всегда безусловно восторженные или целиком одобрительные. То есть не святители Филарет, Игнатий, преподобный Макарий или отец Матфей несли свои «слова», проповеди или «аскетические опыты» на отзыв мирянам (пусть даже и таким благочестивым и выдающимся, как А. С. Хомяков и И. В. Киреевский), а последние критерием плодотворности своей деятельности почитали истинно православную церковную мысль.

Таким образом, при всех настроениях XVIII–XIX веков именно церковно-богословская мысль, не сходя с истинно православного святоотеческого пути, явилась тем мерилom истинности, с которым стала сверять свои позиции светская православная мысль в лице славянофи-

лов. В этом было и смирение, и мудрость, и значимость последних для русского самосознания.

И если связь И. В. Киреевского со старцами Оптиной пустыни уже довольно известна, во всяком случае в церковной и светской православной историографии, и не вызывает серьезных возражений, то мало что говорится о духовном облике других славянофилов (за исключением разве что знаменитого предисловия Ю. Ф. Самарина к богословским сочинениям А. С. Хомякова да некрологов). Между тем совершенно очевидна духовная основа воззрений К. С. Аксакова и его связь с Троице-Сергиевой Лаврой, что еще ждет своего специального исследования.

Приведем лишь две записи из дневника В. С. Аксаковой, где читаем (1855): «29 марта. Погода такая ужасная, что мы не могли поехать к обедне в Хотьков; ездил только один Константин, сегодня день его рождения»; «30 сент. Константин ходил пешком к Троице...»¹. Если к этому добавить то, что писали о К. С. Аксакове другие очевидцы его глубоко личной жизни, сведения о его исповеди перед кончиной², то перед нами встает образ православного мыслителя. Поэтому не случайно И. С. Аксаков сказал о своем старшем брате: «Христианско-православное мирозерцание стало для него путеводным маяком в его исследованиях и, может быть, даже до пристрастия отождествлялось у него с воззрением народным»³. А протоиерей А. М. Иванцов-Платонов считал, что «сторона эстетическая и собственно народная, русско-историческая у К. С. Аксакова была сильнее, чем у того и другого (А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина. — А. К.)»⁴.

Вышесказанного о К. С. Аксакове достаточно, чтобы опровергнуть ядовитые слова С. М. Соловьева из его «Записок»: «Что же делал этот человек всю свою жизнь? Летом в деревне сидел у пруда с удочкой; зимой в Москве с утра до вечера разъезжал по гостям или принимал у себя гостей...»⁵.

¹ Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. 1854–1855. СПб., 1913. С. 91, 145.

² Бицин (Н. М. Павлов). Воспоминания о Константине Сергеевиче Аксакове // Русский архив. 1885. № 3. С. 415.

³ Аксаков И. С. Письмо к издателю по поводу предыдущей статьи // Русский архив. 1873. № 12. С. 2523.

⁴ Самарин Ю. Ф. Указ. соч. Т. 5. С. 23.

⁵ Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 301.

Здесь нет правды даже в малом: К. С. Аксаков никогда при рыбной ловле не устанавливал удилища на подставку, всегда держа их в руках. И не сидел он у пруда, ибо держал эти удочки стоя. Понятное дело, что, проводя он все годы на рыбалке, не появилось бы только опубликованных четырех тома его сочинений в самых различных областях.

С. М. Соловьеву, А. Н. Пыпину, С. А. Венгерову и другим не было особой нужды упоминать, что из Абрамцева, где в летние месяцы жили Аксаковы, можно не только ездить, но и ходить на богомолье в Хотьковский монастырь и Троице-Сергиеву Лавру. Но, как и в случае с И. В. Киреевским, при более детальном специальном рассмотрении с богословской точки зрения многие положения К. С. Аксакова требуют уточнения, что и показал в одном из писем Н. П. Гиляров-Платонов¹.

* * *

Оценивая значение мировоззрения славянофилов для русской общественной мысли XIX века, прежде всего следует отметить, что именно они совершили решающий прорыв в «науке народного самосознания», в создании самобытной отечественной философии. Именно они (А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин) стали самыми крупными светскими богословами, а потому и не случайно А. С. Хомякова ставили рядом со святителем Филаретом (Дроздовым), а архиепископ Аверкий (Таушев) назвал А. С. Хомякова удивительным светским богословом... богословом “Божией милостию”». Именно они (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков) были основоположниками светской русской философии. Именно они (К. С. Аксаков, А. С. Хомяков) дали образцы критики источников, внесли огромный вклад в области филологии, истории. Именно они (П. В. Киреевский) явились собирателями уникальной коллекции русского фольклора, «народных песен». Именно они внесли крупнейший вклад в практическое разрешение крестьянского вопроса (Ю. Ф. Самарин). Мы не будем перечислять все сделанное ими, ибо этот список будет довольно обширен

¹ *Шаховский Н. В.* Н. П. Гиляров-Платонов и К. С. Аксаков (по статьям и письмам Гилярова) // Русское обозрение. 1895. № 12.

(здесь и теории в области философии истории, и конкретное исследование отдельных исторических периодов, проблем и т. д.).

Ни по «калибру ума» (К. Н. Леонтьев), ни по исторической значимости никакие их современники-западники (ни все вместе, ни каждый в отдельности, несмотря на большой объем написанного, как, например, у С. М. Соловьева) не могут сравниться со славянофилами (в чем признался Ю. Ф. Самарину К. Д. Кавелин). Но значение славянофильской идеи исторического развития России в первую очередь все же не в этом.

Славянофилы поняли гибельность петровского пути, необходимость преодоления разорванности русского самосознания (на светское и церковное, образованное и простонародное), необходимость возвращения «домой»: и в Церковь, и к единственно спасительному русскому пути – пути Святой Руси. Все остальные их действительные заслуги явились плодом этого подвига. И все дальнейшее развитие русского самосознания так или иначе соотносило себя с этой соборной славянофильской идеей, даже если и шло самостоятельным путем.

Мировоззрение славянофилов в известном смысле практически уже не было нужды продолжать и развивать в концептуальном плане, ибо она четко определяла состояние России на переломном этапе ее истории. Славянофилы, по мнению К. С. Аксакова, не отвечали на вопрос: в чем состоит русское народное воззрение, ибо на этот вопрос должно было ответить само русское народное воззрение в его лучших достижениях. Учитывая, что в 1860-е гг., когда жизнь России стала резко изменяться и отнюдь не в том духе, как представлялось славянофилам, их идея не то чтобы была отвергнута жизнью (в таком случае мы могли бы говорить о ее нежизнеспособности), а сама реальная жизнь пошла по еще более губительным путям, чем это было раньше, что и побудило святителя Феофана Затворника воскликнуть: «Гибнет Русь православная!»

Значение славянофилов и их идеи заключается в том, что это был соборный светский голос людей, понимавших истинное предназначение России как «Святой Руси» и пытавшихся достучаться до сердец и ума своих образованных собратий и соотечественников, которым всем вместе необходимо было совершить ни много ни мало – подвиг. Дальнейшая

трагическая история России показала, что в целом правящее российское сословие к этому оказалось неспособным, что и определило в конечном счете гибель исторической России.

Глубочайший знаток русского слова К. С. Аксаков видел огромную разницу между людьми, которые «мыслят», и теми, которые «думают»: «Всегда ясна мысль, всегда туманна дума. Дума – это мыслящая мечта...»¹ Славянофилы не были мечтателями, даже пусть и мыслящими. Они были просто мыслителями, оставаясь (или становясь) истинно церковными людьми. Отсюда пронзительный диагноз, поставленный «свету» К. С. Аксаковым: «При таком ужасном состоянии общества («Сердце одебелело». – А. К.) что может помочь ему?»²

Итак, российское общество не просто было «не самостоятельным», не только «подражало», «рабствовало чужому уму», но то, чему оно «рабствовало», было «ложь». Так К. С. Аксаков подытоживал свою «двойную скорбь»³. Такое общество и при таком положении нельзя уже было только обличать, вразумлять, призывать и т. д. С ним нужно было «беседовать». И совершенно не случайно первый периодический орган славянофилов назывался «Русская беседа»: «Простая, искренняя, непритязательная русская беседа обо всем, что касается просвещения и умственной жизни людей»⁴. А потому в этой «беседе» нашлось место и великороссам, и малороссам, и болгарам, и «немцам»...

И если и был частично прав А. И. Герцен в отношении славянофилов, то лишь в словах: «Киреевские, Хомяков и Аксаков сделали свое дело... они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей»⁵. Безусловно, славянофилы способствовали прояснению мысли у серьезных людей, но «заставить призадуматься всех серьезных людей» они, конечно, были не в состоянии. Тем более они не могли «остановить увлеченное общественное мнение», которое про-

¹ Аксаков К. С. О современном человеке // Русь. 1883. № 8. С. 36.

² Там же. С. 37.

³ Там же. С. 41.

⁴ Цит. по: Хомяков А. С. О старом и новом. С. 248.

⁵ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1964. Т. 15. С. 9.

должало «увлекаться» еще более безоглядно. Хаотично менялся лишь предмет, характер, содержание «увлечений».

Герценовский комплимент, что со славянофилов «начинается перелом русской мысли»¹, сомнителен. Со славянофилов становится очевидным: или русское образованное общество вернется «домой», или погубит себя, народ и свою родину, что в конечном счете и произошло.

Глубоко неверным является и еще один часто цитируемый афоризм А. И. Герцена: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство... чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно»².

Да, славянофилы и те, кого А. И. Герцен называет «мы», действительно «смотрели в разные стороны», следовательно, никак не могли видеть одно и то же. Потому что любовь была иная и к иному. Потому что «сердце билось» другое: «ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6:21).

Александр Каплин

¹ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1964. Т. 9. С. 170.

² Там же. Т. 15. С. 9–10.

РАЗДЕЛ I

И. В. и П. В. КИРЕЕВСКИЕ

Ф. Сидонский

Речь при отпевании Ивана Васильевича Киреевского

Немного видно слез при этом гробе, но это не то значит, что бы мы погребали человека, чуждого нашему сердцу, что бы в окружающих сей гроб участниках печального обряда не было сожаления об утрате из своего круга брата почившего. Нет! Чувства скорби при этом гробе растворились для обстоящих его сопечалующих непричастным печали сознанием, что если сходит в могилу сей муж даровитый, то уже после достаточного ряда действий, в которых его дарования употребились с пользою; печаль утраты смягчается здесь успокоительной мыслью, что мы провожаем на вечный покой мужа, который, подвизавшись на поприще литературном не краткий срок, не омрачил своего литературного призвания неуместными притязаниями, не всегда безукоризненным служением влечениям природы чувственной. Да, братья, перед нами гроб русского мыслителя – мыслителя, которому величие и достоинство России, предшествовавшее и ожидаемое, кроющееся в ее религиозно-нравственных верованиях, составляли источник немаловажных утешений, которому «цельный образ воззрения», как сам он, покойный, выражался, православной славянской старины являлся залогом обновления всего европейского просвещения, а затем и общечеловеческого преуспеяния.

Не в простоте сердца зародилась эта мысль, не в неясности создания усвоилась, поддерживалась, неоднократно высказывалась она; нет, в жизни почившего она была плодом продолжительных пытливых дум, плодом

сличения принятых от Запада выводов просвещения с коренным, вынесенным из детства убеждением в непоколебимости православных начал нашей веры. Тогда как свет западного просвещения, принимавшийся с живой, неприудержанной доверчивостью, отуманивал яркостью своей глаза иных, скажем даже, многих совозрастников почившего, – в нем он как бы преломился и, отразившись, обратился, так сказать, на озарение своих истоков и обличил пред покойным неполную доброзначность западного развития и многих его отраслей и направлений, особенно в его виде новейшем, в котором, по выражению покойного, ясно обнаружилась односторонность коренных стремлений европейского просвещения.

Чувство этого, конечно, рано посетило нашего почившего, но не увлекло его в противоположную крайность: он не разделял замечаемого во многих презрения ко всему иностранному и всячески искал дать своему собственному воззрению ясность, отчетность выражения. И время не напрасно текло для развития его убеждения задушевного. Проходит семь лет (от 1845 до 1852 г.) от его первого отрывочного очертания созревшей мысли – по поводу обозрения (современного тогда) состояния русской литературы¹, и мы получаем обдуманное, пробивающееся до отчетливости изложение его убеждения². Этого мало. Почивший был слишком даровит, чтобы не усмотреть, что на одном убеждении в односторонности, в ложности начал европейского просвещения нельзя остановиться русскому подвижнику мысли. Труженик умственного преуспевания, желающий привнести свою лепту на здание общечеловеческого просвещения, должен необходимо пробиваться далее. И вот задачей последнего труда почивший поставил себе если уже не отыскание, то, по крайней мере, указание возможности новых начал любомудрия³.

Новая теплая мысль готова была возникнуть и, может быть, выработаться в ученом мире нашем, мысль, имевшая, может быть, пролить нема-

¹ Имеется в виду статья *И. В. Киреевского* «Обозрение современного состояния словесности» (1845) – *Сост.*

² Речь идет о программной статье *И. В. Киреевского* «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России (Письмо к г. Е. Е. Комаровскому)» (Моск. сб. 1852. С. 1–68). – *Сост.*

³ Имеется в виду статья *И. В. Киреевского* «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856 г.). – *Сост.*

ловажный свет в область знания, но – не успел этот последний труд почившего огласиться во всеуслышание, как подвижник сам отзывается от мира сего к созерцанию лучших зраков не вечернего света. Совершился исход поборника принятых от отцов и прадедов живых убеждений, но труд веры его – возратить детям, юному поколению сердца отцов, живые убеждения в преданиях веры – ужели останется бесплодным, ужели пройдет в ученом русском мире, не возбудив новых дарований, не породив новых исследований? Нет! Усилие отстоять, раскрыть всю плодovitость убеждения, оживляющего православную русскую грудь, не погаснет с жизнью почившего. Начало, и небезжизненное, положено. Иные деятели пойдут *далее*, разберут возбужденный вопрос *частнее*, обсудят его *многостороннее*, и труд погребаемого нами с ним не погибнет! Чем из живейшего убеждения в истине происходил он, тем больше доставлял блаженства работавшему, тем больше сохранит он и разовьет жизненности в мире духовном!

Не напрасно же после сего возгласили мы, соучастники печального обряда, почившему рабу Божьему Иоанну вечную память и как христианину, жившему с верой, и как писателю, не стыдившемуся свидетельствовать о вере. Он не сокрыл своего таланта в землю, не поставил светильника, в нем возжженного, под спудом, а поработал Господеви, как свидетельствуют знающие его, со страхом и порадовался Ему с трепетом. Да будут же те живые убеждения, коих важность желал он уяснить для оплодотворения западного просвещения, да будут они ему источником нескончаемых радостей в жизни иной, как они согревали сердце его в жизни здешней! Верующий в Господа нашего Иисуса Христа хоть и умрет, жив будет с Ним и о Нем, блажен будет о Нем – и здесь, и там.

А. С. Хомяков Иван Васильевич Киреевский

Статья, нами напечатанная¹, «О необходимости и возможности новых начал для философии» составляла только первую половину или часть бо-

¹ Статья была напечатана в том же номере «Русской беседы» (1856. № 2). – *Сост.*

лее полного рассуждения об этом предмете. Она содержит в себе критику исторического движения философской науки; следующая же часть должна была заключать в себе догматическое построение новых для нее начал. Таково было намерение автора, таковы были наши надежды; но Бог судил иначе. Труд, временно прерванный поездкой Ивана Васильевича Киреевского в Петербург, прерван навсегда его неожиданной кончиной. Быстро и неудержимо развившаяся холера положила предел прекрасной и полезной жизни, только еще вступающей в полную деятельность. Он умер на руках сына и двух друзей, Алексея Владимировича Веневитинова, друга его ранней молодости, и графа Комаровского, которому писал он всем известное письмо, напечатанное в «Московском сборнике»¹. Неисповедимы судьбы Господни!

Сердце, исполненное нежности и любви, ум, обогащенный всем просвещением современной нам эпохи; прозрачная чистота кроткой и беззлобной души; какая-то особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору; горячее стремление к истине, необычайная тонкость диалектики в споре, сопряженная с самой добросовестной уступчивостью, когда противник был прав, и с какой-то нежной пощадой, когда слабость противника была явной; тихая веселость, всегда готовая на безобидную шутку, врожденное отвращение от всего грубого и оскорбительного в жизни, <в> выражении мысли или в отношениях к другим людям; верность и преданность в дружбе, готовность всегда прощать врагам и мириться с ними искренно; глубокая ненависть к пороку и крайнее снисхождение в суде о порочных людях; наконец, безукоризненное благородство, не только не допускавшее ни пятна, ни подозрения на себя, но искренно страдавшее от всякого неблагородства, замеченного в других людях, – таковы были редкие и неоцененные качества, по которым Иван Васильевич Киреевский был любезен всем, сколько-нибудь знавшим его, и бесконечно дорог своим друзьям. Смерть его останется неисцелимой раной для многих.

Но потеря Ивана Васильевича Киреевского важна не для одних личных его знакомых и не для тесного круга его друзей; нет, она важна

¹ Речь идет о статье И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России (Письмо к г. Е. Е. Комаровскому)». – *Сост.*

и незаменима для всех его соотечественников, истинно любящих просвещение и самобытную жизнь русского ума. Немного оставил он памятников своей умственной деятельности; но все, что он сказал, было или будет плодотворным. Мы не говорим о замечательных, но незрелых произведениях его юности (хотя в них уже, среди многих ошибок, выражались глубокие мысли); мы говорим о том, что было им высказано во время полной возмужалости его ума. Несколько листов составляют весь итог его печатных трудов; но в этих немногих листах заключается богатство самостоятельной мысли, которое обогатит многим современных и будущих мыслителей и которое дает нам полное право думать, что в глубине его души таилось еще много невысказанных и, может быть, даже еще не вполне сознанных им сокровищ. Нашему убеждению будет, конечно, сочувствовать всякий, кто с разумом прочел или теперешнюю статью Ивана Васильевича Киреевского, или те, которые напечатаны в «Москвитянине»¹ и в «Московском сборнике».

Слишком рано писать его биографию; скажем только, что жизнь его украшена была с первой молодости приязнью Пушкина, горячей дружбой Жуковского, Баратынского, Языкова и (слишком рано увядшей надежды нашей словесности) Д. В. Веневитинова. О движении и развитии его умственной жизни и о литературной деятельности говорить также еще нельзя: они так много были в соприкосновении с современным или еще недавно минувшим, что невозможно говорить об них, как следует, вполне искренно и свободно. Постараемся обозначить то, чем он обогатил русское просвещение и чем он останется памятным в истории общего просвещения.

Иван Васильевич Киреевский принадлежал к числу людей, принявших на себя подвиг освобождения нашей мысли от суеверного поклонения мысли других народов, передавших нам начала общечеловеческого знания, и, может быть, более и яснее всех уразумел он шаткость и слабость тех мысленных основ, на которых стоит все современное строение европейского просвещения. Так как его время и его дела требовали по

¹ Имеется в виду «Москвитянин», выходивший под редакцией И. В. Киреевского (1845. № 1–3): там было опубликовано свыше десяти его статей. – *Сост.*

преимуществу разбора критического, на него и обратил он первые свои труды и путем строгого, глубокого и добросовестного анализа пришел к следующему выводу: «Рассудочность и раздвоенность составляют основной характер всего западного просвещения. Цельность и разумность составляют характер того просветительного начала, которое, по милости Божией, было положено в основу нашей умственной жизни». Можно не соглашаться с данными взглядами, которые заключаются во второй половине письма к графу Комаровскому; но положение, приобретенное и высказанное И. В. Киреевским, останется неколебимым и будет точкой опоры и отправления для всего будущего развития нашего мышления. Строгое воспитание ума в школе немецкой философии и врожденная особенность созерцательного стремления обратили особенно внимание Киреевского на вопросы философии, и в них добыл он следующие выводы. «Всякая жизнь практическая есть не что иное, как внешняя историческая оболочка скрытой философской системы, сознаваемой и выражаемой передовыми двигателями человеческого просвещения»; но «сама философия есть не что иное, как переходное движение разума человеческого из области веры в область многообразного приложения мысли бытовой». В этом выводе определяется в одно время и разумная, самостоятельная свобода философии, и ее законная, хотя несознаваемая (законная именно потому, что несознаваемая) подчиненность вере. Наконец, дальнейший труд критики философской привел его к следующему выводу: «Теперешняя философия, совершившая полное свое круговращение в области мысли, есть окончательное развитие аристотелизма и еще ранних школ; но она есть только отрицательная сторона знания, она обнимает законы возможности, но не законы действительности; она есть изучение диалектического отражения в нашей мысли логики явления, которая сама есть только отражение являемого, отражение крайне неполное, ибо оно не обнимает первоначальной свободы». Таким образом, философия Запада есть изучение повторенного отражения, явно самоуличающегося в неполноте, и ошибка тех, которые видят в ней науку разума во всем его объеме, так же безрассудна, как была бы ошибка человека, надеющегося найти в законах оптики закон

исконного начала световой силы. «Правда этой философии (т. е. философии диалектического рассудка) имеет свои права в свойственных ей пределах и делается неправдой только вследствие непонимания этих пределов; но есть возможность более полной и глубокой философии, которой корни лежат в познании полной и чистой веры – Православия. Западная наука приготовила ее возможность, и в этом состоит ее великая заслуга перед человеческою мыслию».

На этой точке развития смерть остановила И. В. Киреевского. Плоды, им добытые, по-видимому, заключаются в отрицаниях; но эти отрицания имеют характер вполне положительного знания. Этих плодов, этих новых выводов немного; но такова участь тружеников философии: одну, две мысли добывают они трудом целой жизни, напряженной работой всех мыслящих способностей и, можно сказать, кровью сердца, алчущего истины; но каждая из этих мыслей есть шаг вперед для всего человеческого мышления. Два, три такие вывода записывают в истории науки еще одно великое имя и питают целые поколения своим разнообразным развитием, сосредоточивая в себе разумный труд поколений предшествовавших. Конечно, немногие еще оценят вполне И. В. Киреевского; но придет время, когда наука, очищенная строгим анализом и просветленная верой, оценит его достоинство и определит не только его место в поворотном движении русского просвещения, но еще и заслугу его перед жизнью и мыслью человеческой вообще. Выводы, им добытые, сделавшись общим достоянием, будут всем известны; но его немногие статьи останутся всегда предметом изучения по последовательности мысли, постоянно требовавшей от себя строгого отчета, по характеру теплой любви к истине и людям, которая везде в них просвечивает, по верному чувству изящного, по благоговейной признательности его к своим наставникам – предшественникам в путях науки, – даже тогда, когда он принужден их осуждать, и особенно по какому-то глубокому сочувствию невысказанным требованиям всего человечества, алчущего живой и животворящей правды.

Память твоя будет с праведной похвалой, наш усопший брат!

<1856>

А. В. Маркович

Воспоминание о Петре Васильевиче Киреевском

25 октября прошлого года скончался Петр Васильевич Киреевский в цвете зрелого мужества.

Без всякого сомнения, он найдет себе биографа, и не одного... Эти строки не прибавят ничего к прекрасной его памяти, может быть, не послужат даже ни одним характеристическим указанием для его биографов; но во всяком случае напомним многочисленным его друзьям и знакомым драгоценный образ отшедшего. А потому пишущий эти строки не считает себя в праве их скрывать, прося только достойных родных покойного, которые были вместе и лучшие, задушевнейшие его друзья, простить, что перо его дотрогивается до их слишком свежей раны... Пускай моя любовь и уважение к памяти покойного служат мне пред ними оправданием в этом, а пред ним в недостойнстве моего голоса.

В 1849 г., служа в Орле, я познакомился у одного из своих товарищей по службе с Петром Васильевичем, езжавшим к брату его, собирателю народных песен, П. И. Якушкину. Приветливая, чрезвычайно обязательная обходительность Петра Васильевича, какой я, по моему малому значению в обществе, ни прежде, ни после ни от кого не видал, к удивлению, нисколько меня не смутила: такой искренней и свободной в своем спокойствии добротой она была согрета. А между тем я чувствовал, что какой-то чудотворной струей приливает мне к мозгу мысль за мыслью, к сердцу чувство за чувством. В то время я болен был телом и душой. Простодушно я обращался к нему с пробужденными мыслями и чувствами, признаюсь, очень обрадовавшись такому необыкновенному, такому доброму и светлому слушателю! Сам он говорил несколько запинаясь и оттого как будто с усилием; но уходили час и более во внутренней музыке его речей, дышавших торжествующей любовью и правдой, окрыленных обширными знаниями, точных и стройных до высокой художественности.

Нечего и говорить, что я ездил к нему в Слободку (в 7 верстах от Орла) и по целым дням упивался его возвышенной беседой, – Боже мой, какой

прекрасной, какой греющей и значительной беседой! Боюсь и вспомнить, сколько я, и подобные, и даже неподобные отнимали у него времени! Бывало, ко всякому он заговорит и всякого разговорит. Для него благодушное обращение было закон; но я не встречал никого, кто бы в исполнении этого закона был так терпелив, искренен и вместе величав. Правда, что всякий со своей стороны старался с ним быть отчетливее, умнее и добрее самого себя, и притом без особенного усилия и притворства, за малыми, конечно, исключениями. Таким влиянием на душевную деятельность беседующих из живых, кого я знал, владел один П. В.

Что касается до отношений его к родным, куда мы с ним путешествовали, то эти важные везде, но особенно в его жизни, отношения были больше, нежели дружеские. Они были так нежны и просты, как я нигде более не встречал. Замечались тут и беспечная веселость счастливой семьи, и глубокий союз братства¹.

Каковы были отношения П. В. к деревне, можно судить из того, что в голодный год весь амбар его был исчерпан – за бесплатным удовлетворением собственных крестьян – бесплатно же чужими крестьянами, приходившими из других сел от распродажных закромов.

«Сколько Государь скажет отдать им земли моей, столько и отдам!» – говаривал он о своих крестьянах, когда заходила речь о благих видах еще покойного Государя на улучшение народного быта.

От необходимости служить избавляло Петра Васильевича обеспеченное состояние – наследственное имение, кажется, в 300 ревизских душ Орловского и Кромского уездов; а от свободного желания – представлявшаяся тогда на службе трудность в смелом приложении к ней добрых начал, в соответствие высокому ее назначению. Он не отвергал, что у нас и тогда были просвещенные и благонамеренные чиновники; но говорил, что не всегда находят они вокруг себя простор и содействие и, будучи рассеяны

¹ Кажется, благосклонность его ко мне в этом отношении оказана была с целью показать мне настоящую жизнь, чтобы не принимать за нее одни ее внешние признаки. Как я воспользовался удивительным счастьем своим видеть истинную жизнь, – не мне самому, конечно, судить об этом; чувствую только, что понимаю душой эту жизнь, а чрез нее и самую сущность П. В., потому что он не более как лучший из прекраснейших ее плодов, глубоко жизненный и глубоко народный.

по различным ведомствам и частям их, подвизаются совершенно в одиночку, почему не всегда и цели достигают, и сами подчас остаются беззащитными. «Так, – говорил он, – гибнет стадо белых медведей, выходящих по одному против вооруженного корабля». Чин заслужил он, кажется, в Московском архиве Министерства иностранных дел.

Попечительный и благородномыслящий помещик 300 счастливых крестьян, просвещенный, прямодушный и добросердечный человек, – по мне, и этого довольно для доброй памяти между согражданами. Но в П. В. эта светлая ткань редких достоинств была как бы внешним только покровом его великой, энергической личности: он был самостоятельный, важный деятель в науке и нашем просвещении. Он был у нас из первых по времени и влиянию, если не первый, Славянист. Общего определения славянской идеи, я думаю, никто не слышал от П. В.; но отдельные ее положения усвоены многими, что я слышал от него самого. Он и покойный брат его Иван Васильевич, который был им уважаем и любим безгранично, вели, как сам рассказывал мне П. В., двухдневную полемику с значительным в то время рационалистом, который окончил этот спор следующими замечательными словами: «Мы идем по разным дорогам; но к концу их ступим на одну доску». Поучителен для меня был тон глубокого, восторженного уважения, с которым П. В. отзывался о своем противнике. Из одномыслящих он отличал пред всеми брата своего и г. Хомякова. Главная услуга, которой ожидали от П. В. в обществе и литературе, было приготавливаемое им издание сборника великорусских народных песен, о богатстве которого ходили самые отрадные слухи.

О поэтическом достоинстве песен его сборника мы можем судить по нескольким песням, помещенным в «Московском сборнике» и «Русской беседе», а о важности – преимущественно по духовным песням, напечатанным в «Чтениях Моск. общ. истории <и> древн. <Рос.>», с замечательным предисловием издателя. Из этого предисловия, а также из нескольких строк, принадлежащих П. В. в последнем «Московском сборнике», об исторических песнях можно уже видеть, сколько утратила ученая обработка нашей народной словесности в преждевременной кончине П. В.

И здесь и там светятся **ясный ум, самобытный взгляд и твердые, определенные** положения философа-художника.

Но как ни велико наследство, оставленное нам Киреевским, в песнях, как ни крепко право его на благодарность и в потомстве, особенно если вспомним пешеходные путешествия собирателя по деревням для своей поэтической жатвы и столько приведенных им на это плодотворное поле других полезных деятелей, — я твердо убежден, что никак не менее сделал он для внутренней истории своего отечества до преобразования его Петром. Не стоит ли здесь каждое хорошо освещенное слово нашей темной летописи любой вновь отысканной песни, а я в период моего знакомства с П. В., 1849–1852 годы, видел в кабинете его **большие корзины и картонные ящики**, наполненные выписками из летописей под рубриками: *князь, вече* и т. п., и ничего столько от него не слышал, как самых светлых и теплых суждений, самых блестящих выводов из прожитого старою Русью! Не помню, сам он или кто-то из близких к нему говорили мне, что много его мыслей о древней русской истории разошлось по свету в печати со слов его, схваченных на лету в разговоре. Нет причины думать, чтоб и заохоченные им к занятиям народностью и историей, и воспользовавшиеся от него чем-нибудь самостоятельные наши исследователи отечественной старины не объявили с благородной признательностью, *как, в чем и на сколько* ему обязаны. Я не знаю, в каком виде остались работы его по русской истории, но сужу по превосходной статье, бывшей первым плодом их, которую он напечатал в «Москвитянине» 1845 г., **поступавшем тогда во временную редакцию его брата И. В.**, что работы эти, в каком бы виде они ни остались после него, вполне заслуживают подробной известности.

Влияние, которое производил П. В. на своих собеседников, не ограничивалось только возбуждением и возвышением благородных чувств, нравственных интересов и воззрений: оно вызывало и **практических деятелей** на поприще словесности. Так издан был «Синбирский сборник» покойным **Валуевым по его мысли, согласившей многих к этому полезному предприятию**, как известно, неожиданно пресекшемуся смертью молодого **высокоодаренного издателя**. **Что именно еще издано по предложению П. В.**, я не привожу здесь, по недостатку у себя точных по этому

предмету сведений. Считаю только обязанностью засвидетельствовать, что открытый Н. А. Скалоном в Стародубском магистратском архиве «протокул до записыванья справ поточных на рок 1690» (напечатан в «Черниговских губ. вед.» 1852 г.) издан вполне благодаря настоятельному желанию П. В., а не собственной оценке редакции. Сколько же сделано доброго по **одобрительным и душевномоощным напутствиям, вроде следующего**, сказанного им при прощании одному знакомому: «Ради Бога, не оставляйте никогда занятий нашей словесностью!» Если кому-нибудь из людей, **слышавших от него подобный завет, удавалось что-нибудь сделать**, то им служил он, без сомнения, таким подспорьем, какого не дадут самые огромные фолианты.

К этому же роду его деятельности должно причислить обширное предприятие его, относящееся к переводу на русский язык самых лучших классических сочинений по истории. С этою целью даны им и мне: 1) *Geschichte des österreichischen Kaiserstaates von Johan Grafen Mailat. Zweiter Band*, и 2) *Pierwotne dzieje Polski i Litwy etc., wydal Wacław Aleksander Maciejowski*, и в пособие при переводе 3) *Słownik polsko-rossyjski, przez Stanisława Müllera*. Обязываюсь доставить, куда следует, эти книги, если по каталогу они не **вычеркнуты**. **Чтобы понятнее была мысль П. В., связанная с этим предприятием**, я напому беседовавшим когда-либо с ним то многостороннее сочувствие к просвещению, которым он преклонял к себе внимание самых упорных противников своего славянского начала. Так вкус нашей публики к итальянской музыке, по мнению близоруких роняющий народную музыку, его радовал; он говаривал: «Слава Богу! только бы полюбили какую-нибудь музыку, тогда поймут народную, придут к своей!» **Резкость тона критик Белинского и ошибки его, проистекавшие от незнания истории, решительно выводили из себя формалистов, приверженцев привычных воззрений**. Глубокий ум П. В. видел в них пробужденное сознание спящих душой и умом, – видел также самые грубые односторонности, **самые странные крайности, но признавал заслугу этого даровитого и благородного человека, своими одушевленными и яркими статьями набравшего много и много небывалых читателей**; а только читая, можно дочитаться правды.

Памятно мне кое-что из разговоров П. В. относительно славянской идеи, еще не высказанное ни последователями, ни противниками ее. Почти все высказанное, по крайней мере со стороны воззрения самого П. В., так отрывочно и голословно, что и мои строки могут быть нелишними.

Современное образование, разрозненное с общенародным ходом жизни и религиозными преданиями, крайне недостаточно. Все, что утешительного представляет гражданская жизнь Европы, принадлежит богатым, живым, неоскудевшим источникам ее народной старины. У славянских народов рационально-кабинетное образование еще менее имело внутреннего действия, и каким бы ни казалось их настоящее, будущность их, при условии истинного направления, утешительна. Православная Церковь как соборная принята славянами сообразно с свободным течением и твердыми основами древней их общественной жизни и обещает из святого своего лона возрождение той жизненности, какую нашла некогда и освятила в их народностях. Кажущееся в них безжизненным не им принадлежит, а наносным слоям внешних случайных обстоятельств и совершенно чуждых им влияний, обращенных на формы в ущерб сущности, на движение, а не на развитие.

Как кто, а братья Киреевские искренно и сознательно посвятили свою жизнь будущему счастью человечества, в самодеятельности едва выходящего на всемирное поприще Славянства. Когда П. В. изучал народность на своей отечественной почве и историческую старину своей родины, России, брат его посвящал многие годы разработке сложной истории Христовой Церкви и односторонне развившейся новой философии. Деятельность их была однородна, дружна и равновесильна, одна другой дополняется и объясняется. Слава П. В. как этнографа и слава И. В. как философа, кажется, уже признаны; слава их как историков и еще более как исторических деятелей вырастет на их могилах.

Я не дотрогивался совсем, или почти, до тех сторон в жизни и деятельности П. В., которые мне мало известны, как, например, до того, почему имя его так редко появлялось в печати; до заграничной и московской его жизни, по совершенной их неизвестности мне; до подробностей его деревенского быта, в высшей степени замечательного, — из опасения

лишить его той оригинальной прелести, в какой выйдет он под лучшим, художественным пером. **То же самое я должен сказать и о его характеристической наружности. Не мог я ничего также сказать о занятиях его песнями всех народов и этнографией истории, по незнанию результатов, к которым он пришел. Но и написанного, может быть, слишком много для лица, знавшего его вскользь и мимоходом. Внутренняя близость представляет слишком мало речательства в равновесии.**

В драгоценной библиотеке П. В., на которую обыкновенно шла значительная часть его доходов¹, можно найти все лучшее, относящееся до истории и этнографии Малороссии, которой он так горячо сочувствовал. Он сам приводил свидетельство самобытности древнего языка малорусского в прочитанных им надписях на кубках киевских князей в Московской оружейной палате и советовал изучать современные наречия его по областям полян, северян, древлян и угличей.

Богатый семейный архив П. В., может быть, найдет своего изыскателя, который откроет нам исторический и географический корень человека, созревшего в веках и для веков.

Афанасий Маркович.

1866, декабря 1-го.

Местечко Немиров.

В. И. Аскоченский **В Оптиной пустыни**

Собираясь из златоглавой Москвы в наш Русский Иерусалим – Киев – на поклонение его святыне, я записал в свою памятную книжку – заехать в лежащую по пути пустынную обитель Оптину, где нашли себе место упокоения два родных брата Иван и Петр Васильевичи Киреевские, оба близкие моему, все более и более сиротеющему, под осень жизни, от частых

¹ Как мало П. В. употреблял лично на себя денег и времени, можно судить из того, что ему случалось предлагать безденежным свои услуги, хотя бы и рублей в 25, повязывать своим шарфом шею отъезжавшего в стужу без покроя в далекий путь; да еще посылать вслед за путником письма, исполненные самой трогательной заботливости об его участи.

потерю сердцу; оба люди замечательные и приснопамятные по своему уму, качествам сердца, прямодушию и любви к истине, той святой любви, которая готова бывает скорее положить душу свою, нежели отказаться от того, что в глубине ее однажды призвано святым, высоким и достоуважаемым.

На последней станции к Козельскому, кажется в Подборках, я просил станционного смотрителя приказать ямщику завезти меня в Оптину пустынь, которая, как было у меня записано, находится в 4¹/₂ верстах от Козельска, не доезжая его. Станционный смотритель весьма любезно согласился на сие, взяв с меня весьма любезно же и двойные прогоны; причем заметил, что из едущих по этому тракту большая часть берет лошадей прямо в Оптину, а оттуда гостеприимная обитель нередко доставляет проезжих как в Подборки (первая станция к Калуге), так и Слаговицкие постоянные дворы (первая станция к Белеву) на своих лошадях.

Вскоре по оставлении Подборок мы проехали какое-то бесконечно длинное селение, которое, помнится, ямщик называл *Каменкою*, и замечательное также своей убийственно тряской мостовой; насыпь же и мостовая, как пояснил мне ямщик, сделаны оттого, что весной разлив текущей слева (в версте или более расстояния) Жиздре доходит иногда до самой этой деревни. Зато тотчас за задворками начинаются поемные луга, простирающиеся вплоть до реки, а за ней встает синий бор, вид которого тем приятнее, что леса исчезают у нас ежегодно, как бы по мановению волшебного жезла, и если отстрочится еще на столетие то время, когда водяной пар будет сведен с престола двигателем, менее алчным к топливу, то нам придется в статистических таблицах прибавить новую графу: замерзших по неимению средств к отоплению своих полусквозных (в следствие той же причины) жилищ столько-то, а филантропии прибавится новая забота плясать и задавать обеды в пользу семейств этих несчастных.

В этих мыслях о столь немаловажном предмете я с особенной любовью смотрел на лесную полосу, причем заметил, что местами вынуты из нее уже целые участки, – а если пройдет на Калугу железная дорога, то, уповательно, скоро и ничего не останется; а меж тем лошадки резво бежали по ровной дороге и я незаметно приближался к ночлегу.

Вот, стали мы спускаться с горы, окаймленной глубоким оврагом; внизу сельская церковь, вправо господская усадьба и село, влево виднелась луговая долина, перерезанная озерами и лесными островками, а у опушки леса неправильно раскинулась, точно небольшой городок, – пустынная иноческая обитель, издали приветствуя путника верхами своих белых стен и храмов...

Проехав село, которое назвал мой возница *Прысками*, и еще какую-то небольшую деревеньку, мы свернули с большака влево по шоссе-ной дорожке, проведенной чрез луга прямо к монастырю, обсаженной раkitником, а через полчаса времени уже переезжали быструю Жиздру на монастырском пароме, любуясь видом мирной обители, озаряемой последними лучами заходящего солнца.

Принятый весьма радушно, я мирно провел ночь под кровом монастырской гостиницы; на другой день, пробудившись со звуком колокола, отправился к ранней обедне и по окончании ее просил проводить меня на могилу Киреевских и отслужить по ним панихиду.

Меня привели на монастырское кладбище, которое расположено за алтарем двух монастырских церквей. Там прежде всего обратили мое внимание два колоссальных чугунных памятника, местами позолоченные: под одним из них, как видно из надписи, погребен старец сей обители иеросхимонах Леонид [1], о духовной мудрости которого и претерпенных им от неправомыслящих гонений я слышал довольно из рассказов покойного И. В. Киреевского. Другой памятник покрывает могилу храмоздателя того придела, близ которого они погребены (во имя Св. Николая) А. И. Желябужского.

Впереди надгробных памятников старца иеросхимонаха о. Леонида и Желябужского на месте, также обнесенном чугунной решеткой, погребены два родные брата Иван и Петр Васильевич Киреевские. На могиле первого из них усердием его супруги поставлен небольшой четырехсторонний чугунный памятник с таким же крестом; на памятнике надписи¹:

1. Надворный советник И. В. Киреевский, родился 1806 года марта 22 дня, скончался 1856 года июня 12 дня.

¹ Надписи из Св. Писания избраны, как я слышал в обители, духовным отцом И. В. К-го старцем иеромонахом Макарием.

2. Премудрость возлюбих и поисках от юности моя. Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь даст придох ко Господу.

3. Узрят кончину праведника и не уразумеют, что усоветова о нем Господь.

4. Господи, прими дух мой!

Память Ивана Васильевича Киреевского дорога для всех, близко знавших его как человека, обладавшего редким сочетанием прекрасных качеств глубокого ума с кротким и любящим сердцем, несмотря на свое научное образование, которое при всей гордости нашего века может быть признано не за весьма многими из ученых по диплому. И. В. считал это образование недоконченным зданием и спешил увенчать его покровом сердечной веры. Растворенное солию неземной мудрости – слово отеческое, слово глубокое и вместе простое, слово «помазанное», вносящее мир и успокоение во всякую душу, жаждущую и алчущую правды и истины, – это слово удовлетворяло вполне его пытливый ум, и с той поры он посвятил себя всецело на то, чтобы отвлечь внимание своих ученых собратий или по крайней мере небольшого кружка своих ученых друзей от философских умствований Гегеля, Шеллинга и К°, этих вполне изглубленных им «сокрушенных кладенцев» германской мысли, и обратить их внимание на забытые одними и неведомые другим источники «воды живой» – к писаниям отеческим¹.

Но И. В. Киреевского постигла та же участь, как Н. В. Гоголя: с той минуты, как он заговорил со своими учеными собратиями не прежним языком, высказав им, не обинуясь, что свет и истина не там, где они ее искали доселе, что надобно начать учиться сызнова, <...> – друзья И. В., сказав – кто про себя, а кто и громко: «Жестоко слово сие», пошли каждый своей дорогой до встречи там, где уже не посмеет никто спросить: что такое истина? Ибо «вся будут нага и объявлена»; а он вскоре был отозван отсюда, «зане совершил в пределе земном все земное». Так же как и на могиле Гоголя раздались поздние вопли сожаления о рановременной

¹ Памятником этого периода его умственной деятельности остаются (кроме ненапечатанных трудов) две замечательные статьи: «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России (Письмо к графу Е. Комаровскому)» и «О необходимости и возможности новых начал для философии». Первая напечатана в *Московском сборнике* 1852 г., а вторая – в *Русской беседе* 1856 г.

утрате на обычную тему: как, зачем, отчего так неожиданно, внезапно, нечаянно, что злая *судьба* постигает наших *передовых* (а поживи он еще немного, – высказалось бы печатно то, что уже произнесено было в сознании: «жаль, отстал от века!»). Ответом на эти вопросы немой *судьбе* служит слово Премудрого, начертанное достойно оценившими благоую перемену в образе мыслей покойного: *узрят кончину праведнаго и не уразумеют, что усоветова о нем Господь!*

Верующие в загробную жизнь и смотрящие на смерть как на переход в «пакибытие», а не к ничтожеству или, как недавно выразился один из германских мыслителей, «к разрушению уединения человеческого “я” в чувство общения с целым природы»¹ знают и веруют, что каждый христианин поемлется отсюда в самое благоприятное время для нашей загробной участи, в ту минуту, которую благодать Божья находит самой удобной для совмещения на нелицеприятном суде своем правды с милостию. Что после сего значат наши языческие сетования на безжалостную судьбу! Если бы преставившийся мог сам возражать на них, в ответ на сожаление, что он не докончил своего «полезного труда», – он, верно, отвечал бы словами Авраама евангельскому богачу², напомнив им притом слово вселенского учителя и отца Церкви Иоанна Златоустого: «... кто не имеет матерью своею Церковь, тот не может иметь Отцем Бога»; или, наконец, указал бы на слова Самого Спасителя дочерям иерусалимским: *себе плачьте и чад ваших!* Вот что, по мнению нашему, отвечал бы покойный ученым друзьям своим, если бы мог беседовать с ними с того берега; а ныне его безмолвная могила не призывает ли их последовать его благому примеру: *познать, яко не инако одержится премудрость, аще не даст Господь, и приити ко Господу?*

Нельзя умолчать, что сердечному обращению И. В. Киреевского к вере и учению матери нашей Церкви много способствовал недавно почивший о Господе старец Оптиной пустыни иеросхимонах Макарий [2], указав ему на неисчерпаемый источник мудрости, заключающийся в учении Св. Отцов, способной удовлетворить стремлениям самого глубокого ума, но который

¹ См. «Дом. беседа» 1860 г. Вып. 31.

² Имут Моисея и Пророки да послушают их, аще же их не послушают, ни аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры (Лк 16:29, 31).

промыслительно утаивается от премудрых и разумных века сего, ибо *тайнства открываются лишь смиренномудрым*, по слову св. Исаака Сирина.

Супруга И. В. [3], рассказывая мне о благодатных действиях старца на ее семейство, между прочим поведала следующее¹: «...сама я познакомилась с о. Макарием в 1833 году через другого приснопамятного старца, его предшественника, о. иеросхимонаха Леонида; тогда же сделалась его духовной дочерью и с тех пор находилась с ним в постоянном духовном общении. И. В. мало был знаком с ним до 1846 года. В марте сего года старец был у нас в Д...е, и И. В. в первый раз исповедовался у него; писал же к батюшке в первый раз из Москвы в конце октября месяца 1846 года, сказав мне: "...я писал к батюшке, сделал ему много вопросов, особенно для меня важных; нарочно не сказал тебе прежде, боясь, что по любви твоей к нему ты как бы нибудь чего не написала ему; мне любопытно будет получить его ответ; сознаюсь, что ему трудно будет отвечать мне". Я поблагодарила И. В., что он мне не сказал, что решился написать к старцу, и уверена была, что будет от старца действие разительное для И. В. Не прошло часа времени, как приносят письма с почты и два, надписанные рукою старца – одно на имя мое, другое на имя И. В. Не распечатывая, он спрашивает: "Что это значит? О. Макарий ко мне никогда не писал!" – Читает письмо, меняясь в лице и говоря: "Удивительно! разительно! Как это? В письме этом все ответы на мои вопросы, сейчас только посланные". С этой минуты замечен стал зародыш духовного доверия в И. В. к старцу, обратившийся впоследствии в усердную и беспредельную любовь к нему, и принес плоды в 60 и во 100, ибо познав, *яко не иначе одержится премудрость, аще не даст Господь*, он, при пособии опытного руководителя, шел ко Господу».

Н. А. Елагин

Материалы для биографии И. В. Киреевского

Род Киреевских принадлежит к числу самых старинных и значительных родов белевских и козельских дворян. В старину Киреевские служи-

¹ Этот рассказ передаю не по одной памяти, а слово в слово, ибо тогда же просил Н. П. К-ую записать мне оный, что ею и было исполнено.

ли по Белеву, владели в Белевском уезде многими вотчинами и поместьями, и им истари принадлежало село Долбино, в 7 верстах от г. Белева. Замечательное красотой местоположения, Долбино знаменито в округе своей старинной церковью, в которой находится чудотворный образ Успения Пресвятой Богородицы, усердно чтимый местными жителями. В продолжение летних месяцев почти ежедневно являются из г. Белева благочестивые горожане отслужить молебен и поклониться св. иконе. В августе, во время Успенской ярмарки, несколько тысяч народа стекается в с. Долбино из всех окружающих городов и уездов.

В Долбине прошли первые детские годы И. В. Киреевского. Его отец, Василий Иванович Киреевский, был человек замечательно просвещенный. Он знал пять языков; библиотека, им собранная, свидетельствует о его любви к чтению; в молодости сам переводил и даже печатал романы и другие мелкие литературные произведения того времени; но по преимуществу он занимался естественными науками, физикой, химией и медициной; охотно и много работал в своей лаборатории; с успехом лечил всех, требовавших его помощи. Он служил в гвардии и вышел в отставку секунд-майором; в 1805 году женился на Авдотье Петровне Юшковой. Во время первой милиции был он выбран в дружинные начальники. В 1812 году перевез всю свою семью в Орел. Здесь и в орловской деревне своей (Киреевской Слободке), в 3-х верстах от Орла, он дал приют многим семействам, бежавшим из Минска, Смоленска, Вязьмы и Дорогобужа; взял на себя лечение, содержание и продовольствие 90 человек раненых русских, с христианским самоотвержением ухаживал за больными, брошенными французами, – и на подвиге христианского сердоболия, заразившись тифозной горячкой, скончался в Орле 1-го ноября 1812 года. Тело его было перевезено в с. Долбино и похоронено в церкви. После него остались два сына – Иван (родился в Москве 1806 года 22 марта) и Петр (родился в Долбине 1808 года 11 февраля) и еще дочь Мария (род. 1811 года 8 августа) на руках своей матери, овдовевшей на 23-м году жизни.

Авдотья Петровна Киреевская возвратилась с детьми в Долбино. Сюда в начале 1813 года переехал Василий Андреевич Жуковский, ее близкий родственник, воспитанный с ней вместе и с детства с ней дружный. Жу-

ковский прожил здесь почти два года. В конце 1815 года он оставил свою белевскую родину: поехал в Петербург для издания своих стихотворений, надеясь возвратиться скоро и думая посвятить себя воспитанию маленьких Киреевских и принять на себя опекунские заботы. <...>

Жуковскому не суждено было возвратиться на житье в Долбино. Жуковский остался в Петербурге, вступил в службу и только изредка и на короткое время мог приезжать в свою белевскую родину. Но несколько лет, проведенных вблизи такого человека, каков Жуковский, не могли пройти без следа для молодой души Киреевского. Киреевский развился весьма рано. Еще в 1813 году он так хорошо владел шахматной игрою, что пленный генерал Бонами не решался играть с ним, боясь проиграть семилетнему мальчику; с любопытством и по несколько часов следил за игрой ребенка, легко обыгрывавшего других французских офицеров. Десяти лет Киреевский был коротко знаком со всеми лучшими произведениями русской словесности и так называемой классической французской литературы; двенадцати лет он хорошо знал немецкий язык. Конечно, тихие долбинские вечера, когда Жуковский почти каждый раз прочитывал что-нибудь, только что им написанное, должны были иметь сильное влияние на весь строй его будущей жизни; отсюда, быть может, его решительная склонность к литературным занятиям, идеально-поэтическое настроение его мыслей. Для Киреевского Жуковский всегда оставался любимым поэтом. Излишне, кажется, говорить об их дружеских отношениях, не изменявшихся во все продолжение их жизни. Жуковский горячо любил Киреевского, вполне ценя и его способности, и возвышенную чистоту его души. При всех литературных предприятиях Киреевского Жуковский спешил являться первым и ревностным сотрудником и, если обстоятельства того требовали, энергическим заступником. Зная Киреевского, он всегда смело мог ручаться за благородство его стремлений, за искренность его желаний блага. Вот отрывок из письма Киреевского к матери, писанного незадолго до кончины Жуковского.

«С тех пор, как я вам писал, я получил письмо от Жуковского в ответ на мое. Удивительный человек этот Жуковский. Хотя, кажется, знаешь необыкновенную красоту и возвышенность его души, однако при каж-

дом новом случае узнаешь, что сердце его еще выше и прекраснее, чем предполагал. Он почти кончил свою “Одиссею”, работая над нею постоянно, и перевел, и уже почти напечатал 23 песни с половиною, – и оторвался от этой работы, потому что пришла Страстная неделя и он стал говеть. В это время получил он мое письмо с просьбою. Для говенья он оставил “Одиссею”; но для доброго дела в ту же минуту нарушил свой святой шабаш и написал длинное и прекрасное письмо к принцу Ольденбургскому, другое к Б. и третье ко мне. Эту жертву, конечно, Бог примет как живую молитву сердца».

До пятнадцатилетнего возраста Киреевские оставались безвыездно в Долбине; у них не было ни учителей, ни гувернеров¹; они росли и воспитывались под непосредственным руководством матери и отчима. В 1817 году А. П. Киреевская вышла замуж за своего внучатного брата Ал. Ан. Елагина. Елагин, горячо и нежно любивший Киреевских, был их единственным учителем до 1822 года; и молодой Ваня Киреевский привязался к своему второму отцу всеми силами своей любящей души. Киреевский развивался быстро, не говоря уже о том, что он еще в деревне прекрасно выучился по-французски и по-немецки, коротко познакомился с литературами этих языков, перечел множество исторических книг и основательно выучился математике. Еще в Долбине начал он читать философические сочинения, и первые писатели, которые случайно попались ему под руки, были Локк и Гельвеций, но они не оставили вредного впечатления на его отроческой душе². А. А. Елагин, вначале усердный почитатель Канта, которого «Критику чистого разума» он вывез с собой из заграничных походов, в 1819 году

¹ При маленьких Киреевских от 1815 до 1818 года был немец К. И. Вагнер для упражнения в немецких разговорах. Обязанность его была одевать детей, гулять с ними – словом, все, что требуется от дядьки; но он никогда не был ни гувернером, ни преподавателем.

² В 1830 году вот что писал Киреевский А. И. Кошелеву: «О Гельвеции, я думаю, и сам был бы такого же мнения, как ты, если бы прочел его теперь, но лет десять назад он произвел на меня совсем другое действие. Признаюсь тебе, что тогда он казался мне не только отчетливым, ясным, простонародно убедительным, но даже нравственным, несмотря на проповедание эгоизма. Эгоизм этот казался мне не точным словом, потому что под ним могли разумеаться и патриотизм, и любовь к человечеству, и все добродетели. К тому же мысль, что добродетель для нас не только долг, но и счастье, казалась мне отменно убедительною в пользу Гельвеция».

через Веланского познакомился с сочинениями Шеллинга, сделался его ревностным поклонником и в деревне переводил его письма о догматизме и критицизме. Светлый ум и врожденные философические способности И. В. Киреевского были ярки в этом, почти что отроческом возрасте; прежние литературные разговоры во время длинных деревенских вечеров нередко стали заменяться беседами и спорами о предметах чисто философических; и когда Елагины для дальнейшего воспитания детей переселились в Москву, молодой Киреевский явился (1822) в кругу своих сверстников знакомым со многими положениями тогдашней германской философии.

В Москве (1822) Иван Васильевич начал учиться по-латыни и по-гречески¹ и выучился, сколько требовалось тогда для экзамена, брал уроки у Снегирева, Мерзлякова, Цветаева, Чумакова и других профессоров Московского университета, слушал публичные лекции профессора Павлова и выучился по-английски. Некоторые уроки он брал с Александром Ивановичем Кошелевым, и с этих пор начинается дружба Киреевского и Кошелева, крепкая на всю жизнь. Они вместе выдержали так называемый комитетский экзамен и в одно время вступили на службу в 1824 году в Московский главный архив Иностранной коллегии. В это время в архиве под просвещенным начальством Алексея Федоровича Малиновского служил цвет тогдашней московской молодежи – архивные юноши, как называл их Пушкин. Товарищами Киреевского были: Веневитиновы (Д. В. и А. В.), В. П. Титов, С. П. Шевырев, И. С. Мальцев, Н. А. Мельгунов, С. А. Соболевский и многие другие. Из них составил первый круг друзей Киреевского, и к нему примкнули питомцы Московского университета: Н. М. Рожалин, М. А. Максимович и М. П. Погодин. Это было цветущее время русской словесности, ознаменованное яркими успехами Пушкина; вокруг него начинала светиться блестящая плеяда первоклассных поэтических талантов; имена Баратынского, Языкова, барона Дельвига, Веневитинова, Хомякова начали нередко мелькать в альманахах и журналах того времени. Они навсегда останутся драгоценным украшением русской словесности, но рядом с возникновением деятельности чисто литератур-

¹ Недостаточность своих сведений в древних языках И. В. почувствовал гораздо позднее, и в сороковых годах, через 20 лет, снова стал учиться по-латыни и по-гречески и выучился хорошо, так что мог в подлиннике читать классиков и Св. Отцов.

ной в Москве стала возникать в это время новая умственная деятельность под влиянием философии Шеллинга. В 1821 году профессор М. Г. Павлов по возвращении из-за границы читал в университете и в университетском Благородном пансионе лекции о природе. Впечатление его лекций было сильное и плодоносное, возбуждавшее в тогдашнем поколении москвичей сочувствие к философии германской. Одним из первых ее поборников явился тогда питомец Московского университета князь В. Ф. Одоевский, собиравший у себя небольшой круг молодых литераторов во имя *Любомудрия* и с 1824 года издававший свою четырехкнижную «Мнемозину», в начале которой была помещена прекрасная статья его учителя Павлова о способах исследования природы. К этому кругу принадлежал Киреевский со своими архивскими сослуживцами, между которыми самой блестящей и любимой надеждой был Д. Веневитинов, «рожденный для философии еще более, чем для поэзии»¹, но, по несчастью у той и другой отнятый преждевременной неожиданной смертью. Еще в исходе 1826 года, когда, приехавши в Москву, Пушкин так дружно сошелся с Веневитиновым и сблизился с его товарищами, у них состоялся новый литературный журнал, «Московский вестник», под редакцией М. П. Погодина. Киреевский не выступал еще на литературном поприще, к которому готовился и на котором начинали действовать его товарищи. К этому времени (1826 и 1827) относятся первые уцелевшие его письма <...>

А. И. КОШЕЛЕВУ

1827

«Спасибо, Кошелев, за твое письмо. Истинно счастливый подарок. Я в нем нашел прежнее участие, прежнюю любовь и доверенность. Минута получения была для меня драгоценною минутою. Признаться стыдно, но необходимо для облегчения совести, что и я начинал уже сомневаться в твоих чувствах ко мне. Твои холодные письма – и Бог знает что еще, а может быть и привычка к потерям – внушали мне самые грустные мысли. Я их развивал и оправдывал. Я думал: теперь Кошелев живет в свете, сделал много новых знакомств и, может быть, приобрел новых друзей; они открыли ему новую сторону в жизни, и его образ мыслей мог измениться;

¹ Слова Киреевского.

может быть, он нашел людей с умом возвышенным, с дарованиями решительными, и те качества, которые уважал прежде, уже считает ничтожными. Я со своей стороны долгим молчанием дал ему право думать, что и я переменялся, и проч. и проч. Все это оправдывалось одно другим и сливалось в одно тяжелое чувство. Но твое письмо, милое, дружеское, разом уничтожило все сплетенье несправедливых предположений, сказав: Кошелев тот же; он тебя любит и уверен в твоей любви.

Благодарю тебя за твои расспросы обо мне и буду охотно отвечать на них обстоятельно; ибо нет тяжелее состояния, как быть неузнанным теми, кого мы любим. Для меня на всем земном шаре существуют только два человека, которых одобрением я дорожу как собственным: это ты и Титов. И оба вы меня не поняли. Вы думаете, что я, не зная цены жизни, бесполезно трачу свое время, не сожалея о потерянных минутах и не имея в душе того огня, который не позволяет успокоиться в бездействии, за настоящим забываю и прошедшее, и будущее; что я произвольно предоставил обстоятельствам направлять мои поступки по воле случая и оправдываю это состояние (которое ты справедливо называешь состоянием ничтожества) тем, что в нем есть нечто поэтическое. Но в самом деле не знаю я: есть ли поэзия в произвольной утрате самобытности; знаю только, что я не искал такой поэзии. Но не вы виноваты в том, что не поняли меня; виноват один я или, лучше сказать, те обстоятельства, которые ввели меня в двумысленное положение.

Если бы перед рождением судьба спросила меня: что хочешь ты избрать из двух: или родиться воином, жить в беспрестанных опасностях, беспрестанно бороться с препятствиями и, не зная отдыха, наградой за все труды иметь одно сознание, что ты идешь к цели высокой, — и лечь на половине пути, не имея даже в последнюю минуту утешенья сказать себе, что ты видел желанное? или провести спокойный век в кругу мирного семейства, где желанья не выходят из определенного круга возможностей, где одна минута сглаживает другую, и каждая встречает тебя равно довольным, и где жизнь течет без шума и утекает без следа?.. Я бы не задумался о выборе и решительно рукою взял бы меч. Но, по несчастью, судьба не посоветовалась со мною. Она окружила меня такими отношениями, которые разорвать значило бы изменить стремлению к той цели, которая одна может украсить жизнь, но которые сосредоточивают всю деятельность в силу перенесения. И здесь существует для меня борьба, и здесь есть опасности и препятствия. Если они незаметны, ибо происходят внутри меня, то от того для меня значительность их не уменьшается.

В самом деле, рассмотри беспристрастно (хотя в теперешнем твоём положении это значит требовать многого): какое поприще могу я избрать в жизни, выключая того, в котором теперь нахожусь? – Служить – но с какою целью? Могу ли я в службе принести значительную пользу отечеству? <...>

Но если я теперь не делаю ничего, то причина тому, по несчастью, слишком достаточная. Я так расстроил свое здоровье в нынешнюю зиму, что всякое напряжение ума для меня вредно. Некоторые обстоятельства заставляют даже опасаться чахотки и потому ездить верхом, ходить, спать и прочее составляют все мои занятия. Даже кофе, на который ты так нападаешь, должен я был променять на шоколад à la santé. Трубка еще не покидает меня, но это потому, что она мне не вредит. Впрочем, образ жизни моей весьма однообразен. Утро я провожу в своей комнате, читаю романы, стихи и все то, что не требует большего труда. После обеда сплю, а вечером езжу верхом. Новых знакомств не делаю и выдаюсь почти только с Рожалиным, Полевым, Мицкевичем и Соболевским, с которым вместе езжу по окрестностям Москвы. Вот тебе подробный отчет обо всем, что до меня касается. Надеюсь получить от тебя такой же. Если же ты собираешься скоро к нам, то оставь Титову завещание: не ленись. Он стал ни на что не похож.

В начале 1827 года, когда в Москве возобновились литературные вечера у княгини З. А. Волконской, на которых бывал Киреевский, князь Вяземский успел взять с него слово написать что-нибудь для прочтения, и он написал «Царицынскую ночь». Это был первый литературный опыт Киреевского, сделавшийся известным многочисленному кругу слушателей и ныне впервые напечатанный. Весною 1828 г., когда московские литераторы провожали уезжавшего в Петербург Мицкевича, за ужином, при поднесении ему серебряного кубка, И. Киреевскому первому пришлось произнести свои стихи в честь польского поэта. В том же году он написал для «Московского вестника», издаваемого его друзьями Погодиным и Шевыревым, «Нечто о характере поэзии Пушкина». Статья была напечатана без подписи его имени и только с цифрами 9 и 11. Тогда же и Петр Киреевский напечатал в «Вестнике» отрывок из Кальдерона, переведенный им с испанского, и издал особой книжкой перевод байроновской повести «Вампир». Таким образом, в 1828 г. оба брата вместе выступили на литературное поприще.

А. И. КОШЕЛЕВУ

в 1828 г. октября 1-го

«Получивши твое письмо 17 сентября, я отложил ответ до сегодняшнего дня, потому что решился писать к вам, петербургским, только два раза в месяц, 1-го и 15, для того, чтобы писать, ибо иначе я вечно бы остался при одних сборах. Итак, ты не должен на меня сердиться за медленность ответа и наперед приучи себя ждать 2 недели, выключая экстренных случаев. Я лучше хочу наверное писать изредка, нежели собираться целый год – писать каждый день, т. е. я не хочу брать примера с людей, каков Кошелев. Нечего сказать, министр на обещания! Хотел писать часто и до сих пор написал только одно письмо; хотел прислать отрывки из своих сочинений об истории, и я уверен, и сочинения, и отрывки sind noch im Werden. Хотел перевести Cousin, хотел прочесть всего Гердера, и я дам руку отсечь, что ты одного не кончил, а другого и не начинал. Знаешь ли ты, отчего ты до сих пор ничего не написал? Оттого, что ты не пишешь стихов. Если бы ты писал стихи, тогда бы ты любил выражать даже бездельные мысли, и всякое слово, хорошо сказанное, имело бы для тебя цену хорошей мысли, а это необходимо для писателя с душой. Тогда только пишется, когда весело писать, а тому, конечно, писать не весело, для кого изящно выражаться не имеет самобытной прелести, отдельной от предмета. И потому: хочешь ли быть хорошим писателем в прозе? – пиши стихи. Я уверен, что Титов моего мнения. Что Шеллинг любит поэзию и хорошо знает всех древних и новых поэтов – это известно; но, читая его речь об искусствах, нельзя сомневаться, чтобы он в молодости не писал стихов. Зато Кант, поручусь, никогда не прибрал ни одной рифмы; зато они, незванные, приходили к нему в его прозе; зато читатели Канта к читателям Шеллинга как 5 к 5000. Из всего этого следует: Кошелев, пиши стихи! Не будешь писать стихов, не будешь иметь читателей, как бы твои мысли хороши ни были; следовательно: Кошелев, пиши стихи!

Я уверен, что не только для усовершенствования слога, но и для образования ума и воображения, для развития чувства изящного (которое, как мы с тобой знаем, есть начало, причина, мера и цель всякого усовершенствования), следовательно для счастья жизни, для красоты жизни, для возвышенности жизни, необходимо писать стихи: и потому, Кошелев, пиши стихи!

Ты, верно, согласен, что чем образованнее человек, тем он лучше владеет своим языком; но разве эту мысль и ты увидишь, что в ней самой заключается еще

другая: чем лучше человек владеет языком, тем он образованнее. Следовательно, опять возвратимся к моему припеву: Кошелев, пиши стихи!

Не думай, чтобы это была шутка, или что я пишу к тебе о стихах от нечего писать: нет, у меня это крепко лежит на сердце, и я считаю за долг говорить тебе о том, что мне кажется в тебе недостатком. Впрочем, если ты знаешь другое средство заставить себя заниматься языком для самого языка, тогда, пожалуй, можешь и не писать стихов. Но мне все-таки лучшим средством кажутся стихи, потому: Кошелев, пиши стихи!

Перейдем к прозе, т. е. к моим занятиям. С твоего отъезда мои занятия состояли в ничегонеделании. Прожектов много, но лени еще больше. Не думай, однако, чтоб я не писал стихов; я часто их делаю, хотя, разумеется, никому не показываю. Но мое стихотворство не помешает моей деятельности. Не знаю, отчего, мне даже некогда и читать то, что хочется, а некогда оттого, вероятно, что я ничего не делаю. Правда, я прочел комедий 200 после твоего отъезда, одну сыграл, одну перевел, но мои прожекты о Жуковском, о критике, о философии в России – до сих пор все еще прожекты. На днях намерен приняться за исполнение. Между тем много еще других сочинений-кандидатов, которые просятся в комплект, но которых я до сих пор оставляю при особенных поручениях. А между тем ты понимаешь, что они друг другу мешают, перебивают друг у друга места и проч. Но я буду писать, и скоро. Если бы ты знал, как весело быть писателем. Я написал одну статью, говоря по совести, довольно плохо, и если бы мог, уничтожил бы ее теперь. Но, несмотря на то, эта одна плохая статья доставила мне минуты неоцененные; кроме многого другого, скажу только одно: есть в Москве одна девушка, прекрасная, умная, любезная, которую я не знаю и которая меня от роду не видывала. Тут еще нет ничего особенно приятного, но дело в том, что у этой девушки есть альбом, куда она пишет все, что ей нравится, и, вообрази, подле стихов Пушкина, Жуковского и проч. списано больше половины моей статьи. Что она нашла в ней такого трогательного, я не знаю; но, несмотря на то, это одно может заставить писать, если бы даже в самой работе и не заключалось лучшей награды.

Кстати или не кстати: на другой день после твоего отъезда был у меня А. Н. со своей поэмой. Я уговорил его не печатать ее, не сделавши некоторых поправок; а поправки я ему задал такие, что, надеюсь, будет работы по крайней мере еще на год. Мне того только и хотелось, ибо в поэме много хороших мест, но вся она никуда не годится. Чем больше он будет поправлять ее, тем лучше. Я знаю, ты другого

мнения; но если ты хочешь спорить, то я возвращусь опять к старому припеву: Кошелев, пиши стихи. Между тем пиши письма. Сделай по-моему, пиши редко и много. Отчего бы, например, не развивать тебе твои мысли об истории в письмах ко мне! Мы будем спорить, толковать, и, право, это будет нам обоим полезно, а всего полезнее для твоего сочинения, ибо это заставит тебя невольно больше и чаще об нем думать. Одно условие: пиши без приготовлений, что в голову придет, и в том порядке, как придет в голову, иначе мне век не дожждаться твоего письма. Такая переписка всего лучше познакомит нас с положением друг друга; для нас теоретические мысли еще жизнь; наша опытность – опытность ума; покуда мы не будем богаче делами, чем мыслями, до тех пор вместо вопросов о здоровье, о житье-бытье и проч. нам надо спрашивать друг у друга: какие перемены в вашем образе мыслей? Ответом на этот вопрос мы скажем все. В старости будет у нас другая переписка.

Твоим мыслям о Cousin я очень рад. Что ты говоришь о его лекциях, я то же думал о его fragments philosophiques. Но я еще больше рад тому, что тебе нравится Гердер. Не испорченность ума, как ты думаешь, но большая зрелость заставляет тебя предпочитать поэтическое сухим выкладкам. Сам Шеллинг – поэт там, где дает волю естественному стремлению своего ума. Только необходимость приноравливаться к ограниченному понятию читателей заставляет его иногда быть сухим. Но, мне кажется, он в этом ошибся: кто не понял мысль чувством, тот не понял ее, точно так же, как и тот, кто понял ее одним чувством. Но для меня непонятно то, что ты говоришь о пламенной любви Гердера ко вселенной. Что такое любовь ко вселенной? Ты что-то не то хотел сказать.

Было у меня еще что-то сказать тебе, но теперь забыл. Прощай. Твой Киреевский».

В конце 1829 года М. А. Максимович, собираясь издать альманах «Денницу» на 1830 год, убедил Киреевского написать для нее «Обозрение русской словесности за 1829 год». И он охотно занялся этой второй статьей, написанной им для печати, и решился под ней в первый раз подписать свое имя.

В июле 1829 года Петр Васильевич Киреевский отправился за границу для слушания лекций в германских университетах. Ив. Вас. остался в Москве; он желал ехать в чужие края, прежде чем приступить к исполнению своих заветных предположений об издании журнала и заведении типографии. Его приковывали к Москве другие сердечные заботы. Иван Василье-

вич полюбил ту, которой впоследствии суждено было сделаться подругой его жизни, и в августе 1829 года искал ее руки; но предложение его, по некоторым недоразумениям, не было принято¹. Со стороны Киреевского это не была минутная страсть, скоропреходящее увлечение молодости: он полюбил всей душой, на всю жизнь, и отказ глубоко потряс всю его нравственную и физическую природу. Его и без того слабое здоровье, видимо, расстроилось, за него стали бояться чахотки, – и путешествие было уже предписано медиками как лучшее средство для рассеяния и поправления расстроенного здоровья. Иван Васильевич выехал из Москвы в начале января 1830 года и 11-го января был уже в Петербурге.

ПИСЬМА КИРЕЕВСКОГО ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

11 января 1830. 11 часов вечера.

«...Как провели вы нынешний день? Я встретил его тяжело, а кончил грустно, следовательно легче; я кончил его с Жуковским, у которого в комнате пишу теперь. Хотелось бы рассказать вам все, что было со мною до сих пор и, лучше сказать, было во мне, но этого так много, так смешано, так нестройно. Оставляя Москву, я уже оставил родину; в ней все, что в отечестве не могила, и все, что могила; я оставил все». <...>

12 января.

«Я приехал в Пбрг вчера в два часа. В конторе дилижансов меня ждали уже два письма: одно от А. П., другое от Жуковского. Первая приискала для меня квартиру, а Василий Андреевич звал переехать прямо к нему. Я так и сделал. Жуковский обрадовался мне очень и провел со мною весь вечер, расспрашивал обо всех вас, радовался моему намерению ехать учиться и советовал ехать в Берлин, хотя на месяц. “Там на месте ты лучше увидишь, что тебе делать: оставаться в Берлине или ехать в Париж”. Последнее, однако, кажется, ему не нравится. Я послушаюсь его, поеду в Берлин, проведу там месяц, буду ходить на все лекции, которые меня будут интересовать, познакомлюсь со всеми учеными и примечательными людьми, и если увижу, что берлинская жизнь полезнее для моего образования, нежели сколько я ожидаю от нее, то останусь там и больше... Разговор Жуковского я в свя-

¹ Речь идет о Наталье Петровне Арбеновой. – *Сост.*

зи не припомню. Вот вам некоторые отрывочные слова, которые остались у меня в памяти; вообще каждое его слово, как прежде было, носит в себе душу, чувство, поэзию. Я мало с ним разговаривал, потому что больше слушал и старался удерживать в памяти все хорошо сказанное, т. е. все похожее на него; а хорошо сказано и похоже на него было каждое слово.

При нем невольно теплеешь душою, и его присутствие дает самой прозаической голове способность понимать поэзию. Каждая мысль его – ландшафт с бесконечною перспективою. Вот что я запомнил из его разговора: “Из всех нас твоя мать переменялась меньше всех. Она все та же, по крайней мере так кажется из ее писем. Все, кажется, она пишет *одно* письмо. Ты будешь со временем писателем, когда поучишься хорошенько. Теперь об этом еще и думать рано. У тебя в слог, сколько я читал твои сочинения, есть свой характер; – виден человек мыслящий, но еще молодой, который кладет свои мысли на Прокрустову постель. Но со временем это качество может быть полезно, ибо это доказывает привычку думать. Теперь тебе надо наблюдать просто, бескорыстно. Теории только вредны, когда мало фактов. Замечай сам все и не старайся подвести под систему твои наблюдения; бойся вытянуть карлу и обрубить ноги великану. Впрочем, слог твой мне нравится. Знаешь ли, у кого ты выучился писать? – у твоей матери. Я не знаю никого, кто бы писал лучше ее. Ее письма совсем она. Она, М. А. и А. А. – вот три”. <...>

Когда Опухтин уехал, я опять пришел к Ж. Ему принесли “Северную пчелу”, и разговор сделался литературный. Про Булгарина он говорит, что у него есть что-то похожее на слог и, однако, нет слога; есть что-то похожее и на талант, хотя нет таланта; есть что-то похожее на сведения, но сведений нет; одним словом, это – какой-то восковой человек, на которого разные обстоятельства жизни положили несколько разных печатей, разных гербов, и он носится с ними, не имея ничего своего. <...>

Я был вчера в Казанском соборе и слушал Евангелие, загадавши, но не расслушал ни одного слова, кроме последнего: “*И возвратится в дом свой*”.

<...>

От 15 января.

«...Я всякий день вижусь со своими петербуржцами: с Титовым, Кошелевым, Одоевским и Мальцевым. Пушкин был у нас вчера и сделал мне три короба комплиментов о моей статье. Жуковский читал ему детский журнал, и Пушкин смеялся

на каждом слове, – и все ему понравилось. Он удивлялся, ахал и прыгал; просил Жуковского “Зиму” напечатать в “Литературной газете”, но Ж. не дал. На “Литературную газету” подпишитесь непременно, милый друг папенька; это будет газета достоинства европейского; большая часть статей в ней будет писана Пушкиным, который открыл средство в критике, в простом извещении о книге быть таким же необыкновенным, таким же поэтом, как в стихах. В его извещении об исповеди амстердамского палача вы найдете, как говорит Жуковский, и ум, и приличие, и поэзию вместе». <...>

Письмо В. А. ЖУКОВСКОГО

Среда 21 января, Спб., 1830.

«...Нынче в 10 часов отправился наш милый странник в путь свой, здоровый и даже веселый. Мы с ним простились у самого дилижанса, до которого я его проводил. Ему будет хорошо ехать. Повозка теплая, просторная; он не один; хлопот не будет никаких до самого Берлина. Дорога теперь хороша, и езда будет скорая. В Берлине ему будет, надеюсь, приятно. Я снабдил его письмами в Ригу, Берлин и Париж. В Риге один мой добрый приятель поможет ему уладить свои экономические дела, то есть разменять деньги выгоднейшим образом. В Берлине мое письмо познакомит его прозаически с нашим послом, который даст ему рекомендательные письма далее, и поэтически с Гуфландом, который потешит душу его своею душою. В Париже он найдет Тургенева, которого я просил присоседить его к себе и быть ему руководим на парижском паркетe. Для меня он был минутным милым явлением, представителем ясного и печального, но в обоих образах драгоценного прошедшего и веселым образом будущего, ибо, судя по нем и по издателям нашего домашнего журнала (особливо по знаменитому автору заговора Катилины) и еще по мюнхенскому нашему медвежонку, в вашей семье заключается целая династия хороших писателей – пустите их всех по этой дороге! Дойдут к добру. Ваня – самое чистое, доброе, умное и даже философическое творение. Его узнать покороче весело. Вы напрасно так трубили его житья-бытья в Петербурге: он не дрожал от холода, не терпел голода в трактире; он просто жил у меня под родным кровом, где бы и вам было место, если бы вы его проводить вздумали, и напрасно не вздумали. К несчастью, по своим занятиям я не мог быть с ним так много, как бы желал <...>. Я познакомил его с нашими отборными авторами; показывал ему Эрмитаж. Более

вместе нигде быть не удалось. Но Петербург от него не убежит: через 2 года вы приедете его встретить здесь и вместе с ним и со мною все осмотрите. Удивляюсь, что вы не получали писем от него. Он писал их несколько раз с дороги и почти всякий день из Петербурга. Я не писал оттого, что он писал. Теперь пишу о нем, чтобы вы были совершенно спокойны на его счет: здоров и весел. До известной вам раны я не прикасался, дорога затянёт ее...». <...>

Иван Васильевич Киреевский воротился в Москву 16 ноября, через неделю приехал и Петр Васильевич, промедливший поневоле несколько дней в Киеве¹. На этот раз холера, слава Богу, не коснулась их семьи и оба брата нашли здоровыми всех своих близких и друзей.

В продолжение 1831 года И. В. Киреевский написал несколько водевилей и комедий, которые были разыграны на домашнем театре. Вместе с Языковым написал он «Вавилонскую принцессу», драматическую фарсу в прозе, перемешанную стихами, и осенью приступил к исполнению давно задуманного плана: изданию журнала. Название «Европеец» достаточно указывает на тогдашний образ мыслей Киреевского. Ревностными сотрудниками «Европейца» в Москве были Языков, Баратынский и Хомяков; в Петербурге Жуковский, кн. Вяземский, А. И. Тургенев и кн. Одоевский. В конце этого года Жуковский приехал в Москву и от-

¹ П. В. проехал через Варшаву накануне возмущения. Курьер, привезший известие о вспыхнувшем возмущении, приехал в Киев несколькими часами прежде Киреевского. В Киеве в полиции отказались дать свидетельство для получения подорожной; полиции показалось странным, что человек спешит в чумный город, из которого все старались выехать; польское окончание фамилии на -ский; паспорт, в котором было прописано, что при г-не Киреевском человек, между тем как он возвращался один, ибо человек был отпущен несколько месяцев прежде; все эти обстоятельства показались подозрительными – и полиция не дозволила выехать из города без высшего разрешения. Мюнхенского студента потребовали явиться к генерал-губернатору: тогда ген.-губ. был Княжнин. Он принял Киреевского строго и сухо, предложил ему несколько вопросов и, выслушав ответы, в раздумье начал ходить по комнате. Молодой Киреевский, не привыкший к таким начальническим приемам, пошел вслед за ним. «Стойте, молодой человек! – воскликнул генерал-губернатор, закипевший от негодования. – Знаете ли вы, что я сейчас же могу засадить вас в каземат, и вы сгниете там у меня, и никто никогда об этом не узнает?» – «Если у вас есть возможность это сделать, – спокойно отвечал Киреевский, – то вы не имеете права это сделать!» – «Ступайте», – сказал ген.-губернатор, несколько устыдившись своей неуместной вспыльчивости, и в тот же вечер приказал выдать подорожную.

дал для первого номера свою сказку «О спящей царевне» и тотчас после выхода первой книжки прислал «Войну мышей и лягушек», «Суд Божий», «Царя Берендея» и несколько мелких пьес, почти что целый том стихотворений. Пушкин, довольный разбором «Бориса Годунова», написал Языкову, что прийдет для «Европейца» все, что будет им окончено, радовался новому журналу и обещал свое полное и деятельное сотрудничество. «Европейцу» предстояла блестящая будущность; все, что было знаменитого тогда в литературе, блестящие таланты того времени, которыми по справедливости всегда будет гордиться русская словесность, люди эти бескорыстно соединились для дружной деятельности. Но «Европейца» вышло только две книжки; все, что было в этих книжках самого Киреевского, ныне перепечатано вполне. Читатель может ясно видеть, что в статьях сих нет ничего возмутительного, ничего такого, что мог бы вычеркнуть самый подозрительный цензор нашего времени. Но у Киреевского было много врагов литературных, которым не нравился успех нового журнала и которые не могли забыть его прежних критических разборов. Статья его «XIX век» была перетолкована, и 22 февр. 1832 года журнал был запрещен. В запретительной бумаге было сказано: что «хотя сочинитель и говорит, что он говорит не о политике, а о литературе, но понимает совсем иное: под словом *просвещение* он понимает свободу, *деятельность разума* означает у него революцию, а *искусно отысканная середина* не что иное, как конституция; статья сия не долженствовала быть дозволена в журнале литературном, в каковом запрещается помещать что-либо о политике, и вся статья, невзирая на ее нелепость, писана в духе самом неблагонамеренном». Далее разбор представления «Горе от ума» признан за самую непристойную выходку против находящихся в России иностранцев. Почему цензор был подвергнут законному взысканию, продолжение журнала воспрещено, и Киреевский официально признан человеком *неблагомыслящим* и *неблагонадежным*. Цензор Серг. Тим. Аксаков, пропустивший в то же время шуточную поэму «12-ть спящих буточников», вскоре был отставлен. Киреевскому, кроме запрещения журнала, угрожало удаление из столицы, и он спасен был только горячим и энергическим заступничеством В. А. Жуковского.

Счастливы мы, что живем в такие времена, когда не только возможно перепечатать статьи, вполне безвредные, не только возможно рассказать о тогдашней цензурной придирчивости, но когда подобные цензурные дела перешли уже в область предания, которому верится с трудом, стали делами давно минувших дней, глубокой стариной, которой, слава Богу, конечно не суждено уже возродиться.

Глубоко поразила Киреевского эта неудача на поприще журнальной деятельности, он смотрел на нее как на лучшее средство быть полезным отечеству, готовился к ней как к святому подвигу жизни, и деятельность эта, поддержанная дружеским сотрудничеством людей, мнением и одобрением которых он дорожил еще более, чем блеском успеха, деятельность эта была внезапно порвана при самом начале. Киреевский перестал вовсе писать. В продолжение 11-ти лет им не было написано ни одной статьи, под которой он подписал свое имя. Маленький разбор стихотворений Языкова, помещенный в «Телескопе», был напечатан без имени. Близкие друзья его и даже сам Языков не знали, что статья принадлежит ему. Небольшая статья о русских писательницах была написана по просьбе Анны Петровны Зонтаг для «Одесского альманаха», изданного с благотворительной целью. Повесть «Опал» и другой отрывок из повести были написаны для «Европейца», хотя и были напечатаны впоследствии. В продолжение двенадцати лет Киреевский почти ничего не писал, и когда он снова начал печатно высказывать свои мысли (1845), они по направлению были во многом не согласны с теми мнениями, выражением которых служил «Европеец».

Повторим здесь слова Хомякова: «...слишком рано писать биографию Киреевского; о движении и развитии его умственной жизни говорить еще нельзя, они так много были в соприкосновении с современным и еще недавно минувшим, что невозможно говорить о них вполне искренно и свободно». В этом очерке мы и не думаем писать полной его биографии; передавая в хронологическом порядке письма его к семье и друзьям, мы старались сделать несколько объяснительных примечаний, рассказать о тех внешних событиях его жизни, во время которых были писаны его сочинения и письма, ныне печатаемые. Мы вовсе не думали анализировать движение его умственной жизни; заметим одно: мог измениться его взгляд

на многие исторические явления, на значение петровского преобразования, даже на все наше просвещение в отношении к просвещению западному, но в самом Киреевском не было резких противоречий. Читатель может видеть еще до издания «Европейца» из его письма об Шлейермахере, что и тогда Киреевского не удовлетворила рассудочная раздвоенность немецкого философа-богослова; что он и тогда требовал цельности воззрения, хотя и не высказывал прямо этого слова. В нем самом не было этой раздвоенности; его сердечная уверенность никогда не была в разладе с его логическими выводами. «Кто не понял мысли чувством, тот еще не понял ее вполне, точно так же, как и тот, кто понял ее одним чувством», – писал Киреевский в 1827 году. Логический вывод был у Киреевского всегда завершением и оправданием его внутреннего верования и никогда не ложился в основание его убеждения.

Подле Киреевского, неразлучно с самых первых лет детства, был его брат Петр Васильевич. Они были связаны такой нежной, горячей дружбой, которая бывает редка даже между братьями. Мы видели выше из писем Ивана Васильевича, как высоко он ценил своего меньшего брата, но в эпоху запрещения «Европейца» взгляды их во многом были несходны. Щедро одаренный от природы¹, Петр Васильевич смолоду с особенной любовью сосредоточил все свои силы над изучением русской старины и выработал свой самостоятельный взгляд – глубокое убеждение в безусловном вреде насилия петровского переворота, в этом отступничестве дворянства от коренных начал русской народной жизни. Он долго оставался одинок с сво-

¹ Петр Вас. говорил и писал на семи языках; светлый ум его был обогащен многообразными сведениями, но способности его были гораздо меньше блестящи, нежели у старшего брата, ибо он не был так красноречив и писал с большим трудом. Единственная статья его была написана для «Москвитянина» 1845-го года; из переводов его молодости остались в рукописи несколько оконченных трагедии Кальдерона (с испанского) и Шекспира. Его перевод истории Магомета, Вашингтон Ирвинга, был напечатан после его смерти. Свой подвиг собиранья русских песен он начал летом 1831 года. В молодости Петр В. был крайне застенчив, потому из друзей брата с ним сдружались только те, кого судьба приводила пожить несколько лет под одной кровлей. Одинаковость основных убеждений заставила Хомякова искать сближения с ним. Он говорил, что не видывал человека с большими миссионерскими способностями. Вспомним здесь другое справедливое замечание Хомякова: невозможна отдельная биография Ивана В., так же как невозможна отдельная биография Петра В., возможна только биография братьев Киреевских.

ими убеждениями, они казались чудачеством, непоследовательностью в человеке, который искренно был предан свободе и просвещению, и Ивану Киреевскому трудно было согласить свои европейские мнения с упорным славянством брата. Их разномыслие в таком жизненном вопросе выражалось почти что в ежедневных горячих спорах, состояние это не могло не быть крайне тяжелым для того и другого; чтобы уцелела вполне их единодушная дружба, необходимо было, чтобы один из них пересоздал свой образ мыслей о русском народе. Кажется, можно с уверенностью сказать, что при непрерывном страстном обмене мыслей и сведений взгляд старшего брата постепенно изменялся по мере того, как несокрушимо цельное убеждение младшего укреплялось и определялось изучением современной народности и древней, вечевой Руси.

Иван Киреевский был дружен с Дмитрием Влад. Веневитиновым и еще с 1824 года был знаком с другом Веневитинова, Алек. Степ. Хомяковым; после запрещения «Европейца» короткое знакомство их перешло в дружбу. Ал. Ст. Хомяков был ревностный исполнитель обрядов Православной Церкви еще в то время, когда в высшем обществе, воспитанном на французский лад, неверие считалось признаком либеральности, а Православие едва ли не служило синонимом невежества. Для многих, не коротко знавших Хомякова, его строгое постничество казалось одним желанием идти наперекор принятых обычаев света для того, чтобы вызвать на спор и в споре потешить свои блестящие диалектические способности. Киреевский был дружен с ним и знал, что в Хомякове все было искренно, все основывалось на твердой и сознательной вере и что эта животворящая струя проникла в нем все изгибы его бытия. Духовную высоту, нравственную чистоту его характера Киреевский ценил выше и его прекрасного поэтического таланта, и гениальных способностей его ума. Хомяков с ранней молодости был славянофилом; в этом отношении он дружно сошелся с Петром Киреевским и один из первых и вполне оценил, узнал его.

В 1834 году исполнились давнишние сердечные желания Киреевского. В марте месяце он помолвлен и 29 апреля женился на Наталье Петровне Арбеновой. Вскоре после свадьбы он познакомился с схимником Новоспасского монастыря отцом Филаретом, и когда впоследствии короче узнал

его, стал глубоко уважать и ценить его беседы. Во время предсмертной болезни старца И. В. ходил за ним со всей заботливостью преданного сына, целые ночи просиживал в его келье над постелью умирающего. Конечно, это короткое знакомство и беседы схимника не остались без влияния на его образ мыслей и содействовали утверждению его в том новом направлении, которым были проникнуты его позднейшие статьи.

С 1834 года Киреевский проводил почти всегда зимы в Москве, уезжая на лето в свое Долбино. Зимой 1839 года у него бывали еженедельные вечера для небольшого круга его друзей. По условию, каждый из посетителей должен был по очереди прочесть что-нибудь вновь написанное. Тут несколько раз читал Гоголь свои комедии и первые главы тогда еще не изданных «Мертвых душ»; для этих вечеров была написана покойным профессором Крюковым прекрасная статья о древней греческой истории и А. С. Хомяков написал статью «О старом и новом». Статья эта в некоторых частностях как будто противоречит выраженному впоследствии взгляду Алексея Степановича на русскую историю; но она никогда не предназначалась для печати. Очень может быть, что Хомяков написал ее с намерением вызвать возражение со стороны Киреевского. Ответная статья Киреевского принадлежит уже к его позднему направлению, тому направлению, которое впоследствии он сам называл православно-славянское, «которое преследуется странными нападениями, клеветами, насмешками, но во всяком случае достойно внимания как такое событие, которому, по всей вероятности, предназначено занять не последнее место в судьбе нашего просвещения». Во главе этого нового умственного движения были братья Киреевские и Хомяков, и вокруг них собралось несколько молодых и сочувствующих людей, между коими нельзя не вспомнить Дмит. Александр. Валуева, племянника Языкова, выросшего вблизи Киреевских и развитием своим во многом обязанного их влиянию. Валуев скончался в первой молодости, но без отдыха до самой смерти во вред своему здоровью, сгорая жаждой деятельности, неутомимо трудился над задуманными им изданиями. Первые тома «Славянского» и «Синбирского сборников» должны были быть началом обширного предприятия. Кто знал твердую волю и неутомимое трудолюбие покой-

ного Валуева, тот смело мог бы поручиться, что наша ученая литература обогатилась бы многими и многими книгами. Если бы смерть прежде времени не подкосила эту молодую, деятельную жизнь. Два сборника, изданные Валуевым, первые по времени книги, которые вполне принадлежат московскому славянскому направлению. «Москвитянин», начавшийся в сороковых годах, несмотря на сочувствие к славянам, на уважение к древней русской истории, никогда не был вполне выражением того образа мыслей, во главе которого стояли Хомяков и Киреевские. До 1845 года Киреевские вовсе не участвовали в «Москвитянине»; участие Хомякова было отрывочно; это было переходное время, когда еще два мнения не разделились на два отдельные лагеря, когда в «Библиотеке для воспитания» (издание, выходившее под редакцией Валуева) участвовали и Грановский, и Хомяков, и Киреевский (Киреевским написана была для «Библиотеки» краткая биография Баратынского). К сожалению, сохранилось весьма мало писем Киреевского этой переходной эпохи, отчасти оттого, что он в это время редко уезжал надолго из Москвы и поэтому не писал писем к друзьям, с которыми часто видался. Помещаем здесь письма к Н. М. Языкову и к А. С. Хомякову. <...>

А. С. ХОМЯКОВУ

1840 г. 15-го июля.

«Эти последние дни я был не совсем здоров. Однако воспользовался этим случаем, чтобы только читать, что, по словам Фихте, то же, что курить табак, т. е. без всякой пользы приводить себя в состояние сна наяву. Впрочем, в деревне мне трудно и читать, потому что трудно не перерываться вставать поздно и ночью писать. Днем я решительно не могу ни писать, ни жить, разве. Зато ночь моя собственная. Теперь не зайдет ко мне ни управитель, ни сосед. Окно открыто, воздух теплый, самовар мой кипит, трубка закурена, давай беседовать!» <...>

С 1839-го года Киреевский был почетным смотрителем Белевского уездного училища. Он принял это место не для того, чтобы считаться на службе и, ежегодно жертвуя небольшую сумму денег, получать чины, но добросовестно исполнял свою должность, следил за направлением и ходом

преподавания и принимал живое участие в успехе учеников. В 1840-м им была написана особая записка «о направлении и методах первоначального образования народа», поданная тогдашнему попечителю учебного округа графу Сергею Григорьевичу Строганову. В 1854-м представил он другую записку: о преподавании славянского языка совместно с русским¹, – вследствие которой преподавание славянского языка было введено в Белевское училище. Ревностно желая быть полезным делу просвещения в России, Киреевский, сознавая свои силы, не мог удовлетвориться деятельностью смотрителя уездного училища. В сороковых годах в Московском университете кафедра философии, ограниченная тогда одной логикой, оставалась без преподавателя. Иван Васильевич искал этой кафедры; по этому случаю была им написана записка о преподавании логики, представленная им попечителю Московского университета графу Строганову. Университетская кафедра была бы, конечно, для него самым лучшим поприщем; здесь вполне могли бы раскрыться способности его, которыми так богато одарила его природа. Все, что писал Киреевский, носит в себе несомненный признак даровитости; но даровитость эта еще ярче отражалась в его разговорах. Киреевский был увлекательно красноречив и говорил гораздо лучше, нежели писал; и, конечно, силой своего таланта плодоносно и благотворно действовал бы на умы молодого поколения. К сожалению, намерение его не могло исполниться. Кажется, что память о «Европейце» и официальная неблагонадежность тяготели над ним и заграждали ему путь к кафедре, хотя мысли, высказанные в «Европейце», сделались почти что ходячими в русской литературе и давно перестали считаться опасными.

В 1844-м году друзья Киреевского, зная, что по характеру его срочная работа всего более могла побуждать к деятельности, желали снова подвигнуть его на поприще журналистики. Но в те поры не было и надежды получить позволение издавать новый журнал. Михаил Петрович Погодин, подвергнувшийся в то время разным несчастьям, предложил передать Киреевскому «Москвитянин». Киреевский в это время был в деревне, переговоры шли без него. Помещаем здесь письма Ивана Васильевича к брату его Петру Васильевичу.

¹ О нужде преподавания церковнославянского языка в уездных училищах. – *Сост.*

«Спасибо, брат Петр, что ты не поленился побывать у Погодина и написать ко мне, но все я не понимаю хорошо, отчего вы не решите дело без меня и чего именно вы от меня требуете? Я назначал четверых, потому что предполагал их в Москве; но за отсутствием их ты мог бы с Погодиным решить все вдвоем. По крайней мере отбери у него его условия и напиши их мне или уговори его написать самого или продиктовать, если он писать не может. Если, как вероятно, эти условия будут для меня возможны, то так дело и уладится. Если же я найду их почему-либо для меня неудобноисполнимыми, то напишу ему, и тогда по крайней мере будет дело ясно. Хомяков писал ко мне, но не знаю с согласия ли Погодина, что надобно будет отделить известное число подписчиков на расходы по журналу, а сколько именно, это лучше всего может знать сам Погодин по опыту; потом следующие затем 100 подписчиков в пользу Погодина – на это условие я согласен.

Но так как я думаю, что первый год будет мне средством к знакомству с публикой, то надеюсь иметь в следующие годы больше подписчиков; оттого надобно, чтобы Погодин лишил себя права отнять у меня журнал иначе, как с моего согласия.

Но прежде всего и самое существенное – это получить позволение; без того все расчеты пишутся на воздухе.

Если министр будет в Москве, то тебе непременно надобно просить его о песнях, хотя бы к тому времени тебе и не возвратили экземпляров из цензуры. Может быть, даже и не возвратят, но просить о пропуске это не мешает. Главное, на чем основываться, – это то, что песни народные, а что весь народ поет, то не может сделаться тайною, и цензура в этом случае столько же сильна, сколько Перевощиков над погодою. Уваров верно это поймет, также и то, какую репутацию сделает себе в Европе наша цензура, запретив народные песни, и еще старинные. Это будет смех во всей Германии.

А тебе в самом деле без стиховного отдела мудрено издавать. В этом-то и главная особенность твоего собрания. Лучше бы всего тебе самому повидаться с Уваровым, а если не решишься, то поговори с Погодиным».

15-го мая 1844.

«Я не мог приехать, друг Петр, между прочим и потому, что был болен, простудил горло и несколько времени не выходил из комнаты, а когда выздоровел, то не знал, застану ли уже кого в Москве, потому что о времени отъезда Х. мне не писал, а уведомил только, что скоро – наречие неопределенное, требовавшее частицы не.

Вообще вы пишете очень необстоятельно и читаете письма также. Напр., кто тебе сказал, что труд этот был бы для меня чрезмерно тяжел? Напротив, я жажду такого труда, как рыба, еще не зажаренная, жаждет воды. И с вашею помощью надеюсь одолеть его. Если же правда, что мое участие могло бы расколыхать деятельность моих друзей, то это счастье было бы для меня величайшею причиною желать согласиться на ваше предложение. Но хочу только не ввести никого в ответственность и не прятаться как злоумышленник. На ряд имен я мог бы согласиться в таком случае, если бы мое было позволено с сознанием, что оно мое. Если Погодин возьмется исходатайствовать это, то на ряд имен я готов согласиться, разумеется, с тем, чтобы это нисколько не стесняло моих убеждений. Тогда пусть этот ряд издает «Москвитянина» нынешний год, а я приеду участвовать к осени. Условия пусть делает Хомяков, так чтобы и Погодину было выгодно, и журнал мог идти.

«На будущий год я бы думал: хорошо завести следующую систему издания: 1. Самую аккуратную бухгалтерию. 2. Начать журнал, когда бы он имел 1000 подписчиков, и уменьшить объем, если будет меньше. 3. Все остающееся количество сбора за расходами употребить на плату за статьи, считая оригинальные втрое против переводных, также уменьшать и увеличивать плату по мере подписчиков.

Этот расчет сделать легко, и при аккуратной бухгалтерии ни один участник не будет считать себя обманутым и журнал будет иметь сотрудников. При каждом № на обертке печатать число подписчиков и расчет суммы, следующей участникам.

Сообщи это письмо Хомякову и пришли мне ответ скорый, т. е. немедленный. Если и ты, и Хомяков заленитесь писать, то поручите кому-нибудь. Но поймите меня хорошенько; я согласен на ваши предложения только в случае официального позволения, и притом при таком устройстве, чтобы при скоропостижной смерти Жуковского никто не пострадал от меня, и при жизни и здоровье Ж. чтобы я не был стеснен чужою волею.

Кажется, требования мои справедливы и нельзя быть сговорчивее. Впрочем, удастся ли это дело или нет, но скажу тебе, что я уже извлек из него такие выгоды, которые превышают всякую неудачу. Без преувеличения могу сказать, что я имел минуты настоящего счастья, соображая все дружеское участие в этом деле именно тех, кто так высоко у меня в сердце.

О песнях твоих нельзя ли написать еще раз к К. А то ты, пожалуй, способен отложить еще на год. Хотя я и очень рад бы был твоему приезду, но еще лучше желал бы тебя видеть с книгою, чем с рукописью. Кто притеснил Языкова и при-

нудил его бросать свой бурмицкий бисер в такую выпачканную свинью? Обнимаю тебя. Твой брат И. К.

«Нельзя ли в ответе твоём или кому ты поручишь, сообщить мне твоё мнение особенно, Хомякова особенно и предложение Погодина особенно.

Если бы вы согласились на переговоры с С., то это дело можно бы было поручить Грановскому, который, конечно бы, не отказал и исполнил бы в меру, ясно, благородно и удовлетворительно. Подумай об этом. Кажется, при самом дурном результате будет выгода, т. е. мы будем знать, чего надеяться нельзя».

Жажда деятельности была так сильна, что Киреевский принял участие в издании «Москвитянина», не получив официального разрешения, о котором он так много заботился. Им изданы были три первые книги «Москвитянина» на 1845-й год. Они во многом напоминают книжки «Европейца». Снова Жуковский поспешил прислать все, что им было написано в стихах, и несколько отрывков в прозе, с посланием, которое начиналось:

Слух до меня достиг на берег Майна,
Что ты, Киреевский, мой друг,
Задумал быть Москвитянином.

Многие имена прежних сотрудников «Европейца» являются участниками обновленного «Москвитянина»: Александр Ив. Тургенев, Хомяков, Языков, князь Вяземский. Но в статьях самого Киреевского и в прозаических статьях Хомякова светит уже другое направление, и достаточно поименовать других сотрудников Киреевского: его брата, Петра Вас. Киреевского, Константина Сер. Аксакова, Дм. Ал. Валуева, Вас. Алекс. Панова, Мих. Алекс. Стаховича, Як. А. Линовского (страшно сосчитать, в какое короткое время и скольких уже нет!), — достаточно назвать сии имена и имена других, слава Богу, еще живых деятелей, чтобы увидеть, что здесь начинается высказываться то убеждение, органом которого впоследствии служили «Московский сборник» и «Русская беседа». Под редакцией Киреевского были изданы только три первые книжки «Москвитянина» на 1845-й год и переданы многие материалы для 4-го номера. Невозможность

издавать журнал, не будучи его полным хозяином и ответственным издателем, и отчасти расстроенное здоровье заставили Киреевского отказаться от редакторства. Летом 1845 года Киреевский переехал в свое Долбино и оставался здесь до осени 1846 года. 1846-й год, по словам Киреевского, был один из самых тяжелых в его жизни. В этот год он похоронил свою маленькую дочь и лишился многих близких друзей. Почти что в один год скончались Дм. Ал. Валуев, Алек. Ив. Тургенев, Алек. Анд. Елагин, Ник. Мих. Языков. Помещаем здесь письма Киреевского к матери о кончине Языкова; оба письма писаны уже после кончины Николая Михайловича, но Киреевский, зная, как глубоко огорчит это известие, желал приготовить к нему и потому написал прежде об опасной болезни.

1846 г. Декабрь.

«Милая маменька!

«До нас дошли слухи о вашем нездоровье; очень страшно и грустно за вас. Ради Бога, будьте здоровы! – Я хотел было ехать к вам, но остановился дожидаться письма от вас, потому что у меня тоже не совсем здоровы жена и маленькая Маша...

В Москве нового мало. Бедный Языкушко очень болен. Кажется, после таких беспрестанных 15-летних страданий, расстроивших его весь организм, мудрено поверить Иноземцеву, который видит надежду выздоровления. Иногда думаю, что не эгоизм ли это с нашей стороны – желать ему продолжения страданий, ему, которого чистая, добрая, готовая к небу душа, утомленная здесь, верующая, жаждущая другой жизни, не может не найти там тех радостей, которых ожидает. Здесь ему буря непогоды, за которой он давно предчувствовал, что есть блаженная страна. Впрочем, все во власти Того, Кто лучше нас знает, что лучше. Потому я не прошу у Него ни того, ни другого, а только чтобы уметь просить Его Святой воли.

В Москве теперь делает большой шум диссертация Аксакова. Она наконец напечатана в огромной книге, с лишком 30 листов убористого шрифта, и через две недели по выходе вдруг запрещена, остановлена в продаже и должна опять перепечатываться. В самом деле, кажется, что это насмешка непростительная, если это только не просто глупость источника нашего ума – Московского университета. Пропустить книгу целым советом профессоров, печатать ее полтора года и потом велеть перепечатывать!

Простите, обнимаю вас, до завтрашней почты».

«Милая маменька, сейчас получил письмо от вас и от Маши. Вы пишете, что все нездоровы, и не описываете чем, — это нехорошо и дает беспокойство. У нас горе: бедный Языкушко болен. Я хотел писать к брату, но так как он теперь у вас, то сообщите вы ему. За Хомяковым я послал эстафету. У него (Языкова) горячка, он простудился, выпивши стакан холодной воды. Бредит стихами, в которых слов нельзя разобрать, и что-то поет. В ночь с воскресенья на понедельник он исповедался и приобщился, был в чистой памяти, распорядился всеми своими делами. Он потребовал священника в 4-м часу ночи, несмотря на то, что Иноземцев уверял его, что болезнь не опасна и что уверен в его выздоровлении. Языков с твердостью настоял на своем желании, говоря, что это лекарство лучше всех и что оно одно ему осталось. После того ему было лучше. Иноземцев не предвидел близкой опасности. В среду ему было гораздо лучше, Иноземцев успокоил всех; в четверг стало хуже. Иноземцев в 2 часа пополудни нашел его в бреду и велел поставить шпанскую муху, хотел заехать в 9 часов, узнать, как подействовала шпанская муха, но в 5 часов Языков успокоился. До этой минуты жизнь его была страдальческая. Он перешел в другую светлую, достойную его светлой, доброй души. Нет сомнения, что если кому-либо из смертных суждено там славить величие и красоту и благодать Господа, то, верно, из первых ему. И. М. здесь. А. М. был здесь и уехал в Симбирск, по необходимым делам, в прошедшую пятницу. Лицо Языкушки светло и спокойно, хотя носит печать прежних долгих страданий, залог будущих теперь наступивших утешений. Накануне кончины он собрал вокруг себя всех живущих у него и у каждого поодиночке спрашивал, верят ли они воскресению душ? Когда видел, что они молчат, то просил их достать какую-то книгу, которая совсем переменит их образ мыслей, — но они забыли название этой книги! Обстоятельство крайне замечательное, теперь они стараются всеми силами и не могут вспомнить. Очевидное и поразительное доказательство таинственного Божьего смотрения о спасении и руководстве душ человеческих. Прощайте, обнимаю вас за жену и за детей. Ваш сын И. К.

Пожалуйста, напишите о себе и заставьте Петруху брата написать также. Скажите ему не вдруг об Яз. Я боюсь, что это слишком поразит его. Приготовьте также и Петерсона. Это будет в завтрашних газетах, потому боюсь теперь не сообщить вам».

10-го января 1847.

«Обнимаю тебя, друг брат Петруха, и вместе с тобою и со всеми вами соединяюсь мысленно и сердечно, чтобы поздравить вас с завтрашним днем.

Я не писал к тебе перед Новым годом, потому что не нашел в себе духу говорить тебе о бедном нашем Языкушке. Из письма моего к маменьке, писанного 27-го декабря, ты узнаешь подробности о его последних минутах; они были святы, прекрасны и тихи. Хомяков приезжал на несколько часов и, похоронив Языкова, тотчас отправился к жене в деревню, потому что она больна. Тут я видел в первый раз, что Хомяков плачет; он переменялся и похудел, как будто бы встал из длинной болезни. Тело положили в Данилове подле Валуева. Шевырев написал об нем прекрасную статью в городском листке. Он вспоминает всю его жизнь его же стихами.

Сегодня жду писем из Петрищева; очень боюсь за маменьку. У меня тоже не совсем здоровы жена и маленькая Машенька. В этот год я перешел через ножи самых мучительных минут, сцепленных почти непрерывными бедами, так что когда я нес мою бедную Катюшу в церковь, то это было уже почти легко в сравнении с другими чувствами.

Обнимаю тебя крепко. Твой брат И. К.»

В начале 1852 года Киреевский написал свое известное письмо к графу Комаровскому «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России». Статья эта была написана для «Московского сборника», издаваемого одним из молодых друзей Киреевского, Иван. Сер. Аксаковым, и напечатана в первой книге. Второй том Сборника постигла участь «Европейца». Киреевский перестал вовсе писать для печати.

«Литературные занятия мои, – писал он в то время, – ограничиваются кой-каким чтением, и то нового читаю мало, а старое охотнее, может быть, оттого, что сам состарился. Однако же не теряю намерения написать, когда будет можно писать, курс философии, в котором, кажется, будет много новых истин, то есть новых от человеческой забывчивости. Жаль, очень жаль, что западное безумие стеснило теперь и нашу мысль, именно теперь, когда, кажется, настоящая пора для России сказать свое слово в философии, показать им, еретикам, что истина науки только в истине Православия. Впрочем, и то правда, что эти заботы о судьбе человеческого разума

можно предоставить Хозяину, который знает, когда и кого послать на свое дело» (из письма к Кошелеву, 1852 г. 2 окт.).

В тишине своего деревенского уединения Киреевский продолжал работать для своего будущего философского сочинения, изучая писания Святых Отцов: «Учение о Святой Троице не потому только привлекает мой ум, что является ему как высшее средоточие всех святых истин, нам откровением сообщенных, – но и потому еще, что, занимаясь сочинением о философии, я дошел до того убеждения, что направление философии зависит, в первом начале своем, от того понятия, которое мы имеем о Пресвятой Троице».

Долбино в сорока верстах от Козельской Оптиной пустыни. Сюда нередко уезжал Киреевский и проводил здесь целые недели, душевно уважая многих старцев святой обители и особенно отца Макария, своего духовного отца, беседы которого он высоко ценил.

Оптинский монастырь, знаменитый в округе благочестием монашествующих братий, известен почти в целой России изданием многих переводов Святых Отцов и других назидательных книг. В изданиях сих и Киреевский принимал живейшее участие; почти все корректуры исправлялись в его доме; но не только заведование печатаньем, не одни хлопоты с типографией, цензурой и книгопродавцами, не об одной внешней стороне дела заботился Киреевский; помещаем здесь его письмо к покойному отцу Макарию, которое доказывает, что и самые рукописи, и переводы просматривались Киреевским.

«Милостивый батюшка!

Прилагаю письмо инспектора Сергия, полученное мною в ответ на то, которое я ему писал по вашему приказанию о последних главах Аввы Фалассия, и прошу вразумить меня, что ему отвечать? составить ли примечание здесь и послать ему на одобрение или просить его самого составить его? В указании на Иоанна Дамаскина он ошибся: я писал ему об 11 главе и 3 параграфе, разумея первую часть, в которой говорится о Пресвятой Троице. А он вместо 3 параграфа прочел 3 часть и в ней искал 11 главы, где идет речь о другом. В указанном же мною месте говорится именно о безначальности и небезначальности Сына. <...>»

Около этого времени были написаны Киреевским два больших письма к А. И. Кошелеву – по поводу книги Vinet, об отношении Церкви к государству, к сожалению еще не отысканные. Вообще надо заметить, что наше собрание материалов далеко не полное. Еще не собраны и не отысканы его письма к Жуковскому, Баратынскому, Хомякову и другим лицам.

Помещаем здесь два письма 1855 г. к К. С. Аксакову и М. П. Погодину.

К. С. АКСАКОВУ

Москва, 1-го июня. 1855.

«Многоуважаемый и любезнейший Константин Сергеевич! Благодарю вас за присылку вашей статьи о глаголах. Я прочел ее с большим удовольствием, хотя и совершенный невежда в этом деле. По этой причине, т. е. потому, что я в этом деле совершенный невежда, – вам, вероятно, нелюбопытно будет знать мое мнение о вашей статье. Однако же так как я не просто невежда, а невежда-приятель, то прошу вас выслушать краткий отчет в тех мыслях, которые возбудило во мне чтение вашей статьи.

В ней, так же как и во всем почти, что вы пишете, есть что-то очень возбуждающее. Читая вашу грамматику, чувствуешь себя не в школе и не в душном кабинете.

С этой точки зрения, кажется мне особенно замечательна ваша мысль о личных правах русских глаголов. Совершенно справедливо, что в этом совмещении личной самостоятельности с цельностью общего порядка заключается главная особенность того языка, по которому слово живет и движется в русском уме. В прежние времена так жили и двигались не одни слова. Это отличительный тип русского взгляда на всякий порядок, и потому должно было составлять главное затруднение иностранных систематиков, сочинявших нам грамматики. Их голова не вмещает порядка без однообразия. Самообразность частной особенности коробит им глаз. Между тем личная самостоятельность глаголов так мало противоречит общей законности языка и так ясно сливается с нею для русского ума, что каждый ребенок еще прежде, чем дорастет ученья грамоте, уже не делает никакой ошибки в спряжении. Но ученый немец, проведя лет двадцать в России, еще способен сказать: стриг-

нулся. Самый род этой законности не ясен для немца, и если они будут продолжать нам составлять грамматики, то, пожалуй, мало-помалу отучат наши глаголы так своевольничать и подвергнут их под свой ваганьковский порядок. Однако же то, что русский ребенок понимает бессознательным чутьем и что вы сознали умом, – то еще не существует для науки до тех пор, покуда общая мысль не развернется во всей полноте своих внутренних и наружных признаков так, чтобы из общего можно было предугадывать частное, а на частном всегда видеть отражение общего закона. Потому, как ни верна ваша мысль, как ни много она обещает в возможности своего развития, – но покуда еще в возможности. Это богатое зерно для будущей вашей книги – зерно, которое еще не умерло и не воскресло в вашей статье, но ждет еще вашей полной грамматики, которой и я с нетерпением ожидаю. <...>

Прошу вас передать мое искреннее почтение вашему много и глубоко уважаемому батюшке и всему вашему почтенному семейству.

Преданный вам

Иван Киреевский».

Последний день 1855 года.

«Любезный друг Погодин, к нам, в деревню, доходят новости поздно, однако ж от этого они мало теряют своей живости. В последнем номере “Московских ведомостей” я прочел речь, которую ты говорил Хрулеву, и прочел с таким удовольствием, какого давно не испытывал от печатного. Тебе Бог вложил огонь в слово. Видно, ты в самом деле скипелся душою с жизнью нашего отечества, что при каждом явлении этой жизни, при страдании ее, при радости у тебя вырывается из сердца настоящий звук. Твои голоса, т. е. непечатанные, – возбуждают почти общее сочувствие. Разумеется, не все, но большая часть. В речи Хрулеву меня особенно поразила и обрадовала мысль о том, что Европа не догадывается, сколько добра извлечет Россия из того зла, которое она думает ей нанести. Я думал, что я один утешаю себя этою мыслью, и хотел бы обнять тебя, видя, что ты говоришь, что я думаю. Твоя уверенность укрепляет мою. Да, любезный друг, эти страдания очистительные; эта болезнь к здоровью. Мы бы загнили и задохлись без этого потрясения до самых костей. Россия мучается, но это муки рождения. Тот не знает России и не думает о ней в глубине сердца, кто не видит и не чувствует, что из нее рождается что-то великое, не бывалое в мире. Общественный дух начинает пробуждаться. Ложь и неправда, главные наши язвы, начинают обнаруживаться. Ужас-

но, невыразимо тяжело это время; но какой ценой нельзя купить того блаженства, чтобы Русский православный дух – дух истинной Христианской веры – воплотился в Русскую общественную и семейную жизнь! А возможность этого потому только невероятна, что слишком прекрасна.

Впрочем, в стремлении к Русскому народному духу есть возможность недо-разумения, которое, к сожалению, часто встречается и многое путает.

Под Русским духом разумеют не одушевление общечеловеческого ума духом православного, истинного христианства, но только отрицание ума западного. Под народным разумеют не целостный состав государства, но одно простонародное – смешанный отпечаток полуизглаженных прежних общественных форм, давно изломанных и, следовательно, уже не восстановимых. Дух живит, – но улетает, когда им хотят наполнить разбитые формы.

Очень бы ты обязал меня, если бы нашел минуту поделиться теми мыслями, которые теперь тебя занимают. Не написал ли ты чего нового после моего отъезда из Москвы? Если бы прислал мне прочесть, то тетрадь твоя возвратилась бы скоро; а благодарность моя осталась бы невозвратною.

Твой И. Киреевский».

В 1856-м году, после великой грозы на Руси, повеяло новой жизнью; Русский ум почувствовал простор, и уста заговорили гласно. В Москве основался новый журнал «Русская беседа» под редакцией Кошелева, с участием всех друзей и единомышленников Киреевского. И дружеское отношение к издателю, и желание участвовать в предприятии, начатом с бескорыстной целью добра, и, наконец, возможность вполне высказаться без боязни, что слова его будут перетолкованы, – все это заставило Киреевского немедленно приняться за работу. В феврале он прислал в Москву свою первую статью: «О возможности и необходимости новых начал для философии». По неисповедимой судьбе статья эта, долженствовавшая быть началом большего труда, была его последнею статьей.

В конце Великого поста Киреевский поехал в Петербург, чтоб видеть экзамен сына, кончившего курс в Лицее. Он пробыл в Москве несколько дней; остановился в доме у матери и повидался здесь в последний раз с братьями и друзьями. 10 июня он занемог холерой, быстро и со страшной силой развившейся, и скончался 11 июня на руках сына и двух друзей его мо-

лодости, графа Комаровского и Алексея Влад. Веневитинова. Тело его было перевезено в Оптину пустынь и положено близ соборной церкви¹.<...>

22 марта

1861 г.

История обращения Ивана Васильевича

«И. В. Киреевский женился в 1834 году на девице Нат. Петр. Арбеновой, воспитанной в правилах строгого христианского благочестия. В первые времена после свадьбы исполнение ею наших церковных обрядов и обычаев неприятно его поражало, но по свойственной ему терпимости и деликатности он ей в том нимало не препятствовал. Она с своей стороны была еще скорбнее поражена отсутствием в нем веры и полным пренебрежением всех обычаев Православной Церкви. Были между ними разговоры... он обещал при ней не кощунствовать и даже всячески прекращать неприятные для нее разговоры его друзей. На второй год после женитьбы он попросил жену свою прочесть Кузена. Она охотно это исполнила, но когда он стал спрашивать ее мнения об этой книге, то она сказала, что много в ней хорошего, но что нового там не нашла ничего, ибо в творениях Св. Отцов все это изложено гораздо глубже и удовлетворительнее. Он усмехнулся и замолчал. Он стал просить жену прочитать с ним Вольтера. Она объявила ему, что готова читать всякую серьезную книгу, которую он ей предложит, но насмешки и всякое кощунство ей противны, и она их не может ни слышать, ни читать. Тогда они после некоторого времени начали вместе читать Шеллинга, и когда великие, светлые мысли их останавливали и И. В. Киреевский требовал удивления от жены своей, то она сначала ему отвечала, что эти мысли ей известны из творений Св. Отцов. Неоднократно она ему их показывала в книгах Св. Отцов, что заставило И. В. иногда прочитывать целые страницы. Неприятно было ему сознавать, что действительно в

¹ На могильном памятнике И. В. Киреевского начертано (из Прем 8:2 и 22): *Премудрость возлюбих и поисках от юности моя... Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь даст, приидох ко Господу.* – Прим. ред.

Св. Отцах многое, чем он восхищался в Шеллинге. Он не любил в этом сознаваться, но тайком брал у жены книги и читал их с увлечением. Знакомство с новоспасским иноком Филаретом, беседы со святым старцем, чтение разных творений Св. Отцов улаждали его и увлекали на сторону благочестия. Он ездил к о. Филарету, но всякий раз как бы по принуждению. Видно было, что ему хочется к нему ехать, но всегда нужно было какое-то принуждение. Наконец, в 1842 году кончина старца Филарета окончательно утвердила его на пути благочестия. И. В. Киреевский никогда прежде не носил на себе креста. Жена его не раз о том просила, но И. В. отмалчивался. Наконец однажды он сказал ей, что наденет крест, если он будет ему прислан от о. Филарета, которого ум и благочестие он уже душевно уважал. Нат. Петр. поехала к о. Филарету и сообщила ему это. Старец, перекрестившись, снял с себя крест и, давая, сказал Нат. Петр.: да будет он И. В. во спасение. Когда Нат. Петр. приехала домой, то И. В., встречая ее, спросил... какой это крест? Нат. Петр. говорит ему, что о. Филарет снял его с себя и сказал, что да будет он ему во спасение. И. В. пал на колени и говорит: ну теперь чаю спасения для души моей, ибо я в уме своем положил: если отец Филарет снимет с себя крест и мне его пришлет, то явно будет, что Бог призывает меня ко спасению. С этой минуты замечен был решительный поворот в мыслях и чувствах И. В. После кончины отца Филарета И. В., живя по близости Оптиной пустыни, в частых беседах с отцами Леонидом, Макарием и другими старцами, все более и более укреплялся в благочестии. Он читал очень много отеческих книг, беседовал часто со старцами и все более креп для своей будущей деятельности».

К. Д. Кавелин
Авдотья Петровна Елагина
(биографический очерк)

I.

10 июня 1877 года в селе Петрищеве Белевского уезда предано земле тело *Авдотьи Петровны Елагиной*. Это имя, близкое и дорогое теперь не-

многим ее родным и почитателям, пережившим покойную, было в свое время очень известно в интеллигентных слоях русского общества, принимавших более или менее живое и деятельное участие в нашем литературном, научном и культурном развитии. В последние годы царствования Александра I и в продолжение всего царствования императора Николая, когда литературные кружки играли такую важную роль, салон Авдотьи Петровны Елагиной в Москве был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что было у нас самого просвещенного, литературно- и научно-образованного. За все это продолжительное время под ее глазами составлялись в Москве литературные кружки, сменялись московские литературные направления, задумывались литературные и научные предприятия, совершались различные переходы русской мысли. Невозможно писать историю русского литературного и научного движения за это время, не встречаясь на каждом шагу с именем Авдотьи Петровны. В литературных кружках и салонах зарождалась, воспитывалась, созревала и развивалась тогда русская мысль, подготовлялись к литературной и научной деятельности нарождавшиеся русские поколения.

Осыпанный покойной вниманием и ласками с молодых лет, безгранично обязанный на первой поре жизни многим ей лично, почтенному ее семейству и ее салону, связывая с дорогим мне семейством Елагиных лучшие воспоминания молодости, я считаю обязанностью сохранить для будущего времени то, что знаю сам и из рассказов родных об этой замечательной русской женщине.

Авдотья Петровна увидела свет 11 января 1789 года в родовом имении Юшковых, селе Петрищеве Белевского уезда Тульской губернии. Ее мать, Варвара Афанасьевна, рожденная Бунина, была очень образованная женщина и прекрасная музыкантша; отец, Петр Николаевич Юшков, занимал в царствование Екатерины видное место в тульской губернской администрации и принадлежал к известной дворянской фамилии. Дядя его, женатый на графине Головкиной, был губернатором в Москве во время чумы.

Первоначальное воспитание Авдотьи Петровны было ведено очень тщательно. Гувернантками при ней были эмигрантки из Франции времен революции, женщины, получившие по-тогдашнему большое образование. В особенности называют *M-me Doreg*, **отличавшуюся вполне аристократическим складом и характером**. Это обстоятельство имело большое влияние на умственный и нравственный строй покойной, придало ей французскую аристократическую складку, общую всем лучшим людям той эпохи. С немецким языком и литературой Авдотья Петровна познакомилась через учительниц, дававших ей уроки, и В. А. Жуковского, ее побочного дядю, который воспитывался с ней, был ее другом и, будучи старше ее семью годами, был вместе ее наставником и руководителем в занятиях. Русскому языку учил ее Филат Гаврилович Покровский, человек очень знающий и написавший много статей о Белевском уезде, напечатанных в «Политическом журнале».

Пяти лет от роду Авдотья Петровна лишилась матери, умершей в чахотке, и вместе с тремя своими сестрами, Анной (впоследствии известной писательницей Зонтаг), Екатериной (Азбукиной) и Марьей (Офросимовой), поступила на воспитание к своей бабушке, Марье Григорьевне Буниной, рожденной Безобразовой, умершей в 1811 году, – женщине с большим характером. Она жила в селе Мишенском Белевского уезда, куда переселился и отец Авдотьи Петровны после смерти жены. Зиму это семейство проводило в Москве. Живо сохранился в памяти покойной Елагиной торжественный въезд и коронование императора Александра I.

Авдотье Петровне еще не исполнилось 15-ти лет, когда за нее посватался у бабушки, не сказав ей самой ни слова, Василий Иванович Киреевский, проживавший тоже в Москве. Ему было около тридцати лет; человек он был очень ученый, в совершенстве знал иностранные языки, но был своеобразен до странности. Брак совершился 16 января 1805 года и был из самых счастливых. Киреевский страстно любил свою жену и довершил ее образование, читая с ней серьезные книги, в особенности исторического содержания, и Библию. Вероятно, в это время окончательно утвердилась в молодой тогда Авдотье Петровне глубокая религиозность, без сомнений и колебаний которая сопровождала ее до могилы. Киреевский был религио-

зен до нетерпимости, ненавидел Вольтера, скупал и истреблял его сочинения. Вследствие ли влияния мужа или начального воспитания, трудно сказать, но Авдотья Петровна всю свою жизнь не сочувствовала отрицательному направлению, когда оно выражалось резко и в крутых формах; оно было противно ее религиозному направлению, ее литературным и эстетическим вкусам и привычкам; но эта нелюбовь к отрицательному направлению была чужда всякой исключительности и фанатизма. Авдотья Петровна много читала и думала, часто слышала самые разнообразные суждения об одних и тех же предметах, и это сделало ее замечательно терпимой ко всякого рода взглядам, лишь бы они были искренни, правдивы и выражались не в грубых формах.

От брака с Киреевским Авдотья Петровна имела четверых детей. Из них зрелого возраста достигли: Иван Васильевич (род. 1806 г. 22 марта), Петр Васильевич (1808 г. 11 февраля) и Марья Васильевна (1811 г. 8 августа). Счастливое супружество покойной с первым мужем продолжалось недолго. В 1812 году, осенью, В. И. Киреевский скончался в Орле от горячки, которую схватил вследствие самоотверженного служения на общую пользу. Беспомощное состояние раненых пленных французов, неурядица и злоупотребления в госпиталях возмущали его. Будучи частным человеком, он самопроизвольно, без всякого полномочия или приглашения от властей принял в свое заведование госпиталь в Орле, привел его в порядок, заботился о пленных и раненых, обращал якобинцев и революционеров к религии, спокойно переносил оскорбления, которыми они его за то осыпали, и сделался жертвой госпитальной горячки.

24-летняя вдова была в отчаянии, лишившись в лице любимого мужа наставника и руководителя. «Делайте теперь со мной что хотите», – сказала она своей тетке, Екатерине Афанасьевне Протасовой. К этой тетке, овдовевшей еще в 1793 году, переселилась она со своими детьми из с<ела> Долбина Калужской губернии Лихвинского уезда, старинного имения Киреевских, где жила с мужем, ненадолго приезжая с ним по зимам в Москву. Протасова жила в Орле и около Орла, в деревне Муратове, с двумя своими дочерьми. С этим семейством жил и Жуковский, которого нежная, глубокая многолетняя привязанность к Марье Андреевне

Протасовой известна из его биографии. Здесь Авдотья Петровна очутилась в образованном, веселом светском кружке, который составилась в селе Черни, у Александра Алексеевича Плещеева. Плещеев был женат на Анне Ивановне Чернышевой, женщине очень образованной, имел свой домашний оркестр и был неподражаемый чтец и декламатор, вследствие чего поступил позднее лектором к императрице Марии Федоровне. В кружке Плещеева, кроме его жены, Жуковского, дочерей Е. А. Протасовой и близких приятелей и знакомых: Д. Н. Блудова, Д. А. Кавелина, Апухтина, участвовали многие из образованных пленных французов, в том числе генерал Бонами. Здесь проводили время очень весело, читали, разыгрывали французские пьесы, играли в распространенные тогда в избранных кружках *jeux d'esprit*¹, исполняли музыкальные пьесы.

Через два года кружок этот расстроился. В 1814 году Александра Андреевна Протасова выдана замуж за А. Ф. Воейкова, известного сатирического писателя, вскоре занявшего кафедру русской словесности в Дерптском университете. С ним перебралось в Дерпт и семейство Протасовых, а Авдотья Петровна поселилась с детьми снова в селе Долбине, вместе с Жуковским, возвратившимся в 1813 году из ополчения.

Уединенная жизнь ее в Долбине продолжалась целых семь лет. В продолжение этого времени в жизни ее совершились два важных события. В 1817 году, 4 июля, Авдотья Петровна вступила во второй брак с Алексеем Андреевичем Елагиным, своим троюродным братом. Оба происходили из рода Буниных: Авдотья Петровна – от Афанасия Ивановича, а второй муж ее Елагин – от родной сестры Бунина, Анны Ивановны Давыдовой, которой дочь, Елизавета Семеновна Елагина, была матерью Алексея Андреевича. Другим важным событием было вступление в том же 1817 году Марьи Андреевны Протасовой в супружество с профессором Дерптского университета Иваном Филипповичем Мойером.

Четыре года спустя, 4 июля 1821 года, Авдотья Петровна переехала из Долбина на житье в Москву и прожила здесь безвыездно 14 лет – до 1835 года. Этот продолжительный период времени был, как она сама говорила, счастливейшей эпохой в ее жизни. С этого же времени она при-

¹ Буквально: игра ума (фр.). – *Сост.*

нимает живое и непосредственное участие в жизни литературных и ученых московских кружков. Еще в царствование Александра I образовался в Москве, около Николая Полевого, замечательный литературный кружок, к которому принадлежали Пушкин, князь Вяземский, Кюхельбекер и князь Одоевский (издававшие вместе «Мнемозину»), В. П. Титов, Шевырев, Погодин, Максимович, Кошелев, Росберг, Лихонин. В этом же кружке впервые выступила в свет Каролина Карловна Яниш, впоследствии известная писательница Павлова. Одного перечня этих имен достаточно, чтоб показать, в каком замечательном обществе вращалась тогда Авдотья Петровна.

С 1826 года блестящий кружок Полевого сменился другим, не менее блестящим и талантливым, группировавшимся около только что начинающего поэта Дмитрия Ивановича Веневитинова. Зерно этого кружка составилось из молодых людей, служивших при архиве Министерства иностранных дел и готовившихся, под названием «архивных юношей», к дипломатической карьере. Кроме Пушкина и князя Вяземского, принадлежавших и к кружку Полевого, мы встречаемся здесь с И. С. Мальцевым, сослуживцем Грибоедова по дипломатической миссии в Персии, Н. А. Мельгуновым, С. А. Соболевским, поэтом Баратынским, Д. Н. Свербеевым и другими. Но душа и центр этого кружка, Веневитинов, умер весной 1827 года, едва начав свое блистательное литературное поприще, не достигнув и двадцатидвухлетнего возраста.

С 1828 года в московских литературных салонах появляются новые лица, ставшие потом видными деятелями в литературе и науке. В Москве поселился Н. М. Языков; сыновья Авдотьи Петровны, Иван и Петр Васильевич Киреевские, поехавшие учиться за границу, возвратились в 1830 году в Москву по случаю холеры. Тогда возникла в их кружке мысль об издании журнала «Европеец». План этого журнала обсуждался в 1831 году при участии Жуковского, который нарочно для этого приехал из Петербурга. В 1832 году издание «Европейца» началось, но со второй же книжки журнал был запрещен.

К этому же времени относится знакомство с А. И. Тургеневым и появление в кружке новых деятелей – П. Я. Чаадаева и А. С. Хомякова. Тогда же зарождается и так называемое славянофильство, развившееся потом в осо-

бую философско-историческую доктрину. Первым представителем этого направления был Петр Васильевич Киреевский, которому сперва сочувствовали только Хомяков и Языков. Иван Васильевич Киреевский не разделял сначала мнений брата и присоединился к ним лишь впоследствии. Авдотья Петровна сочувствовала Петру Васильевичу не в отрицании петровской реформы, а в нелюбви к Петру за его жестокость и лютость. Воспоминания о них живо сохранились в семейных преданиях Лопухиных, которые находились с Елагиной в каком-то далеком родстве или свойстве.

С тридцатых годов и до нового царствования дом и салон Авдотьи Петровны были одним из наиболее любимых и посещаемых средоточий русских литературных и научных деятелей. Все, что было в Москве интеллигентного, просвещенного и талантливое, съезжалось сюда по воскресеньям. Приезжавшие в Москву знаменитости, русские и иностранцы, являлись в салон Елагиных. В нем преобладало славянофильское направление, но это не мешало постоянно посещать вечера Елагиных людям самых различных воззрений до тех пор, пока литературные партии не разделились на два неприязненных лагеря – славянофилов и западников, что случилось в половине сороковых годов.

Блестящие московские салоны и кружки того времени служили выражением господствовавших в русской интеллигенции литературных направлений, научных и философских взглядов. Это известно всем и каждому. Менее известны, но не менее важны были значение и роль этих кружков и салонов в другом отношении – именно как школа для начинающих молодых людей; здесь они воспитывались и приготавливались к последующей литературной и научной деятельности. Вводимые в замечательно образованные семейства добротой и радушием хозяев юноши, только что сошедшие со студенческой скамейки, получали доступ в лучшее общество, где им было хорошо и свободно, благодаря удивительной простоте и непринужденности, царившей в доме и на вечерах. Здесь они встречались и знакомились со всем, что тогда было выдающегося в русской литературе и науке, прислушивались к спорам и мнениям, сами принимали в них участие и мало-помалу укреплялись в любви к литературным и научным занятиям. К числу молодых людей, воспитавшихся таким образом

в доме и салоне Авдотьи Петровны Елагиной, принадлежали: Дмитрий Александрович Валуев, слишком рано умерший для науки, А. Н. Попов, М. А. Стахович, позднее трое Бакуниных, братья эмигранта, художник Мамонов и другие. Все они были приняты в семействе Елагиных на самой дружеской ноге – Валуев даже жил в их доме – и вынесли из него самые лучшие, самые дорогие воспоминания. Пишущий эти строки испытал на себе всю обаятельную прелесть и все благотворное влияние этой среды в золотые дни студенчества; ей он обязан направлением всей своей последующей жизни и лучшими воспоминаниями. С любовью, глубоким почтением и благодарностью возвращается он мыслями к этой счастливой поре своей молодости, и со всеми его воспоминаниями из того времени неразрывно связана светлая, благородная, прекрасная личность Авдотьи Петровны Елагиной, которая всегда относилась к нему и другим начинающим юношам с бесконечной добротой, с неистощимым вниманием и участием. Такой же благодатной средой был для нас салон Свербеевых, открывшийся, кажется, несколько позднее, чем у Авдотьи Петровны. В сороковых годах он уже был в полном блеске. Теперь не слышно более о таких салонах, и оттого теперь молодым людям гораздо труднее воспитываться к интеллигентной жизни, чем было нам, когда мы начинали жить. Разрозненность, одиночество, недостаток живого, материнского участия просвещенных женщин, недостаток непосредственного общения и связи между старым и новым мыслящими поколениями, быть может, более всего объясняют болезненность, раздражительность, сердечную отчужденность, составляющие обычные свойства и характерную черту выдающихся умов и талантов нового поколения, идущего на смену нашему. Бремя, которое взваливается на интеллигенцию всей обстановкой русской действительности, еще кое-как выносится при соединении сил, но оно тяжело давит лучших людей поодиночке.

Возвратимся к нашему очерку. Кто не участвовал сам в московских кружках того времени, тот не может составить себе и понятия о том, как в них жилось хорошо, несмотря на печальную обстановку извне. В этих кружках жизнь была полным, радостным ключом. Лето проводилось где-нибудь за городом, зима – в Москве. В 1831 и 1832 годах Елагины и

Киреевские жили летом в Ильинском. Тут, между прочим, разыгрывалась шуточная комедия «Вавилонская принцесса», написанная в стихах Ив. Вас. Киреевским и Языковым, который в то время жил с Елагиными и Киреевскими. В 1833 году они поселились в селе Архангельском, подмосковном имении князя Юсупова. Пользуясь драгоценной картинной галереей, Авдотья Петровна много занималась в то лето живописью и сделала несколько прекрасных копий с картин Юсуповской галереи. Она очень любила живопись и не оставляла ее даже в последний год своей жизни. Ослабление зрения ее особенно тревожило.

В 1834 году она опять провела лето в Ильинском, а в следующем году, рано весной, в марте, уехала впервые за границу, сперва в Карлсбад на воды, а потом в Дрезден. Пребывание в чужих краях продлилось до июля 1836 года. Во время этого путешествия она, через рекомендательные письма Жуковского, познакомилась с Тиком и Шеллингом.

К этому времени стали подрастать и дети ее от второго брака: сыновья Василий (родился в 1818 г. 13 июня), Николай (1822 г. 23 апреля), Андрей (1823 г. 18 сентября) и дочь Елизавета (в 1825 г.). Все они воспитывались дома, сыновья доканчивали свое образование в Московском университете. Это обстоятельство и привычка жить в просвещенной, литературной и научной среде удерживали Авдотью Петровну постоянно в Москве, откуда она редко отлучалась. Так, в 1841 году она во второй и последний раз ездила за границу, чтоб познакомиться с невестой Жуковского.

С 1835 года в салоне Елагиных появились новые лица – некоторые из молодых профессоров Московского университета, недавно возвратившихся из-за границы и вдохнувших в университет новую жизнь. То было время его процветания и небывалого блеска. В 1838 году с Елагиными познакомился Гоголь, а в сороковых годах салон Авдотьи Петровны стали посещать Герцен, Ю. Ф. Самарин, Аксаковы, Сергей Тимофеевич и Константин Сергеевич, Н. П. Огарев, Н. М. Сатин. Не называем прежних постоянных посетителей и членов кружка, живших в Москве, и приезжих, русских и иностранцев.

В эту же эпоху радостными событиями в личной жизни Авдотьи Петровны и в семействе Киреевских и Елагиных были: переезд Екате-

рины Афанасьевны Протасовой весной 1837 года с семейством Мойера и дочерью А. Ф. Воейкова из Дерпта на постоянное жительство в село Бунино Орловской губернии Волховского уезда; частые приезды Жуковского и женитьба его (в 1841 году); брак старшего из детей, прижитых в браке с Елагиным, Василья Алексеевича, с троюродной своей сестрой, Екатериной Ивановной Мойер (1846 г. 14 января).

II.

С половины сороковых годов звезда жизни и счастья А<вдотьи> П<етровны> начала меркнуть. Семейные горести и несчастья стали быстро следовать одни за другими. Печальный их ряд открылся смертью одной из любимых племянниц Авдотьи Петровны, Екатерины Александровны Воейковой (1844); позднее, в том же году, 27 декабря, умер сын ее, 21 года от роду, еще студентом, Андрей Алексеевич Елагин, подававший большие надежды; в декабре следующего 1845 года скончался Д. А. Валуев, ставший как бы членом семьи Елагиных; в 1846 году, 21 марта, Авдотья Петровна лишилась второго мужа, А. А. Елагина; год спустя – новые утраты: сперва скончалась Екатерина Афанасьевна Протасова (12 февраля 1848 г.), а вслед за ней (4 июля) дочь Авдотьи Петровны, Елизавета Алексеевна Елагина. Кругом становилось пусто. 1846 и 1847, позднее 1849 и 1850 годы проведены в деревне. Блестящее время московских кружков и салонов приходило к концу. Наступала другая эпоха.

Литература, наука отступали на второй план перед грозными политическими событиями, восточной войной и внутренними преобразованиями, которые наступили с новым царствованием. Близкие, друзья все еще по-прежнему собирались, но круг их из года в год редел: одни умерли, другие разъехались. В 1856 году над Авдотьей Петровной разразился новый удар: сыновья ее Киреевские, Иван и Петр Васильевичи, умерли вскоре один за другим (11 июля и 25 октября), через два года не стало И. Ф. Мойера, а три года спустя (5 сентября 1859 г.) скончалась дочь Елагиной, Марья Васильевна Киреевская.

Последние годы жизни Авдотья Петровна проводила в Москве, летом в деревне, иногда оставаясь тут круглый год, но большей частью возвращаясь на зиму в Москву. Жила она со своим сыном, Николаем Алексеевичем Елагиным, который остался неженатым, устроил для нее прекрасную усадьбу и дом в деревне Уткино, близ родимого ее пепелища, села Петрищева, и с трогательной нежностью заботился об угасавшей матери. Здесь доживала Авдотья Петровна свои дни, окруженная дорогими воспоминаниями прошлого, не переставая заниматься, читать, рисовать. С избранием сына, Николая Алексеевича, в 1873 году в предводители дворянства Белевского уезда, она перестала ездить на зиму в Москву и проводила зимние месяцы в Белеве. Но недолго суждено ей было наслаждаться тихой, спокойной, радостной старостью: 11 февраля 1876 года скоропостижно скончался Николай Алексеевич Елагин, лелеявший ее последние годы, посвятивший ей свою жизнь. Из всего ее многочисленного семейства оставался теперь в живых только один сын, Василий Алексеевич Елагин. Но воспитание детей приковывало его к Дерпту. Сюда, в семейство сына, и переселилась Авдотья Петровна 11 мая того же года и здесь тихо скончалась 1 июня 1877 года, на 89 году от роду.

Нам остается добавить немного для характеристики покойной.

Авдотья Петровна не была писательницей, но участвовала в движении и развитии русской литературы и русской мысли более, чем многие писатели и ученые по ремеслу. Она не единственный у нас пример в этом роде. Кто заподозрит громадную роль в нашем развитии Грановского, перебирая два тощих тома его статей? или Николая Станкевича, который ничего после себя не оставил, кроме писем? Чтоб оценить ее влияние на нашу литературу, довольно вспомнить, что Жуковский читал ей свои произведения в рукописи и уничтожал или переделывал их по ее замечаниям. Покойная показывала мне одну из таких рукописей – толстую тетрадь, испещренную могильными крестами, которые Жуковский ставил подле стихов, исключенных вследствие замечаний покойной. К сожалению, я не могу сказать, какие именно стихотворения Жуковского прошли чрез такую переделку и все ли ей подвергались.

Авдотья Петровна много переводила с иностранных языков, но значительная часть этих переводов, вследствие разных случайностей, не были напечатаны. <...>

Покойная до самой кончины имела живой, ясный и веселый ум. Ее записки к знакомым и близким, писанные года за два до смерти, поражают твердостью почерка, свежестью оборотов и стиля. <...>

Не было собеседницы более интересной, остроумной и приятной. В разговоре с Авдотьей Петровной можно было проводить часы, не замечая, как идет время. Живость, веселость, добродушие, при огромной начитанности, тонкой наблюдательности, при ее личном знакомстве с массой интереснейших личностей и событий, прошедших перед ней в течение долгой жизни, и ко всему этому удивительная память – все это придавало ее беседе невыразимую прелесть. Все, кто знал и посещал ее, испытывали на себе ее доброту и внимательность. Авдотья Петровна спешила на помощь всякому, часто даже вовсе не знакомому, кто только в ней нуждался. Поразительные примеры этой черты ее характера рассказываются ее родными и близкими.

Покойная всю свою жизнь сохранила основные характерные черты того времени, когда воспитывалась и сложилась. Литературные, художественные, религиозно-нравственные интересы преобладали в ней над всеми прочими; политические и общественные вопросы отражались в ее уме и сердце своей гуманитарной и литературно-эстетической стороной. Такова была складка того поколения, к которому принадлежала покойная Авдотья Петровна, и этому направлению она осталась верной до последних дней жизни.

Это поколение сошло теперь в могилу. Представителей его между нами можно пересчитать по пальцам, и все они уже древние люди. Мы, ближайшие свидетели заката их деятельности, уже в молодости чувствовали и отчасти понимали их различие с нами, а нынешние люди отошли от них так далеко, что перестали их понимать, относятся к ним равнодушно, даже холодно. И в самом деле, между поколением александровской эпохи, к которому принадлежала покойная Елагина, и теперешним лежит целая бездна. Не только нашим детям, но даже нам самим трудно теперь

вдуматься в своеобразную жизнь наших ближайших предков. Лучшие из них представляли собой такую полноту и цельность личной, умственной и нравственной жизни, о какой мы едва имеем теперь понятие. Отдельно взятые лучшие личности александровского времени изумляют высоким просвещением и нравственным идеализмом не только на словах, но и на деле. На нас немногие личности александровской эпохи, с которыми мы имели случай встречаться, всегда производили с этой стороны обаятельное впечатление: в них, несмотря на все превратности судьбы, не было и тени той угловатости, односторонности, резкости, ни той нравственной надорванности, которые составляют обычные недостатки нашего поколения и, еще больше, чем нас, удручают тех, которые следуют за нами.

Чем объяснить это различие, невольно бросающееся в глаза? Многие видят в нем доказательство вырождения поколений, другие, именно славянофилы, считали идеи, которыми жило прежнее поколение, чуждыми нам, не способными привиться к русской почве; третьи уверены, что эти идеи не могли развиваться, потому что для них не были благоприятны политические условия. Но ни одно из этих предположений не решает вопроса. У нас между поколениями потому нет умственной и нравственной преемственности и связи, что нам пришлось в короткое время нагонять Европу, и дело веков у нас скомкалось в несколько десятилетий, а такая скороспелая работа не могла не привести к разладу между поколениями и к крайнему умственному и душевному утомлению, которое мы по ошибке считаем за признак вырождения. Великодушные, гуманные идеи, которыми были проникнуты лучшие люди александровской эпохи, могли быть слишком отвлеченны, непрактичны, неосуществимы в тогдашней форме и в тогдашнем обществе, но чуждыми нам они не могли быть, и последующее время доказало, что они такими вовсе не были. Идеи XVIII века были результатом развития человеческого рода в течение веков. По своей всеобщности, своему общечеловеческому характеру они близки и дороги всякому народу, всякому племени. Народ или государство, которым они чужды, подписывают тем свой смертный приговор, не могут деятельно участвовать в общем развитии и успехах, играть продолжительную роль и иметь важное значение во всемирной истории; они осуждены прозябать и

рано или поздно входят в состав других, более талантливых и живучих народов. Не одни только национальные особенности, но и всеобщие идеи дают народам и государствам историческое, всемирное значение; национальность определяет только формы, в которых эти идеи производятся и осуществляются, никак не более. Наконец, политические и административные порядки выражают степень культуры и не определяют способности к ней. У нас, как и везде, эти порядки, по мере нашего развития, не ухудшались, а скорей, напротив, вырабатывались и смягчались, и если они оставляют желать многого, то причина опять-таки заключается в той же низкой степени культуры. Таким образом, причин упадка и исчезновения блестящего и просвещенного культурного слоя александровского времени надо искать не в вырождении поколений, не в характере идей, которыми жил этот слой, и не в политических и социальных условиях России XIX века, а в чем-нибудь другом. Мы думаем, что эти причины лежат гораздо глубже – в уединенном и обособленном положении культурного слоя александровской эпохи посреди крайне невежественных низших и средних классов тогдашней России. В царствование Александра I образованные кружки резко выдавались вперед над остальной массой населения, не имели с ней почти ничего общего и жили своей особой жизнью, соприкасаясь с остальными слоями и классами русского общества только внешним образом. Правда, никакого антагонизма и вражды не было между теми и другими, но не было также между ними никакого сближения и взаимодействия. Образованные кружки представляли у нас тогда, посреди русского народа, оазисы, в которых сосредоточивались лучшие умственные и культурные силы – искусственные центры, со своей особой атмосферой, в которой вырабатывались изящные, глубоко просвещенные и нравственные личности. Они в любом европейском обществе заняли бы почетное место и играли бы видную роль. Но эти во всех отношениях замечательные люди вращались только между собой и оставались без всякого непосредственного действия и влияния на все то, что находилось вне их тесного, немногочисленного кружка. Упрекать их за то в аристократическом пренебрежении к другим, в недостатке патриотизма, в равнодушии к успехам и развитию отечества было бы непростительной

ошибкой и вопиющей напраслиной. Эти люди, напротив, горячо любили свою родину, горячо желали для всех и каждого тех благ, которыми сами жили в своих чаяниях и стремлениях. Занимались они не одной литературой и искусствами, как многие думают, между ними немало было и таких, которые имели большое политическое образование, были искренними поборниками свободных учреждений, мечтали для своего отечества об освобождении крепостных, о финансовой реформе, о коренном преобразовании школы, суда и администрации, о свободе веры, слова и печати. Успехами России в течение XIX века мы существенно обязаны этим людям. Но они проводили высокую культуру, которую несли с собой не в будничной обстановке ежедневной жизни грубых масс, не лично и непосредственно, а в общих административных и законодательных мерах или в литературных, художественных и научных произведениях. Существование этих людей и их кружков было плодотворно для России только в общем, отвлеченном смысле, но не отражалось в живых фактах на окружавшем их русском обществе. Эти изящные, развитые, просвещенные, гуманные люди жили полной жизнью в своих кружках, не внося своим существованием ничего в наш тогдашний печальный, полудикий быт. Люди, глубоко понимавшие всю цену просвещения, не думали устраивать школ и обучать грамоте мужиков, посреди которых жили; к местной, губернской и уездной администрации, наполненной невеждами, земскими ерышками и подьячими старого закала, грабившей живых и мертвых, возмутительно притеснявшей простой народ, люди, проникнутые идеями правды и гуманности, относились с очень понятным омерзением и гадливостью; но они ничего не делали, чтоб поддержать лучших людей в этой печальной среде, чтоб помочь им выбраться из грязной действительности, чтоб пролить хоть какой-то луч света в это царство мрака. Так же чуждо было для них и все остальное – и сельское духовенство, и купечество, и мещанство. Из своего прекрасного далека они безучастно смотрели на то, что делалось в ежедневной жизни вокруг них, из боязни унизиться и испачкаться в нравственной и всяческой грязи соприкосновением с ней. Скажут: то была барская спесь. Совсем нет! Таланты, выходившие из народа, хотя бы из крепостных, даже люди, подававшие только надежду сделаться

впоследствии литераторами, учеными, художниками, кто бы они ни были, принимались радушно и дружески вводились в кружки и семьи, на равных правах со всеми. Это не была комедия, разыгранная перед посторонними, а сущая, искренняя правда – результат глубокого убеждения, перешедшего в привычки и нравы, что образование, знание, талант, ученые и литературные заслуги выше сословных привилегий, богатства и знатности. Но темное большинство, не способное, по крайнему невежеству и отсутствию культуры, понять и оценить те высшие интересы, которыми жили образованные кружки, не возбуждало в них деятельного участия; а большинство, в свою очередь, бессмысленно и равнодушно смотрело на непонятную для него жизнь, занятия, радости, печали, стремления и наслаждения просвещенных людей как на барские затеи и причуды. Обоим элементам этого странно раздвоенного и разобщенного общества, жившим рядом друг подле друга, и в мысль не приходило постараться сблизиться, понять друг друга, опираться друг на друга, работать дружно вместе. С этой точки зрения, между старыми и новыми поколениями лежит целая бездна. Теперь редкий из истинно просвещенных людей не ставит себе задачей популяризировать свои знания, по возможности поднимать до себя окружающих его необразованных людей, растолковывать им пользу науки и знания, сообщать им знания и науку в доступных им формах и объеме. Ничего подобного прежде не было. Ключ ко всему, что думалось и делалось в избранных кружках, существовал только для них самих; для остальной России оно казалось непонятным чудачеством, диковинной штукой, которой себя только тешили господа и дворяне. Многие с досадой и злорадством напирают на неудачные, смешные, подчас очевидно ошибочные формы, в которых выражается современное стремление сделать всех причастными науке и знанию, связать в одно целое разрозненные общественные слои, наглядно и осязательно показать необразованной части русского населения пользу и необходимость того, чем заняты его образованные и просвещенные вершины. Но за подробностями, промахами и уклонениями опускается из виду главная, существенная сторона в стремлениях нашего времени. Те, которые видят только смешное и вредное в том, что делается, не могут или не хотят понять, что наши блестящие

кружки просвещенных людей первой половины XIX века замерли и постепенно исчезли именно вследствие того, что стояли одиноко, были разобщены с остальной русской жизнью. Воспитанные в этих кружках люди, несмотря на все свое обаяние, были тепличными растениями и не могли выдержать обыкновенной температуры. Им предстояла задача акклиматизировать в России то, что они несли с собой; но это было невозможно, потому что почва далеко не была для того подготовлена. Непосредственная грубость и невозделанность этой почвы делала немыслимой пересадку в нее прекрасных, но тонких и нежных растений, привыкших к искусственной теплоте и свету, и они завяли, не пустив корней.

Поколение александровской эпохи сыграло свою историческую роль и уступило место новым деятелям. Теперь, кажется, уже настала пора судить о нем с полным беспристрастием, не делая ему упреков, которых оно не заслуживает. Нельзя, не нарушая исторической правды, помянуть его иначе как добром. Оно всегда будет служить ярким образцом того, какие люди могут вырабатываться в России при благоприятных обстоятельствах. Обвинять его за то, что оно стояло особняком посреди русской жизни, было бы более чем странно. Такое положение создано ему всем ходом развития нашей культуры и ближайшими задачами его времени.

Сельцо Иваново,
17 июня 1877 года.

В. Н. Лясковский
Братья Киреевские.
Жизнь и труды их

I.

Невдалеке от Белева над рекой Выркой, при впадении в нее Чермошны и Вязовни, стоит село Долбино, старинная вотчина рода Киреевских. Ровесница ее старины, древняя церковь, одна высится ныне неизменным памятником прошлого.

В 1805 году долбинский помещик, Василий Иванович Киреевский, женился на Авдотье Петровне Юшковой. Этим браком породнились две исключительно просвещенные семьи. Секунд-майор гвардии, владелец состояния в тысячу душ, блестящий, молодой, независимый, Киреевский имел полную возможность пожить «в свое удовольствие», а мы знаем, какова была в те времена подобная жизнь. Но не таков был Василий Иванович и не таковы были жизненные задачи, которые носил он в душе своей. Получив обширное по тому времени образование, зная пять языков, Киреевский чувствовал призвание к естественным наукам и медицине. У него была своя лаборатория, а лечением занимался он постоянно. Испытывал он свои силы и на поприще словесности – переводил повести, романы и сам немного сочинял. Но не этими лишь чертами любознательности привлекателен его образ, а необыкновенной добротой, о которой свидетельствуют все дошедшие до нас известия о нем. И это было то добродушие довольства, которое располагает человека быть приветливым от веселья, щедрым от избытка, то была истинная, горячая любовь к ближнему, готовая всегда делить чужое горе, помогать чужой нужде. Всю свою недолгую жизнь Василий Иванович положил на дела милосердия. В 1812 году он приехал в Орел, близ которого у него была деревня, и оба свои дома – городской и деревенский – отдал под больницы для раненых, приютив, кроме того, многие семейства, бежавшие от неприятеля со Смоленской дороги. Он сам ходил за больными, заразился тифом и умер в Орле 1 ноября 1812 года – в день памяти бессребреников, безмездных врачей Космы и Дамиана, – исполнив до конца заповедь Христову. Тело его было перевезено в Долбино, которое он так любил, что незадолго до смерти озаглавил его именем книгу, предназначенную им для внесения заметок и литературных опытов, начав ее восторженной, наивно риторической похвалой своему родовому гнезду. Таких его книг – из толстой синей бумаги, в корешках – дошло до нас две. Содержание их очень разнообразно: выписки из любимых сочинений в стихах и прозе и небольшие наброски собственных произведений чередуются с деловыми отметками, воспоминаниями и записями мимолетных мыслей. Все очень отрывочно, но все носит отпечаток пытливого ума, искренности и теплоты душевной. В черновом

прошении на имя государя Киреевский предлагает способы для борьбы с повальными болезнями: несомненно, что вопросы народного здоровья более всего его занимали. Трогательны две заметки, в которых он упрекает себя в несправедливости – раз по отношению к дворовому, которого разбранил, в другой раз – к крестьянину, которому запретил ехать лугом. Наконец, есть такая запись: «О правда, правда! Где сияешь ты? Освети нас блеском своим! Тучи скрывают от нас лицо твое – мрак отделяет нас от тебя. Господи! Разорви завесу, отделяющую нас от истины, дай нам видеть ее во всем блеске своем! Трудно, ох, трудно сыскать человека, на которого бы по справедливости положиться можно было».

Еще труднее – скажем мы за написавшим это – найти такому человеку достойную его жену. На долю Василия Ивановича выпало это редкое счастье. Авдотья Петровна, дочь Варвары Афанасьевны Юшковой, старшей сестры, крестной матери и отчасти воспитательницы Жуковского, любимая подруга его детства, сестра Анны Петровны Зонтаг, могла оценить своего мужа и стать для него тем человеком, «на которого по справедливости положиться можно было». Но Бог не судил им долгого счастья: всего семь лет прожила с мужем Авдотья Петровна и осталась двадцати двух лет с тремя детьми на руках. Из них старшему сыну шел седьмой год, младшему – пятый и дочери – другой¹.

Нелегкое дело предстояло молодой вдове. Управление деревнями, разбросанными в нескольких губерниях (Калужской, Орловской, Тульской, Тверской и Владимирской), требовало опытности, которой она, конечно, не имела, а скоро должен был представиться и вопрос о воспитании детей, особенно сыновей, столь мудреный для одинокой женщины. К выполнению второй задачи у нее по крайней мере скоро нашелся надежный советник.

Любовь Жуковского к другой его племяннице, Марье Андреевне Протасовой, и окончательный отказ ему в ее руке со стороны ее матери, Екатерины Афанасьевны, заставили огорченного поэта уехать из своего небольшого имения в соседстве Протасовых. После них из родных и друзей

¹ Иван Васильевич Киреевский родился 22 марта 1806 года в Москве, Петр Васильевич – 11 февраля 1808 года в Долбине, сестра их Марья Васильевна – 8 августа 1811 года.

ближе всех была ему Авдотья Петровна – и вот он в конце лета 1814 года перебрался в Долбино, где и прожил больше года.

Время это оставило неизгладимый след в душе старшего Киреевского; младший, семилетний Петр, не был еще в состоянии им воспользоваться. Иван же, которому уже было почти девять лет и который, как первенец, да еще так рано лишившийся отца, **очень рано и развился, всей душой привязался к человеку, неотразимо действовавшему на всех его знавших** возвышенным строем своей души и младенческой чистотой сердца. В этом раннем сближении с Жуковским следует искать первого объяснения того исключительно идеального склада, которым на всю жизнь запечатлелось мировоззрение **Ивана Васильевича Киреевского и который нашел себе завершение под конец ее под руководством подвижников иного закала.** Таковы были общие последствия близости Жуковского, в частности, она же зародила в его маленьком друге влечение к занятиям словесностью. Как рано стали ему давать чтение, далеко упреждавшее его возраст, видно из сохранившейся книги известного масона **Ивана Владимировича Лопухина, который, правда, был его крестным отцом, – «Некоторые черты о внутренней церкви, о едином пути истины и о различных путях заблуждений и гибели, с присовокуплением краткого изображения качеств и должностей истинного христианина».** На заглавном листе этой книги надпись: **«От автора на память искреннего уважения», а под портретом И. В. Лопухина – «Милому Ванюшке за доброе его сердце от истинного друга бабушки, 1814, февраля 10»,** то есть когда будущему философу не было еще полных восьми лет... Младший его брат, который, как мы уже сказали, был тогда еще **слишком мал, не был в такой степени затронут этими впечатлениями.** Можно предполагать, что это впоследствии отразилось на разнице их умственного склада, при всей их неразрывной дружбе и при том беспредельном поклонении, которое всегда питал Петр Васильевич к своему, по-видимому, более даровитому старшему брату. Но об этом мы будем иметь случай говорить еще не один раз.

В конце 1815 года Жуковский покинул Долбино, мечтая скоро опять туда вернуться и посвятить себя воспитанию Киреевских, но мечта эта не осуществилась.

Через два года Авдотья Петровна вторично вышла замуж за своего троюродного брата Алексея Андреевича Елагина, человека также очень образованного, который был почитателем Шеллинга и даже переводил его сочинения. **Дальнейшее образование молодых Киреевских шло под руководством отчима и матери.** Они прекрасно изучили математику и языки, французский и немецкий, и перечитали множество книг по словесности, истории и философии из библиотеки, собранной еще их отцом. В 1822 году для окончания их учения вся семья переехала в Москву. К двум братьям в ней прибавился младший, Елагин Василий, и позднее – Николай, Андрей и сестра Елизавета. Ученье старших по-прежнему шло совершенно одним путем, но при этом, конечно, Иван по годам своим должен был опередить Петра. **Они брали уроки у профессоров университета Мерзлякова, Снегирева и других, кроме того, Иван слушал публичные лекции о природе профессора М. Г. Павлова, последователя Шеллинга. Товарищем его по учению был А. И. Кошелев.** В это время Киреевские выучились по-английски, по-латыни и по-гречески, но приобретенное ими знание древних языков было настолько невелико, что Ивану Васильевичу двадцать лет спустя пришлось учиться им вновь. Теперь же это была не более как подготовка к экзамену, называвшемуся тогда комитетским, который Иван Васильевич и выдержал вместе с Кошелевым и вместе же с ним в 1824 году поступил в Архив Министерства иностранных дел; Петр служил в нем также, но гораздо позже. **С этого времени умственные дороги братьев, при сохранении всей их дружбы, начинают постепенно обособляться, чтобы много лет спустя, как мы увидим, сблизиться вновь.**

II.

На Солянке, в старинном доме, принадлежавшем некогда думному дьяку Украинцеву, помещалось учреждение, носившее название Московского главного архива Коллегии, а затем Министерства иностранных дел. Некогда только архив, то есть место хранения статейных списков и дел Посольского приказа и последующей дипломатической переписки, учреждение это, по воле Екатерины и под руководством историографа Миллера,

принялось за разборку и подготовку к печати актов дипломатических сношений России. Постепенно развивая свою деятельность в этом направлении, Архив в 1811 году выделил из себя Комиссию печатания государственных грамот и договоров, которая, при щедрой денежной помощи канцлера графа Румянцева, начала издавать собрание их. При директорах Архива Н. Н. Бантыш-Каменском, А. Ф. Малиновском и впоследствии князе М. А. Оболенском продолжалась непрерывная разработка неисчерпаемых – и доселе неисчерпанных – сокровищ Архива. Достаточно назвать имена потрудившихся здесь К. Ф. Калайдовича и П. М. Строева или пользовавшихся здешними актами С. М. Соловьева и митрополита Макария, чтобы напомнить о количестве и достоинстве исполненной в Архиве работы. Позднее Архив был перемещен в новое великолепное здание на Моховой, и его недавно умерший директор барон Ф. А. Бюлер мог широко открыть русским и иностранным ученым гостеприимные двери архивских читален. Ныне в этом и сосредоточивается значение Архива, но в то время, когда поступил в него И. В. Киреевский, русские историки были наперечет, посторонних в Архив не допускали, и что в нем делалось – делалось своими чиновниками, зато этих чиновников было многие сотни.

Традиционная связь дипломатической карьеры с хорошим тоном, изящество и сравнительная легкость службы, перспектива получения места за границей, куда так тянуло русского образованного человека того времени и куда ему не всегда легко было попасть, – все это привлекало в Архив цвет тогдашней московской молодежи. Конечно, дело делало собственно малое число архивских чиновников, остальные только числились на службе, ожидая перевода в Петербург или за границу и служа предметом частью зависти (за право ничего не делать), частью иронических замечаний.

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят, –

сказал Пушкин в «Евгении Онегине». Прозвище это так и осталось за ними. Но, кроме этой отрицательной стороны дела, была и положительная. Соединение в близком, непринужденном товариществе множества людей

молодых, способных, образованных и независимых не могло пройти бесследно ни для Москвы, ни для самих этих людей, и не следует забывать, что Архив был тем первым по времени центром, где зародилась позднейшая умственная жизнь Москвы и главным образом философских ее кружков.

Для официального средоточия этой жизни Московского университета это время было временем переходным. Старые светила закатывались, новые еще не восходили. Притом, по условиям тогдашней жизни, значительная доля образования шла, так сказать, мимо университета. Если мы перечислим тогдашнюю молодежь, о которой и идет речь, то увидим, что добрая половина тех людей, в которых выразилось русское просвещение середины истекающего века, не были питомцами университета. Причины этого следует искать не столько в неудовлетворительности последнего, ибо из него тогда же выходили крупные умы и таланты, сколько именно в складе учебного дела, установившемся в тогдашнем высшем дворянстве, которое, в свою очередь, заключало в себе почти все светское образование того времени. Самая эта, так сказать, привилегированность образования, бывшего принадлежностью одного очень тонкого общественного слоя, заставляла людей этого слоя ревниво, хотя бы и не всегда сознательно, оберегать свое просвещение от вульгаризации, а университет, тогда несравненно менее светский по своей внешности, не мог не представляться вульгарным в глазах людей, стоявших еще на рубеже прошлого века. Университет этот наполнялся не одними дворянами, а иные родители не желали, чтобы сыновья их сидели на одной скамье с разночинцами. Между тем обычай домашнего обучения остался от прежнего времени, и хотя многим родителям того поколения, о котором говорим мы, большинство только что перечисленных соображений было уже чуждо, но общественные привычки меняются не сразу и всегда переживают породившие их условия. Таковы были причины, по которым значительная доля юношества двадцатых годов училась дома. Одно случайное обстоятельство придало этому учению характер, которого не имело ни более раннее, ни последующее время. Как и прежде и как долго после – домашними учителями в русских семьях были иностранцы, но до поколения, о котором идет речь, еще дожили воспитатели, каких после

уже не было, – французские эмигранты. Из них некоторые были люди с выдающимся характером, образованием и умом, конечно, такой состав учителей не мог не отразиться на общем уровне учеников.

Молодые люди из высшего круга, приготовившись дома, обыкновенно держали в университете экзамен для поступления на службу, иные поступали в университет студентами или вольными слушателями, редкие прямо держали экзамен на кандидата. Таким образом, связь с университетом все же поддерживалась постоянно через профессоров и товарищей.

Первым и ближайшим товарищем И. В. Киреевского был, как мы уже сказали, Александр Иванович Кошелев, один из немногих русских людей, которым долгота жизни позволила довершить все, к чему они сами считали себя призванными. Деятельность Кошелева еще в памяти людей, ныне живущих, жизнь его подробно рассказана в недавно вышедшем обширном труде¹. Поэтому личность его одна из наиболее определенных в нашем недавнем прошлом. Незадолго до его смерти, когда составитель настоящего очерка, приступая к обработке биографии Хомякова, попросил у Александра Ивановича объяснения одной черты богословской деятельности его покойного друга, Кошелев, дав, как всегда, короткий и ясный ответ на предложенный вопрос, прибавил: «Впрочем, знайте, что я всегда больше был по политической части». Эти слова необыкновенно ясно рисуют сказавшего их и в то же время доказывают, как верно понимал он свое призвание. Ум сильный, способный, но не склонный к философскому самоуглублению и потому всегда предпочитающий ему деятельность практическую, твердая воля и привычка к последовательной и усидчивой работе, отсутствие художественных способностей, дающее вид сухости и холодности при ясном понимании сердечных отношений и при неизменной крепости сердечных привязанностей, свежесть духа и тела до глубокой старости – вот каким представляется нам Кошелев. В отношении И. В. Киреевского он любопытен тем, что был едва ли не полной его противоположностью, тем поучительнее их почти полувековая неразрывная дружба.

¹ Речь идет о биографии А. И. Кошелева, подготовленной публицистом, историком литературно-общественной мысли, мемуаристом Н. П. Колюпановым: «Биография А. И. Кошелева» (1889–1892). – *Сост.*

В Московском архиве встретились они с Титовым¹ и с братьями Веневитиновыми. Письма В. П. Титова к И. В. Киреевскому говорят, по-видимому, о мелочах, но в них рисуется его характер – живой, бодрый, привлекательный – и его горячая любовь к Киреевскому, не ослабленная ни долговременной разлукой, ни блестящей дипломатической карьерой Титова. Недаром Петр Васильевич Киреевский в письме к брату из Петербурга в 1835 году по поводу приема, оказанного ему там друзьями Ивана Васильевича, говорит: «Особенно в холодной и лаконической заботливости Титова есть что-то истинно трогательное: вот человек, каких я люблю! И это, может быть, именно тот из друзей твоих, который всех глубже тебя любит».

Таким же верным другом был Алексей Владимирович Веневитинов, доказавший это в последние дни жизни Ивана Васильевича и потом нежной заботливостью о детях его после его смерти. Его безвременно умерший брат Дмитрий Владимирович был руководителем своих сверстников в изучении германской философии. Первые шаги Дмитрия Веневитинова на поприщах поэзии, философии и критики были настолько широки и смелы, что трудно сказать теперь, по какому из этих путей пошел бы он окончательно, но что смерть его была тяжелой утратой для России – это несомненно. В своем дружеском кружке Веневитинов оставил навсегда глубокий след и благоговейное воспоминание. Из других архивных юношей назовем талантливую и несколько беспорядочную Соболевскую, впоследствии известного библиографа; его друга И. С. Мальцова, впоследствии управляющего Министерством иностранных дел и одного из первых по времени русских фабрикантов; наконец, будущего профессора русской словесности С. П. Шевырева и воспитателя Ф. И. Тютчева – С. Е. Раича. Из числа не служивших в Архиве воспитанников Московского университета к этому кружку примкнули М. П. Погодин, ботаник и собиратель малороссийских песен М. А. Максимович, переводчик «Вертера», Н. М. Рожалин и князь В. Ф. Одоевский. Несколько позже Иван Ва-

¹ Владимира Павловича Титова пишущему это пришлось видеть один раз весной 1883 года в этом самом Архиве. Показывая ему Архив, в котором времена службы обоих были разделены шестидесятью годами, нельзя было не поддаться обаянию необыкновенной ясности ума и души восьмидесятилетнего старца. Таков был Титов и во всю свою жизнь.

ильевич сошелся с графом Е. Е. Комаровским и с поэтом Е. А. Баратынским; последнего он считал одним из самых дорогих своих друзей. Через Веневитиновых к тому же кружку принадлежали их товарищи по учению, братья Хомяковы. Из них особенно дружен с Д. В. Веневитиновым был старший, Федор, служивший в Петербурге, младший же, Алексей Степанович, также мало живший в эти годы в Москве, сделался замечен в кругу товарищей несколько позже.

Такова была умственная обстановка, в которой вращались братья Киреевские. Насколько можно судить по ранним письмам Кошелева, первой наукой, обратившей на себя внимание И. В. Киреевского, была политическая экономия: по крайней мере летом 1822 года, во время приготовления к экзамену, он писал какое-то сочинение о торговле, и Кошелев собирался много спорить с ним об этом предмете. Немного позже Кошелев советует Киреевскому заняться изложением Адама Смита, которого он много читал. Но уже в следующем, 1824 году Иван Васильевич увлекся германской философией в товарищеском кружке Веневитинова и князя Одоевского, издавшего сборник «Мнемозина». «В то время, – говорит Кошелев в своих записках, – кружок совершенно предался изучению умозрительной философии и считал христианское учение годным только для народных масс. Особенно высоко ценило общество Спинозу, творения которого оно ставило выше Евангелия и других Священных Писаний. Председателем общества был князь Одоевский, а главным оратором – Дм. Веневитинов, который своими речами приводил в восторг и заставил Киреевского выразиться, что Веневитинов рожден более для философии, чем для поэзии». Общество окончил существование после 14 декабря 1825 года. Вскоре Одоевский, а за ним Кошелев и Веневитинов переехали в Петербург, Киреевский продолжал заниматься философией, и в июне 1826 года Кошелев пишет ему: «С нетерпением желаю прочесть твоё сочинение о добродетели. Предмет еще мало обработанный с той точки, на которую ты его поставил – на трансцендентальный идеализм, единственное любомудрие, могущее развернуть нам мысль добра».

Итак, двадцатилетний И. В. Киреевский был совершенно чужд христианского мировоззрения в науке. Петр Васильевич, как кажется, расходится

в этом с горячо любимым братом и, напротив, нашел единомышленника в Хомякове, который возвратился в Москву в 1827 году. Но о занятиях и взглядах Петра Васильевича за это время мы, к сожалению, не имеем точных известий. Кошелев и Титов, переселившись в Петербург, стали звать туда И. В. Киреевского. В 1827 году он пишет первому:

«Ты говоришь, что сообщение с людьми необходимо для нашего образования, и я совершенно согласен, но ты зовешь в Петербург. Назови же тех счастливцев, для сообщества которых должен я ехать за тысячу верст и там употреблять большую часть времени на бесполезные дела. Мне кажется, что здесь есть вернейшее средство для образования: это возможность употреблять время, как хочешь. Не думай, однако же, что бы я забыл, что я русский, и не считал себя обязанным действовать для блага своего отечества. Нет! Все силы мои посвящены ему. Но мне кажется, что вне службы – я могу быть ему полезнее, нежели употребляя все время на службу. Я могу быть литератором – а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать? На этом поприще мои действия не будут бесполезны, я могу это сказать без самонадеянности. Я не бесполезно провел мою молодость и уже теперь могу с пользой делиться своими сведениями. Но целую жизнь имея главной целью образовываться, могу ли я не иметь веса в литературе? Я буду иметь его и дам литературе свое направление. Мне все ручается в том, а более всего сильные помощники, в числе которых не лишнее упомянуть о Кошелеве, ибо люди, связанные единомыслием, должны иметь одно направление. Все те, которые совпадают со мной в образе мыслей, будут моими сообщниками. Кроме того, слушай одно из моих любимых мечтаний: у меня четыре брата, которым природа не отказала в способностях. Все они будут литераторами и у всех будет отражаться один дух. Куда бы нас судьба ни завела и как бы обстоятельства ни разрознили, у нас все будет общая цель – благо отечества – и общее средство – литература. Чего мы не сделаем общими силами? Не забудь, что когда я говорю *мы*, то разумею и тебя, и Титова.

Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотой слога. Но чем ограничить наше влияние? Где положишь ты ему предел, сказав *пес plus ultra*? Пусть самое смелое воображение поставит ему геркулесовы столбы, новый Колумб откроет за ними Новый Свет.

Вот мои планы на будущее. Что может быть их восхитительнее? Если судьба будет нам покровительствовать, то представь себе, что лет через 20 мы сойдемся в дружеский круг, где каждый из нас будет отдавать отчет в том, что он сделал, и в свои свидетели призывать просвещение в России. Какая минута!»

Таковы были мечты двадцатилетнего Киреевского. Тогда же для литературного вечера княгини **З. А. Волконской** написал он **небольшой очерк «Царицынская ночь»** <...>. Это было первое произведение Киреевского, вышедшее за пределы тесного кружка товарищей. Весной 1828 года на **проводах Мицкевича** он читал ему свои написанные по этому случаю стихи. В том же году в **«Московском вестнике»** была напечатана статья Ивана Васильевича «Нечто о характере поэзии Пушкина» и перевод Петра Васильевича из Кальдерона. В альманахах Максимовича **«Денница»** Иван Васильевич напечатал **«Обозрение русской словесности за 1829 год»** уже с подписью. Так, в качестве критика выступил он на литературное поприще, которое и он, и его ближайшие друзья считали истинным его призванием.

Небольшая статья о Пушкине, помимо своих положительных достоинств, невольно останавливает на себе внимание сдержанностью тона и самостоятельностью взгляда двадцатидвухлетнего автора, и притом в такое время, когда почти вся наша литературная критика представляла смесь общих фраз с площадной бранью. Статья Киреевского была едва ли не **первой в России попыткой критики серьезной и строго художественной**. Самое содержание статьи – разделение творчества Пушкина на три периода: итальянско-французский, байроновский и народный (или русско-пушкинский, как его называет Киреевский) – не говорит нам теперь ничего нового, но если мы вспомним время ее написания – **за семь лет до смерти Пушкина**, – то такая ясность понимания критиком развития творчества поэта задолго до завершения этого развития явится немалой заслугой в наших глазах, а определение достоинств и недостатков отдельных поэм и указывание на *народность* творчества поражают и теперь своей меткостью. Особенно любопытно сопоставить последнее указание с мнениями Белинского и с речью Достоевского при открытии памятника Пушкину:

сопоставление это показывает, что вопрос, поднятый гораздо позже, уже ясно представлялся уму Киреевского за целые полвека.

«Обозрение русской словесности за 1829 год» начинается похвалой новому цензурному уставу, похвала эта звучит горькой иронией для потомства, знающего, какая судьба постигла самого автора через два года... Помянув далее добрым словом незадолго перед тем умершего Новикова, создателя у нас охоты к чтению, Киреевский вкратце определяет развитие русской словесности начала этого века, деля его на три эпохи, отмеченные деятельностью Карамзина, Жуковского и Пушкина, – взгляд, опять вполне усвоенный нами теперь, но тогда, над свежей могилой Карамзина и при жизни Жуковского и Пушкина не лишенный новизны и поучительности. Следующий затем разбор отдельных литературных явлений истекающего года – отношения критики к XII тому «Истории государства Российского», достоинств и недостатков «Полтавы» Пушкина и других более мелких произведений – местами очень меток, но для уяснения взглядов Киреевского не дает нам ничего нового. В отзыве о Веневитинове звучит глубокое личное чувство. Переходя к философским начинаниям покойного, Киреевский говорит:

«Но что должен был совершить Веневитинов, чему помешала его ранняя кончина, то совершится само собой, хотя, может быть, уже не так скоро, не так полно, не так прекрасно. Нам необходима философия: все развитие нашего ума требует ее. Ею одной живет и дышит наша поэзия, она одна может дать душу и целостность нашим младенствующим наукам, и самая жизнь наша, может быть, займет от нее изящество стройности. Но откуда придет она? Где искать ее?

Конечно, первый шаг к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, которая в умозрении опередила все другие народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкоренится у нас не может. *Наша философия должна развиваться из нашей жизни, создаваться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта.* Когда? и как? – скажет время, но стремление к философии немецкой, которое начинает у нас распространяться, есть уже важный шаг к этой цели».

В конце «Обозрения...» автор обращается к будущности уже не философии русской, а словесности и всего русского просвещения. Приводим этот конец целиком.

«Но если мы будем рассматривать нашу словесность в отношении к словесностям других государств, если просвещенный европеец, развернув перед нами все умственные сокровища своей страны, спросит нас: “Где литература ваша? Какими произведениями можете вы гордиться перед Европой?” – Что будем отвечать ему?

Мы укажем ему на “Историю государства Российского”, мы представим ему несколько од Державина, несколько стихотворений Жуковского и Пушкина, несколько басен Крылова, несколько сцен из Фонвизина и Грибоедова, и – где еще мы найдем произведения достоинства европейского?

Будем беспристрастны и сознаемся, что у нас еще нет полного отражения умственной жизни народа, у нас еще нет литературы. Но утешимся: у нас есть блага, залог всех других – у нас есть надежда и мысль о великом назначении нашего отечества!

Венец просвещения европейского служил колыбелью для нашей образованности, она рождалась, когда другие государства уже доканчивали круг своего умственного развития, и где они останавливались, там мы начинаем. Как младшая сестра в большой дружной семье, Россия прежде вступления в свет богата опытностью старших.

Взгляните теперь на все европейские народы: каждый из них уже совершил свое назначение, каждый выразил свой характер, пережил особенность своего направления, и уже ни один не живет отдельной жизнью: жизнь *целой* Европы поглотила самостоятельность всех *частных* государств.

Но для того чтобы *целое* Европы образовалось в стройное органическое тело, нужно ей особенное средоточие, нужен народ, который бы господствовал над другими своим политическим и умственным перевесом. Вся история новейшего просвещения представляет необходимость такого господства: всегда одно государство было, так сказать, *столицей* других, было *сердцем*, из которого выходит и куда возвращается вся кровь, все жизненные силы просвещенных народов.

Италия, Испания, Германия (во время Реформации), Англия и Франция попеременно управляли судьбой европейской образованности. Развитие внутренней силы было причиной такого господства, а упадок силы – причиной его упадка.

Англия и Германия находятся теперь на вершине европейского просвещения, но влияние их не может быть живительное, ибо их внутренняя жизнь уже окончила свое развитие, состарилась и получила ту односторонность зрелости, которая делает их образованность исключительно им одним приличной.

Вот отчего Европа представляет теперь вид какого-то оцепенения: политическое и нравственное усовершенствования равно остановились в ней, запоздалые мнения, обветшалые формы, как запруженная река, плодоносную страну превратили в болото, где цветут одни незабудки да изредка блестит холодный блуждающий огонек.

Изю всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении, два народа, молодые, свежие, цветут надеждой: это Соединенные Американские Штаты и наше отечество.

Не отдаленность местная и политическая, а более всего односторонность английской образованности Соединенных Штатов – всю надежду Европы переносит на Россию.

Совместное действие важнейших государств Европы участвовало в образовании начала нашего просвещения, приготовило ему характер общеевропейский и вместе дало возможность будущего влияния на всю Европу.

К той же цели ведут нас гибкость и переимчивость характера нашего народа, его политические интересы и самое географическое положение нашей земли.

Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупности всех других, судьба России зависит от одной России.

Но судьба России заключается в ее просвещении: оно есть условие и источник *всех* благ. Когда же эти *все* блага будут *нашими*, мы ими поделимся с остальной Европой и весь долг наш заплатим ей сторицею».

Во втором из приведенных отрывков уже слышится будущий автор письма «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России»; первый – невольно обращает нашу мысль к статье «О необходимости и возможности новых начал для философии».

В своем месте, говоря об этих двух важнейших трудах Киреевского, отделенных от «Обозрения» промежутками времени – первый в 22, второй в 26 лет, – мы возвратимся к этому первому наброску его взгляда на задачи русского просвещения; теперь же отметим только мысль, которая, хотя и не совсем ясно, сквозит в нем: **убеждение в необходимости найти то основное начало, которым бы могло обновиться это просвещение.**

Трудно решить, предугадывал ли сам Киреевский в эту пору своей жизни, какой путь изберет он в искании истины, – трудно не столько по отсутствию точных биографических сведений об этом вопросе, сколько по тому, что выбор пути совершился не как логический вывод, а как факт внутренней духовной жизни мыслителя. **Для нас важно удостовериться в том, что он уже тогда искал разгадки своему сомнению и заканчивал свое размышление вопросом, очевидно пока еще не находя на него ответа. Если мы верно понимаем значение этой поворотной точки в воззрениях Ивана Васильевича, то последовавшее вскоре за тем обращение его к православно-христианскому взгляду на философию в мысли и к вере в жизни перестает казаться таким переломом или даже скачком, каким многие хотели его представить, а является, напротив, вполне последовательным, естественным и разумным завершением всего предшествовавшего его развития.**

Но намек, брошенный Киреевским, слишком еще опередил время и не был, по-видимому, замечен не только присяжными журналистами, которым мало было дела до подобных вопросов, но и более зоркими и вдумчивыми читателями. Первые подхватили в «Образовании» две мелкие подробности: замечание о том, что «остроумие и вкус воспитываются только в кругу лучшего общества», и выражение, правда, довольно странное, что «Дельвиг набросил на свою классическую музу душегрейку новейшего уныния». Эти мелочи повторялись и пересмеивались на все лады.

Лучшее меньшинство с Пушкиным во главе приветствовало в Киреевском новую крупную силу – литератора и журналиста, какого не доставало русской печати, этим объясняется то единодушие, с которым это меньшинство откликнулось через год на призыв Киреевского и приняло участие в его журнале.

Но всех горячее принял к сердцу начало деятельности своего юного друга его давний руководитель – Жуковский. «Я читал в “Московском вестнике”, – пишет он Авдотье Петровне, – статью Ванюши о Пушкине и порадовался всем сердцем. Благословляю его обеими руками писать: умная, сочная, философическая проза. Пускай теперь работает головой и хорошенько ее омеблирует – отвечаю, что у него будет прекрасный язык для мыслей. Как бы было хорошо, когда бы он мог года два посвятить немецкому университету! Он может быть писателем! Но не теперь еще». В следующем письме Жуковского читаем: «Но я желал бы, чтобы Иван Васильевич постарался сделаться писателем, то есть, поверив бы мне, что может со временем быть им, принялся бы к этому великому званию готовиться, но не так, как у нас обыкновенно готовятся, а так, как он *может сам*». В третьем письме Жуковский пишет: «Я уверен, что Ваня может быть хорошим писателем. У него все для этого есть: жар души, мыслящая голова, благородный характер, талант авторский. Нужно приобрести знания поболее и познакомиться более с языками. Для первого – ученье, для последнего – навык писать. Могу сказать ему одно: учись и пиши, сделаешь честь своей России и проживешь не даром. Мне кажется, что ему надобно службу считать не главным, а посвятить жизнь свою авторству. Что же писать – то скажет ему его талант»¹.

С такими пожеланиями и надеждами приступал к делу 24-летний Киреевский. Его влекла деятельность литературно-общественная, любимой его мечтой было издание журнала. Но осуществление этой мечты было пока отсрочено событием иного порядка.

¹ Жуковский не обманулся в Киреевском. Через двадцать лет по поводу отзыва последнего о переводе «Одиссеи» Василий Андреевич пишет ему: «Я употребил все свои силы, чтобы сохранить в своем языке эту свежесть первобытного языка Гомера, и это мне, в переводе, после всех конвульсивных изменений языка поэтического, происшедших с этого времени, было, конечно, труднее, нежели самому Гомеру; и для меня радостно слышать, что ты, знаток и владыка могучий русского языка, нашел это в моем переводе».

Проводив в июле 1829 года брата за границу, куда Петр Васильевич поехал слушать лекции в германских университетах, Иван Васильевич в августе **решился искать руки своей троюродной сестры Натальи Петровны Арбеновой, но на этот раз безуспешно. Отказ так глубоко подействовал на его душу и тело, что врачи, опасаясь за его здоровье, стали советовать ему тоже ехать за границу.**

III.

Между тем Петр Васильевич спокойно жил и учился в Мюнхене. Узнав из письма брата (к сожалению, несохранившегося) о постигшей его **сердечной неудаче, он пишет ему в ноябре 1829 года длинное задушевное письмо.** В этой братской исповеди мы впервые встречаемся с Петром Киреевским, так сказать, лицом к лицу: до сих пор мы лишь вскользь упоминали о нем, следя за умственным ростом старшего брата. Выписываем из письма Петра Васильевича все наиболее рисующее его самого и его отношение к брату.

«Я получил твое письмо! Какое горькое чувство оно дало мне! И вместе какое высокое, утешительное! На твою искреннюю, горячую дружбу – не слова должны быть ответом. Глубокие, неизгладимые черты, которые твое письмо оставило в моем сердце, будут для меня вечным талисманом, укрепляющим и возвышающим душу, и пусть его действие будет тебе моей благодарностью. Мне тяжело было чувствовать, как мало я оправдываю то высокое понятие, которое ты имеешь обо мне, но твоя *вера* в меня дает мне новые силы: она имеет силу творческую.

С какой гордостью я тебя узнал в той высокой твердости, с которой ты принял этот первый тяжелый удар судьбы! Так! Мы родились не в Германии, у нас есть *отечество*. И, **может быть, отдаление от всего родного особенно развило во мне глубокое религиозное чувство, может быть, даже и этот жестокий удар был даром неба.** Оно мне дало тяжелое, мучительное чувство, но вместе чувство глубокое, живое, оно тебя вынесло из вялого круга **вседневных впечатлений обыкновенной жизни, которая, может быть, еще мучительнее. Оно вло-**

жило в твою грудь пылающий уголь, и тот внутренний голос, который в минуту решительную дал тебе силы, сохранил тебя от отчаяния, был голос Бога:

Восстань, пророк! и виждь и внемли:
Исполнишь волей моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

Ты хорошо знаешь все нравственные силы России: уже давно она жаждет живительного слова, и среди всеобщего мертвого молчания какие имена оскверняют нашу литературу!

Тебе суждено горячим, энергическим словом оживить умы русские, свежие, полные сил, но зачерствелые в тесноте нравственной жизни. Только побывавши в Германии, вполне понимаешь великое значение русского народа, свежесть и гибкость его способностей, его одушевленность. Стоит поговорить с любым немецким простолюдином, стоит сходить раза четыре на лекции Мюнхенского университета, чтобы сказать, что недалеко то время, когда мы их опередим и в образовании. Здесь много великих ученых, но все они собраны из разных государств Германии одним человеком – королем, который делает все, что может; это еще не университет: что могут они сделать, когда их слова разносятся по ветру? Надежды, которые университет подавать может, должны мериться и образовательностью слушателей. А знаешь ли, что в Московском университете едва ли найдешь десяток таких плоских и бездушных физиономий, из каких составлен весь Мюнхенский? Знаешь ли, что во всем университете едва ли найдешь между студентами человек пять, с которыми бы не стыдно было познакомиться? Что большая часть спит на лекциях Окена и читает романы на лекциях Герреса? Что дня три тому назад Тирш, один из первых ученых Германии, должен был им проповедовать на лекции, что для того, чтобы сделать успехи в филологических науках, не должно скупиться и запастись по крайней мере латинской грамматикой! Потому что многие из них приходят к нему, прося позволения просмотреть грамматику Цумпта, которая стоит 1 талер! И это тот университет, где читают Шеллинги, Окены, Герресы, Тирши. Что если бы один из них был в Москве? Какая жизнь закипела бы в университете! Когда и тяжелый педантичный Давыдов мог возбудить энтузиазм! Но это ты все увидишь, если и не решишься ехать в Мюнхен, то увидишь и в других государствах Германии.

Что тебе сказать о том, что я делаю в Мюнхене? Я хотя и занимаюсь довольно деятельно, но сделал очень немного; главные мои занятия: философия, латинский язык и отчасти история, но медленность моего чтения не переменилась, и я прочел очень немного, больше пользы получил от виденного и слышанного и вообще от испытанного.

Самые замечательные из моих впечатлений в Мюнхене было свидание с Шеллингом и Океном и три концерта Паганини, который уехал отсюда на прошедшей неделе. Действие, которое производит Паганини, невыразимо; я ничего не слышал подобного, и хотя, когда шел его слушать, готовился ко всему необыкновеннейшему, но он далеко превзошел все, что я мог вообразить, и это останется на всю жизнь. Довольно взглянуть на него, чтобы сказать, что это человек необыкновенный, и, хотя черты совсем другие, в выражении глаз его много сходного с Мицкевичем».

Мы выписали менее половины письма, опустив все, что Петр Васильевич пишет о предстоящей поездке брата, входя в мельчайшие подробности его предполагаемого путешествия.

Письмо это в биографическом отношении неocenенно: оно рисует нам *всего* человека таким, каков он остался до конца дней своих. В самом деле, на двадцать втором году жизни мы видим в Петре Васильевиче все отличительные черты его позднейшего характера: горячую любовь к брату, убеждение в его высоком призвании и самое скромное мнение о собственных способностях, непоколебимую веру в Россию и в русское просвещение, трудолюбие и постоянство в работе, предпочтение впечатлений жизненных – книжным, даже любовь к музыке.

Жуковский, узнав о намерении Ивана Васильевича ехать за границу, писал ему:

«Вместо того чтобы отвечать твоей матери, пишу прямо к тебе, мой милый Иван Васильевич. Она меня обрадовала, уведомив, что ты собираешься путешествовать и (*qui plus est*¹) учиться. Признаюсь, то, что ты до сих пор был, казалось мне, по сию пору тебе совершенно неприличным и не стоящим того, что ты есть, то есть то, что ты быть можешь. Ты терял свою молодость в московском свете.

¹ К тому еще (*лат.*) – *Сост.*

Всякий так называемый большой свет есть жалкая сцена для деятельности ума и души, а московский большой свет и подавно. Ты попал в сословие архивных dandy и пропал для той прекрасной деятельности, для которой создала тебя добрая природа, к тебе особенно добрая. Я немного читал *твоего*, одну только статью, но по ней готов уверять, что ты мог бы сделаться писателем заметным и полезным для отечества. Но тебе недостает классических знаний. В убийственной атмосфере московского света не только не соберешь их, но и к тем ничтожным, которые имеешь, сделаешься равнодушным. День за днем будет проходить, и каждый день оставит на душе свой мертвительный слой, который со временем обратится в толстую кору, сквозь которую и душа, и талант, и сердце не будут в состоянии пробиться. Гете говорит: талант зреет в уединении, а характер в обществе. В том обществе, которое ты для себя выбрал, характер не созреет (ибо нет способов ни меняться мнениями, ни действовать перед знающими судьями), а уединения ты сам себя лишил самым бедственным образом. Все это оправдывает радость мою при известии о твоём намерении ехать за границу. Теперь совет. Я на твоём месте (прежде путешествия, которое должно дополнить занятия кабинетные) прежде выбрал бы года два постоянного пребывания в таком месте, где можно солидно выучиться, и не в Париже, а в Германии, и в Германии предпочтительно в Берлине. Берлин теперь есть главное место просвещения. Там найдешь все: университет отличный, без всяких неудобств университетской жизни, общество без излишней приманки рассеянности, все способы познакомиться с изящными искусствами и, наконец, самый отборный круг людей ученых. Думаю также, что по отношению к общественной нравственности Берлин заслуживает предпочтения. Париж полезен только для вооруженных знаниями и мыслями. Для образования он слишком блистателен. Публичные лекции в Париже более роскошь, нежели солидное наставление. Париж прекрасен после Берлина, до Берлина это десерт прежде супа и бифштекса. Заморит голод, а не накормит и еще желудок истощит. Итак, решишь и поезжай в Берлин, употреби года два на жизнь университетскую, потом года два на путешествие, в особенности по Франции, Англии, Швейцарии и Италии, в конце четвертого года будет готова и Греция. Возвратись через южную Россию, на которую также употреби год. В течение этого времени пиши для себя по-русски, ломай язык и создай чистый, простой, ясный язык для своих мыслей. Со всем этим возвратись и пиши. Обещаю тебе, что будешь хорошим писателем. Если решишься ехать в Берлин, то уведомя: я наготовлю тебе рекомендации и уве-

рен, что сдам тебя на руки таким людям, которые укажут дорогу и помогут идти по ней. Обнимаю тебя, а ты обними мать и всех своих».

Из этого письма видно, какие надежды возлагал на Киреевского Жуковский, что он считал для него необходимым и как основательно сам он знал состояние современных ему центров европейской образованности. В начале января 1830 года Иван Васильевич выехал из Москвы и 11 января был в Петербурге. Здесь его с нетерпением ждали Жуковский и товарищи: Кошелев, Титов, Одоевский, Мальцов. Жуковский поместил его у себя, познакомил с Пушкиным, Крыловым и другими, показывал ему Эрмитаж, друзья ни на минуту его не оставляли. Словом, было сделано все, чтобы развлечь огорченного скитальца и облегчить ему разлуку с родиной. При этом Жуковский со свойственным ему знанием человеческого сердца, как и в приведенном выше письме, не коснулся до свежей сердечной раны. Иван Васильевич, пробыв в Петербурге десять дней, через Ригу направился в Берлин, снабженный всюду рекомендательными письмами Жуковского, который, проводив его, писал Авдотье Петровне: «Для меня он был минутным милым явлением, представителем ясного и печального, но в обоих образах драгоценного прошедшего и веселым образом будущего, ибо, судя по нем и по издателям нашего домашнего журнала (особливо по знаменитому автору заговора Катилины) и еще по мюнхенскому нашему медвежонку, в вашей семье заключается целая династия хороших писателей – пустите их всех по этой дороге! Дойдут к добру. Ваня – самое чистое, доброе, умное и даже философическое творение. Его узнать покороче весело».

Письмо Ивана Васильевича к матери из Берлина от 11/23 февраля начинается так:

«Сегодня рождение брата. Как-то проведете вы этот день? Как грустно должно быть ему! Этот день должен быть для всех нас святым: он дал нашей семье лучшее сокровище. Понимать его возвышает душу. Каждый поступок его, каждое слово в его письмах обнаруживает не твердость, не глубину души, не возвышенность, не любовь, а прямо величие. И этого человека мы называем братом и сыном!»

Из этих слов видно, что если Петр Васильевич благоговел перед старшим братом, то и последний платил ему тем же. Такая восторженность отношений могла бы теперь показаться нам странной, если бы неразрывное единодушие братьев не было доказано потом много раз в тяжелые для семьи дни и не было наконец завершено тем простым, но убедительным заключением, что один из них не смог пережить другого. Но об этом речь впереди. **В том же письме из Берлина находим мы указание на то, насколько Иван Васильевич овладел своими чувствами.**

«Зачем, спрашиваете вы, борюсь ли я сам с собой, — пишет он. — Вы знаете, что у меня довольно твердости, чтобы не переживать двадцать раз одного и того же. Нет, я давно уже перестал бороться с собой. Я покоен, тверд и не шатаюсь из стороны в сторону, иду верным шагом по одной дороге, которая ведет прямо к избранной цели... На жизнь и на каждую ее минуту я смотрю как на чужую собственность, которая поверена мне на честное слово и которую, следовательно, *я не могу* бросить на ветер».

В конце письма, по поводу откровенности с друзьями, он говорит:

«Либо полное участие, либо никакого — было моим всегдашним правилом, и я тем только делюсь с другими, что они могут *вполне* разделить со мною».

Из берлинских профессоров более всех увлек Ивана Васильевича художественностью изложения и богатством мыслей географ Риттер, о котором он с восторгом говорит в своих письмах. Далее он слушал юриста Савиньи и богослова Шлейермахера, но предмет, читаемый первым, — римское право — сравнительно мало занимал Киреевского, а второй не удовлетворил его своим неопределенным положением в вопросе об отношении между верой и наукой. Впрочем, то, что говорит по этому поводу Иван Васильевич, не раскрывает нам его собственного религиозного взгляда: он ограничивается указанием на то, что Шлейермахер мыслит не как верующий человек и не как ученый только, то есть что он не последователен в своих выводах. Общее впечатление, производимое длинным рассуждением Киреевского по этому поводу, таково, что он сам был в это время расположен верить, но еще не верил, это совпадает с тем, что мы видели выше в его «Обозрении...».

Но самой крупной величиной в Берлинском университете был старик Гегель. Однако Иван Васильевич не сразу пошел его слушать: Гегель читал в одни часы с его любимым Риттером, – а услышав, был очень разочарован его старческим говором. Зато личное знакомство со знаменитым философом доставило ему большое удовольствие. Иван Васильевич написал ему письмо, прося позволения быть у него. Гегель отвечал ему следующей запиской: «Mein Herr! Es wird mir eine Ehre sein, Ihren Besuch zu empfangen; ich bin Vormittags gewöhnlich bis 12 Uhr (morgen bis 11 Uhr) zu Hause. Nur muss ich gestehen hat der Ton Ihres gefälligen Billets mich in eine Befangenheit gegen Sie gesetzt, die Sie mir, da ich auch durch meine ausseliche Stellung ganz zugänglich bin, auf eine einfache Weise erspart haben werden. Mit aller Hochachtung Ihr ergebenster Prof. Hegel. Berlin d. 23 März 30»¹. Являсь в назначенный день, Иван Васильевич был принят очень ласково и потом был у Гегеля несколько раз.

Там он познакомился с другими учеными, любопытен его отзыв о профессоре философии Мишелете как рисующий отношение к Гегелю многих его менее талантливых учеников: «Мишелет немного не доварил своих мнений. Он ученик и приверженец Гегеля, но, кажется, понимает хорошо только то, что Гегель сказал, а что непосредственно следует из его системы, то для Мишелета еще не ясно, и он как будто боится высказать свое мнение прежде своего учителя, не зная наверное, сойдется ли с ним или нет. Большая часть наших разговоров, или, лучше сказать, наших споров, кончалась так: “Ja wohl! Sie können vielleicht Recht haben, aber diese Meinung gehört vielmehr zu dem Schellingischen, als zu dem Hegelischen System”»².

В общем, на Ивана Васильевича произвело сильное впечатление это собрание в одном месте светил науки, и он пишет: «Не знаю, как выразить то, до сих пор не испытанное расположение духа, которое *насилъно*

¹ Перевод: «Милостивый государь! Посещение Ваше я почти за честь. Я бываю утром дома обыкновенно до 12 (завтра до 11) часов. Однако я должен признаться, что тон Вашего любезного письма привел меня по отношению к Вам в смущение, от которого Вы легко бы могли меня избавить, так как я по моему внешнему положению вполне доступен. С полным уважением преданный Вам проф. Гегель. Берлин, 23, марта 30» (нем.).

² Перевод: «Конечно, Вы, может быть, и правы, но это мнение принадлежит скорее к шеллинговой, чем к гегелевской системе».

и, как чародейством, овладело мною при мысли: *я окружен первоклассными умами Европы!*» Далее, под 16 марта, вспоминая бывшую накануне годовщину смерти Дмитрия Веневитинова, он пишет: «Был ли вчера кто-нибудь под Симоновом? Что мои розы и акации? Если бы он (то есть Веневитинов) был на моем месте, как прекрасно бы отозвалось в нашем отечестве испытанное здесь!» Эти слова напоминают нам, как строго относился писавший к самому себе.

Берлинский театр не понравился Киреевскому: он нашел, что публика немецкая не достаточно развита – не лучше нашей – и что актеры слишком угождают ее низменным вкусам.

Пробыв в Берлине немного менее двух месяцев, Иван Васильевич уехал в Дрезден. Осмотрев тамошнюю картинную галерею, он пишет сначала:

«“Рафаэлевой Мадонны” я не понял», но после прибавляет: «Теперь только чувствую, как глубоко чувствовал Рафаэль, когда вместо всякого выражения своей мадонне дал только одно выражение – робкой невинности». Трудно объяснить, почему Киреевский, чуткий ко всему прекрасному, был так мало затронут величайшим художественным произведением нового времени, которого непосредственное действие испытал всякий, его видевший. Быть может, это была простая случайность. В Дрездене Иван Васильевич пробыл всего три дня и вместе с Рожалиным поспешил в Мюнхен к брату, который, по его словам, «остался тот же глубокий, горячий, несокрушимо одинокий, каким был и будет во всю жизнь. При этой силе и теплоте души, при этой твердости и простоте характера, которые делают его так высоким в глазах немногих, имевших возможность и умение понять, ему недоставало одного: опытности жизни, и это именно то, что он теперь так быстро начинает приобретать. Необходимость сообщаться с людьми сделала его и общительнее, и смелее, уменьшив несколько ту недоверчивость к себе, которая могла бы сделаться ему неизлечимо вредной, если бы он продолжал еще свой прежний образ жизни».

Через Петра Васильевича и старший брат познакомился с Шеллингом и Океном, а из русских – с Тютчевым и стал посещать лекции обоих знаменитых ученых и записывать их. О лекциях Шеллинга он говорит с некоторым разочарованием, потому что «против прошлогодней его системы нового не много» – замечание, показывающее, насколько основательно

Иван Васильевич был уже знаком с предметом. Наконец все трое – братья Киреевские и Рожалин – стали учиться по-итальянски, и Иван Васильевич увлекся Ариостом, о котором говорит: «Он греет, утешает и рассеивает. Мир его фантазии – это теплая, светлая комната, где может отдохнуть и отогреться, кого мороз и ночь застали в пути».

В сентябре Петр Васильевич с Рожалиным уехали в Вену, где весело провели месяц в осмотре произведений искусства и толкотне по городу и его окрестностям. Иван Васильевич остался в Мюнхене писать письма и доучиваться по-итальянски с тем, чтобы по возвращении товарищей ехать в Италию. **Но все эти мечты разлетелись прахом при грозной вести о холере...** Это была страшная первая холера 1830 года. Иван Васильевич бросил все и поскакал домой, посылая с дороги тревожные и торопливые письма матери. Петр Васильевич, вернувшись в Мюнхен, уже не застал там брата и, видя невозможность догнать его, написал ему в Варшаву, умоляя беречь себя, а сам выехал через несколько дней. В письме к матери перед этим (еще из Вены) Петр Васильевич говорит:

«Кто на море не бывал, тот Богу не молился! Это говорится недаром: и я в полноте узнал это вместе и греющее, и возвышающее чувство молитвы только здесь, вне России, вдалеке от вас. Только здесь, где я раздвоен, где лучшая часть меня за тысячи верст, вполне чувствуешь, осязаешь эту громовую силу, которая называется **судьбой, и перед ней благоговеешь; чувствуешь полную бессмысленность мысли, что бы она была без разума, и остается только один выбор между верой или сумасшествием. Что до меня касается, то я спокоен, как только можно быть, и делаю все, что могу, чтобы вытеснить из сердца всякое бесплодное беспокойство, оставя одну молитву**».

Старший брат вернулся в Москву 16 ноября, а младшего задержал в дороге **вот какой случай: Петр Васильевич проехал через Варшаву накануне** возмущения. Курьер, привезший известие о вспыхнувшем возмущении, приехал в Киев **несколькими часами прежде Киреевского. В Киеве, в полиции, отказались дать свидетельство для получения подорожной. Полиции показалось странным, что человек спешит в чумной город, из которого все старались выехать. Польское окончание фамилии на -ский, паспорт, в ко-**

тором было прописано, что при П. Киреевском человек, между тем как он возвращался один, ибо человек был отпущен несколько месяцев прежде, – все эти обстоятельства показались подозрительными, и полиция не дозволила выехать из города без высшего разрешения. Мюнхенского студента потребовали явиться к генерал-губернатору, тогда генерал-губернатором был Б. Я. Княжнин. Он принял Киреевского строго и сухо, предложил ему несколько вопросов и, выслушав ответы, в раздумье начал ходить по комнате.

Молодой Киреевский, не привыкший к таким *начальническим приемам*, пошел вслед за ним. «Стойте, молодой человек! – воскликнул генерал-губернатор, закипевший от негодования. – Знаете ли вы, что я сейчас же могу засадить вас в каземат, и вы сгниете там у меня, и никто никогда об этом не узнает?»

«Если у вас есть возможность это сделать, – спокойно отвечал Киреевский, – то вы не имеете права это сделать!» – «Ступайте», – сказал генерал-губернатор, несколько устыдившись своей неуместной вспыльчивости, и в тот же вечер приказал выдать подорожную. Всех своих Киреевские застали здоровыми.

Так неожиданно прервалось в самом начале путешествие Ивана Васильевича. Жуковский, узнав о его возвращении, писал ему: «Холера заставила тебя сделать то, что ты всегда сделаешь, то есть забыть себя и все отдать за *милых*... Прости, мой милый Курций. Думая о том, каков ты и как совершенно во всем похож на свою мать, убеждаюсь, что ты создан более для внутренней, душевной жизни, нежели для практической на *нашей сцене*. Живи для пера и для нескольких сот крестьян, которых судьба от тебя зависит: довольно поживы для твоего сердца». Вскоре после этого Иван Васильевич написал небольшое произведение, которое живо рисует его тогдашнее настроение: это сказка «Опал», помеченная 30 декабря 1830 года, но дошедшая до нас в позднейшей переделке для печати. <...>

IV.

Войдя в прежнюю жизненную колею и собравшись с мыслями, Иван Васильевич вернулся к давнишнему своему намерению – издавать жур-

нал. Он дал ему имя «Европеец». Имя это показывает, как далек был еще тогда Киреевский от ясного разумения и открытого выражения тех начал, которые высказал печатью через двадцать лет, хотя, как мы видели, предчувствие их уже начинало бродить в нем.

Ни одно русское литературное предприятие не встречало еще заранее такого единодушного сочувствия, как «Европеец». Все, что было в России живого, даровитого, — **все готово было примкнуть к молодому журналисту.** Лучшие писатели предложили ему свое сотрудничество. Причин тому было много: бескорыстие и идеальное настроение издателя, его личные связи почти со всеми тогдашними поэтами; всего же более, быть может, пример Жуковского, который был как бы крестным отцом своего воспитанника и любимца на новом для него поприще. Широкое поле деятельности открывалось перед ним...

Вот оглавление первых двух книжек «Европейца».

№ 1. — «Девятнадцатый век» *И. В. Киреевского*. — «Сказка о спящей царевне» *В. А. Жуковского*. — «Император Иулиан», перевод из Вильмения, *Д. С.* — «О слоге Вильмения» *И. В. Киреевского*. — «Элегия» *Е. А. Баратынского*. — «Е. А. Свербеевой», «Ау», стихотворения *Н. М. Языкова*. — «Чернец», повесть, с немецкого. — Письма Гейне о картинной выставке. — Критика: «Обозрение русской литературы» *И. В. Киреевского*. — Письма из Парижа Людвига Берне. — Смесь. — «Литературные новости», *А.* — «Североамериканский сенат», *С.* — «Мысли из Жана Поля», *Д.* — «Горе от ума» — на московской сцене» *И. В. Киреевского*. — *Е.* Письмо из Лондона.

№ 2. — «Война мышей и лягушек» *В. А. Жуковского*. — «Перстень», повесть в прозе *Е. А. Баратынского*. — «Воспоминание», стихотворение *Н. М. Языкова*. — Карл Мария Вебер, с немецкого. — «Конь» *Н. М. Языкова*. — «Элегия» его же. — «Языкову» *Е. А. Баратынского*. — Письма Гейне, окончание. — «Современное состояние Испании», статья, составленная *П. В. Киреевским*. — «Иностранке» *А. С. Хомякова*. — Ей же, *А. С. Хомякова*. — «Обозрение русской литературы» *И. В. Киреевского*. — О Бальзаке. — Смесь. — Письмо из Парижа *А. И. Тургенева*. — Письмо из Берлина. — «Русские Альманахи» *И. В. Киреевского*. — «Антикритика» *Е. А. Баратынского*. — О небесных явлениях.

При таком подборе имен успех, казалось, был обеспечен... Но враги не дремали.

Успех Киреевского значил успех нового направления современной печати и гибель старого – разорение Булгариных с братией. Допустить, чтобы такой журнал стал на ноги и приобрел подписчиков, значило уступить и доход, и почет, уступить без боя, ибо открытый бой с таким соперником пришелся бы не под силу. И вот пущено было в ход более надежное средство – клевета. Мы не знаем, кто именно донес на Киреевского, но донос был – это, кажется, не подлежит сомнению. И вот в феврале 1832 г. попечитель Московского учебного округа князь С. М. Голицын получил от министра народного просвещения князя К. А. Ливена такую бумагу: «Господин генерал-адъютант Бенкендорф сообщил мне, что в номере первом издаваемого в Москве Иваном Киреевским журнала под названием “Европеец” статья “Девятнадцатый век” есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, понимает совсем иное, что под словом “просвещение” он понимает свободу, что *деятельность разума* означает у него *революцию*, а *искусно отысканная середина* не что иное, как *конституция*. Статья сия не долженствовала быть дозволена в журнале литературном, и как, сверх того, она статья, невзирая на ее нелепость, писана в духе самом неблагоприятном, то и не следовало цензуре оной пропускать». В статье о «Горе от ума» усмотрена неприличная выходка против живущих в России иностранцев. Цензор С. Т. Аксаков получил строгий выговор и вскоре отставлен от службы, журнал запрещен, а издатель признан человеком неблагомыслящим и неблагонадежным. Быть может, дело по отношению к Киреевскому не ограничилось бы даже этим, если б не Жуковский. Узнав о беде, которая стряслась над Иваном Васильевичем, этот неизменный друг тотчас же принялся хлопотать за него, но даже и ему, тогда уже воспитателю наследника, пришлось употребить все свое влияние, чтобы спасти Киреевского. Другой, быть может, колебался бы, но Василию Андреевичу не в первый раз было забывать о себе... Мы позволяем себе при-

вести все письма Жуковского к Киреевскому об этом деле, как потому, что они рисуют время, так и еще более потому, что в них чрезвычайно живо выступает перед нами высокий образ мыслей самого Жуковского, так сильно отразившийся, как мы знаем, на Киреевском.

«Очень огорчило меня то, что случилось с тобою, мой милый Иван Васильевич. Я уверен в чистоте твоих мыслей, они так же чисты, как и вся твоя жизнь до настоящей минуты. Но в статье твоей “Девятнадцатый век” находят под выражениями явными тайный смысл и полагают, что она написана с худой целью. Обвиняют и в статье твоей о комедии “Торе от ума” твою выходку против любви к иностранцам, полагая, что ты разумеешь под именем иностранцев и тех русских, кои, нося фамилию не русскую, принадлежат к русским подданным, то есть жителей наших немецких провинций. Ни этой мысли, ни худых тайных намерений ты не мог иметь: в этом я более, нежели кто-нибудь, уверен. Но правительство думает иначе, журнал твой запрещен, но тебе не запрещено оправдываться. Напиши к его высокопревосходительству Александру Христофоровичу Бенкендорфу письмо, в котором изъясни просто и цель своего журнала, и намерение, с каким написана первая статья, и настоящий смысл твоего мнения об иностранцах. Письмо должно быть написано коротко и просто, доставь его ко мне, я вручу его генералу Бенкендорфу. Твое оправдание будет, конечно, уважено. Обнимаю тебя и всех вас».

Мы не знаем, было ли написано оправдательное письмо Киреевского, по крайней мере вскоре Жуковский пишет¹:

«Мой милый “европеец”, обнимаю тебя за твое милое письмо. На сих днях поеду с ним к Бенкендорфу и приложу к нему собственные объяснения письменные и словесные. Ты же с своей стороны сделай то, что я тебе советовал: напиши к Бенкендорфу от себя. Но в письме своем более старайся не доказывать сделанные тебе несправедливости, а оправдывать свою невинность. Вступайся менее за свой журнал, нежели за самого себя, и говори более о том, что запрещение журнала делает и тебя самого подозрительным правительству, чего ты не заслужил и что считаешь наибольшим для себя несчастьем. Говори о своем желании быть полезным в смысле правительства, о своей цели распространять

¹ К сожалению, он никогда почти не проставлял чисел.

посредством авторства те идеи, кои правительство находит общепользными, и о том, что неблагоприятное мнение, которое должно пасть на тебя с запрещением твоего журнала, **отнимает у тебя средство доказать на деле свою к нему приверженность.** Одним словом, в письме твоем должно быть менее доказательств того, что с тобой поступали несправедливо, нежели уверений, что ты заслуживаешь доброе мнение. Доказывать сильным, что они неправы, есть только вооружать их еще **более против себя. Стой не за журнал свой, а за себя. Я уже писал к Государю** и о твоем журнале, и о тебе. Сказал мнение свое начистоту. Ответа не имею и, вероятно, не буду иметь, но что надобно было сказать, то сказано. Из всего этого дела видно, что есть добрые люди, вероятно, из авторской сволочи, кои вредят тебе по личной злобе, но, вредя тебе, хотят ввести правительство в заблуждение и насчет всех, кто пишет с добрым намерением. Они клеветают на эти намерения, и я уверен, что **правительство убеждено, что между авторами некоторого разряда, в коем, вероятно, состою и я, есть тайное согласие распространять мнения разрушительные и революционные.** Если такая мысль дана правительству, то удивительно ли, что оно смотрит на нас с подозрением и в самых невинных вещах видит то, **чего в них нет и быть не может. Все можно изъяснить превратным образом. А как оправдаться, когда ни изъяснители, ни их изъяснения неизвестны, а только вследствие сих тайных клевет осуждают то, что ими зловердно обезображено.** Что делать честному человеку? Он совершенно бессилен, ибо и для оправдания своего не употребить тех средств, **коими так богаты его обвинители, всесильные, ибо тайные.** Клевета непобедима. Как бы она ни была безумна и ни на чем не основана, **все произведет она свое действие, то есть предубеждение.** Оно основано не на фактах, не на действиях, а просто на *общих* клеветах, которые нападают на намерения. Обвинителям намерений верят *на слово*, а тем, кто хочет оправдать себя, *на слово* не поверят. Я просил о тебе и князя Дмитрия Владимировича и представил ему себя за тебя порукой. Он человек истинно благородный, и необходимо нужно, чтобы он знал тебя лично. Прилагаю к нему письмо. Явись к нему с этим письмом тотчас по его приезде в Москву и покажи ему то, что напишешь к генералу Бенкендорфу».

В приложенном к этому письме к московскому военному генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну Жуковский просит его обратить внимание на Киреевского и кончает так:

«Я ничего не прошу для него от вашего сиятельства, кроме внимания, во всем остальном полагаюсь на Вас самих, на ум Ваш, независимый от предубеждений, на благородное Ваше сердце, в коем скромная невинность всегда найдет верного заступника и судью беспристрастного. С своей стороны, осмеливаюсь предложить вашему сиятельству мое поручительство за Киреевского: честным словом моим уверяю Вас, что он и мыслями, и поступками будет достоин и одобрения, и покровительства».

Этим кончилось дело: Киреевский сохранил свободу личную (которая, по-видимому, подвергалась опасности), но потерял едва ли не более для него дорогую свободу деятельности – той деятельности, на которую возлагал он такие светлые надежды. Тяжелым гнетом легло на него сознание этих уз, и он замолк надолго. Расставаясь пока с его литературной деятельностью, посмотрим, каковы были те взгляды и стремления, с которыми он удалился в частную жизнь, и что это были за «разрушительные» теории, одно подозрение в которых навлекло на него такую тяжелую кару.

Значительная часть обеих книжек «Европейца» состоит из статей самого Ивана Васильевича. Первая из них, «Деятельный век», послужившая к его обвинению, имеет значение передовой статьи и отчасти программы журнала. Цель ее – выяснить направление XIX века. Для этого автор прежде всего определяет господствующие направления двух эпох, предшествовавших настоящему времени, начиная с половины прошлого века. Он называет эти два направления *разрушительным* и *насилъственно соединяющим*, а в современной ему эпохе видит стремление свести эти две крайности в одну общую, *искусственно отысканную середину*. Проследив изменение духа времени в литературе, науке и религии, он находит характер современного просвещения по преимуществу *практическим*. Переходя затем к России и высказав мысль, что направление нашей образованности зависит от *того понятия, которое мы имеем об отношении русского просвещения к просвещению остальной Европы*, – Киреевский утверждает, что из трех основных стихий европейского просвещения – христианской религии, характера варварских народов

и остатков древнего мира – России не доставало последней и что этим-то отсутствием в русской жизни следов влияния классической древности и объясняются ее особенности и недостатки русского просвещения. Для восполнения этих недостатков был один путь: заимствование западной культуры, совершавшееся сначала *отрывисто*, а при Петре принявшее характер переворота, необходимого и законного.

Таково вкратце содержание статьи. Чтобы дать понятие о том духе, в котором она написана, приведем несколько отрывков из нее:

«Какая-то китайская стена стоит между Россией и Европой, и только сквозь некоторые **отверстия пропускает к нам воздух просвещенного Запада** стена, в которой великий Петр ударом сильной руки пробил широкие двери, стена, которую Екатерина долго старалась разрушить, которая ежедневно разрушается более и более, но, несмотря на то, все еще стоит высоко и мешает.

Скоро ли разрушится она? Скоро ли образованность наша возвысится до той степени, до которой дошли просвещенные государства Европы? Что должны мы делать, чтобы **достигнуть этой цели или содействовать к ее достижению?** Изнутри ли **собственной жизни должны мы заимствовать просвещение свое** или получать его из Европы? И какое начало должны мы развивать внутри собственной жизни? И что должны мы заимствовать от просветившихся прежде нас?» – «На чем же основываются те, которые обвиняют Петра¹, утверждая, будто он дал ложное направление образованности нашей, заимствуя ее из просвещенной Европы, а не развивая изнутри нашего быта?

Эти обвинители великого создателя новой России с некоторого времени **распространились у нас более чем когда-либо**, и мы знаем, откуда почерпнули они свой образ мыслей.

Они говорят нам о **просвещении национальном, самобытном**, не велят заимствовать, бранят нововведения и хотят возвратить нас к коренному и старинно-русскому. Но что же? Если **рассмотреть внимательно, то это самое стремление к национальности** есть не что иное, как непонятное повторение мыслей чужих, мыслей европейских, занятых у **французов, у немцев, у англичан** и **необдуманно применяемых** к России. Действительно, лет десять тому назад стремление к национальности

¹ Намек, вероятно, на П. В. Киреевского и А. С. Хомякова.

было господствующим в самых просвещенных государствах Европы, все обратились к своему народу, к своему особенному, но там это стремление имело свой смысл: просвещение и национальность одно, ибо первое развилось из последней. Потому если немцы искали чисто немецкого, то это не противоречило их образованности, напротив, образованность их таким образом доходила до своего сознания, получала более самобытности, более полноты и твердости. Но у нас искать национального – значит искать необразованного, развивать его насчет европейских нововведений – значит изгонять просвещение, ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы? Разве самая образованность европейская не была последствием просвещения древнего мира? Разве не представляет она теперь просвещения общечеловеческого? Разве не в таком же отношении находится она к России, в каком просвещение классическое находилось к Европе?»

Более ясно выразить необходимость подражания Западу невозможно. Поэтому мы должны признать, что по отношению к выбору между заимствованием и самобытностью взглядам Киреевского предстояло претерпеть коренное изменение, но вот отрывок из той же статьи, только касающийся не общего и, так сказать, практического вопроса, а иной области:

«Религия не один обряд и не одно убеждение. Для полного развития не только истинной, но даже ложной религии необходимо единомыслие народа, освещенное яркими воспоминаниями, развитое в преданиях одномысленных, сопроникнутое с устройством государственным, олицетворенное в обрядах однозначительных и общенародных, сведенное к одному началу положительному и ошутительное во всех гражданских, семейственных отношениях. Без этих условий есть убеждение, есть обряды, но собственно религии – нет».

Не потому ли находил пока Иван Васильевич необходимым заимствовать чужое, что не видал еще в России *единомыслия народа* и, что всего важнее, – не ощущал его в себе самом? И не потому ли он сразу изменил свой взгляд на самобытность, как только ошутил в себе это *одно положительное начало*?

Но пока он понимал задачу свою и подобных ему людей как обязанность знакомить русское читающее общество с произведениями иностранной словесности и с выводами западной науки. Все его наклонности влекли его к делу литературно-общественному, к деятельности журнальной. Занятия научные, философские и исторические представлялись ему не как цель, а как средство для подготовки к поприщу публициста: оно оставалось его мечтой, и потому-то он и был так поражен тем ударом, который не только лишил его возможности осуществить эту мечту, но и отнял у него то удовлетворение, которое он уже испытал, – блестящий и заманчивый успех. Лишенный любимого и уже привычного дела, выбитый из колеи, Киреевский в течение двух лет не написал ничего заметного, кроме двух небольших безымянных статей: разбора стихотворений Языкова для «Телескопа» и статьи о русских писательницах для «Одесского альманаха». Говорить открыто перед всей Россией было ему нельзя, а работать в тиши кабинета, класть свои мысли на бумагу, не думая о том, когда они попадут в печать, – это в то время и в голову ему не приходило, хотя его друг Баратынский и писал ему после запрещения «Европейца»: «Заклучимся в своем кругу, как первые братья-христиане, обладатели света гонимого в свое время, а ныне торжествующего. Будем писать не печатая. Может быть, придет благопоспешное время».

Таким отношением к своим трудам Иван Васильевич представлял полную противоположность брату.

Одновременно с изданием «Европейца» Петр Васильевич поступил в тот же Московский архив, где и прослужил более трех лет. Надобно думать, что для него эта служба не была исполнением пустой формальности, как для большинства архивных юношей. Припомним, что в Мюнхенском университете он занимался латинским языком, философией и историей. Последняя вскоре привлекла его и осталась любимым занятием всей его жизни вместе с народной словесностью, которой он посвятил себя вскоре, и с переводами, которыми занимался по временам. Этой-то исторической работе его, работе мелкой и кропотливой – чтению летописей и подлинных актов – вероятно, и было положено начало в архиве. С первых шагов Петр Васильевич показал себя неутомимым и добросовестным тружени-

ком, которого привлекал самый труд, который вовсе не думал не только об обнаружении добытых им выводов, но на первый раз даже об изложении их. Таким образом, братья взаимно дополняли друг друга, и когда позднее они дошли до полного единомыслия, **то живой, общительный и неусидчивый Иван Васильевич находил постоянную поддержку в спокойном, застенчивом и трудолюбивом брате.**

V.

Весною 1834 года тоска, овладевшая **Иваном Васильевичем**, была развеена **радостным событием: Наталья Петровна Арбенева, которой он вторично предложил руку, согласилась сделаться его женой.** Жуковский был заочно посаженным отцом Киреевского. Любя жениха и невесту, одинаково родных ему по крови, он очень радовался этому браку. Быть может, к этой радости в его душе примешивалось воспоминание о своем собственном, не сужденном ему и уже давно погибшем счастье... В самый день свадьбы он писал молодым в Москву:

«Теперь утро 29 апреля: переносусь мысленно к вам, провожаю вас в церковь, занимая данное мне место **отца, и от всего сердца прошу вам от Бога мирного, постоянного, долголетнего счастья...**»

Начало семейной жизни было для Киреевского началом новой поры в жизни духовной. Наталья Петровна была воспитана в строго церковном духе. Духовником ее был старец московского Новоспасского монастыря Филарет, теперь узнал его и **Иван Васильевич.** **Нравственная высота, горячая любовь к ближнему, знание человеческого сердца в соединении с обширной начитанностью** – все эти качества, привлекавшие к отцу Филарету тысячи людей **всех сословий, не могли не поразить сразу Ивана Васильевича,** чуткого, восприимчивого и уже давно искавшего разрешения своих сомнений. Немудрено, что беседы с отцом Филаретом скоро преобразили его внутренний мир. Недавний колеблющийся философ сделался твердо верующим православным христианином.

Отец Филарет и его друг старец Александр¹ принадлежали к небольшому числу русских монахов, примкнувших к тому новому в православном монашестве течению, почин которому положен был *старцем Паисием*.

Деятельность этого необыкновенного человека так широко отозвалась в нашем отечестве и, в частности, имела такое значение в жизни И. В. Киреевского, что мы позволим себе вкратце напомнить здесь хотя бы главнейшие ее черты.

Паисий (1722–1794), в миру Петр Иванович Величковский, сын полтавского протоиерея, которому он по тогдашнему обычаю должен был наследовать, вместо того шестнадцати лет ушел из Киевской академии в Любецкий монастырь, потом в Валахию и, наконец, на Афон, где в 1750 году и постригся. Через несколько времени, уже окруженный многочисленными учениками, Паисий переселился в Молдавию, где и был настоятелем монастырей Драгомирны, Секула и Нямца, меняя не место служения, а место жительства, то есть по обстоятельствам политическим и по желанию светских властей переселяясь со своими учениками из одной обители в другую. Прославленный строгостью жизни и вдохновенным учительством, владея в высшей степени даром объединить вокруг себя людей, стремящихся к одной высокой духовной цели, – Паисий был для современного ему монашества тем, чем для своего времени были великие подвижники XIV века, – с тою лишь разницей, что суетливая жизнь нового времени и оскудение веры в светском обществе ограничивали круг его действия более тесной средой. Но, действуя примером жизни и учением слова, Паисий от юности поставил себе еще и иную задачу: изучить и распространить среди русского монашества творения великих подвижников древности, справедливо полагая, что чтение их неминуемо должно поднять и оживить заметно упавший в его время дух иночества. Но как исполнить это? Огромное большинство русских монахов не имело понятия о греческом языке, да и самые рукописные подлинники позднейших святоотеческих писаний сделались к концу XVIII века величайшей редкостью, а немногие существовавшие русские их переводы, следуя общей судьбе рукописных книг, с течением времени наполнились самыми

¹ С 1810 г. архимандрит арзамасского Спасского монастыря.

безобразными ошибками. Сначала Паисий попытался было исправлять их, но скоро убедился в бесполезности такой работы, ибо исправлять было *не по чему*. И вот у него **явилась смелая мысль: переводить эти книги самому. Легко сказать – переводить, не имея ни греческих подлинников, ни основательного знания греческого языка, весьма поверхностно изученного им в молодости!..** Но несокрушимая воля и пламенная жажда истины преодолели все эти препятствия. С неимоверным трудом после долгих напрасных розысков Паисию удалось приобрести на Афоне списки важнейших нужных ему книг, и вот он засел за работу, зараз и учась по-гречески, и переводя... **Плодом многолетних трудов его явились переводы множества писаний древних Отцов.** Долго не решался Паисий не только печатать, но даже рассылать свои переводы. Только за год до его смерти была напечатана в Москве важнейшая из переведенных им книг, «Добротолюбие» – сборник писаний 24 подвижников, большинство же переводов еще много лет оставалось в рукописях.

Проведя всю свою иноческую жизнь вне России, Паисий не переставал лелеять мечту о подъеме русского монашества. Он переписывался со многими выдающимися русскими подвижниками, в том числе с упомянутым выше отцом Александром и со своим сверстником архимандритом курской Софрониевой пустыни Феодосием, которого вместе с его учениками вызвал из Валахии князь Потемкин. К Феодосию написано длинное послание Паисия, в котором он подробно рассказывает всю историю приобретения и перевода им греческих книг. **Послание это дышит трогательной простотой и искренностью и живо рисует величавый образ неугомимого труженика¹.**

Через восемь лет после издания «Добротолюбия» на русском языке, в 1801 году, в первый год XIX столетия, пришли в Россию два ближайших ученика Паисия, старцы Клеопа (†1816) и Феодор (†1822). Большую часть остальной своей иноческой жизни они провели в монастырях Орловской епархии – Белобережской пустыни и Челнском. Их ученик отец Леонид (†1841) был первым по времени знаменитым старцем козельской Введен-

¹ Приведенные подробности заимствованы из книги: «Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского». 2 изд-е. Москва, 1847.

ской Оптиной пустыни. К нему, как к отцу Филарету в Москве, стекалось множество народа. Умирая, он передал руководство своей паствы ученику и другу Макарию (†1860)¹. Наследником отца Макария был недавно скончавшийся старец Амвросий (†1891).

Отличительной чертой всех этих людей было их самоотверженное учительство. **Не жалея сил, с утра до ночи и изо дня в день в течение десятков лет** отдавались они поучению теснившегося вокруг них народного множества, жертвуя ему своим единственным сокровищем – уединением. Только необычайной силой духа, питаемого молитвой, и можно объяснить, как их хватало на эту изумительную деятельность. Кто испытал, по охоте или по должности, **что значит проговорить три дня подряд с разношерстной толпой** хотя бы только просителей по делам житейским, тот поймет, какая несокрушимая энергия и любовь к ближнему нужна была для того, чтобы провести так тридцать лет, как иные из оптинских старцев, да еще каждого понять и каждого наставить.

Таким образом, дело Паисия шло одновременно двумя путями: **через личный пример и преемство и через распространение переведенных им святоотеческих писаний**. Обе эти области нашли сочувствие в сердце И. В. Киреевского.

После смерти отца Филарета, скончавшегося в 1842 году на его руках, Иван Васильевич отдал себя в руководство оптинскому старцу Макарию. С этого времени начинается теснейшая связь его с Оптиной пустыней. Чтобы не прерывать рассказа об этой отныне важнейшей стороне его жизни и деятельности, мы несколько опережим рассказ хронологический.

Оптина пустынь находится под Козельском, в замечательно живописной лесистой местности на берегу Жиздры. Обитель эта, мало известная в течение трех веков существования, в начале XIX столетия быстро достигла цветущего состояния благодаря целому ряду усердных настоятелей. Первым из них был Авраамий, ученик строителя Пешношского (Московской губернии) монастыря Макария, находившегося в сношениях и переписке с отцом Паисием. Но особенно потрудились над устрое-

¹ Иванову, которого не следует смешивать с Макарием Глухаревым, алтайским миссионером и переводчиком Священного Писания, скончавшимся в Болхове в 1847 году.

нием монастыря игумен Моисей. Славой же своей, широко распространившейся по русской земле, обитель обязана тем старцам, которые, живя в недалеком от нее скиту, в продолжение более чем полувека были наставниками и руководителями тысяч из самых разнообразных слоев общества – от безграмотного крестьянина до людей с самым широким и многосторонним образованием. Один из них, Лев Александрович Кавелин, впоследствии наместник Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Леонид, составил и издал подробную историю обители.

От Оптиной пустыни до Долбина – сорок верст. Иван Васильевич со времени женитьбы всегда почти проводил зиму в Москве, а лето в деревне, и потому сношения его с пустынью и с отцом Макарием были правильны и часты. Летом они видались, зимой переписывались. Дошедшие до нас письма отца Макария к Киреевскому и его жене касаются самых разнообразных предметов: тут и наставления по поводу разных мелких житейских дел, и соображения об издании творений Отцов Церкви.

Мы уже сказали, что деятельность Паисия и его многочисленных учеников носила характер двоякий: наставнический и просветительный. В первом отношении деятельность эта способствовала установлению теснейшей духовной связи между старцем и его учеником – будь то инок или мирянин – связь, через которую ученик, проникаясь духом наставника, старался достичь полного подчинения своей воли воле избранного им руководителя, этим путем победить в себе гордость и дать своим поступкам лучшее в христианском смысле направление. Такой подвиг смирения, нелегкий для всякого, особенно труден для человека с широким светским образованием. Двадцать лет шел по этому пути И. В. Киреевский и доказал, что на пути этом не только не сузился его умственный кругозор, а напротив, его мысль и слово получили новую, небывалую дотоле силу. В этом сказалась другая сторона обновленного монашества. Мы упомянули, что только часть переводов Паисия была напечатана при его жизни и вскоре после его смерти, остальное издавалось впоследствии, а многие другие писания древних Отцов Церкви были переведены и изданы Оптиной пустынью, которая сделалась средоточием этих трудов. В него и принял горячее участие Иван Васильевич. Изучив для этого вновь

и основательно греческий язык, он и сам много переводил, и исправлял переведенное другими, и хлопотал по печатанию книг, и помогал этому делу своими денежными средствами. Но он не удовольствовался и этим. Усердное чтение и добросовестное изучение святоотеческих писаний открыло перед ним новый мир, дало ему то содержание для философии, которого он тщетно искал в системах Германии. Здесь он был уже не учеником только, но продолжателем дела Паисия, который, в смирении сердца трудясь над переводом книг на пользу и назидание монашества, быть может, и не предвидел всего широкого захвата начатого им дела. *Житие Паисия* издано также трудами Киреевского.

Всенародное выражение новых взглядов Ивана Васильевича относится ко времени позднему, и мы вернемся к нему в своем месте. Лишь перед самым концом пришлось ему приступить к изложению «новых начал для философии», но уже в 1848 году Хомяков писал ему:

Ты сказал нам:
«За волною
Ваших мысленных морей
Есть земля: над той землею
Блещет дивной красотою
Новой мысли эмпирей».

Распусти ж твой парус белый,
Лебединое крыло,
И стремися в те пределы,
Где тебе, наш путник смелый,
Солнце новое взошло;

И с богатством многоценным
Возвратившись снова к нам,
Дай покой душам смятенным,
Крепость волям утомленным,
Пищу алчущим сердцам!

Киреевский действительно мог дать эту пищу, ибо он на себе испытал это *сердечное алкание*. Поэтому-то совершившийся в нем переворот следует назвать не обращением неверующего, а скорее удовлетворением ищущего.

Рядом с изменением настроения религиозного совершалось в нем и изменение взглядов исторических. Надобно думать, что здесь вместе с Хомяковым и, вероятно, еще сильнее, чем он, действовал на И. В. Киреевского брат Петр Васильевич, с которым они постоянно и горячо спорили. Таким образом, если старец Филарет оживил в нем **несознаваемую им самим веру**, то Петру Васильевичу принадлежит честь научного переубеждения брата, которому он сам отдавал преимущество перед собой в силе ума и дарований, и это дело – одна из крупных заслуг этого скромного труженика. К нему – и вместе к нити нашего прерванного рассказа – возвращаемся мы теперь.

VI.

Весной 1835 года Авдотья Петровна с младшими детьми отправилась за границу лечиться, с ними поехал и Петр Васильевич. Перед отъездом он вышел в отставку – 1 мая, как сказано в данном ему из Архива аттестате, прослужив там более трех лет.

11 мая приехали они в Петербург, но здесь Петра Васильевича задержала проволочка с объявлением в газетах о его выезде, которое четыре лишних дня продержали в типографии, а без объявления выехать было нельзя. Поэтому Авдотья Петровна уехала раньше, а он должен был догнать ее уже в Карлсбаде. Петербургские друзья Ивана Васильевича – товарищи, Жуковский и Пушкин – приняли брата его так ласково, что Петр Васильевич был до глубины души тронут. Выше мы привели отзыв его о Титове по этому поводу. В письме от 31 мая он просит брата и жену его писать к нему чаще, прибавляя: **«Ваши письма – камертон всего моего душевного строя, без которого фортепьяны расстраиваются и мучат диссонансами»**. Об Иване Васильевиче, который зажил в Москве, он прибавляет: «Ах, если бы тебе можно было поскорее в Долбино, чтобы

освежиться и отдохнуть ото всей этой мелочной дряни, к которой ты никак не умеешь оравнодушиться».

Наконец 12 июня Петр Васильевич выехал из Петербурга морем и 18 был в Любеке.

«Я не без удовольствия увидел опять Германию, – пишет он брату, – которая оставила во мне много воспоминаний дорогих и в которой есть много глубоко поэтического, но вместе с тем я испытал и грустное чувство старика, который возвращается на место, давным-давно не виданное. Может быть, поэтому только и живы *первые* впечатления, что с ними соединена безотчетная надежда на неизменность каждого явления, на вечность всего, а как скоро родится чувство суеты и ломкости, то, что было бы прежде живым впечатлением, становится холодной теоремой, вместо того чтобы чувствовать – *как это хорошо!* – думаешь только – *что бы это значило?* – и, разумеется, тупеешь ко всему, то есть стареешься. Всегда грустно видеть иначе то место, где было весело, и потому я все больше и больше убеждаюсь, что настоящее счастье, может быть, только в одном *вечно однообразном* движении. Но это чувство во мне не новое, и ты его знаешь во мне».

Авдотья Петровна ехала в Карлсбад через Дрезден, куда потом и вернулась на зиму. Догнав своих, Петр Васильевич остался с ними. К сожалению, не сохранилось его писем к брату за это время, а потому и нельзя ничего сказать о его занятиях за границей, где он пробыл год. По возвращении весной 1836 года в Россию ему пришлось приняться за хлопотливое и неприятное дело.

Семье предстоял раздел, нелегкий при сложности ее состава. Большая часть состояния принадлежала старшим братьям, отношения которых с вотчимом с некоторых пор изменились. Старшему из Елагиных, Василию Алексеевичу, было уже 18 лет, остальные были еще подростками и детьми.

Иван Васильевич не мог уехать из Москвы и поручил все дело брату. Трудно пришлось Петру Васильевичу, его письма носят отпечаток грусти и раздражения. В этих мелочных дрызгах ему жаль было матери и брата В. А. Елагина. «Положение бедного Василия, – пишет он, – еще ужаснее,

потому что он с своим умом и глубоким сердцем не может не видеть, в чем дело». В следующем письме, посланном с Василием Алексеевичем, читаем: «Отогрей молодца Василия: ему здесь тяжело». Сестра Марья Васильевна приписывает в одном из писем: **«Каков Петрик? Совсем деловой человек сделался»**. И действительно, ему удалось все уладить и все устроить. При этом он, кажется, почти не думал о себе, а только о брате и его семье. **Поздравляя Ивана Васильевича с рождением дочери, он пишет 18 июля: «Слава Богу! Нам на судьбу грешно жаловаться: нам жить и действовать есть для кого, а если тяжелые узлы жизни и затемнили годы нашей молодости, то, может быть, и это благодеяние, потому что научило нас многому»**. Через полгода, спрашивая о здоровье племянника Васи, Петр Васильевич пишет: «Он мне сын не меньше твоего. Ты знаешь, что других детей, кроме твоих, я не хочу, и у меня не будет».

Наконец раздел был покончен. Иван Васильевич как женатый получил Долбино, а Петру Васильевичу досталась деревня Киреевская Слободка под Орлом. 22 января 1837 года он в первый раз приехал сюда в качестве хозяина, чтобы ввестись во владение, и 26-го пишет брату:

«Здесь у меня очень порядочная и просторная комната, в которой я завел диван, вольтеровские кресла, стол, шесть стульев и гитару; и вообще было бы очень комфортно, если бы не тараканы, которых я, однако, вымариваю. В хозяйство надеюсь вникнуть, хоть на первый случай очень трудно сообразить при совершенном недостатке прежних бумаг и счетов».

Пробыв в Слободке три недели и устроив по возможности свои будущие дела, Петр Васильевич вернулся в Петрищево, где жила Авдотья Петровна. Осенью он снова приехал в Слободку в новый, только что отстроенный дом. Здесь прожил он, с недолгими отлучками, девятнадцать лет, до самой смерти.

Местность, в которой пришлось поселиться Петру Васильевичу, лежит вблизи черты, отделяющий черноземную полосу от Полесья. Та же приблизительно граница разделяет старые великорусские сельбища от степей, заселенных сравнительно недавно после Смутного времени. По этой

границе московские великие князья верстали поместьями служилых людей, потомки которых, вместе с немногими сохранившимися дворянскими родами, и поныне живут в **однودворческих деревнях северных уездов Орловской губернии**, нося старые служилые имена Писаревых, Алымовых, Юшковых. В названиях здешних урочищ оживает многовековая история борьбы Руси с соседями: **на востоке пограничную черту пересекает Муравский шлях**, по которому шел путь из Москвы в Крым, на западе – Царев Брод, **Расстригин Верх** напоминают о походе первого Самозванца. Древний, доваряжский Мценск и другие города земли непокорных вятичей, «сквозе» которых едва проехал **сам отважный Мономах с дружиной**, наконец, под Карачевым, напоминающим своим именем Карачарово, родину Ильи Муромца, – урочище Девять Дубов и близ него Соловьев перевоз – таковы предания этого края, уходящие в седую древность...

Ближайшие окрестности **сельца Киреевской Слободки** скромнее воспоминаниями. Здесь уже сплошной чернозем и старина, не превышающая трех веков, **здесь рукой подать до Орла – города нового, не прославленного ничем в старых летописях, зато здесь – уголок, как нарочно созданный для уединения...** Киреевская Слободка лежит на речке Сухой Орлице в трех верстах от впадения ее в Орлик. На левом ее берегу, по южному склону, стоит небольшой деревянный дом, со всех сторон укрытый густой тенью деревьев. К востоку, в сторону города, сначала вниз по реке, потом по **впадающему в нее лесистому логу тянется грань до большой Наугорской дороги**, идущей на реку *Угру*, или на *угорье*, или на *Угры* – кто знает? Вверх по речке, к западу, в двух верстах – село Дмитровское-Истомино, с небольшой, при переселении Петра Васильевича, деревянной церковью¹... Таковы окрестности, не поражающие взора широкими видами, но полные прелести настоящей черноземной русской деревни... И Петр Васильевич всей душой полюбил свою Слободку. С первых же лет своей одинокой деревенской жизни принялся он за разведение сада и леса. И теперь еще приносят плод его яблони, и мелькают в березовых перелесках с любовью

¹ Нынешняя каменная церковь Казанской Божией Матери и св. Димитрия Солунского заложена была в последние годы жизни Петра Васильевича и, вероятно, не без его щедрой помощи стараниями священника Федора Петровича Смирнова, недавно умершего протоиереем в Орле.

посаженные им купы елок, вблизи дома еще качает длинными ветвями один из двух выращенных им грецких орехов – другой уже отжил свой век, и цветут его любимые персидские сирени... Но не одному саду посвящал свои заботы внимательный хозяин. Сохранилась небольшая его записочка, на которой отмечен счет *всех* растущих в имении деревьев, дубов и берез – более двадцати тысяч – с подробным указанием, в каком логу сколько чего растет. А о хозяйственной порядливости Петра Васильевича говорят приходно-расходные книги, которые он сам вел до копейки и до пуда хлеба в течение двадцати лет.

Но в те времена, еще более, чем теперь, вся сила и весь смысл хозяйства заключались не в счетоводстве и не в полеводстве, а в живой связи с крестьянином, в умении разумно пользоваться его трудом и в искреннем желании отдавать свой труд на пользу ему. И тогда, как и теперь, немногие понимали эту задачу во всей ее широте, в числе этих немногих был Петр Васильевич Киреевский. Близкий к народу с детства, он знал его, любил и привык входить в мелкие нужды крестьян.

Еще раньше, устраивая раздел, он пишет брату подробно о многих дворовых, заботясь о том, чтобы кого-нибудь не обидеть. Теперь, непосредственно распоряжаясь судьбой крестьян, он еще более вглядывался в их быт. Задолго до освобождения он уже совершенно просто говорил: «Сколько государь скажет отдать им земли моей, столько и отдам». В страшный 1840 год он роздал все, что у него было в амбарах, – не только своим, но и чужим...

Знание русского народа и любовь к его изучению определили две важнейшие специальности научных занятий Петра Васильевича: историю и народную словесность. Исторические его работы были очень своеобразны. Всю жизнь возился он с летописями, со всевозможными грамотами и актами, читая, сличая, делая выписки, и написал, и то случайно, всего одну небольшую историческую статью.

Трудно даже сказать, имел ли он в виду писать русскую историю. Сам он считал себя малоспособным к письменному изложению своих мыслей и на приглашение участвовать в «Московском сборнике» писал Кошелеву:

«Несмотря на все мое желание писать как можно больше и скорее, до сих пор, кажется, как будто сама природа привязала к моему перу камень, и это, поверьте,

совсем не от смирения и не от излишней совестливости, а частью же и от самого свойства моих занятий, то есть раскапывания старины, при котором нельзя ни шагу двинуться **без тысячи справок и проверок и без ежеминутной борьбы с целой фалангой предшественников**, изувечивших и загрязнивших ее донельзя. Естественно, что такого рода занятие не даст литературного навыка».

Таково приблизительно было мнение о нем и Хомякова, писавшего к тому же Кошелеву незадолго до смерти Петра Васильевича: **«Грустно будет, если он умрет, хотя собственно плодов от его письменной деятельности ждать нельзя, но он имеет на свой округ замечательное влияние. Чудная и чистая душа».** Тот же Хомяков (или Языков) прозвал его «великим печальником Древней Руси», а Погодин мечтал поделить с ним разработку русской истории. Воздействие Петра Васильевича на друзей и прежде всего на старшего брата, о котором мы уже говорили, несомненно; **для себя же выработал он ясный и цельный взгляд, руководивший им в главном деле его жизни – собирании былин и песен.** Этот огромный труд начат был в 1831 году и продолжался до последних дней жизни Киреевского. **Сначала Петр Васильевич собирал песни сам, разъезжая по России и ходя по деревням, потом получал их отовсюду, не щадя хлопот и денег.** Двумя главными его помощниками были Павел Иванович Якушкин и Михаил Александрович Стахович. Каждую песню Петр Васильевич **сличал во всех имеющихся у него разноречиях, старательно обдумывая каждый стих и выбирая тот, который ему казался достовернее и древнее.** К изданию этого сборника, сделанному уже после его смерти, мы вернемся ниже.

Ни на чем так не отпечатлелся характер Петра Васильевича, как на его библиотеке, которую он старательно собирал в течение всей жизни. Это огромное количество книг, **более всего исторических, тщательно подобранных, заботливо переплетенных, с надписью почти на каждой его бисерным почерком «П. Киреевский», со множеством вложенных в них листочков, исписанных замечаниями (и нигде не исписанных по полям),** – все это свидетельствует о щепетильной точности, о любви к порядку и изяществу, о неимоверной усидчивости и трудолюбии.

С внешней стороны Петр Васильевич был простой помещик – с усами, в венгерке, с трубкой в зубах и с неотступно следовавшим за ним всюду водолазом Кипером, которого крестьяне называли «ктитором». Он любил охоту, и к нему часто приезжали московские друзья поохотиться. **Надобно было поговорить с ним, чтобы угадать ту громаду знаний, которая скрывалась за этой обыденной внешностью.** Петр Васильевич говорил и писал на семи языках, а если считать славянские наречия, то в библиотеке его заключается шестнадцать языков...

Кроме поездки в 1838 году за границу с **большим Языковым**, за которым он ходил, как самая преданная нянька¹, Петр Васильевич большую часть года жил в Слободке, приезжая только ненадолго зимой в Москву.

VII.

Дом Авдотьи Петровны Елагиной у Красных ворот в продолжение нескольких десятков лет был одним из умственных центров Москвы и, быть может, **самым значительным по числу и разнообразию посетителей**, по совокупности умов и талантов. До обособления двух сторон – славянофильской и западнической – и некоторое время после него здесь можно было видеть всех наиболее выдающихся представителей обоих направлений. Хомяков и Киреевские, Аксаков и Самарин встречались здесь с Герценом и Грановским, Гоголь и Языков – со стариком Чаадаевым. **Около них теснилась многообещающая молодежь – Валуев, Стахович, Попов, Елагины.**

Если бы начать выписывать все имена, промелькнувшие за тридцать лет в елагинской гостиной, то пришлось бы назвать все, что было в Москве даровитого и просвещенного, – весь цвет поэзии и науки. В этом – незабвенная заслуга Авдотьи Петровны, умевшей собрать этот блестящий круг².

¹ Об этой поездке см. в статье В. И. Шенрока «Николай Михайлович Языков» // «Вестник Европы». 1897. Декабрь.

² Составитель настоящего очерка позволяет себе не повторять здесь характеристики славянофилов, сделанной им в книге «Алексей Степанович Хомяков, его жизнь и сочинения». Москва, 1897. (Первоначально в «Русском архиве», 1896, книга 11).

Время движется своим неудержимым ходом: умирают люди, бледнеют воспоминания. Немногие страницы, написанные живым пером очевидца, сохраняют нам очерки и краски минувшего. Рассказы о елагинских вечерах разбросаны в записках современников, а один из них сохранил нам и облики ее гостей. В числе их бывал талантливый портретист Эммануил Александрович Дмитриев-Мамонов. В его рисунках, составляющих так называемый «Елагинский альбом», оживают перед нами этот достопамятный век, эти достопамятные люди.

Вот один из этих рисунков, на котором изображены почти все славянофилы и кое-кто из близких к ним по убеждениям людей¹. В просторной комнате, у круглого стола, перед диваном сидит Хомяков – еще молодой и бритый – и, наклонившись, что-то читает вслух. Влево от него спокойный и сосредоточенный Иван Васильевич Киреевский слушает, положив руку на стол. Еще дальше виден затылок Павлова и характерный профиль Валуева. У самого края слева, отделенный перегородкой дивана, полный Д. Н. Свербеев, в жабо и в очках, засунув руки в карманы, тоже внимательно слушает, сочувствуя, но, очевидно, не вполне соглашаясь. Вправо от Хомякова – старик А. А. Елагин, с трубкой, в большом кресле, К. С. Аксаков с поднятым кулаком и несколько закинутой головой, Шевырев в беседе с молодым Елагиным; А. Н. Попов – с видом некоторой нерешительности и рядом с ним, у правого края, Петр Васильевич Киреевский – спокойно набивающий трубку, и около него огромный бульдог Болвашка. Картинка эта, как большинство мамоновских рисунков, немного карикатурна, но чрезвычайно выразительна и живописна.

Мы видели, как совершилась перемена во взглядах Ивана Васильевича Киреевского и как он через то окончательно сошелся со своим братом и с Хомяковым. Появление К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина и последовавшее за тем отделение их от западников около 1840 года может считаться началом закрепления направления московского православно-славянского, или славянофильского.

¹ Рисунок этот воспроизведен в «Русском архиве», 1884, кн. 4.

Различие во взглядах, коренное и непримиримое, повело к спорам – не к тем плодотворным спорам людей, расходящихся в частностях при согласии основных начал, которые только укрепляют единомыслие, а к спорам **безнадежным и раздраженным, все более отдаляющим** совопросников друг от друга и не кончающимся враждой только тогда, когда спорящие – **очень хорошие люди**. Так это было: **большинство славянофилов и западников, переживая одни других, поминали своих противников добрым словом, но при жизни раздражение было велико...** Замечательно, что из всех славянофилов Киреевские, и особенно Иван Васильевич, пользовались **сравнительным сочувствием западников**. Долговременная ли принадлежность Ивана Васильевича к западным воззрениям до присоединения его к взглядам Хомякова и брата, мягкость ли и какое-то врожденное рыцарство его характера, некоторая ли отрешенность его ото всего житейского были тому **причиной, но только большинство западников** готовы были иногда думать, что он славянофил по недоразумению, и как будто жалели его за это. «Я желал бы вас нынче у себя видеть, любезный Иван Васильевич, – пишет ему Чаадаев, – чтобы с вами прочесть речи Пилия и Росселя в парламенте, но так как вы, вероятно, ко мне не будете, то я посылаю вам лист *Дебатов* с этим западным коммеражем. Не знаю почему, мне что-то очень хочется, чтобы вы прочли. Может статься, вы *спокойно* заметите, что в *этом явлении европейской* образованности находится *одностороннего*, и передадите впечатление ваше без *ненависти и пристрастия*». «Я от всей души уважаю Киреевских, – пишет Грановский, – несмотря на **совершенную противоположность наших убеждений**. В них так много святости, прямоты, веры, как я еще не видал ни в ком». И это тот же Грановский, который за два дня до смерти писал о всех вообще славянофилах: «Эти люди противны мне, как гробы». Грановский как специалист-историк в своих отзывах о славянофилах подчеркивает, главным образом, исторические их воззрения, яснее и глубже ставит вопрос Герцен, говоря без вражды, но с грустным сожалением об И. В. Киреевском: «Между им и нами была церковная стена».

Отрицательно относился к славянофилам и университет с попечителем графом Строгановым во главе. Не говоря об отдельных, весьма

личных исключениях, Московский университет в целом как выразитель известного общего мнения со времени разделения двух направлений определенно стал на сторону западников и стоит на ней и до сих пор. Мы только указываем на этот факт по отношению к судьбе старого славянофильства, о значении его в истории развития самого университета здесь говорить не место, хотя в нем несомненно заключается объяснение многих черт этого развития. В частности, Ивану Васильевичу не удалось получить профессуры по философии, о которой он одно время мечтал, но, конечно, с внешней стороны отказ был вполне основателен, так как Киреевский не имел ученой степени. Единственной связью его с Министерством народного просвещения была должность почетного смотрителя Белевского уездного училища, которую он исполнял очень старательно, вникая в преподавание и успехи учеников. Он подал попечителю учебного округа две записки: в 1840 году «О направлении и методах первоначального образования народа» и в 1854 году «О преподавании славянского языка совместно с русским».

В 1844 году Ивану Васильевичу неожиданно представилась возможность принять издание «Москвитянина», от которого отказывался Погодин. Киреевский решился на это, хотя официального позволения на свое имя и не получил. Он издал три книжки 1845 года, но, чувствуя себя связанным в этом деле, не имел сил продолжать издание и летом 1845 года уехал в деревню, где прожил до осени 1846 года. За это время он потерял дочь и схоронил многих друзей, в том числе **Валуева и Языкова**. Трогательны его письма к матери по поводу смерти последнего: сдерживая собственное горе, он думает только о том, как облегчить этот удар для своих близких.

Прежде чем перейти к трудам последних лет жизни **Ивана Васильевича**, взглянем на то, что было им написано за двадцать почти лет печатного молчания, включая сюда и короткое время издания «Москвитянина», то есть с 1832 по 1852 год.

Еще раньше статей о Языкове и о русских писательницах, то есть еще во время издания «Европейца», и, кажется, для него, **Киреевский** начал писать роман «Две жизни», но остановился на второй главе. После

этого в продолжение шести лет нам достоверно не известно ни одного его писаного труда. В это время, как мы знаем, совершался в нем перелом в старом воззрении и выработка нового. И вот от 1838 года мы имеем два небольших его произведения: в первом из них это новое воззрение выражено в художественной, во втором – в научной форме. Это – неоконченная повесть «Остров» и статья «В ответ А. С. Хомякову».

Замысел «Острова» был, по-видимому, широк, и нам остается пожалеть о том, что он не осуществился. В этой повести Киреевский задумал изобразить вступление в жизнь юноши, воспитанного в полном отчуждении от мира, в идеальной семейной обстановке. Юноша этот – Александр Палеолог, потомок греческих императоров – вырос на уединенном, известном лишь немногим острове св. Георгия. Он уезжает оттуда, влекомый жаждой узнать мир и жизнь, перед самой войной за освобождение Греции. В небольшом написанном начале этой повести любопытна не самая нить рассказа, дальнейшее направление которой не совсем ясно, любопытно то глубокое, теплое сочувствие с религиозной жизнью православного Востока, которым проникнут рассказ, и те немногие картины недавней истории, которые беглыми очерками мелькают среди бесхитростной передачи немногосложных событий повести. Впечатление живой веры в непоколебимость Православия и ясности религиозно-философского взгляда на историю и жизнь, производимое чтением этих немногих страниц, очень сильно.

Зимой 1838–1839 года Иван Васильевич, живя в Москве, устраивал у себя еженедельные собрания, участники которых читали свои произведения, научные и литературные. На одном из них Хомяков прочел свою статью «О старом и новом», написанную, как думают, нарочно с целью вызвать возражение со стороны И. В. Киреевского, еще не высказавшего до тех пор в связном изложении своих изменившихся воззрений. Если сравним статью Киреевского «В ответ Хомякову» с написанной им за семь лет статьей «Девятнадцатый век», то увидим его теперь на следующей ступени развития, но еще не дошедшим до полного выражения своих убеждений, быть может, даже и не вполне уяснившим их себе самому. В руководящей статье «Европейца» заключается только неясный намек

на существование самобытного начала русской образованности, теперь Киреевский утвердительно говорит, что начало это существует и что искать его следует в Православии, но подробного развития этой мысли мы и здесь еще не находим, хотя все основные черты последующих построений автора намечены уже здесь. Поэтому статья эта имеет значение не столько сама по себе, сколько как отметка в ходе умственного развития мыслителя. Прошло еще шесть лет. В изданных Иваном Васильевичем трех книжках «Москвитянина» напечатан был целый ряд его статей. Часть их – об издании сочинений Паскаля, о лекциях Шевырева, о сельском хозяйстве и большинство статей библиографических – суть лишь небольшие редакционные заметки. Изложение речи Шеллинга напоминает о заграничной поездке Ивана Васильевича, к пространному извлечению из автобиографии немецкого философа Стеффенса прибавлено несколько слов предисловия и послесловия. В ряду всех этих статей выдается отзыв о повести Ф. Глинки «Лука да Марья», по поводу которой Киреевский высказывает в высшей степени верный взгляд на назначение и задачи книги для народного чтения. Он требует от этих книг серьезности, содержательности и предостерегает от распространения в народе произведений легких и ничтожных. И теперь, через полвека, трудно сказать что-нибудь более веское и разумное, чем эти немногие строки, тогда же они должны были показаться чем-то неслыханным и вряд ли даже нашли сочувствие во многих читателях. Но наибольшее значение из всего помещенного Иваном Васильевичем в «Москвитянине» имеет его «Обозрение современного состояния литературы», состоящее из трех последовательных статей – по одной в каждой из трех изданных им книг журнала. Рассматривая это «Обозрение» в связи с указанной выше статьей в ответ Хомякову, мы видим в нем уже не вопрос, поставленный еще колеблющимся умом, и даже не краткий ответ на вопрос, а последовательный вывод целого ряда положений, в которых раскрывается взгляд и убеждение автора.

В первой статье, определив современное состояние умов и литературы в различных странах Европы, Киреевский приходит к убеждению, что «начало европейской образованности, развившееся во всей исто-

рии Запада, в наше время оказывается уже неудовлетворительным для высших требований просвещения» и что «современный характер европейского просвещения по своему историческому, философскому и жизненному смыслу совершенно однозначителен с характером той эпохи римско-греческой образованности, когда, развившись до противоречия самой себе, она по естественной необходимости должна была принять в себя другое, новое начало, хранившееся у других племен, не имевших до того времени всемирно-исторической значительности».

Во второй статье Киреевский опровергает два крайних мнения: одно, видящее исход из несовершенства русской образованности в полном восприятии Россией образованности западной, и другое – что России необходимо вернуться во всем к прошедшим формам своей старины. В противоположность им обоим он указывал на необходимость, пользуясь плодами образованности европейской, проникать ее новым смыслом, почерпнутым из начал древней русской образованности. Третья статья посвящена разбору текущих явлений русской словесности, или собственно русских журналов.

Таким образом в «Москвитянине» Киреевский уже довольно подробно выразил свой новый взгляд на задачи русского просвещения. Ему оставалось сделать еще один шаг, чтобы высказаться вполне. Через семь лет появилась его статья «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». Но прежде чем говорить о ней, dokonчим немногосложный уже рассказ о последних годах жизни обоих братьев.

С тех пор как Иван Васильевич, отказавшись от издания «Москвитянина», прожил полтора года в деревне, он продолжал проводить там лето, приезжая на зимние месяцы в Москву. Приезды сюда Петра Васильевича были гораздо короче: он, с небольшими отлучками, жил почти безвыездно в Слободке. В начале пятидесятых годов здоровье его заметно пошатнулось, хотя он вел самый умеренный образ жизни, Иван же Васильевич, напротив, пользовался хорошим здоровьем, хотя и казался старше своих лет. Во внешности братьев было мало общего: Петр Васильевич носил усы и длинные волосы, Иван Васильевич брил бороду, оставляя бакенбарды, и носил очки. В лице его был оттенок грусти, происходивший,

быть может, от привычки к постоянному самоуглублению, связанной с его философскими занятиями.

Мы уже заметили выше, что **Иван Васильевич был в своих сочинениях по призванию деятелем общественным**, и хотя вопросы житейские и практические мало занимали его, но и в занимающих его вопросах, **как бы ни были они духовны и отвлеченны, он всегда имел в виду поучение ближних, воздействие на общественную мысль**. Поэтому он писал не для того, чтобы излагать назревшие в его уме выводы, но и для того, чтобы его читали теперь же: **изо всех старших славянофилов он по преимуществу может быть назван публицистом**. Но время, в которое он жил, было в высшей степени неблагоприятно для публицистической деятельности, а писать, как Хомяков, не думая о том, когда будет напечатано написанное им, у него не было охоты. **Отсюда неразрывная связь появления его произведений с короткими промежутками, в которые он мог высказываться в печати**. «Европеец» – «Москвитянин» – «Московский сборник» – «Русская беседа» – **этим четырьмя приступами исчерпывается вся литературная деятельность Киреевского**. После запрещения «Европейца» он (кроме нескольких страниц в ответ Хомякову) молчит до «Москвитянина», **оставив последний журнал – молчит опять**. Но появляется «Московский сборник» – и Иван Васильевич пишет и помещает в нем статью «О характере просвещения Европы...», замечательную по цельности и широте захвата мысли. Запрещают «Московский сборник» – Киреевский замолкает, **по-видимому, окончательно, но в 1856 году нарождается «Русская беседа»** – и во второй же книге ее мы видим его статью «О необходимости и возможности новых начал для философии». Это только начало задуманного им труда, долженствовавшего вместить сущность выработанного им религиозно-философского направления. Продолжению статьи суждено было остаться в отрывочных набросках...

Весной 1856 года Иван Васильевич поехал в Петербург к старшему сыну, кончавшему курс в лицее. Здесь 10 июня он захворал холерой. При нем, кроме сына, **были верные друзья его, А. В. и граф Е. Е. Комаровский**. Но их самоотверженный уход не мог спасти больного, и 12 июня его не стало...

Как гром из ясного неба поразила друзей смерть Киреевского. Чтобы дать понятие о произведенном ею впечатлении, приведем несколько слов из писем Хомякова к Попову и Кошелеву.

«Какой жестокий удар для нас всех, любезный Александр Николаевич, в смерти Ивана Васильевича! Какая невознаградимая потеря для нашей бедной науки! Его **специальность была философия, которой другие отдают только короткие досуги**, и эта специальность строилась у него так своеобразно, что мы могли надеяться видеть когда-нибудь у себя начало новой философской эры, которой позавидовали **бы другие народы. Судьбы Божьи в отношении к нашему просвещению** имеют какой-то характер особенной строгости: как будто бы в наказание за долгую нашу ложь падают удары на немногих, стремящихся возвратиться к истине, испытывая их терпение. Авось Бог же даст, что поле не опустеет и что новые будут возникать деятели, как ветви на священном дереве: *uno avulso, non deficit alter*¹. Но для друзей, для семьи (то есть матери и братьев) замены, конечно, нет. Вынесет ли слабое здоровье Авдотьи Петровны? Да и Петр Васильевич не очень-то надежен. Вот два года все хворает. На другой день после Петрова я хочу к ним съездить дня на два. И как Киреевский было славно пошел! Теперь у меня корректурные листы его статьи. Нужно об нем сказать несколько слов и указать на его значение и на путь, который он отчасти продолжил. Говорят, он вам рассказал весь план и содержание второй половины. Если так, пожалуйста, передайте мне, что вы помните, чтоб я на днях мог составить для “Русской беседы” нечто вроде примечания с объяснениями его мысли. Не откажитесь от этого доброго труда...»

«Я к тебе не писал, любезный Кошелев, после нашей общей потери. Какая тяжелая, какая неожиданная! Киреевский не только нам был дорогой друг: он был для “Беседы” (в этом я **разумею не один печатный журнал**) **необходимым делателем**. Его специальность не имеет другого представителя, да если бы и имела, то не найдется такого, который бы имел его особенные, свойственные только ему одному достоинства. Знаешь ли, когда мне сказали об его смерти (это сказано мне было при входе в дом, на возврате из Смоленской губернии), после первого потрясения мне тотчас же пришел в голову ты, его старейший друг. Как вынес ты этот удар? Он тем более должен был тебя поразить, что, судя по твоему письму к Самарину,

¹ Если отлomiшь одну (ветвь), сразу появляется другая (лат.). – *Сост.*

ты как будто был особенно бодр и весел. Я долго не мог опомниться. Как-то вынесет Авдотья Петровна и бедный Петр Васильевич, который так давно хворает? Нынче в ночь я еду к ним: раньше не мог, потому что говел. Какая-то особенная судьба **Ивана Васильевича Киреевского!** То цензура и власть царская останавливали его, то теперь смерть, и всякий раз на половине труда».

Опасения друзей, к сожалению, оправдались: 25 октября скончался Петр Васильевич, пережив своего друга и брата лишь несколькими месяцами. В Оптиной пустыни покоится прах обоих...

Ближайшей заботой всех, кто дорожил духовным наследием Киреевских, было издание всего ими написанного. В 1860 году Общество любителей российской словесности приступило к печатанию собранных Петром Васильевичем песен, в следующем году А. И. Кошелев издал в двух томах сочинения **Ивана Васильевича и при них краткий биографический очерк с выдержками из его писем.** Некоторые небольшие статьи и заметки его остаются неизданными.

VIII.

Труды Киреевских – по крайней мере почти все писанные труды их – перед нами.

Песни, собранные Петром Васильевичем, изданы **Обществом любителей российской словесности в десяти выпусках.** Из трех с лишком тысяч страниц этого издания большую часть составляют самые песни, то есть собственно песни былевые, остальную – замечания П. А. Бессонова, которому издание было поручено Обществом. Замечания эти местами разрастаются в обширные статьи, оценка которых не входит в число задач настоящего изложения. Трудно, почти невозможно сказать, насколько взгляды издателя и выводы его согласны со взглядами собирателя и с теми выводами, которые он сделал бы, если бы издавал собранные им песни сам. Мы знаем из приведенных выше слов самого Петра Васильевича, что он не признавал за собой способности к труду собственно литературному. Его многолетние исторические занятия доставили ему

самому широкий и ясный взгляд на русскую историю, о глубине и самобытности которого мы можем судить по немногим отзывам его друзей и по его единственной небольшой статье «О древней русской истории», напечатанной в третьей книжке «Москвитянина» 1845 года, но для потомства тридцатилетние исторические труды его погибли.

Статья «О древней русской истории» есть собственно критика на статью Погодина «Параллель русской истории с историей западных европейских государств» – критика очень живая и острая. Киреевский цитатами из статьи Погодина доказывает противоречие во взглядах последнего. Положительная часть статьи посвящена доказательству того, что в древней доваряжской Руси внутренняя связь сельских миров, городских общин, племен и, наконец, всей земли хотя и слабела по мере расширения указанных общественных границ, но все же несомненно существовала. Статья не кончена, и трудно сказать, каково было бы ее продолжение, но и из того, что написано и напечатано, видна обширная ученость автора, основательное знакомство его с историей всех славянских племен, с которыми он сравнивает Русь, и тонкое понимание духа древности.

Весьма возможно, что если бы Петр Васильевич прожил дольше и сам издал свои песни (если бы собрался это сделать, что также не достоверно), – то никакого связного изложения его взгляда на них при сборнике бы не появилось. Поэтому почти нет смысла доискиваться до того, насколько П. А. Бессонов угадал мнения Киреевского; следует только при чтении помнить, что замечания издателя – нечто совсем особое, и не принимать их за мысли Киреевского. Ему лично принадлежит лишь предисловие к духовным стихам, в котором он рассказывает историю своего собрания, да небольшое вступление к песням былевым, или, как он называл их, – историческим. Достаточно прочесть это вступление, чтобы составить себе понятие о том, насколько Петр Васильевич владел предметом: на двух страницах мы встречаем несколько живых и своеобразных мыслей и приступаем к чтению песен с твердо и ясно установленным взглядом на русское былево творчество.

Таким образом, главная заслуга П. В. Киреевского перед потомством состоит в том, что он собирал, разобрал и приготовил к изданию произведения русского былевого творчества в таком объеме и с таким внима-

нием, как никто до него. **Все собиравшие после него – Рыбников, Гильфердинг и другие – шли по его следам.** В частности, быть может, труды их **представляют шаг вперед против труда Киреевского, но ему принадлежит честь почина и полнота...**

Весь характер собрания и все, что мы знаем о Петре Васильевиче, заставляет нас думать, что народное песнетворчество занимало его по отношению к духу, содержанию и тексту песен и что он не задавался целью отыскать самые законы древнего русского стиха, хотя, вероятно, чуял и, быть может, даже сознавал их¹. На то, что Петр Васильевич имел определенный взгляд **на гармонизацию русских песен, есть неясный намек** в одном из писем М. А. Стаховича к А. Н. Попову².

Другая заслуга Петра Васильевича – его воздействие на окружающих и прежде всего на брата – не подлежит оценке. Такое воздействие можно признавать или отвергать, но нельзя относиться к нему как к событию, как к книге. Не подлежит сомнению, что Петр Киреевский был одним из тех немногих людей, которых нравственная чистота, высота духовного строя, твердость убеждений и **живая их самобытность** **бывают жиздательной силой** лучших эпох и поколений, но тайна их силы умирает вместе с ними, а, таким образом, что живет после них – так неуловимо, что ускользает от определения и оценки. **Таковыми людьми жив народ, они – исторические деятели** не менее тех, чья деятельность заметна и видима. Мы благословляем их память, но не можем облечь рассказ о них в определенные формы.

Иное значение имеет деятельность **Ивана Васильевича**. Его дело закреплено, написано, напечатано, и судить о нем нам легче. Переходя к изложению сущности его учения, напомним, что **главнейшим выражением его служат две статьи: «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» и «О необходимости и возможности новых начал для философии».** Первая, наиболее цельная и законченная **изо всего написанного Киреевским вызвала статью Хомякова – «По поводу статьи Киреевского», это – отчасти пояснение, отчасти – возражение.** Вторая, оставшаяся без продолжения, была дополнена Хомяковым

¹ Этот вопрос поднят был уже после него и по отношению к стиху былевому в значительной мере решен покойным П. Д. Голохвастовым.

² Русский архив. 1886. Кн. 3. С. 324.

«По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского». Таким образом, Хомяков явился *истолкователем* учения Киреевского. Но уже самые заглавия, приданные им своим статьям – *по поводу* высказанного Киреевским, – указывают на то, что он даже и во второй статье имел в виду не столько передачу мыслей своего друга, сколько вообще разработку поставленных им вопросов. Поэтому нам кажется, что и на последнюю статью Хомякова следует смотреть как на самостоятельное рассуждение, *вызванное* чтением заметок Киреевского. В книге о Хомякове составитель настоящего очерка пользовался обеими упомянутыми его статьями наравне с остальными сочинениями Алексея Степановича. Оставляя их на этот раз в стороне, постараемся только на основании слов самого Киреевского представить в сжатом виде таким образом, что им сказано самостоятельного и нового. Содержание статьи «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» очень точно определяется ее заглавием.<...>

Изложенная нами в значительной мере собственными словами Киреевского статья его естественно требовала продолжения – более точного изображения той христианской философии, которую он признавал за корень, а дальнейшее ее развитие – за ближайшую цель русского просвещения. Для этого нужно было прежде всего определить исходную точку западной философии, только указанную в первой статье, сопоставить с ней начало философии христианской и указать путь его развития. Через четыре года Киреевский приступил к этой задаче в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии», к изложению которой мы и переходим. <...>

Статья «О необходимости и возможности новых начал для философии» была помещена во второй книге «Русской беседы», разрешенной к печатанию 8 июня 1856 года, то есть за четыре дня до кончины Ивана Васильевича. Таким образом, статья эта явилась как бы его завещанием. В конце той же книги «Беседы» напечатан некролог его, написанный Хомяковым, к которому мы еще вернемся. В первой книге «Беседы» 1857 года напечатаны были отрывки, найденные в бумагах Киреевского и представляющие собой наброски для второй, положительной части его труда и ста-

тъя по поводу их Хомякова. К сожалению, Иван Васильевич успел записать только свои мысли о содержании христианской философии.

«Любомудрие Св. Отцев, – читаем в одном из его отрывков, – представляет только зародыш этой будущей философии, которая требуется всей совокупностью современной русской образованности, – зародыш живой и ясный, но нуждающийся еще в развитии и не составляющий еще самой науки философии. Ибо философия не есть основное убеждение, но мысленное развитие того отношения, которое существует между этим основным убеждением и современной образованностью. Только из такого развития своего получает она силу сообщать свое направление всем другим наукам, будучи вместе их первым основанием и последним результатом. Думать же, что у нас уже есть философия готовая, заключающаяся в Св. Отцах, было бы крайне ошибочно. Философия наша должна еще создаться, и создаться, как я сказал, не одним человеком, но вырастать на виду сочувственным содействием общего единомыслия»¹.

Далее о «новом самосознании ума» Киреевский говорит:

«Возможность такого знания так близка к уму всякого образованного и верующего человека, что, казалось бы, достаточно одной случайной искры мысли, чтобы зажечь огонь неугасимого стремления к этому новому и живительному мышлению, долженствующему согласить веру и разум, наполнить пустоту, которая раздвояет два мира, требующие соединения, утвердить в уме человека истину духовную видимым ее господством над истиной естественной, и возвысить истину естественную ее правильным отношением к духовной, и связать, наконец, обе истины в одну живую мысль, ибо истина одна, как один ум человека, созданный стремиться к Единому Богу».

В другом отрывке мы находим определение веры:

«Сознание об отношении живой Божественной личности к личности человеческой служит основанием для веры, или, правильнее, вера есть

¹ Любопытно сопоставить с этими печатными словами Киреевского мнение, приписываемое ему Грановским: «Вся мудрость человеческая истощена в творениях Св. Отцев греческой Церкви, писавших после отделения от Западной. Их только нужно изучать: дополнять нечего, все сказано» (Т. Н. Грановский, А. Станкевича, с. 112). Так понимались и в таком виде распространялись мнения славянофилов их литературными противниками.

самое сознание, более или менее ясное, более или менее непосредственное. Она не составляет чисто человеческого знания, не составляет особого понятия в уме или сердце, не вмещается в одной какой-либо познавательной особенности, не относится к одному логическому разуму, или сердечному чувству, или внушению совести, но обнимает всю цельность человека и является только в минуты этой целостности и соразмерно ее полноте. Потому главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее средоточение бытия, где разум, и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума сливаются в одно живое единство, и таким образом восстанавливается существенная личность человека в ее первозданной неделимости. **Не форма мысли, предстоящей уму, производит в нем это сосредоточение сил, но из умственной цельности исходит тот смысл, который дает настоящие разумные мысли.**

Еще далее читаем:

«Не для всех возможны, не для всех необходимы занятия богословские, не для всех доступно занятие любомудрием, не для всех возможно постоянное и особое упражнение в том внутреннем внимании, которое очищает и собирает ум к высшему единству, но для всякого возможно и необходимо связать направление своей жизни с своим коренным убеждением веры, согласить с ним главное занятие и каждое особое дело, чтоб всякое действие было выражением одного стремления, каждая мысль искала одного основания, каждый шаг вел к одной цели. Без того жизнь человека не будет иметь никакого смысла, ум его будет счетной машинкой, сердце – собранием бездушных струн, в которых свищет случайный ветер, никакое действие не будет иметь нравственного характера, и человека собственно не будет. Ибо человек – это его вера».

Последние два отрывка дают нам возможность судить о том, чем была бы вторая часть статьи, если бы Киреевский успел ее написать. Оставь он нам вместо двух томов сочинений только эти небольшие заметки – и тогда велика была бы его заслуга...

IX.

Можно сказать, наверно, что смерть Ивана Васильевича Киреевского была встречена с единодушным чувством сожаления всеми русскими людьми, имевшими понятие о нем, без различия направлений. Вспомним отзывы о нем Грановского, умершего меньше чем за год до него, и пережившего его Герцена. Чтобы определить отношение к нему этих его литературных противников, мы не умеем подыскать более подходящего слова, как *грустное удивление*. Эти люди, зная хорошо и универсальное образование Киреевского, и его исключительную искренность, не понимали, как мог он, уже в зрелом возрасте, сознательно обратиться к вере и к народности в науке. Хомякова, хотя и неосновательно, обвиняли в диалектической изворотливости, Аксаковых – в увлечении страсти, Самарина – в суровости политической программы, Киреевского ни в чем подобном обвинить нельзя. Его кротость обезоруживала всех, его прямоту, сдержанность и сердечная теплота исключали всякую возможность подозрения в каком бы то ни было темном побуждении даже со стороны врагов – да у него их и не было. Оставалось предположить *ослепление*, увлечение *мистицизмом* – благо это неопределенное слово так легко поддается любому толкованию. Итак, было признано, что церковное направление Киреевского было ослеплением, слабостью утомленного жизнью ума... Говоря это, мы не думаем порицать за такой взгляд людей противного направления: они *не могли* думать иначе, но взгляд этот служит, между прочим, к уяснению положительного значения Киреевского в истории развития русской мысли. Мнение об Иване Васильевиче людей одного с ним направления выразилось в словах о нем Хомякова, написавшего его некролог в «Русской беседе»¹ <...>

Таково суждение человека, стоявшего во главе того умственного движения, к которому принадлежал Киреевский, – человека, бывшего и одним из ближайших его друзей. К словам этим, сказанным над свежей могилой, – теперь, через сорок с лишком лет, мы должны прибавить то, чего не мог сказать тогда Хомяков.

¹ См. выше в наст. сб.

Дело Киреевского в науке всего ближе соприкасается с делом самого Хомякова. **Наиболее сильные после них и младшие по годам представители славянофильского учения трудились в иных сферах мысли.**

Будучи согласны в основных воззрениях, Киреевский и Хомяков должны были встречаться в решении и разработке отдельных вопросов. И действительно, **в двух главных статьях Киреевского мы находим многое, представляющее, по-видимому, повторение мыслей Хомякова или наоборот.** Но из этого совпадения, хотя не случайного, а обусловленного сходством и даже тождеством основных положений, не следует, чтобы один из них заимствовал что-либо у другого. **Хотя Хомяков оказал несомненное воздействие на изменение образа мыслей Киреевского, но знаем также, что самое это изменение не было полным переворотом, отречением от всех прежних убеждений, а готовилось постепенно.** Вместе с тем религиозные убеждения Киреевского изменились не столько в силу умозрительной работы, сколько под непосредственным воздействием сильной личности подвижника-духовника, тогда как Хомяков вырос в православном образе мыслей. Поэтому, быть может, вера Хомякова была более спокойная, вера Киреевского – более восторженная.

Что касается до области занятий обоих, **то круг изысканий Киреевского входит, как часть, в более широкий круг Хомякова, захватывавший собой, кроме богословских, историко-философских и художественных вопросов, еще собственно историю, лингвистику и множество других отраслей человеческого знания.** Но зато нет сомнения, что только смерть не допустила Киреевского до самостоятельной и подробной разработки учения о вере как познавательной способности – учения, которое, конечно, мы находим и у Хомякова, но которому он не посвятил – быть может, впрочем, также лишь не успел посвятить – особого труда; ибо мы не знаем, каково было продолжение его последнего письма к Самарину.

Итак, **первая попытка построения философии на христианских началах – вот важнейшая заслуга Киреевского.**

Он не успел осуществить этой попытки, не успел создать новой философии, но *почин* принадлежит ему бесспорно и нераздельно.

Живя весь в вере философии, Киреевский мало принимал участия в волнениях дня и века. Будучи человеком редкой доброты и образцовым помещиком, он даже, к великому огорчению своего друга Кошелева, был равнодушен к начавшейся еще при его жизни подготовке освобождения крестьян, полагая, что все силы русских людей должны быть прежде всего направлены на разрешение вопросов веры и нравственности. На этом, быть может, отразилась его близость к созерцательному монашеству.

В самой этой близости – другая сторона исторического значения Киреевского. Все славянофилы по своей вере и сознательно православным убеждениям были людьми церковными, и недаром про Хомякова сказано, что он жил в Церкви, но ни один из них не был так тесно связан с лучшими представителями церковного *клира* и с самой живой и действенной его частью – просвещенным монашеством – как И. В. Киреевский. Своим многолетним единением с оптинскими старцами он показал на деле, что не один темный люд может искать духовного просвещения у этого древнего источника, что и много учившиеся люди напрасно думают – в лучшем случае, когда думают без вражды – *снисходить* до этой области, а что им приходится *возвышаться* до нее. В этом смысле если по многим важнейшим вопросам человеческого знания Иван Васильевич Киреевский останется для многих поколений русских людей добрым учителем, то самая жизнь его – поучительный урок.

РАЗДЕЛ II

К. С. АКСАКОВ

И. С. Аксаков **Очерк семейного быта Аксаковых**

В 1816 году, женившись в Москве на дочери екатерининского генерала, Ольге Семеновне Заплатиной, Сергей Тимофеевич Аксаков через несколько недель после свадьбы, происходившей 2 июня в церкви Симеона Столпника на Поварской, поехал по тогдашнему обычаю на долгих вместе с молодой женой в заволжскую вотчину своего отца, Тимофея Степановича. Эта заволжская вотчина хорошо известна всем читателям «Семейной хроники» под названием Нового Багрова. Настоящее же имя ее – село Знаменское или Ново-Аксаково.

Бросив службу в Петербурге, к которой не имел особенного расположения, и будучи еще не отделен от родителей по имению, Сергей Тимофеевич Аксаков поселился с женой в Новом Аксакове вместе с отцом, матерью Марьей Николаевной (по «Семейной хронике» Софьей Николаевной Багровой), незамужней сестрой Сергея Тимофеевича и меньшим братом Аркадием Тимофеевичем. Там в 1817 году 29 марта родился у него сын Константин.

Сочинения Сергея Тимофеевича Аксакова составляют почти полную его автобиографию, и кто знаком с ними, тот имеет достаточное понятие о нравственном его характере, о наклонностях и вкусах именно в эту пору его развития. Со своей страстной натурой он страстно отдался чувству отца и почти буквально заменял для своего сына-первенца няньку. Ребенок засыпал не иначе, как под его баюканье.

Таким образом влияние отца окружило Константина Сергеевича с детства, сопровождало всю жизнь, и едва ли можно себе представить связь более тесную той, которая соединяла отца с сыном. Со своего рождения до самой кончины Сергея Тимофеевича Аксакова в 1859 году Константин Сергеевич расстался со своим отцом только однажды и то всего на четыре месяца. По смерти отца он буквально зачах и, будучи от природы геркулесовского сложения, умер чахоткой в 1860 году, декабря 7-го, пережив его только 19 месяцами.

И при всем том в натуре Константина Сергеевича Аксакова не было ничего схожего с натурой Сергея Тимофеевича. Он, как говорится, *весь был в мать*. Весь нравственный строй его существа, возвышенность помыслов и стремлений, суровость в отношении к себе, строгость требований, элемент доблести и героизма – все это заложено было в него матерью; все это было в Константине Сергеевиче, как и в его матери, не в виде правила, руководящего в жизни, но составляло в нем и в ней природную стихию. Сергей Тимофеевич любил жизнь, любил наслаждение, он был художник в душе и ко всякому наслаждению относился художественно. Страстный актер, страстный охотник, страстный игрок в карты, он был артистом во всех своих увлечениях – и в поле с собакой и ружьем, и за карточным столом. Он был подвержен всем слабостям страстного человека, забывал нередко весь мир в припадке своего увлечения; уже женатый проводил он целые дни за охотой, целые ночи за картами; но зная за собой эти слабости, он был смиренного о себе мнения, был чужд гордости к ближнему, напротив, отличался постоянной снисходительностью. Это-то качество и дало ему возможность развить в себе ту теплую объективность, которая составляет такую прелесть «Семейной хроники», которая чуждается всякой экзaggerации (преувеличений), резкости, полна любви и благоволения к людям и отводит место каждому явлению, доброму и дурному, в человеческой жизни. Радужный и добрый от природы, он обладал умом чрезвычайно ясным и трезвым. Эта ясность омрачалась пылкостью и страстностью. Но когда годы и болезни умили пыл и обуздали страсти, ум его, освободясь из-под гнета, достиг той степени спокойного, объективного отношения к жизни, которое так

поражает читателей в его сочинениях. Ум переходил в мудрость. Пишущий эти строки говаривал не раз Сергею Тимофеевичу, что если бы он вздумал писать «Семейную хронику» лет сорока или сорока пяти, а не шестидесяти, то она вышла бы несравненно хуже: краски были бы слишком ярки. Сергей Тимофеевич Аксаков был чужд гражданских интересов, относился к ним индифферентно: природа и литература были главные его интересы. Даже 1812-й год, когда Сергею Тимофеевичу Аксакову был уже 22-й год, не оставил в нем особенных воспоминаний. Правда, он с отцом своим записался в милицию, – но и только. 12-й год он прожил в деревне. Будучи вполне русским, он никогда не был «патриотом» даже в духе своего времени. Политикой он не занимался вовсе и никогда не предъявлял никаких притязаний на героизм. Хотя нет сомнения, что в нужных случаях он проявил бы настоящую твердость; он даже любил рассказывать о себе как о трусе (к великому огорчению своего старшего сына). Итак, совершенное отсутствие претензий, простота, радушие вместе с пылким и нежным сердцем, трезвость и ясность ума при возможности страстных порывов, честность, бескорыстие, беспечность относительно материальных выгод, тонкое художественное чувство, верность суда – вот отличительные свойства Сергея Тимофеевича, которые привлекали к нему почти всех, кто его знал. Не будучи не только ученым, но и не обладая достаточной образованностью, чуждый науки, – он тем не менее был каким-то нравственным авторитетом для своих приятелей, из которых многие были знаменитые ученые. Если надобно было кого рассудить в споре, обращались к Сергею Тимофеевичу (он разбирал Погодина с Венелиным, Погодина с Киреевским и проч.). Он вполне понимал жизнь и все движения человеческой души, все человеческие слабости.

Мать Константина Сергеевича была, напротив того, исполнена самых героических и патриотических стремлений, которые она и внушала своим сыновьям с детства. Она предпочитала сыновей дочерям. Имея в жизни своей 14 детей, из коих шесть сыновей, она жалела, что остальные были дочери. Ее отец, небогатый помещик Курской губернии, был человек замечательных достоинств. Он служил в военной службе, участвовал во всех походах Суворова – в Польше, в Турции, был при осаде Очакова,

имел георгиевский крест; при Павле командовал полком своего имени и вышел в отставку генерал-майором. При Александре, во время войны с Наполеоном, **он командовал ополчением. Вся жизнь его проходила в походах и в провинции.** Его жена и мать Ольги Семеновны была турчанка, Игель-Сюма, взятая 12 лет при осаде Очакова. Она была из рода Эмиров, как известно, производящих себя от Магомета и пользующихся правом носить зеленую чалму. **Немного рассказов сохранилось о ее детстве.** Когда русские пошли на штурм, отец ее, схватив саблю, побежал к стенам, а тетка (матери у нее в живых не было), **взяв ее и других детей, присоединилась к толпе других женщин.** Все они побежали по мосту, которого перила обвалились, и тетка Игель-Сюмы упала в ров.

Войны с Турцией при Екатерине были за обычай в России: пленные турки и турчанки размещались по обывателям. Игель-Сюма попала в семейство генерала Воинова. Ее скоро окрестили и выучили читать и писать по-русски. При Екатерине даже было издано учебное руководство для пленных турок: с одной стороны текст турецкий, с другой – русский. Необыкновенная красавица, она привлекла к себе сердце молодого Заплата, который и женился на ней. **По окончании войны, когда разрешен был размен пленных, родственники в Турции требовали ее возврата.** Рассказывают даже, что один из них нарочно приезжал в Россию, чтобы разыскать ее, и изъездил всю Курскую губернию, – но напрасно. Мария – так звали теперь Игель-Сюму – была скрыта.

Она жила недолго – умерла тридцати лет с небольшим. Оттенок грусти лежал на всем ее существовании. Войны с Турцией возобновлялись, и вид пленных турок, которых прогоняли через Обоянь, всегда волновал ее сильно. Она приезжала не раз в Москву с мужем и детьми, ездила в собрание, но все же никогда не могла освоиться с европейской жизнью. В семействе долго сохранялись ее турецкая шаль, ее чалма и также русская азбука с турецким текстом, изданная при Екатерине. У нее было четверо детей, из которых двое умерли еще в детстве. Она сопровождала Семена Григорьевича в его походах – **и там, на походе в Польшу, в 1792 году родилась у нее дочь Ольга, впоследствии жена Сергея Тимофеевича и мать Константина и Ивана Сергеевичей.**

Овдовев и поселившись в деревне Обоянского уезда, Семен Григорьевич взял свою старшую дочь из пансиона, – и она стала его товарищем, секретарем и другом. В обществе старого воина-отца она почерпнула тот дух доблести, которым так резко отличалась от других женщин. Она постоянно читала отцу своему исторические сочинения в русском переводе – например, историю Роллена в переводе Тредьяковского, описания военных походов, реляции сражений, газеты. Старик внимательно следил за политикой.

Благодарение и Тредьяковскому, и Сумарокову, и всем деятелям на пользу русского просвещения! Любопытно видеть всходы семян, разбросанных ими. В деревенской глуши, в отдаленной провинции, в стороне от большой дороги, без всех тех средств, которые дает богатство и общественное положение, зреет оно, это семя, и растит плод.

Вот в какой школе воспиталась Ольга Семеновна. Неумолимость долга, целомудренность, поразительная в женщине, имевшей стольких детей, отвращение от всего грязного, сального, нечистого, суровое пренебрежение ко всякому комфорту, правдивость, доходившая до того, что она не могла позволить сказать, что ее нет дома, когда она дома, презрение к удовольствиям и забавам, чистосердечие, строгость к себе и ко всякой человеческой слабости, негодование, резкость суда, при этом пылкость и живость души, любовь к поэзии, стремление ко всему возвышенному, отсутствие всякой пошлости, всякой претензии – вот отличительные свойства этой замечательной женщины. Но все эти свойства составляли ее стихию, а не были чем-то надуманным. Напротив, в ней не было того, что называется житейской мудростью; в свете она казалась наивной по своей неспособности к лицемерию и двоедушию. Она не могла скрыть ни своих симпатий, ни антипатий. Благоговейно покорялась она мужней воле, но когда дело шло для нее о нравственном начале, муж должен был склоняться перед нею: не то чтобы она только *не хотела*, но она *не могла* действовать вопреки своему убеждению. У нее не было никакой эластичности, а сойти со своей точки зрения и стать на чужую, отрешиться от своей личности, чтобы понять чужую, ей было трудно, почти невозможно.

Мать Гракхов, Муций Сцевола и были ее героями.

При этом она вся принадлежала русскому быту. Русские обычаи, особенно церковные, русская кухня, русская природа – все это было ей родное. Гостеприимная и общительная, она не только не отдаляла гостей от мужа, но придавала еще более привлекательности его собраниям.

Хотя Сергей Тимофеевич вовсе не разделял ригоризма своей жены, но он именно умел ценить людей вне своей личной природы. Он уважал высоко свою жену и все ее нравственные требования, хотя в личной своей жизни шел нередко им наперекор.

Вот под каким двойным влиянием возрос Константин Сергеевич, внук турчанки Игель-Сюмы и Софьи Николаевны Багровой. Натура матери, страстно любимый отцом и еще страстнее любящий его, Константин Сергеевич совмещал с нравственными свойствами матери эстетический вкус и любовь к литературе своего отца. Стихи Державина и русская деревня вспеленали его, так сказать, с детства. Четырех лет он выучился читать у матери, и первой его книгой для чтения была «История Трои», издания 1747 года, с буквами З, А и т. д., переложение «Илиады» на русский и, надобно признаться, варварский язык. Гектор, Диомед, Ахилл стали его любимыми героями. По свойству своей натуры немедленно воплощать в наружных явлениях внутреннее чувство (свойство, не покидавшее его в течение всей его жизни), он вырезал из карт фигуры с копьями и щитами, присваивал им названия своих любимцев и вел войну между греками и троянцами.

Пять лет прожил безвыездно Сергей Тимофеевич Аксаков в доме родителей. Семья ежегодно прибавлялась, помещение было в высшей степени тесно и неудобно и в материальном, и в нравственном отношении. Особенно тяготилась этим Ольга Семеновна. Быт заволжского среднего дворянства представлялся ей гораздо грубее южнорусского. Неопрятность, нелюбовь к цветам и зелени, совершенное равнодушие к интересам общественным томили ее. Некогда блистательная, страстная Мария Николаевна превратилась в старую, болезненную, мнительную и ревнивую женщину, до конца жизни мучимую сознанием ничтожества своего супруга и в то же время ревновавшую, ибо она чувствовала, что

он только ее боится, но что она утратила его сердце. Страстно любимый Сережа был разлюблен ею, как скоро он женился. Оба старика чувствовали, что Сереженька вышел из их среды. В доме все боялись только Марии Николаевны. Главой дома была она.

В 1821 году Тимофей Степанович согласился наконец выделить сына Сергея, у которого уже было тогда четверо детей, и назначил ему в вотчину село Надежино в Белебейском уезде, Оренбургской губернии. Это то самое село, которое в «Семейной хронике» названо Парашиным, место злодейского подвига Куролесова или Куроедова, заключения Надежды Ивановны и мучительной кончины изверга. Оно отстояло верст на сто от Нового Аксакова. Прежде чем переехать туда, Сергей Тимофеевич отправился с женою и детьми в Москву, где и провел зиму 1821 года.

В Москве он тотчас возобновил знакомства с приятелями, весь отдался жизни общественной, литературе, искусству, театру и мигом окружился множеством друзей и приятелей. В тесной его квартире на Сенной, Смоленской площади (где у него весною 1822 года родилась еще дочь) толпились с утра до вечера гости, производились чтения, твердились роли, играли в карты. Его тогдашними посетителями были: А. И. Писарев, Верховцев, Загоскин, Дмитриев, Н. Ф. Павлов, еще воспитанник театрального училища, Шаховской, иногда Кокошкин и др.

Летом 1822 года он опять отправился с семейством в Оренбургскую губернию – ради экономии, и прожил там безвыездно до осени 1826 года.

В Надежине, освеженный новыми знакомствами и посещением Москвы, Сергей Тимофеевич, будучи человеком экспансивным, невольно приобщил своего малютку-сына своим литературным интересам. «Евгений Онегин» присылался тетрадями. Все это читалось вслух, громко, с каким-то увлечением. Все это не мешало ни охоте, ни картам. Но охота сопровождалась наблюдениями. Хозяйство не повезло Сергею Тимофеевичу, да и край был далеко не так хорош, как описанные им места его родины и детства. Изредка ездил Сергей Тимофеевич *обедать* к своей матери (на подставных) за сто верст. Скоро сгорел у него дом от неосторожности; второй ребенок его простудился и умер; скончалось еще двое детей (два сына), зато и родилось четверо (между ними сын Иван 26 сентября в 1823 году).

Между тем Константин Сергеевич рос, упражнялся в чтении, а это чтение были все произведения тогдашней классической литературы, начиная с Хераскова. Едва ли не один из всех своих сверстников знал Константин Сергеевич Хераскова, Княжнина, Ломоносова и т. д. Когда ему минуло восемь лет, отец подарил ему в богатом переплете том стихотворений Ивана Ивановича Дмитриева. По этой книге, которую Константин Сергеевич скоро знал наизусть, Ольга Семеновна учила читать детей своих:

Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать!

Или:

Мои сыны, питомцы славы,
Красивы, горды, величавы.

Вот на каком героическом чтении воспитывала Ольга Семеновна своих детей.

Константин Сергеевич любил вспоминать (он вообще с нежностью относился к своим детским годам) свое пребывание в Надежине и чем с ранних лет воспитывалось в нем русское чувство. Прежде всего он отказался звать отца иностранным словом **папаша**, а называл его уменьшительным от слова отец — **отецинька**, **отесинька**, и так сохранилось до кончины. Вообще Константин Сергеевич утверждал всегда, что не ощущает резкого различия во внутреннем своем существе с ходом лет. Между детскими годами и зрелым возрастом почти у всех лежит целая пропасть. У него, напротив, не было никакого разрыва с младенчеством в душе и сердце. **Ум вызрел, обогатился познаниями, — но в нравственном отношении не произошло перемены, не явилось никакой порчи:** та же чистота души и тела, та же вера в людей. **Этому много способствовало и то, что он до последнего года жизни жил при отце и матери и никогда с ними не разлучался. Он не стыдился ни младенческих движений, ни отношений дитяти к родителям. Вообще он не знал fausse**

honte¹. Хотя бы гостиная была полна гостей, он точно так же целовал руки у отца и ласкался к нему, как бывало в детстве. Вообще в нем не было никакого ложного страха. Он не мог допустить в себе никакого движения, которое бы не мог совершить при всех, которое бы требовало скрытности: это было мерилом для его поступков.

Еще в Надежине, ребенком, он видел сон – Красную площадь и Митина в цепях, что впоследствии он и рассказал в стихах: «Нет, мечта не приснилась» и проч.

Любовь к Москве, как непосредственное чувство, зажглась в нем еще в те годы.

К этому же времени принадлежит его первая литературная попытка: он написал сцены: «Ловля бабочек».

Занятие хозяйством не удалось Сергею Тимофеевичу. Самые выгодные, по-видимому, спекуляции кончались ничем. Вспомнил Сергей Тимофеевич завет своего отца, который всегда говаривал: никакие спекуляции не удавались и не удадутся никогда Аксаковым: одно святое дело – земледелие. Несмотря на все выгоды, которые представляло учреждение винокуренного завода, выгоды, доказывавшиеся примерами соседей, Тимофей Степанович никогда не соглашался завести подобный завод. Деревня надоела окончательно Сергею Тимофеевичу, дети подрастали, их надо было учить, в Москве можно было искать должность, и в августе 1826 года Сергей Тимофеевич простился с деревней – и навсегда. С тех пор по год кончины в 1859 году, следовательно, в течение тридцати трех лет он был в Надежине только наездом, всего три раза.

В сентябре 1826 года Сергей Тимофеевич вместе с женой и шестью детьми (из которых 4 сына) приехал в Москву, где скоро получил место цензора по покровительству А. С. Шишкова, тогдашнего министра народного просвещения.

Дом его был открыт для всех друзей и знакомых. Театр, участие в издании «Московского вестника» Погодина, служба, карты и клуб охватили Сергея Тимофеевича. По экспансивности его, вся семья принимала участие в его интересах. Дети знали, например, что так-то была приня-

¹ Ложного стыда (фр.)

та публикой такая-то пьеса, такой-то остроумный куплет сочинен был Писаревым, над тем работает Верховцев и т. д. Много возни бывало с «Вадимом», либретто которого, взятое из известной поэмы Жуковского, сочинено было, если не ошибаюсь, Шевыревым. Новый водевиль Писарева производил волнение. Другим живым интересом была полемика с Полевым. Полевой, человек бесспорно даровитый, не пользовался уважением по своему нравственному характеру, по своей наглости и дерзости. Другое содержание эта борьба едва ли и имела. Кроме того, Сергей Тимофеевич перевел Мольерову «Школу мужей» и «Скупого». М. С. Щепкин был частым гостем. Помню я Мочалова и других актеров, которые приходили иногда к Сергею Тимофеевичу советоваться насчет своих ролей.

Круг знакомых Сергея Тимофеевича расширился. Новыми и преданными его друзьями были М. П. Погодин, Ю. И. Венелин, профессора П. С. Щепкин, М. Г. Павлов, потом Н. И. Надеждин. День, назначенный для сбора, были субботы, – обедали и оставались до поздней ночи.

Константин Сергеевич между тем, с одной стороны, принимал живое участие во всех интересах отца (вообще у Сергея Тимофеевича дети не были отдаляемы от родителей; гости принимались всею семьею), с другой стороны, учился у Венелина латинскому языку, у Долгомостьева – греческому языку, у Фролова – географии. Он много читал и в особенности любил чтение русской истории. Но как у Сергея Тимофеевича не было ни малейшего поползновения к пропаганде, так, напротив, наклонность к ней была заметна у Константина Сергеевича с самого начала. Будучи старшим в многочисленной семье, Константин Сергеевич, конечно, давал направление всем своим братьям и сестрам. Прочитав Карамзина, он тотчас же собирал в своей комнатке наверху своих сестер и братьев и заставлял их слушать его историю. Она воспламеняла в нем патриотическое чувство. Не знаю, почему именно в особенности возбудил его восторг эпизод о некоем князе Вячко, который, сражаясь с немцами при осаде Куксгавена, не захотел им сдаться и, выбросившись из башни, погиб. Оттого ли, что имя этого героя предано совершенному забвению, тогда как имена прочих доблестных подвижников сохраняют-

ся в людской памяти, – не знаю, только Константин Сергеевич, будучи лет 12-ти, установил Праздник Вячки 30 ноября. В этот день, вечером, наряжался Константин Сергеевич с братьями в железные латы, шлемы и проч., маленькие сестры в сарафаны, – и все вместе водили хоровод и пели песню, сочиненную Константином Сергеевичем для этого случая. Песня была длинная и рассказывала подробно подвиг Вячки. Она, я помню, начиналась так:

Запоемте, братцы, песню славную,
Песню славную старинную,
Как, бывало, храбрый Вячко наш...
и проч.

Затем следовало угощение – непременно русское – пился мед, елись пряники, орехи и смоквы.

Замечательно, что, увлекаясь чтением рыцарских романов, Константин Сергеевич и здесь выразил свою самостоятельность. Он учредил дружину из воинов; главным начальником был, разумеется, он, воинами – его братья и некоторые знакомые мальчишки. Исключение из воинов было самым жестоким наказанием. Вооружение приготавливалось дома: покупались железные листы и кроились латы, просверливались гвоздями, шнуровались; кажется, делались и наножики (на голень); шлемы делались отчасти из картона, отчасти из железа; модели доставались, благодаря связям отца, из театрального гардероба. Помогал тут много домашний крепостной столяр Андрей, который делал и деревянные мечи, а дети сами их окрашивали синькой. Были и копыя. К. Ф. Калайдович, помню, подарил далее Константину Сергеевичу копьё железное метательное, с железными перьями на одном конце, вырытое где-то на полях и почему-то называвшееся копьём Изяслава. Старинные палаши из солингенской стали, найденные в амбарах Нового Аксакова, составляли украшение комнатки Константина Сергеевича. В довершение всего этого Константин Сергеевич писал повесть о приключениях дружины молодых людей, «любивших древнее русское вооружение». По мере написания повесть

прочитывалась вслух и поражала умы аудитории разнообразием и загадочностью приключений. Несмотря на то, что она постепенно достигла объема целого тома, она никогда не была кончена.

Следует упомянуть также о других играх, измышленных Константином Сергеевичем. Из сахарной бумаги, белой и синей, складывались по известному способу корабли разных размеров в довольно большом количестве и разделялись на два флота: один русский, другой английский, или французский, или иной – *вражйй*. Они расставлялись друг против друга на обоих концах залы (все это происходило в Старой Кнюшенной, в приходе Афанасия и Кирилла, в доме Слепцова). С каждой стороны кто-нибудь ложился на пол и катил мяч по полу, целя в корабль. Сочинены были и правила для игры: если мяч отодвинет корабль за черную полосу, которой обыкновенно обводились около стен крашенные полы, то это значило, что корабль сел на мель; если попадал внутрь, в середину, – корабль пошел ко дну и т. д. Даже велся список сражений; добыто было раскрашенное изображение морских флагов всех наций, и часть бумажного корабля расписывалась сообразно национальности корабля. Никаких же других игр, ни лошадок, ни кукол, ни игрушек, не знал Константин Сергеевич, да почти и никто в доме Аксаковых. Разыгрывались иногда по выбору и по инициативе самого Константина Сергеевича сцены из «Чудаков» Княжнина, из «Трисотин» Дмитриева и некоторые другие.

Нельзя не рассказать и еще об одной затее, характеризовавшей будущего славянофила. Употребление французского языка в разговоре резко осуждалось Константином Сергеевичем, – да и вообще великосветскость была предметом постоянной его насмешки. Конечно, кроме искреннего уважения к родному языку и негодования, возбуждаемого пренебрежением к нему, много значило и то, что в доме Сергея Тимофеевича Аксакова французский язык не употреблялся вовсе, и сам Константин Сергеевич не имел привычки говорить на нем. Большой свет как бы не существовал для этого семейства. Как бы то ни было, но некоторые дамы, знакомые Ольги Семеновны, писали иногда ей на французском языке; записки эти уносились наверх, и там все братья, имея во главе Константина Серге-

евича, прокалывали эти записки ножами, взятыми из буфета, потом торжественно сжигали и пели хором песню, нарочно сочиненную Константином Сергеевичем: «Заклубился дым проклятья» и проч.

Впрочем, оттого ли, что Сергей Тимофеевич, узнав об этом, выразился, что это глупо, или оттого, что какая-то дама, случайно проведав о том, что ее имя предадут проклятию, чрезвычайно разобиделась, только этой затее был скоро положен конец.

Одаренный счастливыми способностями, энтузиаст, исполненный самых чистых и возвышенных стремлений и в то же время непосредственной любви к России, русскому народу и Москве, в мире интересов литературы и искусства возрастал Константин Сергеевич, удивляя приятелей отца своими дарованиями...

К. С. Аксаков **Воспоминание студентства 1832–1835 годов**

Я поступил в студенты 15-ти лет прямо из родительского дома. Это было в 1832 году. Переход был для меня очень резок. Экзамен, публичный экзамен – экзамен, явление доселе для меня незнакомое, – казался для меня страшен. А я притом с моим Азом должен был первый открывать всякий раз ряд экзаменующихся. Но все прошло благополучно, и моя крайняя застенчивость не обратилась для меня в помеху к поступлению в университет.

В мое время полный университетский курс состоял только из трех курсов. Первый курс назывался подготовительным и был отделен от двух последних. Я поступил в словесное отделение, которое в это время было сравнительно довольно многочисленно. На первом курсе словесного отделения было нас человек 20–30. В назначенный день собрались мы в аудиторию, находившуюся в правом боковом здании старого университета, и увидели друг друга в первый раз; во время экзаменов мы почти не заметили друг друга. Тут молча почувствовалось, что мы товарищи, – чувство для меня новое.

В эпоху студентства, о которой говорю, первое, что обхватывало молодых людей, это общее веселие молодой жизни, это чувство общей связи товарищества; конечно, это-то и было первым мотивом студенческой жизни; но в то же время слышалось, хотя несознательно, и то, что молодые силы собраны все же во имя науки, во имя высшего интереса истины. Так, вероятно, было всегда, при всяких подобных условиях, но не знаю, так ли бывает теперь в университете. Не все мои товарищи способны были понимать истину и даже ценить ее; но все были *точно* молоды не по одному числу лет; все были постоянно шумны и веселы; ни одного не было ни истощенного; не было ни светского тона, ни житейского благоразумия. Спасительны эти товарищеские отношения, в которых только слышна *молодость человека*, и этот человек здесь не аристократ и не плебей, не богатый и не бедный, а просто человек. Такое чувство равенства, в силу человеческого имени, давалось университетом и званием студента¹.

Право, кажется мне, что главная польза такого общественного воспитания заключается в общественной жизни юношей, в товариществе, в студентстве самом. Не знаю, как теперь, но мы мало почерпнули из университетских лекций и много вынесли из университетской жизни. Общественно-студенческая жизнь и общая беседа, возобновлявшаяся каждый день, много двигали вперед здоровую молодость, и хотя, собственно, товарищи мои ничем не сделались замечательны, — кто знает даже, к какому опошляющему состоянию нравственному могли довести обстоятельства потерянных мною из виду, — но живое это время, думаю я, залегло в их душу освежительным, поддерживающим *основание воспоминанием*. Вообще не худо, чтобы молодые люди, проходя свое воспитание, пожили вместе, как живут студенты; но это свободное общежитие тогда получает свою цену, когда истина постоянно светит молодому уму и только ждет, чтобы он обратил на нее свои взоры. Значение университетского воспитания может быть огромно в жизни целой страны: с одной

¹ Именно университетом и студенчеством, ибо училище, заключившее в себе все часы воспитанников, лишает их той свободы, которая дается соединением лишь во имя науки, которая поддерживается тем, что всякий товарищ вел свою самостоятельную жизнь. — Прим. К. С. Аксакова.

стороны – играющая молодая жизнь, как целое общество, в союзе юных нравственных сил, жизнь, не стесняемая форменностью, не гнетомая внешними условиями; с другой стороны – истина, греющая этот союз, предлагаемая, но не навязываемая никому. Хорошо бы это могло быть!

В мое время цель эта достигалась с одной стороны: именно со стороны студентства. Молодая жизнь точно играла с оттенком легкого, безобидного буйства и проказливости. Форменности почти не было; она начинала вводиться, правда, но еще очень легко. С другой стороны, со стороны профессорства цель эта достигалась большей частью весьма слабо, – и очень тускло и холодно освещало наши умы солнце истины; но живые, неподдавленные силы находили к ней дорогу.

Грубые шутки, дикие буйные выходки студентов, бывшие некогда, давно миновали. Время смягчает нравы; студенческая свобода не исчезла, но молодость уже не увлекалась, как прежде, одним кипением крови, более и более слыша в себе умственные и нравственные силы. Живость молодости высказывала себя в более шуточных проделках, мало-помалу исчезнувших в свою очередь. Когда я поступил на первый курс, еще слышались и повторялись рассказы между студентами о недавних проказах, довольно добродушных, случившихся только что передо мною и при мне уже не повторяющихся; и эти проказы, хотя так недавно происходившие, становились уже, очевидно, преданием.

<...> Рассказывали, что Заборовский, бывший еще в то время в университете, принес на лекцию Победоносцева воробья и во время лекции выпустил его. Воробей принялся летать, а студенты, как бы в негодовании на такое нарушение приличия, вскочили и принялись ловить воробья; поднялся шум, и остановить ревностное усердие было дело нелегкое. Все эти шутки могли бы иметь свою жестокую сторону, если б Победоносцев был человеком жалким и смирным, но он, напротив, был не таков: он бранился с студентами, как человек старого времени, говорил им *ты*; они не оскорблялись, не отвечали ему грубостями, но забавлялись от всей души его гневом.

На первом курсе я застал еще Победоносцева, преподававшего риторику по старинным преданиям, невыносимо скучно. «Ну что, Аксаков,

когда же ты мне хрийку напишешь?»¹ – говорил, бывало, Победоносцев. Студенты, нечего делать, подавали ему хрийки. Кроме Победоносцева были у нас профессорами: богословия – Терновский, латинского языка – Кубарев, греческого – Оболенский, немецкого – Геринг, французского – Куртнер, географии – Коркунов; Гостев читал какую-то смесь статистики, истории, геральдики и еще чего-то. Лекции богословия читались самым схоластическим образом, но тем не менее они меня довольно интересовали. От времени до времени поднимался какой-нибудь студент, обыкновенно духовного звания, и, по обычаю семинарии, начинал с Терновским диалектический спор, который Терновский поддерживал, иногда с досадой, – но обычай продолжался. Обыкновенно Терновский заставлял кого-нибудь из студентов повторять содержание прошедшей лекции. Кубарев, с кругленькой головой и вообще весь кругленький, переводил с нами медленно и внятно, выговаривая слова тихеньким голосом своим, Тита Ливия, – и только. Гостев, Коркунов были люди молодые тогда, но совершенно бесцветные. Куртнер толковал о *participle present*. Геринг переводил хрестоматию, в которую входили и стихотворения Шиллера, Гете и других. Оболенский переводил с нами Гомера. Оболенский был очень забавен; он был небольшого роста и с весьма важными приемами; голос его – иногда низкий, иногда переходил в очень тонкие ноты. Он переводил с нами Гомеру Одиссею <...> .

Трехтысячелетняя речь божественного Гомера раздавалась в Москве, на Моховой, в аудитории Московского университета перед русскими юношами, обращавшими больше внимания на смешную фигуру профессора, чем на дивные слова «Одиссеи». Обыкновенно профессора наши переводили сами, и переводящему студенту оставалось только искусно повторять слова профессора, чтобы не обратиться в совершенного слушателя.

Странное дело! Профессора преподавали плохо, студенты не учились и, скорее, забывали, что знали прежде; но души их, не подавленные форменностью, были раскрыты, – и бессмертные слова Гомера, возносясь над профессором и над слушателями, говорившие красноречиво

¹ Термин «хрия» означает совокупность приемов для последовательного развития темы. – *Сост.*

сами за себя и полные глубокого значения выражения богословия, и события исторические, выглядывавшие со своим величием даже из лекции Гостева, и вдохновенные речи Шиллера и Гете, переводимые смешным Герингом, – падали более или менее сознательно, более или менее сильно в раскрытые души юношей – лишь бы они только не противились впечатлению, – нередко не замечавших приобретения ими внутреннего богатства. Впрочем, я, собственно, давно уже читал поэтов: я прочел еще прежде всю «Илиаду» в переводе Гнедича с невыразимым наслаждением и думаю, что свобода студенческих моих занятий, не дав мне много сведений положительных, много принесла мне пользы, много просветила меня и способствовала самостоятельной деятельности мысли. Что же было бы, если б при этой свободе студенческой университетской жизни было у нас живое, глубокое слово профессора!

Наш курс, впрочем, не очень был замечателен относительно личности студентов. Желая поскорее осуществить юношеское товарищество на деле, я выбрал четырех из товарищей, более других имевших умственные интересы, и заключил с ними союз. Это были: Белецкий из Вильны, называемый обыкновенно паном, Теплов, Дмитрий Топорнин и Сомин. Я немедленно написал стих друзьям <...>

Эти стихи были потом положены на музыку Тепловым. Белецкий был человек очень образованный и умный, с глубоким сосредоточенным жаром, читавший с восторгом Мицкевича; что с ним сделалось потом – я не знаю. Я должен признаться, что мои друзья не соответствовали всей мере моих требований; но это уже вопрос личности; разница, вытекающая отсюда, непременно явится всегда; это уже не вина свободной студенческой жизни; кто не пошел вперед, когда путь не загражден, уже сам виноват.

На первый курс поступили к нам студенты, присланные, кажется, из Витебской гимназии; все они были очень хорошо подготовлены. Я познакомился со всеми с ними и был с ними в очень хороших отношениях. В числе их был Коссович. Он хорошо знал требуемые в университете языки, но филологическое его призвание еще не определялось тогда ясно. Он был неловок; его речь, его приемы были оригинальны, ходил он как будто запинаясь, говорил скоро, спешил и часто вместо одного слова при-

водил несколько синонимов. Однажды Геринг заставил его переводить. Коссович подошел к кафедре и пустился громко и поспешно переводить, стараясь выражать немецкие слова на русском языке несколькими синонимами. Я помню, как, переводя немецкое *Ziehen*, Коссович сказал: *идут, тянутся, стремятся*. Студенты невольно смеялись, но всем было ясно, что Коссович славно знает язык.

Студенты не были точны в посещении лекций. Я помню, что однажды, перед лекцией Оболенского, я ушел из аудитории, оставив ее полной студентов; возвратясь, я нашел ее пустой. Не зная, что это значит, я оставался на своей скамье: на другой стороне был студент Окатов, с которым я почти не был знаком. Вдруг входит Оболенский, потом за ним ректор Двигубский. Увидав только двух студентов, Двигубский рассердился и напал на нас за то, что студенты не ходят на лекции. На другой, кажется, день студенты, собравшись, объявили меня правым, ибо я не был тут, как сговаривались они уйти с лекции Оболенского, – и обвинили Окатова, который тут был и это знал. В этом суждении, под видом товарищества, высказывалась связь общего союза – одна из великих нравственных сил; новая для меня, она живо чувствовалась мною, и я понимал, что хорошо стоять друг за друга и быть как один человек.

Считаясь порядочным эллинистом, я обращал на себя внимание Оболенского, должен был чаще других переводить Гомера и слушать внимательно его объяснения. Однажды на лекции, очень серьезно, я вздумал предложить ему вопрос: каким образом согласить в древних стихах ударение с протяжением, как, скандуя стих, удержать ударение, которое не совпадает с скандовкой? – Оболенский отвечал: «А, это-с лучше всего объясняется пением», – и запел. Я был не рад, что предложил вопрос. Оболенский запел таким голосом и с такой печально-торжественной миной, что просто не было почти никакой возможности удержаться от смеха. Смех самый безумный, гомерический, готов был ежеминутно овладеть нами, громко вырваться и огласить всю аудиторию, – и этот-то смех надо было подавлять величайшими усилиями. Студенты, удерживаясь от смеха и мучаясь, кидали на меня яростные взгляды. Я, вызвавший этот профессорский ответ, должен был и обратить на него больше внимания. Для

меня пел Оболенский, каково же мне было? – Я был тогда очень смешлив, и когда Теплов проговорил подле меня шепотом: «Точно колодники под окнами», – я не знаю, как я удержался. Наконец Оболенский перестал петь; наконец лекция окончилась; профессор ушел. Товарищи напали на меня дружно. «Что тебе вздумалось просить петь Оболенского, что ты с нами наделал?» – говорили они со смехом. Я смеялся не меньше их.

Кроме экзаменов у нас были репетиции, и на них основывали профессор наиболее свое мнение о студентах. Терновский, репетируя, вызывал обыкновенно к кафедре. Однажды на репетиции он вызывал меня таким образом и спросил о рае. Отвечая, я сказал о древе жизни и прибавил: «Но ведь это древо надо понимать только как аллегорию?» – «Как аллегорию? – сказал Терновский. – Почему вы так думаете?» – «Древо жизни, – отвечал я, – было преобразованием Христа». – «Оно было преобразованием; но это не значит, чтоб оно не существовало», – заметил Терновский. Однако за этот ответ Терновский поставил мне 3, а не 4. В наше время четыре был высший балл.

Я рассказываю все эти случаи как характеризующие эпоху больше или меньше. Не думаю, чтоб что-нибудь подобное могло иметь место и теперь в университете. Расскажу еще и случай, не очень лестный для моего самолюбия. Геринг, лекции которого были обыкновенно по вечерам, читал однажды с нами балладу Шиллера «Ивиковы журавли» и попросил читать вслед за строфой немецкого оригинала строфу перевода Жуковского; не помню, вызвал ли Геринг меня или я сам вызвался, но только я, стоя у кафедры, начал читать вслух перевод Жуковского. Я читал с притязанием на хорошее чтение, читал несколько надутно и в иных местах напрягал свой громкий голос до того, что он гремел во всей аудитории. Студенты заметили мои притязания, и вдруг раздались рукоплескания. «Господа, что это значит?» – спросил Геринг. «Мы не могли удержаться, слыша чтение Аксакова», – отвечал студент Старчиков. Я принял все за наличные деньги и был очень доволен. Лекция кончилась, Геринг ушел, и некоторые студенты стали кричать: «Аксакова!» Я еще не понимал насмешки, как добрый мой товарищ Дмитрий Топорнин, искренне меня любивший, обратился с раздраженным видом к кричавшим студентам и сам закричал в свою оче-

редь: «Дураков, господа, дураков!» Тут только догадался я, что надо мной смеялись, и очень огорчился. Я не любил шуток и не любил насмешек; но насмешка ироническая под видом похвалы, и еще более дурачение, ибо это все же предательство, были и остались мне противны, тем более что у меня движение принимать сказанное за наличные деньги.

Я сказал, что курс наш был не замечателен личностями и что он не удовлетворял моим духовным потребностям. Еще будучи на первом курсе, познакомился я через Дмитрия Топорнина с Станкевичем, бывшим на втором курсе. Когда-нибудь надеюсь написать все, что знаю об этом необыкновенном человеке, но теперь я удерживаюсь воспоминанием собственно студенческой жизни. У Станкевича собирались каждый день дружные с ним студенты его курса; кроме их, вышедшие прежде некоторые его товарищи, из которых замечательнее других Ключников; в первый раз также видел я там Петрова (санскритолога) и Белинского. Кружок Станкевича был замечательное явление в умственной истории нашего общества. Но здесь о нем я упомяну также мельком, надеясь написать когда-нибудь, сколько можно подробнее, историю этого кружка в течение целых семи лет. В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир – воззрение большей частью отрицательное. Искусственность российского классического патриотизма, претензии, наполнявшие нашу литературу, усилившаяся фабрикация стихов, неискренность печатного лиризма – все это породило справедливое желание простоты и искренности, породило сильное нападение на всякую фразу и эффект; и то и другое высказывалось в кружке Станкевича, быть может, впервые как мнение целого общества людей. Как всегда бывает, отрицание лжи доводило и здесь до односторонности; но, надобно отдать справедливость, односторонность эта не была крайняя, была искренняя; нападение на претензию, иногда даже и там, где ее не было, не переходило само в претензию, как это часто бывает и как это было в других кружках. Одностороннее всего были нападения на Россию, возбужденные казенными ей похвалами. Пятнадцатилетний юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить всему, еще многого не передумавший, еще со многими не уравнившийся, я был поражен та-

ким направлением, и мне оно часто было больно; в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с малых лет. Но видя постоянный умственный интерес в этом обществе, слыша постоянные речи о нравственных вопросах, я, раз познакомившись, не мог оторваться от этого кружка и решительно каждый вечер проводил там. Мое отношение и мое место в этом кружке принадлежит к истории самого кружка, и потому до этого я здесь не касаюсь. Второй курс, в противоположность нашему первому, был богат людьми, более или менее замечательными. Станкевич, Строев, Красов, Бодянский, Ефремов, Толмачев принадлежали к этому курсу. Кружок Станкевича, в который, как сказал я, входили и другие молодые люди, отличался самостоятельностью мнения, свободной от всякого авторитета; позднее эта свобода перешла в буйное отрицание авторитета, выразившееся в критических статьях Белинского, – следовательно, перестала быть свободой, а, напротив, стала отрицательным рабством. Но тогда это было не так. Односторонность и несправедливость были и тогда, происходя как невольное следствие от излишества стремления, но это не было раз принятой оппозицией, которая есть дело вовсе не мудреное. Кружок этот был трезвый и по образу жизни, не любил ни вина, ни пирушек, которые если случались, то очень редко, – и что всего замечательнее, кружок этот, будучи свободомыслен, не любил фрондерства, ни либеральничанья, боясь, вероятно, той же неискренности, той же претензии, которые были ему ненавистнее всего: даже вообще политическая сторона занимала его мало; мысль же о каких-нибудь кольцах, тайных обществах и проч. была ему смешна, как жалкая комедия. Очевидно, что этот кружок желал правды, серьезного дела, искренности и истины. Это стремление, осуществляясь иногда односторонне, было само в себе справедливо и есть явление вполне русское. Насмешливость и иногда горькая шутка часто звучали в этих студенческих беседах. Такой кружок не мог быть увлечен никаким авторитетом. Определяя этот кружок, я определяю всего более Станкевича, именем которого по справедливости называю кружок; стройное существо его духа удерживало его друзей от того легкого рабского отрицания, к которому человек так охотно бежит от свободы, и когда Станкевич уехал за границу – быстро

развилась в друзьях его вся ложь односторонности, и кружок представил обыкновенное явление крайней исключительности. Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензии и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин и Бакунин, должны были ему уступать. В существе его не было односторонности; искусство, красота, изящество много для него значили. Он имел сильное значение в своем кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признавших его превосходство, было проникнуто свободной любовью, без всякого чувства зависимости. Скажу еще, что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездушных выводов мысли, а Белинский еще воздерживал при нем свои буйные хулы. Хотя значение Церкви не раскрылось еще Станкевичу, по крайней мере до отъезда его за границу, но Церковь и еще семья были для него святыней, на которую он не позволял при себе кидаться. Станкевич был нежный сын. Кружок Станкевича продолжался и по выходе его и друзей его из университета; он имел свой ход и свое значение в обществе. После него уже пошли эти безобразные выходки. Но несмотря на всю стройность своего нравственного существа, на стремление к свету мысли, истинной свободе духа, равно чуждой рабства и бунта, Станкевич не стал, по крайней мере до отъезда за границу, на желанную им высоту, и свобода веры, кажется, не была им достигнута.

Я увлекся; но этот кружок есть явление, вполне принадлежащее Москве и ее университету, возникшее в ту эпоху, когда дикое буйство студенческой жизни, о котором доносятся отдаленные предания, миновало и когда заменялось оно стройной свободой мысли, еще не подавляемой форменностью.

Когда я поступил в университет, форменность, как сказал я, начинала вводиться, но еще слабо, были мундиры и вицмундиры (сюртуки), но можно было в них и не являться на лекцию. При моем вступлении начиналось требование, чтобы студенты ходили на лекцию в форменном платье; но

я и на втором курсе видел иногда студентов в платье партикулярном. В первый год мы носили темно-зеленые сюртуки с красным воротником (до нас форма была синяя с красным воротником); на следующий год красный воротник заменило начальство синим. Сперва требовалось от нас, чтобы мы были только в университете в форменном платье.

Я помню, что я еще во второй год своего студенчества был в собрании во фраке и говорил там с Голохвастовым. Потом, вводя форменность, нарисовали студентов на бумажке, одного в мундире, другого в вицмундире, раскрасили, вставили в рамку и вывесили в Правлении для назидания в одежде. Наконец призвали нас в Правление и объявили, чтобы мы во всех общественных местах являлись в форменном платье. Студенты повиновались, и в театре, и в собрании появились студентские мундиры; но везде, где можно, на вечерах и балах частных и даже на улицах студенты носили партикулярное платье по произволу. Форменные шинели и шубы не были положены, и мы носили шинели и шубы обыкновенные.

Наступили переходные экзамены с первого курса на второй. Они сошли для меня довольно счастливо. На экзамене у Терновского достался мне вопрос об аде. Отвечая, я сказал про огненные муки и прибавил, что было бы странно понимать этот огонь в материальном значении, как огонь, нам известный, но что это огонь не вещественный, что это муки совести. Терновский стал с досадою возражать мне, но тогдашний викарный Николай, присутствовавший на экзамене, остановил его, сказав: очень хорошо, ответ прекрасный. Терновский должен был поставить мне 4, лучший балл.

Я перешел на второй курс. Станкевич и его товарищи перешли на третий. Оба курса, второй и третий, слушали лекции вместе в большой словесной аудитории, над дверью которой золотыми буквами, как на смех, было написано: *Словесное отделение*. Здесь слушали вместе студентов сто. На втором и третьем курсе (лекции были общие) были уже другие профессора, и из них некоторые – люди замечательные. Надеждин читал здесь эстетику. Каченовский – русскую историю. Впоследствии явился Шевырев, приехавший из-за границы, и стал читать историю поэзии, и потом – Погодин, начавший читать всеобщую историю. Давыдов читал

риторику и русскую литературу. Латинский язык читал Снегирев, греческий – Ивашковский, немецкий – Кистер, французский – Декамп, которого обыкновенно называли: дед Камп.

Надеждин производил с начала своего профессорства большое впечатление своими лекциями. Он всегда импровизировал. Услышав умную плавную речь, ощутив, так сказать, воздух мысли, молодое поколение с жадностью и благодарностью обратилось к Надеждину, но скоро увидело, что ошиблось в своем увлечении. Надеждин не удовлетворил серьезным требованиям юношей; скоро заметили сухость его слов, собственное безучастие к предмету и недостаток серьезных знаний. Тем не менее, справедливо и строго оценив Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его речь. Я помню, что Станкевич, говоря о недостатках Надеждина, прибавлял, что Надеждин много пробудил в нем своими лекциями и что если он (Станкевич) будет в раю, то Надеждину за то обязан. Тем не менее благодарный ему за это пробуждение, Станкевич чувствовал бедность его преподавания. Надеждина любили за то еще, что он был очень деликатен со студентами, не требовал, чтоб они ходили на лекции, не выходили во время чтения, и вообще не любил никаких полицейских приемов. Это студенты очень ценили – и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекциях, как у Надеждина. Обладая текучею речью, закрывая глаза и покачиваясь на кафедре, он говорил без умолку, – и случалось, что проходил назначенный час, а он продолжал читать (он был крайним). Однажды, до поступления моего на второй курс, прочел он два часа с лишком, и студенты не напомнили ему, что срок его лекции давно прошел.

Во время второго моего курса явился на кафедре Шевырев и читал вступительную лекцию. На этой лекции было много посторонних слушателей; я помню Хомякова и других. Лекция Шевырева, обличавшая добросовестный труд, сильно понравилась студентам: так обрадовались они, увидя эту добросовестность труда и любовь к науке. Я помню, какое действие произвели слова его на Станкевича, когда Шевырев произнес: «честное занятие наукою». – «Это уже не Надеждин, – сказали студенты, – это человек, точно трудящийся и любящий науку». После лекции

к Станкевичу подходил Ключников. «Ты что мне скажешь?» – спрашивал его Станкевич. Я не помню, что Ключников сказал ему, но помню насмешливое выражение его лица. Шевырев казался для студентов радостным событием, – но и тут скоро разлетелось очарование. Студенты скоро увидели педантичность приемов, ограниченность свободной мысли, манерность и неприятное щекотливое самолюбие. Однако чуть ли уже не на третьем курсе, чуть ли уже это не мы разрушили сладкие мечты о Шевыреве.

Шевырев объявил нам однажды мнение, что так как уже мысль выражена его словами удовлетворительно, то он бы желал, чтобы студенты высказывали ее в ответах своих его же словами, – это весьма нам не понравилось. Наконец, скоро в Шевыреве обнаружилась раздражительная требовательность и отчасти полицейские движения. Так, помню я, что когда один студент зашумел как-то на его лекции или что-то вроде этого, то Шевырев сказал: «М.г., такое поведение не приносит вам чести, а напротив – приносит бесчестие, и, покрытые этим бесчестием, извольте выйти». Я почти буквально помню эти его слова. Справедливое негодование проникло в молодые сердца, и Шевырев скоро стал нелюбим положительно. Я, впрочем, старался, сколько можно, защитить Шевырева от излишних нападений и повторял товарищам в шутку: «Сей девы рыцарь я»¹.

Погодин, заняв кафедру всеобщей истории (кажется, когда мы уже перешли на третий курс), тоже читал вступительную лекцию. Погодин говорил с жаром, и хотя молодые люди были враждебно расположены к нему, но мне помнится, что эта лекция произвела выгодное и сильное впечатление. Бог знает, как умел Погодин при стольких своих достоинствах восстанавливать против себя почти всех. Нападения на него часто были несправедливы, но недаром же так дружно на него восставали. Мне кажется, что главная причина – неумение обращаться с людьми. Я помню, что и нам однажды с кафедры сказал он, что мы мальчишки или что-то в этом роде, – аудитория наша не вспыхнула, не зашумела на сей раз, но слова эти оставили глубокий след негодования. Впрочем, значение Погодина ясно определилось только впоследствии, когда он получил кафедру рус-

¹ Из *Танкреда*, перевод Гнедича. – Прим. К. С. Аксакова.

ской истории. Я видел некоторых его слушателей – людей правдивых и умных, – благодарных ему за лекции русской истории.

В наше время любили и ценили и боялись притом, чуть ли не больше всех, – Каченовского. Молодость охотно верит, но и сомневается охотно, охотно любит новое, самобытное мнение, – и исторический скептицизм Каченовского нашел сильное сочувствие во всех нас. Строев, Бодянский с жаром развивали его мысль. Станкевич, хотя не занимался много русской историей, но также думал. Я тоже был увлечен. На третьем курсе начал я писать пародию: «Олег под Константинополем», где утрировал мнение, противоположное Каченовскому. Только впоследствии увидал я всю неосновательность нашего исторического скептицизма. Я помню, как высоко ставил Каченовский Москву, с какой улыбкой удовольствия говорил о ней, утверждая, что с нее начинается русская история. Его отзывы о Москве были новой причиной моего к нему сочувствия. Но самые лекции свои читал он довольно утомительно для слушателей. Каченовский был в то же время очень забавен в своих приемах, и студенты самым дружеским и нежным образом над ним подсмеивались. Он являлся аккуратно в назначенный час (промежутков между лекций у нас не было), и студенты говорили, что он сам звонит. Несмотря на свою строгость, Каченовский, однако же, хорошо обращался со студентами. Я помню, что он сказал на лекции одному студенту, заметив в нем какую-то неисправность: «Милостивый государь, вы виноваты; если б с вами была ваша табель, я бы это отметил». Между тем было приказано иметь табель всегда с собой. Мы оценили его деликатность.

Студенты предшествующего нам курса хотели поднести золотую табакерку Каченовскому, но это, кажется, почему-то не состоялось. Станкевич перед своим выходом из университета вздумал как-то писать стихи к профессорам, из которых я помню несколько. <...>

Давыдов Ив. Ив. был важен, очень важен, невыносимо величествен и скупен. Лекции его не имели ни малейшего достоинства.

В его напечатанном курсе есть следующие слова: *о великих людях пишем мы длинными стихами, потому что воображаем их себе большого роста.* <...>

Из настоящих старых профессоров был у нас один собственно – Сем. Март. Ивашковский. Почти к каждому слову говорил он: *будет*, что Беер называл: *вприкуску*. Когда я поступил на второй курс, то был немало удивлен порядком его лекций, в особенности первой лекцией. «Идет Ивашковский!» – сказал кто-то. «Это ничего, – отвечали старые студенты, – он еще будет долго ходить по аудитории». И в самом деле: Ивашковский явился, один из студентов-эллинистов подошел к нему, завел с ним разговор, и Ивашковский начал ходить с своим собеседником взад и вперед по одной половине аудитории, а по другой расхаживали студенты. С полчаса продолжалась прогулка; наконец Ивашковский сел за кафедру, а студенты на лавки. Ивашковский молчал долго, как будто собираясь и не решаясь заговорить, наконец вдруг сказал: «Велено будет, всякому студенту будет, иметь будет табель», – и опять замолчал, и опять долго как бы не решался заговорить; наконец сказал: «До следующего будет раза», – и ушел. Всякая его лекция начиналась прогулкой, и для этого выбирался кто-нибудь из студентов-эллинистов. Читал Ивашковский не больше получаса; лекция заключалась в переводе греческих писателей. Ивашковский кричал и переводил; кричал и переводил вслед за ним избранный студент, часто ничего не знавший по-гречески и иногда догадываясь весьма неловко. Я помню один такой перевод. «И взял его», – кричал, переводя, Ивашковский. «Взял его, – повторил студент и прибавил: – за волосы», – как видно, лучше не догадавшись. Ивашковский остановился. «Где, будет, за волосы, тут нет, будет, за волосы», – сказал он, и перевод пошел своим порядком в два голоса.

На втором курсе я еще больше сблизился с кружком Станкевича и, должен признаться, поотдалился-таки от своих друзей-товарищей. Коссович на втором курсе уединился от всех, не занимался университетским учением, не ходил почти на лекции; а когда приходил, то приносил с собой книгу и не отнимал от нее головы все время, как был в аудитории. На него смотрели с удивлением, говорили: Коссович не занимается; а он между тем глотал один древний язык за другим. Коссович вступил на свою дорогу, филологическое призвание заговорило в нем, и именно он трудился дельно и быстро себя образовывал. Но, однако, Коссович был

оставлен на втором курсе; впоследствии, занявшись университетскими предметами, он без труда вышел кандидатом.

На вечерах у Станкевича выпивалось страшное количество чаю и съедалось страшное количество хлеба. Станкевич любил и знал музыку. Иногда мы певали всем хором; общей студентской нашей песнью были стихи Хомякова из его трагедии «Ермак»: «За туманною горою» и проч. Станкевич был большой мастер передразнивать. Однажды как-то днем на своей квартире передразнивал он Каченовского, и в это самое время Каченовский проехал мимо по улице. «Вот тебе раз, – сказал Станкевич, – не видал ли он?» – «Ничего, братец, – сказал Бодянский, – он подумал, что зеркало стояло». В те года только что появлялись творения Гоголя; дышащие новой небывалой художественностью, как действовали они тогда на все юношество, и в особенности на кружок Станкевича. Во время нашего студентства вышло «Новоселье», альманах; там была повесть Гоголя «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Помню я то впечатление, какое она произвела. Что может равняться радостному, сильному чувству художественного откровения? Как освежало, ободряло оно души всех! как само постепенное появление изданий гениального художника оживляло, двигало общество! Рад я, что испытал и видел все это. Станкевич ценил очень верно и тонко художественность Гоголя, особенно в безделицах. Вскоре после выхода его и моего из университета Станкевич достал как-то в рукописи «Коляску» Гоголя, вскоре потом напечатанную в «Современнике». У Станкевича был я и Белинский; мы приготовились слушать, заранее уже полные удовольствия. Станкевич прочел первые строки: «Городок Б. очень повеселел с тех пор, как начал в нем стоять кавалерийский полк...» – и вдруг нами овладел смех, смех несказанный; все мы трое смеялись, и долго смех не унимался. Мы смеялись не от чего-нибудь забавного или смешного, но от того внутреннего веселия и радостного чувства, которым преисполнились мы, держа в руках и готовясь читать Гоголя. Наконец смех наш прекратился, и мы прочли с величайшим удовольствием этот маленький рассказ, в котором, как и в других созданиях Гоголя, и полнота, и совершенство искусства. Станкевич читал

очень хорошо; он любил и комическую сторону жизни и часто смешил товарищей своими шутками.

Помню я нашу шумную аудиторию, помню это веселое товарищество, это юношество, не справляющееся ни о роде, ни о племени, ни о богатстве, ни о знатности, не хлопчущее о манерах, а постоянно вольно себя выражающее. Множество молодых людей вместе слышит в себе силу, волнуемую неопределенно и еще никуда не направленную. Иногда целая аудитория в 100 человек по какому-нибудь пустому поводу вся поднимет общий крик, окна трясутся от звука, и всякому любо. Но чувство совокупной силы выражается в эту минуту в общем громовом голосе. Почему не выразится оно иначе, – здесь не место говорить о том. Хорошо, что в наше время оно хоть темно чувствовалось, хоть так выражалось. Помню я, как однажды узнали, что Каченовский не будет. «Каченовский не будет!» – закричал один студент. «Не будет!» – подхватил другой. «Не будет!» – закричали несколько. «Не будет!» – загрела вся аудитория и долго гремела. Кто-то вошел в калошах в аудиторию. «Долой калоши, а bas, а bas» <долой, долой – *фр.*> – раздалось дружно, и вошедший поспешил скорее удалиться и скинуть калоши. Однажды Морошкин, читая в политическом отделении, находящемся под нами, и услыша такой гром, сострил, сказав, что грому прилично быть на Олимпе, а не на Парнасе. Юридическое отделение в наше время называлось политическим и было очень плохо; «словесники» питали великое презрение к «политикам».

Не могу не рассказать про один смешной случай, бывший на лекции у Надеждина. Он как-то вздумал сделать репетицию и стал нас спрашивать, спросил и Бодянского, сидевшего на задней лавке. Бодянский поднялся и стал отвечать как по книге и при этом непрерывно опускал глаза на стол. Студенты засмеялись. «Он по книге читает», – заметили они друг другу. Надеждин, вероятно, услышал это и сам, заметя книжный слог ответа, сказал, несмотря на свою деликатность: «Извините, г. Бодянский, мне кажется, вы по книге читаете». – «Нет», – отвечал Бодянский и спокойно продолжал свой ответ. Надеждин, смотря на его опускающиеся глаза и слыша постоянно ровный книжный язык, сказал: «Извините меня, г. Бодянский, пожалуйста к кафедре». Бодянский замолчал, послы-

шался стук и топот: это Бодянский приближался к кафедре, стал перед ней и с невозмутимым спокойствием продолжал свой ответ, точь-в-точь как на задней лавке. «Сделайте милость, извините меня, – сказал Надеждин, – прекрасно, прекрасно».

Бодянский был одним из самых дельных студентов, серьезно занимался историей и теперь занимает в области науки всем известное почетное место.

Между нами были еще студенты того прежнего буйного склада, о которых мы знаем теперь только по преданию, как о старине. Таков был Киндяков, часто пьяный, буйный, производивший драки и на улицах. У Шевырева была привычка, если кто зашумит на лекции, обратиться к лавкам и сказать: «А?» Раз как-то, при Киндякове, он тоже, обратясь к студентам, спросил: «А?» – «Бе», – отвечал ему Киндяков громогласно. Шевырев смутился и не сказал ни слова. Был у нас и студент другого рода, хохотун Челищев, бравший два платка с собой на лекцию: один, чтоб утирать нос, а другой, чтоб затыкать рот, когда начнет смеяться. Лекции у нас следовали без всяких промежутков, одна за другой, иногда продолжаясь шесть часов сряду. Это было очень утомительно. За Давыдовым следовал Каченовский, и студенты, зевая, спрашивали друг друга: что это – следствие ли Давыдова или предчувствие Каченовского?

Я перешел на третий курс. Станкевич, Строев, Ефремов, Красов, Бодянский вышли кандидатами, и аудитория наша опустела. Студенты из первого курса перешли на второй, но из них не было никого особенно замечательного. Замечательнее других был Сазонов, перешедший из другого отделения и принадлежащий к кружку Герцена, кружку совершенно иного склада, чем кружок Станкевича, кружку, любившему тогда эффекты и картинность. Сазонов был человек умный, но фразер и эффектер; он старался со мной сблизиться, желая сделать из меня прозелита, чего ему, однако, не удалось. Он оказался совершенно пустым человеком впоследствии. Дм. Топорнин, Толмачев были короче других со мной. На третьем курсе мы уже были на первом плане, считались первыми студентами (хотя я, собственно, отвечал большей частью плохо на репетициях) и получали притом вес студентов старых.

На третьем курсе нашем, помню я, вошел однажды в аудиторию один студент и сел вдалеке от других на задней лавке; мы узнали, что это был Петров, доносивший на Декампа, бывший по этой причине в отлучке все это время и вновь поступивший студентом в словесное отделение. Лицо его было бледно; он имел несчастный, жалкий вид. Никто не говорил с ним, не подходил к нему. Он постоянно был как бы отверженным и потом не знаю, куда девался.

Строев держал список у Декампа. Держать список значило – делая переключку, а иногда и без переключки – отмечать отсутствующих студентов. Эти списки не были в употреблении у профессоров, и, сколько помню, один Декамп придавал им значение. Он спросил Строева перед выпускным экзаменом его курса, кому передать список после него. Строев назвал меня. Я был очень не рад, но студенты были довольны, ибо они знали, что я *абсов* ставить не буду. Однажды, перед лекцией Декампа, когда еще он не успел прийти, студенты подошли ко мне и объявили: «Аксаков, мы все идем от Декампа». – «Полноте, господа, – сказал я, – останьтесь, как вам не стыдно? Ведь мое положение все же неловко». – «Нет, мы идем непременно». – «В таком случае и я иду с вами», – сказал я, и мы все вместе вышли из аудитории, вошли в переднюю, пошли за загородку, где висели наши шинели, надели их и приготовились идти. Вдруг является Декамп; мы поспешно затворились за перегородкой и ждали, пока Декамп уйдет. Декамп вошел в аудиторию, спросил солдата, где студенты, и тот отвечал ему: «Ушли». – «Как ушли?» – «Ушли». Декамп воротился в переднюю, вероятно, с тем, чтоб ехать назад, как вдруг увидел сквозь плохо притворенную дверь рукав студента Иванова. Декамп отворил дверь, и вся аудитория, в шинелях, явилась ему в полном собрании. Я как державший список вышел вперед и стал перед Декампом. «*Est-ce que nous jouons à cache-cache?*» <Мы что, играем в прятки? – *фр.*> – заговорил Декамп. Мы сняли шинели, вернулись в аудиторию и сели по лавкам. Декамп разъярился. Исковерканным русским языком приказал он солдату идти к инспектору (тогда только заводился инспектор; его должность правил Клименко). «Я не знаю, где живет инспектор», – отвечал солдат, благоволя студентам. Наконец Сазонов встал, подошел к кафедре и утишил гнев Декампа.

Сазонов считался первым студентом; я, кажется, вторым; насколько справедлива была такая оценка, это другой вопрос. Сазонов, точно, был человек очень образованный, очень много читавший, впрочем преимущественно французских писателей; но в особенности он умел ловко себя держать, умел придавать себе вес. Я помню, случалось, что он не знает того, о чем его спрашивает профессор, отвечает, ошибается, но все это с таким чувством собственного достоинства, с такой уверенностью в себе, что и профессору казалось, что Сазонов прекрасно отвечает. Если профессор поправлял явную ошибку Сазонова, Сазонов соглашался на поправку профессора или как бы с снисхождением, или даже как на дело, ему совершенно известное, но о котором он, странно в самом деле, как будто позабыл. Итак, я тогда уже увидел и заметил этих мастеров, действующих так ловко не на одной студенческой лавке, но и в жизни, — этих ловких людей, небрежных, по-видимому, но так умеющих себя выставить и так искусно, что увидят все, что им хотелось выставить, а не увидят того только, как они себя выставляют. Конечно, со временем должна раскрыться эта тайна, должен быть замечен и оценен их талант, но, конечно, не вдруг и, конечно, не всеми. Впрочем, тут много зависит от степени мастерства. Я говорил Сазонову о его ловкости, он смеялся и советовал мне так же действовать. Но такой образ действий был мне совершенно противоположен, и такого мастерства я никогда не хотел и не хочу. Так как я поступил в университет прямо из родительского дома, то до моего слуха не касались никакие грязные выражения, никакое вранье; и впервые довелось мне слышать все это от товарищей, которые во время чтения лекций нашептывали мне всякий вздор, очень забавлялись моей невинностью и, сверх того, еще моею невозможностью защитить себя от их слов; они чувствовали себя в ту минуту безопасными от сильного толчка или от здорового туза в спину. Мне противно было сальное вранье, к несчастью почти всегда увлекающее молодость. Конечно, мужская невинность состоит не в неведении дурной, грязной стороны жизни, а в независимости от этой стороны; не в целомудрии слуха, а в целомудрии внутреннего чувства; но я тогда неясно понимал это; к тому же эти шуточные и непристойные речи имели для меня всю резкость неслыханного,

нового; наконец, должно прибавить, кому не нравится внутренний смысл, тому не нравится и наружное его выражение, и я речей таких и теперь не люблю. Во мне не было никогда, с самого детства, желания быть старше своих лет; напротив, я боялся этой претензии; в ней-то и непременно доказательство, что человек не старше, а моложе своих лет. Я всегда выдерживал себя вполне в каждом возрасте; но, однако, это относилось именно к тому, в чем проявлялся возраст, именно к внешней стороне. Я не желал быть большим, не желал поскорее надеть галстук, ходить без человека и т. п. В университете и после университета я долго не хотел ни курить, ни пить вина, даже до 23-летнего возраста. По 22-му году я пил портвейн с водой на берегах Рейна. Право, мне казалось, что я не мог бы смотреть на себя с уважением, если б поддался желанию поступить в большие, и когда мне входили в голову насмешливые слова, хотя и не ко мне обращенные, юношей, поступавших иначе, слова: «Это детство, это страх не послушаться», – то я чувствовал, что детство будет именно в противоположном и что делать так, как они делают, их заставляет *страх* послушаться. Так всегда поступал я относительно внешней стороны. Что же касается до того, что не зависит от возраста, до мысли, до внутренних убеждений, до самостоятельности мнения, то я высказывал самостоятельно свое мнение от самых малых лет, и в тех случаях, когда я видел неуважение к моему мнению ради моих лет, я сильно оскорблялся и происходили у меня с большими людьми жаркие схватки. Говорю все это для того, что интересно вообразить, в какие отношения станет такой человек с товарищами. Не знаю, что за студенты теперь, но тогда с товарищами я был в наилучших отношениях. Они видели, впрочем, что во всех тех случаях, где не было для меня чего-нибудь или безнравственного, или просто недолжного, или что хотя в моих глазах было дело и пустое, но чего не хотели в моей семье, – я был добрым товарищем; они видели, что не от робости или слабости, не из ложного детства происходит мое противодействие мелочным проявлением совершеннолетия, мое совершенное послушание семейным требованиям, никогда, впрочем, не стеснявшим свободы нравственной. Между прочим, было мне сказано желание, чтоб я не ходил в кондитерскую во все время студентства, – и я вышел кан-

дидатом, не бывши в кондитерской. Бывало, иду с лекции с товарищами мимо Бера. «Мы к Беру, – говорят они, – Аксаков не зайдет». – «Не зайду, господа, ступайте». Студенты входили к Беру, а я шел далее. Товарищи подсмеивались слегка, но насмешка никогда не имела никакого действия на мои поступки. Но знали мои товарищи, что не выдам я их ни в каком случае, не останусь позади ни при каком независимо-общественном порыве. К тому же подсмеивались надо мной только близкие мне товарищи. Один студент хотел было присоединиться к ним, но я сказал ему, что позволяю шутить только близким мне и чтоб он не смел этого делать. Сказано было решительно, и студент отошел. Другому, который долго не унимался, я обещал, что выброшу его из окна; в те пылкие годы я, пожалуй, буквально исполнил бы свои слова.

Однажды Снегирев на лекции, зная мою скромность, нарочно заставил меня переводить из Горация или из Вергилия неприличное место; студенты засмеялись. Снегирев, сделав мину, сказал мне: «Не смущайте г. Аксакова». Студенты засмеялись еще больше. Я весь вспыхнул, но, удержав себя, дождался конца лекции. Пока Снегирев, встав, говорил с некоторыми студентами, я вышел в переднюю и стал дожидаться Снегирева, чтоб объясниться с ним. В волнении я был страшном, и оно выражалось на моем лице. Я помню, как один студент не нашего курса, Барсов, подошел ко мне и спросил: «Что с вами, Аксаков?» – «Ничего», – отвечал я. Студент ушел, и потом я узнал, что он говорил другим студентам, что я скоро умру: в таком положении он меня видел. Наконец Снегирев показался. Я подошел к нему. «Вы нынче смеялись надо мной», – сказал я ему с таким видом и таким голосом, которые были красноречивы. «Я? – сказал, смутившись, Снегирев. – Помилуйте, Аксаков, я?» – «Да, вы; вы обратились к моим товарищам, вы в насмешку просили их не смущать меня». – «Я с добрым намерением». – «Однако товарищи мои засмеялись. Как бы то ни было, прошу вас вперед подобного ничего не делать, а не то...» Я не успел договорить, показался Погодин, которого Снегирев бежал. Снегирев поклонился мне и ушел. С той поры все время Снегирев был со мной в отличных отношениях. Я помню, мне говорили знакомые, что этот случай очень возвысил меня во мнении студентов.

Не любя непристойностей, я не прочь был немного безобидно побуяннить, пошуметь, попробовать силу. На третьем курсе, идя однажды в таком расположении духа, я и еще человека четыре студентов, по Кисловке с лекции, – помню, что Сазонов был в числе, пошли мы рядом посередине улицы и принуждали сворачивать экипажи, крича: «Объезжай». Решительный вид молодых людей заставлял исполнить их требования, но некоторые из товарищей простерли это безобидное буйство до непозволительного: они вздумали говорить любезности попавшейся девушке. Я громко этому воспротивился, сказал, что это дурно, никуда не годится, объявил, что не хочу идти с ними, и вошел на тротуар. Товарищи вошли и сами, оставив девушку в покое, и мы продолжали путь мирными гражданами.

На второй курс, когда мы были на третьем, поступил к нам в аудиторию невыносимейший студент Соловьев, забияка, и трус, и шут в одно и то же время. Однажды он до того приставал к Казаринову, что тот ударил его в лицо и расшиб ему нос до крови. «Вот я так и пойду к инспектору!» – заревел Соловьев. «Стой! – закричали студенты. – Не смей ходить; мы это дело покончим сами». Студенты подошли с Соловьевым к Казаринову и окружили их обоих. «Казаринов, ты ударил Соловьева? Проси прощенья». Казаринов медлил. «Проси прощенья!» – крикнули студенты. «Прошу», – сказал Казаринов. Ободренный Соловьев закричал, торжествуя: «Нет, скажи: прошу прощения!» Слова его, при его нелепом голосе и выражении торжества на лице, возбудили всеобщий смех. Казаринов сказал: «Прошу прощенья!» – и суд кончился.

На третьем курсе явился у нас новый профессор Измаил Щедритский. Трудно найти противнее человека: разврат и пьянство выражались на его лице; он был груб донельзя: преподавал свой предмет, статистику, самым дурацким образом. Прежде он читал в политическом отделении; теперь на его лекциях соединялись студенты обоих отделений, и политики приходили к нам, садясь особо на одной стороне аудитории. Щедритский уж и при нас сказал несколько грубостей некоторым студентам. Приближались репетиции; на них можно было ожидать грубостей еще более. Мы, словесники, сильно возмущались. Я сказал студентам:

«Господа, если Щедритский скажет грубость хоть одному словеснику, встанем всем отделением и торжественно, мимо самого Щедритского, выйдем из аудитории». Решение было принято, но Щедритский, быть может узнав о нем, не подал нам повода исполнить наше намерение.

Во время наше каждый месяц, в субботу кажется, заставляли студентов всходить на кафедру и читать что-то вроде лекции. Дело это не пошло, и на этом не настаивали. Кажется, произошло такое учреждение после чтения лекций при министре, чтения крайне неудачного. Зная, что будет такое чтение, Ив. Ив. Давыдов заранее взял свои меры и сказал некоторым студентам приготовиться, в том числе и мне. Впрочем, на меня, кажется, он мало надеялся. В назначенный день явился министр в сопровождении многочисленных посетителей. Вызван Толмачев, взошел на кафедру и сильно срезался. За ним вышел Соловьев, врал немилосердно, только и слышалось: *нуменон, феноменон*. Уваров пустился с ним в рассуждение и, когда Соловьев окончил свое вранье, сказал, что, по крайней мере, Соловьев говорил свое; а тот, подходя к нам, выговорил только: «Посмотрите-ко, как я вспотел». После двух таких неудач очередь дошла до меня; я должен был читать о лирической поэзии. Сконфузившись сильно, я не вдруг заговорил; да надо было и сообразить сперва, что говорить, ибо я не ожидал, что буду читать лекцию. Уваров сказал: «Вы конфузитесь, я отодвинусь в сторону». Я наконец заговорил. Уваров приписал это тому, что он отодвинулся. Кой-как я продолжал жалкую лекцию, говорил о Державине, о том, что он не чуждался простонародных слов, и привел стихи:

Ретивый конь, осанку горду
Храня, к тебе порой идет;
Крутую гриву, жарку морду
Подняв, храпит, ушами прядет.

«Где же тут простонародное слово?» – спросил меня Уваров. «Морда», – отвечал я ему. Он был очень доволен. Лекция окончилась; других чтений, сколько помню, не было. Студенты говорили, что я еще хорошо прочел; но я знал, что весьма плохо.

В 1835 году праздновали день основания университета, ровно 20 лет тому назад. Мне было семнадцать лет. Однажды Давыдов, после или прежде своей лекции, объявил мне, что профессора просят меня написать стихи на этот день; Давыдов, говоря это, обнимал меня как-то сбоку, называл: «товарищ». Я согласился охотно и здесь должен повиниться в том, что и теперь лежит на моей совести. В извинение себе скажу, что я тогда еще многого не успел себе определить. Я знал, что надобно придумать официальное окончание, и, чтоб облегчить себе эту необходимость, я окончил свои стихи стихами Мерзлякова, в которых собственно лести нет, но которые имеют казенный отпечаток. <...>

Пришло 12 января 1835 года. Круглая зала в боковом правом строении старого университета была уставлена креслами и стульями; кафедра стояла у стены. Зала наполнилась университетскими властями, профессорами и посетителями; во глубине ее толпились студенты. Кубарев читал латинскую речь, конфузясь и робея так, что шпага его тряслась. Наконец он кончил; я взошел на кафедру. Вначале я смутился и читал невнятно. Наконец смущение прошло, я громко читал свои стихи и, обратаясь к своим товарищам, прочел с одушевлением:

<...>

Я видел, как на них подействовало чтение. Только я окончил стихи – раздались дружные рукоплескания профессоров, посетителей и студентов. Но рукоплескания эти напомнили мне рукоплескания на лекции Геринга, на первом курсе, и я со смущением слушал. Товарищи мои, впрочем, были в самом деле очень довольны.

На третьем курсе, незадолго до экзаменов, решились мы, я, Сазонов и Дм. Топорнин, кажется, брать уроки греческого языка у Ивашковского. С нашей стороны это было *captatio benevolentiae* <заискивание. – лат.>; я греческий язык на втором и третьем курсе почти позабыл, другие двое были тоже плохие эллинисты. Мы приезжали к нему по вечерам брать уроки. Ивашковский был самый плохой преподаватель, особенно как профессор, но был человек ученый и греческий язык знал отлично. На этих уроках увидел я, что можно бы много было воспользоваться знаниями и замечаниями Ивашковского. Я помню одно его замечание

о Гомере, чрезвычайно верное и которое, не знаю, сделал ли кто другой. «Заметьте, – говорил Ивашковский, – что Гомер никакого явления в природе не изображает без присутствия человека, без свидетеля этого явления; древнее созерцание допустить этого не может, по самой полноте своей. Гомер говорит: *раздался гром, задрожала земля, – и пастырь слышит и скрывается*». Замечание чрезвычайно верное и кидающее свет на созерцание древнего мира; разумеется, высказано оно было неловко и впересыпку с «будет», но это не помешало мне оценить всю верность мысли и отдать ей справедливость.

Когда мы перешли на третий курс, на первый курс вступило много молодых людей из так называемых аристократических домов; они принесли с собой всю пошлость, всю наружную благовидность и все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость. Аристократики сшили себе щегольские мундирчики и очень ими были довольны, тогда как студенты доселе старались как можно реже надевать свое форменное платье. Аристократики пошли навстречу требованиям начальства. От нас не требовали форменных шинелей, и мы носили партикулярные; новые студенты сшили себе сейчас форменные шинели; начальство это утвердило и стало требовать форменных шинелей. Мы являлись только в публичных местах в форме, во всех других местах, даже на больших балах и на улице, мы носили партикулярное платье; аристократики появились в своих щегольских мундирчиках всюду; начальство было довольно и стало требовать постоянного ношения формы. Мы продолжали ходить по-прежнему, и я знаю, что нас уже не хотели трогать, а ждали, пока мы выйдем из университета. Сурово смотрели старые студенты на этих новых поклонников форменности, предвидели беду и держали себя с ними гордо и далеко. Вся эта молодая щегольская ватага наполняла нашу словесную аудиторию во время лекций Надеждина, которому поручено было на третьем курсе читать логику, назначенную предметом и для первого курса. Мы не пускали к себе на лавки этих модников, от которых веяло бездушием и пустотою их среды. Прежде русский язык был единственным языком студентским; тут раздался в аудитории язык французский. Недаром было наше враждебное чувство;

пошлая форменность, утонченная внешность завладели университетом и принесли свои гнилые плоды.

Перед самым нашим выходом из университета Надеждин оставил профессорство, и мы: я, Сазонов, Толмачев, Дм. Топорнин, – поднесли ему кубок. Мы явились на сей раз в полной форме, желая придать делу торжественность.

Между тем приблизились выпускные экзамены. Они сошли благополучно. На экзамене Давыдова, бывшем к вечеру, я, отвечав, должен был написать тут же нечто вроде сочинения; я написал и подал. Голохвастов принялся читать и потом подозвал меня. «Аксаков, как это вы написали *нынче*? Разве это можно?» – спросил он. «Отчего же нет, – отвечал я, – слово – вполне русское». – «Но этого нельзя писать». – «Да отчего же? ведь мы говорим это слово». Голохвастов обратился к Давыдову, который отвечал уклончиво, спрося меня: «Разве вы слышали с кафедры такое слово?» – «Не помню, – отвечал я, – но слово тем не менее законно». – «Как вы думаете, Иван Иванович, – сказал Голохвастов, – ведь это показывает упадок языка?» – Спор продолжался; и я, желая прекратить его и идти домой, сказал: «Ну, хорошо, я вам уступаю это слово». Сказавши это, я пошел от них. «*Le est bien bon, il nous cède*» <Он очень добр, он уступает нам. – *фр.*>, – сказал мне вслед Голохвастов.

Наконец экзамены окончились, и я вышел кандидатом.

На одной из лекций перед выпуском нашим увидали мы в числе слушателей, на лавке, в стороне, – генерала. Это был граф Строганов. Он был предвозвестником нового порядка, который вскоре после нашего выхода и завелся в университете. Хотя эпоха строгановская была эпоха очень, по-видимому, либеральная, но тем не менее внешность, а еще более аристократичность принесли свое зло.

Скажу в заключение. В наше время профессорское слово было часто бедно, но студентская жизнь и умственная деятельность, неразрывно с ней связанная, не были подавлены форменностью и приносили добрые плоды. В последующее время со стороны профессоров слово, быть может, стало вообще учение и умнее, но зато студентская жизнь и весь университет подчинились влиянию форменности. Студенты скоро на-

чали увлекаться прелестью светской пустоты и приличными манерами. Внешность, несмотря на всевозможное свое изящество, или лучше – тем сильнее, проникает в живую душу и оцепеняет внутреннюю и всю духовную, единственно нужную сторону человека.

Сила внешности растет, и надо ожидать, что университет обратится скоро в корпус, а студенты – в кадетов.

12 января 1855 г.

Слава Богу! Это ожидание не сбылось. Просвещение теперь уважается, и ему дается ход.

В. С. Аксакова
Дневник

1854 год

<...>

19 ноября. Утро мы провели в разговорах, в чтении журнала одного камер-юнкера Чарыкова из Севастополя; очень просто написано и с несомненной печатью правды.

Воротились с почты, привезли два письма от тетеньки Надежды Тимофеевны с вложением копии письма Николая Карташевского из Севастополя. Они ждут с нетерпением генерального сражения: всем надоела постоянная бомбардировка. Неприятель укрепляет себя с фланга.

Константин с Иваном постоянно разговаривают. Константин так добр, что, кажется, все забыл; но как бы из этого не вышло вредного недоразумения, которое кончится все-таки неприятностями. Их разговоры касаются более общих вопросов, особенно, разумеется, настоящего положения дел в России. Все согласны, что кризис внутренний неизбежен, но как и когда он будет, никто не может решить. Он не зависит от отдельных лиц или даже отдельных сословий: только сам народ может его произвести, а что может пробудить народ от такого долгого усыпления, конечно, никто не знает. Константин сам думает, что только страшные бедствия

в состоянии подвигнуть народ и вызвать его спящие силы; и, кажется, Божьи судьбы ведут нас к тому. Само правительство слепо старается об этом, но страшно подумать об этом грядущем времени. Через что должны пройти люди! Что-то будет! <...>

20 ноября. <...> Маменька и сестры поехали к Троице, погода прекрасная, и дорога также. После обеда много говорили. Константин добродушно все рассказывает, забывая даже, какое впечатление производят его рассказы на его слушателя. Иван говорил о том, что он по своим делам службы часто сталкивается с людьми разных образований или вовсе без образования, находящихся на гораздо низшей ступени всякого развития; что именно этих людей надобно спасать от тьмы, их постепенно поглощающей; часто они сами тоскуют и не знают, как спастись. Упрекал слегка нас, особенно Константина, что он слишком исключителен и готов осудить человека, если он хвалит Петербург и т. д. Я ему несколько возражала: что касается до нас, это несправедливо. Потом мы читали критику на «Опыт биографии Гоголя». <...>

Вторник, 21 декабря. На прошедшей неделе не было ничего замечательного.

После отъезда Кулиша и Ивана мы, т. е. сестры, принялись за работу для церкви в дальнюю деревню и только в неделю окончили ее. Отесенька и Константин занялись своими занятиями, а маменька говела. По вечерам чтения наши были вовсе не занимательные. Журналы невыносимо пошлы и скучны; повести в них до крайности дрянны; а журналистику решительно нет сил слушать, до того все глупо, пошло, придирки их друг к другу подлы до отвращения. Особенно мы были избалованы неделю перед этим таким глубоко занимательным для нас чтением, как записки о Гоголе, его письма и т. д. При такой бедности чтения мы вздумали перечесть «Ульяну Терентьевну» Кулиша, и она опять произвела на нас тоже неприятное впечатление, а в Константине, который читал в первый раз, даже отвращение. Станный этот человек Кулиш, что за путаница у него в голове разнородных понятий, а в душе разнородных стремлений! Мне кажется,

это плоды смешения страстного малороссийского характера с влиянием польской жизни и, главное, Ж. Ж. Руссо, про которого он сам сказал, что это был его лучший друг в заточении. Он даже огорчился, что мы напали на безнравственность Руссо, и пробовал его защищать. <...>

В воскресенье (19 декабря) удивлены мы были неожиданным манифестом в газетах. Все, особенно отесенька и Константин, прочли его с радостным волнением; они уже радовались тому, что события, как кажется, против воли ведут наше правительство к совершению нашего долга, что от постыдного мира избавят нас сами наши враги, что события сильнее человеческой воли и т. д. Но между тем нельзя еще наверное сказать, чего предвестником этот манифест – мира или войны. <...>

Вчера маменька приобщалась у Троицы и воротилась к обеду. После же обеда поехал Константин в Москву; он написал письмо к князю Оболенскому по поводу манифеста и еще статейку в «Journal de Francfort» по-французски, вряд ли она может быть напечатана. <...>

1855 год

<...>

6 января. Были у обедни, но, к сожалению, опоздали и не слышали «Елицы во Христа крестистесь». После обедни ходили в келью смотреть на Иордан. В одной из келий были со мной две монахини, обе ходившие в Иерусалим; мы разговорились о войне, я объяснила им, что мы отдаем православных под покровительство католиков; они обе понимают как нельзя лучше, что католики хуже турок для православных, и пришли в крайнее удивление и сердечное огорчение при таком известии; одна из них начала молиться, чтобы Господь вразумил Государя, чтобы укрепил Православную Церковь. В этот день получила я письмо от Машеньки; она пишет, что мы принимаем даже истолкования 4 условий, только враги наши будто бы согласились выключить требование об уничтожении Севастополя и флота, но я этому не верю; враги наши не уступят нам этого пункта, а разве только согласились не делать его явным. В 11 часов утра приехал Иван, а за ним должен был вслед явиться Самарин; между

тем Константин уехал к Троице, чтобы побывать у Гилярова и Брызгалова. Иван привез подтверждение известия о мире и много разных вестей, и политических, и частных. Говорят, уже Государь и двор повеселели от надежды на мир. А что за мир – позор и грех! Погодин, говорят, написал очень хорошую автобиографию и упомянул в ней об нас, т. е. об отесеньке в особенности, о братьях и о нашем доме. Хомяков слышал и очень хвалит, но нас это немного смутило. Погодин с самым лучшим намерением мог написать весьма неловко и неприлично, по крайней мере, сделать нас смешными.

К нам собираются много гостей и даже таких, которые никогда не бывали у нас. Видно, мало занимательного в Москве. Самарин приехал часа в три, Константин вслед за ним, пошли тотчас разговоры. Самарин был очень прост, дружелюбен. После обеда читал свой проект об крепостном праве! Это еще не кончено, но написано очень умно, местами прекрасно выражено, но применения к делу кажутся вовсе неудобноисполнимыми. Это самый затруднительный вопрос, и вряд ли можно его разрешить на бумаге, но необходимо приготовить к этому неизбежному перевороту, а главное, убедить помещиков добровольно на него согласиться. В настоящую минуту это самый главный и важный вопрос. Теперь ясно становится, что покуда народ не получит глаз и ушей, чтоб понимать, что около него и с ним делается, то никакого возрождения Россия ждать не может, а уши и глаза откроются только тогда, когда будет он освобожден от рабства, парализующего его способности, его жизнь и участие. Но Самарин думает его распространять, но это не может пройти даром. Негодование благородного русского дворянства изыщет все средства, чтобы повредить ему. Не дай Бог! После чтения много говорили и толковали.

8 января. Целый день Константин читал Самарину отесенькины записки. Самарин просил убедительно прочесть все, что только было написано без него. Самарин был в совершенном восхищении, особенно от женитьбы Тимофея Степановича. Он сделал очень верное замечание. «Сергей Тимофеевич, – сказал он, – представляя человека, передавая все его впечатления, его сердце, не идет путем разложения и анализа, но сохраняет его в

целости, передает его в полноте, как оно есть, а между тем вы видите все подробности, и от этого такая свежесть, цельность, жизнь во всем». Это правда, и совершенно противоположное встречаем мы во всех писателях нашего времени; между ними есть и весьма замечательные и даровитые люди, но все они принадлежат к одному разбору, все аналитики, дагеротиписты, лишаящие свой предмет, прежде всего, жизни и души.

После обеда, во время чтения «Гимназии», приехал Мамонов. <...> Продолжали читать «Гимназию» и после чаю. Много говорили, толковали, спорили даже и наконец простились с Самариным. Они ушли все наверх, а Самарин уехал не прежде третьего часу. Самарин – человек чрезвычайно умный и высоких достоинств. Жаль, что он слишком занялся теперь хозяйством и начинает отставать от другого рода занятий и окончательно терять доверие к своим способностям, а он мог бы сделать много полезного в умственном мире. <...>

12 января. Мамонов пробыл у нас три дня и вчера вечером уехал с Константином в Москву. Константин устроил у Самарина празднование юбилея университета по-своему. На публичное празднование они не пойдут: без мундиров не пускают. Они условились собраться несколькими прежним студентам разных курсов и написать каждому о времени своего студентства и прочесть на этом вечере. Константин написал довольно пространное и очень интересное. Мамонова тоже подстрекнули; в первый день он прочел нам описание, коротенькое и не дающее никакого понятия о времени. Ему все это заметили и посоветовали пополнить, что он и исполнил довольно удачно, и, кажется, сам остался очень доволен своей деятельностью. Они с Константином работали не переставая целый день, так что даже он сказал, что он написал бы, если б и не был у нас. <...>

14 января. <...> По поводу юбилея приготовлены и еще готовится много ученых трудов. Говорят, все должны быть в мундирах на этом торжестве, и потому многие, а в том числе и Константин, не будут участвовать в нем, а хотели сами его праздновать особо, частным образом. <...>

16 января, воскресенье. Поутру получили мы «Московские ведомости» и 2 номера «Journal de Francfort»... известий политических особенно никаких, переговоры о мире не подвинулись, и все скорее сомневаются в достижении мира. «Московские ведомости» интересны более описанием юбилея, напечатаны речи и адреса. Слово митрополита, говоренное в университетской церкви, замечательно его особенным красноречием, места некоторые удивительно хороши и по глубине мысли, и по красоте и силе изложения. Все адреса от всех университетов и учебных заведений очень просты и хороши, кроме нескольких, весьма немногих, казенных мест в некоторых из них; во всех отозвалось живое, искреннее сочувствие со всех концов России. Только речь Шевырева невыносимо скучна, пошла и исполнена таких беспрестанных поклонений властям, что невыносимо слушать. В лице его не отличился Московский университет. Можно ли уметь так опошлить всякую мысль и предмет, из всего сделать шутовство! Что за цветистая речь! Мы ее еще не кончили, как приехал из Москвы Константин, слава Богу, совершенно довольный своей поездкой. Собственно на акте ни он, ни Самарин не были, отчасти потому, что думали, что без мундиров не будут пускать, отчасти потому, что им как-то не захотелось участвовать на торжестве, в которое вмешалось правительство. Слухи ходили и подтвердились, что вводят батальонное участие в университетах, дают каски и т. д. Но, несмотря на казенное вмешательство, это торжество не потеряло своего собственного значения и встретило везде искреннее сочувствие. Все университеты и все училища прислали своих депутатов с адресами (кроме Дерптского, который прислал только адрес). От всех концов съехалось множество всяких лиц, старых студентов и профессоров для празднования этого дня, и торжество, говорят, удалось как нельзя лучше, потому что было искренно. И Константин, и Самарин очень жалели, что увлеклись каким-то оппозиционным духом, тем более что они могли успеть побывать и на акте и воротиться вовремя на свой юбилей, в дом Самарина. Их домашний юбилей удался тоже прекрасно. Хомяков был приглашен как гость. Все, кроме Елагиных, приготовили описания своей университетской жизни. Константин заставил Самарина написать в тот же день, и хотя он

не успел окончить, но вышло и умно, и живо, и хорошо написано. Князь Черкасский, Стахович также написали; у всякого вышло в своем роде, и все было интересно, живо, так просто и искренно, что все были вполне довольны и как будто помолодели. Погодин приехал среди чтения, и хотя в некоторых описаниях касалось и до него и в числе отзывов были ему и не очень лестные (впрочем, касающиеся более его слога, неумения писать), но он принял все как нельзя лучше, умилялся и улыбался от удовольствия; в заключение он прочел речь «о Ломоносове», которую не успел прочесть в университете. Все были довольны, во всех пробудилось какое-то одушевление, все почувствовали какую-то связь между собой. Из посторонних были: Иван Сергеевич Тургенев и еще человека три. Тургенев – человек, вовсе не принадлежащий к этому кругу, но очень желает примкнуть к нему, потому что отстает от противоположного круга. За ужином предложили тосты за университет и за Москву, заставили Константина прочесть стихи его «Свободное слово», потом стихи Ломоносова и так разошлись, все очень довольные.

На другой день получаю приглашение на обед университетский, Константин и Самарин решились ехать. Обед был великолепный, обедало 500 человек. Жаль, что американский посол, приехавший нарочно на юбилей и присутствовавший накануне на акте, простудился и не мог быть на обеде. На этом обеде Константин встретил много старых знакомых, которые все ему чрезвычайно обрадовались, обнимались и целовались, по славянскому обычаю. В том числе Милютин, теперь уже генерал, а 23 года тому назад молодой 17-летний мальчик, принимавший участие в литературном обществе, заведенном тогда Константином. Он вспомнил об этом и сказал, что хранит протоколы этого общества. На другой день Константин, заехавши к Грановскому (который сделал ему перед этим упрек, что он никогда его не видит), согласился у него отобедать, тем более что Милютин должен был там же обедать; но вместо одного Милютина Константин нашел там весь Запад, и не только московский, но и петербургский; так, например, издатели журналов петербургских и т. д. Обед этот и все общество оставило крайне неприятное впечатление на Константина; он очень жалел, что на него попал. Между

тем в этот день давался обед студентам, и в том числе некоторые профессора и министры присутствовали на нем. Обед, т. е. одушевление, речи, восторг, был необыкновенный; Шевырев, по словам даже его недругов, говорил превосходно. Норов увлекся, выразил искренно свою любовь к университету и студентам, те хотели его даже качать, но он уклонился. Норов целовался, говорят, со студентами. Говорят, была минута, когда многие перекрестились. Что это такое было, трудно понять, но, по свидетельству людей беспристрастных, это было все искренно и просто. В день юбилея Самарин, Константин и множество студентов и профессоров ездили расписаться к Строганову, бывшему попечителю университета, хотя направления западного, но не унижавшему университета, который был почти вынужден правительством оставить эту должность. Строганова не было в Москве, и все это знали, но все хотели, по крайней мере, заявить ему свое одобрение: около дома его была толпа, это была маленькая демонстрация. Впрочем, конечно, Константин не может быть лично благодарен Строганову, который постоянно преследовал его и даже, как уверяют люди знающие, писал на него донос; все проделки с диссертацией Константина были – его дело. Много видел Константин знакомых, и многие сказали ему, что собираются к нам. Константин предложил дать обед американскому послу; эта мысль понравилась, но вскоре увидели, что она неудобноисполнима: начальство или бы запретило, или бы само вмешалось, чего, конечно, никто не желал. У князя Юрия Оболенского Константин читал по просьбе его записку о своем студенчестве и стихи свои. Там он видел очень хорошенькую девушку, племянницу Оболенского, Евреינוву. С Катериной Алекс. Черкасской у Константина был весьма важный и сильный разговор по поводу некоторых выраженных его нравственных взглядов, например о необходимости руководителя для женщины и т. д. Константин услышал и узнал в этом то безнравственное начало, которое давно уже нас возмущает и по поводу которого он написал прекрасные стихи *Лже-дух*. Это именно утонченная безнравственность нашего времени, которая умела проникнуть во все святые чувства и мысль человека, и как сильно это зло, как незаметно оно вкрадывается под личиной всего прекрасного!

По предложению Константина у Хомякова устроился филологический вечер, который состоял из четырех филологов: Хомякова, Константина, Гильфердинга и Коссовича. Они вдоволь и всласть наговорились о филологии и даже безжалостно продолжали свои разговоры при посторонних посетителях. Чаадаев неожиданно попал на это заседание, посидел, не выдержал и ушел. Позднее собрались туда Самарин и другие и уже поздно разъехались.

25 января, вторник. Опять давно не писала; несколько дней провели мы так шумно, что только теперь отдохнули. Через пять дней после возвращения Константина из Москвы приехал перед обедом Тургенев со Щепкиным <...> Мы поехали с Любинькой кататься в деревню; возвращаемся, кучер нам говорит: «Еще приехали гости», – смотрим: от крыльца отъезжает кибитка! Это был Хомяков с Гильфердингами, отцом и сыном. Этих людей я непременно желала видеть и потому вышла в гостиную. Как ни рады мы были все Хомякову и Гильфердингам, но очень жалели, что они съехались вместе с Тургеневым, человеком совершенно противоположным по всем убеждениям. Гильфердинг-отец приехал первый раз к нам; человек весьма почтенный и летами, и достоинствами, с живым участием ко всему, и очень радушный, с учтивостью и приветливостью прежнего времени; он всем очень понравился, хотя и многие его понятия устарели, и он, служа в Министерстве иностранных дел, не позволяет себе резко выражаться о нем, хотя и не защищает его действия. Он, конечно, крайне некрасив лицом, но это безобразие вовсе не противно. Через несколько часов он был у нас, как будто давно знакомый.

Тургенев – огромного роста, с высокими плечами, огромной головой, чертами чрезвычайно крупными, волосы почти седые, хотя ему еще только 35 лет. Вероятно, многие его находят даже красивым, но выражение лица его, особенно глаз, бывает иногда так противно, что с удовольствием можно остановиться на лице отца Гильфердинга. Тургенев мне решительно не понравился, сделал на меня неприятное впечатление. Я с вниманием всматривалась в него и прислушивалась к его словам, и вот что могу сказать. Это человек, кроме того, что не имеющий понятия ни

о какой вере, кроме того, что проводил всю жизнь безнравственно и которого понятия загрязнились от такой жизни, это – человек, способный только испытывать физические ощущения; все его впечатления проходят через нервы, духовной стороны предмета он не в состоянии ни понять, ни почувствовать. Духовной, я не говорю в смысле веры, но человек, даже неверующий или магометанин, способен оторваться на время от земных и материальных впечатлений, иной в области мысли, другой под впечатлением изящной красоты в искусстве. Но у Тургенева мысль есть плод его чисто земных ощущений, а о поэзии он сам выразился, что стихи производят на него физическое впечатление, и он, кажется, потому судит, хороши ли они или нет; и когда он их читает с особенным жаром и одушевлением, этот жар именно передает какое-то внутреннее физическое раздражение, и красоты чистой поэзии уже нечисты выходят из его уст. У него есть какие-то стремления к чему-то более деликатному, к какой-то душевности, но не духовному; он весь – человек впечатлений, ощущений, человек, в котором нет даже языческой силы и возвышенности души, какая-то дряблость душевная, как и телесная, несмотря на его огромную фигуру. А Константин начинал думать, что Тургенев сближается с ним, сходится с его взглядами и что совершенно может отказаться от своего прежнего, но я считаю это решительно невозможным. Хомяков сказал справедливо, что это все равно что думать, что рыба может жить без воды. Точно, это – его стихия, и только Бог один может совершить противоестественное чудо, которое победит и стихию, но, конечно, не человек. Константин сам, кажется, в этом убеждается и на прощанье пришел в сильное негодование от слов Тургенева, который сказал, что Белинской и его письмо – это вся его религия и т. д. Я уже не говорю о его ошибочных мыслях и безнравственных взглядах, о его гастрономических вкусах в жизни, как справедливо Константин назвал его отношение к жизни, а я говорю только о тех внутренних свойствах души его, о запасе, лежащем на дне всего его внутреннего существа, приобретенном, конечно, такой искаженной и безобразной жизнью и направлением, но сделавшемся уже его второй природой. При таком состоянии, мне кажется, если Бог не сделает над ним чуда и если он не сокрушит сам всего

себя, все его стремления и приближения к тому, что он называет добром, только еще более его запутают, и он тогда совершенно оправдает стихи Константина. «Дай Бог, чтоб всем нам прийти к истинному Свету».

И возле этого человека – Хомяков, человек по преимуществу исключительно духовный, не в смысле только его возвышенной, разумной, истинной веры, согретой самым искренним душевным убеждением, не только в смысле его строгой нравственности, но по свойству его натуры, трезвый во всех своих впечатлениях и проявлениях. Необыкновенный человек!

Гильфердинг молодой, ученый всей душой, но, несмотря на свою изумительную ученую деятельность, несмотря на исключительность своего направления, он не только человек не односторонний, не сухой, но, напротив, принимающий самое живое участие во всех современных вопросах, исполненный самого радушного и безразличного сочувствия ко всем людям; он интересуется жизнью каждого человека, с которым встречается, его занятиями, его впечатлениями, и если только может чем-нибудь со своей стороны быть полезным, удовлетворить каким-нибудь добрым желаниям и потребностям людей, особенно которых уважает, он сейчас же предлагает свои услуги, и от него приятно их принимать. Мы его все очень любим за его общительный характер и давно уже дружески с ним знакомы; он и прежде провел у нас в два раза неделю. Щепкин очень глух, и жалко его видеть в обществе не принимающим участия в разговорах.

Обед прошел живо, и хотя мы не ждали гостей, а достало на всех. Тургенев заранее уже завладел стулом возле отесеньки; трудно даже поверить, что он привязывает к такому пустяку какое-нибудь значение. После обеда, когда вошли мы в гостиную, нас было так много, как будто на рауте в Москве. Начались разные толки и разговоры, иногда общие, иногда частные. Хомяков было думал читать нам свою новую французскую статью о значении Православия, католицизма (или, как называет Хомяков, романизма) и протестантизма, но так как тут были бы слушатели, вовсе неспособные понять ее, и так как отесеньке трудно было бы слушать скорое чтение Хомякова по-французски, то чтение не состоялось, и мы, т. е. сестры и Гильфердинг молодой, попросили у Хомякова позволения прочесть ее особо.

После чая мы сели особо в залу за стол; Гильфердингу надобно было сверять свою копию с этой статьи, и мы начали читать, то Гильфердинг, то я, вслух. Статья эта необыкновенна; светлый христианский разум, освещающий, как день, все богословские вопросы веры, самая глубокая душевная вера, живящая все разумные доводы и служащая основой и источником всех его взглядов на весь мир, все, что поражает так сильно и заставляет читателя испытать самое высокое наслаждение. Только в некоторых местах вопросы чисто специально богословские для меня не вполне доступны. Мы восхищались каждым словом, каждое слово так полно, так точно, так обдуманно, что удивляешься, каким образом французский язык мог выразить такие глубокие мысли. Мы прочли только половину, в гостиной шумели и говорили, и мы решились оставить чтение до другого дня.

В гостиной шли разговоры о России и русском человеке между Константином, Хомяковым и Тургеневым. Разумеется, с Константином никто вполне не соглашается в его мнении о русском человеке, т. е. крестьянине; вследствие того выходило, что Тургенев с Хомяковым как будто были одного мнения. Константин это и заметил Хомякову, но Хомяков поспешил, даже вопреки учтивости, отречься от того, говоря, что он не одного мнения с Тургеневым и что если б они разговорились далее, то разошлись бы совершенно во взглядах и т. п. Тургенев понял это и сказал: «Константин Сергеевич, в самом деле, хитер; он знал, что его слова помогут ему», или что-то в этом роде. Говорят, Тургенев говорил очень умно. Разошлись, я думаю, около часу. <...>

После завтрака, по просьбе всех гостей, Константин читал отесенькины сочинения, именно хронику: «Женитьбу дедушки и бабушки». Они были, разумеется, в восхищении, особенно Хомяков и Гильфердинг-отец. Тургенев хотя и восхищался, но сделал несколько замечаний. Оболенские уже слышали это самое сочинение и говорят, что в другой раз слушали еще с большим наслаждением. <...> Перед обедом все почти пошли отдохнуть наверх, а Константин с Гильфердингом-сыном воспользовались этим временем, чтобы наговориться о филологии. <...>

Вечер прошел в разнородных разговорах – и общих, и частных – и толках. Я успела прочесть всю статью Хомякова; Хомяков, поужинав

и закулив трубку, расположился, кажется, долго сидеть по своему обыкновению, но в гостиную должны были лечь Рюриковичи, которые всю ночь почти не спали и нуждались в отдыхе. Мы стали прощаться: так как Хомяков и Гильфердинг уезжали рано утром, то я и простилась с ними заранее. Прощаясь с Хомяковым, я сказала, какое наслаждение доставила мне его статья. Хомяков принимает всякое сочувствие и одобрение, даже хоть от малого ребенка, с удовольствием и благодарностью и благодарил меня искренно. В то время как я ему говорила, мы услышали слова Тургенева, обращенные к маменьке: «Даю вам слово, что в будущее воскресенье пойду в церковь».

Мы переглянулись, я спросила Хомякова: «Какое, вы думаете, произвела бы ваша статья впечатление на Тургенева?»

— Ровно никакого, — сказал он, — т. е. он бы сказал: да, это умно, очень хорошо, и больше ничего, и следа бы не осталось.

— Да, — отвечала я, — он, кажется, вовсе не способен ничего понять духовного; однако же есть какие-то стремления, но это не к духовному, а к душевности какой-то. Он все понимает только впечатлениями, чисто даже физическими.

— Да, это правда, — сказал Хомяков, — стихи Константина Сергеевича, которые он мне читал, сильно написаны на него.

Потом мы поговорили о том, как удивительно, что Vinet, разрушая католицизм и протестантизм и чувствуя потребность чего-то другого, какого-то нового жизненного начала в Церкви, не только не подозревает, что оно может находиться в Православии, но даже не указывает на него, даже не упоминает о нем, как будто его не бывало, а между тем сколько десятков миллионов исповедуют его, и человек ученый, изучивши, конечно, все древнее и новейшее, не знает и не обращает внимания на то, что совершается недалеко от них в виду всех. Удивительно! Даже не находя исхода и утешения на Западе и не видя залогов возрождения в будущем, он указывает на отдаленный несчастный народ и думает в его смирении и детской любви к Богу и детских понятиях найти в будущем обновление жизни веры. Бичер-Стоу, замечательная американская писательница, превосходным, особенно полезным романом своим «Uncle Tom» («Хижина

дяди Тома») также думает, что из этого народа возникнет истина веры. Хомяков сказал, что ему обидно и больно, что он не знал о Vinet при жизни его, что он, конечно бы, сошелся с ним во взгляде. Конечно, Vinet, сколько мог, понял и предчувствовал Православие в возможности. Хомяков обещал нам прислать как можно скорее список статьи; черновую же не может дать потому, что она очень перемарана. Он говорит: «Я сидел за каждым словом подолгу для того, чтоб мои враги – не столько иностранцы, сколько здешние, особенно духовного звания и направления, – не могли придрать-ся ни к одному слову». – Прочтя статью его, чувствуешь силу Православия и силу русского ума. Ни то ни другое не может сокрушиться.

На другой день еще я не вставала, когда уехали Хомяков и Гильфердинги – отец с сыном к Троице, а оттуда в Москву, и в то же время Тургенев с Щепкиным прямо в Москву. Перед отъездом Тургенев высказал некоторые свои мысли, которые привели в негодование Константина, и он сильно выразил его. Тургенев, прощаясь с маменькой, сказал: «Вы, по крайней мере, не отчаиваетесь во мне, как ваш сын» – и повторил обещание быть у обедни в будущее воскресенье. <...>

Сегодня, т. е. 25 января, получил Иван письмо от князя Юр. Оболенского с уведомлением, что брат его Дмитрий зовет Ивана в Петербург, чтоб переговорить о месте в Астрахани. Иван решился ехать, хотя, по его словам, вряд ли можно ожидать, что он возьмет на себя это место. Константин также собирался в Москву, и потому они поедут вместе. <...>

29 января. Константин воротился из Москвы, Иван уехал в Петербург накануне. Константин особенных известий не привез. Видел своих знакомых. Мира, говорят, не будет, и даже, говорят, Государь не доволен, что дворянство мало выказало рвения к войне; но какое же может быть рвение, когда в том же манифесте говорится и о мире; впрочем, и дворянство хорошо глупо, подло, своекорыстно и невежественно. В отсутствие Константина получил отесенька письмо от Кулиша, уже из деревни. <...>

Сегодня, т. е. 6 февраля, с почтой получены московские газеты и иностранный журнал. Нового ничего. Мы знали и прежде, что Пальмер-

стон составил уже министерство, итак – война. Пруссия, верно, также скоро соединится с нашими врагами, а за ней и все другие державы. Франция выставит 100-тысячное войско на границы Польши, и если мы еще будем медлить, то, конечно, нам придется очень плохо; но в этом, конечно, мы сами будем виноваты. Константин написал еще письмо к кн. Д. Оболенскому и послал с Иваном. Константин в нем советует, как необходимое, единственное средство к нашей собственной обороне, перейти Дунай, взять Константинополь и поднять славян. Письмо написано убедительно, ясно и толково, но вряд ли можно ожидать какой-нибудь пользы от каких бы то ни было писем у нас, да и до государя не доходит ничего. <...>

11 февраля, суббота. Вот и первая неделя поста к концу. Мы провели все это время довольно тихо, ездили в церковь к мефимонам. На второй день был священник с постной молитвой. В среду сестры, несмотря на ужасную погоду, ездили к Троице. Беспреданно все кто-нибудь нездоров, отесенька несколько раз чувствовал что-то вроде лихорадки, но тут стало получше, и Константин решился ехать в Москву на чрезвычайное собрание дворян, на которое получили приглашение через станового. Хотя это ополчение не то, что бы оно могло быть, но все же нельзя не принять участие, по крайней мере, в выборе начальников, содействовать выбору Ермолова и т. д. Сестры воротились поздно от Троицы. Уже все разошлись по своим комнатам и легли спать, когда приехал Иван. Мы с маменькой его встретили, напоили чаем и часу до третьего сидели с ним, слушая его рассказы. В Москве ожидают Константина к собранию дворян, все хотят выбрать Ермолова, но утверждают ли его? – вот любопытный вопрос. Нового в Петербурге ничего нет. Государь совершенно стоит один, ни с кем из семьи своей не сообщается и действует против желания даже сыновей своих. Наследник, конечно, не имеет твердых убеждений, но Константин Николаевич совершенно предан русскому направлению. Государь утешается тем, что английская армия погибает, что Непир в речи сказал, что и флот английский также никуда не годится и т. д. Придворные так же, как и семья царская, находясь вне всякого влияния на дела политические и отстраненные Государем от всякого вмешательства,

ищут себе каких-нибудь развлечений в слухах о том, что делается там-то и там-то, особенно в Москве, особенно между людьми замечательными по уму и своему направлению. Разумеется, славянофилы больше всего их интересуют, и они почти все знают, что делается между ними. Уже великая княгиня Елена Павловна знает, что К. Аксаков и Самарин не были на юбилее и т. д., что Иван Сергеевич приехал в Петербург и т. д. Петербург, как Иван говорит, потерял доверие к себе самому, к своей администрации и к силе прежнего порядка и ждет чего-то все из Москвы. «Ну, довольны вы теперь, – говорили ему, – в манифесте упомянуто о Вере и о братьях?» Муравьев М. Н., член Государственного совета, был чрезвычайно любезен с Иваном, жал ему руку и все заговаривал о Москве, но Иван ему все говорил о своем отчете; наконец Муравьев сказал по какому-то поводу о настоящих делах: «Это все идет еще дело *чухонское, петербургское*, от него не будет добра, а вот когда будет дело *русское, московское*, тогда совсем пойдет другое». <...>

16 февраля. Ждали утром братьев, но вместо того получили от Константина письмо с крестьянином. Ермолова выбрали, Константин пишет: чудная была минута. Константина уговорили остаться на сегодня, будут баллотировать предложение послать депутацию к Ермолову, после которой он должен явиться в собрание. Это будет удивительная минута. Боимся, что Константин не останется до конца; хочет приехать сегодня после собрания. Послали ему на подставу лошадей. Избрание Ермолова – важное событие; утвердят ли его в Петербурге?

Вечером в 9 часов приехал Константин прямо к нам за чай; мы его обступили, с нетерпением желая слышать его рассказ. Вот что он нам сообщил.

В пятницу Константин, приехавши в Москву, отправился к Черткову, потом к Трегубову, нашему уездному предводителю. Этот последний, прочитав отесенькино письмо, сказал, что Константин участвовать в собрании не может, т. е. не может иметь шара, потому что не приписан к Московской губернии. Но Константин скоро узнал, что может присутствовать на собрании. В субботу, в 11 часов, приехали они в дом собра-

ния, сперва пошли на хоры, но скоро знакомые созвали их вниз. Собрались дворяне и губернский предводитель. Губернатор Капнист прочел манифест, его прослушали в совершенном молчании, затем губернатор сказал несколько слов об уверенности Государя в усердии дворян и т. д. То же молчание. Тут тотчас Чертков стал приглашать дворян в собор и, таким образом, помешал, может быть на этот случай невинно, исполниться намерению некоторых тотчас после речи губернатора провозгласить Ермолова как губернского начальника ополчения. Все отправились в собор, наконец возвратились оттуда, и тут Чертков, не допуская еще рассуждений, представил дворянам правила выборов, им составленные с явным намерением не допустить, по крайней мере, затруднить выбор Ермолова. Многие это поняли и не согласились с правилами, которые вообще были несправедливы и нелепы. Начался спор: многие предложили Ермолова, некоторые говорили, что его нельзя выбирать, что он служит, – другие, что он не примет. Словом сказать, видны были тайные действия низкой интриги, во главе которой стоял Чертков, да, вероятно, и все власти, не желавшие допустить выбора Ермолова. Много шумели и спорили, призывали для разрешения сомнения прокурора – правоведа Ровинского. Тот очень коротко и ясно разрушал приговором закона все козни интриги. Звенигородский уезд (в котором сильно действовал Самарин) предложил единогласно Ермолова, Дмитровский также. Суббота, воскресенье прошли в этой борьбе. В понедельник появилось в собрании письмо Ермолова, писанное в ответ на приглашение Закревского (генерал-губернатора), впрочем друга Ермолова, отказаться самому от выборов. Сильное и желчное письмо Ермолова хотя смутило несколько малодушных, но не помешало тому, что все уезды написали его первым; кандидатом ему назначили графа Строганова. Один уезд записал еще Черткова, и еще один на случай записал Трубецкого. Выборы были отложены до вторника. Вот письмо Ермолова. На другой день собрались для баллотировки. Константин говорит, что минута была торжественная. Стали разносить шары, и слова «баллотируется Алексей Петрович Ермолов» сильное произвели впечатление на всех. Все толпой обступили стол; баллотировка кончилась; стали считать шары, все в молчании и

в волнении следили за счетом, наконец раздалось: 206 белых, черных 9. Итак, Ермолов выбран! Волнение охватило всех, раздалось в середине утра и разразилось во всем собрании, в галереях и на хорах таким одушевленным криком. Лица просветлели, многие плакали, восторг был общий; вдруг раздался голос (князя Мих. Оболенского): «Господа, у Ермолова черных шаров быть не может, они положены по о ш и б к е». По ошибке, по ошибке! – закричали все. И вслед за этим раздалось в толпе: просить, просить, просить! <...>

В это самое время ходило в собрании письмо к Ермолову Погодина, после выбора. Константин читал его на хорах вслух дамам, которые не менее были в восторженном настроении. Письмо горячее, но есть и ложка дегтю, говорят. Мы его еще не читали. На другой день собралось опять в доме собрание; но Чертков принес письмо Ермолова, где тот, благодаря дворянство за выборы, просит отклонить депутацию. Говорят, он ее ожидал в самый день баллотировки, но не ожидал «ура» и, верно, удовлетворившись этим, остерегся повторения другого изъяснения. После окончания собрания хотели все отправиться к нему расписаться. Константин предлагал адрес, – вряд ли соберутся. Иван остался в Москве; не знаем, что-то там делается. Пошло ли представление о выборах, а главное – вот вопрос, который занимает всех: утвердит ли или нет Государь Ермолова? Выбор Ермолова один оживил значение ополчения, которое само по себе не возбуждает почти вовсе сочувствия: все на него смотрят как на удвоенный рекрутский набор, в который включены и дворяне.

Умели опошлить самые высокие минуты, вынуть душу из всякого живого дела, как говорит Константин. И что за ополчение, когда ведутся переговоры и соглашаются на самые унижительные и преступные уступки, потеряв уже стыд, уже согласились на ограничение или даже уничтожение нашей власти на Черном море! <...>

Воскресенье, 20 февраля. Боже мой, какое страшное неожиданное известие! Мы были поражены, ошеломлены совершенно. Сегодня привезли письма и газеты с почты рано, в то время как мы собирались к обедне. Прочли сперва за чайным столом в зале письмо от Ивана, и в нем

были очень важные известия, Иван сам записался охотником в ополчение, Константин записан между баллотирующимися дворянами, но его выбрать нельзя, потому что он нигде не служил. Ермолов избран также в Петербург, и к нему прислано было об этом уведомление; он, разумеется, благодарил, но отвечал, что уже выбран в Москве. Получено частное известие, что Ермолов будет утвержден; разнесся слух, что он в такой-то день будет в собрании; все дворяне съехались; однако же слух оказался ложным. Иван отказался от избрания в дружинные начальники, и на его место – князь Леонид Голицын. Вот что заключало письмо Ивана. Мы не успели еще потолковать о нем, как отесенька или маменька спросили Константина, но где же другое письмо Ивана? Их было два. Константин смутился, замялся, признался, что точно есть, но что он считает лучше его не показывать. Разумеется, стали к нему приставать, и он сказал, в нем есть одно известие об Николае Павловиче. «Какое Николае Павловиче?» – «О государе, – сказал он, – он очень болен». – «Как, что значит, умирает, может быть, умер, не совсем!» – И Константин не решался вдруг выговорить, наконец показал письмо Ивана. Оно начиналось так: «Государь Николай Павлович умер».

Не могу пересказать то впечатление, которое произвели эти слова на всех нас. Мы были подавлены огромностью значения этого неожиданного события. Следствия его нескончаемы, неисследимы. Никогда не могло оно иметь такого важного значения, как в настоящую минуту. Чего ждать, что будет, как пройдет эта минута смущения? Не пойдет ли все прежним или даже худшим порядком, или вдруг переменится все направление, вся политика? И, может быть, Бог ведет Россию к исполнению ее святого долга непостижимыми своими путями! Да, на Бога вся надежда, Господь не оставит верующих и молящихся Ему, а сколько молятся усердно по всей земле русской! Господь защитит Православие и несчастных мучеников.

В сильном волнении, еще не пришедши в себя от поражения и разнородных впечатлений, столпившихся в душе, поехали мы к обедне. И во время обедни не могли мы освободиться вполне от того смутного волнения, и странно нам было слышать обычные возглашения на ектении. Искреннее

чувство сожаления как о человеке также наполняло нам душу, и мы помолились внутренне об нем. Помолились также, да не оставит Господь всех нас и да совершатся Его святые судьбы во спасение всех, да помилует нас от бедствий! В Хотькове мы почти никому не сообщили вполне этого известия, только одной Каломиной, а та священнику Алексею.

Возвратившись из церкви, мы нашли всех в том же тревожном настроении. Начали было читать газеты, но чтение беспрестанно было прерываемо разговорами все об одном и том же предмете; наконец, все согласились, что Константину необходимо ехать немедленно, и он решился также. Велели закладывать лошадей, и в 4 часа перед обедом он выехал, сопровождаемый благословением отесеньки и маменьки. В самом деле, может быть, теперь единственная минута действовать, новому Государю можно многое высказать, написать адрес с изъявлением общих желаний другой политики или что-нибудь в этом роде. Может быть, надобно съездить будет в Петербург? Словом сказать, необходимо Константину быть в Москве и следить за ходом событий. Как жаль, что мы не в Москве; конечно, интереснее времени не может быть в городе следить ежеминутно за возрастающими или изменяющимися событиями, делить с другими все впечатления!.. Живешь общей жизнью, а здесь, получивши такое известие, мы не скоро узнаем его подробности, не увидим и не разделим общего впечатления; не услышим любопытных и умных толков; только толкуем между собой, делаем разные предположения, перевортываем со всех сторон слова, занесенные к нам из общей жизни, и все-таки ничего не узнаем нового. Грустно и больно, что особенно сестры лишены этого интереса. Да и Константин не может оставаться спокойным и столько, сколько ему надобно бы было [быть] в Москве. А если б мы были все там, он мог бы принимать ежеминутно участие и даже иметь влияние на других.

Чего мы не передумали и не переговорили в этот день! Какие великие всемирные события, которые подавляют даже душу огромностью своего значения, и что будет, к чему ведет нас Бог? Вечером приехал к нам священник с женой, мы сказали им страшную новость, она всех поражает. Не верится ей иногда, признаюсь. Право, иногда кажется, уж не подшутил ли кто-нибудь! Ничего эффектнее выдумать нельзя было

в настоящую минуту, пожалуй еще, это происки иностранцев. Право, я готова поверить, что это выдумка, хотя надо мной смеются. Вечером читали проповеди Иннокентия, прекрасные, полные истинно пастырской христианской заботы к своему словесному стаду. <...>

21 < февраля >. И точно подтвердилось все это событие. Сегодня возвратились из города наши крестьяне, возившие туда продавать свои дрова. Они привезли ту же весть. В Москве вчера уже все присягнули. На вопрос, какие вести в Москве, «Царь помер, — отвечал один из них. — Вчера заогнали весь народ в церковь присягать. Все церкви были отворены, казаки разъезжали по всему городу с объявлением и гнали народ в церкви». — «Что же, народ жалеет?» Крестьянин как-то улыбнулся и сказал: «Не знаю». В народе ходит слух, что Государь был болен ден 20.

Итак, нет сомнения. Сегодня, как будто вновь узнали мы эту новость, вполне ей поверили. Неисчислимые последствия этого события стали развиваться перед нашим воображением, в самых разнообразных образах. Беда, если Александр не соединится заодно в направлении и всех намерениях с Константином. Константин имеет сильную народность; он известен везде как русский человек, как христианин, даже раскольники надеются на него. Между ними ходит слух, что он сказал: «Я бы не стал вас притеснять, пусть всякой молится, как хочет». И к тому же в народе живет мнение, что только тот законный царь, кто родился от царя, а Александр, говорят они, родился от великого князя. Прежде Александр не разделял вовсе направления и мыслей Константина, и между их приверженцами начинал образовываться довольно сильный дух партии, но с недавних пор, из расчета ли или искренно, Александр принял мысли своего брата и вполне разделял его мнения насчет настоящих обстоятельств. Это сказал сам Вел. Кн. Константин Погодину, когда этот последний представлялся ему. «Скажите все это брату, он вполне разделяет мои мысли». Наследник принял очень хорошо Погодина, водил его к жене и пригласил обедать. Просил Погодина прислать ему экземпляр всех его писем. Мы знаем также наверное, что жена его читала письма к Оболенскому брата Константина; говорят, она умная и серьезная

женщина, дай-то Бог! Если Александр хочет приобрести народность и избежать разногласия с Константином, он должен действовать заодно. Иначе чего доброго сравнение может быть невыгодно и даже опасно! Неужели исполнятся предсказания Константина, которые он начал говорить еще лет 15 тому назад; предсказания соперничества между двумя братьями, не дай Бог!

Сегодня, 21 февраля, день памяти дедушки и день памяти Гоголя. Мы ездили с маменькой в Хотьково служить панихиду. Там все уже знали, сегодня были богомольцы из Москвы, которые им сказывали, что видели присягу. Все немного унылы и не знают, чего ждать. Отец Алексей напомнил нам, что так недавно еще смоленские жены чиновников поднесли Государыне через архиерея ее образ Божией Матери Смоленской, прося Государыню благословить им Наследника на брань, так как он назначен начальником северной армии, и притом напоминая 12-й год. Императрица и наследник отвечали и благодарили. В самом деле, как будто этим образом его благословили на царство и будто Матерь Божия приняла его под Свой покров. Священник вполне уповает на защиту Божию.

Возвратились домой часу во втором. Толки о великих событиях, среди которых живем, не перестают. После обеда возвратился староста от Троицы, там сегодня был базар. Народу много, но народ только и говорил об этой неожиданной вести, даже об ополчении не говорит. Староста говорит, что все жалеют: «Народ как будто что потерял, как будто что ищет». «Жалеют государя, и жалеют очень и наследника; каково ему теперь, то есть вдруг полным хозяином, и туда надо и сюда, и такое время!» Про государя говорят, что он помер с печали, удар такой сделался, 10-го числа провожал войска с государыней и с тех пор занемог. Все говорят: как бы теперь, вот поедут генералы все из армии государя хоронить, а враг как бы нас, то есть, не прикрыл. «Сказывают мужички, — прибавил он, — которые из Москвы приехали, что в церкви Богоявления присягали, а тут какой-то чиновник пришел да и закричал, что вы присягаете Александру, надобно присягать Константину, да раз десять закричал. Его за ноги, то есть, так и вытащили, на съезжую взяли: там, говорят, завтра с ним расправятся».

Мы были поражены; неужели есть уже какие-нибудь смуты или это просто сумасшедший какой-нибудь или пьяный! Что-то делается, Боже мой! Маменька стала говорить старосте: «Какой вздор выдумали, Александр старший, законный, всегда был наследником». Староста ничего не сказал, но продолжал свои рассказы. — Что-то получим завтра? Томимся неизвестностью. Завтра должно быть письмо от Константина.

От Константина получено несколько строк, подтверждающих, разумеется, события, но без всяких подробностей. Кажется, он еще никого не видал, пишет, что слухов ходит много, будто Меншиков отставлен и на его место Горчаков, а Лидере командует дунайской армией. Пишет, что хорошие вести из Крыма и манифест хорош. Собрание дворянства закрыто. Константин думал приехать сегодня. Саша Погодина пишет подробнее. Отец ее получил описание последних минут государя Н. П. Он скончался в полной памяти. 18-го числа, после полудни, прощался с семьей. Минуты были трогательные; да простит ему Бог все прегрешения!

Посланный наш к Троице привез нам еще новый слух, поразивший всех нас. В Москве во время присяги или панихиды упал на Иване Великом большой колокол, продавил алтарь и убил несколько человек. Что за несчастное происшествие и предзнаменование, если это правда! Но все это повторяют, и сомневаться нельзя, кажется. Вероятно, это сделано с намерением, чтобы смутить народ. Боже мой, чего еще мы должны ожидать!

Константин, верно, не выехал сегодня; значит, что-нибудь важное его задержало, он сам нас предупреждает, что, может быть, останется долее, если нужно. <...>

Вечером часов в 9 неожиданно приехал Константин. Первый вопрос наш был, правда ли, что упал колокол, правда ли, что закричал кто-то о Константине в церкви Богоявления? «Все, все правда, — отвечал Константин с каким-то смущением и ужасом, — как вы это знаете?» Он рассказал нам подробности, рассказал об ужасном впечатлении, произведенном падением колокола во время присяги, все смущены, все находятся в напряженном ожидании, что будет далее. События так громадны, присутствие Божией воли так ясно обнаруживается в них, что все подавлены ими, все смиряются перед неисповедимыми путями Святого Промысла, все

невольно приходят к сознанию ничтожества человеческого разума и невольно произносят все: «Надобно молиться и молиться». «Бдите и молитесь, да не впадете в напасть» – время наше уразумело эти слова.

Константин нам рассказывал в продолжение всего вечера; и все подробности этих событий так важны, так велики, что под конец мы были совершенно задавлены этими впечатлениями; отесенька и я решительно себя чувствовали расстроенными, мои нервы так были напряжены, что нам захотелось даже отдохнуть. Вчера не в состоянии была уже записать, и было поздно; но вот что рассказал нам Константин. Он приехал в Москву, и Трушковский встретил его со смущенным видом и поразил его рассказом про колокол. Константин поехал отыскивать знакомых. Наконец нашел их собранными у Черкасских, все сидели пораженные и смущенные. Тут ему сообщили подробности о кончине Государя: он умер как истинный христианин.

Общее впечатление таково в нашем кругу. Все говорят о Государе Николае Павловиче не только без раздражения, но даже с участием, желая даже извинить его во многом. Но между тем все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало дышать; вдруг возродились небывалые надежды; безвыходное положение, к сознанию которого почти с отчаянием пришли наконец все, вдруг представилось доступным изменению. Ни злобы, ни неприязни против виновника этого положения. Его жалеют как человека, но даже говорят, что, несмотря на все сожаление об нем, никто, если спросить себя откровенно, не пожелал бы, чтобы он воскрес. Мир его душе! Он действовал добросовестно по своим убеждениям; за грехи России эти убеждения были ей тяжким бременем. Его система пала вместе с ним; в последнее время она достигла крайности. К новому же Государю нашел Константин во всех такое искреннее теплое сочувствие и такое желание восстановить доверие между ним и нами, что даже почти странно было видеть людей, большей частью до тех пор смотревших на власть как на враждебную им силу, привыкших постоянно в продолжение по крайней мере 30 лет не доверять ей и избегать даже с ней сближения. Эти самые люди вдруг с детской доверчивостью и любовью и надеждой обращаются к новому

Государю, не получивши от него еще никакого доказательства, которое бы оправдывало их надежды. Эти люди готовы предложить ему руку на союз любви и доверия, готовы предложить ему свою деятельность на благо общее. Они, которые до сих пор так недоверчиво смотрели на всякое даже участие в деятельности государственной, на всякое изъявление сочувствия к державному лицу! Что же это такое, какая тому причина? Государь Александр Николаевич до сих пор мало был известен, ничем не отличился особенно. Даже долгое время разделял совершенно противоположное направление и именно покровительствовал исключительно немцам и стоял особенно за аристократизм. Правда, в последнее время он стал разделять мысли Вел. Кн. Константина, и читал письмо Погодина, и сказал ему, что почти со всеми его мнениями согласен, но это еще так недавно, так непрочное. Правда, что всегда было известно, что он очень добр и доступен всем добрым человеческим чувствам. Правда и то, что манифест его о восшествии произвел на всех благое впечатление и возродил надежду, что он, давши обещание «возвести Россию на высшую степень могущества и силы», не будет продолжать прежней политики. Но все еще эти все причины не довольно сильны, чтоб объяснить эту внезапную искреннюю вполне и разительную перемену, происшедшую в нашем кругу. Справедливо заметил Константин, что эта перемена объясняет, как страшен был тот гнет, который мы испытывали до сих пор, как безвыходно казалось наше положение, как обрадовались мы, когда почувствовали себя облегченными хотя на время, как охотно готовы поверить лучшему. Но кроме того, мне кажется, это еще объясняется тем, как в русском человеке вовсе нет безусловной оппозиции власти, нет ненависти к власти потому только, что она власть, но, напротив, какую любовь и доверие могла бы внушить разумная и любовная власть, когда только от одной надежды на возможность чего-нибудь подобного так искренно возбуждилось сочувствие всех! Хомяков даже написал адрес новому Государю, в котором просто и кратко говорит только о сочувствии, о доверии к нему и о готовности стать за него и за отечество, даже не упомянул о вере, потому что в первую минуту не хотел ни о чем ему говорить, кроме ободрения и сочувствия. «Мужайся, русский Царь», – так начинает он

свой адрес, но адрес не был послан, потому что собрания не было. Система постоянной взаимной вражды и недоверия нам противна. – Вот какие светлые чувства и надежды и мольбы к Богу возбудило первое впечатление восшествия на престол государя Александра Николаевича. Господи, да оправдаются они! От Тебя ждет только помощи земля Русская!

А между тем в народе ходят толки, смущающие всех нас, и в деревнях, и в Москве толкуют о том, что царствовать должен Вел. Кн. Константин, а не Александр, потому что Константин *родился в царском роде, а Александр в княжеском*, и эти слова мы слышали от многих крестьян и женщин даже. Странное заключение, которое, впрочем, чисто народное, и даже люди ученые говорят, что во времена уделов таковой порядок наследства был в употреблении. Эти понятия случалось всем не раз слышать от простых людей, то же повторяли и об Александре Павловиче, говоря, что должен <царствовать> Михаил Павлович, и так далее, но никогда не могло быть это так важно, как теперь. Вел. Кн. Константин имеет опасную народность, и, сохрани Бог, если новый Государь не будет действовать заодно с ними. Теперь же эти слухи так неприятны, даже огорчительны, они могут возбудить недоверие государя к подданным, поставить его во враждебные отношения к народу, к так называемым славянофилам (которых уже теперь считают некоторые виновниками этих толков), всего хуже могут поселить с самого начала неприязнь и недоверие между Государем и братом его, что будет пагубно для России во всех отношениях. <...> Брат Константин ехал в Москве на извозчике и завел с ним разговор: «Слышал ты, что Государь скончался?» – «Да, помер», – отвечал он очень равнодушно. «Вот теперь новый Государь Александр». – «Как Александр? – возразил тот. – Мы слышали, что Константин». – «Отчего же Константин?» – «Он старше», – отвечал извозчик. Брат Константин стал доказывать ему, что это неправда, но он, видимо, не поверил его словам и только отвечал: «Как вам угодно, вам лучше знать», – что-то в этом роде. В другой раз брат Константин ехал на извозчике к Погодину и спросил извозчика, присягал ли он? «Нет», – сказал тот. «Да ты чей, господский?» – «Господский», – отвечал извозчик. «Ну так ты присягать не будешь!» – «Как, – возразил извозчик, оборачиваясь

к нему лицом, – как же мы не будем, разве мы не христиане? Вы люди большие, мы против вас люди маленькие, но Бог у нас один, один Государь и законы одни». Брат Константин был поражен речью этого крестьянина и, разумеется, выразил ему полное свое согласие с его мнением. На площади в Кремле, говорят, сказал кто-то громко, что Константину должно присягать, потому что он посты держит. Это, вероятно, раскольник. Раскольники ожесточены до крайности невыносимо притеснительными мерами, которые с ними употребляют, особенно с некоторых пор, именно по требованию министра Бибикова. Говорят, новый Государь не любит Бибикова и, вероятно, не будет продолжать мер, им принятых. Дай Бог; этому во всех отношениях можно порадоваться. Такие притеснения до добра не могли бы довести, только усиливали фанатизм. Томашевский рассказывал Константину, что один раскольник, взятый в рекруты, в присутствии бранил самым ожесточенным образом все высшие власти, называл антихристом и т. д. Ни за что не хотел сбрить бороды, не решился идти в ополчение. Разумеется, его схватили и обрили. Теперь не принимают от раскольников капиталов, так что они не могут записаться в купцы и таким образом поступают в мещанство, которое подчинено рекрутству. Тысячи разных других притеснений раздражают их до крайности; один купец, нам знакомый, велел сказать маменьке (зная, что найдет участие), что им очень плохо, очень тяжело; в другой же раз мы слышали, как один сказал: «Мы подождем еще, да и решимся на что-нибудь!»

Падение колокола в Москве произвело сильное смущение в народе. И в самом деле, каким предзнаменованием должно было показаться это происшествие! В самое время присяги новому Государю упал колокол в 2000 пуд. с Ивана Великого, продавил три этажа и остановился на земле. Несколько человек, говорят, убило, иные говорят, что он упал на алтарь и разломал его.

Как должно смутить это известие нового государя и всех в Петербурге! Очень жаль, что первые минуты царствования могут быть смущены такими предзнаменованиями. Но весьма может быть, что это было дело каких-нибудь злонамеренных людей! Право, это кажется вероятнее; иначе это что-то уже слишком эффектно. В Москве стараются придать

сколько возможно доброе истолкование этому происшествию. И точно говорят, что этот же самый колокол упал в 1812 году перед изгнанием французов; из этого заключают, что и теперь скоро их прогонят.

Говорят, что с 1812 года этот колокол висел на припаянных углах, которые теперь и отвалились от усердного звона. Константин ходил смотреть в Кремль издали. Колокола не видать, но видны согнувшиеся балки, на которых он висел.

Иван был во время присяги в Чудове, и когда все вышли оттуда, увидели множество народа на площади, собравшегося около упавшего колокола, тут им сообщили о падении колокола. При присяге были и Ермолов, и Строганов; Ермолов, говорят, грустен и даже плачет. Когда присяга кончилась, все разошлись, только Ермолов и Строганов остались у обедни. Ермолова выбрали еще несколько губерний. Говорят, в Петербурге его выбрали единогласно только тогда, когда узнали, что Государь Николай Павлович отвечал на их запрос, что он будет очень рад, если выберут Ермолова. Неизвестно, знал ли Государь Николай Павлович о выборе Ермолова в Москве, потому что еще недавно пришел запрос из Петербурга, кого выбрала Москва. Это значит, что наш губернский предводитель и Закревский еще до сих пор не посылали о том представления. Какие подлые люди! Неужели дворянство не может отделаться от своего предводителя прежде трехлетия потому только, что оно само его выбрало. <...>

Самарин видел, как в Чудов монастырь прокладывал чиновник дорогу Закревскому и как потом, когда появился Ермолов, все сами собой раздались и дали ему дорогу. <...>

Константин на возвратном пути встретил турок или, скорее, курдов пленных. Лица выразительные чрезвычайно, идут и едут очень весело. Народ везде обходится с ними очень хорошо. На половине дороги Константин нанял крестьянина. Ему попался славный старик, уже лет под 80, которого семья не хотела даже отпускать. Дорогой он разговорился и тоже повторил весточки о Вел. Кн. Константине Николаевиче, что ему надобно царствовать, потому что Александр в княженинском роде, а Константин в царском роде рожден. Толковал о войске, об англичанке, так он называет королеву, вообще об иностранцах, что итальянцы не страшны, но что: «Англича-

нам Бог всякие премудрости открыл», – и прибавил потом: «*А наша земля хлебом прославлена*». Вообще слова старика выражали благодушие, сочувствие к каждому человеку, столько свойственное русскому. Константин, разумеется, всегда счастлив, когда что-нибудь услышит особенное из уст народа, и на этот раз был очень доволен. <...>

В четверг, т. е. 24 февраля, обедал у нас Гиляров, приехал более расстроенный и физически, и нравственно, нежели когда-нибудь, просил Константина рассказать все подробности, начиная с выборов Ермолова и до последних великих событий. Константин исполнил его просьбу. <...>

25 <февраля>. <...> В воскресенье ждали Ивана, но он не приехал. В газетах еще ничего особенного. В иностранных известиях напечатана прекрасная статья, в которой изложены последние минуты государя Николая Павловича. Статья составлена прекрасно, со всей простотой, истиной и скромностью, нельзя читать без сердечного умиления и участия. Как хорошо, что обнародовали все эти подробности. Тут является царь и его семья как простые люди со стороны их человеческих чувств и страданий. Умилительная христианская кончина, какое примирительное и благотворное будет она иметь влияние на всех. Всякий от души помолится за него. <...>

В воскресенье утром, т. е. 13 марта, <...> Константин собирался в Москву для выпуска вновь отпечатанной отесенькиной книжки *Рассказы и воспоминания охотника*, заключающей в себе рассказы о разных охотах, и в конце маленький рассказ крестьянина о соловьях, записанный И. С. Тургеневым.

Во вторник, т. е. 15 марта, получено было письмо от Кулиша с разными добрыми вестями о государе, с надеждами на цензуру и т. д. И Кулиш, и Трушковский зовут Константина в Москву. В четверг было получено письмо к Ивану от И. Е. Елагина, где также подтверждают добрые слухи и, между прочим, достоверное известие о том, что есть распоря-

жение учиться фронту только тем студентам, которые этого пожелают, тогда как прежде было предписано всем.

В четверг, т. е. 17 марта, Константин поехал в Москву и воротился в понедельник утром. <...>

29 марта. Погода такая ужасная, что мы не могли поехать к обедне в Хотьково; ездил только один Константин, сегодня день его рождения. <...>

31 марта. <...>

Вскоре привезли почту: 4 письма, «Московские ведомости» и «Journal de Francfort», два номера, 76 и 78, а 77, видимо, задержан. Мы тотчас же начали читать письма, первое от Карташевских. Тетенька, между прочим, пишет, что на днях Государь сказал по случаю пожертвований, что он надеется, что они скоро не будут нужны. Значит, мир? В то же время Константин, пробегая французские журналы, попал глазами на слова, что Россия согласилась на все и что рассуждения идут только о числе кораблей, которые Россия будет содержать в Черном море. Эти два известия, совпавшие вместе, до такой степени всех нас поразили неприятно, что негодование начало было уже изливаться со всех сторон. Все надежды, возбужденные новым Государем, казалось, вдруг все исчезли, доверие, которое так охотно принялось было в душе каждого, вдруг сменилось недоверием, даже в миг возникнувшей враждебностью. Константин говорил: «Я повторяю, мира не будет; если он согласится, то *судьба* его отстранит. Каким образом, я не знаю, но это так будет». Отесенькино же мнение было то, что и никогда нельзя было ничего надеяться, что эти надежды возникают всегда при перемене царствования, что потом все пойдет по-старому. <...>

7 апреля. <...>

В субботу получили мы еще письмо от Ивана: известий никаких из Севастополя. Странно, как после такой депеши не посылать каждый день

депешу о ходе дела, каково быть в неизвестности. Что-то там делается, Боже мой, что уже сделалось, может быть!

Иван старается объяснить и оправдать свое вступление в ополчение, потому что, конечно, оно более похоже на набор, нежели на вольное ополчение, и особенно при переговорах о мире, и потому не могло возбудить сочувствия. Он надел мундир, был в нем на вечере и привел «в зависть и восторг всех», как он сам пишет. Хомяков, странно, всех посылает в ополчение и сердится на Самарина и Елагина, что не пошли. Получивши письмо Ивана, Константин, который и прежде собирался в Москву в этот день, тотчас же и поехал. <...>

11 апреля. Сегодня опять тепло, весенний день. Вестей сегодня никаких, да и не могло быть. Занимаемся каждый своим делом, а между тем душа томится неизвестностью и ожиданием, что-то делается в Севастополе, да помилует Господь наших. Что-то узнаем завтра? Или Константин приедет, или письма должны быть!

12 апреля. <...> Константин сверх нашего ожидания приехал вечером, слава Богу, благополучно. Но нерадостные известия привез он нам; получена депеша телеграфическая от 7 апреля; страшное бомбардирование продолжается непрерывно – напечатаны некоторые подробности о первых днях, много потерь с обеих сторон; Боже мой, чем это все кончится. Это борьба насмерть; французы не отойдут теперь от Севастополя из одной чести, они скорее все лягут, нежели откажутся от своего предприятия. Они хотят во что бы то ни стало разрушить Севастополь. Их план бомбардировать до тех пор, пока не заставят молчать русских, а потом атаковать. У нас, говорят, снарядов много, и подбитые пушки вновь заменяются другими (а мы у них подбили 50 пушек). Что же это будет, одно истребление! Боже мой, за грехи людские посылаются им эти бедствия! Стоим ли мы того, чтоб Ты за нас заступился; праведен гнев Твой, но очисти и помилуй нас. Господи, возбуди в нас всех покаяние!

Вот теперь время общественному покаянию, молитвы. О, если б мы покаялись, как Ниневия! Сердце сокрушается при мысли, что происходит

теперь в Севастополе, что еще будет. Всем бы надобно было единодушно стоять на молитве непрестанно и молить о пощаде; должно было бы объявить пост и покаяние. <...>

18 апреля. <...> Один Хомяков в своих пророческих стихах предсказал падение Англии.<...>

22 апреля, пятница. <...> Завтра или послезавтра воротится, вероятно, Константин из Москвы, куда он поехал в четверг для свидания с своими приятелями, которые все должны быть в сборе в это время в Москве по разным причинам, но более всего потому, что ведутся переговоры о журнале, покупают у Погодина «Москвитянин» с тем, чтобы переменить название. Говорят, западная сторона уже добила себе журнала в Москве и употребляет на это большой капитал. Все эти сведения сообщил нам Самарин, который был у нас 7 августа с князем Владимиром Черкасским совершенно неожиданно. Черкасский давно собирался познакомиться с отесенькой, просил позволения приехать, но не мог попасть по разным обстоятельствам; теперь же, уезжая из Москвы с тем, чтобы прожить зиму в деревне, он захотел хотя на короткое время побывать у нас. <...>

1 сентября. Боже мой, какое известие! Севастополь взят! Как громом поразило нас, неужели это правда, но сомневаться нельзя! <...>

Получен ответ от князя Вяземского Константину, ответ такого рода, какого и ожидать было нельзя: это не только любезное и дружеское письмо, но полное юношеского увлечения, мечтаний, которые он надеется осуществить на своем новом поприще. Дело вот в чем: он сделан товарищем министра народного просвещения совершенно неожиданно для всех; Константин, узнавши об этом, написал ему со своим добродушным доверием и откровенностью очень просто, что просит похлопотать о снятии подписки с него и с Хомякова, Киреевского, Черкасского и с брата Ивана, на которой они обязаны представлять свои сочинения не иначе как в главное управление цензуры, и при этом рассказал ему, как его статья о глаголах полтора года цензуровалась, Константин прибавил, что он, зная его, уверен, что он

сам постарается об этом, что назначение его возбудило во всех благие надежды. Вяземскому, видно, было очень приятно это доверие, он благодарит за благосклонное мнение о себе, за надежды; просит горячо содействия, говоря, что теперь именно такие люди, честные, истинно русские необходимы для правительства, что надобно, чтоб не было недоразумения между правительством и ими и т. д.; оговаривается только в том, что всякий должен оставить для того свои коньки, т. е. личные прихоти, но никак не убеждения, и под скрипом прибавляет: «Вам покажется по письму моему, что я вербовщик, что ж, если б мне удалось завербовать вас, то царь, отечество и просвещение *сказали бы мне спасибо*». Приятно было прочесть это письмо, но, признаюсь, минутою спустя мне показалось, что это юношеские мечты и слишком молодой жар, хотя и старика, и вряд ли может осуществиться. Нет, к несчастью, кажется, уже зло так велико, так далеко зашло, пагубная система прошедшего царствования успела уже пустить такие сильные корни, что отвратить это зло не могут никакие личные усилия и воля даже самого государя. Только внутреннее, страшное потрясение может искоренить его и обновить и возродить Россию, если на то есть благая воля Господа, и, кажется, нам не избежать этих страшных внутренних потрясений. Сегодня получил отесенька от Гилярова письмо отчаянное, в котором он высказывает все свои мрачные предчувствия и соображения и совершенную безнадежность отвратить грядущие бедствия. Он ожидает внутренних страшных возмущений, видит в народе недовольство; письмо его вполне выражает настоящую тягостную минутою, и мы хотим его сохранить.

Получены еще письма от Машеньки Карташевской, от Дмитрова, от Трутовских. Все писаны еще до получения несчастного известия. Дмитриев пишет о своей оде, за которую получил благосклонный отзыв от государя, и также о статье Константина (о глаголах), которую хвалит чрезвычайно; говорит, что это истинный, новый взгляд и т. д.; а в журналах так недоброжелательно ее разбирают. Впрочем, это натурально, тут есть и *jalousie de metier* (*фр.* «профессиональная ревность»), и разность направлений, и проч. и проч. <...>

2 сентября. Сегодня получили газеты и письмо от Константина. Он старается нас приготовить к страшному известию о Севастополе, думая,

что мы еще ничего не знаем; сам в отчаянии и негодовании против Горчакова: и в самом деле, он просто отдал Севастополь без всякой нужды. <...>

Константин пишет, что Государь придет 1-го числа в девять часов вечера. На другой день будут ходить по соборам, будет выход, во дворец будут пускать все сословия. Государь едет с женой, с детьми и со всеми братьями. Вдовствующая государыня придет двумя днями позже. Константин прибавляет: авось либо среди святынь московского Кремля найдет на Государя благое вдохновение. О, дай Бог!

Константин пишет о приказе Государя по случаю отдачи Севастополя. Он пишет, впрочем, это для нашего ободрения; очень его хвалит; но мы находим, напротив, что он вовсе не таков, как должен бы быть в такую минуту. Это правда, что он написан в духе смирения и покорности воли Божией; но кроме того он должен бы ободрить всех; сказать, что это уступка временная, что мы возьмем назад все потерянное, а Государь говорит только, что он уверен, что все войска будут везде встречать неприятеля с тем же мужеством и защищать родную землю, как будто нас приготавливает к новым потерям. Он уже как будто примирился с мыслью, что Россия потеряла Крым, и, пожалуй, скажет: «Я обещал не уступать и не уступлю, но удержать нельзя было против такой силы». – Константин надеется, что сменят Горчакова, но этого, конечно, не будет; в этом же приказе действия его совершенно оправдываются. Чего же ждать? Позорного мира с уступкой Крыма или позорной войны при тех же правителях и начальниках, под главным управлением Несельроде... Войны, которая, веденная таким образом, поведет нас к еще большим уступкам и изнурениям.<...>

3 сентября, суббота. Константин приехал часов в десять, огорченный, возмущенный до крайности. Вести, привезенные им, привели нас в еще большее негодование. Легче было бы перенести такой удар, если бы это совершилось вследствие необходимости, если бы мы уступили силе, превосходству врагов; но когда это все даром; когда, напротив, мы одержали победу, отбив их почти на всех пунктах, и после этого по соображениям какого-нибудь Горчакова отдали Севастополь, не только Севасто-

поль, но всю славу, все значение России, честь и целостность нашей земли, все ее будущее, все ее предания, наследственное влияние ее на востоке; когда даром были в продолжение года все ее успехи, неимоверные труды и самопожертвования, до сих пор увенчавшиеся полным успехом, всех беспримерных защитников Севастополя, это невыносимо, возмутительно! Овладевает такое безотрадное, бесполезное сожаление, невыносимо болезненное чувство, с полным сознанием невозможности отвратить зло... Безнадежность полная в будущем! Изнемогаешь под тяжестью всех этих ощущений; невыносимо бывает – не знаешь, что делать, днем и ночью все то же, беспрестанно то же и то же, и сердце болит от тоски! Тяжелые, тяжелые времена! О, дай Господи, чтобы они были непродолжительны, чтобы эти тяжкие испытания, посылаемые нам за грехи наши, принесли благодатный плод, обратили бы нас к Тебе! <...>

Государь приехал в Москву 1 сентября поздно ночью, но, несмотря на то, народу было очень много и встретили его, говорят, хорошо. Константин не дождался его приезда, но видел его на другой день в Кремле. Народу было такое множество, особенно внутри решетки, что с мужчинами даже делалось дурно. Константин много наслышался тут разных народных толков. Говорили, впрочем, без уныния о настоящих несчастных событиях, вспоминали 12-й год, своих отцов, участвовавших в нем. «Только скажи, только ухни, нас 60 миллионов – мигом 6 миллионов поставим». Был тут также один человек (вроде какого-то эмиссара, как показалось Константину), который шутил совершенно по-русски, трунил над всеми, всех смешил и говорил разные дерзкие выходки насчет всех, появлявшихся на Красном крыльце. Наконец, появился Государь с Государыней под руку. Ура кричали не дружно, так что Константину стало жалко, и он сам поддерживал возгласы. Все Красное крыльцо наполнилось блестящими придворными, Государь и все были без шапок, разумеется и народ. Государь так худ и печален, что Константин говорит, что нельзя его было видеть без слез, он представился ему какой-то несчастной жертвой, на которую должно обрушиться все зло предшествовавшего царствования. И сверх того он также жертва воспитания этой губительной системы, от которой не может сам освободиться. Государь кланялся не низко, как все

заметили в народе. Тут Константин услышал, как тот же подозрительный человек сказал: «Одному человеку какая честь!»

Как скоро Государь и Государыня вошли в Успенский собор, народ надел шапки, но придворные оставались еще на площади без шляп, и потому один полицейский счел за нужное приказать народу снять шляпы, но в народе отвечали: «Зачем? Государь вошел в собор, для дам что ли нам шляпы скидать?» И не послушались.

При входе в Успенский собор митрополит встретил Государя с крестом и говорил довольно долго речь. Из Успенского собора Государь пошел в Архангельский, но тут сделалось так тесно, что Константин поспешил уйти. Константин видел Погодина, он совершенно убит; его приглашают показывать Москву наследнику, но он хочет отказаться; говорит, что просто не может собрать мыслей; Погодин в совершенном отчаянии еще более потому, что, не говоря уже о правительстве, само общество в такой апатии, так равнодушно, деморализовано, что ничего ожидать нельзя. <...>

Константину было сообщено письмо Вяземского, ему оно также было очень приятно, кроме одного выражения, которое его остановило, именно: *надобно, чтоб был один пастырь и одно стадо* (говоря о Министерстве просвещения и об обществе). Выходит, что министерство будет нас пасти; нам же показалось, что это только дурное выражение, а мысль была другая, но впоследствии оказалось, что мы ошибались. Решено было, что Константин на другой день опять поедет в Москву для свидания с министром.

4 сентября. <...> Гильфердинг пишет из какого-то местечка недалеко от Праги, пишет о жажде сообщения и знания русской деятельности, которая существует в этих местах, и о совершенном недостатке средств удовлетворить этой жажде, о равнодушии русских в этом отношении; заключает тем, что просит прислать книг русских, хорошо написанных, в том числе, конечно, отесенькиных и Константиновых, просит сестер списать разные списки стихов Хомякова и других, просит вырвать «Библиографическую хронику» из «Отечественных записок» и т. д. Словом сказать, не только сам принял деятельное участие, но и других подвинул

к тому же. Честь и слава ему, это великое достоинство. Константин и сестры немедленно же исполняют его поручения.

Константин, воротясь из Москвы, принял решение написать письмо к Государю о том, что необходимо сменить Горчакова, указать на Ермолова как на единственное народное имя и вообще высказать мысли о настоящем положении, о том, что Севастополь временно уступлен и т. д. Он написал это письмо и взял его с собой в Москву. После же его отъезда прочли мы иностранные журналы и увидали из них еще яснее, что у нас идут сношения с Австрией и иностранными державами, что мы все уступаем; чуть ли Севастополь не был отдан единственно для благосклонного взгляда Австрии. Константин уехал в Москву рано утром. <...>

6 сентября. Константин воротился из Москвы вполне разочарованный насчет министра. Под впечатлением письма князя Вяземского Константин приехал к министру и с полным доверием стал ему говорить, чего он желает. Норов, что и Вяземский, говорил ему, что правительство готово исполнить это желание, но надобно доказательство, ручающееся за его благонамеренность, что его статья о родовом быте самая вредная и т. д. Константин сказал, что он от своих убеждений не отказывается, что его статья не заключает в себе, по его убеждениям, ничего вредного. Константин был так поражен его речами, что не вдруг мог понять смысл их. Разумеется, Константин держал себя свободно и говорил прямо и твердо. Не помню подробности разговора. Знаю только, что Норов наконец сказал: «Вяземский мне об вас сказал совсем другое, а теперь я вижу по вашему образу мыслей, что он совершенно ошибся». — «Что же я такое сказал, что вы можете заключать о моем образе мыслей?» — спросил Константин. «Вы ничего не сказали, — отвечает Норов, — но я недаром жил на свете и умею узнавать людей не только по словам их». Константин, видя, что разговор идет слишком далеко, сократил его, сколько возможно, и сказал, что он видит, что ему нечего ожидать и т. д. Между тем в продолжение разговора этот... Норов с голосу, видно, твердил, что цензура у нас дошла до нелепости, что скоро выйдут новые инструкции цензорам; и тут же — что хотя он очень любит Хомякова, но его стихи к России очень

вредны и что «стихи “Бродяга” брата вашего также никуда не годятся». «Что же такого в “Бродяге” вредного?» – сказал Константин. «Как же, он выставляет в таком привлекательном виде бродяжничество». Что после этого говорить! «И это министр народного просвещения, – справедливо сказал Константин, – он лично министр, но только *народного помрачения*». Чего тут ждать! Конечно, очень жаль, что Константин с ним виделся, потому что эта попытка совершенно закрыла даже возможность в будущем получить снятие подписи и убедила этого сумасброда, что Константин и ему подобные просто бунтовщики, по крайней мере, он едва не высказал этого. Прощаясь, он несколько старался сгладить свои речи и подал руку. Константин был взбешен и огорчен. <...>

7 сентября. Государь с Государыней проехали к Троице, а за ними все великие князья и княгини, еще вдовствующая Императрица, принцы и принцессы.

На другой день, 8-го числа, Константин с Надей и Соничкой поехали к Троице, чтоб их видеть, но в церковь не решились взойти, потому что в дверях было тесно, впрочем, они очень жалели после, что не пробрались, потому что в самой церкви было просторно, и вдоволь бы там нагляделись на Государя и Государыню, слышали бы молебен и молитву Филарета, которую он произнес к преподобному Сергию и которая всех заставила плакать. Государыня же, говорят, заливалась слезами. Наши простояли часа три на площади и видели их только, как они прошли мимо их. Государь был также печален и поражал всех и худобой, и грустью, которая выражалась у него на лице. Накануне они были у всенощной, служили молебен и также все усердно молились, а за обедом Филарет вручил по просьбе Государя образ складной на доске от гроба преподобного Сергия, который был прежде в походе с царями Алексеем Михайловичем, Петром Великим и с Михаилом Федоровичем. О, да поможет нам своими святыми молитвами преподобный Сергей, как помогал он столько раз русской земле в тяжелые времена! Преподобный отче Сергей, моли Бога о нас! Наши воротились к обеду. Получены газеты и письма, в газетах почти никаких известий.<...>

Константин написал к Вяземскому письмо, в котором он говорит о впечатлении, произведенном на него Норовым, что письмо его, т. е. Вяземского, возбудило в нем надежды и желание содействовать по мере сил, но что после свидания с министром он вполне убедился, что никакая литературная деятельность невозможна, что все его надежды разлетелись и т. д. Константин, несмотря на наши убеждения, все-таки прибавил, что просит его, т. е. Вяземского, передать министру, что он никогда не отречется от своих убеждений.

В газетах напечатана статья Вяземского, которая привела нас в отчаяние. Так вот его взгляд, вот чего он хочет, что он подразумевал под словами своими в письме к Константину, что должен быть один пастырь и единое стадо, т. е. что министерство будет по своему позволению управлять не только цензурой, но и направлением литературы, мыслями авторов. До сих пор их стесняли в выражениях, а теперь хотят и мысли их сделать казенными, и все их внутренние движения души. Правительство наше себе даже приписывает русское направление, хочет забежать вперед всякому живому движению, даже в литературе, и парализовать его, наложивши на все казенную свою печать. Конечно, таким образом они разгонят всех честных и истинных русских двигателей мысли и направления. Им нужны Майковы, вот идеал их русского направления и благонамеренного казенного писателя. Майков, который писал еще при Николае Павловиче, что надобно только русского человека для его совершенствования «во фрак одеть могучий стан», а при Александре Николаевиче восхваляет Москву и поклоняется Николаю Павловичу. Этот Майков хотел было летом приехать знакомиться в Абрамцево, но ему посоветовали этого не делать. Чего ждать от Вяземского. Это хуже, нежели гонение на литературу, намерение сделать ее казенной. В этих же газетах, так, между прочим, сказано, что австрийский эрцгерцог назначается шефом одного полка. Каково, в такое время такая подлость перед австрийцами! Чего же ждать после этого! <...>

10 сентября. Сестры пошли пешком к Троице, а маменька поехала туда же ко всенощной и завтра после обедни воротится. Было довольно тепло, хотя и ветрено. После обеда мы сидели, отесенька, Константин, Ма-

шенька и я, в гостиной, когда приехала Прасковья Андреевна Васькова из Москвы. Она проводила мужа из Москвы и очень грустит. Рассказывала некоторые подробности о впечатлении после известия о сдаче Севастополя; все были поражены и возмущены до крайности <...>.

На другой день, т. е. 11-го, в воскресенье, воротились наши от Троицы, привезли много писем, московские газеты, иностранные журналы. В «Journal de Francfort» объявлено, что мы оставили Петропавловск при приближении английской эскадры; мы знали еще летом, что решено было его оставить, но что в этом утешительного, если мы таким образом предоставим все свои берега во владение врагам своим! <...>

Рескрипт Государя к Закревскому о благодарности Государя к Москве очень хороший: видно, что он человек прекрасный, душа, способная чувствовать все доброе, но нет энергии, нет силы, а это для Государя плохо. Я, признаюсь, начинаю терять всякую надежду и часто сильно сержу Константина и других своими нерадостными заключениями. Константин особенно все еще надеется на Государя и ждет от него много добра.

13 сентября. Мы поехали в Москву, т. е. Олинька, Константин, Любинька и я; приехали благополучно; разумеется, Олинька устала, устроились у Занден. Мы с Любой успели еще сходить ко всеобщей в наш приход накануне Воздвиженья, служат очень хорошо и молятся усердно. На другой день, т. е. 14-го, были у обедни и также остались довольны. Потом я ездила с Константином к Погодиным, но его не было в Москве, он поехал проводить Уварову в ее деревню. Сашенька Погодина сказала только, что Михаил Петрович один раз показывал наследнику Москву, очень хвалил наследника: в этот день он обедал вместе с детьми Государя. К ним всходил великий князь Константин Николаевич и спросил детей, хорошо ли их кормят? Один отвечал: сегодня-то хорошо, а не всегда так. В другой раз Погодина приглашали, но он отказался, потому что хотел ехать за Уваровой. Накануне Томашевский рассказывал Константину, как сильно перетревожила придворных статья Погодина, которые особенно недовольны его влиянием. Томашевскому рассказы-

вал кто-то из них с неудовольствием, что Погодина очень ласкают, что он был у Императрицы Марии Александровны и говорил с ней часа три (это, впрочем, несправедливо) и что поговаривают о том, что Погодина сделают воспитателем. <...>

На другой день Константин пошел вечером узнать в дом Самарина, не там ли его брат. Каково было его удивление, когда он нашел там Юрия Самарина, и каково было его поражение, когда тот сказал ему, что он идет в ополчение. Он не желал, разумеется, но был выбран и не захотел отказаться; меньшого же брата своего, скромного и молодого человека, он не хотел пустить вместо себя, потому что и в Оренбургской, и <в> Самарской губерниях уже получены предварительные бумаги об ополчении и что легко может достаться кому-нибудь из наших, особенно потому, что дворян так мало в этих губерниях. Самарин совершенно убит настоящими событиями, ничего, разумеется, доброго не ожидает и говорит, что хотя не желал ополчения, но покоряется ему с мыслью, что будет, по крайней мере, чувствовать на себе также часть тягости общей. Он еще мечтал, что может принести какую-нибудь пользу, что это будет случаем сблизиться с народом, но когда Константин сообщил ему, что пишет Иван, как ратников искажают скоро все офицеры, какое вредное они имеют на них влияние, каковы сами офицеры, как в этой безобразной массе ничего не значит голос одного человека, – Самарин вполне согласился. Много они разговаривали, и неутешительные были их сообщения друг другу. Самарин не ожидает ничего ни от кого. Самарин вскочил с места, когда Константин подтвердил ему слух (которому Самарин не хотел верить), что австрийскому эрцгерцогу дан полк! Приехал в Москву князь Васильчиков, который говорит, что бомбардирование было невыносимо, что у Горчакова бывают прекрасные мысли, но что его сбивает Коцебу, который и вор, и трус. (Видимо, что Васильчиков старается защитить Горчакова, но не все ли равно или даже для всех нас не хуже ли, что Горчаков благонамеренностью своей прикрывает мошенника.) Курское ополчение сражалось отчаянно топорами, и из двух дружин много выбыло народу. Самарина брат ранен навывлет в обе ноги; это счастливо, а брату Лидии Воейковой (молодой человек, 18 лет) должны были отнять ногу. Ужасно, ужасно!

Константин воротился поздно домой, но я еще не спала. Как поразило и огорчило меня известие о том, что Самарин идет в ополчение, и за него, и за нас, и главное, испугало меня назначение ополчения в Самарской и Оренбургской губерниях. Сохрани Боже, если братьев выберут, особенно Константина! Гриша может быть квартирмейстером, а Константин, неужели фронтовым офицером? Боже мой, обидно за таких людей, что они должны употребить себя на такие дела, которые лучше их исполнит всякий, а они понапрасну оторвут себя от своей полезной деятельности. И что это за ополчение: это – рекрутский набор с дворян, и все это на жертву Горчакова для того, чтобы он мог постоянно отступать с большим успехом. Это возмутительно. Подымая ополчение, должно было, по крайней мере, уважить их выбор главного начальника. Зачем не назначили Ермолова! Такая унижительная, бессмысленно веденная война хуже унижительного мира. Боже мой, как все становится страшнее и общие современные обстоятельства все ближе к каждому.

<...> Казначеев звал Константина к себе, потому что ему хотелось сообщить ему многое; Константин тотчас же поехал. Казначеев сказал ему, что знает из верного источника, что теперь начинается настоящая война, признан истинный смысл ее <...>

Константин опять был у Самарина и видел там Михаила Оболенского, который ему объявил, что великая княгиня Елена Павловна желает познакомиться со всеми замечательными и умными людьми в Москве и просила его доставить ей случай познакомиться с Константином. Михаил Оболенский говорит, что Елена Павловна не требует никакого этикета, принимает у своей *фрейлины баронессы* Раден, что она знает все и почему Москва не оказала рвения и сочувствия к ополчению. Константин недавно писал об этом к Дмитрию Оболенскому, и, вероятно, тот ей прочел письмо. Константин не только оправдывает, но считает даже особенным указанием, что Москва показала равнодушие. Оболенский обещал, что, как скоро Константин приедет из деревни, он это устроит. Оболенский самым убедительным образом упрасивал Константина согласиться на это приглашение, но Константин не хотел, и Самарин подсмеивался, что его будут показывать как медведя и т. д. К тому же Константин думал,

что мы на другой день рано едем назад в деревню. Оболенский просил Константина сказать, где он остановился, предлагал проводить, но Константин не сказал ему своего адреса и не дал ему себя проводить до дому. Впрочем, воротившись домой, Константин сам нашел несправедливым такое упорство и почти согласился внутренне на это предложение. Когда же сообщил об этом приглашении нам, то мы все так на него напали за нелепость и детскость такого упрямства, что он легко согласился, тем более что мы должны были провести ещё день в Москве. Вследствие чего Константин и написал к М. Оболенскому, что соглашается.<...>

Пятница, 30 сентября. Константин ходил пешком к Троице...

В субботу, 15 октября, ждали мы Константина, но вместо того прислана была подвода с письмами, уведомляющими нас, что Константин остался, потому что отесенькина книга еще не подписана, и кстати Константин хочет побывать на диспуте Гладкого (профессора Ярославского лицея), который в своей диссертации несколько раз ссылается на его статью о древнем быте славян в «Московском сборнике». Это, конечно, очень приятно. Клейнмихель, говорят, прочь, и Киселев также. Все оживились, радуются как победе, поздравляют друг друга. На место его герцог Мекленбургский и Чевкин. Константин очень хвалит Крузе как самого благородного, свободомыслящего человека и очень обязательного человека. <...>

Константин говорит, что вообще слышится, что что-то движется, колеблется, поверхность как будто вздувается местами; как-то всем свободнее, дышать легче.

Хоть бы теперь и цензура: отесенькина рукопись пропущена почти вся без помарок, то пропущено, что отесенька решался даже уступить. Слава Богу, это так приятно, что истинно не так тяжело и горько на душе отзываются наши другие неудачи.

Константин был у Крузе с поправками, сделанными отесенькой. Крузе, которого Константин очень хвалит, еще уменьшил исключения, но посоветовал Константину съездить к Назимову, потому что Назимов, может быть, захочет послать все-таки к министру рукопись, так как тот

сказал уезжая: «Пришлите мне рукопись», но это в таком случае, если б отесенька не согласился на поправки. Константин был у Назимова, тот принял его очень ласково и тотчас же согласился не посылать рукописи, если Крузе берет на себя ответственность. Назимов добрейший человек, и Крузе говорил потом Константину: «Я знал, что он вам не откажет, он никогда не отказывает». Назимов, между прочим, говорил с Константином тоже о Клейнмихеле; он еще до сих пор не может поверить и боится предаться вполне этой радости. Удивительно, каково надобно быть человеку, чтоб возбудить во всех, во всем государстве такое общее счастье и радость своей отставкой. Чевкина все очень любили как самого честного и благонамеренного человека, вполне русского, даже славянофила. Крузе рассказал, как он пересматривал с министром отесенькину рукопись. Рассказ о бунте учеников министр было усомнился пропустить, но уступил скоро убеждению Крузе и даже прибавил, что сам так же бы поступил в молодости. Насчет же славянофилов министр сам уже пропустил, тогда ему Крузе сказал, что у них, напротив, есть предписание не пропускать слова *славянофил*, на что ему министр дал почувствовать, что теперь *не то* время. И точно, видно, были сделаны какие-нибудь распоряжения не стеснять славянофилов. Каково было удивление Константина прочесть в диссертации Гладкова печатно беспрестанно ссылки на свою статью о *древнем быте славян* с величайшими похвалами, тогда как еще недавно министр сам называл ее чуть не революционной и тогда как циркуляром было запрещено не только пропускать похвалы, но даже возражения на нее, даже просто не позволено было ссылаться на нее. А теперь целая диссертация, основанная на ней и печатно ее восхваляющая. Крузе сказывал, что было предписание, в котором позволялось пропускать рассуждения о родовом быте, но о быте общинном как о революционном запрещалось.

Зиновьев уверяет Константина, что министр имеет намерение снять с них подписку, если это будет, то это покажет окончательно намерение нашего правительства, дай Бог, какое это будет счастье. Но как объяснить выходки министра в разговоре с Константином? Тем разве, что в голове у министра еще не все вдруг уяснилось, он очень забывчив и

вдруг вспомнит старое впечатление и путает все; или не написал ли ему Вяземский что-нибудь вследствие письма Константина, а он Вяземскому очень доверяет и находится, кажется, под его влиянием. Вяземский должен быть на днях в Москве, и Константину необходимо с ним повидаться и откровенно переговорить. В самом деле, может быть, справедливо замечание, почему Вяземский мог написать такие стихи и такую статью о Государе Николае Павловиче; потому что, живя за границей в такое время, когда везде слышались оскорбление и злоба против России, и особенно против Государя Николая Павловича, он слил в одно в своем впечатлении Николая Павловича и Россию. Говорят, что за границей нельзя слушать равнодушно брань на Государя, хотя бы дома сами его бранили гораздо более. К тому же надобно прибавить, что Вяземский был дома в такой ипохондрии, которая граничила с сумасшествием, и все это время проводил за границей. Возвратясь же в Петербург, он там нашел чуть не поклонение Государю Николаю. К тому же христианская кончина Государя Николая не могла не сделать на него впечатления. Надобно надеяться, что, приехавши в Москву и услышавши другие речи, он поймет другой взгляд. Вот еще замечательное и важное доказательство иного направления. Князь Львов, который был отставлен из цензоров за пропуск сборника Тургенева, так что ему не позволено было служить, теперь назначен цензором. Каково! Говорят, ему предлагали другую должность, но он не хотел взять; за него многие просили, и Государь велел справиться, точно ли он не виноват и был ошибочно отставлен; сделали об этом запрос Назимову; тот очень благородно отвечал, что он по совести убежден, что Львов вполне прав и невинно был отставлен. Погодин рассказывал Константину, что был недавно у Ермолова и нашел его бодрым и свежим и духом, и телом, и умом, как в цвете лет. Ермолов называет поступок Муравьева (т. е. атаку Карса) просто безумием, хотя вообще Ермолов любит и хвалит Муравьева. Истинно гнев Божий! Сколько ужасной гибели, и совершенно даром, и каких людей! Ермолов говорил также о том, что вытерпел Меншиков, будучи главнокомандующим в Крыму, как его там мучили и оскорбляли и не исполняли его требования. Два раза посылал он своего адъютанта требовать

подкрепления (кажется, перед высадкой), на что ему Государь отвечал: *Ты скоро будешь бояться своей тени!* Каково было это принять. Но я все-таки уверена, что Государь не мог бы так быть уверен в невозможности высадки, если б его не постарался в этом убедить и поддерживать этот злодей и предатель Нессельроде.

Разумеется, он примет начальство, и если Бог благословит, то может еще поправить сколько-нибудь наши дела, как они уже ни испорчены. Погодин сообщил Константину, что написал к Дмитрию Оболенскому письмо о Ермолове, именно указывая на него как на главнокомандующего, а Дмитрий Оболенский перешлет это письмо к Константину Николаевичу. Дай Бог, чтоб это удалось. Погодин имеет теперь весьма большое значение и даже влияние; он получил недавно письмо от секретаря князя Долгорукова (военного министра), писанное по поручению князя и от его имени, в котором князь спешит поздравить Погодина с огромным успехом его статьи, которая нашла полное сочувствие в общественном мнении, и что это ему особенно приятно сообщить и т. д. Что Долгоруков, который был против его статьи, пишет к Погодину такое письмо, это так замечательно и удивительно, что не знаем, как объяснить. Конечно, вероятнее всего, что Долгоруков этим письмом хочет сам себя оправдать перед общественным мнением, которого значение, может быть, они уже начинают чувствовать. Особенно теперь, когда Клейнмихель должен упасть.

Хорошо, если б и Долгорукова прочь, но он, говорят, в полной силе. Приехал из Севастополя Егор Оболенский, брат Андрея Васильевича. Константин, впрочем, его не видал, но Михаил и Юрий Оболенские ему сообщали его рассказы о Горчакове. Он отзывается *холодно*, как выразился Михаил Оболенский. Он рассказывал анекдоты про его забывчивость, доходящую до крайности; человек вовсе без головы! <...>

Владимир Самарин, говорят, чрезвычайно храбр. Солдаты скучают по северной стороне, потому что тут началась правильная жизнь, ученье и т. д. И говорят, что на южной стороне жизнь была свободнее, вольнее и порцион вдвое, только бомбардировка. Говорят: «На северной сильная позиция». Михаил Оболенский был у нас и познакомился с маменькой;

он сказывал, что Самарин уезжал чрезвычайно грустен, он делал прощальный обед, и Оболенские говорили, зачем Константин не приехал, но Константин не знал заранее, когда Самарин был в Москве. Как грустно и тяжело вспоминать, что Самарин должен был идти в ополчение! Оболенский сказывал, что великий князь Константин Николаевич говорил прежде, что не успокоится, покуда не завербует Самарина к себе, но Самарин решительно отказался, он не хочет связывать себя службой. Оболенский очень хвалит Константина Николаевича и утверждает, что все слухи, распространяемые о его дурном характере и деспотизме, совершенная клевета. Насчет Государя Оболенский говорит, что он очень слаб и никогда бы не решился отставить Клейнмихеля, если б был в Петербурге. Михаил Оболенский сказывал, что в первое время после Николая Павловича хотели его канонизировать! Почти невероятно, но в Петербурге все возможно. Хорошо также и то, что было намерение раздать всех казенных крестьян в частные руки! Но, кажется, это отменено. Также не очень приятное известие о дозволении вывозить хлеб из Крыму для Австрии; это значит давать нашим врагам возможность нас истреблять и разорять.

Когда Константин был у Оболенских, Михаил Оболенский ему показывал *записки его отца*, найденные после него, о которых до сих пор никто не знал. От семейных или его личных записок осталось всего листа четыре; остальное должно быть истреблено. Другие же касаются его служебного поприща и деятельности; тут много рассказов о Павле, вполне его характеризующих, чрезвычайно любопытных; и семейные его записки открывают всю его простую верующую душу и чисто русского человека. Никто и не подозревал, что Алекс. Петр. каждый день отдает себе отчет не только в событиях своей жизни, но и во всех движениях души своей и строго их разбирает и судит. Все Оболенские удивительные люди: при всей, кажется, пошлости и пустоте своей жизни сохраняют все тот же мир душевный и истинную доброту сердца. Михаил Оболенский был чем-то при посольстве в Вене и сказывал Константину о том сочувствии, которое славяне и вообще православные имеют к России. «Я только их не отталкивал, как другие, и они меня чрезвычайно любили».

Константин давал ему читать свою записку, без письма разумеется, и он пришел в совершенное восхищение по-своему. Он упросил Константина дать ему списать. Шилову также давал читать Константин, и тот тоже вполне доволен и согласен. У Казначеева Константин встретился с Кушниковым, которого принял сперва за ополченного, но потом Кушников объявил ему, что он так просто носит русское платье и что не отпускает бороду только по просьбе жены. <...>

Вот еще весьма замечательная новость. Приехавши в Москву, Константин узнал, что адъюнкт Гладков из Петербургского университета будет защищать диссертацию, всю основанную на статье Константина о родовом быте, и потому он был на диспуте и познакомился с Гладковым. Но как позволили печатно хвалить Константинову статью, это удивительно, тогда как министр еще так недавно выразился о ней так неблагоприятно. <...>

Вторник, 15 ноября < 1855 г. >. <...>

Среда, утро. Щепкин хотел прислать комедию, сказал, что будет Казначеев. После присутствия приехали они с Погодиным в 6 часов утра. После него явилась Мария Ивановна; говорили о Воейкове, о Сумарокове. Мы завтракали – приехал Самарин, о Хомякове, об Ив., о Погодине, о слухах политических. Казначеев приехал, – Самарин стал прощаться, они говорили друг с другом. Самарин уехал. Казначеев посидел довольно долго; сердится, что сенаторов сделали зависимыми от министра, что он сейчас бы поехал к нам, что теряет память, спрашивал, кто из братьев сидел, рассказывал про Бернадота, про современный энтузиазм и т. д. Вечером без меня были дети Хомякова, Хомяков, Воейковы. Мы сами ездили к Елагиным, видели К. Ив., Павлову, Бартенева. Томашевский рассказывал, что Редклиф отсылается; Н. Арну – начальник над всеми; визирь назначен, который за Россию; Решид-паша будет сменен. Можно предполагать мирную сделку; Турция на все согласна, чего Россия требует. Почему же и не быть так? Славяне будут жить в Турции, как у нас иностранцы.

Бицын Н. <Н. М. Павлов>
Воспоминание о Константине Сергеевиче Аксакове

I.

«Сыны века сего умнее сынов света в своем роде» (Лк 16:8. – *Сост.*) – и среди многолюдной светской толпы, в бесконечной путанице житейских отношений всякому приходится видеть оправданным на деле великий смысл этого всемирного изречения. «Сын века» хвалится постоянным успехом; сам век и все современное общество становятся на его сторону, а «сын света» представляется еще каким-то жалким, смешным юродом. Когда-то еще, большей частью спустя много времени, разберут люди отличие света и истины от лживости временного успеха! Не рабство своему времени, не лесть и угодливость современника своей современности (эта порука временного успеха) составляют отличие «сынов света».

Нам невольно пришли на ум эти общие рассуждения, едва мы произнесли имя *Константина Сергеевича Аксакова*. Какое множество, быть может, умных людей с высоты своего практического разума считали его ребенком и даже дитем. Как они должны были забавляться его простодушной верой в людей и совершенным неведением тех так называемых практических истин, что известны даже весьма дюжинным умникам наизусть. Но как вся эта масса светских мудрецов пасовала перед ним, перед этим «младенцем на злое» именно ради его неумолимого и неподкупного нравственного чувства. Никакой сделки с совестью, никакого компромисса или способа уживчивости, *modus vivendi*¹ кривды с правдой он не допускал. До сих пор приходится слышать и даже читать, при оценке личного характера Константина Сергеевича, много неверного, именно потому что проглядывают это главное его свойство. Впрочем, как литературные его друзья, так и противники единогласно сходятся в том, что это была чистейшая и честнейшая природа. Довольно припом-

¹ Способ существования (*лат.*). – *Сост.*

нить хотя бы теплые строки Герцена, написанные о нем сейчас по получении известия об его смерти в 1860 году на острове Занте.

Да! это была жизнь, это была и смерть совершенно особенная.

И теперь, стоя у надгробной плиты, где вычеканено *К. С. Аксаков*, с особенной живостью чувствуешь, как все им говоренное и написанное было искренно. Даже самая полемика его, а порой прямо и бичеванье противоположных принципов, как они были незлобивы, праведны можно бы сказать. Ответственность за все свои строки, даже полемические, представлялась ему при жизни долженствовавшей быть именно такой, чтобы от них не отрекаться даже из-за могилы. Во всех его сочинениях это чувствуется сейчас.

Писаного он оставил после себя сравнительно немного; но вся его жизнь была непрерывная, живая проповедь. Это был один из тех общественных деятелей, чей личный характер, сам нравственный образ и весь поступок оказывают еще больше влияния, чем остающиеся после них писанные строки.

– «Я ему руки не подаю», – сказал мне один раз Константин Сергеевич про человека весьма известного тогда в московском свете. Признаться, меня это удивило, именно потому что личность, о которой шла речь, пользовалась всеобщим внешним почетом; трудно бы было и избежать встреч в обществе именно с этим, бывшим тогда в славе, общественным деятелем. «Я не знаю ничего безнравственнее светской нравственности, – продолжал как бы в пояснение своей мысли Константин Сергеевич. – Случалось ли вам слышать такое общепринятое про человека выражение (именно только в свете оно могло родиться!): это разбойник, это безнравственный человек, *mais c'est un homme tout à fait comme il faut*¹, руку ему можно подать?»

– «Я у нее не бываю и с ней не говорю», – точно так же сказал мне раз Константин Сергеевич про одну известную даму, и это меня удивило тем более, что с ее мужем сам Константин Сергеевич был в постоянных живых сношениях.

Многим покажется странным, что один единственный человек берет на себя не кланяться и не подавать руки такому лицу, которого носит

¹ Но это человек вполне приличный (фр.) – *Сост.*

на руках весь город. Но многим и приходится пожелать побольше странностей этого рода.

«Fausse honte!» вот еще слово! – часто приходилось слышать от Константина Сергеевича. – У нас найдутся тысячи храбрецов, готовых лезть на пушки, но они спасуют пред малейшим искушением именно *fausse honte*’а! О, как надо всякому бороться с этим чувством! Если есть честное убеждение и сознание в том, что оно честно, надо идти с ним вперед; надо иметь мужество исповедовать его открыто, хотя бы презрительные насмешки сыпались кругом. Fausse honte – это глубочайшее рабство человека; такое рабство, никакое другое с ним не сравнится. Это гниль души. Fausse honte – понятие также совершенно светское. Оно именно могло выработаться только в бездушной, безнравственной среде. И я вообще не знаю ничего безнравственнее самого этого понятия: *свет*. Оно у нас не свое, оно пришло к нам с Запада. Это целый принцип пленительно-лживый. А не та ложь и не то зло страшны, которые уж с виду отвратительны и отталкивают от себя. Страшна та ложь, которая имеет в себе прелесть и демоническую силу обаяния. Опасно то зло, которое тянет и, как всякое художественное начало, пленительно. Das Uebel ist reizend², – недаром говорят немцы».

Читая в тогдашнем «Современнике» и в прочих модных журналах всякого рода пошлости о так называемых славянофилах, не верилось, наконец, самому себе и приходилось краснеть за себя, странно делалось всякому, сходявшемуся с кем-нибудь из этих людей лицом к лицу. Почему же ни от кого из них не слышишь чего-либо даже похожего на те общие избитые места, которые повальным хором тогдашней учености и журналистики выдавались за альфу и омегу их вероучения?! И, напротив того, непременно, с первых же слов и с первой встречи слышишь от каждого из них – запрос нравственности прежде всего и во главе всего. Притом и затрагивается он, этот неумолимый запрос, в таких разнообразных видах и по таким нечаянным поводам, что другим еще и самой уместности этого запроса тут бы и не приметить.

¹ Ложный стыд (фр.). – Сост.

² Зло заманчиво (нем.). – Сост.

Раз вечером свел меня Константин Сергеевич в свой кабинет для прочтения одной статьи. Дом был на большой людной улице, и окна кабинета в нижнем этаже выходили прямо на тротуар. Письменный стол, освещенный лампой, казалось мне, должен был ярко выдаваться на улицу. «Не опустить ли шторы?» – невольно спросил я. «Зачем? – с живостью возразил Константин Сергеевич. – Вот, если бы мы садились с вами за бутылки или играть в карты – тогда другое дело. Но тут рабочий письменный стол, тут сидят за книгами и тетрадями. Не вижу никакой надобности завешиваться от людей. Пройдет мимо какой-нибудь студент или другой кто, почем знать? Может быть, еще это наведет на добро кого-нибудь из проходящих».

Один раз пришлось мне просить Константина Сергеевича уделить несколько часов времени для выслушания одной рукописи; а к ней он относился и сам с живым участием. Он назначил мне быть на другой же день. Чтение началось с раннего утра и продолжалось часу до четвертого. Перед самым началом Константин Сергеевич оговорил в доме, что он будет занят и желающих видеть собственно его не принимать никого. Скоро раздался звонок, человек вошел в комнату и назвал фамилию приехавшего. «Сказать, что я занят и принять не могу», – отвечал Константин Сергеевич. В самом непродолжительном времени последовал другой звонок, потом третий. Человек по-прежнему входил с докладом. «Занят и принять не могу», – по-прежнему отвечал Константин Сергеевич. Не помню после которого звонка и доклада, я наконец не выдержал и спросил: почему бы не сказать в таких случаях общепринятого: *дома нет*? «Очень жаль, что это общепринято, – с живостью возразил Константин Сергеевич, – но ни в малых, ни в больших делах лгать не вижу надобности. Неужели не проще сказать: *не могу принять*, чем *нет дома*? Тем более, что, если бы кому-нибудь встретилась теперь действительная необходимость меня видеть, мне было бы даже совестно лишиться его этой возможности, да еще и солгав перед ним. Но вот, вы сами видите, нас никто и не беспокоит. Мне кажется даже, что, привыкнув к моему обычаю, то есть к тому, что я не отказываю фразой *дома нет*, сами посетители тяготятся теперь настаивать на непременно свидании, а это бывает при

лживом ответе *нет дома*». Было и еще несколько звонков. После одного из них человек доложил фамилию одного из профессоров Московского университета, оговорив, что просят непременно принять хоть минуты на две. Константин Сергеевич, извиняясь за перерыв чтения, вышел к этому посетителю и даже менее чем через две минуты возвратился назад. «Вот видите ли, – **сказал он сияющий, – мы и опять свободны продолжать чтение**; такой маленький перерыв почти и не помешал нам. А я рад, что не отказал в приеме: профессор хлопочет об одном бедном студенте, дело идет о его определении, а оно и вовсе не состоялось бы, если бы я не дал сейчас себя видеть; теперь же дело кончено, и молодой человек устроен. И, поверьте мне, люди чутки к правде более, чем обыкновенно думают. Откажи я ему под предлогом, что меня дома нет, и потом выйди к нему по его усиленной просьбе, **он продержал бы меня гораздо долее, чем теперь**, когда ему сразу сказали, что я дома, но занят».

Мне припоминается **рассказ очевидца о диспуте Константина Сергеевича при его магистерской диссертации: «Ломоносов»**. Это рассказ Ф. М. Д-ва, который в шестидесятых годах и сам занимал кафедру в Московском университете, а тогда лишь готовился к тому и был накануне своей собственной магистерской диссертации. **На все возражения – рассказывал этот очевидец – Константин Сергеевич отвечал живо и ничего не уступал из собственных тезисов. Но после одного сделанного ему замечания магистрант вдруг воскликнул: «Ах, какое дельное возражение!»** И это с такой детской искренностью и с таким невольным движением руки, поднесенной к волосам, что вся аудитория разразилась смехом. Ясно было, что не личное самолюбие, а самый предмет спора занимал диспутанта.

Приходилось часто слышать Константину Сергеевичу даже от своих друзей, что со своим собственным прямодушием он слишком доверчив к прямодушию и всех других, – *ловится на одну и ту же удочку*, по одному памятному для меня отзыву. Приведу кстати и самый анекдот, напомнивший мне этот отзыв. Тем более уместно будет здесь это маленькое отступление, что выступает в рассказе сам автор «Семейной хроники», старик Сергей Тимофеевич, отец Константина Аксакова; а они всегда были вместе, редко можно было видеть одного без другого, и по крайней мере в моих

собственных воспоминаниях – они всегда неразлучны и всегда встают слитно. За хлебосольным столом С. Т. Аксакова, кроме многочисленной семьи, обеживало обыкновенно много и знакомых. Не вдруг расходились и разъезжались после обеда; все располагались частью в гостиной, частью в зале или еще в другой сборной комнате возле столовой. За кофеем продолжалась беседа; длилось своего рода *far-niente*¹, и вдруг иногда на две на три минуты импровизировались тут какие-нибудь «маленькие игры». Старик – и тогда уже неразлучный с большим зеленым зонтиком на глазах, но еще бодрый, живой и не страдавший своим последним мучительным недугом – также не уходил к себе, а оставался где-нибудь тут же курить свою трубку. (Правильнее сказать, это была не трубка, а длинный черешневый чубук с янтарным мунштуком и с металлическим наконечником – совсем как быть трубке, только не табак крошился туда, а вставлялась сигара.) Между вечером и светом, раз в такое именно *far-niente*, стали *играть в мнения*. Игра, как известно, состоит в том, что один из присутствующих удаляется из круга; на маленьких билетиках, тут же десятками нарезанных из листа бумаги, всякий пишет о нем какое-нибудь «мнение»; после того как все напишут свое – его призывают. Тогда один за другим вынимаются билетики по очереди и прочитываются вслух; слушатель должен угадать хоть одно из них: кто про него написал что? Вот один и удалился из нашего круга; по возвращении он выслушал себе: «иронист!.. вовсе не занят собой!.. имеет вид утомленного!.. для всех, кто его не знает, кажется он холодным эгоистом, а для всех кто его знает – глубоко любящим человеком, и вся его беда в том, что очень немногие его знают» и проч. и проч. Слушатель таких комплиментов себе (или, пожалуй, критик) угадал наконец одно из «мнений»; теперь пришла очередь выйти из круга самому Константину Сергеевичу. «Кто, кто ушел – Константин, да? О нем собирают мнения?» – спросил вдруг старик, казалось уже дремавший в уголке со своей трубкой. «Дайте и я напишу о нем свое мнение». Тут же на одном из билетиков Сергей Тимофеевич быстро черкнул карандашом, сложил как все прочие и опустил в общую урну. Когда наконец все билетики были собраны и Константин Сергеевич возвратился в наш круг отгадывать, кто

¹ *Far-niente* – ничегонеделанье (*итал.*). – *Сост.*

из нас что напасал о нем, – нельзя было на него смотреть без сдержанного смеха. Точно не в шутку тут о нем шло дело! С какой-то неподдельной серьезностью выслушивал он чтение билетиков, с какой-то еще детской лукавостью обводил всех присутствующих, что называется, **вылупленными** глазами. И вдруг мгновенно... как только прочитали на одном билете: *ловится на одну и ту же удочку...* с быстротою молнии указал на своего отца, окликнув еще его ласковым дружеским именем, каким привык его называть с детства, как только начинал лепетать его язык, и которым уже не переставал называть его и по конец жизни, особенно в кругу близких. **Взрывом дружного веселого смеха так тогда и кончилась игра, задуманная** нами в час между вечером и светом. Эта, если можно так выразиться, взаимная меткость и отгадчика, и загадавшего загадку **донельзя всех рас-**смешила. «*Ловится на одну и ту же удочку*» – с тех пор часто приходилось это выслушивать Константину Сергеевичу при разных случаях.

Зашел как-то разговор об одном не совсем обыкновенном студенте. Кончив курс на филологическом отделении, он заявил о своем желании поступить еще на медицинский факультет. Это несказанно обрадовало Константина Сергеевича, он расточался в похвалах молодому человеку и ставил его в пример истинной любви к науке. **Один из собеседников вы-**разил сомнение на этот счет и объяснял дело гораздо проще: студентам такого рода, утверждал он, предоставлены разные выгоды и льготы; кроме того, выдаются очень хорошие стипендии; это будто и побуждает иногда по окончании одного **факультета переходить еще на другой.** «Я, по крайней мере, с своей стороны не думаю так», – отвечал Константин Сергеевич весьма серьезно: «**Добрым хорошим делам всегда будет вернее приписывать и доброе хорошее побуждение.**»

Этот маленький случай невольно напоминает ту восторженность, с какой он говорил о великих исторических делах, совершенных по чистейшим человеческим побуждениям, – и то негодование, с каким он относился, когда те же великие деяния извращали наизнанку. Французского народа он не любил. «Это беднейший язык, это ничтожнейший народ. Его буржуазный *bon sens*¹ только посредственности по плечу», –

¹ Здравый смысл (фр.). – *Сост.*

и едва нападал он на эту тему, каждый раз не мог не повторить вечно одного и того же. «Иоанна Дарк – вот единственная личность в целой французской истории, перед которой нельзя не благоговеть, перед которой человечество и благоговееет. И что же сделала Франция со своей героиней? Она не только выдала ее своими руками на костер смертельным врагам, но еще в лице своего национальнейшего поэта или по крайней мере писателя втоптала ее в грязь и кощунственно насмеялась над ней. Ибо если и можно кого-либо из французских писателей назвать выразителем своего народа, то, конечно, Вольтера». И непременно вслед затем переходил он к Иоанне Дарк Шиллера и восторженно декламировал его апофеозу этой героине и проклятия низкой природе грязных людей, им же свойственно чернить все великое и святое. Как хорошо звучали в его устах эти благородные строфы:

Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen,
 Und das Erhab'ne in den Staub zu zieli'n;
 Doch fürchte nicht! Es giebt noch schöne Herzen,
 Die für das Hohe, Herrliche entglüh'n.

«Чужой народ воздал честь и отдал справедливость этой светлой личности, – уже с энтузиазмом говорил Константин Сергеевич, – потому что он был способен оценить ее высоту. То, что немцы зовут *etwas Ernstes*¹ – вот чего именно не достает целой французской нации».

Шиллер был любимейший поэт Константина Сергеевича; именно нравственный, душу возвышающий элемент его поэзии он ценил высоко. Свою предпочтительную любовь к Шиллеру он запечатлел множеством переводов из этого поэта (они и были в свое время напечатаны) и любил часто произносить наизусть его стихи. А в свое путешествие по Германии он посетил все города и в них все дома, отмеченные присутствием Шиллера.

Я вообще не могу припомнить беседы Константина Сергеевича, чтобы она не была оживлена в то же время целым потоком стихов из его лю-

¹ Нечто серьезное (нем.). – Сост.

бимейших поэтов или и собственных импровизаций. При этом какое-то постоянное телесное и душевное здоровье, какое-то непрестанное веселие духа и бодрость живого сердца отражались на его несказанно добром и как бы ребячески улыбающемся лице. **Широкий интерес к науке и особенно русской истории, интерес художественный, одним словом, интеллектуальный интерес**, притом с вечным и неумолимым запросом нравственного интереса в основе и во главе всего – это была его сфера, его стихия.

Впрочем, **само время, когда воспитывался и складывался литературный характер Константина Сергеевича, тридцатые годы**, было именно тем временем, **когда все мыслящее общество жило у нас почти исключительно художественно-литературным интересом**. К тому же дом автора «Семейной хроники», его отца, славился искони как своего рода центр, где сходились лучшие писательские силы, – в такой среде как было и не сложиться литературному характеру? Это время заслонено теперь от нас бурным периодом социальных реформ; наша современность кишит экономическими и политическими вопросами; тот почти исключительно художественный и литературный период, своего рода *золотой век* в жизни Московского общества, еще ждет своего летописателя.

Н. И. Костомаров в своей известной речи «Об исторических трудах по Русской истории К. С. Аксакова» сделал чрезвычайно верную замечку. Отношение и любовь Константина Сергеевича к Русской истории были совершенно своеобразные, говорит он, и вот это-то *«своеобразие»* давало ему возможность разгадывать многие стороны и явления русской жизни, недоступные для других. **Этот своеобразный аксаковский взгляд г. Костомаров зовет еще и «своенародным».**

В чем заключалось такое «своеобразие» Константина Сергеевича – на это и должен дать по возможности ответ всякий, пишущий об нем свои воспоминания.

Начать с того, что он любил русскую деревню, рос в ней и весь сельский быт был ему свой. **В какой мере кабинетный ученый (этот, выросший среди казенных школ, отвлеченно-культурный космополит) должен превратно судить о русском языке, о русском народе и вообще о русской истории: тому, к сожалению, в нашей ученой литературе слишком много**

примеров. Напротив, кому сельский народный быт знаком от пеленок; кто вместе с материнским молоком всасывал неуловимые и неизследимые влияния народности, прежде чем об ней даже думать; кто с детства напивался родными впечатлениями своего собственного народа от всей окружавшей его действительности – тому с детства же доступен быт и язык этого народа по живому откровению непосредственного чувства и дан ключ к разумению его.

Константин Сергеевич, которому итальянские виды не заменяли картин родной природы, которому колыбельный романс французской или немецкой бонны не заменял русской колыбельной песни и которому ни один иноземный язык (при всем их знании) не заменил родной речи, Константин Сергеевич был особенно счастлив тем, что родился и воспитался в совершенно русской семье, в русском доме и получил прямо русское образование. А это составляет большую редкость еще и в наши дни. Когда он поступил в Московский университет, его ум и сердце, не иссушенные в четырех стенах казенного заведения для покорного и машинального восприятия каких угодно, хотя бы и чуждых учений, вовсе не были белым листом бумаги, на котором пиши что угодно. Нет! Уж там крепко засело свое. Университетская наука только укрепила сознательно в нем все то, что прежде было лишь его непосредственным чувством; всю жизнь он и остался ему верен до конца.

Не страдай наше общество еще и теперь, а особенно тогда, своим известным историческим недугом «раздвоения», или прямо сказать расколом, не будь в нем продолжающегося и теперь, а тогда еще сильнее-шего разрыва с народом, конечно, и представитель «Русского народного направления в жизни и Русского народного воззрения в науке» был бы избавлен от горькой доли отыскивать свои идеалы лишь в прошлом, а если в современности, то исключительно в одном простонародье. Но в тогдaшнее время, при полном разрыве верхних классов с народом (не забудем существовавшего крепостного права) и при всеобщем антагонизме «публики и народа», такая односторонность составляла у нас роковую неизбежность. В этой невольной односторонности заключалась своего рода «идиосинкразия» славянофилов всех вообще, а Константина Акса-

кова по преимуществу. Так как тогдашнее общество было в разрыве с народом, то приходилось еще, любя народ, быть как бы в разрыве с тогдашним обществом. Это понятно.

Сочувствуя русской сельской природе, а не общепризнанным живописностям в роде берегов Рейна; русскому серому осеннему деньку (которые так любил Пушкин, заметим в скобках), а не непременно безоблачной синеве Кастелламаре; чуждаясь идеалов байроновской поэзии или жорж-зандовского романтизма; любя все свое и живя своим родным, естественно было находиться в разрыве с тем полурусским обществом, где царили – **вверху: отвлеченно-культурный космополитизм, возведенный в принцип и систему, а под самым верхом: смесь французского с нижегородским.** Что это было за общество тогда? Оно иначе не лепетало как **по-французски; не признавало иных красот природы, кроме утопанных** модными ботинками берегов Рейна; оно бредило иноземными идеалами, а все свое, в котором, впрочем, ничего и не смыслило, считало за что-то отреченное и в собственном смысле за *mauvais genre*¹. Все это уже кажется пошлым в наши дни; но не надо забывать, что именно эта пошлость господствовала в полной силе в те времена, которые совпадали с юношеством Константина Сергеевича.

Бесспорно, было бы **непростительной односторонностью утверждать**, что единственно лишь в простом народе, прямо только в русском крестьянстве, заключаются перлы человечества; но бесспорно и то, что симпатии русского человека, для которого современное общество представляло жалкую смесь французского с нижегородским, должны были обратиться именно на эту среду. Именно здесь, хотя и в грубом, убогом виде, он наконец угадывал свои собственные идеалы и весь быт и строй признавал родным и близким себе, а не заимствованным от немцев. Это преимущественное поклонение крестьянству, прозрение русских вселенских начал как бы воплощенными исключительно и наиболее лишь в образе сельского мирянина (этого «*всечеловека*», по позднейшему выражению Достоевского) составляли в своем роде увлечение Константина Сергеевича или, как мы выразились, идиосинкрасию его. Он охотно

¹ *Mauvais genre* – дурной тон (фр.). – Сост.

признавался, что сам Ломоносов, герой его магистерской диссертации, тем особенно и дорог ему, что вышел из недр народа, из крестьянства. Сельское мирское устройство, жите сел миром, соборное начало свободного народа и живой союз всех меньших миров в один великий мир целого русского народа, причем сам он себя и не зовет иначе, как только «православным христианством», – вот что было дорого и заветно для Константина Сергеевича в его симпатиях к коренному русскому населению и чем он наиболее дорожил, вполне сознательно, в его быте. Такой быт, прямо сказать неотделимый от быта самой Божьей Церкви на земле, был ему *свой*. Это же и есть быт русский, преимущественно русский, не искаженный и не затемненный никаким, чуждым славянскому духу, идеалом. Многие ли способны понимать его еще и в наши дни? На место вселенского духа, искони свойственного русскому народу, его лжеподобие, безнародный дух космополитизма и сокрушение коренных основ русской народности, не почитаются ли еще и в наши дни верхом не только светской, а даже и государственной мудрости?

Про веру Константина Сергеевича, про его живое чувство своей принадлежности к Церкви – можно вообще сказать то же самое, что было сказано Ю. Ф. Самариным относительно Хомякова. «Он живет не *при* церкви и не *с* церковью, а он живет *в* самой церкви». Это почти то же, что говорит и сам Константин Сергеевич по поводу жите не *при* народе, а *в самом народе*. Любя народ, естественно, он глубже других чувствовал и всю фальшь наших мнимых «народолюбцев». Это те когда-то бывшие в моде лживые гуманисты, которые взирали на русский народ с торцевой мостовой Невского проспекта в *pinse-nez*¹ на носу, и им чудились о русских крестьянах и крестьянках небывалые страдания; а страдание настоящее – полное отчуждение от них самих этих господ народолюбцев – даже не примечалось. Он метко заклеил таких гуманистов известным стихом: *страдать не с ними, а за них*. Он страдал и радовался заодно с народом, ибо, прямо сказать, жил в народе. При нормальном развитии общества это и составляло бы совершенно нормальное явление; вина уж не его, а именно самого общества, если все такое казалось

¹ Пенсне (фр.). – *Сост.*

эксцентрическим. Возвращение к родному быту и к коренным русским началам, действительно, составляет для всех нас некоторый подвиг самосознания; это еще не дается нам непосредственно. В Константине Сергеевиче это чувствовалось весьма живо. Если он одевался по-русски, предпочитая кафтан и мурмолку фракку и цилиндру; если рано вставал к заутрени, а не спал, как Онегин, «утро в полночь обротя», конечно, он это делал от души и вполне сердечно; но в этом еще заключалось и требование его ума. Все такое освещалось у него еще и сознанием: *ничем не розниться от своего народа*. Заговаривали ли с ним о соблюдении или несоблюдении постов, о посещении или непосещении церковных служб – он поражал всякого особенным глубокомыслием и свободомыслием на этот счет; но сам попадал к обедне или к заутрени не только по одним годовым праздникам и соблюдал посты, кроме установленных в разное время года, еще и по средам и по пятницам. И это столько же по живому чувству своей принадлежности к родной Церкви, которой был предан всем сердцем, сколько еще именно по требованию своего ума: *ничем не розниться от народа*.

Прибавить надо к тому, что тогда господствовало в полной силе, уже покосившись со своего апогея, крепостное право. Некоторое *prédilection*¹ в пользу крестьян просто входило в моду. Заигрывать на этой струнке составляло уже излюбленную тему всех русских людей, почитавших себя либералами и передовыми. Хотя эти своеобразные либералы не брезгли даже до последних дней заводить «крепостными метрессами», или продавать «населенные» имения с молотка для жительства за границей, или спаивать народ, устраивая для него кабаки и занимаясь винокурением или даже откупам, – они громче всех начинали кричать о «горькой русской долюшке» и уже плодили некоторый фальшивый сентиментализм в пользу «низшей братии» и «слияния сословий». Пусть в славянофильском тогдашнем увлечении русским крестьянином и было, пожалуй, какое-нибудь преувеличение, – во сколько же раз оно возвышеннее и чище в своем источнике, а главное и справедливее в корне, в существе дела – против всей этой сентиментальной фальши наших «западников»,

¹ Предпочтение, расположение (фр.). – Сост.

начавшейся еще с сороковых годов и процветшей окончательно пышным цветом в шестидесятых!

Нечего и говорить, что крепостное право было противно Константину Сергеевичу. Он же как действительный историк хорошо знал, что это – цветок новой России, послереформенной. Известно, что задолго до эмансипации крестьян как лично со стороны Константина Сергеевича, так и со стороны многих единомышленников этого кружка составлялись и ученые изыскания, и записки для представления правительству об отмене крепостного права в России.

II.

Поудить вместе с автором «Записок об уженье» у него в подмосковной, посетить то самое Абрамцево, где написаны эти *Записки*, потом и «Записки ружейного охотника», и «Семейная хроника», – давно мне этого хотелось.

В тот год Константин Сергеевич издавал «Молву» – еженедельный листок, выходивший по субботам. Проводя лето с отцом в Абрамцево, он каждую неделю перед выпуском номера приезжал в город; у меня и было условлено, что я соберусь в Абрамцево с ним. Но юноша, едва кончивший университетский курс – каким я был тогда, – не мог располагать своим временем вполне свободно. Проводя лето в деревне же, но в другой губернии, я только изредка попадал в Москву, и задуманная поездка все не удавалась. Наконец, один раз мне посчастливилось. Дело, за которым я приехал, было кончено; несколько дней впереди оставались в полном моем распоряжении; к тому же от кого-то из знакомых я узнал еще с утра, что Константин Сергеевич в Москве, остановился там-то и вечером опять уезжает в Абрамцево. Больше я не захотел откладывать.

...«Как это вы меня здесь разыскали!» – удивился он моему неожиданно появлению, скорей вырвал толстую сигару из зубов и, по своему обыкновению, приветствовал троекратным русским поцелуем.

– Но я еще с тем, чтоб ехать с вами в Абрамцево.

Ахнул Константин Сергеевич и опять прижал к своей груди. Я всегда дивился, как он сильно и крепко обнимает, а если руку жмет – точно ото-

рвать хочет. «Как я рад, что ваше давнишнее обещание и мне, и батюшке вы решились наконец привести в исполнение. Очень рад, но...» – и вдруг замолчал, а на его лице змеилась детски-лукавая улыбка.

Ясно, что не нездоровье в доме или что-нибудь серьезное смущало его за нашу поездку; но что именно, я не понимал.

«Вот подите! Надо же было так случиться! – продолжал он уж с истинным горем. – Каждый раз приезжал я – а езжу аккуратнo всякую неделю – в фазтоне; и так удобно и покойно было бы вам доехать со мною. Как нарочно нынешний раз...» И опять смолк, а та улыбка уже во всю ширь заиграла на его лице. Именно так смеются дети, уличаемые сотый раз в одной и той же шалости.

Я наконец спросил: **что же такое? «Я на простой телеге приехал!»** – совсем досказал он свою уличенную шалость.

Для меня в том не было помехи; я прямо и высказал ему это. «Нет! – отговаривал он очень серьезно. – Отложимте до другого раза. Я понимаю, нынешняя избалованная, **изнеженная молодежь – не виню вас лично, а говорю вообще про современную молодежь** – даже не вынесет варварской тряски. Притом смотрите, какая погода! Дождик кругом».

Я сослался наконец на то, что я охотник; мол, нашему брату мало ли приходится мокнуть под дождем и **трястись на телеге по пням да по болотам!** Это последнее, по-видимому, его совершенно убедило.

«Ну, очень рад, когда так!» – и мы ударили по рукам. Навечер было условлено **сойтись в типографии «Семэна», где печаталась его «Молва»**, прямо оттуда сесть и ехать. «Только смотрите же, – сказал он уж в дверях на прощанье, – я вперед говорю: я слагаю с себя всякую ответственность».

Это последнее было сказано так серьезно, что я даже рассмеялся. Но вечером, **трясаясь по грязной мостовой бесконечных улиц, тускло освещенных масляными фонарями**, приходилось действительно сознаваться, что прогулка задумана не совсем впору. Хотя были первые числа июля – на дворе стояла ни дать ни взять осень; моросил мелкий дождь, и все небо заволокло тучами: **просвета ниоткуда. Подъехав к типографии “Семэна”, я уже застал там злополучную виновницу, смутившую Констан-**

тина Сергеевича за нашу поездку. Грузная, полновесная, огромная телега, запряженная парой доброезжих коней, стояла на мостовой у самого крыльца. Деревенский кучер мокнул под дождем, распустив над собой большущий зонтик. Вся типография множеством ламп ярко сияла на улицу; все ее окна были растворены настежь. Я уже видел там веселое, живое лицо Константина Сергеевича, и до меня доносился его громкий, бодрый смех. Он сидел под самым окном с сигарой во рту и, пуская целые клубы дыма, марал корректурные листы, спешил последними распоряжениями насчет исходящего номера «Молвы». Едва завидел меня, и уж стал прощаться с почтенным хозяином любимой типографии, потом и со всей типографской братией, приставленной собственно к его газете; они провожали его до дверей.

Мы стали усаживаться. Кучер передал ему тот большущий зонтик, а он силой вручил его мне. «Ха-ха-ха!.. – смеялся он истинно ребяческим смехом. – Я люблю дождь, а вы совсем другое дело...» Мы поехали обычным путем троицких богомольцев в Крестовскую заставу. Сейчас за ней будет село Алексеевское, Ростокино, Малые Мытищи, а там и Большие. Дождь, накрапывая все сильнее, так и барабанил по зонтику.

«Возьмите мой азям, – сказал Константин Сергеевич, – не слишком ли легко, гляжу, вы одеты?» И он мне предложил что-то вроде плаща или бурки из такого, казалось, плотного сукна, что его не проймет никакой ливень. Я, признаться, обрадовался такой великодушной уступке и сейчас же закутался с головы до ног. Сам Константин Сергеевич, впрочем, и не думал прибегать к «азяму»; этот плащ лежал свернутым на дне телеги под сидейкой; только для меня он о нем и спохватился. За заставой сделалось уж совсем темно; холодно и ветрено было в поле.

Я вспомнил, что всего какой-нибудь год тому назад по этой самой дороге я совершал хождение пешком к Троице с толпой университетских товарищей; эти путешествия тогда были в обычае у нас. Стал припоминать Константин Сергеевич и свои собственные хождения к Троице; потом рассказывал про такие же пилигримства еще Языкова, Елагиных и Киреевских. Один раз паломники положили на весь путь уговор между собой: оставлять по импровизированному стихотворению на каждой

стоянке. Языков, когда пришли в Большие Мытищи, сказал свой экспромт на громовые колодцы.

Отобедав сытной пищей,
Град Москва, водою нищий,
Знойной жаждой был томим.
Боги сжалились над ним.
Над долиной, где Мытищи,
Смеркла неба синева;
Вдруг удар громовой тучи
Грянул в дол – и ключ кипучий
Покатился – пей, Москва!

Вторая стоянка была в селе Пушкине. Здесь жила в то время кормилица «Наследника», то есть покойного Царя-Освободителя. Она была отсюда родом. Молочный сын, как известно, здесь, в ее родном селе, поставил ей в благодарность хорошую крестьянскую усадьбу. Ее и имели обыкновение посещать странники. Языков именно на это и сказал свой экспромт в селе Пушкине.

«Здесь в Пушкине мы посетили дом» – следовало описание той, чья грудь вскормила надежду России, и все венчалось заключительным стихом:

...чьи белы руки
Играли будущим Царем.

Переходя от одного экспромта к другому, Константин Сергеевич продолжал уже восторженные декламации из всех своих любимейших поэтов и из собственных своих стихотворений.

– «Неужели, однако, вы не замечаете дождя?» – невольно прервал я его импровизацию, чувствуя, что холодная струя закрадывается ко мне уж под галстух. Сам непромокаемый азам обратился в мокрую тряпку.

Только рассмеялся Константин Сергеевич! Его радовало, что сам Овер, тогдашняя медицинская знаменитость, за его железное здоровье

прозвал его Печенегом. «Смолоду, – говорил он, – приучал я себя не быть неженкой, не бояться ни простуды, ни какого-либо расстройства, одним словом, ничего, свойственного нынешней хилой молодежи. Наконец, больше того: именно в природе, среди ее стихий и в борьбе с ними, я себя чувствую особенно хорошо. Верите ли? Сама эта тряска телеги меня только *сбивает*: крепнешь от нее. Рессорный экипаж нежит, балует; а телега *сбивает*. Так и дождь, стужа, всякое неудобство, от них только крепнешь». И говоря это, он успевал еще, как в самую тихую погоду, закуривать на лету от спички свои сигары.

Я дал ему заметить, что не налюбуюсь, как славно работает наш коренник! Будто свою собственную честь видел добрый конь в том, чтоб торопиться не выбиваясь из сил: вез добросовестно и благоразумно, и мне было приятно услышать в ответ, что это конь доброго завода, выведенного еще прадедушкой Константина Сергеевича в степях Оренбургской губернии, а тогда Уфимского наместничества. Мне невольно вспомнились степные стоянки при езде *на своих*, описанные в «Семейной хронике» и в «Детских годах Багрова-внука». Вот что за добрый конь везет меня, думалось мне потом уж всю дорогу: потомок тех самых прародителей, героев еще той степной езды!

Была совсем ночь, когда мы стали приближаться к Пушкину; дождь лил как из ведра. Константин Сергеевич обнадеживал меня близким ночлегом. Обыкновенно он делал всю дорогу, почти не останавливаясь, а только выкормив лошадей. Теперь, нарочно для меня, предполагалось сделать привал в Пушкине на знакомом постоялом дворе. Хозяева ему знакомые люди и дадут все, что нам нужно. Признаться, я обрадовался услышать о ночлеге. На мне не было сухой нитки; зонтик давно пришлось отложить в сторону, он только пуще мочил своей собственной сыростью; а напивавшийся дождем азиям давил меня пудовой тяжестью. Когда, наконец, мы остановились у желанного постоялого двора, я насилу выбрался из телеги.

Комнатка, отведенная нам, ничем не отличалась ото всех таких комнат на всех тогдашних постоялых дворах. Два окна, в простенке тусклое зеркало, два стула и один стол чурбанного изделия; наконец, диван, кра-

шенный под красное дерево, с деревянной спинкой и деревянными остроугольными ручками; сиденье было из волосяной материи и жестко, как кирпич. В довершение всего жара и духота нестерпимые. По соседству едва ли не приходилась кухня. По крайней мере, печь, выдававшая здесь в углу и топленная из другой комнаты, была накалена как бы в пору только зимой в **самые Крещенские морозы. Но после тридцати верст под холодным ливнем я обрадовался даже и здешней духоте. Сам Константин Сергеевич**, как ни в чем не бывало, был жив и бодр и весел по-прежнему. Он распорядился, чтоб мне была принесена целая кровать с сухим чистым бельем; сам передавал хозяевам подробные наставления о просушке за ночь всего моего гардероба и **сверх своего обыкновения велел кучеру** совсем отпрячь лошадей на ночевку. Тут же предложил он мне сухое легкое верхнее платье, **бывшее у него среди прочего тележного запаса, и велел** подавать чай, требуя, чтобы я непременно согрелся у самовара. А положение юноши, этого бывшего путника, похвалившегося еще тем, что он, дескать, охотник, а теперь **синевшего и дрожавшего от холода, должно было казаться** истинно забавным. Прежде всего, я отвел себе целый особый уголок за печкой, **чтобы только освободиться от груды намокшего платья; как только** скинул с себя азам и пальто – целое озеро воды образовалось на полу у печки; а когда сбросил туда же на пол и мокрое белье, брызги от него буквально полетели в потолок. Не помню, как я заснул.

Отдохнув за ночь и обсохнув в тепле, я проснулся в самом приятном настроении духа: **не оставалось и следа вчерашней простуды. Я весело об-**глядывал **всю комнату, золотившуюся янтарным блеском на утренних лучах** солнца; дождик унялся. Но я был поражен странной картиной. Против моей кровати у противоположной стены стоял тот самый диван, у которого волосяной тюфяк был жесток, как кирпич, и ручки так остроугольны, что об них можно было порезаться. Константин Сергеевич заснул на нем, как был, с ног до головы весь одетый; а голова его покоилась именно на ручке дивана: никакого другого изголовья не было. От этой злосчастной ручки у него образовался весьма изрядный рубец во всю щеку. К тому же утренние лучи солнца расположились именно так, что ударили ему прямо в лицо. Приподнявшись на постели, я дивился. Этот легкий шорох разбудил его.

«Ну, отогрелись ли вы? Нам пора и ехать. Дома знают, что я никогда не останавливаюсь в дороге и ждут давно. **Напейтесь чаю и едьте».** Оказалось, что, устроив весь этот ночлег собственно для меня, он не мог, как это делал обыкновенно в течение краткой стоянки, все время ходить по комнате или по коридору, даже не присаживаясь. Волей-неволей пришлось прилечь на диван. **Несколько раз он уже просыпался и наведывался к лошадям, готовым в путь, но, не желая меня будить, прикладывался снова.** Что же касается до его шрама, этого весьма сильного рубца во всю щеку от лежания головой прямо на ручке дивана, он только рассмеялся добродушнейшим смехом, когда я попросил его поглядеться в зеркало.

Кто из троицких богомольцев не помнит живописных мест, открывавшихся путнику, когда приходилось, оставя Троицкое шоссе, сворачивать в сторону проселком к Хотькову монастырю? Теперь, с проведением железной дороги, мало уже кто посещает эти места. **Все едут прямо к Троице;** утрачивается старинный обычай, будто завещанный самим Сергием, прежде чем навестить его обитель, поклониться гробам его родителей в Хотькове. Да кто и хотел бы соблюсти этот обычай, тому нет надобности колесить проселком: **сам Хотьков монастырь стоит у полотна железной дороги.** Но тогда этот живописный путь приходилось делать поневоле. И пешеходы, и проезжие троицкие богомольцы, не доезжая до Троицы верст за двадцать, оставляли шоссе, чтоб попасть в Хотьково проселком. Тут уже не прерывались березовые рощи по крутоярам, и с горы на гору поминутно открывался широкий простор во все стороны; зеленели озимые и яровые поля; **в изобилии, то целыми прудами, как бы озерами, то в излучине речек,** везде блестела вода; вся великорусская подмосковная красота казала себя тут во всей роскоши и на всем приволье, как вдруг еще открывались перед путником белые стены и высокие храмы с разноцветными главами женского Хотькова монастыря. Теперь мы ехали этой самой дорогой.

И есть что-то особенное, манкое и приветливое в этой благословенной местности, — здесь сам народ светлее. Удивило меня простое слово ямщика, везшего меня один раз по здешним оврагам. На мой вопрос: спокойно ли в их стороне от воров и по деревням, и по дорогам? — он даже удивился моему вопросу. «А Угодник на что? — возразил он с живостью. — Тут у нас

Угодник. В нашей стороне этого не слыхать». И действительно, села и веси вокруг Троицкого посада пребывают до сих пор, как и пять веков тому назад, в каком-то непрерывающемся живом общении с основателем славы этой местности. Приуроченье подмосковной автора «Семейной хроники» к этому именно *месту святу* связано с **особенным семейным воспоминанием**, след которого им оставлен и в *Записках*. В дополнениях к «Семейной хронике» упоминается о том, как дедушка Степан Михайлович, тоскуя, что его невестка родила не сына, а дочь, писал ей целое особое письмо во время следующей беременности: по особенному расположению к памяти святого **Сергия, этим именем и назвать ребенка, если родится сын, – указывал он ей в своем письме**. Таким образом, внук Степана Михайловича, вскоре после этого письма **рожденный, и был вверен при самом рождении** покровительству преподобного Сергия. Не случайно, а в связи с этим именно обстоятельством автор «Семейной хроники» захотел иметь уголок близ его мирной обители.

Коренник, выведенный еще с завода этого Степана Михайловича, славно **работал теперь с горы на гору; также и добрая пристяжка не отставала от него**. Константин Сергеевич, видя меня совершенно оправившимся от вчерашней простуды, был и сам еще радостнее обыкновенного: истинно детская веселость овладела им. Он импровизовал экспромты и припоминал любимейшие стихи разных поэтов – уж не в славу и не в честь дождя, как это было вчера, а на тишь да на гладь красного летнего дня в русской деревне, а под конец и во славу «варварской» телеги. «Подите! Надо же было так случиться!..» – не мог он без смеха не повторить опять своего прежнего извинения **о фэтоне уже в самом конце пути. А телега, как только мы свернули с шоссе, и очень давала себя чувствовать проселком**.

Абрамцево от Хотькова монастыря всего в двух верстах, если еще не менее. С нагорья открылся вид на речку Ворю. Извилистая, местами шириной в два конских перескока, а где от плотин и шире, речка Воря, с болотистыми берегами и бесчисленными бочажками, была вся в водяной траве и водяных цветах. За ее низиной укатывалась опять вверх нагорная сторона; и там вверху, на горе, в окружении еловой рощи, вперемежку с редким черноельем, виднелась **просторная старинная помещичья усадь-**

ба – это и цель нашего путешествия: Абрамцево. Я как сейчас помню весь колорит местности за ту минуту. Низменные облака неслись как туманы и шли дальше, прослаиваясь и измлевая; синева небес то и дело уж прорывалась между ними, и резкое освещение солнечных лучей поминутно спорило с пробежавшими тенями. Воздух после дождя был напитан запахом березового и хвойного леса; еще и грибной дух от сырой земли покалывал в этом аромате. На завтра ждалось ясного дня. Доброезжая пара, страшно измученная, и телега вся в грязи от глинистой дороги наконец остановились. Пустынный широкий двор, не засаженный во всю ширь ни кустом, ни деревом и лишь местами обнесенный перильчатой решеткой, принял нас на свою зеленую мураву. Наше появление произвело обычное оживление. Парадное крыльце с навесом, точь-в-точь как в тысяче других помещичьих усадеб того времени, распахнуло перед нами свои широкие сени. Деревянный, крашеный по тесу дом с фасаду был предлинный и старинной стройки. Мы приехали.

Едва переступали порог здешнего хлебосольного дома, и уж невольно по всем метам и приметам угадывалось тут местопребывание автора не только «Записок об уженье» или «Ружейного охотника», но еще и «Семейной хроники», и «Детских годов Багрова-внука»; а вместе с тем и гостеприимное пристанище Гоголя, Загоскина и многих других лиц, славных в русской литературе. От каждого из них, не в одном, так в другом, оставалась здесь видимая память и сохранялись следы их пребываний. Вот комната, где подолгу жилал Гоголь, и тот самый диван, на котором он спал. В одном из растворенных ящиков здешней конторки я нашел связку акварелей, и мне кинулась в глаза одна из них. Это был портрет в натуральную величину с белого гриба, найденного Гоголем. Иначе нельзя выразиться, потому что гриб был передан во всей его оригинальной причудливости: славная, во все стороны ровная и как бы на токарном станке отточенная правильная шапка, но корешок несоразмерно длинный и искривленный до какого-то чудесного уродства. Внизу было подписано: «белый гриб, найденный Николаем Васильевичем Гоголем» и следовало означение года и числа. В Абрамцеве для сбора грибов устраивались целые поездки обществом; в одну из таких прогулок Гоголь и нашел этот диковинный гриб.

Эта «Гоголевская» комната была в верхнем этаже, светлая и просторная; она помещалась в соседстве с кабинетом самого Константина Сергеевича: он был только через коридор, куда приводила лестница из нижнего этажа вверх, и как раз насупротив. Тут все **характеристично. Константин Сергеевич** любил заниматься на таком письменном столе, удобнее которого, действительно, и нет для письменных занятий; такого стола не найдешь, конечно, в том кабинете, где обыкновенно письменный стол составляет лишь декорацию. Это был простой, можно бы сказать бело-липовый, стол; его просторная площадь покрыта в обтяжку зеленым сукном, прибитым со всех четырех сторон гвоздочками под свесом. Здешний письменный стол был преогромный и весь завален книгами, тетрадями и фолиантами. Над ним портрет Ломоносова из слоновой кости – вдвойне ему дорогой, во-первых, как портрет героя его диссертации, во-вторых, как местное произведение родины Ломоносова (Архангельская губерния, как известно, славится изделиями из **мамонтовой кости и моржевых клыков**, – в старину это и называлось «дорог рыбий зуб»). Обратил на себя мое внимание и умывальник Константина Сергеевича, им самим изобретенный. Теперь вошли во **всеобщее употребление разные приспособления по части домашней** утвари (черта времени, после того как перевелись *дворовые* и вообще многолюдная служба) и завелись для этого особые магазины; тогда это было в редкость. Прибор, придуманный Константином Сергеевичем, был замысловат именно по простоте своей; любой деревенский столяр мог его исполнить: механизм – простой голосинник, а резервуар – листовое железо, свернутое **в конус и выкрашенное в белый цвет. Изобретатель** добродушнейшим образом показывал мне на практике все достоинство своего прибора. Нажимая подножку, от которой голосинник шел вверх и двигал резервуар, нагибая конус, Константин Сергеевич с детским восхищением любовался, что он «подает воды именно столько, сколько хочешь! Хочешь, он **даст малую струю воды; хочешь, он подаст сразу полрукомойника, совершенно как живой человек**». Это не та мертвая английская машинка – да притом еще и очень дорого стоящая, недоступная бедным людям (тогда как эту всякий может сделать у себя дома), которая, хочешь не хочешь, все льет одну и ту же мертвую струю. Так добродушно хвалился изобретатель.

Окна в его половине были растворены настежь. Сигарный дым разносился свежим воздухом летнего и на этот раз уже знойного дня. Так светло и радостно целыми полотнами света красное солнце заливало здесь пол, и потолок, и стены с полками книг и бумаг... Или все это только казалось так, потому что сам-то Константин Сергеевич уж очень был жив и весел. Счастьем жизни, телесным и душевным здоровьем веяло от него.

– «Я люблю его стихи! – сказал он тут же про одного из наших второстепенных поэтов, чьи строфы только что продекламировал. – Еще Платон определял поэзию безумием. Итак, поэтическое безумие несомненно есть у него в стихах. Я знаю его лично, он сам почитает меня одним из приятелей своих. Тем с бóльшим правом могу сказать про него: умом он вовсе не отличается; тем лучше: значит, в его стихах уж непосредственный Божий дар. Это-то я в нем и люблю». Поэт, о котором здесь речь, жив и сейчас, когда пишутся эти строки. И я дивлюсь до сих пор меткости этого отзыва о нем. С тех пор прошло много времени; иные стихотворные мастера издали целые тома своих сочинений, этот пишет редко. Но и до сих пор в стихах этого именно эпигона послепушкинской поры всегда найдется хоть крупинка того, чего напрасно ищешь в тех томах. Да, именно Платоново безумие, как тогда сказал Константин Сергеевич, есть у него в стихах.

При самом входе в дом, в сенях и в передней, я заметил везде нагроможденные удилища, и с удочками, и просто, и разнообразные припасы для ужения. Я узнал трогательный эпизод. Все эти удочки – иначе их трудно бы и отличить, они здесь считались десятками – носили имена; одну удочку звали «Леди». Почему так? Когда вышла в свет книга *Записки об ужении* – она нашла не только читателей и почитателей, но и читательниц, и почитательниц; автор получал тогда со всех сторон разные заявления сочувствия, в том числе и прямо подарки удочками или чем-нибудь относящимся до рыбной ловли. Больше всего одна присылка позабавила автора. Одна из почитательниц, вместе с сочувственным письмом, прислала удочку, или правильнее лесу, сплетенную из ее собственных волос. Леса, плетенная из девичьих шелковистых волос и собственными руками поклонницы, – какой же еще больше награды автору! Эта удочка и звалась «Леди».

Не прошло и часу после того, как наша телега подъехала к крыльцу, уж мы удили. **Исполнилось мое страстное желание поудить вместе с автором «Записок об уженье».** Только что я, сидя об руку с ним, забросил свою удочку: «Ну...» – и он окликнул меня тем ласково-фамильярным именем, которым всегда называл, – «...вижу, что рыбак!» **Так обратился ко мне Сергей Тимофеевич.** Это значило, что я не как-нибудь через голову забросил свою удочку или еще шлепнув по воде удилищем по обычаю неумелых, а по-охотнички: стянув лесу, дал заиграть упругости самого удилища и бесшумно подвел поплавок, куда надо было. **«Вижу, что рыбак!» – повторял он истинно по-охотнички и при клеве, и при подсечке.** На этот раз, впрочем, уженье происходило на крошечном пруду около самой усадьбы; тут брали исключительно гольцы – рыбешка не интересная для охотника. Здешнее уженье только тем и было дорого для старика, что поблизости от дому можно было его производить во всякое время без лишних сборов и не боясь быть застигнутым врасплох непогодой. **Даже во время небольшого дождя он здесь уживал под большим зонтиком.** Скоро мы перешли на Ворю, спустившись из усадьбы прямо под гору. **Пока мы только сходили вниз усадебным парком, Константин Сергеевич уже поразил меня «своеобычаем» своим.** Старый рыбак Сергей Тимофеевич, не расстававшийся уж в это время, как и до конца жизни, с зеленым зонтиком на глазах, уже согбенный летами, седой как лунь и постоянно повторявший о себе при разных случаях, когда чувствовал себе что не по силам: «я стар и хвор» – не мог, конечно, соперничать с нами ни в скорости ходьбы к мосту на Воре под усадьбой, ни даже в несении удочек. При нем был «казачок»; он нес его складное кресло, его удочки и разные рыболовные снасти; он же обыкновенно насаживал червяков и снимал рыбу. Старик нес только свою длинную дымившуюся трубку. **Но стоило тогда взглянуть на Константина Сергеевича!** Он нагрузил себя буквально целым лесом удилищ, одно другого длиннее и тяжелее; кроме того, нес он и складной стул, и коврик, и множество удилищных припасов. Я, вооруженный всего на все одной только «Леди», охотно предлагал ему разделить его ношу; но выслушал в ответ опять: «...не виню вас лично, а говорю вообще про современную молодежь...», то есть что у меня на это и сил не хватит. Я не настаивал,

думая, что все эти принадлежности он несет для себя. Каково же было мое удивление, когда, придя на место, все это: и стул, и коврик, и наконец чуть не все «сорок сороков» своих удочек – он повергнул к моим услугам! Я решительно пришел в ужас, а он не хотел и слышать возражений. «Вам тяжело будет; садитесь и удите, как вы привыкли, с комфортом; а я даже не люблю всех этих удобств, верьте мне», – стоял он на своем. Опять нагружившись удочками, он менял места; пробовал удить под самым мостом, потом еще за мостом и везде удил стоя, не присев ни разу. Ходил он всегда сильно и быстро, точно его кто гонит; трудно было поспевать за ним.

Наконец, собственно для меня было устроено большое ужение с поездкой в одно из дальних мест на Воре, где стояла мельница. Там мы удили в самом омуте близ мельничного колеса, с плотины (место, прославленное тем, что тут Константин Сергеевич выудил один раз налима в девять фунтов весом) и еще в одной тихой заводи на речке Воре, памятной мне по своей живописности. Тут-то я был свидетелем того, о чем так метко сказал сам о себе автор «Записок об ужении» по поводу страсти, не оставлявшей его и под старость: «Ужу с меньшим увлечением, но с большим вниманием». Он и этот раз выудил больше против всех нас и на моих глазах мастерски подсек и вытащил на берег щуренка. На меня уж один вид настоящих рыбацких мест, этой зеркальной поверхности, усеянной листатыми травами и водяными цветами, действовал возбuditельно. Мне удалось вытащить редкость тут, как мне сказали, подъязыка; больше клевали щуки, окунь, ерш, головли и плотва. Но все эти эпизоды, памятные сами по себе, особенно осмысливались для меня интересом личности Константина Сергеевича. С сигарой в зубах, не спуская глаз с поплавок, он проводил целые часы, стоя неподвижно, как статуя, не присаживаясь вовсе. «Вот, вы меня усаживаете даже против воли», – настаивал я принять от меня складной стул. «Нет, это совсем другое дело! – возражал он с живостью. – Вся нынешняя молодежь так уж и воспитывается в привычках ко всякому удобству. А я, напротив, люблю постоянно упражнять себя в перенесении всяких лишений; мне даже весело пробовать свою силу». И опять час-другой выстаивал он, как бронзовая статуя. «Я во всех своих домашних привычках вообще ненавижу прибегать к посторон-

ней помощи, – говорил он мне. – У нас это как-то принято. Одеваются ли, умываются ли, лечь в постель или встать, другой и шагу не ступит без помощи слуги. Я не люблю и не могу этого. Случается иногда надобность встать **как можно раньше или даже ночью; я и тут лучше что-нибудь сделаю**, или вовсе не лягу, или прилягу только на минуту одетый, или уж как-нибудь принужу себя, а только чтобы не беспокоить никого из людей приказом **разбудить себя вовремя. И заметьте, как сильна воля в человеке!** Мне никогда не случается опаздывать; я и без всяких приказов людям встаю вовремя; всегда встану, как хотел. Также и проснувшись, целый день не терплю посторонней помощи; мне она не нужна. Вот, вы видели мой рукомойник!» – прибавил он добродушно смеясь. По поводу этого обычая – вставать вовремя без помощи людей – тут же рассказал он мне очень забавный случай. «Раз с вечера у меня было решено отправиться на одно большое ужение; это от нас отсюда дальнее место, туда надо проходить лесом и одним большим оврагом. Заснув вечером, я принял все меры, чтобы встать еще ночью, как можно раньше; идти далеко – значит чем раньше встать, тем лучше. Вот и проснулся. Гляжу, чуть брежжет; едва видно **в комнате, настоящего света еще нет, а как бывает пред рассветом**. Я встал, умылся, оделся, захватил все припасы, нагрузил на себя удилища и вышел из дому. А делается все темнее. Идти далеко. Что же? иду, иду; уж много прошел, а все темнее делается. Наконец, отойдя от дому уж полдороги, я только тут заметил свою ошибку. Оказалось, что это была не утренняя заря к рассвету, а только вечер наступил к ночи. Я проснулся как раз в то время, когда в доме все улеглось спать. Совсем ночь захватила меня в дороге, и темная глухая ночь. Что было делать, не вернуться же домой с полдороги. Я и заночевал именно в том овраге. Там и простоял все время на одном месте **с удилищами на плечах, пока, наконец, начался рассвет**. Чуть засветилась заря, я вышел из оврага и пошел дальше на место ужения». И сам он добродушно смеялся этому случаю.

Кроме ужения, состоялась при мне поездка в лес за грибами собственно для Сергея Тимофеевича. Он делил весь летний досуг между этими двумя охотами: то на реке за удочкой, то в лесу за грибами. Также и по взгорьям Вори, где рос словый лес Хотькова монастыря, переме-

шанный с чернолесьем, ходил он во время бранья грибов с неизменной длинной трубкой в руке, а на глазах с зеленым зонтиком. За завтраками и обедами в те дни пар дымился над кастрюлей «духовых грибов» и задорили аппетит вкусные «пирог с грибами» – находка исключительно самого Сергея Тимофеевича.

Я и не видел, как пролетел день-другой моего здешнего пребывания. Любя русскую деревню, простор воды и лесов и самое ужение, нельзя было не полюбить от всей души здешний мирный уголок под Троицей. А когда прибавить к тому хлебосольное гостеприимство всего здешнего дома и высокий личный интерес таких характеров, какими отличались здешние хозяева, то станет вполне понятно, почему Абрамцево в течение многих лет и манило к себе так многих. Здесь Гоголь с другим «украинцем», своим земляком М. А. Максимовичем, проводили напролет целые дни в слушании у рояли своих любимых малороссийских песен. И нигде еще не видели Гоголя, обыкновенно молчаливого и замкнутого в себе, таким хохлачки веселым и на распахку, как здесь; сам он вдруг начинал подтягивать: «Нехай так! нехай так!» – и притоптывал в присядку. Здесь гащивал друг и сверстник старика-хозяина М. Н. Загоскин и множество других его знакомых, большей частью литературных имен, о которых след сохранен в его записках, рассказах и воспоминаниях. Сюда же являлись и писатели сравнительно новых времен, считая как бы за долг навещать Сергея Тимофеевича. В числе последних Абрамцево считало своим гостем Ив. Серг. Тургенева. След о пребывании здесь Тургенева сохранился, между прочим, в одном позднейшем примечании к позднейшему изданию «Записок об ужении». Рассказывая про диковинный случай, как у одного молодого рыбака взял на удочку пискарь, а на самого пискаря тут же попалась щука, увязившая свои зубы в эту импровизированную насадку и давшая себя вытащить, тогда как и не попала на крючок, автор делает от себя заметку. Я бы, говорит он, и не рассказал этого случая, похожего на рассказы из книги *не любо не слушай*, если бы не мог сослаться на одного всем известного свидетеля. Именно во время моего пребывания здесь, в Абрамцево, я узнал от самого автора, что тот «молодой рыбак» никто другой, как Константин Сергеевич, а тот «достоверный сви-

детель» – Иван Сергеевич Тургенев. Так обо всех посетителях здешнего мирного уголка хранилась добрая память в гостеприимном доме; что ни шаг – целый рой воспоминаний.

Когда я остался один в предоставленной мне комнате (это была именно Гоголевская комната), **я не без особенного чувства осматривал все ее подробности. И обои на стенах, и мебель, даже набросанные там и сям книжки, брошюры и бумаги, то в раскрытых конторках, то где-нибудь прямо на столе, казалось, еще хранились от тех времен.** Малейшее чернильное пятнышко на столе, оставшееся от давно брызнувшего пера, казалось мне тут дорогим следом. А сам этот кожаный диван, на котором спал Гоголь, обмятый и, если так можно выразиться, вылежанный им самим! Я самым наивным образом думал, что и заснуть на нем не засну, когда вдруг увидел и себе постель на том же месте. Разбирая лежавшие тут книги и брошюры, в одном месте **я тут нашел отдельный оттиск, помнится, старой журнальной статьи Сергея Тимофеевича о сочинениях Загоскина, написанной им и напечатанной на помин автора Юрия Милославского** сейчас после его смерти. В другом месте **я нашел газетные же листки, также отдельным оттиском, с речью Константина Сергеевича: по поводу юбилея М. С. Щепкина.** Застольные речи в то время были новостью; а в царствование Николая Павловича и вовсе небывалым явлением. В этой речи Константина Сергеевича первый раз устно и печатно, – сам он обратил на то мое внимание, – было употреблено выражение *общественное мнение*. На юбилейном обеде он поднял бокал и провозгласил тост именно за общественное мнение. Но **я еще и по-другому не мог долго заснуть в Гоголевской комнате, на Гоголевском диване.** На ночь я прочел новую главу «Детских годов Багрова внука». Эта тогда еще не изданная глава только что была приготовлена Сергеем Тимофеевичем для печати. Тетрадь толщиной в мизинец, каллиграфически переписанная, увлекла меня далеко за полночь. С восхищением отдался я прелести рассказа о лицах, едва упомянутых в тогдашних печатных отрывках; а тут они воплощались в мельчайших фамильярных подробностях! Сами по себе выводимые лица и весь выводимый мир были для меня интересны; а тут еще удивительная художественная красота в сочетании с чисто эпической простотой.

Но, довольно, будет! Довольно уже и всего здесь написанного, чтоб видеть, как в личных воспоминаниях о **Констанине Сергеевиче неотделимы и воспоминания об его отце, Сергее Тимофеевиче Аксакове**. Оба образа восстают слитно, одно от другого неотделимо – по крайней мере, в моих собственных воспоминаниях. Но такова была и в действительности необыкновенная жизнь этого необыкновенного человека. «Он жил и умер вместе с отцом». В этом отношении это была жизнь, это была и смерть – совершенно особенные. Нельзя бы и найти другого такого же примера.

Другие, старейшие знакомые или даже сверстники Константина Сергеевича могут себе припоминать его в ту цветущую пору **Московского общества** – конец тридцатых и начало сороковых годов, – когда все оно жило исключительно литературным интересом, и молодой Константин Сергеевич *«с душою прямо Геттингенской»*, с кудрями черными до плеч и со всегда восторженной речью стал появляться в московских салонах. Тогда он и одевался в **«сарафан»**, как выражались его недруги, или **«в такой костюм, что на улице народ принимал его за персиянина»**, – как сказал Герцен. (В довершение сходства с Ленским, может быть, и в нем тогда был *«дух пылкий и довольно странный»* – этот еще зеленый незрелый цвет положительного направления онегинской, чисто отрицательной эпохи. Но к началу сороковых годов *много воды утекло*, и многое переменялось от конца двадцатых.)

Иной образ Константина Сергеевича, проникнутый иным значением, уцелел в памяти тех, кто с ним сблизился уже к концу пятидесятих годов – на рубеже двух царствований Николая I-го и Александра II-го; а в моих воспоминаниях он восстает и того позднее. Тогда Константин Сергеевич ходил как все, в сюртуке; также и прической, бородой или усами ничем не отличался от прочих. Это были годы – 1857-й, 1858-й и наконец роковой 1859-й, когда уже угасал и клонился совсем к закату старый и хворый Сергей Тимофеевич Аксаков. Он уже мучился недугом, сведшим его в могилу. Все реже и реже занимался он диктовкою своих **«Воспоминаний»** или изданием **прежних сочинений**; мучительный недуг все более и более приковывал его к болезненному одру. Близившаяся кончина смущала его – не страхом смерти; об этом он сам мужественно

говорил: «...как бы кто ни прожил свою жизнь, а без страху умирать не может: плоть бо есть человек!» Его смущало другое, постоянно одно и то же беспокойство. «Бедный Константин! – говорил он. – Боюсь за него; он не перенесет». На возможные успокоения со стороны собеседника он возражал одним и тем же: «...нет! все это было бы возможно при другом воспитании Константина; а он воспитан не так». И старик признавался в своей «ошибке», как он вырастил сына. Не было у него кормилицы или няньки; он, сам отец, принимал его от материнской груди, баюкал на своих руках, пеленал и укладывал в колыбель собственными руками. «Только стареясь, – говорил Сергей Тимофеевич, – видишь, как бы надо было воспитывать своих детей. По мере того как растут дети, родители, думая их воспитывать, еще сами воспитываются ими». С колыбели, все детство и отрочество, и юность, и, наконец, летá полной возмужалости – Константин Сергеевич провел в родном доме, как бы даже не догадываясь о своем совершеннолетии; он не хотел и слышать о том, что он уже более не один «от малых сих», а мужчина сорока лет (он и скончался всего 42-х л. от роду). Это была его, уже без всяких иносказаний, идиосинкрасия; этим он и умер.

III.

В 1859 г. было напечатано в газетах: «Сегодня, в ночь с 29-го на 30-е апреля, скончался Сергей Тимофеевич Аксаков»; а номер «Русской беседы» вышел с объявлением на первой странице в траурной кайме: **«Москва лишилась великого художника...»** Это был некролог, написанный А. С. Хомяковым.

Не в Москве, даже не в Московской губернии, а смежной с ней – в деревне с большой каменной усадьбой, в прекрасном саду над прудом, напоминавшем целое озеро, где тогда цвела черемуха и яблоня, куковали кукушки и пели соловьи, в самый расцвет мая – дошло до меня роковое известие.

В Москве, у Арбатских ворот, неподалеку от того розового двухэтажного, за палисадником, дома с балконом и со стеклянными сенями, на

Кисловке, где в последнее время жил и скончался Сергей Тимофеевич, – в церкви Бориса и Глеба происходили отличавшиеся необыкновенным многолюдством и съездом похороны. Я не мог быть там, и с минуты на минуту мне делалось тяжелее, что я там не был. Уладясь кое-как с затруднениями по делам чисто личным (правильнее даже сказать семейным, потому что тот едва окончивший курс юноша, посетивший года полтора тому назад Абрамцево, был уже человек семейный), я попал в Москву на один из первых поминальных дней. Мысль о Константине Сергеевиче – как он переносит свое несчастье, здоров ли и даже можно ли будет его видеть – не переставала тяготить меня всю дорогу. Ранним утром, прямо с *перекладной*, я наведлся к издателю прекращенной газеты «Парус», к его брату Ивану Сергеевичу, занимавшемуся тогда изданием «Русской беседы», переданной ему А. И. Кошелевым. Редакция «Русской беседы» помещалась недалеко от дома, где скончался Сергей Тимофеевич, – на Большой Никитской, насупротив Кисловки. Как и следовало ожидать, я услышал мало утешительного. Константин Сергеевич был безнадежен; не только свои, и чужие боялись за него. Его укоряли, что он не бережет себя, еще прямо и в том, что он как бы намеренно убивает себя. К этому прибавляли, что он страшно изменился. Хорошо предупрежденный на этот счет, я готовился быть особенно осторожным при встрече с ним. Перебежав только улицу, уж я был на Кисловке; а сделав еще шагов тридцать к знакомому дому, уж видел палисадник за перилами, большие ворота и из ворот, в противоположную от меня сторону, медленными шагами удалявшуюся фигуру. Я нагнал вслед; медленно отходявший от меня обернулся... Можно ли было узнать прежнего, бодрого душевно и телесно Константина Сергеевича? Мало сказать: он страшно изменился в лице! – нет, а от общей исхудалости было еще что-то удлинненное и утоненное во всей фигуре. Пепельность бороды и усов, вдруг взявшаяся проседь вместо прежнего их цвета; с ног до головы чрезвычайная угрюмость во всем виде; неподвижный, какой-то внутрь самого себя обращенный, самоуглубленный взор и тихость, жуткая тихость, – поразили меня.

– Я иду в церковь, – сказал он, – как служба отойдет – вернусь; вы меня застанете дома, я жду вас.

– Но, Константин Сергеевич, поберегите себя, – вырвалось у меня совершенно невольно.

Тут же, стоя на улице, он отвечал очень серьезно, но тихим и задумчивым голосом, а не как бывало: «Да, меня упрекают. На меня даже взводят обвинение, что я не удерживаюсь от горя, даю ему волю и намеренно расстраиваю себя. Не верьте этому. А я не могу. Не верьте и тому – вам и это будут рассказывать про меня, – что я во что-то вдаюсь. Нет, я по-прежнему свободен и ни во что не вдаюсь. Если теперь иду в церковь, – вы знаете, и прежде всегда ходил. Напротив, я был совершенно спокоен даже во время похорон, то есть ничто нервно не действовало на меня. Даже самый вид гроба, траур и погребальные свечи, дым кадильный по покойнику, все, что действует на нервы и расстраивает самые нервы, – ничто не действовало на меня. Я облокачивался на гроб, желая лишний раз взглянуть на дорогое лицо, как на простую мебель; я поправлял и поворачивал подушку в гробу, как и подушку на постели, когда за ним ходил. Я не замечал. Так и во всем».

Известно, что Константин Сергеевич, вынужденный одно время дать обязательство правительству, что будет брить бороду и не будет ходить в русском платье, самым добросовестным образом соблюдал эту формальность. Но в последнее время, когда он проводил дни и ночи при больном отце и буквально по целым неделям не спал и не раздевался, карауля дыханье больного, – уж не время ему было до соблюдения каких бы то ни было формальностей. Борода у него отросла, а потом (хотя опять-таки для соблюдения формальности) прореженная бритвой на подбородке и двоившаяся как бы продолжение бакенбардов, борода так и осталась; ее пепельная проседь скоро перешла совсем в седину.

Нельзя было рассудительнее говорить о безвыходности своего горя, как потом все время передавал мне о себе Константин Сергеевич. Слушая, нельзя было утешать: это значило бы и себя обманывать, и оскорблять его. Мне казалось, что свои и чужие еще слишком много надеются... У него прямо в глазах была уже смертная отметка!

Я уехал к себе в глушь, каясь в прежнем легкомыслии; мало, слишком мало давал я значения его горю, при всем том, что думал даже, не пре-

увеличиваю ли я его. Эта роковая отметка в его глазах, что он больше не жилец, — мучительно преследовала меня. Все лето прожил я безвыездно в деревне, в маленьком устройстве очень маленьких дел; повидать Константина Сергеевича еще раз в Москве не привелось. А вести о нем и его собственные письма приходили раз от разу все мрачнее. Кто рассчитывал на время, надеясь еще, что само время излечит, — тот ошибся вдвойне. «Время тут ничему не поможет, поверьте», — говорил он мне еще тогда в Москве, и он был прав. В горести, давившей все его существо, не было ничего эффектированного с самого начала; ничего такого, что было бы связано, как сам он говорил, с нервным расстройством; а лишь в таких случаях и помогает время. Это была, напротив того, скорбь, усиливавшаяся с каждым днем, потому что каждый новый день приносил и большее разуверение в возможности будущего и настоящего — без прошлого.

Странная мысль пришла мне тогда в голову. Мне казалось, что родной дом и родная семья, окружавшие тогда Константина Сергеевича удвоенной заботливостью, сами по себе не могут не служить для него источником глубочайшего горя: тут-то все и должно было вдвойне напоминать о безвозвратной потере. Мне казалось: его надо непременно оторвать от родного дома и куда-то перенести на время... но куда? Располагай я в то время каким-нибудь Лукулловским дворцом, или только продолжай жить в имении у матери — в той самой усадьбе в саду над прудом, напоминавшем целое озеро, куда заглянуть давал мне обещание Константин Сергеевич и даже списывался об этом, — мне не пришло бы и в голову звать его к себе в гости: вид всякого семейного дома, где правильно установленный быт течет ровно изо дня в день во всяком благополучии, должен был тогда болезненно раздражать его. Напротив того, какой-нибудь глухой, заброшенный уголок, где, по тому или другому странному капризу судьбы, жизнь выбилась бы из общей колеи и вдруг сложилась на совершенно исключительный образец; полное одиночество, как в скиту, и в то же время заботливость близких, но непременно новых лиц — вот что, казалось мне, могло бы еще, пожалуй, при его тогдашнем душевном настроении благотворно подействовать на него. Но именно такую обстановку, и только такую, я и мог ему предложить тогда. Убогая деревушка; сам-друг с женой и с грудным

ребенком у кормилицы на руках; только что кое-как поставленный и еще недоделанный **бревенчатый домик в три сруба в роще из вековых лип и дубов**; полное одиночество и лишь первые приступы к той жизни, о которой сказано: «щей горшок да сам большой», – вот обстановка, в которой я тогда очутился. Нашу рощу и в ней этот домик мы сами называли *скитом*; но что здешний **приют был бы по сердцу Константину Сергеевичу в тогдашних обстоятельствах** – я не сомневался.

Так как, однако, по моему мнению, это надо было сделать незаметно для него самого, не подав и виду, что его намеренно отрывают от дома, – разумеется, я ни слова и не писал самому Константину Сергеевичу о моем предположении. Письмо в этом смысле, о котором и не чаял, что оно попадет в его руки, я направил в редакцию «Русской беседы», к его брату. Я прямо оговаривал, что следует это сделать незаметно, навести на эту мысль; предлагал к тому и средство. Мне казалось естественным, что в течение этого лета захочется Константину Сергеевичу навестить **А. С. Хомякова, жившего тогда под Тулой в своем Боучарове. А от первой станции за Серпуховом на Тульском шоссе, от Малахова, приходится всего в восьми верстах и та деревушка, куда я звал Константина Сергеевича.** Но опять-таки, и самое это предположение о возможности хотя сколько-нибудь **облегчить состояние Константина Сергеевича** оказалось непростительным легкомыслием с моей стороны. Его страдальческая немочь за это время усилилась в такой степени, что ни к Хомякову он не думал ехать, хотя к этому и склоняли его; ни его брат более не находил нужным скрывать от него какие бы то ни было письма. Вдруг получил я ответ от самого Константина Сергеевича. «Любезный мой... вы приглашаете меня к вам в деревню»... Но это письмо поразило меня как громом. Кроме двух-трех незначительных сокращений то одной строки, то даже полустроки, чисто фамильярного свойства, вот это его письмо, слово в слово:

«Вы приглашаете меня к вам в деревню. Брат показал мне письмо ваше. Приглашение ваше так искренно, в нем сказалось такое дружеское движение, что мне захотелось непременно написать вам, и вот я пишу. Я всегда очень много ценил

в жизни привет и всегда с такою радостью на него отзывался; но привет вовсе не так часто встречается в жизни, как, может быть, думают. В ваших словах мне слышался именно этот привет, который так редок. Если б это приглашение ваше сделано было при батюшке, тогда я не проездом к Хомякову, а нарочно бы к вам поехал. Но теперь, любезнейший... все кончилось. Ни удовольствие, ни радость жизни для меня существовать не могут. Одним словом, жизнь кончилась – жизнь, как моя. Я здесь еще, под условиями этой жизни; но это не *моя* жизнь. Все доброе, все хорошее в других – я чувствую; отзываюсь на это, как и на ваше приглашение, – и только. Если б вы предлагали мне какое-нибудь удовольствие, мне было (б) приятно видеть ваше желание, а от самого удовольствия я бы отказался, потому что его нет для меня. Так и теперь вы все сделали, пригласив меня, и дали мне все, что я могу теперь принять. Прежде для меня было бы истинным удовольствием повидаться с вами у вас, взглянуть на юную семью в обстановке природы со всею ее непостижимой красотой, которую батюшка передает в своих сочинениях так неподражаемо. Но этого прекрасного удовольствия для меня теперь быть не может. Это все кончилось. Вы знали Константина Сергеевича, который удит, курит, с восхищением радуется жизни и природе в каждом ее проявлении, будь это зима или лето, будь это палящее солнце или дождь, промачивающий насквозь, – Константина Сергеевича, который любит слышать в себе силы именно тогда, когда неудобство, стужа или что-нибудь подобное их вызывает; который в восхищении и крепнет на телеге, прыгающей по камням, или под дождем, его всего обливающим, – Константин Сергеевича, который 28 верст проходит не присаживаясь, выпивает сливок, потом квасу и отправляется еще, взвалив на себя огромные удилица, – удить. Теперешний Константин Сергеевич не удит, не курит, смотрит и не видит природы или болезненно ее чувствует и даже отворачивается от нее; неженкой он не делается, слабым тоже; но не слышит в себе этого приятного ощущения сил, не ищет чего-нибудь понеудобнее и потяжеле; ему все равно, карета ли или любимая прежде телега, к которой он прежде даже и стихи писал. Да, все для меня кончилось, жизнь моя кончилась; жизнь была хороша и исполнена прекрасных радостей; и вот я помянул себя в письме к вам. Благодарю же вас... за все радушие, какое я видел бы у вас. Обнимаю вас крепко... Я занимаюсь довольно; это я считаю своим долгом, который я должен выплатить; постараюсь сделать все, что могу, на что имею способности, и таким образом расплатиться с долгами. Я точно собираюсь переехать и укладываюсь. Прощайте... Ваш Константин Аксаков».

Был и *post-scriptum*:

«Время действует на меня совершенно наоборот против того, как полагают». Почтовая пометка 24 августа 1859 года.

Я читал и перечитывал это удивительное письмо: оно было для меня живым истолкованием всего, что я прочитал у него в глазах. Тот смертный оттенок, поразивший меня тогда, при встрече с ним после похорон отца, припомнился мне теперь во всей силе. Ничего нельзя было сделать с его грустью; хуже того: с той чахоткой и сухоткой, которая у него началась от грусти. Злейшая чахотка и сухотка без всяких физических поводов к тому – **единственно от нравственного недуга! И это в Константине Сергеевиче**, чья крепость вошла в пословицу и которого сам Овер за его железное здоровье звал Печенегом. Приписка: «время действует на меня совершенно наоборот против того, как полагают» – **поразила меня едва ли не более целого письма**. Это был уже могильный, гробовой голос. Предреченное мне им о себе еще в мае месяце, тогда, при личном свидании в Москве, теперь подтверждалось заочно уже по прошествии четверти года.

После такого письма можно ли было настаивать на его приезде? Где бы он ни был теперь, хоть именно на том дальнем острове Занте, где и умер, он носил в душе такую же неисцельную скорбь, какой уже была и злая чахотка в его теле. Я забыл и думать о приезде Константина Сергеевича. Вдруг наша бедная деревушка осветилась посещением и пребыванием в ней этого необыкновенно жившего и необыкновенно умершего человека. И это всего через какие-нибудь две недели после того письма!

Наступила осень 1859-го года. **Сентябрь был в половине; стояла мгlistая, туманная, дождевая погода. Никитин день, 15 сентября, ярмарка в ближнем уездном городе, больше конная; но торгуют на ней и всяким добром, пригодным в сельской глуши. Я сам имел надобность быть на этой ярмарке. Но срединные числа сентября – это еще в наших местах золотая пора для ружейного охотника: пролет вальшнепов. Предположив ехать в город на ярмарку, я не хотел тот раз пропустить и ежедневно совершаемого обхода вальшнепиных мест; встал еще до света и выехал**

на охоту. Моросило; в лесу мягко и бесшумно ступала нога по желтому палому листу, напитанному сыростью. Вальшнepy, однако, не удалось в то утро. Я застрелил только одного, да еще черняка-тетерева, случайно вылетевшего даже без стойки собаки. Вернувшись домой, приходилось собираться в новую дорогу: в город на ярмарку. Там, протолкавшись весь день на конной и купив, сколько было надобно, лошадей «на корм, для навоза, на зиму», а также помяв бока в народе на городской площади, где продавались горшки, кадки да бочки, я управился только к вечеру. Отправил при себе подводы с разными покупками и с целым небольшим табуном выехал из города. Домой вернулся поздно да и устал еще с утра на охоте. Крошечный наш домик улегся спать. Вековые дубы и липы даже в майские светлые ночи очень темнили здешнюю усадьбу; а в сентябре после девяти часов вечера и в ту же туманную погоду – совсем была ночь в нашем «скиту».

В эту-то неурочную пору, когда уже огни загасили в доме, и сам я, утомленный целым днем разъездов, готовился заночевать – послышался глухой неопределенный шум как бы громоздкого экипажа, насилу подъезжавшего по грязи к крыльцу. Кормилица, раньше других услыхавшая шум, а потом еще и стук в двери, наскоро оделась и отворила; второпях вбежала она потом в спальную, сказывая, что «спрашивают барина». Я накинул свой тяжелый драповый не то халат, не то кафтан (это был точный снимок с «азяма» в память Константина Сергеевича) и выбежал встретить доброго гостя, решительно недоумевая: кто бы это мог быть?.. «Константин Сергеевич!..», и я снова почувствовал себя в его крепких, широких объятиях.

После первых же приветствий и распоряжений о приеме путника с дороги, я не мог не рассмеяться истинно характеристической черте: только с Константином Сергеевичем поминутно случались подобные приключения! Оказалось, что он именно был в имении А. С. Хомякова по случившемуся с ним тогда несчастью: в Москве говорили, что Хомяков упал с лошади и лежит больной со сломанной ногой. Константин Сергеевич сейчас же собрался навестить его (впрочем, никакой опасности не было: больной уж оправился). «Возвращаясь в Москву, – сказал Константин Сергеевич, – я,

разумеется, не мог по дороге не навестить и вас». Но вот что было истинно забавно: едучи от Хомякова по Тульскому шоссе на Серпухов, он был утром на Малаховской станции; в то самое время, как я почти там же охотился за вальшнепами, ему перепрягали лошадей, и он мог до нас доехать всего в какой-нибудь час, не больше. И вот вместо этого он доехал вплоть до Серпухова, оттуда поехал меня разыскивать берегом Оки, исколесил верст тридцать, **переехал Оку на дрянном пароме, и только тут наконец услышал** от перевозчика, что ему не надо было ни переезжать Оки, ни колесить этих тридцати верст; а теперь волей-неволей приходится еще сделать верст двадцать, если не более, совсем в обратную сторону, прямо назад, откуда ехал. **И все это потому только, что в 30-ти верстах от Серпухова, действительно, есть другое наше имение, где я уже не жил, о чем и предуведомлял его, приглашая именно на новоселье.** Но он спутал и, садясь в тарантас, назвал ямщику то село, куда по старой памяти привык адресовать свои прежние письма. Таким образом, он пространствовал с утра до ночи весь день больше семидесяти верст для того только, чтоб об полночи подъехать к жилью, от которого был всего в восьми верстах поутру.

Жена, видевшая теперь Константина Сергеевича в первый раз и до тех пор знавшая его только по моим рассказам, поразила меня своим словом об нем: «Боже мой! Какое у него доброе лицо! Ну, бывают добрые лица на свете, а это что-то невероятное! Удивительно доброе лицо!» То же слово говорила кормилица: «...добрый, уж вот добрый барин!» То же повторяли потом все домашние. И это не без причины. Скорбь, преждевременно состарившая Константина Сергеевича, много поработала над ним в эти четыре месяца. Он уже истинно казался «не от мира сего». Не было слез, не было и следа «эффектов скорби» на этом лице; но отменная тихость **всего образа и вдумчивость, и задумчивость самоуглубленного** взора сообщали всей его фигуре невообразимую кротость. Казалось, только машинально смотрели еще его глаза, пока душа в теле, на все окружающее; но уже ничто, что не в нем самом, больше не действует на него – тем свободнее обнажалась душа, тем непринужденнее сквозила и обнаруживалась на его лице святая святых его души: младенческая его простота и доброта, ее всегдашнее свойство.

По счастью, хоть и крошечный был тогда наш домик, но в нем нашлась просторная, высокая, удобная комната, где и был приготовлен ночлег для Константина Сергеевича. Зная его угрюмое настроение и отчаянную грусть, я боялся за него, как за малого ребенка; я опасался даже оставить его одного впотьмах или дать ему спать как-нибудь беспокойно в сумрачных грезах. Он был истинно тронут хозяйской заботливостью, когда увидел приветливый уголок, приготовленный для него с некоторою предусмотрительностью даже до мелочей. Старинный фарфоровый ночник давал ровный свет, не беспокоивший глаз, и в то же время ласковый и манкий. Он угадал истинное значение всей этой предусмотрительности, горячо благодарил за все; но и опять повторил свое «не бойтесь за меня», памятное мне еще с Москвы, после похорон его отца. – «Не бойтесь же за меня; ни днем, ни ночью галлюцинаций у меня нет. Я не расстроен ни нервами, ни воображением. Я свободен от всех страхов мнимых; я скорблю душою и сознательно отношусь к самой скорби моей. Веселья душевного у меня нет и быть не может, – только. Я даже работать не могу; писать считаю долгом и не могу, потому что даже для работы необходимо веселие духа; этого веселья больше у меня нет. Но и только. Повторяю, не бойтесь за меня. Благодарю вас за дружеский прием; за самый этот тихий свет ночного светильника – благодарю. Но я совершенно также уснул бы впотьмах. Никакая внешность не действует на меня».

Не называя имени своего отца, даже не касаясь воспоминания о том, что он умер, – все разговоры, однако ж, собственно говоря, только об этом и были; то и дело переходили еще и прямо к этому.

«Теперь-то я понимаю всю нелепость смерти! – было одним из первых слов Константина Сергеевича после первых же приветствий и отвесток. – Да, именно *нелепость* смерти – лучше нельзя выразить этого – понимаю я. Чтобы все, в чем выражается дух, что существует как дух – могло уничтожиться, не быть – это логический абсурд. Я теперь не только верую в бессмертие души, я логически не понимаю возможности смерти того, что дух. Это нелепость. Я воочию понимаю всю нелепость смерти. Я знаю: как о чем думал мой отец; его нет больше со мною; но и теперь во всем, что я переживаю и вижу перед собой день за днем, – я знаю: как бы он думал обо

всем этом, совершающемся передо мной на моих глазах? Я слышу поминутно: что сказал бы он по тому или по другому поводу; я знаю: как бы он поступил. И вот это то, что мне ясно: как бы он думал в известных случаях, даже не приходявшихся с ним, и как бы он поступил, — это вдруг, говорят, это самое может умереть, не быть?! О, какая это нелепость! Не говорю: вера не допускает этого; а говорю: для меня это логический абсурд.

За ужином, между прочим, подали вальшнепа и тетерева — добычу моей утренней охоты; я упомянул о том Константину Сергеевичу.

«Как прекрасно описывал охоту отец!» — воскликнул он и сейчас же заговорил опять о своем. Даже по поводу вальшнепа и тетерева начал он очень живые рассуждения о том, как охотник стреляет дичь потому только, что для него не существует *этого* тетерева, *этого* вальшнепа, причем в уме охотника соединялось бы и представление индивидуальности; а существуя только это представление, оно отняло бы у него охоту и бить дичь.

Приезд Константина Сергеевича меня глубоко тронул, хотя это было совсем не то, что я так простодушно предлагал ему; а что никакого нигде, вдали от семейных воспоминаний, пребывание более не исцелит его, — я сам теперь видел ясно. «Разумеется, я должен был к вам заехать», — сказал он, пожимая мне руку, когда я ему напомнил о семидесяти верстах, сделанных им в этот день понапрасну. «Я не мог не приехать к вам», — повторил он несколько раз на прощанье. Так-то искренне было его слово: «Я всегда в жизни ценил привет».

Рано поутру он встал бодрый, благодарил за ночлег и опять упомянул добром тот фарфоровый ночник, свет которого ему так понравился. День был светлый. Удаются иногда осенью эти красные, чисто летние дни — еще краше летних; такой именно день и был тогда. Мы втроем вышли на воздух, кто в чем был дома, чисто по-летнему. Я подвел его к окраине рощи, откуда открывался вид в чистое поле и указал ему белешую издали, на косых утренних лучах солнца, Малахову станцию. Будь это в другое время, воображаю, каким звонким смехом грянул бы он на свой счет по поводу вчерашнего путешествия: от станции до нас, в самом деле, было рукой подать. Теперь он только качнул головой и дивился своим вчерашним разъездам. Его поразила земля в нашей местности.

«Да тут у вас совсем чернозем!» – сказал он, глядя прямо под ноги. «Это мне напоминает наши Вишенки; только там и видел я такую черную землю». А я при имени Вишенок вспомнил знакомое для меня название по «Детским годам Багрова-внука».

Когда мы проходили под вековыми липами и дубами к скотному двору, он остановился, заглядевшись на одну красавицу-липу и рядом с ней на кудрявый курчавый дуб, и сказал почти словами своего отца во введении к *Запискам об уженье*: «Не понимают многие у нас красот природы! Им нужны декорации. Нет, что мне особенно нравится здесь у вас – это именно сама природа в ее дикости, в ее естественной красоте. Как хорошо тут!» Мы прошли на деревню. Только малые ребятишки сновали по улице да еще у каждой почти избы грелись на завалинке. По задворкам везде были наставлены скирды и одонья, пахло хлебом; там весело голосили бабы и мужики, звонко молотили цепами. **Весь этот деревенский быт для знакомого с деревней свой и исполнен всякой благодати.** Даже улыбка мелькала на лице Константина Сергеевича. За последней избой спускался овраг, или «вершина» по-здешнему; там был Бирюков колодезь с прекрасной водой. Мы прошли и туда. Колодезь получил название по прозвищу хозяина крайней избы; его звали Бирюком – а почему неизвестно. Это был старик уже дряхлый; еще дряхлее была старуха его жена; детей у них не было, и они жили одиноко. Им не на кого было запасать и работать: про себя хватит; все работы, раньше чем у кого на деревне, всегда оканчивались у них. Так и теперь: чуть проглянуло ведро – и вся деревня, как по сговору, замолотила цепами, а здешние Филемон и Бавкида, как малые ребята, грелись у себя на завалинке. Жене надо было что-то спросить у старухи о лекарстве, за которым она ходила к нам во двор; я тут же познакомил и Константина Сергеевича с этой замечательной на нашей деревне четой. Хозяева благодушно вступили с нами в беседу и просили еще зайти к ним в дом. Не отказался Константин Сергеевич, мы зашли. В избе, в углу под образами, уже был накрыт стол. Хозяева просили переломить с ними и хлеба «из нови». У Константина Сергеевича завязался с Бирюком разговор о грамотности и о книгах. На его вопрос хозяину: «Грамотный ли он?» – Бирюк отвечал о себе отрицательно, но распространился о своем отце: отец не только был

грамотен, а еще и **большой начетчик**, книг у него было много всяких. Когда сын наследовал отцу, то получил от него между прочим, говоря нашим языком, целую библиотеку; а как выразился сам Бирюк: «...такие вороха книг – пришлось под них отвести целую клеть». **От пожаров ли, от многих ли переездов, книги у него пропали.** Я, признаться, мало смыслил в письменной народной литературе, и перечисляемые книги не очень меня занимали. Но Константин Сергеевич долго расспрашивал о затерянных книгах. **Хозяин многие называл по заглавиям; в некоторых из них Константин Сергеевич, кажется, угадывал знакомые для себя.** Поблагодарив хозяев за их хлеб-соль, мы пошли назад деревней, и они нас провожали. «Хлеб да соль великое дело, – сказал нам Бирюк на прощанье, – хлеб да соль соючает». **Это самое присловье имел он обыкновение повторять всегда и на барском дворе, при мирском угощении по разным случаям.**

Дома нас ожидал завтрак; а после завтрака мы вышли пить чай – не на балкон или на террасу, чего тут и в заводе не было, а прямо на крылечко. Перед ним расстилалась широкая луговина, а вокруг ее росли столетние дубы и липы с густым и разнообразным подлеском. В течение целого лета здесь ворковали горлицы, раздавался живой напев иволги, соловьи любили гнездиться в здешнем орешнике; вообще всякой певчей птицы было много. Теперь, осенью, только одни дрозды чокали и перелетывали по ветвям. Но день был знойный, и чай на крыльце, как нельзя более, подходил к тогдашней погоде. Не столько, впрочем, за чаем сидели мы, как просто любуясь тихой солнечной погодой, и долго длилась тихая беседа – все о том же.

Свою прежнюю мысль, высказанную мне еще вчера о том, что неумиротворимость духа представляется ему не только объектом веры, а даже требованием рассудка, Константин Сергеевич развивал теперь не только философски, но еще богословски. **Не считая себя даже вправе касаться теперь тогдашних его богословских определений, скажу о том лишь в общих чертах.** Он знал Священное Писание не со школьной скамьи и не в ту лишь меру, как требуется школьным «Законом Божиим», а живым знанием и ежедневным изучением Писания в течение целой жизни. Всякого, кто только в разговоре с ним касался богословских предметов, он истинно удивлял меткостью суждений и свободой веры. Не было рабства букве, не было

этой узкости от буквального понимания; но в то же время и удивительная чуткость нерушимости самого догмата – ни на йоту каких-либо отвлеченностей! Никогда его свободомыслие не переходило в рационализм. Часто обращались к нему, прося разрешить какое-нибудь богословское недоумение или то и другое затруднительное место Писания. Он раскрывал такой широкий и глубокий смысл перед слушателями, и спорный предмет выставлялся перед ними в таком новом, прежде и неподозреваемом ими свете, что все недоумение рассеивалось и все мнимые противоречия исчезали. И то было еще удивительно в этом «младенце на злое»: уж очень тонко понимал он все извивы людской лжи, до нельзя отличал всякую кривизну души, в самые глубокие тайники ее нечистоты греховной проникал своим неумолимым судом. Так разве схимник или отшельник пустыни, постоянно бодрствующий на страже против всякого лукавства, глубоко проникает во всякую греховность, даже неуловимую для других. В младенчески чистых душах это уж какое-то ясновидение для отличения добра от зла; оно – это нравственное ясновидение – им дается как дар Божий именно за подвижническую жизнь их. Вспомним стихотворение Константина Сергеевича «Лжедух»; тут глубокий материал для того, чтобы надивиться именно этой, если можно так выразиться, нравственной сензитивности его.

Гоголь в одном из своих писем, теперь уже напечатанном в полном издании его сочинений, допустил такое выражение о Константине Сергеевиче: «Этот человек болен избытком сил физических и нравственных; те и другие в нем накопились, не имея проходов извергаться. И в физическом, и нравственном отношении он остался девственник. Как в физическом, если человек, достигнув тридцати лет, не женился, то делается болен, так и в нравственном (!?). Для него даже было бы лучше, если бы он в молодости своей..... (многоточие в печатном подлиннике). Но воздержание во всех рассеяниях жизни и плоти устремило все силы у него к духу. Он должен неминуемо сделаться фанатиком». Гоголь умер задолго до возмужания и кончины Константина Сергеевича. Нет ли здесь, в приведенных словах, немножко того, что зовут: с больной головы на здоровую? При усердии не по разуму и при веригах не по силам, действительно, происходят болезненные пароксизмы духа и тела. Это те нервно-болезненные припад-

ки, в которых менее всего обличается дух, собственно так называемый. Эти пароксизмы составляют лишь законное возмездие и своего рода казнь именно за извращение свободного духа: ибо во всех явлениях такого рода, собственно говоря, **плоть прикидывается духом. Сам Гоголь, как известно, напоследок действительно «воздерживался от всех рассеяний жизни и плоти, и от этого все у него силы устремились»...** только не *к духу, к сожалению, а именно к фанатизму.*

Свобода духа и фанатизм две вещи несовместные. Как нельзя сознательнее и свободнее относился Константин Сергеевич даже к своему «девственному состоянию», о чем говорится в этом печатном письме Гоголя. Были другие комментаторы этого состояния Константина Сергеевича; они прямо считали его каким-то платоническим идеалистом: сама уж природа у него такая, говорили, это его физиологическая черта, не больше. На этот счет и те и другие неправы. Это не было фанатизмом с его стороны ни в основе, ни в последствиях, как могли бы заключить иные из письма Гоголя; это не было и отсутствием подвига, как легкомысленно объясняли другие. Я посмел ему прямо это высказать тот раз во время нашей беседы. «Говорят, – сказал я, – что в самом организме человека заключаются иногда условия для девственного состояния его; иной человек таков уж от природы, в том нет и заслуги с его стороны. Что вы скажете об этом относительно вас самих?» – «Зачем так думать? – возразил он с живостью. – Даром человеку ничто не дается, достижение чего составляет нравственный подвиг. Это подвиг воли, и очень тяжелый». И столько же скромно, сколько гордо, он прибавил: «Я скажу, по крайней мере, о себе; нет, мне это не даром далось»; последнее было им выговорено с большим усилием.

Теперь прошло немало времени со смерти Константина Сергеевича, а, встречаясь с его знакомыми, приходится от них слышать и до сих пор: **«Неправда ли, всякий раз как приводилось быть с Константином Сергеевичем, после того приходилось и самого себя чувствовать как-то чище; как-то нравственнее делался с ним, и нравственность чувствовал более обязательной для себя?»**

В этот день он должен был и уехать от нас в Москву. Я не смел его удерживать: он и так потерял один день в напрасных странствиях с утра

до ночи; а в Москве за него могли беспокоиться; кроме других близких, там ждала его старушка-мать. Ему подали рессорный шарабан, легкий как перышко, **к тому же еще и с пристяжкой: в час с небольшим, я ружался ему, он уж будет в Серпухове.** Садясь в него, он даже попенял: «Зачем для него такие удобства?»; **а для нас, признаться, всего было сподручнее** отпустить именно этот экипаж в дорогу, так как всякий другой потребовал бы четверню или по крайней мере тройку. Молодой парень, кучер, отвезший его в город, **скоро возвратился назад.** Константин Сергеевич при нем взял почтовых и поехал в Москву. В одно слово со всеми домашними и кучер дивился теперь: «Уж очень добрый барин! Тихий такой! Нельзя и сказать, какой тихий». Оказался и тут, напоследок, один маленький эпизод, очень характерный в Константине Сергеевиче. Он в дороге расспрашивал кучера о шоссейных заставах и много ли их ему встретится на пути? **Дело в том, что, не запасшись форменной подорожной,** он переплатил что-то втрое на этих заставах; наконец, на одной из них, по выезде от Хомякова, взял квитанцию в полной уплате за весь путь до Москвы; но потерял этот билетик, искал его во всех карманах дорогой, не нашел, и ему теперь предстояли новые мытарства.

Памятное его посещение для меня навсегда осветило здешний уголок. Скоро я совсем покинул эти места. Живя в другом имении, случалось и по годам не заглядывать сюда. Но как только приходилось навестить эту местность, в душе возникали дорогие воспоминания о пребывании здесь Константина Сергеевича с ясностью вчерашнего дня. Я до сих пор не могу очутиться **на крылечке здешнего дома пред лужайкой, окруженной вековыми дубами и липами,** чтобы все это прошлое не воскресло вживе.

IV.

Больше я не видал Константина Сергеевича. Письмо за письмом от него – каждое становилось мрачнее. Он тяжело заболел, долго лежал без сознания, **но выздоровел. Как мрачно уведомлял он меня о своем выздоровлении!** Точно радуясь, описывал свою болезнь и отчаянное положение: «сидели надо мной; я замечал в беспамятстве, что и по ночам не отходят

от меня» – и после того, как бы с горем добавлял: «но еще не пришло». Его сокрушало только одно: много задуманных работ осталось не исполнено; иное было лишь в черновых набросках; другое не было даже и вчерне занесено на бумагу. Особенно тяготили его неоконченные труды по русской грамматике. «Все это я считаю своими долгами, – подтверждал он в одном письме, – я не имею права не выплатить этих долгов. Но прежней работы нет. Для того чтоб работать, нужно веселие духа. Его нет у меня». В это время он часто тосковал по одному и тому же вопросу: кому передать? Целое направление уносил он с собой в могилу. Он выглядывал среди молодежи. Подростающая университетская молодежь была предметом его заботливого внимания; он любил говорить с ней и об ней, спрашивал об университете; его постоянно интересовало: встречаются ли талантливые, выдающиеся личности между студентами?

В пятидесятых годах уж начиналось кривоблуждение мысли, потом расцветшее в *нигилизме*. Молодые люди, сходявшиеся друг к другу на вечеринки не затем, чтобы пить вино и играть в карты, казались очень подозрительными такому «государственному деятелю», каким был граф Арс. Андр. Закревский. Напротив того, люди, подобные А. С. Хомякову и К. С. Аксакову, очень интересовались в молодом поколении именно теми отдельными личностями, о которых слышно было, что сходятся они, как дерптские студенты и по выражению дерптских студентов, «развивать идею», а в карты не играют. Я живо помню одну из таких трезвых студенческих вечеринок в глухом переулке, в мезонине крошечного домика. Я уже тогда вышел из университета, но знал хозяина еще в университете – курсами двумя он был моложе меня. Сюда, к простым беднякам-студентам, готовым решать все вопросы наотмашь и очень уж зараженным неверием, безверием и всяким всевозможных видов отрицанием, охотно приезжали «вести споры» и А. С. Хомяков, и К. С. Аксаков. Плоды этих посещений сказались много лет позднее, когда ни того ни другого не было уж в живых, сказываются еще и в наши дни... Из этих родоначальников *нигилизма* и *нигилистов* ни один не попал в их ряды; напротив, то один, то другой все более отворачивались от кривого пути и выходили на прямую дорогу; иные, прямо сказать, озаменовали

добрыми трудами свой путь; не все живы, а кто жив, и сейчас трудится на прямом пути.

«*Направление!*» Как много страстных споров возбуждало тогда уж одно это слово... **как, впрочем, и теперь.** Мне живо припоминается юнейший, чистейший и честнейший, бледный с голубыми глазами поэт, только что кончивший курс в университете, спорящий с Константином Сергеевичем об самом этом слове: *направление*. «Помилуйте, – говорит он запыхавшись, – что такое направление? Избави Бог придерживаться какого бы то ни было направления! Раз есть направление, уж это односторонность! Истина дважды два четыре всегда истина – при всех направлениях и для всех направлений! Мое направление в том и состоит, чтобы не дать себя уловить ни одному из направлений!» О, юный, зеленый и молодой спор! Константин Сергеевич добродушнейшим образом доказывал юноше, что направление нимало не отнимает и не стесняет ни свободы воззрений, ни искренности веры; оно и служит компасом свободолюбцу, указывающим: что он свободно принимает и что отвергает, анализируя чужие мнения; ибо, прежде всего, оно и есть синтез его собственной аналитики. Константин Сергеевич мне как-то писал об этом юном – и в летах самой цветущей юности скончавшемся – поэте: «У нас с ним было два серьезных разговора, которые если не привели к окончательному результату, то подвинули много вперед. Я надеюсь, что со временем он будет согласен с нашими убеждениями. Он выслушивает, взвешивает, ищет доказательств, а это много и непременно доводит до результата».

* * *

Больше я не видал Константина Сергеевича. В сентябре 1859-го года было наше последнее, описанное здесь свидание. **Всю зиму он чахнул; весной и летом заболел так, что его отправили за границу;** в том же 1860-м году он и скончался 7 декабря, вдали от родины, в Греческом архипелаге, на острове Занте. За границей первоклассные знаменитости, иноземные врачи, дивились чахотке и сухотке этого богатыря, умиравшего с тоски по своему отце; собственно, **вся и болезнь была в этом.** Доктора не дава-

ли лекарств, не прописывали рецептов, советовали только развлекать его. Тогда Италия шумела именем Гарибальди; в ней пробуждалось народное движение, **не советовали пускать туда, а указывали на какие-нибудь «уве-селительные воды»** или даже на Париж, советуя возить на разные гулянья, а если в театр, то исключительно в водевили. Но жить таким образом для Константина Сергеевича значило: **не жить. Он уж умирал; последние оста-**вавшиеся средства, хоть для продления последних дней, медики свели на «теплый морской климат», и вот он попал на остров Занте. Когда пароход вез его к этому последнему пристанищу, он с болезненной грустью глядел в волны и говорил своему неизменному спутнику, сопровождавшему его брату, Ивану Сергеевичу Аксакову: «Неужели, однако, уж и кончено? Как ни ожидал я, но чтобы так уж скоро, кто бы думал?»

На пустынном острове не было русского православного священника для исповеди больного; нашелся грек, едва говоривший по-французски. У этого-то грека **и исповедывался умирающий на своем нелюбимом языке.** Что за судьба? И, словно, еще не ирония ли с ее стороны? Никакой иронии тут нет, хотя и знаменательно оно. Свободная вера Константина Сергеевича не знала ничего условного, и всякий фетишизм был ей чужд. Кто не понимал и не понимает, **что можно снимать шапку в Спасских Во-**ротах и креститься на золотые маковки Кремля и в то же время не быть фетишистом, – тот не понимает.

Грек, призванный к умирающему и спешивший попросту справить потребу, **был изумлен исповедью, причащением и кончиной столь необыкно-**венного человека. Самым простодушным образом **выражал он свое удив-**ление и недоумение; он просил: нельзя ли ему повидать всех близких этого человека и, главное, мать покойного? Ему хотелось ей передать – и если не придется лично, грек просил ей передать от него – праведник скончался! Еще не **видывал исповедник примеров такой веры на земле. Он не прекра-**щал своих расспросов: да кто же это был? Кто это умер перед ним?

Ему отвечали, что это был Константин Сергеевич Аксаков. И что же можно было сказать больше этого?

РАЗДЕЛ III

Ю. Ф. САМАРИН

Дмитрий Самарин
Самарин Юрий Федорович

Самарин Юрий Федорович – старший сын Федора Васильевича и Софьи Юрьевны, урожденной Нелединской-Мелецкой, род. в Петербурге 21 апреля 1819 года, умер в Берлине 19 марта 1876 года. Он был назван Юрием в честь своего деда по матери, Юрия Александровича, бывшего статс-секретарем при императоре Павле, а в царствование Александра I – сенатором и почетным опекуном. По последней должности почетного опекуна Нелединский почти неотлучно находился при императрице Марии Федоровне и пользовался ее особенным, можно сказать, дружеским расположением. Императрица Мария Федоровна благоволила и к младшей дочери его – матери Ю<рия> Ф<едоровича>: по желанию ее, Софья Юрьевна еще в 1810 г. была пожалована во фрейлины. Отец Ю<рия> Ф<едоровича>, Федор Васильевич, боевой офицер, участвовавший почти во всех войнах начала нынешнего столетия, был камергером, когда женился, а после того был пожалован в шталмейстеры и исправлял эту должность при императрице Марии Федоровне. Вот почему, когда Нелединский доложил императрице Марии Федоровне о рождении своего внука, она прислала новорожденному пасхальное яичко и вместе с императором Александром Павловичем была восприемницей его от купели.

В этой придворной среде протекло все детство Ю<рия> Ф<едоровича> до 7 лет. А в то время не только в этой среде, но и вообще в дво-

рянских семьях влияние французской образованности было настолько сильно, что обыденным языком служил не русский, а французский язык. Даже Ю. А. Нелединский хотя он и хорошо владел русским языком и был в свое время довольно известным русским писателем, однако французскими стихами приветствовал своего внука, когда ему минул год. Неудивительно поэтому, что Ю<рий> Ф<едорович> с раннего детства усвоил себе французский язык и охотнее говорил на нем, чем на своем родном языке. Этому, конечно, содействовало и то, что няня у него была не русская, что два с половиной года в детском возрасте он прожил за границей и что, когда ему минуло 5 лет, воспитание его было поручено французу. Федор Васильевич хотел дать основательное воспитание своим детям и потому, будучи со всем своим семейством в Париже в зиму с 1823 на 1824 год, обратился с просьбой рекомендовать воспитателя для своих детей к аббату Nicolle, известному по своей педагогической деятельности в Петербурге, Одессе и во Франции. Он рекомендовал молодого Пако (Pascault), кончившего курс в лицее и преподававшего потом французский, латинский и греческий языки в разных коллежах. Ему было тогда только 23 года; он был без места и потому охотно принял сделанное ему предложение. В начале 1824 года он поступил в дом Ф. В., горячо и всецело предался делу, за которое взялся, искренно полюбил своего воспитанника, довел его до университета и навсегда остался верным другом его и всей семьи. Самарин многим ему обязан. Впоследствии Пако Степан Иванович (так называли его в России, хотя настоящее имя его было Адольф) совершенно обрусел и пользовался вполне заслуженной известностью в Москве как лектор французского языка в Московском университете, как преподаватель во многих женских институтах и как один из деятельных членов Московского общества испытателей природы. План воспитания Ю<рия> Ф<едоровича> был составлен, вероятно, при содействии аббата Nicolle. Предположено было начать систематическое классическое учение с латинским и греческим языками, когда Ю<рий> Ф<едорович> достигнет 8-летнего возраста, а 3 года посвятить на воспитание и подготовительное учение. В то время классическое образование составляло редкое исключение в дворянской

среде. С 1 марта 1824 года до половины 1831 года Пако вел журнал, в котором ежедневно записывал все, что касалось физического, нравственного и умственного развития своего воспитанника. По этому журналу Ф. В. сам тщательно следил за воспитанием своего сына и руководил всем делом: он приискивал учителей, он приглашал профессоров на домашние экзамены; конечно, благодаря его воздействию укоренились в Ю<рии> Ф<едоровиче> и преданность Православной Церкви, и те нравственные начала, в особенности чувство долга, которые он проявил в своей жизни. Пако хорошо понимал всю неправильность преобладания французского языка в воспитании русского мальчика и не раз обращал на это внимание родителей. <...> Родители сознавали этот существенный недостаток в воспитании детей, но сложившийся образ жизни, а главным образом среда, в которой они жили, мешали им изменить свои привычки и подчинить все делу воспитания. Вот почему Ф. В. решился в 1826 году выйти в отставку и поселиться в Москве, где можно было устроить жизнь так, как того требовало воспитание детей – дело, которому он решился предаться вполне; у него тогда было 3 сына и 2 дочери. В октябре 1826 года поступил в дом Ф. В-ча русский наставник; то был Николай Иванович Надеждин, магистр Московской духовной академии, впоследствии профессор Московского университета и издатель «Телескопа». В 1826 г. ему было еще только 22 года; он переехал в дом Ф. В. из Рязанской семинарии, где был профессором словесности и немецкого языка, и до половины 1831 г. занимался воспитанием двух старших детей Ф. В. Чтобы заставить Ю<рия> Ф<едоровича> говорить по-русски, надзор за ним был разделен по дням между Пако и Надеждиным.

В 1827 г. Ю<рию> Ф<едоровичу> минуло 8 лет, и летом началось правильное учение по установленной программе. Надеждин преподавал Закон Божий, русский язык в связи с церковнославянским, греческий язык, историю и некоторое время немецкий язык, для которого был потом приглашен особый учитель. Пако преподавал французский и латинский язык, географию и арифметику. Все эти предметы вводились, конечно, постепенно, но преподавание обоих древних языков было начато одновременно, по получасу в день и притом поочередно: в один день ла-

тинский язык, а на следующий – греческий. Заслуживает внимания тот метод, которому следовал Пако в преподавании латинского языка. <...> Такие практические занятия с разговором на латинском языке продолжались года два, и только осенью 1828 года было приступлено к изучению грамматики. Одним словом, преподавание латинского языка ведено было по тому же методу, по которому преподаются живые языки. Вероятно, вследствие этого Ю<рий> Ф<едорович> и усвоил себе прочно латинский язык: он свободно читал на нем классиков и средневековых писателей. Нельзя того же сказать про греческий язык, несмотря на то, что на изучение его уделялось не менее времени, чем на латинский язык. В продолжение всего домашнего воспитания Ю<рий> Ф<едорович> не отличался ни прилежанием, ни благонравием; воспитание его было дело трудное. Тем не менее на ежегодных домашних экзаменах успехи его оказывались вполне удовлетворительными, за исключением, кажется, математики, на преподавание которой не было обращено внимания. Очевидно, что природные способности Ю<рия> Ф<едоровича> восполняли недостаток прилежания, внимания и настойчивости в учении.

Весной 1834 г. Ю<рию> Ф<едоровичу> минуло 15 лет, и осенью он вступил в Московский университет на словесное отделение. В своих воспоминаниях об университете Ю<рий> Ф<едорович> писал в 1855 году: «Чтобы дать понятие о том, до какой степени все мы были худо приготовлены, достаточно рассказать одно. На первой лекции Шевырев заставил нас написать под диктовку несколько страниц, потом дал нам полчаса на внимательное прочтение написанного, и у всех, за весьма немногими исключениями, к числу которых я не принадлежал, на каждой странице оказалось у кого 10, у кого 20 грубейших ошибок против правописания. Это нас ужасно пристыдило, и не я один, многие из моих товарищей, благодаря этому уроку серьезно принялись за грамоту». Впоследствии Ю<рий> Ф<едорович> всегда с благодарностью вспоминал о С. П. Шевыреве за ту пользу, которую ему принесли практические занятия его со студентами по русскому языку. «Из профессоров того времени сильнее всех действовал не только на меня, но и на многих других Погодин. Он не заискивал популярности, как И. И. Давыдов; лекции его не отлича-

лись художественной законченностью и совершенной новизной лекций Печорина; в даре изустного изложения он далеко уступал Крюкову; но он отличался тем, чего не имел никто из них – мы чувствовали в нем самостоятельное направление мысли, направление, согретое глубоким сочувствием к русской жизни. Чему нас выучил Погодин, я не могу сказать, передать содержание его лекций я был бы не в состоянии; но мы были им наведены на совершенно новое воззрение на русскую историю и русскую жизнь вообще... Все это высказывал Погодин довольно нескладно, без доказательств, но высказывал так, что его убеждения переливались в нас». Учение Ю<рия> Ф<едоровича> в университете совпало с введением нового устава, по которому между прочим к трехгодичному курсу учения был прибавлен один год, и с оживлением университета вследствие назначения на должность попечителя графа Строганова и прибытия из-за границы молодых профессоров. Ю<рий> Ф<едорович> окончил курс в университете 19-ти лет первым кандидатом и получил вследствие этого право поступить на службу прямо в министерство.

Товарищами его по первому отделению философского факультета, окончившими курс вместе с ним, были Ф. И. Буслаев и М. Н. Катков.

По выходе из университета Ю<рий> Ф<едорович> начал готовиться к магистерскому экзамену. В это время он сошелся с К. С. Аксаковым, который был двумя годами старше его, кончил курс в 1835 году и тоже готовился к магистерскому экзамену. Это знакомство скоро перешло в искреннюю дружбу. «В то время, – писал К. С. Аксакову в 1846 году, – я находился под сильным твоим влиянием. Ты первый высказал все неясные для меня ощущения души моей, неопределенные сочувствия, требования пробудившейся мысли. Под твоим влиянием определился мой образ мыслей». Действительно, под влиянием Аксакова Ю<рий> Ф<едорович> окончательно отрешился от французского направления, начало чему было положено в университете лекциями Погодина и отчасти Шевырева. Аксаков увлек С<амарина> своей горячей проповедью о народных русских началах. Осенью 1840 г. они вдвоем взялись истолковать эти начала приехавшему в Москву члену палаты депутатов Могену. В письме, написанном по-французски, Ю<рий> Ф<едорович> изложил ему «свое

мнение о трех периодах (исключительной национальности, подражания и разумной народности) и о двух началах нашей народности – Православии и самодержавии». В феврале 1840 года С<амарин> выдержал магистерский экзамен и принялся писать диссертацию о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче. Без малого четыре года он посвятил этому труду. В это время он вошел в близкие сношения с тем кругом людей, которые известны под именем славянофилов и во главе которых стояли А. С. Хомяков и два брата Киреевские. Но С<амарин> и Аксаков в эту пору еще далеко не вполне признавали себя сторонниками направления этих корифеев славянофильства. С<амарину> предстояло пройти еще через одну стадию развития, прежде чем окончательно примкнуть к ним. В этом отношении решающее значение для него имел год, протекший между окончанием диссертации в 1843 г. и диспутом, бывшим 4 июня 1844 г. Философия Гегеля, которую он в это время изучал и которая властвовала над умами, привела его к томительному раздвоению, к тяжелой внутренней борьбе. В развитии его совершался перелом; он «вел тяжелый мучительный спор с самим собою»; он готов был отречься от своей диссертации и признать, что «вне философии Гегеля Православная Церковь существовать не может». Из этой внутренней борьбы вывел Самарина Хомяков. Он один у нас устоял в 40-х годах против увлечения философией Гегеля и мог отнестись к ней критически, имея в то время уже твердо сложившиеся убеждения. Много лет спустя С<амарин> так определил значение Хомякова: «Для людей, сохранивших в себе чуткость неповрежденного религиозного смысла, но запутавшихся в противоречиях и раздвоившихся душою, Хомяков был своего рода эмансипатором; он выводил их на простор, на свет Божий и возвращал им цельность религиозного сознания... Для многих сближение с Хомяковым было началом поворота к лучшему и остается навсегда в их признательной памяти как знаменательное событие их собственной внутренней жизни». Такое знаменательное событие и совершилось с Ю<рием> Ф<едоровичем> в 1843 и 1844 годах; он признал Хомякова своим учителем; вместе с тем окончилось влияние на него К. С. Аксакова, с которым, однако, он остался навсегда «связан единством основных убеждений и сочувствий». Так определилось на-

правление Ю<рия> Ф<едоровича>, которому он остался верен до конца своей жизни. Диссертация Ю<рия> Ф<едоровича> состояла из 3 частей: первые две – Феофан Прокопович и Стефан Яворский как богословы и как иерархи – не были допущены к печати, и на диспуте обсуждалась только третья часть, посвященная оценке обоих иерархов как проповедников. После блестящего диспута Ю<рий> Ф<едорович> был утвержден в звании магистра. Его желание было посвятить себя профессорству, но, исполняя волю своего отца, он отправился 7 августа 1844 г. на службу в Петербург и был причислен к департаменту Министерства юстиции. С тех пор, в продолжение 8 с лишком лет, он проходил разные должности, состоя на службе государственной. С небольшим год он прослужил в Сенате; эта служба крайне тяготила его; 9 февраля 1846 года он перешел в министерство внутренних дел и был прикомандирован в качестве помощника делопроизводителя к открытому в то время в Петербурге Комитету об устройстве быта лифляндских крестьян. Хотя занятия этого Комитета продолжались недолго, но для Ю<рия> Ф<едоровича> они имели важное значение. Перед ним внезапно предстал крестьянский вопрос, поставленный не теоретическими соображениями, а выдвинутый самой жизнью. Он увидел, что решение его может быть не только предметом неопределенных чаяний, что оно положительно поддается законодательным и административным мерам. «В моих глазах, – писал он Аксакову, – был решен важный вопрос о праве на землю лифляндских крестьян, не соединенными силами двух министерств, а 30-летним помещиком, никогда не служившим». Не слышится ли в этих словах как бы предчувствие того участия, которое ему, тоже как помещику, пришлось принять в деле освобождения крестьян? Сверх того, в этом Комитете Ю<рий> Ф<едорович> впервые ознакомился и с остзейским вопросом. По закрытии Комитета Самарин был назначен 3 мая 1846 года чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел и прикомандирован к ревизионной комиссии, которой было поручено изучить городское устройство и хозяйство Риги и составить проект преобразования средневекового устройства этого города. Этим закончилась почти двухлетняя служба Ю<рия> Ф<едоровича> в Петербурге; во все это время он был

так поглощен служебными занятиями, что мог посвящать лишь немного времени литературным трудам; поэтому в печати за это время появились только две статьи его: разбор сочинения гр. Соллогуба «Тарантас» и возбудившая сильную полемику критическая статья «О мнениях “Современника”, исторических и литературных». В этой статье Ю<рий> Ф<едорович> впервые формулировал главные положения славянофильского учения в пределах затронутых в его статье вопросов.

Ю<рий> Ф<едорович> выехал из Петербурга в Ригу 21 июля 1846 года вместе с председателем комиссии Я. В. Ханыковым. Служба его там продолжалась два года. На него возложено было составление «Истории городских учреждений Риги». Исследование это было напечатано министерством в 1852 году, и хотя оно назначалось только «для лиц высшего управления», однако бывший министр внутренних дел Л. А. Перовский не решился выпустить его из своего кабинета и все издание погибло; уцелело только 2–3 экземпляра, составляющие теперь библиографическую редкость. В предисловии к этому исследованию, написанном Ханыковым, сказано, что «исторические сведения о постепенном развитии рижской городской общины должно было почерпнуть из местных летописей, записок и протоколов двух городских гильдий; лишь немногие из этих источников были изданы, большинство же заключалось в рукописях нередко на трудно понятном древненемецком языке». Кроме этого служебного труда, Ю<рий> Ф<едорович> под конец своего пребывания в Риге написал еще «Письма об Остзейском крае». Цель, с которой он взялся за перо, высказана им самим в письме к Аксакову, написанном в апреле 1848 г.: «...систематическое угнетение русских немцами, ежедневное оскорбление русской народности в лице немногих ее представителей – вот что волнует во мне кровь, и я тружусь для того только, чтобы привести этот факт к сознанию, выставить его перед всеми». По приезде в Петербург Ю<рий> Ф<едорович> представил в рукописи свои «Письма из Риги» министру внутренних дел как своему начальнику. Письма эти получили огласку и возбудили негодование немецко-остзейской партии и стоявшего во главе ее тогдашнего остзейского генерал-губернатора князя Суворова. Она достигла того, что, по истребовании от С<амарина>

объяснения, признанного неудовлетворительным, он был по Высочайшему повелению посажен в Петропавловскую крепость. После 12-дневного заключения в ней, 17 марта 1849 года, в 9 ч. вечера, явился к нему в крепость фельдъегерь и повез его к Государю в Зимний дворец. Император Николай сделал ему строгое внушение за разглашение того, что считалось, по тогдашним понятиям, канцелярской тайной, и за возбуждение вражды немцев против русских, но обошелся с ним милостиво. Он закончил свою речь словами: «Теперь это дело конченное. Помирился и обнимемся. Вот ваша книга, вы видите, что она у меня и остается здесь». Государь велел С<амарину> ехать в Москву и дожидаться распоряжения о назначении его там на службу. Но в это время генерал-губернатором в Москве был граф Закревский, который крайне враждебно относился к славянофилам. Вследствие его докладов Государь изменил свое милостивое расположение к Ю<рию> Ф<едоровичу>; места в Москве ему не дали и его забыли. Графу Перовскому пришлось испросить у Государя разрешение командировать С<амарина> в какую-либо губернию с поручением от министерства. Государь изъявил на это согласие, но так как он не хотел, чтобы С<амарин> служил в Петербурге, то поставил условием, чтобы он был «отчислен к губернатору» той великороссийской губернии, в которую он будет переведен на службу. Ю<рий> Ф<едорович> предполагал отправиться либо в Восточную Сибирь, либо в Симбирскую губернию, где у отца его было имение. Перовский воспротивился назначению его в Сибирь, и потому 3 августа 1849 года он был командирован в распоряжение симбирского губернатора. В Симбирске, однако, ему пришлось прожить недолго; вследствие доноса о вредном влиянии его на тамошнее общество он был командирован 15 октября, в качестве чиновника особых поручений при министре, в распоряжение киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова. Приезд его в Киев совпал со введением во всем Юго-Западном крае «инвентарей», определявших земельные отношения крестьян к помещикам. Ю<рий> Ф<едорович> никакого участия в этом деле не принимал, но с сочувствием следил за ним. Приобретенное им, таким образом, знакомство с хозяйственными условиями Юго-Западного края дало ему возможность впоследствии принять дея-

тельное участие в трудах редакционных комиссий по составлению Местного положения того края. Через год по приезде в Киев Ю<рию> Ф<едоровичу> поручено было управление канцелярией генерал-губернатора. На этом и закончилась его служебная карьера; 21 февраля 1853 г. он был уволен в отставку. Не по своему желанию поступил Ю<рий> Ф<едорович> на службу; он тяготился ею, и тем не менее, окидывая теперь взглядом всю жизнь Ю<рия> Ф<едоровича>, нельзя не признать, что этот 8-летний период его жизни имел для него значение подготовительной школы к делу, которое он считал задачей своей жизни. В продолжение своей кратковременной службы ему пришлось дважды быть свидетелем практического решения крестьянского вопроса в такое время, когда в центральной полосе России не было об этом и слуха. Сверх того, служба познакомила его со сложным механизмом административным и дала ему некоторый административный навык, а то и другое было необходимо для участия в решении такого вопроса, который захватывал все стороны жизни государственной.

Но этой школы было недостаточно: требовалось еще ознакомиться на деле с отношениями крестьян к помещикам, с сельским хозяйством и с бытом крестьян. Обстоятельства сложились так, что и эту школу Ю<рий> Ф<едорович> прошел в течение 5 лет по выходе в отставку и до поступления в Самарский губернский комитет по улучшению быта помещичьих крестьян. Еще до получения отставки, в декабре 1852 года, Ю<рий> Ф<едорович> окончательно выехал из Киева и поселился опять в Москве, чтобы жить с престарелым отцом своим и помогать ему в управлении имениями. После кончины его все дела семейные перешли на руки Ю<рия> Ф<едоровича>; он объезжал имения, проживал в них летом, изучал хозяйство в Тульской и в Самарской губернии, а зимы проводил в Москве, в кругу семьи своей и близких друзей. Уже с 1853 года он приступил к составлению записки «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе»; но она была окончена и пущена в обращение только в 1856 г. В продолжение своей 8-летней службы Ю<рий> Ф<едорович>, кроме вышеуказанных двух статей, ничего не печатал: у него не доставало на то времени, и к тому же, вследствие го-

нения на славянофилов, цензура не пропускала ничего, что исходило от лиц, принадлежавших к этому направлению. Но с новым царствованием обстоятельства изменились: в 1856 году было разрешено славянофилам издавать «Русскую беседу», а с 1858 года – «Сельское благоустройство», посвященное исключительно крестьянскому делу. В обоих этих изданиях Ю<рий> Ф<едорович> принял деятельное участие. Даже состоя на службе в симбирском ополчении в зиму с 1855 на 1856 год, он написал для первых двух книг «Русской беседы» статьи «О народности в науке» и «О народном образовании», вызвавшие в свое время сильную полемику. За исключением этих статей, все написанное им в это время имело прямое или косвенное отношение к крестьянскому вопросу. Главные труды его этой эпохи составляют его статьи о сельской общине и исследование «Упразднение крепостного права и устройство отношений между помещиками и крестьянами в Пруссии». Это исследование было написано им потому, что он признавал необходимым прежде, чем приступить к законодательному решению крестьянского вопроса, основательно ознакомиться с тем, как вопрос этот был решен в Пруссии, и в особенности изучить деятельность по крестьянскому делу Штейна, известного прусского политического деятеля в начале нынешнего столетия.

Наконец наступила та пора, когда столь давно лелеянная мысль должна была осуществиться, когда то, что еще недавно казалось мечтой, надлежало облечь в плоть и кровь, когда представилась возможность Ю<рию> Ф<едоровичу> приложить к решению крестьянского вопроса всю приобретенную им опытность административную, хозяйственную и жизненную, все знание крестьянского дела, которое далось ему как бы случайно и которое он восполнил упорным трудом. Высочайшие рескрипты 20 ноября 1857 года призвали дворянство к разработке Положения об улучшении быта крестьян; открылись повсеместно губернские комитеты, и Ю<рий> Ф<едорович> получил 25 июня 1858 года приглашение вступить в Самарский комитет в качестве члена от правительства. Комитет был открыт 25 сентября; с тех пор в продолжение 5 лет Ю<рий> Ф<едорович> занимался почти исключительно и почти без перерыва крестьянским делом. То была страдная пора в его жизни. В Са-

марском комитете занятия продолжались до июня 1859 года. За все это время Ю<рий> Ф<едорович> вел оживленную переписку с кн. В. А. Черкасским и с А. И. Кошелевым, которые оба были тоже членами от правительства: первый в Туле, второй в Рязани. Эта в высшей степени интересная переписка отражает, как в фотографии, те страстные, раздражительные прения, которые велись в комитетах между членами большинства, отстаивавшими интересы дворянства, и членами меньшинства, которые горячо стояли за освобождение крестьян. По утвержденной правительством программе Ю<рий> Ф<едорович> составил проект Положения, который кроме него был подписан еще 4 членами меньшинства. По окончании этой работы он отправился немедленно в Петербург для участия в качестве члена-эксперта в Редакционных комиссиях. К сожалению, он запоздал приездом. Редакционные комиссии были учреждены еще 4 марта 1859 года для рассмотрения проектов Положения, которые постепенно поступали из Губернских комитетов. По мере того как съезжались в Петербург эксперты, приглашенные из разных губерний, между членами Редакционных комиссий начинал уже слагаться окончательный взгляд на то, как следовало отнестись к коренным вопросам этой реформы. В особенности сталкивались между собой наиболее влиятельные члены хозяйственного отделения Редакционных комиссий, Н. А. Милютин, бывший председателем этого отделения, и кн. В. А. Черкасский, приехавший в Петербург ранее Ю<рия> Ф<едоровича>. С теми выводами, к которым все члены Хозяйственного отделения уже пришли на частных совещаниях, Ю<рий> Ф<едорович> был не вполне согласен. Сущность его взгляда на крестьянскую реформу заключалась в следующем. Отвергая безусловно личное освобождение крестьян без земли, он придавал самое главное значение вопросу о наделе с сохранением общинного землевладения. Он полагал, что в великороссийских губерниях с общинным владением земель надел следовало определить на каждое сельское общество не по числу ревизских душ, а по единожды навсегда исчисленному для этого общества числу тягл; что надел на тягло должен быть определяем по норме, установленной для каждой из местностей, на которые должна быть подразделена губер-

ния. На отведенную, таким образом, в бессрочное и неотчуждаемое пользование землю, под названием крестьянской или мирской, обществу должно быть предоставлено право выкупа. Но если существовавший надел превышал нормальный надел, то за обществом должно быть признано право удержать за собой излишек за добавочную повинность, но без права выкупа этого излишка. Вопрос о наделе Ю<рий> Ф<едорович> признавал коренным, потому что, по его мнению, он решался в то время окончательно, без возможности исправления его в будущем. Что касается вопроса о повинностях, которые, по его мнению, тоже следовало исчислять по тяглам, то его не пугала величина повинности: во-первых, потому, что это дело было исправимо в будущем, и, во-вторых, потому, что всякое уменьшение повинности непременно связывалось с уменьшением поземельного надела. Точно так же и по вопросу о переходном состоянии и о выкупе Ю<рий> Ф<едорович> хотя и признавал, что вся реформа должна была завершиться выкупом, но опасался хоронить этой развязкой и нисколько не пугался продолжительности переходного или так называемого срочно-обязанного состояния. Если спешить выкупом, то, по его мнению, для осуществления финансовой операции пришлось бы непременно понизить повинность, а понижение повинности по необходимости влекло за собой уменьшение надела. В этом взгляде на самую существенную, хозяйственную сторону реформы Ю<рий> Ф<едорович> расходился даже с тем человеком, мнением которого он наиболее дорожил – с А. С. Хомяковым. Ввиду оказавшегося разногласия между взглядом Ю<рия> Ф<едоровича> и теми принципами, на которых окончательно, еще до его приезда, утвердились его друзья, не менее чем он воодушевленные желанием, чтобы реформа совершилась на благо крестьян, он думал удалиться из Редакционных комиссий. Но он пожертвовал своими личными взглядами и подчинился убедительным просьбам своих друзей не покидать общего дела, а довести его до конца. Теперь, когда прошло уже 35 лет после освобождения крестьян, можно, кажется, сказать, что взгляд Ю<рия> Ф<едоровича> был во многом верен особенно относительно будущего, которого не следовало упускать из виду, но по вопросу о переходном состоянии, может

быть, он не придал достаточного значения, так сказать, психологическому моменту, в который приходилось решать вопрос. Дело в том, что не только помещики, но и крестьяне требовали окончательной развязки. Крестьяне готовы были идти не только на уменьшение надела, а даже на полный отказ от него, лишь бы достигнуть окончательной развязки. Вот до чего назрел вопрос. Но это настроение крестьян обнаружилось только позднее, когда начали приводить в исполнение Положение 19 февраля. Неудивительно поэтому, что, имея в виду будущее и отстаивая преимущественно интересы крестьян как стороны безгласной в этом деле, он не придал должного значения означенному психологическому моменту. В Редакционных комиссиях он работал, главным образом, в Хозяйственном отделении по вопросу о повинностях вместе с П. П. Семеновым и, сверх того, принимал деятельное участие в составлении Местного положения Юго-Западного края. Члены Редакционных комиссий работали дружно; большого разногласия между ними не было. Но раздражение в обществе против Редакционных комиссий и усиленный труд надорвали силы Ю<рия> Ф<едоровича>; прилив крови к утомленному мозгу вынудил его на время прекратить всякие занятия и уехать в сентябре 1859 года за границу. Отсутствие его было, однако, непродолжительно; уже в декабре он вернулся в Петербург и продолжал работать в Редакционных комиссиях до закрытия их 10 октября 1860 года. В это время постигли Ю<рия> Ф<едоровича> два тяжелых удара – умерли один вслед за другим два самые близкие ему человека: А. С. Хомяков (23 сентября) и К. С. Аксаков (7 декабря). Несмотря на сильное нравственное потрясение, испытанное Ю<рием> Ф<едоровичем> от этих известий, он вернулся в Петербург по отдаче последнего долга почившим. Покуда проект Положения рассматривался в Главном Комитете, он помогал Н. А. Милютину, который, не состоя членом Комитета, был приглашаем великим князем Константином Николаевичем для постоянных частных совещаний. Ю<рий> Ф<едорович> составил в это время для великого князя несколько записок в опровержение мнений, которые подавались членами Главного Комитета против проекта Положения, выработанного Редакционными комиссиями. Тогда же был написан им проект Манифеста

19 февраля, хотя он был изменен Н. А. Милютиным и кн. Черкасским, а потом и совершенно переделан митрополитом Филаретом, но из него взяты были в другой редакции почти единственные слова, которые были поняты народом. Его проект кончался обращением к народу: «Православные! не омрачите этого светлого дня ни диким разгулом, ни буйным веселием; но в трезвом сознании лежащих на вас обязанностей возблагодарите Всевышнего, Подателя всяких благ, и, осенив себя крестным знамением, вступите бодро в новую жизнь». Впоследствии Ю<рий> Ф<едорович>, вспоминая это обстоятельство, говорил, что хотя митрополит Филарет и заимствовал из его проекта заключение, но как знаток слова он обратил придаточное предложение в главное и тем придавал ему, конечно, больше силы: «Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного». Наконец, законодательная работа была окончена; Положение было утверждено государем в навеки памятный день 19 февраля 1861 года. Надлежало теперь приводить Положение в исполнение. Ю<рий> Ф<едорович> не уклонился и от этой работы. В начале марта он поехал в Самару, чтобы принять участие, в качестве члена от правительства, в Губернском по крестьянским делам присутствии. Два года он трудился в Самаре над проверкой «Уставных грамот» и над разрешением тех частных вопросов, которые возникали по ходу дела. Наконец, когда большая часть Уставных грамот была составлена, Ю<рий> Ф<едорович> признал, что он задачу свою выполнил, что дело доведено им до конца. Самарское общество, на глазах которого протекала деятельность его в Губернском комитете и в Губернском присутствии, почтило его на прощанье целым рядом обедов, учреждением двух стипендий его имени в гимназии и в женском училище и званием почетного гражданина г. Самары. Ю<рий> Ф<едорович> выехал в Москву в июне 1863 года и предполагал отправиться за границу, чтобы поправить свое здоровье, расшатанное усиленными, почти 5-летними трудами по крестьянскому делу. Но пришлось отложить это намерение. В начале октября он, по просьбе Н. А. Милютина, согласился принять участие в комиссии, которой было

поручено изучить крестьянский вопрос в Царстве Польском и выработать проект Положения для тамошних крестьян. Ю<рий> Ф<едорович> прожил в Варшаве 6 недель и вместе с остальными членами комиссии, под прикрытием сильного конвоя вследствие продолжавшегося еще мятежа, объехал три уезда, чтобы изучить на месте положение крестьян. Впечатления, вынесенные им из этой поездки, были изложены им в записке, которая от комиссии была представлена государю. Вместе с Н. А. Милютиным и кн. В. А. Черкасским Ю<рий> Ф<едорович> выработал проект «Положения об устройстве сельских гмин и крестьянского быта в Царстве Польском» и в январе 1864 г. принял участие в особом комитете, который был учрежден, под председательством кн. П. П. Гагарина, для рассмотрения означенного проекта Положения. Оно было Высочайше утверждено 19 февраля 1864 года. На этот раз занятия крестьянским делом окончательно завершились для Ю<рия> Ф<едоровича>; вместе с тем завершился и почти 20-летний период его жизни, начавшийся со вступления его на службу в Петербурге в 1844 году. Здоровье его было так расшатано, что он считал себя неспособным ни к какому усиленному труду; 30 марта 1864 года он писал: «...мое здоровье в одном положении, т. е. со дня на день хуже. Надежды на выздоровление я никакой не имею. Придется умирать медленно, долго и постепенно; впрочем, я далек от уныния и надеюсь рассчитаться с жизнью непостыдно». Но Ю<рий> Ф<едорович> ошибался: хотя он и был серьезно болен – несколько раз повторявшиеся приливы крови к мозгу действительно потрясли его нервную систему, последствием чего был даже паралич правого глаза, – но крепкий организм его перенес эту болезнь; продолжительный отдых за границей и лечение водами и виноградом восстановили его силы. Ему дано было прожить еще 12 лет и принести немало пользы своему Отечеству.

Эти 12 лет составляют период его общественной и литературной деятельности. Жизнь его текла в это время довольно однообразно. Почти ежегодно он ездил за границу для поправления здоровья и для печатания своих литературных трудов. Часть лета и осень он обыкновенно проводил в своем имении на берегу Волги в Самарской губернии. Здесь он

писал «Окраины», «Письма об иезуитах», подготавливал к печати богословские сочинения Хомякова, занимался тремя открытыми им сельскими школами и даже в последние годы сам учил в одной из них. Отдыхал он от занятий, садясь за шахматный стол или отправляясь на целый день на охоту, которой он со страстью предавался еще с юности своей. Зимы Ю<рий> Ф<едорович> проводил в Москве, откуда ездил ненадолго в Петербург навещать своих друзей. Этот период жизни Ю<рия> Ф<едоровича> совпадает со второй половиной царствования Александра II, когда в правительственных сферах все усиливалась реакция против того, что было совершено в первое десятилетие этого царствования. Неудивительно поэтому, что в означенных сферах чуждались Ю<рия> Ф<едоровича>, а он, конечно, ничего не искал. Только раз, и то в начале этого периода, вспомнили о нем: в декабре 1865 года по особому Высочайшему назначению ему было поручено председательствовать в Самарском губернском земском собрании. Общественная деятельность его за все это время сосредоточивалась в Москве. С 1866 года до самой смерти он состоял гласным городской думы и губернского земского собрания. Принимая самое живое участие в заседаниях, он поражал всех своим даром слова, отличавшимся ясностью, логичностью и простотой изложения. И. С. Аксаков так определил дар слова Ю<рия> Ф<едоровича> и его слог: «Он никого не увлек художественностью и страстностью речи, подобно К. С. Аксакову; но, доведя мысль до совершенной отчетливости, он выражал ее в устном и письменном слове с такой точностью и прозрачностью, в такой неотразимой последовательности логических выводов, что это составляло красоту своего рода: подобного ему в этом отношении, по крайней мере в России, не было другого и едва ли скоро будет». Кроме участия в заседаниях, С<амарин> работал в комиссиях и работал как труженик; в думской комиссии о пользах и нуждах общественных он был председателем с 1866 по 1875 год с краткими перерывами. Когда в Москве было получено известие о кончине Ю<рия> Ф<едоровича>, городской секретарь М. П. Щепкин в заседании Думы, посвященном памяти его, вывел на справку, что за одни последние три года было заслушано Думой 40 докладов за подписью «Председатель Ю. Самарин».

«А кому из нас неизвестно, – пояснил городской секретарь, – что значила эта подпись? Она значила, что весь доклад от начала до конца, вся черная и белая работа была исполнена рукою самого председателя комиссии, которой он был и надежным руководителем и усердным работником». Очень верно охарактеризовал деятельность Ю<рия> Ф<едоровича> в Московской Думе Н. П. Гиляров, хорошо знавший его: «Автор “Иезуитов” и “Окраин” с беспримерной добросовестностью засаживал себя, как последний рабочий, за какой-нибудь вопрос о прирезке городской земли к кладбищам, о вывозе городских нечистот или о стене Китая-города. Это, как метко выразился некто, было топление печи красным деревом, куда годились бы и осиновые поленья. Но Ю<рий> Ф<едорович> был иного мнения и нашел долгом отдать себя такой деятельности. “Теперь нужны не зодчие, а каменщики; не планы сочинять, а кирпичи класть”. Почти этими словами, но именно этим сравнением отвечал он на наше удивление и сожаление... Последние годы мыслителя были убиты на подвижничество в виде кладки кирпичей городского самоуправления». Московская Дума высоко ценила труды Ю<рия> Ф<едоровича> и потому с глубоким чувством сожаления отнеслась к неожиданному известию о кончине его. После горячей речи князя А. А. Щербатова в память о почившем Дума постановила: в знак признательности за плодотворную деятельность Ю<рия> Ф<едоровича> на пользу московского городского общества поставить его портрет в зале заседаний Думы и учредить две стипендии его имени в университете и в духовной академии. Московское губернское земское собрание тоже учредило стипендию его имени в Поливановской учительской семинарии. Из трудов Ю<рия> Ф<едоровича> по земству особенно выдается составленный им в 1871 г. доклад комиссии по вопросу об изменении системы подушных сборов. Комиссия эта, в которой участвовали все лучшие силы московского земства, работала под председательством Ю<рия> Ф<едоровича> в продолжение всей зимы, с 1870 по 1871 год. Она составила проект замены подушной подати и подушного государственного земского сбора тремя налогами: раскладочным на землю, окладным на строения в уездах и поразрядным окладным личным налогом. Вполне сознавая, что разработка этого про-

екта составляла, главным образом, труд Ю<рия> Ф<едоровича>, члены комиссии в знак благодарности поднесли ему изящный альбом со своими портретами. После работы в этой комиссии Ю<рий> Ф<едорович> не переставал заниматься этим вопросом: правительство намеревалось в то время приступить к податной реформе. Но Ю<рий> Ф<едорович> полагал необходимым, прежде чем браться за решение податного вопроса законодательным путем, предварительно основательно изучить его точно так же, как это им было сделано в пятидесятых годах по крестьянскому вопросу. С этой целью он предпринял исследование о том, как совершена была податная реформа в Пруссии, и изучал этот вопрос не только по книгам, но и посредством сношений с теми лицами, которые приводили эту реформу в исполнение. Во время своих поездок в Германию он заводил с этой целью знакомство с чиновниками прусскими, а в 1874 году присутствовал на съезде немецких экономистов в Эйзенахе и слушал там доклад известного экономиста Нассе о личных налогах. К сожалению, этот труд Ю<рия> Ф<едоровича> остался недоконченным; но часть его была напечатана после его смерти, в VI томе «Сборника государственных знаний» В. П. Безобразова под заглавием «Финансовые реформы в Пруссии в начале нынешнего столетия».

Такая, можно сказать, кипучая общественная деятельность не сполна, однако, поглощала силы Ю<рия> Ф<едоровича>. У него еще оказывалось достаточно и времени, и энергии, чтобы усиленно предаваться литературным занятиям. Талант его окончательно созрел; к этому последнему периоду его жизни относятся главные литературные труды его, которые навсегда останутся связаны с его именем. Напечатанное в газете «День» в 1864 году письмо иезуита И. Мартынова к редактору «Дня», И. С. Аксакову, дало Ю<рию> Ф<едоровичу> повод написать 5 ответных писем отцу Мартынову. Они были напечатаны в газете «День» в 1865 году и потом были издаваемы три раза отдельными книжками под заглавием «Иезуиты и их отношение к России»; сверх того, это сочинение вышло в переводе на французский и на польский языки. Н. П. Гиляров, который сам был замечательный мыслитель-богослов, так отозвался об этом труде Ю<рия> Ф<едоровича>: «Какое тонкое по-

нимание, какой прорезающий анализ в его “Иезуитах”! Лучшей оценкой силы этого сочинения служит то, что орден Лойолы не дерзнул даже выступить с ответной полемикой: прием, между прочим, предсказанный самим бессмертным автором». После писем к о. Мартынову об иезуитах Ю<рий> Ф<едорович> принялся за богословские сочинения А. С. Хомякова. Он проредактировал сделанные кн. Е. А. Черкасской и Н. П. Гиляровым переводы брошюр Хомякова с французского языка и его писем к Пальмеру с английского языка и написал свое известное предисловие, в котором определил значение Хомякова как богослова, выяснившего идею Церкви с православной точки зрения. Этот том сочинений Хомякова был напечатан Ю<рием> Ф<едоровичем> в чешской Праге в 1867 году. В связи с этими двумя трудами его, которые примыкают к его магистерской диссертации и составляют как бы продолжение ее, следует упомянуть написанный им в 1872–1875 годах, по вызову К. Д. Кавелина, разбор его сочинения «Задачи психологии» и, наконец, посмертный труд его, о котором будет сказано далее. К этой же эпохе относятся его литературные труды из области публицистики. Ю<рий> Ф<едорович> вернулся снова к остзейскому вопросу, который ему пришлось изучить еще в молодости. Но теперь этот вопрос был поставлен им шире. Он находил неправильной нашу тогдашнюю внутреннюю политику в отношении вообще к окраинам России. Он признавал, что национальное направление нашей внутренней политики сильно поколебалось в 60-х и 70-х годах и что это не могло не вызвать центробежного стремления в Польше, Финляндии, Остзейском крае и даже на Украине и на Кавказе. Для противодействия этому направлению, клонившемуся к федеративному устройству России, Ю<рий> Ф<едорович> и предпринял издание «Окраин России», которые он печатал за границей. По выходе в 1867 году первых двух выпусков Ю<рий> Ф<едорович> был вызван в ноябре 1868 г. московским генерал-губернатором для объявления ему Высочайшего неудовольствия за начатое им издание. Вследствие этого С<амариным> было написано всеподданнейшее письмо к императору Александру Николаевичу; он изложил в нем политическую исповедь свою и выяснил, с каким намерением он предпринял заграничное из-

дание. Затем следующие выпуски «Окраин» и полемические брошюры по поводу их продолжали выходить за границы: в 1869 г. был напечатан ответ Ю<рия> Ф<едоровича> на анонимное письмо, появившееся в Баден-Бадене; в 1870 году ответ Бокку и Ширрену; третий выпуск «Окраин» в 1871; четвертый – в 1874; пятый – в 1875 и шестой – в 1876 году после его смерти. Таким образом, в последние 12 лет жизни Ю<рия> Ф<едоровича> почти каждый год появлялось какое-либо значительное произведение его пера. Не вдаваясь в подробную оценку «Окраин России» ни с литературной, ни с политической точки зрения, следует сказать, что труд этот вызвал страстную полемику в Германии и сделал имя Ю<рия> Ф<едоровича> известным в Европе. Что касается России, то «Окраины» были встречены с горячим сочувствием в тех общественных слоях, которые стояли за национальное направление нашей политики, как внутренней, так и внешней, и за государственное объединение России, а со стороны наших русских космополитов посыпались обвинения на автора в узости взгляда, в национализме и, наконец, в том, что он разжигает страсти и вызывает вражду немцев против русских. Такое отношение к «Окраинам России» проявилось в особенности позднее, когда в царствование Александра III само правительство усвоило себе ту точку зрения на остзейский вопрос, которую проводил Ю<рий> Ф<едорович> в своем труде. Во всяком случае, едва ли можно отрицать, что само по себе издание «Окраин» в 60-х и 70-х годах было гражданским подвигом. К публицистическим же сочинениям Ю<рия> Ф<едоровича> этой эпохи относится изданная им за границей в 1875 году сообща с Ф. М. Дмитриевым брошюра под заглавием: «Революционный консерватизм». В статье, написанной в форме письма к генералу Фадееву, Ю<рий> Ф<едорович> представил характеристику той «небольшой партии, которая обозначилась у нас в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов отрицательным отношением своим к крестьянской реформе... обзавелась в свое время специальным органом, покойною газетою “Весть”... пустила корни в высшей правительственной и придворной среде... и талантливым истолкователем которой явился генерал Фадеев в изданной им брошюре “Русское общество в настоящем и будущем”». Еще при

жизни Ю<рия> Ф<едоровича> ученые и литературные труды его были достойно оценены нашими учеными корпорациями: он был удостоен звания почетного члена Московским университетом в 1869 г. и Московской духовной академией в 1872 г. Московская академия мотивировала свое избрание желанием выразить «искреннее уважение к глубокому сочувствию Ю<рия> Ф<едоровича> интересам Православия и сильному правдою обличению врагов его». При Московском же университете после смерти Ю<рия> Ф<едоровича> учреждена была премия его имени, присуждаемая через каждые три года за сочинения по крестьянскому и по земскому делу. Капитал, из процентов с которого выдается эта премия, был собран друзьями Ю<рия> Ф<едоровича> и почитателями его общественной и литературной деятельности.

Весной 1875 г. Ю<рию> Ф<едоровичу> наступил 57-й год. Судя по его деятельности, можно было думать, что силы еще не изменили ему. Хотя организм его и был расшатан непрерывным трудом, не раз повторявшимися приливами крови к голове и серьезной болезнью в 1873 году от ушиба ноги, но он мог бы прожить еще долго, если бы случайное обстоятельство не прервало преждевременно его жизни. Проведя праздник Рождества Христова в Москве, Ю<рий> Ф<едорович> выехал в последний раз за границу в конце декабря 1875 года. Он приехал в Берлин 4 января, прожил там безотлучно два месяца, в первых числах марта съездил на неделю в Париж повидаться с кн. В. А. Черкасским, с его женой и со своими братьями, затем 7 марта снова вернулся в Берлин и оставался там до самой кончины своей. Целью его поездки за границу было издание шестого выпуска «Окраин» и вместе с тем изучение земских учреждений Пруссии и действующей там системы податей. Но и среди занятий вопросами общественными и политическими высшие вопросы из области богословия и философии никогда не покидали его. В это время мысль богословская была снова пробуждена в нем сочинениями Макса Мюллера по истории религии. Они послужили темой для продолжительных бесед об основных началах религии с одним из профессоров Берлинского университета, знавшим лично Мюллера, почти ежедневно выдавшимся с Ю<рием> Ф<едоровичем> и, конечно, не

разделявшим его православного образа мыслей. По вызову своего собеседника Ю<рий> Ф<едорович> изложил письменно те мысли, которые он развивал в беседе устной. В двух законченных статьях, написанных по-немецки, Ю<рий> Ф<едорович> старался выяснить психическую основу сознания бытия Божия и разницу между понятием о бесконечном, которое Мюллер кладет в основу религии, и понятием о Боге. Кроме того, прения касались, как писал Ю<рий> Ф<едорович> своему другу баронессе Раден, и сущности чуда, и вопроса, можно ли проводить твердую, непреходимую границу между нравственной свободой, с одной стороны, и логической, точно так же, как и вещественной, необходимостью – с другой стороны. Таким образом, в городе, в котором на месте прежнего Берлина, по выражению Ю<рия> Ф<едоровича>, стоял «новый Иерусалим, говорящий по-немецки», он «открыто выступил в борьбу за веру в бытие Бога и в бессмертие души человеческой», как сказал о нем в надгробном своем слове его духовный отец, протоиерей А. О. Ключарев. Для изучения прусской податной системы и введенных там земских учреждений Ю<рий> Ф<едорович> и в этот раз был в сношениях с советниками разных министерств, учеными и практиками по этим вопросам. В особенности он часто виделся с ф. Бринкен и с д-ром Дитерици, который, по его просьбе, согласился составить записку по архивным ненапечатанным документам. Дитерици пожелал угостить Ю<рия> Ф<едоровича>, чтобы положить конец случайному недоразумению, возникшему между ними, и пригласил его к себе на обед 11 марта. Между тем накануне этого дня, по настоятельному требованию Ю<рия> Ф<едоровича>, ему сделали операцию – вырезали небольшую жировую опухоль, величиной с орех, в верхней части правой руки. Операция была незначительная, доктора уверяли, что на полное излечение раны потребуется не более 4 дней, но, к сожалению, эта, в сущности ненужная, операция имела самые тяжелые последствия. Тотчас после операции Ю<рий> Ф<едорович> отправился обедать к своим знакомым, а на следующий день на условленный обед к Дитерици. Всех собравшихся было вместе с Ю<рием> Ф<едоровичем> 8 человек: советники (Regierungsräthe), представители городского управления и министерства

финансов; из них только трое были прежде знакомы с Ю<рием> Ф<едоровичем>. Ни хозяин дома и никто из гостей не знал, что его рука была оперирована. Ю<рия> Ф<едоровича> познакомили со всеми гостями; он жал всем руки, был, по словам д-ра Дитерици, чрезвычайно приветлив. За обедом хозяин предложил тост за здоровье Ю<рия> Ф<едоровича>, на который он отвечал длинной речью и тостом в честь прусских чиновников. В этой речи, продолжавшейся более получаса, Ю<рий> Ф<едорович> охарактеризовал взаимные отношения Пруссии и России с начала нынешнего столетия до последней войны Пруссии с Францией; указал на пользу, которую Россия оказала Германии, и с другой стороны на пользу, которую Германия принесла России своим просвещением и научным богатством, своими поучительными реформами, крестьянской и податной. По этому поводу он долго говорил о значении Штейна в эпоху возрождения Пруссии. «На этом камне, – говорил он, играя на слове Штейн, – зиждется все нынешнее здание Пруссии. Наполеон I, при всей своей гениальности, умел создавать только армии, которыми он завоевывал государства, а Штейн создал армию гражданских чиновников, которые составляют славу и силу Пруссии» и т. д. Все присутствующие на обеде были очарованы содержанием этой речи, блестящим изложением ее и той легкостью, с какой он говорил по-немецки. Никакого черновика этой речи в бумагах Ю<рия> Ф<едоровича> не оказалось и, конечно, его и не было. После обеда, несмотря на просьбы хозяина и гостей, Ю<рий> Ф<едорович> скоро уехал, извиняясь необходимостью заняться приведением в порядок и укладкой своих вещей ввиду отъезда на следующий день в Россию. Он казался утомленным и бледным, так что хозяин не решился слишком упорно настаивать на своей просьбе, хотя Ю<рий> Ф<едорович> уходом своим и расстраивал вечер, который они надеялись провести вместе с ним... Но не суждено было сбыться намерению Ю<рия> Ф<едоровича> вернуться в Москву к Вербному Воскресению. Рука его разболелась; в субботу, 13-го марта, доктор заметил, что начиналось рожистое воспаление, и посоветовал Ю<рию> Ф<едоровичу> лечь немедленно в больницу. Он пролежал в ней 6 суток и 19 марта скончался от гангрены, без малого 57-ми лет, вдали от всех близких

ему, вдали от России, которую он так любил и которой он с таким самоотвержением служил всю свою жизнь. Гроб с телом его был привезен в Москву и поставлен в университетской церкви; после заупокойной службы, совершенной митрополитом Иннокентием, он был похоронен в Москве в Даниловом монастыре.

Ознакомившись с жизнью Ю<рия> Ф<едоровича> Самарина, читатель спросит себя, кем же был он в своей разнообразной деятельности: как писатель-богослов, как писатель-публицист, как государственный деятель по участию в деле освобождения крестьян и как общественный деятель в земстве и в Думе? На этот вопрос жизнь Ю<рий> Ф<едорович> дает ответ: он был православный русский мыслитель, с самоотвержением потрудившийся на благо своей родины.

Семейный архив Самариных. – Сочинения Ю<рия> Ф<едоровича> Самарина, т. I, II, III, V, VI, VII, VIII и X и предисловия к III, V, VI и VII т. – Переписка Ю<рия> Ф<едоровича> Самарина с бар. Раден. – Письма Ю<рия> Ф<едоровича> Самарина с 1840–1845 г., напечатанные в «Русском архиве» 1880 г., т. II. – «Сборник государственных знаний» В. П. Безобразова, т. VI. – Газеты 1876 г.

Протоиерей А. И. Ключарев **Слово при погребении Юрия Федоровича Самарина¹**

Се воистину израильтянин,
в нем же лъсти несть.
(Ис 1:47).

Прежде, нежели прибыли в отечество последние останки Юрия Федоровича для погребения в родной земле, много уже было высказано в наших повременных изданиях воспоминаний о нем и суждений о его дарованиях, характере, литературной и общественной деятельности. Всюду и едино-

¹ Произнесенное 30 марта в церкви Московского университета духовником покойного, Казанской у Калужских ворот церкви прот. А. Ключаревым.

гласно выражаются сожаления о преждевременной его кончине и глубокое уважение к его личности, трудам и заслугам. И слово церковное не может не принять участия в этом, говоря языком библейским, общим плаче о достойном соотечественнике. Нам он известен со стороны внутренней, недоступной для света. Поднять завесу, отделяющую слова и внешние действия человека от сокровенных его мыслей, тайных сердечных движений и побуждений, это значит закончить и открыть полный его образ — всего человека. К несчастью, между нами раздвоение жизни внутренней и внешней есть обычное явление особенно там, где человек является мыслителем, общественным деятелем, поборником известных начал. Проповедовать их в слове так легко, а проводить в своей собственной жизни так трудно, особенно когда эти начала нравственного характера. Но в этом именно смысле для нас и утешительно коснуться внутренней жизни почившего, насколько смерть дает на это право, потому что он от публичной речи, печатного слова до дружеской беседы, до самых искренних сердечных излияний — везде один и тот же. И в этих тайниках его души, известных людям близким к нему по духу и сердцу, надобно искать истинного смысла и значения всей его деятельности. Здесь мы увидим, что он не был человек кружка или известного политического направления; нет, он мог таким казаться только от разрозненности воззрений и смешения религиозных и философских понятий в нашем образованном обществе; он был тем, чем желательно было бы видеть всех русских просвещенных людей, — он был человек с древней любовью к своей вере и Церкви, со старинной ревностью о благе своего отечества и с богатством нового образования. И то и другое так сложилось, примирилось и объединилось в его духе, что его личность может быть образцом практического решения трудной задачи, от правильного решения которой зависит все благо, вся будущность нашего отечества, именно сохранения в современных русских людях древнего русского религиозного и патриотического настроения и совмещения его с истинными сокровищами нового образования.

Известно, что Юрий Федорович имел блестящие природные дарования: ум глубокий, точный, последовательный, с особенным оттенком способности к тонкому, всеразлагающему анализу, сердце впечатлитель-

ное и восприимчивое, редкий дар живого, плавного, свободно льющегося, блиставшего остроумием слова. Заботливость родителей дала ему образование широкое, воспитание тщательное. Ко всему этому присоединялась в нем, отчасти как черта наследственная, отчасти как плод нравственного воспитания, внутренняя честность, прямота, правдивость, по которой для него невозможно было действовать не по убеждению, не по своему мнению, не по правде пред собой, пред людьми, пред законом. Положение ясное, определенное, пути прямые, точное разграничение и определение истины и лжи, друга и недруга, с совершенным устранением полуистин, полумер, софизмов, малодушных уступок, натяжек, сделок – вот сфера, в которой он любил вращаться и действовать с твердостью, неустрашимостью, самопожертвованием и трудолюбием.

Получив высшее образование в здешнем университете, который и отдаст ему последнюю почесть, Юрий Федорович, по природному призванию, то есть по силе и качеству своих дарований, желал посвятить себя служению науке и искать кафедры профессорской; но на это не было воли его отца, и он покорился этой воле беспрекословно. Он вышел из университета последователем господствовавшей здесь в его время философии Гегеля; но отчасти впечатления домашнего воспитания, отчасти сближение с современными его молодости просвещенными ревнителями Православия и нашей народности, отчасти изучение творений Стефана Яворского и Феофана Прокоповича, избранных им для сочинения на магистерскую степень, расположили его обратиться к христианству. И, прежде всего, в этом нравственном перевороте, или сознательном возвращении от философских убеждений к христианским, пример его особенно поучителен для наших отечественных философов последнего времени. Он не поработился любимому философскому учению, не отдал ему безвозвратно своей веры, не ограничился и по отношению к христианству не требующим труда детским отрицанием; он отнесся к христианству своим пытливым умом, своим прямым сердцем, своей честной совестью; он принял влияние его истин, его духа, его правил всей своей духовной природой, всем существом. Он уверовал снова по убеждению, изучив тщательно слово Божие, творения отеческие, историю Церкви и все разности христианских

исповеданий. Он понял Божественное установление и значение Церкви, оценил истинный дух христианского аскетизма и в жизни истинных христиан увидел образцы человеческого совершенства, руководимые идеалом небесным. Таким образом, он явил в себе из древности известный, но немногим доступный прием сильных душ, по которому человек, честно сознавая ограниченность человеческого знания и сил, чувствуя потребность высшего озарения для решения великих вопросов нравственной жизни, с радостью принимает божественное Откровение и отдает свой ум в послушание веры (2 Кор 10:5). Затем он не сочинил себе, как многие, особой рациональной религии, не вошел в Православную Церковь с гордостью распорядителя, принимающего одно и отвергающего другое по своему вкусу; он органически слился с ней как живой член, чувствующий в себе обращение ее крови, биение ее сердца. Для него при всей силе философского мышления и богатстве знания Распятый Христос был истинным Искупителем, благодать – истинной духовной силой, просвещающей и врачующей, молитва – общением с Богом, таинства Церкви – источниками благодати, церковные обряды – духовными упражнениями, питающими религиозное чувство и отрезвляющими душу. Что это не были только новые мысли, заменившие собой прежние, – как у нас иногда понимают убеждения, – а убеждения действительные, объемлющие и проникающие всю душу человека, это доказал Юрий Федорович своей жизнью. Надобно было видеть его стоящим во храме благоговейным, углубленным, сосредоточенным, чтобы понять, что он проникнут страхом Божиим и чувством Божия присутствия, что это не гордый мыслитель, а кающийся мытарь, не смеющий и очи возвести на небо. Нельзя было без глубокого уважения смотреть на него и слышать его в священные минуты исповеди: как этот человек, испытующий и строго разбирающий всех и все, строже и нещаднее всех судит себя самого, как отвергает облегчающие и утешающие объяснения его нравственных состояний, с какой полнотой и глубиной обзирает (особенно при болезнях) целую свою жизнь, как искренно признает заслуженной примечаемую им в упадке телесных и душевных сил, по его собственному выражению, «кару Божию» и как смиренно, будто простейший из простых, преклоняет колена для принятия таинствен-

ного отпущения грехов. При искренних дружеских беседах о чем он больше скорбел? Об этой, как он говорил, несчастной склонности и способности поражать противника в прениях и огорчать его торжеством своей мысли. В этой способности ума он винил свое сердце, почитал себя жестоким. Нежнейший сын, добрый брат, беззаветно преданный друг, разумный и щедрый благотворитель, он впадал иногда в глубокую печаль от мысли, что у него любви мало. Так и слышится во всем этом сильный дух, жаждущий совершенства, как путник, нетерпеливо стремящийся к вожаемой цели и жалующийся на медленность движения.

Порядком своей жизни Юрий Федорович напоминал древних аскетов, т. е. христиан, живших среди мира, но в отчуждении от него и в служении Богу и ближним. Ради свободы духовной и умственной деятельности он отказался от супружества и семейного счастья; при богатстве он чужд был доставляемых им чувственных наслаждений. Круг близких знакомых он ограничивал людьми, **которые пополняли его жизнь и доставляли ему утешения** дарованиями, познаниями и благородством сердца. Бескорыстно, без мысли о славе и почестях, он трудился дни и ночи для блага отечества, не почитая **для себя унизительной никакой работы для пользы общей**. Часто утренняя заря заставляла его с пером в руке, и он оканчивал горячие думы о благе своей родины горячей молитвой о ней к Богу.

Итак, это не был человек школы, системы или известной партии, это не был и в общем смысле человек жизни, а это был раб Божий, служивший всеми своими силами славе Божией и благу человечества. Чем в самые последние дни жизни занята была душа его? **В одном из центров европейского просвещения с высшими представителями современной науки он начал борьбу за веру в бытие Бога и бессмертие души человеческой. Это был истинный сын своей Церкви и своего народа, без двоедушия и лукавства.** И в этом надобно искать причины, почему все знавшие его русские люди самых разнообразных воззрений и направлений так единодушно и с такой скорбью отзывались о его кончине. **Эта сила ума, эта глубина знания, эта искренность убеждений** придают в глазах наших особенную цену его любимым мыслям: о преимуществах, какие имеет член Православной Церкви, стоящей на древних канонах, в обсуждении всех уклонов в духе

и направлениях иных христианских исповеданий и всех явлений современной науки и жизни; о необходимости стараться содержать наш народ в послушании Церкви, создавшей его нравственный характер и его высокую судьбу; о нашей обязанности тщательно сохранять наши права на каждый участок земли Русской, Богом нам дарованной и добытой кровью и трудами наших отцов и предков, и заботиться о бесспорном владычестве одной власти и одного закона во всей России от одного конца ее до другого; о братской любви к единокровным и единоверным с нами славянам и другим членам Православной Церкви не ради своекорыстных политических целей, а ради их собственной свободы, счастья и преуспевания. В его сознании ясно предносился светлый идеал России, достойно представляющей собой живую, великую часть Православной Вселенской Церкви, самостоятельно соединившей свободу, искренность и цельность веры с глубоким и всесторонним образованием, от нижних до верхних слоев народа, как было в старину, проникнутой одними началами и убеждениями, с ясным сознанием своего исторического призвания.

Прости, наш умный, добрый, приветливый, любезный Юрий Федорович! Да призрит Господь на твою веру и любовь к Нему и св. Его Церкви, на твои труды, на твое бескорыстие и самоотвержение, на твою предсмертную жажду общения с Ним в напутственных таинствах, да простит твои вольные и невольные прегрешения и да речет душе твоей слово милосердия Своего: *добре, рабе, благий и верный, о мале был еси верен, над многими ты поставлю: вниди в радость Господа твоего!* (Мф 25:21) Аминь.

Протоиерей В. Н. Нечаев
Речь в 9-й день по кончине Ю. Ф. Самарина¹

Новопреставленный Юрий Федорович не малое время жил в нашем приходе и по переселении в другой приход не прекращал общения с нашим, нередко посещая наш приходский храм. Этому обстоятельству мы

¹ Сказана протоиереем В. Н. Нечаевым в московской Николо-Толмачовской церкви, в приходе живут мать Юрия Федоровича и сестра его графиня М. Ф. Соллогуб.

обязаны личным знакомством с ним, которое в соединении со знакомством с его литературными и общественными трудами оставило в нас самые отрадные воспоминания. Служителю Церкви нельзя не помянуть его добрым словом, преимущественно за добрые его отношения к Церкви. Почивший был истинно церковный человек. **Идея Церкви как семейства Божия, как братства во Христе Иисусе была любимейшей его идеей.** Ближайшее осуществление эта идея находит в храме – в церковном богослужении. В храме все уравниваются пред лицом Отца Небесного; здесь забываются житейские преимущества одних пред другими, здесь нет ни аристократов, ни плебеев, здесь одни чада Божии, имеющие одинаковую нужду в милости Отца Небесного и принимающие одинаковое участие в дарах Его благодати. Здесь все молятся пред Ним общими молитвами, все оглашаются звуками одного и того же Слова Божия, **все без чинов приступают к трапезе Тела и Крови Христа, уготованной любовью общего всех Отца.** Здесь все напоминает о братстве, всех сродняет, из всех образует одну духовную семью, **в которой нет милых и постылых, – здесь пред лицом общего всех Отца все милы, как дети Его по благодати.** Даже можно сказать, что немощные и больные по духу члены этой семьи Ему жалче, чем крепкие духовно, как и сердцу родного отца и матери дети хилые и хворые жалче здоровых и крепких. Вы нигде на свете не найдете места, где бы с такой выразительностью преподавался для всех уроков братства и смирения, как в христианском, особенно православном храме. Вот почему почивший наш брат во Христе так любил храм Божий, – нигде он так живо не сознавал, что принадлежит к Телу Христову, к великому вселенскому духовному союзу, как один из его членов. Вот почему в храме Божиим он так смиренно наряду с прочими братьями по вере коленопреклонялся пред лицом Отца Небесного. **Да и вообще, как истинный сын Церкви, он беспрекословно, с детской покорностью и смирением подчинялся всем церковным порядкам, не требуя для себя никаких льгот и привилегий.** И все это счастливо сочеталось в нем с высокою внешней образованностью, с основательным и многосторонним научным развитием. В этом отношении его пример весьма поучителен, особенно в наше время, когда неуважение к вере и Церкви во многих возникает не по серьезному убеждению, добыто-

му тяжелою внутренней борьбой, глубокими научными исследованиями, а просто по наслуху, по слепому пристрастию к модным авторитетам, по привычке к плотскому мудрованию. **Лучшим обличением несостоятельности таких мудрецов служит пример твердых религиозных убеждений в лице подобных почившему верующих. Если эти верующие могут сохранять святыню детской веры и преданность Церкви, обладая богатством внешней мудрости, то в виду их люди, гораздо менее богатые в этом отношении и, однако же, считающие себя вправе вкривь и вкось судить о вопросах веры и Церкви, поневоле должны задуматься над смелостью своих суждений и задать себе вопрос: действительно ли они настолько умны, чтобы признавать себя непогрешительными судьями, тогда как другие, гораздо более их умные и просвещенные, смиренно покоряют свой разум в послушание веры и Церкви.** И если бы в нашем обществе побольше было истинно просвещенных и вместе глубоко верующих людей, неверие без особенной борьбы с ним ослабело бы. Ему стыдно было бы поднимать свое знамя в их виду. Их пример был бы внушительнее для неверов всяких рассуждений и препирательств с ними.

Да, нельзя не помянуть тебя, отшедший брат наш, добрым словом за твои добрые отношения к Церкви. И мы всегда будем поминать тебя с братской любовью и надеемся, что и ты, если обрел благодать у Отца Небесного, будешь относиться с таковою же любовью к оставленным тобой братьям твоим по вере, продолжающим плавать в житейском море, и своими молитвами споспешествовать им благополучно достигнуть тихой пристани, которой, уповаем, достигла твоя чистая и боголюбивая душа.

Протоиерей И. Л. Янышев
Речь перед панихидою на Петерб<ургской> станции
Николаевской железной дороги¹

Весть о смерти Ю<рия> Ф<едоровича> Самарина скорбно отозвалась в русских сердцах. Настоящее многочисленное собрание наше здесь – на

¹ Сказана ректором Петерб. д. академии прот. Ив. Л. Янышевым.

станции железной дороги, перед закрытым гробом покойного, показывает, какое глубокое участие возбуждает к себе имя и кончина его и в петербургском обществе.

Чем вызвано это участие? Почему эта кончина отзывается в нас как наша личная тяжелая утрата?

Потому что жизнь покойного принадлежала всему русскому обществу, или иначе: всему русскому народу. Он не только знал русский народ, как не многим удастся знать его; не только многосторонне понимал его материальные нужды и нравственные недостатки, но и бескорыстно, с непреклонной настойчивостью трудился для его блага на разнообразных путях, какие в последние десятилетия так широко открыты каждому русскому человеку державной волей нашего великого Монарха. Принимая сам ревностное участие в уравнивании этих путей, покойный везде, где мог, и в судебных, и в земских, и в городских, и в народно-учебных учреждениях, старался содействовать тому, чтоб эти учреждения не оставались пустыми формами, но сделались и выражением, и удовлетворением сознательной насущной потребности русского народа, осмыслили, облагородили, возвысили его нравственный и материальный быт. Знакомый очень хорошо с историей и бытом других европейских народов, он, кажется, горел желанием, чтоб русский народ и в глазах других народов занимал достойное его место не по обитаемому им громадному пространству и не по физической его силе только, а и по своему духовному развитию и внутреннему устройству, по своему самосознанию и самообладанию и по своему уменью пользоваться дарованными ему Богом дарами природы.

Служение таким целям, служение всей своей жизнью есть, братие, служение не русскому обществу только или народу, или государству, но и человечеству. Потерять такого человека нам, русским, значит испытать кровную утрату, лишиться одного из представителей высших задач нашей народной жизни.

Но если что в покойном Ю<рии> Ф<едоровиче> Самарине в настоящие минуты останавливает внимание христианина – это не те или другие сферы его ревностной деятельности, не те или другие отдельные его успехи и усилия в общем деле русского народа, а тот неиссякаемый, глу-

бочайший источник всех высоких его стремлений, который недоступен никакому слуху и никакому глазу и о котором я не имел бы ни права, ни возможности говорить, если б покойный не **обнаружил его в своих литературных трудах**. Я разумею его твердое убеждение в существовании нравственного богоучрежденного мирового порядка жизни, или, говоря словами Св. Писания, его веру в царствие Божие, или, что то же, его «православную веру».

Уже то одно, что покойный был одушевлен бескорыстной любовью к народу, любовью не словом или языком, но делом и истиной (I Ин 3:18), необъяснимо без живой связи с Тем, кто Сам пришел не за тем, чтоб Ему служили народы, но затем, чтоб Самому послужить им и душу Свою положить за них. Литературные же его труды не оставляют никакого сомнения в том, как дорога была его сердцу Православная Церковь и вся ее **судьба в нашем отечестве: как поражала его печальная наружная** обстановка церкви и духовенства в прибалтийской, привислинской и юго-западной «окраинах России»; как высоко, можно сказать даже преувеличено высоко, он ценил изданные им богословские сочинения незабвенного Хомякова о Православной Церкви, дышащие твердым убеждением в ее божественной истинности и ревностью об объяснении и **распространении ее начал как для иноверных народов, так и для самих православных**. Сочинения же покойного об иезуитах и иезуитской нравственности не оставляют никакого сомнения в том, как ненавистна была душе его **мелкая, механическая, хитрая и, в сущности, глубоко безнравственная мораль иезуитов**, как живо, глубоко и нежно в нем было его собственное нравственное чувство, как ясно было сознание своей ответственности не пред людьми, а пред самим собой и Богом за все свои дела, за всю свою жизнь – как отчетливо, последовательно он мог сознать и понимать ту великую черту божественного образа в каждом человеке, которая называется свободой, а вместе с этим как могло быть знакомо его **сердцу то состояние, для которого нет наилучших названий**, кроме «мера совести», «блаженства», о котором Спаситель говорит, что царствие Божие внутри вас есть, и которое, по апостолу, есть именно правда и мир и радость о Святом Духе.

Впрочем, касаясь того, что составляет святилище души покойного, а вместе не имея других сведений о жизни его, кроме литературных, я опасаясь, как бы не сказать что-нибудь, что может не согласоваться с его убеждениями, и особенно что могло бы оскорбить христианскую скромность более близких к нему почитателей его. К тому же и Православная Церковь, приглашая нас молиться за усопшего, кого бы то ни было, влагает в уста наши молитву, прежде всего об отпущении грехов его. Она знает наверное, что «несть человек, иже жив будет и не согрешит». Итак, отдавая дань глубокого уважения заслугам покойного в качестве русских, помолимся как христиане, стоящие пред лицом Бога духов и всякия плоти, об упокоении души раба Божия Юрия.

И. С. Аксаков

Речь о Ю<рии> Ф<едоровиче> Самарине

(Сказана в заседании Славянского комитета 18 апреля 1876 г.)

Мм. Гг.

Вы знаете, о ком и о чем должно быть, да и не может не быть наше первое слово. Вот уже целый месяц, как во всем русском обществе, у всех, кто только не совсем заглох душой и способен жить не одной личной, но и общей жизнью, — у всех, и на устах и в памяти, одно дорогое и любезное имя... Да, завтра, 19 апреля, ровно месяц, как убыло в России человеком, которому нет замены, с которым ушло от нас целое богатство духа — убыло Самариним Юрием.

Говорить о нем трудно, потому что чего сказать — слишком много. Но входить в тщательную оценку этого сокрывшегося от нас богатства, распространяться о нем подробно как о мыслителе, писателе и гражданине было бы еще не своевременно и не уместно, да едва ли теперь в том есть и надобность: еще стоит в воздухе, еще не стихло то красноречивое надгробное слово, которое, можно сказать, само общество, всею своей совокупностью, промолвило ему в единодушном взрыве сочувствия и скорби при первой вести о его кончине. Явление знаменательное, на котором стоит

остановиться мыслью, тем более знаменательное, что общество, захваченное этой вестью врасплох, еще не могло и успеть отдать себе ясный отчет в значении понесенной утраты. В самом деле, кто такой, чем, казалось бы, мог быть для большинства русской публики Юрий Федорович Самарин? Кого и что почтило в нем общество? Не высокопоставленное лицо в официальной государственной иерархии, потому что он не занимал в ней никакого видного места, по лестнице чинов стоял на низкой ступени, не пользовался от государства ни почестью, ни почетом. Не государством, стало быть, и не по почину государства вызвано было со стороны общества такое гласное, торжественное воздаяние.

Не чествовало ли общество Самарина собственно как писателя? Но при всей известности, которой он пользовался как блестящий писатель, его читали немногие. Его статьи рассеяны по журналам и газетам, никогда не пользовавшимся благосклонностью большинства; его сочинения, печатанные в России, касались предметов слишком серьезного, слишком отвлеченного содержания, не многим доступных, а его заграничным изданиям, посвященным на пользу России, не было дано хода в России.

Как мыслителя? Но именно как мыслитель он был самым даровитым, могучим и потому опасным противником тех новейших философских учений, которые так распространены, так господствуют в нашем обществе, которые опираются на такие громкие, знаменитые в Европе и властительные у нас современные научные авторитеты...

Как либерала, демократа?.. Но он не был тем патентованным либералом и демократом, которого тип так популярен в большинстве нашей публики. Его либерализм и демократизм был не такого рода, который бы легко было распознать и оценить обществу, воспитавшемуся на иных либеральных традициях, – не подходил под мерку, преподаваемую публике значительным числом наших публицистов.

Чествовалась ли, наконец, его практическая гражданская деятельность? Ретивое, плодотворное участие Самарина в работах по освобождению крестьян стяжало ему, конечно, известность, но эту честь он разделяет с другими, и не она одна, через 15 лет после события, могла послужить поводом к такому дружному, сердечному соболезнованию о его преждевременной

кончине. Не деятельность ли его в городском и земском самоуправлении? Но ни это самоуправление не пользуется покуда в России, к прискорбию, особенно горячим, всеобщим сочувствием, ни самое содержание деятельности – в большинстве случаев мелочное, хозяйственное, чисто внешнее – не в состоянии было возбуждать к себе живое общественное участие: необычайное труженичество Самарина привлекало к себе внимание разве только по несоразмерности и несоответственности содержания с громадой и свойством данных ему от Бога талантов.

И тем не менее едва лишь пронеслась молва о кончине, великое общественное значение Самарина, ясное для близких ему друзей, но неожиданно даже для них самих, внезапно, без предварительных толкований, без подготовки, без сговора, сказалось мгновенно в сознании всего русского общества – не путем отчетливого анализа, а каким-то откровением общественного нравственного чувства. Едва лишь смерть успела подвести итог под его земное бытие, как разом вознесся и стал пред нашим мысленным взором, во весь свой рост и во всей своей цельности, его духовный образ и охватил все общество неотразимой силой своего нравственного обаяния.

Всмотримся несколько пристальнее в черты этого величавого духовного образа – и мы поймем причины его могущественного действия на общественную совесть.

Это был дух воинствующий, дух, вечно, неослабно стремившийся к высшей истине, – не к какой-то искомой и неопределенной, а определенно веруемой и исповедуемой. Не скачками, не порывами, не увлечением чувств, – он сознательно всем своим существом шел неуклонно вперед, созревая и совершенствуясь нравственно, водимый мощным умом и сильной волей во свете религии. Это был христианин во всеоружии языческой мудрости и научного знания; это был даровитейший деятель современной науки и общественной жизни во всеоружии нравственных христианских убеждений. Это был человек, который богат талантами, никогда не надмевался ими и, пренебрегая славой, не щеголяя духовною красотой, добровольно, по внутреннему свободному побуждению обращал себя в смиренного труженика, если, по его мысли, того требовала общая польза. При блестящем общественном положении, имея в своем

распоряжении все блага земные, он в «святая святых» своей души носил запросы аскета и героическую стихию, постоянно совершал жертвоприношения своей личной жизнью, постоянно священнодействовал по слову апостола – «духом горяще, Господеви работающе».

Это был человек – *земли, земский*, где бы ни действовал он, хотя бы в разрешении вопросов и дел государственного свойства. Власть и почести государственные не имели для Самарина никакой цены. Русская земля, в лице своего образованного общества, угадала чутко его земское значение, признала его своим. Его голос был голос земщины – свободной, с государством союзной, но независимой.

Да, Самарин был человек едва ли не самый свободный, самый независимый духом в России, несмотря на то, или точнее: именно потому, что он не был и не мог быть революционером, что он был врагом всякого насильственного посягательства на свободу органического развития, что, не отделяя себя от народа и уважая политические формы бытия, выработанные народу его историей, он в самом подчинении им умел сохранить всю полноту человеческого достоинства, всю неприкосновенность той личной нравственной и гражданской свободы, которая не может быть отнята у человека никаким законом и никакой властью. В область гражданской деятельности и отношений он вносил те же нравственные требования, какие считал для себя обязательными и в частной жизни. Он не отделял понятия о *праве* от понятия об *обязанности*, и, не будучи либералом в пошлом, истасканном смысле этого слова, он с какой-то расточительностью личного труда до изнеможения сил работал над созданием русской гражданской свободы, полагая ей в основу личный подвиг общественного служения, исполнение личного гражданского долга во всем его объеме и святости. Потому что, по его понятиям, свобода зиждется и упрочивается только на нравственной почве, потому что свобода, как и царствие Божие, *нудится*...

Юрий Федорович Самарин был из сонма тех *трех*, которые в истории русского общества осуществили тот умственный и нравственный процесс, что зовется славянофильством. Ученик и друг Хомякова, товарищ и друг Константина Сергеевича Аксакова, он с 20-летнего возраста вступил в об-

щение с ними и двадцать лет потом, по его собственным словам, «жил с ними одною духовною жизнью». В них троих, Хомякове, Константине Аксакове и Самарине, явилось, сложилось и завершилось славянофильство – как личное дело, как отдельный стан в литературе и обществе, как особый период в нашей народной жизни, указавший и выработавший основы дальнейшего развития русской мысли. С кончиной Юрия Федоровича, который еще недавно, в предисловии к одному из своих заграничных изданий, назвал себя «неисправимым славянофилом», начинается история для славянофильства. Я не намерен распространяться о значении и важности этого общественного явления. В общих чертах это была не только эмансипация народного духа от иноземного ига (в чем заключалась бы только отрицательная заслуга), но и подвиг народного самосознания, разъяснивший и определивший те духовные и социальные начала русской народности, которые призваны быть могучими факторами всемирно-человеческого развития и просвещения. В них, Хомякове, Константине Аксакове и Самарине, русская народность, можно сказать, получила свое первое, высшее оправдание как в самостоятельных мыслителях и деятелях, в них олицетворялось примирение цивилизации западной с Востоком. Автор статей «О народности в науке», вызвавших некогда такую полемическую бурю в нашей литературе, Юрий Федорович Самарин сам всей своей жизнью и деятельностью красноречивее всего свидетельствует об истине, им провозглашенной. Но характеристической, существенной особенностью славянофильства было его нравственное содержание, его логически неразрывная, тесная связь с христианской верой и учением.

Такова была та духовная и нравственная школа, в которой сложился и закалился Самарин, которая дала ему направление и внутреннее определение на всю его жизнь, – которой в ее основах он до конца остался верен, хотя и вышел из школы в жизнь, на открытое поле внешней гражданской борьбы и деятельности, хотя, умудренный личным и историческим опытом, и освободился от исключительности и крайностей, нераздельных с пылом молодых лет и первого творчества мысли.

Вот те существенные черты, которые, взятые вместе и слитно, создали величавый духовный образ, так сильно воздействовавший теперь

на наше русское общество. Юрию Федоровичу Самарину дано было это, по-видимому, разрозненное и вялое общество потрясти, сплотить и поднять до высоты единодушного нравственного порыва: благодаря ему оно пережило несколько возвышенных, исторических мгновений, которые, надобно надеяться, не останутся бесследны. Это достойный венец мужественному подвигу его личной и общественной жизни, это его служба русской земле даже из-за могилы...

**Похвальное слово
почившему в Бозе Юрию Федоровичу Самарину,
произнесенное Тихоном, епископом Саратовским и Царицынским¹**

Страдает ли один член, – страдают с ним все члены (1 Кор 12:26). Так всегда, братие, бывает в каждом живом теле, по закону сродства членов телесных. Так бывает и в каждом государственном теле. Так это ныне и у нас воочию совершается в церковно-государственном теле нашего отечества!

Юрий Федорович Самарин, после смерти которого исполнилось ныне сорок дней и за упокой души которого мы только что принесли Господу Богу умиловительную бескровную жертву, Юрий Федорович, который и саратовцам стал так близок, особенно с той поры, как благодаря почину местного начальника губернии открыто в Саратове отделение Прибалтийского Братства Христа Спасителя, покойный и неоценимо дорогой нам Юрий Федорович произвел своей смертью весьма чувствительную, можно сказать, жгучую боль во всем церковно-государственном организме нашего отечества. От царских чертогов и до убогой хижины простого селянина – всюду слышится непритворное сетование по поводу смерти Юрия Федоровича. Явный знак, что покойный был живым членом живого тела, а не выделялся из него, как иногда выделяется сухой, безжизненный и только лишь секиры ожидающий сук из среды сочных и зеленеющих ветвей плодоносящего дерева.

¹ 27 апреля в 40-й день перед панихидой по Юрию Федоровиче Самарине.

«Вот вам истый русский дворянин во всей его красе», – не обинуясь, с полным убеждением можно сказать, указывая на покойного Самарина нашим домашним философам охранителям, которые, подобно Диогену, – с фонарем в руке, среди белого дня по всему свету искавшему человека и нигде его не находившему, – разыскивают по всем сферам русской жизни русского дворянина, но нигде его не находят или находят с одним лишь русским именем, без содержания, без тех отличительных свойств, какие должны составлять все существо русского дворянина.

Россия так же, как и каждый человек, отдельно взятый, состоит из тела и души. Глава России – самодержавный монарх. Ближайшие к главе члены – дворянство. Низшие члены – так называемые средние сословия и народ. Душа России – Церковь Православная.

Служа посредствующим органом между русским царем и русским народом, **русское дворянство всегда должно иметь и безутратно сохранять** все доблести, соответствующие положению его в церковно-государственном составе отечества.

Верноподданническое повиновение самодержцу до пожертвования за него, **в случае нужды, жизнью и беззаветно преданное, также до безусловного самоотвержения** простирающееся, служение благу русского народа и Православной Церкви – **вот главные и, можно сказать, самые существенные** черты, которыми должен отличаться, в большей или меньшей мере, каждый истинно русский дворянин, где бы он ни был и когда бы ни жил.

Нужно ли говорить, **в какой степени полно, ясно, определенно и выпукло выступали эти черты у Юрия Федоровича Самарина?** Господь богато наделил покойного всеми десятью талантами, и ни одного из них он не зарыл в землю, подобно ленивому и лукавому рабу евангельскому, – но все до единого возделал тщательнейшим и всесторонним образованием и сторицей уплодоносил **всецелым и бесповоротным посвящением их на самоотверженное служение Царю, Отечеству и Церкви.**

Нельзя сказать, чтобы во внешнем своем положении Юрий Федорович стоял очень близко ко двору; но зато душой своей со всеми ее силами – умом, сердцем и волей – он стоял **к возлюбленному Монарху своему несравненно ближе, чем многие из самых приближенных к Нему царедвор-**

цев. Не словом льстивым, но верой и правдой, делом и истиной служил он своему природному всемилостивейшему Государю.

В высшей степени даровитый и не скороспелым, в наше время так излюбленным в русском обществе способом обучения, но классически и, можно сказать, философски, т. е. долгим и тяжелым подвигом образования развитый, Юрий Федорович вполне и всесторонне обнимал, и как нельзя яснее понимал решительно все современные задачи русского правительства, и в решении главнейших из них принимал самое деятельное участие, день и ночь работая всеми силами души и тела и в продолжение всей своей жизни, до самого последнего вздоха на земле, — а потому и является теперь даже пред современниками (что редко случается) в ореоле славы одного из даровитейших, просвещеннейших и деятельнейших сподвижников Александра II в бессмертном деле возрождения России.

С примерною ревностью и редким самоотвержением служа своему природному Государю императору, покойный Юрий Федорович в то же время не менее ревностно и самоотверженно служил и русскому обществу, и русскому народу. Родовитый боярин, богатый землевладелец, с блистательными способностями, с не менее блистательным образованием, с большими связями в большом свете, Юрий Федорович, очевидно, имел на своей стороне все условия и задатки для радостей семейной жизни; но при всем том он отказался от этих радостей и решился, не удаляясь из мира, весь свой век прожить как бы отшельником, и это для того, как свидетельствует в своем прекрасном надгробном слове отец его духовный, чтобы с полной свободой, без всякой помехи, всего себя отдать на служение благу русского общества и русского народа.

Плодом такого самоотвержения действительно и была та разносторонняя, неустанная и плодотворная деятельность, за которую он стяжал себе право на почетное имя друга народа. Тому, кто несравненно более других членов принимал живое и деятельное участие в трудах Редакционной комиссии, подготовившей освобождение крестьян; тому, кто с полным всегда вниманием и усердием относился ко всякому общественному делу, как бы оно невидимому ни было мелко; тому, кто вносил в Думу по пятнадцати, по двадцати докладов и проектов, тогда как другие

члены едва вносили по одному, по два; такому общественному деятелю, который ни в чем не предпочитал личных выгод общественным, сословных интересов народным, – такому деятелю, конечно, нельзя отказать в праве на усвояемое ему название друга народа.

Не менее энергичным и самоотверженным деятелем являлся Юрий Федорович и в сфере церковно-общественной. Всматриваясь в его деятельность, вчитываясь и вдумываясь в его печатные труды, касающиеся этой сферы, чувствуешь какую-то неодолимую потребность повторить всем ведомые слова неведомой жены евангельской, которая, слушая некогда беседу Христову, воздвигла глас из среды народа и рекла: «блаженно чрево, носившее тя, и сосца, яже еси ссаль».

Как, в самом деле, не ублажить родителей, которые сумели внедрить в душу родного своего детища любовь к православной вере и Церкви так глубоко и так прочно, что ни дух нашего времени, дышащий разными ложными учениями, ни заразительная сила дурных примеров не могли повлиять на юного Самарина даже тогда, когда «он с полным тщанием и вниманием изучал философскую систему Гегеля» – ту самую систему, которая хотя и отжила уже свой век, но тем не менее произвела, на зло нашему времени, Штрауса и Ренана.

Русский Самарин не так поступил, как эти два жидовина, снявшие с себя личину христиан. Он не разменял истинных сокровищ веры и Церкви на фальшивые монеты философских бредней и на лукавые мудрования отрицательной критики и сошел в могилу глубоко верующим христианином, тогда как многие из господ нашего времени – увы! – вслед за Штраусом, который их отравил, сходят в нее богоотступниками, без веры и упования.

Покойный Юрий Федорович, можно сказать, дважды уверовал в Церковь Православную и дважды ее полюбил: в первый раз – по преданию от родителей и воспитателей, в другой раз – по собственному убеждению в ее православии после всестороннего научного с ней ознакомления, какого редкие достигают даже из числа богословов так называемых специалистов. Изучивши и возлюбивши свою родную Церковь, покойный Юрий Федорович всегда и везде, когда и где требовали обстоятельства,

являлся крепким защитником ее прав и мощным, неодолимым ратоборцем за ее начала, за ее святыне догматы.

Юрий Федорович, начинающий свое учение поприще изучением творений Стефана Яворского и Феофана Прокоповича – **сих знаменитейших** святителей Русской Церкви петровской эпохи, характеризующих собой свой век, и затем большую часть жизни и учено-литературных трудов своих посвящающий разъяснению и защите православной веры и Церкви; Юрий Федорович, **отъемлющий поношение, напрасно возведенное на православное остзейское духовенство**, и выясняющий как нельзя лучше сплетение многообразных на него клевет и нареканий в никогда небывалых злоупотреблениях отношениями его к эстам и латышам; Юрий Федорович, **почти накануне своей смерти победоносно ведущий** состязание с берлинскими учеными безбожниками о бытии Бога и бессмертия души, – во всех сих и сим подобным положениях Юрий Федорович не ясно ли всем является одним из самых преданных сынов Церкви Православной?

Таков был наш Юрий Федорович Самарин. Таков должен быть в существе своем и каждый чисто русский дворянин. Юрий Федорович – это совершеннейший тип русского боярина. Жаль, что настоящий мой очерк так **далек от своего оригинала и не соответствует вполне этой колоссальной личности.**

Мир праху твоему, и Царство Небесное бессмертному духу твоему, наш великий патриот, наш незабвенный и бесценный боярин, не столько по имени, по роду-племени боярин, сколько по сердечному болезнованию о нашем благе общественном, государственном и церковном! На свежую могилу твою почтительно кладет свой венок и Саратов. Прости, если он сплетен неумелой рукой и не из тех роскошных и ароматичных цветов красноречия, какими тебя почтили твои почитатели других мест, более меня способные, – **не только в пределах отечества, но и за границей. Но недостатки нашего слова да будут восполнены нашей о тебе молитвой!**

Помолимся убо, братие, о возлюбленном брате нашем – рабе Божиим Юрие, да вселит Господь просвещенный верой и знанием дух его там, идеже присещает свет лица Божия.

В дополнение к сказанному, уместным и благовременным нахожу предложить тем из моих слушателей, которые доселе еще не входили, — ныне же войти в состав саратовского отделения прибалтийского Братства Христа Спасителя и тем выразить свою готовность не только словом, но и добрым делом почтить память Юрия Федоровича Самарина, которому это братство обязано своим возникновением. Аминь. (*Сарат. епархиальные ведомости.*)

**Слово в похвалу
Ю<рия> Ф<едоровича> Самарина, произнесенное Тихоном,
епископом Саратовским и Царицынским, в Крестовой
церкви, в присутствии членов Саратовского отделения
Прибалтийского Братства Христа Спасителя, марта 19 дня
1877 г., после панихиды, пред возглаголением вечной памяти**

...в вечной памяти будет праведник.
Не убоится худой молвы...

Пс 111:6–7

Братья! Вот и год уже минул с того злополучного дня, как не стало Юрия Федоровича Самарина, а Юрий Федорович все как будто между своих друзей и почитателей, как будто и не умирал. За годом минувшим потянется бесконечный ряд годов; обычной чередой будут проходить годы за годами, веки за веками, — а Юрий Федорович Самарин все будет жить, жить и жить в памяти потомства, имя Самарина с похвалами будет передаваться из рода в род, из века в век.

Не в небесном только царствии вечный покой, но и здесь, на земле, бессмертие историческое, полное славы от людей бессмертие ожидает праведника как вполне заслуженный удел: *в память вечную будет праведник.*

Юрий Федорович Самарин, не обинуясь, можно сказать, был праведник не в том только смысле, что единожды оправдался верой во Св. Таинстве Крещения, затем многожды оправдывался той же верой

во Св. Таинстве Покаяния и сохранил сию оправдывающую веру до самой смерти, но и потому еще, что во всю свою жизнь, до последнего издыхания, любил творить и говорить всякую правду.

В каком бы месте и положении ни находился покойный Юрий Самарин, – везде и всегда он творил ту именно правду, какая требовалась условиями той среды, в которой он стоял в данную минуту.

В семье и в школе, в Божьем храме и на светской службе, в кругу друзей и в обществе, в положениях юноши и зрелого мужа, ученика и учителя, частного лица и общественного деятеля – словом сказать, всюду и во всяком положении наш приснопамятный Юрий Федорович старался быть вполне верным своему долгу, возвышаясь до идеала, до образца в кругу тех лиц, которые находились в одном с ним положении.

Как носитель и выразитель начал русской жизни во всех ее сферах, Юрий Федорович всегда и везде был в высшей степени идеален и типичен. Правда русской жизни была в нем живым ключом, сияла лучезарным светом. Оттого-то в нем вы видите и тип истого русского христианина – православного, и тип истого русского подданного – царелюбивого, – и тип истого русского боярина – благородного и благовоспитанного, – и вообще тип русского человека – и телом, и духом крепкого и прекрасного. О, как дорог для отечества такой идеальный, такой образцовый сын! – Это не то, что наша новь.

Встречаясь на жизненном пути с людьми всякого рода – высшими себя, равными себе и низшими, – покойный Юрий Федорович всем и каждому умел отдавать полную справедливость. Известное апостольское правило: «воздадите всем должная, кому урок – урок, кому дань – дань, кому честь – честь» (Рим 13:7), – сие мудрое правило, которым так просто, а вместе и так прочно устанавливаются всякие правовые отношения между людьми, всегда служило для него руководящим началом во всех его отношениях к людям.

Почти от колыбели и до могилы, всеми силами души и тела служа интересам правды делом, наш незабвенный Юрий Федорович не менее того служил тем же интересам и своим могучим, своим зиждущим словом – устным и печатным. Кто хочет знать, какой правдой веяло от

каждого, можно сказать, слова, исходившего из уст покойного Юрия Федоровича Самарина, может узнать о том из живого еще предания, из рассказов тех лиц, которым доводилось бывать слушателями его речей, произнесенных **где бы то ни было, в кругу друзей и в обществе, в земских, городских и дворянских собраниях, в государственных и общественных комиссиях.**

Общая характеристика всех его речей может быть выражена одним классическим стихом из «Илиады» Гомера в переводе Гнедича: «...из уст его вещей речи сладчайшие меда лилися», – сладчайшие, впрочем, только для **сторонников правды, а для противников это были речи горчайшие паче оцта, острейшие паче меча.**

По крайней мере, покойный Юрий Федорович нередко сам смущался совестью, **что своим правдивым словом иногда до устыдения и до заграждения уст колол своих противников. По словам отца его духовного, Юрий Федорович ни о чем так не скорбел в кругу своих друзей, как об этой, как он говорил, несчастной склонности и способности поражать противника в прениях и огорчать его торжеством своей мысли (см. Слово протоиерея Ключарева, сказанное при погребении Ю. Ф. Самарина).**

Что сказано мной об устном слове покойного Юрия Федоровича, то же самое можно сказать и о другом его слове, которое выливалось из-под его пера **и выходило из печати. Много правды сказал Юрий Федорович устно, не мало высказал и печатью.**

Правда, высказанная покойным Юрием Федоровичем печатно, так же как и та правда, какую он высказывал устно и какую проявлял в жизни **самим делом, касалась всех сторон русской жизни: народной, государственной и церковной.**

Кому из лиц, знакомых с русской журналистикой, неведома правда, какую покойный Ю. Федор. Самарин, **еще до начала преобразований, открыто высказывал о вопиющих безобразиях старого общественного строя в нашем отечестве и о настоятельной потребности возрождения России, – кому, говорю, неведома эта правда, столько ценимая сторонниками обновления русской жизни и столь неприятная для слепых и рутинных приверженцев седой старины, как бы ни была она неприглядна?**

Кому не ведома другая правда, так хорошо выясненная Ю. Ф. Самариным в его знаменитых «Окраинах России», правда о положении православных эстов и латышей, а вместе и православного русского духовенства в Остзейском крае, – правда, столь интересная для русских и настолько противная для многих не русских, что «Окраины» Самарина и доселе под запрещением?

Кто не знает еще одной правды, какую Ю. Ф. Самарин высказал в самом первом литературно-ученом труде своем о Стефане Яворском и Феофане Прокоповиче – этих двух столпах Церкви Русской в петровскую эпоху, правды о некоторых неправдах той эпохи, правды, столько любезной для ее читателей и до того колкой для ее недругов, что из трех частей этого обширного сочинения позволили напечатать только одну первую?

Кто не знает еще новой правды, какую Ю. Ф. Самарин так победоносно отвечал русскому ренегату Мартынову в своих к нему письмах об иезуитах, – правды столь обаятельной для православных и столь ядовитой для последователей Лойолы.

Кому неведома еще правда, какую незабвенный Самарин высказал в своем знаменитом предисловии к изданию богословских творений своего учителя и друга Хомякова, – правда о Церкви, сколько усладительная для православных, столько неприятная для иноверцев?

Нельзя не пожалеть, что покойный Ю. Ф. Самарин в свое время не был приглашен в Высочайше утвержденный комитет по преобразованию духовного судоустройства и судопроизводства в отечественной Церкви. При своем глубоко научном понимании существа и значения Церкви Православной, а вместе и при своей юридической опытности, Юрий Федор. Самарин, без сомнения, высказал бы самую сущую правду и о церковном суде и своим веским словом если бы не предотвратил, то по меньшей мере уравновесил и прекратил колебания критической мысли, какие до ныне продолжают в суждениях о проекте духовно-судебной реформы, внесенном в Св. Синод еще в 1873 году.

Получена весьма интересная весть, что скоро появится в печати и еще правда, которую покойный Ю. Ф. Самарин высказал уже перед самой смертью, – правда, которая проникала все его существо, которая возно-

сила дух его превыше всего земного. Это – правда о бытии Триипостасного Бога и о бессмертии души, – правда, всегда столь усладительная для душ верующих и чающих воскресения мертвых и жизни будущего века и столь противная жалким безбожникам, погрязаящим в тине животных инстинктов до полного забвения о духовных интересах.

Но слово и дело, которыми приснопамятный Ю. Ф. Самарин во всю свою жизнь так усердно и так благоплодно служил интересам правды, не всегда и не у всех бывают плодом внутреннего настроения. Часто и у многих слово и дело, **совне прекрасные, служат только маской, скрывающей внутреннее безобразие. Правда фарисейская, правда гробов по-вапленных**, не редкость и в наши времена.

Не такова была правда Юрия Самарина. Основа той правды, какую покойный Юрий Федорович так поразительно-могущественно проявлял в жизни и словом, и делом, **лежала в самом средоточии его характера, в самой потаенной глубине его души, в самом внутреннем святилище его духовной храмины.** По свидетельству отца его духовного, таковую основу составляли «внутренняя честность, прямота, правдивость, по которой для него невозможно было действовать не по убеждению, не по своему мнению, не по правде пред собою, пред людьми, пред законом. Положение ясное, определенное, пути прямые, точное разграничение и определение истины и лжи, друга и недруга, с совершенным устранением полуистин, полумер, софизмов, малодушных уступок, натяжек, сделок – вот сфера, в которой он любил **вращаться и действовать с твердостью, неустрашимостью, самоотвержением и трудолюбием**» (Из слова протоиерея Ключарева).

Можно быть **вполне уверенным, что такой неутомимый и самоотверженный делатель, а вместе такой немолчный и небоязненный глашатай** всякой правды на века вечные застраховал себя от всякого злословия. Если бы, паче чаяния, и решился кто-либо посягнуть на неувядаемую славу Ю. Ф. Самарина и стал бы **злословить такую колоссальную личность**, – то **несокрушимый памятник, собственным его гением воздвигнутый в русской жизни и в русской литературе, скоро заградит уста дерзкому хулителю, кто бы он ни был: в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится.**

Сознающие значение для России покойного Ю. Ф. Самарина все спешат так или иначе заявить свое живое сочувствие к его памяти. Жители Саратова, надо полагать, не останутся в долгу перед столь великим патриотом. Поддержка открытого здесь отделения прибалтийского братства, возникшего в Петербурге по мысли Юрия Федоровича, была бы со стороны саратовцев, как мне кажется, самым лучшим выражением сочувствия к его памяти. В добавление к этому со своей стороны предлагаю конторе Саратовского архиерейского дома и настоятелям церквей г. Саратова записать в синодики своих церквей для вечного поминовения имя боярина Юрия, с присовокуплением имени и другого боярина Эммануила Левашева, убиенного на брани за братьев славян; годовщина смерти Левашева почти совпадает с днем смерти Ю. Ф. Самарина; память Левашева тем более должна быть для нас обязательна, что глубоко скорбящая мать его так великодушно приняла наше предложение взять на себя звание и с ним нелегкие обязанности председательницы Саратовского отделения названного братства.

В заключение всего усопшим рабам Божиим – боярину Юрию и боярину Эммануилу – возгласим вечную память. Аминь.

К. Д. Кавелин

Московские славянофилы сороковых годов

Сочинения Ю. Ф. Самарина. Том первый.

Изд. Д. Самарина. 1877. С. I—VII и 402

I

Близкие Юрия Федоровича Самарина ставят ему вековечный памятник и оказывают русской мысли и науке большую услугу, предприняв издание всех сочинений и писем покойного. В первом томе, вышедшем теперь в свет, собраны критические статьи разнородного содержания и по польскому вопросу; во втором и третьем, как видно из предисловия к первому тому, будет напечатано все написанное Самариным по крестьян-

ской реформе и земскому делу; в четвертом и пятом – его труды богословские и философские, в шестом и седьмом – письма. При благоприятных условиях к этому может прибавиться еще несколько томов. Второй том уже печатается и должен скоро появиться в продаже.

Вышедший теперь первый том содержит в себе двадцать четыре отдельных сочинения и заметки, из которых только четыре издаются впервые. Мы назвали их не статьями, а сочинениями и заметками, потому что между ними есть и записка по вопросу о народности в науке, написанная для тесного круга сотрудников «Русской беседы», не предназначавшаяся автором для печати, и очерк «С. Т. Аксаков и его литературные произведения», читанный на публичном литературном вечере в Самаре, и выдержка из дневника, и проект адреса самарского дворянства в 1863 году, и заметки, написанные карандашом на обертках прочитанных книг, и заметки, набросанные по официальным источникам и сведениям, собранным при поездке в Царстве Польском. За исключением этих семи или восьми вещей, прочие, примерно две трети всего тома, суть журнальные или газетные статьи, большей частью критические разборы книг и полемические заметки, напечатанные при жизни автора в «Москвитянине», «Московском сборнике», «Русской беседе» и «Дне».

Несмотря на крайне разнообразное содержание первого тома, оно проникнуто от начала до конца одним духом, одним замечательно выдержанным и последовательно проведенным направлением. Колебания, сомнения и борьба, через которые прошел покойный, как почти все мы, русские люди, завершились задолго до выступления его на литературное поприще и общественную деятельность. Первый том обнимает лишь малую долю всех его письменных трудов с 1846 по 1872 год, но по ним можно следить, как взгляды и мысли Самарина зрели и крепились, все более и более уясняясь в подробностях и применении; однако с первой же страницы видно, что они уже вполне сложились. Вот почему первый том, собранный из случайных и разновременных сочинений, представляет, несмотря на то, округленное и вполне законченное изложение так называемого славянофильского учения, которого Юрий Федорович Самарин был одним из самых выдающихся и талантливых представителей.

Славянофильство и славянофилы – названия, данные наскоро, случайно, по внешним признакам, и далеко не характеризуют того, что они были на самом деле. **О славянофилах много было говорено и писано; много** говорится и пишется и теперь. Несмотря на то, большинство публики имеет о них до сих пор крайне туманные, сбивчивые и противоречивые понятия. Большинству славянофильство и теперь все еще представляется какой-то странной смесью глубоких мыслей, взглядов и стремлений с смешными причудами, с бросающимися в глаза нелепостями глубокой веры со святошеством и суевериями, требований свободы гражданской и общественной с национальным изуверством и грубым посягательством на несомненные права, веротерпимости с религиозным фанатизмом, просветительных и прогрессивных идей с обскурантизмом и реакционными замашками. Где же и в чем правда? Откуда могли взяться такие вопиющие противоречия в одном и том же учении? Сочинения Ю. Ф. Самарина представляют очень удобный случай вновь попытаться разрешить вопрос, что такое славянофильское направление и в чем сущность учения славянофилов? Теперь это будет и очень кстати. **О славянофильстве много** говорится в обществе; оно, по поводу настоящей войны, снова у всех на устах и толкуется очень различно. Так как Ю. Ф. Самарин был одним из числа основателей этого учения и признается одним из самых полных и верных его выразителей, то для ознакомления читателей с основными положениями этой доктрины мы не можем придумать ничего лучшего, как изложить ее по его сочинениям. **Мы это и сделаем, насколько** возможно, подлинными его словами.

Задачей славянофилов было сознательно систематически уяснить и определить *положительные* основания или начала русской и славянской жизни. По мнению славянофилов, противники их, западники, разрешили ту же задачу *отрицательно*. Под этим славянофилы вовсе не разумели, что западники отрицают русскую действительность; они только ставили западникам в упрек, что последние, сравнивая русскую жизнь и действительность с европейской и не находя в ней того, что они считали желательным и необходимым в каждом развитом и образованном обществе, указывали на эти недостатки как на отличительные характерные

признаки русской действительности. Славянофилы, признавая самый факт этих недочетов, видели в них, напротив, выражение самобытного склада русской и славянской жизни, который считали по существу не ниже, **а выше европейского. То, в чем западники видели недостаток,** славянофилы, напротив, находили достоинство, и именно на том, чего, по-видимому, нам недоставало, строили свои общественные, политические, научные и церковные идеалы.

«Историческая наука, – говорит Ю. Самарин, – зачалась в России вслед за переворотом, перервавшим у нас живую нить исторического предания. Оттого наука явилась не как плод народного самосознания, а как попытка со стороны цивилизованного общества, оторвавшегося от народной почвы, восстановить в себе утраченное самосознание, прийти в себя.

У других народов идея истории представлялась как своя история; форма и содержание зарождались нераздельно в живом народном самосознании; у нас же возникла сперва чисто формальная потребность истории, ибо внутреннее содержание ее составляло для нас искомое. Нам пришлось задать себе вопрос: чего нам искать в своем прошедшем и какую бы нам сочинить для себя историю?

Перед нами лежала разработанная, разъясненная история других народов... Напрасно старались отыскать у нас героев, законодателей, аристократию и демократию, поэтических рыцарей и гордых прелатов; их не оказалось, и пришлось сознаться, что явления нашей жизни, в сравнении с древним классическим миром и с западным, были бледны и тощи, что из данных, по-видимому сходных, у нас слагалось не то, чего бы хотелось, и, наконец, **что итог всего нашего прошедшего развития совсем не походил на западноевропейскую цивилизацию, принятую нами за образец.** Итак, вместо ответа на первый вопрос мы пришли к сомнению: видно, мы чем-то обделены, чего-то существенного нам недостает, уж не страдаем ли мы коренным, прирожденным недугом? А если так, то где же он таится, как назвать его и в чем искать врачевания? Разумеется, само возбуждение этих вопросов сравнительно с прежним направлением (т. е. приспособлением к русской старине явлений европейской исторической жизни), из которого они вышли, являло несомненный успех. Они должны были

заставить нас оглянуться пристальнее на самих себя, строже себя допросить; но в то же время они были так поставлены, что решение их зависело безусловно от субъективного убеждения каждого смотрящего на предмет. Одному могло показаться, что наше историческое прошлое было неполно, потому что Россия лишена была возможности принять в себя из первых рук результаты классической древности; другой мог приписать мнимую незаконность нашего развития удалению России от духовного средоточия средневековой западноевропейской жизни. Несколько лет тому назад г. Кавелин в очерке юридических отношений древней России доказывал, что отличительная особенность их заключалась в слабом развитии личности, исчезавшей в обществе, а теперь г. Чичерин доказывает нам, что вся беда произошла у нас от недостатка союзного духа и от исключительного господства ничем не сдержанной личности. При всем разнообразии, при всей резкой противоположности этих мнений, промелькнувших в литературе русской истории, мы относим их к одной школе по следующим двум общим их признакам. Во-первых, во всех указанных случаях исследователь смотрит на предмет со стороны, с своей точки зрения, предварительно избранной, приносит с собой готовый масштаб; он приступает прямо к суду над прошедшим, не удостоверившись, того ли он ищет в древней России, того ли требует от нее, что требовала от себя самая Россия и в чем полагала свое призвание? Во-вторых, – и это есть прямое, неизбежное последствие неприменимости основных понятий, вынесенных из чуждой нам среды, к явлениям нашей жизни, – выводы носят на себе постоянно отрицательный характер.

Такого рода выводы, сколько бы их ни набралось, имеют все одно общее свойство: они не объясняют изучаемого предмета, они только ограничивают его извне... не раскрывают перед нами его внутреннего содержания, не вводят нас в его сердцевину, не дают нам живого о нем представления.

В конце своей книги о русской администрации г. Чичерин сводит итог своих разысканий, и перед читателем является длинный перечень всего, не оказавшегося в наличности. Отсутствие союзного духа, отсутствие систематического законодательства, отсутствие общих разрядов и категорий, отсутствие юридических начал и юридического сознания в народе, отсут-

ствие общих соображений, отсутствие теоретического образования и еще несколько других отсутствий удалось отметить г. Чичерину на перекличке учреждений допетровской Руси.

Так что же, наконец, в ней присутствовало? Ведь жизнь народа не может наполняться тем, чего в ней нет или чего мы в ней не нашли. Должны же мы допустить в ней и положительное содержание, да и самое множество действительно или мнимо отсутствующих в ней начал может быть понято только как признак решительного преобладания каких-либо других творческих сил. К сожалению, их-то мы и не видим.

...Отрицательное воззрение на русскую историю имеет основание совершенно независимое от намеченного порицания, но вытекает прямо из характера нашего умственного воспитания, из разобщения нашей мысли с народной средой, в которой мы живем, из привычки прилагать к ее явлениям понятия и категории, не ею самой выработанные, но внесенные в нее из чуждой ей среды, из которой мы перенесли на веру готовое умственное просвещение.

В сущности, отрицательность выводов есть выражение неспособности угадать причину своеобразности народной жизни и уловить в ней те духовные побуждения, в которых сперва бессознательно обнаруживаются предрасположения народа к его историческому призванию и которым позднее, в эпоху зрелости, предназначено развиваться в стройную систему понятий и найти для себя идеальные образы» (с. 197–204)¹.

Так определяли славянофилы отношение своих взглядов на русскую жизнь, русскую историю к взглядам противников. **Не станем здесь разбирать, были они правы или нет, а постараемся определить, в чем усматривали славянофилы положительные стороны русской и славянской народности и как они их понимали.**

Основание всего русского и славянского быта есть, по мнению Ю. Ф. Самарина, **общинное начало. Оно вначале явилось у нас в виде родового устройства, «которое было низшею его степенью». Последнее «прошло, а общинное начало уцелело в городах и селах, выражалось внешним образом в вечах, позднее в земских думах». Это «древнеславянское об-**

¹ Самарин Ю. Ф. Несколько слов по поводу исторических трудов г. Чичерина (1857). – *Сост.*

щинное начало, освященное и оправданное началом духовного общения, внесенным в него Церковью, беспрестанно расширялось и крепло» (с. 51)¹.

Русскую народность автор понимает «в неразрывной связи с православной верой, из которой истекает вся система нравственных убеждений, правящих семейной и общественной жизнью русского человека» (с. 111)². <...>

Таковы основные воззрения славянофилов, проведенные Ю. Ф. Самариным большей частью полемически, в изданном теперь первом томе его сочинения. Эти воззрения представляют в частях и целом строго обдуманную, стройную систему. С ними можно соглашаться и не соглашаться, но ни в каком случае нельзя открыть в них даже намек на замаскированную программу политической партии или что-нибудь похожее на поднятие знамени невежества, фанатизма и грубости против просвещения, образованности и цивилизованного строя жизни. Мы только потому останавливаемся на этих упреках, что они нередко высказывались, отчасти, может быть, повторяются и до сих пор. Как читатели могут видеть из приведенных выписок, славянофильство было исключительно научной, исторической, философской и теософической доктриной, без всякого политического характера, и не имело почти ничего общего с фанатиками, обскурантами, квасными патриотами и дикими людьми, готовыми видеть в насилии и кулаке оригинальное выражение русского народного духа.

Славянофильство никогда не было политической партией. Только совершенное непонимание дела могло вести к подозрениям, будто славянофилы преследуют какие-то затаенные политические планы, прикрываясь внешностью научных, религиозных и народных стремлений. Они имели свой весьма определенный взгляд на политические и общественные вопросы и задачи в России и Европе, проводили, доказывали и защищали их, насколько позволяли цензурные условия, в своих сочинениях, еще более в разговорах и спорах, но никогда не составляли из себя того, что называется политической партией – сплоченной общественной силы, действующей по одному лозунгу, по одной программе, под предводи-

¹ Самарин Ю. Ф. О мнениях «Современника» исторических и литературных (1847). – Сост.

² Самарин Ю. Ф. Два слова о народности в науке. – Сост.

тельством одного или нескольких признанных вождей, имеющей целью изменить общественный или политический строй страны, если можно, в пределах законности, а если нельзя, то подготавливая переворот. Ничего подобного, повторяем, славянофилы не представляли и не имели на уме. Когда последователям этой школы открывалась законная возможность действовать практически, они действовали в духе своего учения. Самым блистательным и благородным представителем такой деятельности был сам покойный Самарин. Но они не искали возможности выступать на практическое поприще, **и это не было случайностью, а вытекало из самого** существа их доктрины. Славянофилы по принципу были враждебны всяким политическим комбинациям, всякому навязыванию каких бы то ни было **политических программ государству и народу. Они были глубоко убеждены, что зло должно запутаться и пасть вследствие своей** внутренней несостоятельности, что добро, правда должны рано или поздно восторжествовать вследствие присущей им внутренней силы. Так они думали, так и поступали. Мы на этом потому особенно настаиваем, что у нас, к сожалению, и до сих пор не различают строго вещей совершенно различных, не имеющих между собой ничего общего. Иное дело – иметь известные воззрения, их уяснять, развивать, доказывать, проповедовать; иное – **стремиться водворить их в жизни, в действительности, в виде политической программы, обязательной для всех.** <...>

III.

Мы привели главные возражения, которые делались и делаются против исторических, теософических и философских тезисов славянофильства. Мы, со своей стороны, считаем эти возражения весьма убедительными и думаем, что с этой стороны доктрина славянофилов не выдерживает строгой критики.

Но этой стороной их учение не исчерпывается. Есть у него другая, по нашему убеждению, очень многозначительная и существенная, которая, за спорами и полемикой, осталась в тени, незамеченной и потому не оценена по достоинству. Мы разумеем идеалы, стремления, задачи славянофилов,

которые они только формулировали в своих теориях. Давно настала пора произнести о славянофилах справедливый и беспристрастный суд, а он не может им быть, пока мы будем останавливаться только на том, что они говорили, не принимая в соображение того, что они хотели сказать, и не выяснив себе тех обстоятельств и условий, посреди которых зародилось их учение. Попытаемся оценить славянофилов с этой стороны.

Царствование Александра I было последним со времен Петра Великого моментом сильного увлечения европеизмом, в особенности французскими идеями. В царствование Николая I совершается в законодательстве и администрации крутой поворот к старине, в которой, как тогда думалось, хранятся сокровища истинной народности, источники истинно народного духа. Но русскую старину знали тогда очень мало и за нее нередко принимали то, что желалось в ней видеть. Как бы то ни было, но все, в чем выражалось усилившееся предрасположение к иностранному в воспитании, литературе, в управлении и войске, тщательно изглаживалось. Некоторая распушенность последних лет царствования Александра I заменилась строгой дисциплиной. Либеральным поползновениям александровской эпохи противопоставлена созданная в то время новая программа, в основу которой положены Православие, самодержавие и народность. Первые признаки этого поворота начали сказываться еще при Александре I, но он сложился в полную правительственную систему лишь впоследствии.

Такой же поворот, хотя с совершенно иным значением, совершался в то время и во всей Европе. Великое движение умов в XVIII веке, пересоздавшее воззрения, учреждения, быт и нравы европейцев, приходило к концу. Идеи и начала, во имя которых совершалось движение, мало-помалу перестали быть предметом живой веры и глубокого убеждения. Наступила и для них пора критического разбора во всевозможных направлениях и со всевозможных точек зрения. Глубокое раздумье, охватившее лучшие умы, не могло не отразиться и у нас, ставших с Петра ревностными учениками Европы. Но вопросы, над которыми у нас пришлось задуматься, были, конечно, совсем другого рода. Различные направления русской жизни выражались не в науке, которой не было, а только в фак-

тах, в изменении нравов, обычаев, привычек, в актах и распоряжениях правительства. Со времен Петра характер и свойство этих направлений определялись почти исключительно взглядами правительства на наши отношения к Европе и изменялись вместе с ними. Посреди колебаний, которым подвергалась русская жизнь, естественно, должен был рано или поздно родиться вопрос: что лежит в основании таких, нередко крутых и внезапных поворотов ее то в ту, то в другую сторону? Что в них было случайно и что вытекало из самой сущности русской действительности? **В чем заключается эта сущность и как она относится к началам, выработанным в Западной Европе?** Потребность осмыслить события, отыскать их разумную причину, определить закон нашего исторического существования и развития — вот что вызвало у нас в сороковых годах ту умственную и научную деятельность, посреди которой зародилось учение славянофилов и противоположное им направление западников. Работа русской мысли и русского сознания естественно зачалась в то время, когда после долгого периода европеизма, наполнившего царствование Екатерины и Александра, начался у нас возврат на самих себя, родилось чувство национальности, чувство государственной и народной самостоятельности. Они и вызвали сознательное отношение к самим себе и другим. Разные внешние и случайные обстоятельства способствовали тому, что это первое в России самостоятельное умственное движение возникло в Москве. С самого начала тридцатых годов здесь, вдали от центра законодательной и правительственной деятельности, сосредоточились лучшие литературные силы и вновь начала развиваться научная и литературная деятельность. Прежде в Москву уезжали жить вельможи, потерпевшие неудачу, впавшие в немилость и потому недовольные; теперь она стала мало-помалу сборным местом русских мыслящих людей всех возможных направлений, не находивших или не искавших служебной деятельности. Образовались литературные салоны, появились журналы, около которых группировались литературные кружки. Университет играл в этом движении немалую роль, главным образом в лице своих воспитанников, из которых пополнялись ряды писателей и литературных талантов. С 1835 года приезд многих молодых университетских профессоров, получивших об-

разование в Дерпте и за границей, в немецких университетах, влил в зачинавшееся умственное и литературное движение Москвы новую жизнь и придал ему новую силу. С этого времени Московский университет играл в нем выдающуюся роль. К исходу тридцатых годов это движение Москвы приняло уже обширные размеры. Университетское преподавание, литературная деятельность, литературные кружки и салоны находились между собой в теснейшем общении и оказывали друг на друга большое и благотворное влияние. Почему-либо замечательная журнальная или газетная статья отзывалась в университетском преподавании; выдающаяся университетская лекция составляла событие дня, горячо обсуждалась в салонах и многочисленных кружках; вчерашний спор в литературном салоне завтра переносился в журнал, в газету, становился предметом обсуждения с кафедры. Живое общение умственных, научных и литературных сил в университете и вне университета придавало и преподаванию, и салонным спорам, и журналистике значение, влияние и силу, о которых мы в наше время забыли, которых теперь не осталось и следа. Это умственное движение, не ограничиваясь Москвой, охватило и ту часть петербургской литературы и публики, которая находилась в более или менее тесных личных сношениях с москвичами.

Сначала лица различных направлений, приютившиеся в Москве, жили мирно, даже дружески между собой и действовали вместе. Различие взглядов выражалось только в оживленных спорах, в научной и литературной полемике. Но к половине сороковых годов разномыслие, заостряясь все более и более, привело наконец к разрыву между славянофилами и западниками. Неловкости, неосторожности и резкости, в которых были виноваты обе стороны, придали разрыву острый, раздражительный характер; но произошел он не от них, а вследствие глубокого разномыслия в принципе, которое и должно было рано или поздно привести к разладу. Правда, славянофилов и западников соединяло то, что они в сфере науки и исследования критически относились к русской действительности. И те и другие своим появлением одинаково обозначили, что целый период русской истории, начавшийся реформами Петра, приходил к концу, что на смену ему выступало нечто новое; но эти новые потребности, эти стрем-

ления к чему-то другому складывались у славянофилов и западников в различные идеалы, и они-то глубоко их разделяли.

Кто жил в среде, где зародились воззрения славянофилов и западников, кто лично знал и слышал разговоры и споры людей, стоявших во главе тех и других, тот никогда не забудет глубоко просвещенного, в высшей степени сочувственного строя мыслей и стремлений этих благороднейших идеалистов. Смешно, жалко и оскорбительно бывает, когда упрекают славянофилов в желании попятить Россию назад, в бессмысленном охранении окаменелых форм прошедшего, в невежественном консерватизме. Это или недоразумение и незнание, или незаслуженная напраслина. Идеалы и славянофилов, и западников при всем различии были одинаково чисты, возвышенны и безукоризненны. Стоит внимательно прочесть первый том собрания сочинений Ю. Ф. Самарина, чтоб в этом убедиться. Совершенное беспристрастие и справедливость к противникам, даже когда были поводы увлечься или прийти в негодование, поражают в сочинениях Самарина. Не пренебрежение, а глубокое убеждение, что одна истина способна рассеять заблуждение, внушало ему то удивительное спокойствие в полемике, которое невольно заставляет глубоко уважать писателя. Вспомним также, кто были основатели учения московских славянофилов и стояли во главе этого кружка? Это были люди замечательного ума и таланта, обширного знания и начитанности и европейски образованные. П. В. Киреевский, у которого, кажется, впервые славянофильские идеи стали складываться в определенную доктрину, несколько лет перед тем провел за границей, учился в Берлинском университете и был человек очень начитанный. Старший брат его, И. В. Киреевский, когда-то талантливый ученик и последователь Шеллинга и редактор «Европейца», был человек многостороннего исторического, философского, литературного и, позднее, богословского образования; А. С. Хомяков был поэт, полигистор¹ и замечательный диалектик. Он не получил университетского образования² и казался многим необы-

¹ Полигистор – многознающий человек, умеющий о многом говорить и писать. – *Сост.*

² Это не так: А. С. Хомяков сдал экзамены за курс математического отделения Московского университета и получил степень кандидата (1821 г.). – *Сост.*

чайно даровитым и начитанным дилетантом; иные находили также, что он слишком увлекался своим несравненным диалектическим даром и подчас злоупотреблял им, в ущерб истине. Но другие, коротко знавшие А. С. Хомякова, признавали за ним большую глубину критической мысли и считали его главой славянофильского направления. Наконец, К. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин были оба воспитанники Московского университета, по словесному, или филологическому, факультету, хотя различных выпусков¹, имели степень магистра, и вначале оба были ревностные гегельянцы, как большинство тогдашних мыслящих воспитанников Московского университета. Оба, особенно Ю. Ф. Самарин, получили блестящее воспитание, последний под руководством известного профессора и ученого Н. И. Надеждина, и были соединены нежной дружбой, которая прекратилась лишь со смертью Аксакова. Наконец, оба были моложе перечисленных выше основателей славянофильской доктрины, но гораздо их деятельнее в выработке ее оснований и в ее распространении. Оба оставили много сочинений, частью напечатанных, частью в рукописях. Аксаков больше разрабатывал русский и преимущественно великорусский быт, историю, язык; воззрения его имели местный, московский оттенок. Самым разносторонним деятелем из вождей славянофильства был Ю. Ф. Самарин. С глубоким знанием философии, богословской литературы и истории он соединял основательное и близкое знакомство с вопросами финансовыми, экономическими и народного хозяйства. Никто, не исключая Хомякова, не обладал таким даром полемики, никто не владел лучше Самарина пером. Прибавим, что все пятеро были люди с состоянием, некоторые из них даже богаты и не находились на службе. Живя в одном городе, будучи между собой близки и видаясь беспрестанно, они могли согласиться между собой по крайней мере в главнейших пунктах и выработать свои воззрения до той степени определенности и единства, которых бы мы напрасно стали искать до и после этой знаменательной эпохи нашего развития. Определенность, связность, цельность учения, его систематичность и стройность были, без сомнения, одной из причин его распространения и успехов в публике.

¹ К. С. Аксаков окончил университет в 1835 г.; Ю. Ф. Самарин – в 1838 г. – *Сост.*

Теперь все первые и важнейшие деятели в обоих лагерях уже сошли в могилу. К 1848 году московские кружки и салоны стали падать. Неудачная война, время реформ, новые живые интересы и стремления, практические задачи и их разрешение – все это дало мыслям другое направление, перемешало старые литературные партии, заставило их одно время сообща и дружно работать над одним делом. Споры, которые в это время возникали иногда между славянофилами и западниками, касались большей частью не теоретических оснований воззрений, сложившихся еще в сороковых годах, а лишь ближайших применений общих взглядов к различным частным случаям и практическим вопросам.

В наше время само название славянофилов и западников потеряло всякое значение и держится только по старой памяти. Каждый мыслящий человек, принимающий к сердцу интересы своей родины, не может не чувствовать себя наполовину славянофилом, наполовину западником, потому что оба воззрения выражали и формулировали только две стороны одной и той же русской действительности, которые в науке, мысли, исследовании можно и должно отграничить одну от другой и изучать особливо, для лучшего их выяснения, но которые в живой действительности навсегда останутся непосредственно слитыми в одно целое. Как славянофильское, так и западное направление не разрешили вопросов русской жизни. Она прошла посреди славянофилов и западников, не удовлетворив ни тех, ни других, ответив далеко не на все их запросы, и осталась для них по-прежнему загадкой, сфинксом. Европейская программа оказалась невыполнимой на русской почве; славянофильская – далеко не обнимающей всех сторон и стремлений русской жизни. Попытки схватить жизнь целого народа, целого племени в одну формулу и, опираясь на нее, заглянуть вперед не привели ни к чему. Пришлось ограничиться злобой дня, разрешать при помощи средств, указанных знанием и опытом, вопросы, какие выводит один за другим сама жизнь. В этом отношении и славянофилы, и западники сделали свое дело, сослужили свою службу. Они выяснили, осветили многие стороны нашего и славянского народного характера и быта, нашей и славянской истории, которые оставались до них неизвестными или сознавались сбивчиво и неясно.

Несмотря на то, что воззрения славянофилов уже сошли со сцены, они и до сих пор **подают повод к самым странным и прискорбным недоразумениям.** Происходит это единственно от того, что их исторические, философские, научные и теософические тезисы, в которых формулированы их взгляды, смешиваются с их идеалами и стремлениями. Какие требования ставили эти люди действительной жизни, России и славянскому племени? Чего они желали, чего надеялись, о чем мечтали? Они носили в своем уме и сердце горячую и просвещенную любовь к родине. Их **вдохновенной мысли, опередившей действительность, представлялось человеческое общество, проникнутое нравственными стремлениями,** в которых нет ни вражды сословий, ни антагонизма интересов власти и народа, — общество, в котором все люди живут между собой в любви, согласии и единении. Они чаяли, что такими должны быть, по природе и историческим условиям, русский народ, славянское племя, что в этом они должны стоять выше других народов, даже тех, которые в остальном опередили их. **Назовите людей, которые так думали и надеялись, мечтателями, оптимистами, утопистами, если считаете эти идеалы недостижимыми, но отнеситесь с почтением к их памяти, произносите с уважением их имена.** Так мечтали лучшие люди, так ошибались, если это **ошибка, достойнейшие личности во все времена и у всех народов.** Основатели московского славянофильства жили посреди суровых и тяжких условий, посреди отупевшего, равнодушного, легкомысленного общества, погруженного в мелочные заботы, жившего изо дня в день. В такой среде не трудно было впасть в отчаяние, потерять веру в лучшие дни, вконец извериться даже в среду, в которой, казалось, умер живой дух и нераздельно властвовали одни давящие формы. И посреди таких-то условий, когда ниоткуда не видно было света, эти несколько человек умели **сохранить в своей душе горячее убеждение, несокрушимую любовь к родине, непреклонную веру в торжество истины и правды между людьми.** Руководимые **бескорыстными, благороднейшими стремлениями,** эти идеалисты, эти неисправимые мечтатели высказывали прямо и открыто то, во что верили, не боясь насмешек и клеветы, которыми их осыпали не противники — с этим еще можно было бы помириться, —

а ничтожная посредственность и пошлость, обеспокоенная в своих обыкновенных занятиях и забавах, в своих рутинных понятиях необычайностью их продуманных и прочувствованных воззрений. Мимоходом эти мечтатели подметили в нашей истории и современной действительности некоторые своеобразные черты, некоторые отличительные, характеристические особенности нашего быта в прошедшем, настоящем и вероятном или возможном будущем. Они, достаточные и обеспеченные помещики, с особенным сочувствием относились к работающим сельским массам и были из первых, которые на них указывали как на твердый оплот и основание нашей государственной прочности и нашей исторической роли во всемирной истории. Когда новое царствование вызвало к деятельности живые силы страны, славянофилы горячо отозвались на призыв, провели в литературе и в практическом разрешении законодательных и административных вопросов много мыслей и начал, имеющих важное значение не только в настоящем, но и в будущем нашем развитии. Один из самых талантливых представителей славянофильских идей, Ю. Ф. Самарин был и самым неутомимым, полезным и почтенным практическим деятелем, в тесном единении с прежними своими противниками, западниками, и до последней минуты работал над вопросами дня, не уступая никому в неустанном труде и знании дела.

Такова была эта горсть людей. Мир их праху! полное сочувствие их благородным помыслам, их усилиям, их труду, их просвещенной любви к родине! Будем спорить против их теорий, ошибок, увлечений, но не забудем их заслуг и не станем бросать в них камнями: они оборотятся на нас самих. Прошло каких-нибудь тридцать – сорок лет, и многие из мыслей, взглядов и стремлений первых славянофилов обошли всю Россию, сделались общим убеждением всех. Не они одни их насадили, но они, бесспорно, много способствовали их выяснению и упрочению в русском обществе.

Вот что мы считали необходимым сказать по поводу выхода в свет первого тома сочинений Ю. Ф. Самарина. Многие из статей, помещенных в этом томе, представляют теперь лишь интерес полемического изложения славянофильского учения; но немало и таких, которые написаны как будто вчера, так они современны и прочтутся с удовольствием всеми об-

разованными людьми без различия мнений и взглядов. Назовем в особенности разбор книги графа Н. Орлова «Очерки трехнедельного похода Наполеона против Пруссии в 1806 году», «Воспоминание о Д. П. Журавском»; «Гарибальди и Пиемонтское правительство»; разбор книги Кулеша «Повесть об украинском народе»; заметки по поводу книги Адама Мицкевича: «L'église officielle et le Messianisme» и Токвиля «L'ancien régime et la révolution». Все мыслящие люди, и в особенности поляки, прочтут с любопытством и участием, к сожалению, небольшой отдел статей по польскому вопросу. По своим взглядам Самарин не мог сочувственно относиться ни к римскому католичеству, ни к общественному и политическому строю прежней Польши; но он умел – что сумели очень немногие – отделить эти вопросы от вопроса о польской народности и говорить о последней везде с большим уважением и сочувствием. Вообще, тон и характер полемики Самарина безукоризненны и как-то поражают в наше время, утратившее чувство правды, справедливости и меры в спорах. Оттого наши споры и остаются без всякого влияния на общество и сделались синонимами с бранью.

Первый том сочинений Самарина издан весьма изящно и выпущен в продажу по крайне умеренной цене: книга в с лишком 400 страниц убогой печати стоит всего 1 руб. 75 к.

Желаем этому изданию быстрого распространения в публике и с нетерпением ожидаем его продолжения.

РАЗДЕЛ IV

Д. А. ВАЛУЕВ

Биография Д. А. Валугева¹

Дмитрий Александрович Валугев родился в Симбирской губернии, в 1820 году сентября 14-го. Еще не было ему году, как лишился он матери, скончавшейся в юных летах, и он как бы заступил ее место в любви к ней ее семейства, ее братьев. Она была урожденная Языкова. До одиннадцатилетнего возраста воспитывался он в доме отца своего и там уже отличался особенным прилежанием и любовью к чтению. В 1832 году отец привез его в Москву, и он был помещен в пансион профессора Павлова. Он явился туда тихим и робким мальчиком. Кто бы тогда взгляделся в прекрасные черты и цвет его лица, в красоту его больших голубых глаз и увидал бы в то же время необыкновенную застенчивость, даже неловкость всех его движений, особенно выказывавшуюся всякий раз, как его заставляли участвовать в играх, тот угадал бы уже тогда, что для внутренней жизни, не для радостей мирских и внешних ему суждено было развиваться. Он привез с собой сундучок, наполненный книгами, частью уже прочитанными им прежде. В первое время это было его единственное сокровище, единственное утешение в его одиночестве, ибо долго чувствовал он себя одиноким в кругу своих товарищей. Валугев не был первым в своем классе и, казалось, не хотел им быть; между тем он приобрел любовь и уважение лучших из учеников высшего класса, которые одни могли его понять и оценить. Как и впоследствии, он не был одарен ни особенным даром слова, ни быстротой мысли, ни блестящей

¹ Перепечатывается с редкой брошюры, изданной в малом числе экземпляров вскоре после кончины Д. А. Валугева.

памятью; но жажда знания, желание усваивать себе и распространять на других все доброе в нравственном мире явились в нем рано отличительными его чертами. В изыскании средств к удовлетворению этой жажды знания, в непрерывном старании доставать и сообщать другим книги уже тогда проявлялась в нем деятельность, так сильно после развившаяся для общей пользы. По счастливому стечению обстоятельств Валуев рано мог уже пользоваться обществом и руководством людей с истинным образованием. На праздники иногда его брали к себе некоторые из друзей его дядей по матери. Робкий и дикий в отношении к незнакомым, он со всей горячностью души своей привязывался к тем, к кому привыкал, с кем сближался, и сам никогда не сомневался в их взаимной к нему дружбе. Силой своей доверчивости к другим, своего стремления к благу он, будучи почти еще ребенком, не редко заставлял беседовать с собой людей, давно уже действовавших на поприще литературы. У них находил он также богатые материалы для чтения; кроме того, брал книги из нескольких книжных лавок, где был абонирован. На тринадцатилетнем и четырнадцатилетнем своем возрасте он увлекался чтением произведений романтической, особенно французской литературы; в какие-нибудь полтора, много два года перечел почти все, что в ней было нового и сколько-нибудь замечательного, посвящая на это все свободные от классического учения минуты. Его нравственная природа была так хороша, что это чтение нисколько не развратило его воображения, но произвело на него только то действие, что он рано увидел всю пустоту произведений этого рода и обратился вполне к чтению книг исторических или классических литературных произведений. Его не удовлетворял уже более французский язык: он стал совершенствовать себя в немецком, занялся английским и итальянским.

Около трех лет пробыл он в пансионе: в 1885 году, по желанию родных своих, перешел в дом к близкому им человеку, к профессору Шевыреву, где в продолжение года он готовился под его руководством ко вступлению в университет, в 1-е отделение философского факультета, и потом год прожил студентом. Здесь он не был уже обязан вставать и ложиться по звонку; он свободно мог располагать своим временем, своими

уроками, и потому здесь вполне уже проявилось его трудолюбие и сила воли. Он распределял свое время не по часам, а по минутам. Всякое упущение он после вознаграждал в минуты отдыха и часы, определенные для сна. Тогда уже видна была в нем строгость к самому себе, верность в хранении своего слова, в исполнении задач, самому себе заданных; только с помощью этих качеств души мог он впоследствии, в немногие юношеские годы, продлить так много жизни внутренней, общепользней, совершить так много благих дел и предприятий.

Кроме новых языков и литератур, в это время он занимался преимущественно изучением языков древних, и не одним уже чтением, но и исследованиями историческими.

Более половины второго года по вступлении его в университет он вследствие частных обстоятельств должен был провести в Симбирске, и потому этот год был для него потерян в отношении к университету. Возвратившись в Москву, он нанял себе комнату в одном доме, где жило семейство ему близкое, где нашел он себе товарищей и старших, способных руководить его на все полезное и благое. Он сделался как бы членом этого семейства и в нем провел последние три года своего университетского курса. Он занимался здесь, как и прежде, читал бездну, изучал Гомера, Virгилия, Нибура, Канта, Бакона, русские летописи. К этому времени относится начало многих его сочинений, оконченных и неоконченных, многих предприятий, исполненных и неисполненных. Тогда уже целью его занятий не было приобретение знания мертвого или отвлеченного; он хотел знать только то, в чем видел смысл духовный; как и в самой жизни обращал внимание только на внутреннюю ее сторону. Он предался исключительно науке исторической и в ней дорожил только началами, составляющими сущность самой жизни. В тесном кругу, в котором он жил, было много блестящих дарований, и они все были достойно ценимы. В этой постоянной взаимной оценке они находили для себя полную самоудовлетворенность, и она, может быть, приносила им временный частный вред. Но Валуев, любимый всеми, но не превозносимый через меру, уступавший другим в дарованиях, находил в этом кругу одно постоянное соревнование и побуждение к неослабному

труду. Видя вокруг себя людей с самыми блестящими способностями, с самыми благими намерениями, но часто не действующих, он понял, чем они могли быть для него и он для них.

В 1841 году он вышел из университета, 21-го года, со всей детской чистотой, человеком уже зрелым, сознавшим свои силы, свое назначение. Профессор Крюков, которого раннюю потерю мы оплакивали недавно, понял и оценил его прежде и более других. Он понял и оценил в нем небрежение к одной мертвой формальности, мерилу ложного просвещения: от Валуева, кончившего курс хотя и кандидатом, но далеко не первым, он ожидал гораздо более, нежели от всех его товарищей, несравненно блистательнее кончивших свой экзамен.

В этом же 41-м году Валуев лишился отца и явился подпорой оставленного им семейства. С 1842 года он вступил деятельно на поприще литературы. Задачей своей жизни он положил способствовать проявлению талантов видимых, но бездействующих в людях, которые его окружали, перелить им свою любовь к труду, заимствуя от них и знание, и ясность, и определенность убеждений. *Всякому дано явление духа на пользу.* И он хотел все дары соединить на общую пользу, ничему так не соболезнуя, как их бесплодности. Этой цели он, 21-го года, начал жертвовать своим имуществом, самим собой. Нелицеприятная любовь к Отечеству, беспристрастное уважение и любовь к русской старине, поскольку в ней самобытно проявлялись чистые духовные начала, но еще сильнейшая и безусловная привязанность к Церкви, в непогрешимость, в единство коей он неколебимо верил, – вот чувства и убеждения, развитые в нем его юношеским образованием. Занятия его были все устремлены на распространение и утверждение этих убеждений, и в этом стремлении своем он примирял науку с жизнью.

Один из предметов, обративших на себя первую его деятельность, было собирание и обнародование не тронутых дотоле источников русской истории. Замечание одного ученого ревнителя нашей народности, что между старинными бумагами, так называемыми крепостями русских дворян, находятся многие драгоценные памятники, коих обнародование было бы весьма важно для русской истории, переданное Валуеву, не про-

пало даром и возбудило эту первую его деятельность. Он понял важность и истину этого замечания и, решившись тотчас им воспользоваться, соединился для этой цели со своими дядями, тремя Языковыми и Хомяковым. Он обратился, разумеется, к дворянам той губернии, которой сам принадлежал. Он был в Симбирске летом 1842 года. К этому времени, кажется, можно отнести начало его деятельного служения обществу. Среди занятий делами своего семейства и своими собственными он не проводил ни одного дня без трудов общепользных. Не в одних дворянских архивах, везде искал он древних рукописей: в архивах правительственных, во сколько они могли быть для него доступны, у лиц духовных, у купцов, у подьячих, в Симбирске даже в тех лачугах, которые скрыты от света и от глаз в обширном овраге, под мостом. Эти поиски продолжал он все лето. Для них и на возвратном пути в Москву через Нижний он останавливался в городах. Более всего нашел он драгоценных памятников в самом Симбирске, в Алатыре и Курмыше. Его юношеские надежды при этих поисках далеко не совершились вполне; с богатым, однако ж, запасом он возвратился в Москву и начал издание «Симбирского сборника», который он посвятил памяти знаменитого симбирского уроженца, историографа Н. М. Карамзина. Три года еще прошло до совершенного окончания и выдачи им в свет 1-го тома. В эти три года он воспользовался, кажется, всем, что Москва, ее ученые, ее архивы могли доставить ему для усовершенствования и распространения этого издания; написал по поводу его разыскание о местничестве, служащее предисловием к напечатанной в нем Разрядной книге. Этот последний труд представляет, может быть, лучшую разработку специального вопроса в нашей истории. За такие исследования до него у нас еще не принимались.

Но много, много еще в эти три года было им сделано, начато, задумано. Трудно исчислить все труды, им самим и другими по его побуждению предпринятые. О многих еще нельзя говорить, ибо тайну их он сам хранил свято до их будущего исполнения. Но главными его предприятиями, приведение которых в действие началось уже при нем, кроме издания «Симбирского сборника», были издания Библиотеки для воспитания, «Сборника исторических и статистических сведений о России и народах

ей единоверных и единоплеменных», основание складочного места для русских книг в Лейпциге, сношения с землями православными вне России и некоторыми людьми в странах других исповеданий, показывавшими сочувствие к Восточной Церкви и желание познать ее.

Знакомство его с А. П. Зонтаг, коей некоторые сочинения и переводы для детского чтения он взялся выдать в свет, подало ему повод к изданию *Библиотеки для воспитания, собрания статей для детского чтения в стихах, в прозе, большей частью оригинальных*. Еще в 1842 году, когда он в последний раз был в Симбирске и занимался преимущественно собранием исторических актов, он везде, где только ему могло удастся, раздавал работы, извлечения, переводы, заготовляя материалы для *Библиотеки*. Издание ее началось с 1843 года; с 1845 года он дал ему лучший и обширнейший план. К участию в нем склонил он многих профессоров Московского университета и других ученых и литераторов. Он его разделил на два отдела: один – собственно для детского чтения, другой – для теоретических статей о детском воспитании. Сам он заведовал вполне первым отделом; редакцию второго принял на себя профессор Редкин. Но это разделение оказалось неудобным; опыт убедил, что второй отдел не соответствует изданию периодическому. Уезжая за границу нынешней осенью, Валуев на 1846 год прекращал издание *Библиотеки*, но предоставлял себе право возобновить его по своем возвращении, ограничивши уже одним отделом для детей.

Самое обширнейшее из литературных предприятий Валуева было издание «Исторического и статистического сборника». Он сначала хотел назвать его славянским; но потом изменил это название, когда увидел, что его стали у нас употреблять во зло без всякого толку и разума и что это слово вошло в моду в разговорах чуждых всякой мысли и общего интереса и в особенности науки. Печатание этого «Сборника» началось в начале 1843 года. Первый том его, совершенно приготовленный Валуевым перед самым его отъездом, вышел на днях из печати. Следующие статьи принадлежат в нем самому Валуеву: 1) «Предисловие»; 2) «Города немецкие и славянские»; 3) «Славянское и Православное население в Австрии»; 4) несколько разборов в библиографическом отделе, назван-

ном «Историческая наука Славянского мира в последнее пятилетие», и, наконец, главная 5) «Христианство в Абиссинии». Из этих статей можно получить довольно полное понятие обо всем его направлении, о его убеждениях в науке и отчасти в самой жизни. Кроме того, в первой части первого тома заключаются: пять статей оригинальных (Хомякова, Попова, Грановского, Снегирева и Соловьева) и пять переводных или извлечений из сочинений о славянах Чоппе и Штенцеля, Иосифа Губе, Суворовского, Клёдена и письмо еврея Рабби Хисдай к царю Хозарскому; наконец, вторая часть, занимающая не более третьей доли всего тома, заключает в себе полный перевод большого сочинения профессора Дерптского университета Рейца о политическом муниципальном устройстве Далмации в средних веках. Компактность издания дала возможность представлять таким образом вместе с оригинальными статьями извлечения и цельные переводы из замечательнейших сочинений на других языках о России и народах, ей единоверных и единоплеменных. Цель издания этого «Сборника» ясно высказана Валуевым в предисловии; там же, на с. 22–23, можно видеть, что уже им заготовлено для следующих томов.

Итак, вот что совершил Валуев в последние три года своей жизни!.. Деятельность в такие годы беспримерная! Кто сообразит все те предприятия и труды, на которые мы только намекнули, тот составит себе хотя слабое о ней понятие, тот согласится, что это была жизнь достойная остаться в памяти людей и служить примером для настоящих и будущих поколений.

В чем состояла тайна этой деятельности? В силе любви, в силе веры и надежды, в силе внутренней жизни, отражавшейся и во внешних его действиях. Она внушала ему доверие к самому себе и еще большее к другим. Ею объясняется его неотразимое влияние на других. Он сам как будто сознавал, что век его не долог, что он – мимолетный гость на сей земле. Это видно из того, что хотя много он сделал, но еще более начал, завещал, указал другим, как делать. И другие тоже как будто предчувствовали его судьбу и показывали ему внимание и уважение, по обыкновенному порядку не соответствовавшее его юным мечтам. Он этому радовался, ибо чувствовал, что это ему нужно не для одного самолюбия, но и для общей пользы. Он радовался всему, что устраивало эти отно-

шения, хотя бы это стоило ему великой жертвы. Так, в начале 1843 года вследствие его болезни его стали посещать его близкие, друзья, сотрудники, сверстники и старшие, и таким образом все привыкали бывать у него; он думал, сколько это может принести ему выгоды в отношении ко времени, и радовался своей болезни... Никто не умел так пользоваться временем, так мало терять его для суетности внешней. Одни минуты отдыха посвящал он беседе сердечной с людьми самыми близкими и в эти минуты почерпал новые силы для своей деятельности. Редко, и чем дальше, тем реже, являлся он в многочисленные общества его друзей. Его прежняя внимательность к шумным разговорам исчезала; он видел в них мало пользы. Он искал только тех, с кем мог переговорить о деле, и удалялся. Крепко было в нем сознание своего дела, и для него он не отступал ни перед какими приличиями, неумолимо грозными для прочих. Иногда даже люди, более всех его ценившие и понимавшие, находили в его поступках странность, какое-то пренебрежение к прочим и обращались к нему с укором; тогда он устремлял на них свои умоляющие взоры и как бы говорил: «Я знаю, что я делаю: простите меня, но оставьте!»

Войдем в его комнату; проследим за его днем в те полгода, с января до июля 1844 года, когда, возвратившись из-за границы, он казался совершенно здоровым. Едва раскрывал он глаза, как уже начинал распределять свои занятия. Все столы во всех трех или четырех его комнатах постепенно занимались людьми, которые ему помогали в черной работе по его изданиям. Кто принимался за переписывание, кто за выписки, за сличение копий каких-нибудь столбцов с подлинниками; другие переводили что-нибудь под его надзором. Между тем писец ожидал уже его диктовки. У него всегда было что-нибудь для диктовки в то время, когда сам он не мог еще сесть за свой письменный стол. Потом являлись корректуры из типографии, приходили наборщики и переплетчики, граверы, бумагопродавцы, книгопродавцы, и проч. и проч. Приходили и друзья его, и сотрудники и не раз встречали у него какого-нибудь старца с бородой, пришедшего к нему для духовной беседы. Наконец он уединялся в своей комнате и сосредоточивался над какой-нибудь собственной оригинальной работой, и в это время хотя он и не отказывал своим посетителям,

но никогда не отрывался от своего дела и посетителя своего старался тоже занять делом. **Около трех часов он распускал своих домашних сотрудников, приводил в порядок все свои дневные дела, заготавливал множество записок, корректур, посылок и, выезжая, вручал это все своему служителю для разноски по городу, продолжавшейся иногда до самого вечера.** Сам он отправлялся куда-нибудь обедать. Иногда еще до обеда заезжал к разным лицам наводить справки об общих делах, опаздывал иногда к обеду и забывал о нем. Время обеда было единственное, которое он определял на посещение самых близких ему семейств. Тут он часто играл с детьми, которым был друг и наставник, которые его любили всей душой и **для него свободные от уроков минуты с охотой, с радостью посвящали на заданные им работы, на переписи, сличения, считывания.** В остальное время дня он старался свидеться со всеми, кто в это время был занят с ним каким-нибудь общим делом, или кого он только надеялся побудить к такому занятию, или у кого нужно было испросить совета. Заезжал в типографию, к цензору. Если это было летом, он соединял все эти посещения с прогулками, которые обыкновенно делал верхом. Один ему близкий человек в шутку, но без насмешки, обыкновенно называл его часовщиком, который всякий день объезжает все дома, где находятся заводимые им часы. Хотя это была шутка, но она верно выражает его внешнюю деятельность. Пусть часы, заведенные нашим Валуевым, не останавливаются долго и без видимой его руки... Ежедневно один час вечера любил он наблюдать за ходом ученого труда, одним из близких ему людей по его побуждению предпринятого, и от которого ожидал он более плода, **нежели от своих предприятий.** **Никогда, ни по каким причинам,** сам не пропускал он этого часу. Остальное время он проводил частью в чтении, частью в беседе...

Общественная и внешняя деятельность Валуева была проявлением его внутренней жизни; в ней видна была его душа. Но чтобы вполне ее постигнуть, надобно было ее видеть в его отношениях частных, надобно знать, **как он умел любить.** **В этих отношениях в его юные годы проявилась** вся сила и чистота его души. Юноша, едва вступивший в жизнь, он окружал людей, ближайших его сердцу, всеми заботами о едином, что есть

на потребу жизни, о их жизни внутренней, духовной, нравственной. В нем это было незаметно и просто: его собственная чистота давала ему на то внутреннее право. Он сохранил эту чистоту до гроба.

В 1842 году осенью **Валуев занемог. В июле месяце 1843 года он отправился** для поправления своего здоровья за границу. От этой поездки особенно надеялись пользы потому, что думали таким образом оторвать его от усиленной деятельности здесь. Но возможность ее находилась для него везде, где он встречал отношения к своему Отечеству и еще более к видимой Церкви Христовой. В полгода он объехал большую половину Европы. **В Париже, в Лондоне он рылся в библиотеках, собирал материалы для своих сочинений об Ирландской церкви, об Абиссинии; из Праги вывез много редких книг и замечательнейших рукописей касательно чешской истории; в Англии вошел в сношение с людьми, сочувствовавшими** одушевлявшей его мысли **о соединении Церквей. Во многих местах он слышал жалобы на трудность литературных сношений с Россией, на невозможность доставать книги. Жалобы эти давно уже были слышны и со всяким днем увеличивались; но никто помочь этому недостатку не умел; Валуев за это взялся, и по возвращении его в Москву его мысль обратилась тотчас в дело: весной 1844 года Лейпциг снабжал уже Париж лучшими произведениями русской литературы. За границей Валуев познакомился только с некоторыми лицами в Англии и в Праге, близкими ему по своим стремлениям. Сношения с ними он продолжал в России, но еще более побуждал к ним других. Излишне говорить о любви, которую ему оказали и после сохраняли к нему люди, как Ганка, Шафарик, историограф Палацкий. Нигде не мог он оставаться долго: его повсюду сопровождала тоска неодолимая. Это был, может быть, единственный случай, в котором он не показал достаточной силы воли над собой: здесь дело шло о его здоровье. Вдруг, к радости и прискорбию своих друзей, он уже в январе месяце 1844 года возвратился к ним в Москву, к своей обычной деятельности, к своим изданиям.**

Его здоровье поправилось вследствие его поездки, но не надолго: она была слишком кратка и тревожна. **К тому же его отсутствие только усилило его рвение к общественному служению; он привел в действие все**

восстановившиеся свои силы. Их стало не надолго. Летом 1844 года его здоровье расстроилось еще более прежнего. Он собирался ехать к своим в Симбирск, но уже не был у них ни разу. В зиму 1844 и 1845 года он должен был оставаться большей частью дома; он сделался сосредоточеннее, и с уменьшением внешней деятельности усиливалось в нем напряжение умственное. К этому времени относится его огромный труд о местничестве, окончание первой статьи о христианстве в Абиссинии и редакция *Библиотеки*. Круг его сотрудников еще увеличился; невозможность всех объезжать по-прежнему он вознаграждал деятельной перепиской. Урывками повторялись дни его прежней полной движения жизни.

Прошедшей весной ему сделалось хуже: он стал видимо ослабевать. Начало чахотки в нем сделалось несомненно. В августе 1845 года, по общему совету врачей и друзей его, ему решено было ехать за границу, на юг Франции. Трудно было его на это склонить; невыносима была для него мысль оторваться от того места, в котором он видел для себя столько дела впереди, от тех людей, в кругу которых он находил счастье. Общий приговор убедил его в необходимости этой поездки. Но скоро сам почувствовал он свою слабость; увидел, что до восстановления своего он должен отказаться от всякой деятельности и внешней, и умственной. Мысль оставаться здесь в бездействии стала ему невыносима, и он так же сильно стал желать и требовать отъезда, сколько прежде от него отвращался. Воображению его стали представляться труды, которые он мог бы предпринять за границей, когда сколько-нибудь восстановились бы его силы, та польза, которую мог извлечь из своего путешествия, и оно сделалось уже для него привлекательным. В это время был здесь в Москве один английский пастор, в короткое время заслуживший любовь и уважение своей временной паствы и всех, его знавших. Чувство оторванности Церковью западных от единства Церкви Христовой, уважение к восточному Православию были достаточными причинами к сближению его с Валуевым. Однажды, выходя от него после искренней беседы, пораженный чистотой и горячностью его высоких, духовных стремлений, он со слезами на глазах сказал, обращаясь к другому: «Такие люди не долго живут на свете!» Пророческие были эти слова! Первая статья Ва-

луева о христианстве в Абиссинии к I тому «Исторического сборника» была окончена в это время. Перед самым отъездом он имел утешение получить ее из духовной цензуры с самым лестным отзывом от ученого человека, ее цензоровавшего, достойнейшего судьи в этом деле.

В сентябре он получил заграничный паспорт; он уехал бы, может быть, в августе, но паспорт из Петербурга нельзя было получить прежде трех недель. Потом сильная лихорадка задержала его еще недель шесть. Думали его совсем не пускать, но он сам непременно хотел ехать. Противоречить ему было невозможно. Притом здесь не видали никакой надежды; единственную возможную надежду предполагали в перемене климата. Как скоро лихорадка уступила, отъезд был решен. Он выехал из Москвы 3 ноября; 8-го прибыл в Новгород и не мог ехать далее, хотя и не терял надежды. Еще 18 числа он думал продолжать путь свой через Петербург. Но в этот день к вечеру не в силах уже был передвинуть ног. В нем не было предчувствия приближающейся кончины; но беспрестанные видения, непонятные для прочих, а ему представлявшиеся действительностью, показывали, что бодрая его душа уже разрешается от оков телесных. Он окружал себя своими друзьями, разговаривал с ними часто, призывал их, воображая их возле себя, часто мановением руки отправлял к ним письма, которые писал только мысленно. Вся сосредоточенная сила, вся бодрость его души с новым блеском явилась в последние его дни, при окончательном расслаблении его сил телесных. В Москве перед отъездом он не мог более четверти часа выслушивать никакого чтения. В Новгороде в один вечер, ни разу не прервавши чтения, он выслушал Апокалипсис весь, с начала и до конца. Раздражительность – отличительный признак чахотки, терзавшая его в последние месяцы в Москве, исчезла совершенно. Ни его спутник за границу, тот самый человек, ему душой преданный, который сопровождал его в его последнюю поездку в Симбирск еще в 1842 году, ни его служитель не видали от него нетерпеливого движения во все двадцать дней после его отъезда из Москвы. Чем ближе к концу, тем более кроток и покорен он становился. Казалось, милость Божия ему назначила эти двадцать дней для полного очищения. Он так был рад, когда, приехав в Новго-

род, вошел в ту комнату, из которой более не вышел! Еще за три дня до кончины он диктовал к одному из друзей своих письмо, в котором говорил, что доволен своим пребыванием в Новгороде. Общество его друзей могло поддерживать в нем самолюбие, единственную слабость, которую могли в нем заметить или предполагать, хотя он постоянно против нее боролся и по возможности хранил в тайне свое служение на пользу общую, свои действительные и незабвенные заслуги; присутствие гордости в нем, кажется, было только свидетельством той силы душевной, с которой он ее в себе поборол. Среди уединенной святости новгородской он чист предстал перед судом Господним. 20 ноября причастился Святых Таин. В ночь с 22-го на 23-е почувствовал приближение кончины. В пять часов он три раза перекрестился, и скоро за тем он тихо испустил дух...

На другой день тело Валуева вынесено было в церковь св. Димитрия Солунского. В шестой было отпевание. Черты его лица были все еще прекрасны. Народ приходил толпами к его гробу, и, посмотрев на его еще прекрасные останки, люди простые, его не знавшие и не слышавшие о нем, молились искренне за упокоение души его. В вечернюю панихиду после отпевания гроб закрыли крышей. Когда же через трое суток ее подняли, чтоб совершить последний обряд церковный, бросить на тело горсть земли и потом закрыть его на веки, лицо, руки его не представили ни малейшего изменения.

23 декабря тело привезено в Москву, 29-го предано земле в Даниловском монастыре, возле Венелина. Блаженны, их же избрал и приял еси, Господи!

Москва. 29-го декабря 1845 года.

В.

С. П. Шевырев **Воспоминание о Д. А. Валуеве**

Кто-то справедливо заметил, что в кругу людей, призванных действовать на поприще мысли, каждое поколение отдает свою жертву смерти.

Так и последнее, едва только выступившее на поле умственной жизни, уже приносит судьбе и свою дань в лице Дмитрия Александровича Валуева.

Это имя почти незнакомо читающей публике. Оно недавно показалось только на одной значительной книге – «Синбирском сборнике», и в ней особенно на ученом рассуждении о местничестве, написанном по случаю разбора одной Разрядной книги. А между тем молодой человек, которому оно принадлежало, в немногие годы успел сделать многое и в полном цвете надежд и сил юности, обещавших уже зрелое развитие, окончил путь свой в нашем мире.

Пускай же ранняя смерть его откроет то, что таила его робкая скромность при жизни. И в помянутой книге издатель поставил имя свое пятым, тогда как на самом деле был главным ее виновником. По смерти его выходит еще пятый том «Сборника исторических и статистических сведений о России и народах ей единоверных и единоплеменных». Все оригинальные статьи, переводы ученых сочинений Рейца и Губе о славянах и извлечения из Штенцеля, Тшоппе и Клёдена, составляющие этот сборник, исполнены по приглашению издателя. Предисловие и любопытные статьи о христианстве в древней Ирландии и в Абиссинии написаны им самим. Кроме того, готово еще 4 тома к изданию, которые состоят из переводов сочинения Мацеевского, Палацкого, Ринке и других, равно из сокращений, относящихся или к истории веры нашей, или к истории и географии племен, нам родственных. В числе переводов особенно замечательна история Флорентинского собора Сильвестра Сарапула, книга весьма редкая. В числе оригинальных статей – исследование самого Валуева о современном движении в Церкви британской; последний труд, его занимавший, «Библиотека для воспитания» – одно из лучших повременных изданий для детского чтения – была его же предприятием. Он помещал в ней свои прекрасные переводы из Диккенса – и многих ученых побуждал для него трудиться.

Вот права покойного Д. А. Валуева на память общественную. Пускай получит он их теперь, когда так скромно отказывался от них при жизни.

Покойный еще в молодом возрасте принадлежал уже к числу деятелей, которые так редки у нас в учено-общественной жизни. Бездействие большинства как будто причиной того, что деятельность сосредото-

вається в немногих избранных. Образом своих занятий и мыслей он представлял лучшую сторону нового поколения, ту сторону, на которую есть надежда, что оно не разрушит, а создаст, что оно не отвергнет, а оснует. С самого раннего возраста его привлекала не Поэзия, не отвлеченная философия, – нет, еще в свежей юности он вышел на тяжкий, медленный путь Истории и ей посвятил себя. Алчно поглощал он в себя все явления исторической науки. Жажда к ней была в нем ненасытная – и он, можно сказать, пал преждевременной жертвой этой жажды. Потому-то ранее, чем в других, созрело в нем убеждение, которое позднее созреет во всех истинных дарованиях поколения, ему ровного и за ним идущего, – убеждение, что, только соединяя изучение всемирного около своего родного и племенного средоточия, можно нам надеяться на свою жизнь в науке и на самобытность в самой жизни. Прекрасно выразил он это следующими словами в предисловии к любимому труду своему, словами, которые как-то глубже отзываются в мысли, когда подумаешь, что рука, их написавшая, сжата навсегда во гробе: «Уже время подумать и о том, чтобы нам самим и из себя вырабатывать внутренние начала своей нравственной и умственной жизни, приняв на себя и всю ответственность в ней, умея дать в ней отчет себе и другим, – и связать ее со своим народным прошедшим и будущим, а не довольствоваться – в пустоте своей внутренней жизни – одними убеждениями, взятыми напрокат вместе с последней модой из Парижа или системой из Германии, – посылками без вывода или выводами без данных, из силлогизма, прожитого или переживаемого другим миром».

Сколько надежд, сколько будущего заключалось в этом зрелом сознании! Еще сильнее чувствуем мы свою утрату, читая это. Но думая и говоря таким образом, Валуев вполне сочувствовал всем прекрасным явлениям Запада; с жадностью изучал его историю, признавал необходимость вникать в его науку и резко противился всякой вредной исключительности, которая узко понимала народное. Так и должно быть в каждом, кто истинной мыслью русского стремится к тому, чтобы сознать бытие своего отечества. В умении признавать свою народность заключается и умение уважать ее в других.

Полное сочувствие в Православной Церкви и убеждение в том, что в ее основах – источник истинной человеческой жизни и нашей народной силы, призванной тем духовным началом действовать и на другие народы, – вот была коренная мысль, лежавшая глубоко в душе того молодого человека, которого потерю суждено оплакать и старшим. В его исторических занятиях эта мысль влекла его и в первоначальные времена Ирландии, к древним племенам кельтским, принявшим учение Христово из одного источника с нами, и в Африку, к коптам и к неграм Абиссинии, где он наукой открывал родство преданий, родство обрядов с нашими, и в современную Англию, в движения ее духовного мира, в те явления, где обнаруживается братское нам сочувствие.

Так основная мысль покойного управляла его первыми историческими трудами. Но главное, она действовала и в его жизни, она хранила чистоту его ума и сердца, она сберегла целомудрие его юности до гроба, она питала в нем эту любовь, которую развивал он в общественную силу, любовь, которая привязывала к нему каким-то тайным сочувствием всех, кто знал его близко, любовь, которая давала ему власть и над его старшими, побуждала их к труду и сзывала к единому действию людей, противоположных друг другу мнениями.

Тихая и ясная красота его лица и голубых глаз отвечала тишине и красоте его души. Он был сложен крепко. Нет, не телесное сложение было причиной той жестокой болезни, которая его сразила. Нет, то была, как мы сказали, алчность к науке, жажда к познанию, к непрерывной деятельности, обратившаяся в страсть. С самых ранних лет он ее обнаружил. Он готов был глотать все, что ему ни попадалось в науке. Он не соразмерял сил своих с этой жаждой; он присоединил к тому и общественную деятельность, чтобы заставлять других работать, и бескорыстно тратил на нее от утра до глубокого вечера и силы души своей, и все состояние, какое имел; нервы его были раздражены непрерывно напряженным вниманием... И сильная чахотка сожгла все эти свежие, прекрасные, благородные силы.

Дмитрий Александрович Валуев родился в 1820 году, 14 сентября; скончался в 1845, 25 ноября, 25 лет. Судьбе угодно было, чтобы он кончил жизнь свою в Новгороде, на пути за границу, где думал возвратиться

здоровье. Тело его привезено в Москву и сегодня будет предано могиле в Данилове монастыре, возле Ю. И. Венелина. Земля соединит вместе две участи, которые обе скрылись преждевременно, не довершив на ней полного, прекрасного своего назначения.

А. С. Хомяков
Письмо Ю. Ф. Самарину

1845, дек. 17

Вот уж полтора месяца, как я собираюсь к вам писать в ответ на ваше письмо, но горькие заботы меня заставляли откладывать со дня на день. Вы знаете, как они кончились. Из нашего круга отделился человек, которого никто мне никогда не заменит, человек, который мне был и братом, и сыном. Этот удар был для меня невыразимо тяжел; но, отвлекая себя от личного чувства, я могу сказать, что это потеря, невознаграждаемая для нас всех. Его молодость, деятельность, чистота, миротворящая, хотя ни в чем не уступающая кротость нрава и, наконец, его совершенная свобода и независимость от лиц и обстоятельств – все делало его драгоценнейшим из всех сотрудников в общем деле добра и истины. Богу угодно было, чтобы такая прекрасная жизнь рано кончилась; но, к счастью, Валуев многое начал, и начатое им, я надеюсь, не пропадет, а продолжится. Тысячу раз благодарю я вас за ваши хлопоты о дозволении перевоза тела его в Москву. Нам отраднее будет его иметь около себя, ибо все мы теперь или позже, а принадлежим Москве как месту нашей умственной деятельности; да и ему прилично лежать в Москве: он ей принадлежал, ибо есть такие направления и такой характер мысли и жизни, которые теперь нигде, кроме Москвы, невозможны. Место ему назначаем мы в Даниловском монастыре возле Венелина. Кажется, так всего лучше. Какое-то духовное сродство и, без сомнения, единство целей существовало между ними, несмотря на великие разницы в жизни и чистоте. Вы, конечно, сочувствуете моему горю, но никто не может вполне оценить, что я в Валуеве потерял и как много я ему обязан был во всех самых

важных частях моей умственной деятельности. Во многом он был моей совестью, не позволяя мне ни слабеть, ни предаваться излишнему преобладанию сухого и логического анализа, к которому я по своей природе склонен. Если что-нибудь во мне ценят друзья, то я хотел бы, чтобы они знали, что в продолжение целых семи лет дружба Валуева постоянно работала над исправлением дурного и укреплением хорошего во мне.

А. С. Хомяков
Письмо г. Вильямсу

Милостивый государь, я очень долго не отвечал на ваше любезное и дружеское письмо, но я уверен, что вы извините мое молчание, когда узнаете, что после отъезда вашего из Москвы меня посетило чуть ли не самое ужасное горе, какое я мог когда-либо испытать: я лишился своего доброго друга и племянника Валуева.

Ум его развился, конечно, под моим руководством, но он ничего не утратил из той независимости и своеобразности мысли, которые одни придают умственным способностям силу и значение. Развитие его было так быстро, в нем было столько природной зрелости, такая твердость характера, что между нами скоро установилось то равенство, при котором исчезает всякое различие между учителем и учеником. Он был для меня в одно и то же время и братом, и сыном. Даже в последние годы он своей неусыпной деятельностью, своим глубоким сознанием христианских обязанностей сильнее на меня действовал, чем я когда-либо на него. А что сказать об ангельской чистоте его души, о чуткой нежности его сердца? Глубокие, многосторонние познания, независимый ум, зрелая и горячая любовь к истине, совершенное отсутствие эгоизма, всецелая преданность нравственным интересам своего отечества и еще более – всего человечества, горячая любовь к ближним, всегда готовая пособить чужому горю, смягчить всякий упрек, девственная чистота жизни и мыслей, недоступная никаким искушениям, мужественная твердость, которой не утратила и не сокрушила бы никакая борьба – таковы были качества моего

покойного друга. Я знал его привязанность ко мне, и вы можете судить, какое было для меня счастье иметь такого друга, какое горе лишиться его. Все его любили и ценили, и следующие строки из письма, недавно мной полученного от одного из даровитейших наших юношей, дадут вам понятие о значении и силе его влияния на близких ему людей.

«У нас была своя революция: мы подпали под чуждое и пагубное влияние (со времени Петра), но пора этого влияния приходит к концу. Наши умственные оковы спадают; минута нашего умственного освобождения приближается, но битва еще не окончена; каждый из нас чувствует в себе самом или внутреннюю борьбу, или, по крайней мере, след ее. Один Валуев как будто принадлежал будущему поколению. В нем борьба уже прекратилась и, по-видимому, не оставила следов. Он весь был любовь и вера. Вот причина, почему деятельность его была так смела и неутомима, почему он мог действовать так сильно и вместе так кротко». Я бы не стал останавливаться долее на этом предмете, но я должен прибавить несколько слов в объяснение одного богословского вопроса. Из высказанного мной мнения о Валуеве вы можете судить о том, насколько я ставлю себя ниже его в нравственном отношении, насколько считаю его достойнее молиться обо мне, чем мне о нем, и, однако, я молюсь за упокой его отошедшей души. Наступит ли наконец время, когда мысль о любви в продолжение жизни и о любви после смерти изгонит антихристианские понятия римского утилитаризма в молитве?..

1846 г.

А. С. Хомяков
Д. А. Валуев

Основателем «Библиотеки для воспитания» и главным участником в издании ее был Дмитрий Александрович Валуев. 1845 года 23 ноября умер он на 26-м году от рождения, не успев еще издать последних двух книжек предпринятого им годового издания. Имя Валуева получило уже известность в литературе и в науке, лицо его получило уже почетное

место в общественном уважении; деятельность его внушала уже много ожиданий и надежд, но Богу угодно было иное.

Д. А. Валуев был уроженец Симбирской губернии; родители его были Александр Дмитриевич Валуев и Александра Михайловна, урожденная Языкова, из семьи, заслужившей славу в нашей поэзии и известность в науке¹. Рано, по 3-му году, лишился он матери, которой кроткий нрав, тихая веселость, любящее сердце и редкая красота были украшением семейства; рано осиротел он, и, кажется, это сиротство оставило в нем навсегда задумчивость, не переходившую никогда в грусть или в скуку, но дававшую какую-то особенную прелесть даже самым веселым его минутам. По 12-му году перевезен он был в Москву и поручен попечениям семьи, известной по великим литературным заслугам, по любви к просвещению и к художествам, по дружбе со многими и лучшими литераторами и особенно по теплому радушию, с которым она принимает всякое новоявляющееся дарование. Приязнь и попечение такой семьи были для него счастьем, и этим счастьем он умел воспользоваться. В последний год своей жизни вспоминал он и говорил с пламенной благодарностью о первом пробуждении мысли своей и о первом благородном направлении, данном ей словом и дружбой этой почтенной семьи, особенно одного из ее членов, который, пройдя весь путь современного мышления, нашел наконец успокоение и цель, достойную себя, в разумной и теплой любви к началам нашей древней Руси, ее простого быта и ее чистой и высокой веры. По 13-му году поступил Валуев в пансион, в котором он оставался около трех лет. Успехи его были не блистательны; ему трудно было покориться правильности общественного воспитания, и мысль его, перебегая от предмета к предмету, от одного стремления к другому, не могла еще ни отказаться от своего произвола, ни угадать пути, на котором она была призвана трудиться и действовать; за всем тем кротость нрава и добродушная откровенность привлекли к нему дружбу лучших товарищей, а жадная любовь к науке, выражавшаяся даже в беспорядке его занятий, обратила на себя внимание лучших его учителей. Он был любим и впоследствии вспоминал не без удовольствия и благодарности годы своего

¹ Один дядя Валуева – поэт Н. М. Языков, другой – геолог и географ П. М. Языков. – *Сост.*

пансионского учения, но признавался, что чем более думает он об них, тем более убеждается в превосходстве домашнего или полудомашнего воспитания перед воспитанием общественным. Это мнение человека, в котором отрочество не оставило никакого горького воспоминания и, следовательно, никакого невольного пристрастия, – человека, соединявшего в высокой степени благородство души с ясным умом, любимого товарищами и любившего их, заслуживает, как кажется, некоторого внимания.

Из пансиона поступил он в университет под надзором и руководством профессора Шевырева, которого имя одно уже ручалось за верность направления, данного воспитанию Валуева. Курс университетский прошел он с успехом, но без особенного блеска. В Валуеве не было ни сочувствия с формализмом науки (вероятно, неизбежном во всяком учебном заведении), ни того жадного самолюбия, которое ищет похвал и отличия в науках, с которыми мысль несколько не сочувствует и которое в учении видит только будущий экзамен. Наука была для него не средством к успехам, а целью самой жизни; но наука не мертвая, а живая, развивающая дух человеческий, не сковывающая его внутренней свободы. Кроме предметов, требуемых университетскими постановлениями, он в то же время выучился почти самоучкой английскому языку, ознакомился с произведениями литературы немецкой, отыскивал начала и, так сказать, самый дух искусства в творениях Гомера и во всех произведениях древней Эллады, приучался к строгой исторической критике чтением Нибура, Моверса, Миллера и других ученых современной Германии; изучал не философию, но строгую философскую методу в бессмертных творениях Бэкона и его ближайшего последователя Канта; более же всего старался проникнуть в тайну древней жизни России посредством изучения летописей и грамот. Рано постиг он ложь систематизма и ничтожность мертвой формальности в науке и жизни. Так, еще в продолжение университетского курса своего он писал рассуждение о статистике и доказывал ее бесплодность в том виде, как она вообще изучается и преподается, т. е. в отдельности от исторического движения и еще более в отдельности от изучения духовных сил, которыми одними зиждется вещественная сила народов. Это рассуждение, без сомнения еще свидетельствующее

о незрелости мысли, содержало уже многие новые истины и много залогов для будущего развития; оно не было кончено отчасти потому, что Валуев, быстро обогащаясь новыми познаниями, не мог никогда быть довольным своим собственным трудом, отчасти потому, что по характеру своему он не мог довольствоваться выводами чисто отрицательными. За всем тем, хотя он и отвергал излишнюю самонадеянность науки и восставал против ее формализма, он понимал необходимость узнать вполне все ее положительные данные и следил с напряженным вниманием за преподаванием университетским. Такая многосторонность и разнообразность занятий требовала от него непрерывного труда, и день его был разочтен не по часам, а почти по минутам; короткий отдых посвящал он или прогулке и телесным упражнениям, необходимым для его здоровья, или беседе с лучшими товарищами по университету или с людьми, которые, подобно ему, понимали все достоинство, всю важность жизни умственной и духовной. Но за всякое нарушение, хотя бы случайное, в порядке своих занятий наказывал он себя сокращением уже и так короткого отдыха, и когда товарищи смеялись над его строгостью к самому себе, он сам вместе с ними, смеясь добродушно, говаривал: «Я чувствую, что во мне воля слаба, так же как, по несчастию, и во всех нас; дам себе повадку да потом сам с собой и не справлюсь». Последние годы университетского курса провел он в одном доме с той семьей, которой был поручен при первом приезде в Москву, и сделался как бы членом ее. Тут, окруженный людьми с самыми блестящими дарованиями, отдавая им вполне справедливость и в то же время видя, как часто самые блестящие способности и прекрасные намерения остаются бесплодными, он стал мало-помалу яснее понимать свое призвание — сделаться нравственным двигателем этих разрозненных сил. К этому времени относится много его сочинений, оконченных и не оконченных им, и мысль о многих предприятиях, которые он впоследствии исполнил или только начал.

С удовольствием, но без нетерпения ожидал он последнего университетского экзамена как минуты, с которой наступала возможность более свободного труда и более полезной деятельности. Ясное и определенное сознание цели, которую он назначил себе в жизни, удаляло от него

все пустые и бесплодные мечтания, в которых так часто тратятся силы и время ранней молодости; он жил всей пылкостью, всем жаром молодого сердца и всем спокойствием и твердостью совершеннолетнего разума, между тем как формы его жизни и привычки сохраняли еще отпечаток беспечного и веселого детства. Это соединение детских форм с юношеским сердцем и возмужалостью ума (отличительная черта многих замечательных людей) давала Валуеву какую-то необыкновенную прелесть и свидетельствовала о чистоте его духовной природы. Из университета вышел он кандидатом, но далеко не первым. Иначе и быть не могло при множестве его занятий, выходящих из круга университетского учения; впрочем, лучшие из наставников его отдавали ему полную справедливость, и в особенности профессор Крюков, который говаривал: «Валуев из кандидатов чуть-чуть не последний, но в жизни он станет едва ли не на первое место».

Новые труды сделались его отдохновением после трудов университетских; но эти труды были уже вполне свободными и зависели только от его внутренних требований: он готовился действовать. С особенным старанием и любовью стал он изучать исторические вопросы, не довольствуясь одним разбором фактов и сличением документов, не довольствуясь даже изучением мелких и случайных причин исторических происшествий, но стараясь проникнуть в самый смысл истории и в жизненные начала, которые ею управляют. Еще большее внимание, еще большие труды посвящал он тому высшему знанию, которое заключает в себе все остальные, – вере, и со всяким днем расширялся круг его мысли, со всяким днем выше и выше становилось его духовное существо. Редко посещал он блестящие и шумные общества света; ему в них было как-то неловко и пусто, но почти всякий день посвящал он несколько часов небольшим кружкам ученых, или литераторов, или умных товарищей и охотно следил за их беседами и горячими спорами о художестве, науке или жизни. Он чувствовал, что книги выражают только самую слабую часть мысли и что беседа часто важнее книги для хода современного просвещения. За спорами следил он со вниманием и с редким беспристрастием; сам же редко принимал в них деятельное участие, предпочитая вообще путь по-

ложительный, т. е. развитие истины, пути отрицательному, т. е. опровержению ложных мнений. В спорах ему были равно противны и страстные вспышки, и упорство недобросовестного самолюбия, и даже та тонкость диалектического искусства, которая иногда удачно отстаивает неправое дело, но зато дает какой-то вид неправоты самой истине. Это чувство выражается в словах, сказанных им человеку, которого любил он всей душой: «К... спорит так, что всегда хотелось бы с ним согласиться, даже когда и согласиться нельзя; а вы спорите так, что хотелось бы с вами не соглашаться, когда и спорить нельзя». Сам он дорожил истиной более всего, отстаивал мнение свое с жаром, покуда не сознавал в нем ошибки, но зато признавал и ошибки свои так добродушно, так охотно и так скоро, что это признание часто заставляло всех его собеседников улыбнуться, но всегда оставлял он в них чувство глубокого и невольного уважения. Много ли тех людей, которые стоят так высоко над своей личностью? Он умел быть веселым, и когда был весел – был весел вполне.

Наконец наступило для него время литературной деятельности. Он продолжал еще ревностнее учиться, но чувствовал, что уже мог надеяться на свою мысль и на запас своего знания. Он мог многих пригласить к сотрудничеству, потому что многие его узнали, и всякий, кто его знал, уже любил. Почти в одно время предпринял он два издания: издание «Библиотеки для воспитания» и «Симбирского сборника», заключающего в себе любопытные памятники древней русской истории, прежней грамотности, прежнего судопроизводства и быта, собранные им в Симбирской губернии. На эти издания не жалел ни времени, ни труда, ни издержек; но и сотрудников явилось много по его приглашению. Никто не отказывался от участия. Старшие радовались, встречая такую высокую любовь к просвещению, и согревались жаром его молодого сердца; сверстники не могли ни в чем отказать товарищу, который никогда ни с кем не соперничал и радовался всякому чужому успеху, как собственному приобретению; даже дети просились участвовать в его трудах, занимаясь сличениями, перепиской, а иногда и переводами: они хотели чем-нибудь доказать свою любовь человеку, который так детски всегда радовался их детским радостям и так охотно посвящал свой короткий досуг их дет-

ским забавам¹. Сам он трудился неусыпно, переводя, сличая, проверяя письменные памятники, беспрестанно собирая новые, изучая не только их видимый смысл, но и невидимую связь с жизнью древней России, отыскивая новые начала исторические, готовя прекрасные статьи, которые он издал впоследствии, об местничестве и об истории Абиссинской Церкви, занимаясь глубокими исследованиями о первоначальной Церкви в областях кельтских народов и собирая беспрестанно материалы, мысли и намеки для будущих предприятий. В то же время продолжал он усовершенствоваться в познании языков, следил внимательно за ходом современной науки, не отказывался посещать общества, понимающие достоинство умственной жизни, и искал дружеской беседы с народом. Он знал, что в книгах и в обществе можно искать науки, но только от народа получить начало живого просвещения.

Среди такой прекрасной деятельности и таких высоких занятий постигла его тяжелая болезнь. Всю зиму с 42-го на 43-й год не мог он выходить из комнаты, страдая беспрестанной лихорадкой, изнулившей его силы; но труды его не прекращались и едва ли не увеличивались с каждым днем. К весне ему стало легче и он решился, по настоятельному требованию медиков, ехать в чужие края. Там пробыл он с небольшим семь месяцев, из которых большую часть провел в Англии. На Западе умел он глубоко и сильно сочувствовать с жизнью Запада. Он умел удивляться его великим успехам в общественности, в науке и чудным произведениям в художестве. Все письма, писанные Валуевым в то время, свидетельствуют о его высокой христианской любви ко всем народам и о том добродушном смирении, которое так свойственно русскому человеку; но он также умел и беспристрастно оценить недостатки наших западных братьев и надеяться еще лучшей будущности для нас. Путешествие, к несчастью слишком непродолжительное, поправило его здоровье. Оно было не совсем бесполезно даже и для его деятельности.

¹ Валуев радовался этому рвению. Дело свое он считал делом общим, себя – слугой общего дела, а в общей готовности ему содействовать видел залог будущего успеха; но зато и сотрудники его никогда не забудут, какой любовью, какими попечениями он окружал их, и как глубоко мог быть благодарным, и как охотно освобождал сотрудника от данного обещания, когда узнавал, что обещавший намерен заняться более полезным трудом.

В Англии свел он знакомство и вел переписку с некоторыми учеными, много читал и работал в народной библиотеке (едва ли не богатейшем собрании книг в целом мире); в Германии и землях славянских положил начало русской книжной торговле, вступил в дружеские сношения с людьми, заслужившими знаменитость в науке, каковы Ганка, Колар, Шафарик и др.; но этого для него было не довольно. Он спешил в Россию, он тосковал по друзьям, которые ему были так дороги, по трудам, которые были так чисты и полезны, по русскому слову и русскому народу, без которого жизнь казалась ему изгнанием. В начале 44-го года возвратился он, едва ли не слишком рано для себя.

Он возвратился такой же, как и поехал: тот же светлый разум, вечно жаждущий просвещения, та же теплота молодого сердца, та же способность к детской веселости и те же полудетские привычки; но он окреп в тоске 7-месячного уединения на чужой земле. Он воротился с большей уверенностью в истине пути избранного и в возможности начатых им предприятий. Знакомые, давно уже высоко ценившие его, еще более узнали цену ему во время отсутствия, перервавшего его деятельность: они вполне поняли всю важность его личности и его высокие нравственные права. Обширная разнообразная ученость, свободный и сильный ум, искренняя и горячая любовь к правде, совершенное отсутствие эгоизма, полная преданность общему добру, теплота милосердия, всегда готовая облегчать и утешать всякое несчастье и сострадать всякому заблуждению; девственная чистота жизни и помыслов, которая не боялась никаких искушений, и твердость души, которая не отступила бы и не пала бы ни перед какой борьбой, – таковы были качества, которые всякий в нем видел или угадывал. Твердая и неуклонная воля сопровождалась в нем тихой, кроткой и почти женской нежностью христианской любви. Не только сверстники, но даже старшие и бывшие его наставники дали ему уже почетное место в своем кругу. Все увлекались его живой деятельностью, слушались его совета и иногда даже его строгих упреков, потому что в упреках его слышалось не осуждение, но скорбь о чужом недостатке и всегдашняя готовность признаться в своих собственных. Личные страсти казались ему вовсе неизвестными, и его присутствие укрощало

их вспышки в других. В суждении о пороках он был строг и неумолимо строг; в суждении о людях – всегда снисходителен и готов к оправданию их; снисходителен к низшим, в которых так мало еще развито разумное сознание и на которых так сильно действуют злые примеры высших; снисходителен к высшим, которым так мало досуга для мысли и так много искушений. В направлении его выражалось стремление к просвещению истинному, к развитию не науки только, но и жизненному началу души человеческой, в спорах любил он не опровергать заблуждение, а открывать глубину истины. В исследованиях науки искал всегда начал органических, отвергая сухой и мертвящий формализм, в наставлениях не нападал на пороки, но старался развивать добрые качества души, с полной уверенностью, что они должны заглухнуть под преобладанием добра. Воспитанник строгой науки, он не остался заключенным в ее пределах, но жил полной, деятельной и прекрасной жизнью. Изредка он появлялся в так называемых светских кругах и даже там был замечен. Его прекрасные черты, высокий открытый лоб, лицо, на котором ни одна дурная страсть не оставила следов; светлые и задумчивые глаза, добродушная веселость, откровенная простота и даже какая-то благородная неловкость привлекали невольное внимание и сочувствие. Но за всем тем он редко посещал эти светские круги и хотел отстать от них совершенно. За прежние труды свои принялся он с большей ревностью, чем когда-либо. Деятельно продолжал он издание «Библиотеки для воспитания» и издал 1-й том «Симбирского сборника», в котором поместил разыскание о местничестве, едва ли не самое лучшее и строгое исследование частного, но весьма важного факта, какое когда-либо было сделано в нашей исторической науке. В то же время приступил он к изданию другого сборника, которым он еще более дорожил, «Сборника исторических и статистических сведений о России и народах единоплеменных и единоверных с нею». Материалов приготовлено было на несколько томов мелкой печати, но он успел напечатать только один том. В нем помещено несколько статей, им писанных, из которых особенно замечательны статьи о славянских городах и об Абиссинской Церкви. Строгая критика может заметить недостатки в его изложении и слоге, но в то же время она долж-

на заметить отличительную черту, дающую высокое значение его исследованиям, — именно способность понимать жизнь и сочувствовать ей. Так, в статье о местничестве, изучив строго его формализм, он понял и живое начало местничества, и назвал формализм признаком омертвения и паденья; так, в статье о городах славянских и в примечаниях к статье он указал на органическую болезнь Западно-Славянской области; так, в статье об Абиссинской Церкви он показал, что ее внешняя форма — еретическая — была делом исторической случайности, а что ее жизненное содержание было вполне христианским, т. е. православным. Его труды были приняты с похвалой, и эта похвала радовала его приятелей, которым грустно бы было видеть недоброжелательство и несправедливость к этому чистому труженику добра. Он сам радовался ей добродушно и говорил: «Журналы похвалили, авось найдутся читатели». И теперь, после смерти его, весело вспомнить, что он прошел жизнь не только никого не оскорбивши, но и никем не оскорбленный. Друзья его осуждали видимое разнообразие его занятий. Они говаривали: «Издание для детей, разыскание об местничестве, об Абиссинии, об кельтах, — где же единство, где последовательность?» Это единство, эта последовательность теперь явны. Вся духовная жизнь Валуева была посвящена России, нашей родине, славянам и чистому христианству — Православию, полной и высшей истине на земле, лучшему и единственному залогоу развития для будущего человечества. Много было задумано им и других предприятий, для которых он начал собирать материалы, предприятий, известных только тем, которые с ним жили душа в душу. Таковы были: издание русской истории для народного чтения, рассказанной подлинными словами летописцев; краткое изложение всего хода церковного служения, также для народа, и другие.

Но год с небольшим прошел после его возвращения из чужих краев, и его здоровье расстроилось безвозвратно: силы истощались, открылась чахотка; медики послали его снова за границу, но уж слишком поздно. Он доехал до колыбели нашей старой Руси — до Новгорода, и там, после нескольких дней страдания, кончил жизнь, как следует христианину, без ропота и даже без сожаления о неоконченных делах, зная, что все доброе

должно совершиться. Друзья пожелали, чтобы тело его было перевезено в Москву, в тот город, где жил он и развился духовно.

Валуев умер на 26-м году. Деятельность его не продолжалась даже и трех лет, а между тем то, что сделано им в такой короткий срок, едва ли бы могло быть сделано другим, даже самым трудолюбивым, в течение более чем десятилетия. Как объяснить этот необыкновенный успех, особенно при общей недеятельности нашей русской современной мысли! Наука поступила к нам из чужой стороны и не сроднилась с нашей жизнью: между ними происходит тяжелая борьба, которая отзывается в каждом из нас. В Валуеве не было ни этой борьбы, ни даже следов ее. Казалось, он принадлежал к другому, будущему поколению: он усвоил себе науку, но сам жил полной жизнью веры. Он жил не в душу живу, которая есть эгоизм, но в дух животворящ, который есть любовь. Оттого-то воля его была так неуклонна, деятельность так неутомима и действие его так сильно и в то же время так кротко. Имя его не забудется. Наука будет его помнить. Друзья, скорбя об его потере, благодарят Бога за то, что имели такого друга.

Дай Бог всем быть так искренно любимыми в жизни, так горько оплаканными после смерти.

<1846>

РАЗДЕЛ V ВОСПОМИНАНИЯ О СЛАВЯНОФИЛАХ И СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ

М. П. Погодин
К вопросу о славянофилах

Поутру занимался я исследованием о церковном смятении в начале управления Софиина, а вечером попалась мне на глаза статья г. Пыпина о славянофильстве («Вестник Европы», 1872 года, ноябрь и декабрь), и мне представилась – в образчик странного сочетания мыслей – параллель, или, точнее сказать, геометрическая пропорция между *полемическими приемами* раскольников и западников. Западники так относились к славянофилам, как раскольники к православным: те и другие видели одинаково вкось и вкривь, и потому так и судили своих противников – раскольники православных, западники славянофилов.

Раскольники ожидали ужасов от исправления церковных книг; западники испугались точно так же грозившего будто России невежества от провозглашенной славянофилами необходимости в большем внимании и почтении к родной старине и ее заветным преданиям, в строжекритическом отношении к западу, которого учреждениям безусловно поклоняться не должно. Они накинулись на славянофилов как на врагов просвещения и свободы мнений, начали обвинять их перед толпой, пользуясь на все лады общими местами очень легкими в этом случае, – в чем долгое время и успевали, да и теперь отчасти успевают в ближайших к себе кругах. Увлекаясь спором, они обругали кстати и всю нашу старину, совершенно

им неизвестную, приравнивали ее к невежеству и рабству и отказали ей во всяком человеческом достоинстве, движении и успехе.

Старые раскольники были искренни в своих убеждениях и опасениях; допуская такую же искренность и в западниках. Но время взяло свое: молодые люди сделались стариками, пережиты теми и другими всякая всячина, опыты накопились, большая часть первых противников с той и с другой стороны сошла в могилу, много воды утекло, даже из Дуная, как сострил князь Меншиков, много и притекло, – и вот Павел Прусский, Пафнутий Коломенский и достойные их товарищи увидели свою несправедливость: они обращаются к единоверию. Убеждения славянофилов, понятые как следует и беспрестанно оправдываемые в течение времени, приобретают себе приверженцев более и более между мыслящими русскими людьми, – а вражда западников не утихает и даже принимает характер корсиканской вендетты из рода в род, если не оружием, то хоть средствами Дона Базиля, употребляемыми исподтишка при всяком удобном случае.

Что за причина? пора бы, кажется, ослабнуть раздражению! Отчего это происходит? От новых ингредиентов, вошедших в состав их катехизиса, от новых зелий, попавших в котел шекспировских ведьм.

О славянофилах пишут всякий вздор, взводят на них всякие напраслины и приписывают им всякие нелепости, выдумывают, чего не было, и умалчивают о том, что было, – одни по незнанию, другие по предубеждению, третьи из личной или наследственной, безотчетной ненависти, имея целью ослабить во что бы ни стало влияние их образа мыслей, который признается вредным для успеха перенимаемых с запада, по телеграфу, одно за другим учений противной партии.

Замечу еще, что не только противники, даже последователи в новых поколениях ошибаются, иногда относясь к старому времени, к происхождению той или другой славянофильской мысли, к первым деятелям.

Несколько раз принимался я писать об этих выходках и об этих ошибках, за прошлое время, зная дело коротко от первой минуты до последней; но останавливался – иногда потому, что не хотелось говорить о

себе, иногда потому, что не имел досуга для забрания нужных справок, иногда потому, что не желал касаться того или другого вопроса до времени, по причинам частным или личным.

В успокоение служила мне также пословица, хоть грубая, но верная, которую применить иногда было очень позволительно к пустым или недобросовестным пересудам: собаки лают, а ветер носит.

Но вот г. Пыпин возносится на степень историка и предлагает свои рассуждения свысока, объявляя притязания на беспристрастие и служение науке. О таком мнении нельзя не подать голоса, тем более что молодые славянофилы, верные своей славянской природе, тяжелы на подъем и вряд ли соберутся скоро (если, впрочем, еще соберутся) сказать что-нибудь в опровержение или объяснение вопроса. Притом иногда не знают и сами дела в точности, как замечено выше.

Отдаю полную справедливость искусству и таланту автора, которые сказались с такой выгодной стороны в его исторических очерках «Общественное движение при Александре», 1871 год, кроме вопиющих отзывов о Карамзине, Жуковском, Крылове и проч. (я обращаюсь к ним после). И признавая истинные, примечательные достоинства в изложении того, что он знает, не могу сказать ничего подобного о том, что он говорит не зная, а имея только предубеждение, часто с ветру полученное. В статье его есть много дельных и основательных замечаний; но вообще она обилует ошибками, неверностями, задними мыслями, — не говоря уже о личных мнениях, на которые, разумеется, он имеет полное право, как и его читатели имеют полное право на свое мнение о них и о нем.

Славянофилы — это был сначала кружок молодых людей (ныне давно состарившихся или сошедших в могилу), знакомых между собой с детства или учебной скамьи¹ и начавших заявляться с двадцатых

¹ Для некоторых читателей, может быть, будет любопытно узнать происхождение знакомства между ними. Веневитиновы и Хомяковы были знакомы домами исстари, а у сыновей был один учитель русского языка — Глаголев, единственный доктор философии в университете того времени; Киреевские и Кошелев жили по соседству за Сухаревой башней и познакомились больше на уроках у Мерзлякова, которые брали для экзамена на чин коллежского

и тридцатых годов (Хомяков, Языков, Киреевские, Шевырев, Кошелев и пр.). К сороковым годам подготовилось их новое поколение (Константин Аксаков, потом Самарин, Попов, Елагин, Стахович, Панов, Валуев, кн. Черкасский). К пятидесятым годам относится третье поколение (Гильфердинг, Иван Аксаков, Ламанский). С шестидесятых годов началось четвертое (сотрудники «Зари», «Беседы» и проч.).

Из числа знакомых первого поколения, составлявших первый кружок, некоторые отправились в последних двадцатых годах на службу в Петербург и разошлись далече, занялись другими предметами, чем оставшиеся в Москве их приятели; но дружеская связь между ними не прерывалась, и общие стремления к Отечеству, просвещению, словесности продолжались одни и те же (Веневитиновы, Титов, Одоевский). Одоевский, оставаясь чистейшим западником в лучшем значении этого слова, занялся по возвращении в Москву преимущественно народной и церковной музыкой и возделывал эту часть народности. (Продолжение его трудов приняли на себя г. Разумовский и Потулов.)

асессора. Шевырев, Титов и Ознобишин кончили курс вместе в университетском пансионе в 1823 г.; тогда же профессор Павлов привез в университет натуральную философию Шеллинга и Окена. Первые соединения были – литературное, под председательством Раича, переводчика Виргилиевых «Георгик», Тассова «Иерусалима», Ариостова «Орланда» (здесь принимали участие: Шевырев, Титов, Одоевский, Ознобишин, Колошин – Петр, Путята, Андрей Муравьев, Андросов, Томашевский, Оболенский (В. И.), я и проч.); философское – около проф. Павлова, а прежде у кн. Петра Черкасского (Веневитинов, Киреевский, Кошелев и проч.). Некоторые из того и другого кружка соединились на службе в архиве Министерства иностранных дел и получили место в «Онегине» Пушкина (который тогда приехал в Москву из Пскова) под именем архивных юношей. В раичевское общество принят был Полевой, который на первых же порах представил программу журнала. Она была отвергнута; он оставил общество и предпринял издание «Телеграфа». Одоевский издал пред тем сборник «Мнемозину», а я – альманах «Уранию». Мы с Д. Веневитиновым и Шевыревым, ободренные Пушкиным, обещавшим живое и деятельное участие, затеяли «Московский вестник» (1827–1830), а проф. Павлов – «Атеней». Славянофильского здесь нигде не было почти еще ничего. В «Московском вестнике» с 1827 г. начало показываться участие к судьбе славянских племен, которому содействовал прежде Кеннен библиографическими сведениями. Венелин, медицинский студент, познакомившийся со мною по поводу моего рассуждения о происхождении Руси, в 1826 г. – живыми этнографическими. Хомяков в 1829 г. побывал в Болгарии, служив в гусарах в продолжение турецкой войны.

К дружным между собой славянофилам разных периодов приставали иные со стороны, знакомые или незнакомые, разделяя или возделывая то или другое из их положений; иные занимались ими независимо от славянофилов, например Ф. И. Тютчев, самый живой и разумный носитель славяно-русской идеи; А. Н. Майков, проникнутый идеей народности; Бодянский, неустомимо, хотя одиночно работающий над изданием «Славяно-русских памятников»; А. Н. Муравьев, воюющий за Православие, Аксаков-отец, Чижов, Ф. Н. Глинка, М. А. Дмитриев, Вельтман, Даль, О. Ф. Миллер, каждый по своей части.

Живое дружеское сочувствие многих достойных литературных и ученых деятелей идеям славянофильским утешало и утешает их постоянно: назову Гоголя, П. С. Савельева, В. В. Григорьева, Шеншина, Т. И. Филиппова, графа Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Н. Я. Данилевского, Н. Н. Стрхова.

Для истории русской словесности, и вообще русского образования, замечу (это не было еще замечено), что кружок славянофилов находился в дружеских связях с представителями старшего перед ними поколения, Пушкиным, Баратынским, Плетневым, равно как те примыкали к Жуковскому, Вяземскому, Дашкову, Блудову, Гнедичу, Тургеневым и прочим арзамасцам. Эти же связаны были в свою очередь с Карамзиным, который был другом И. И. Дмитриева, товарища и сверстника Державину, Капнисту, Хемницеру, Львову, Кострову. Старшие их современники, Херасков, Петров, Богданович, Фонвизин, застали Сумарокова, спорившего с Ломоносовым! Так велось наше литературное предание, вплоть до литераторов, составлявших прозванный так противниками славянофильский кружок.

Западники, изникшие из «Телеграфа», разорвали связь с преданием, начали с унижения старых авторитетов и заменили их новыми – какими?

Читая г. Пыпина, читатель имеет полное право думать, что так называемые славянофилы терпеть не могли европейского образования, не обращали внимания на европейскую науку, на искусство, не дорожили

гражданственностью западной, одним словом, ненавидели Запад. Как иначе можно, например, понимать следующие выдержки из рассуждения г. Пыпина?

С. 55. (Славянофилы увлекались) «мечтами о будущем падении западной цивилизации и торжестве восточной».

С. 71. «С “Маяком” славянофилы имели общего *крайнюю вражду к Западу*».

С. 80. «Западная цивилизация (у некоторых) была предметом *вражды*».

С. 73. «Славянофилы говорили, что мы должны *отвернуться от Запада*, потому что его просвещение нам чуждо и лишено верховной истины. Мы должны обратиться к старине, потому что она, хотя и не всегда сознательно, была проникнута учением, заключающим в себе эту верховную истину».

С. 74. «Киреевский с оговорками, а другие бросают эти оговорки и утверждают прямо, что *Запад гниет*, что от него следует *бежать*, чтоб не заразиться гниением, что зараза даже заметна и у нас».

Вот какие мнения, без оговорок, приписывает г. Пыпин славянофилам, между тем как в действительности ни один из западников не был так знаком с Западом во всех отношениях, как славянофилы; ни один не изучал его с таким вниманием, постоянством, как Хомяков, Киреевский, Шевырев...

Мифология, религия, вероисповедание, право, язык, наука, искусство, литература, общество западное были равно им известны, исторически, критически, статистически.

Первые западники, с которыми нынешних тщедушных потомков и сравнивать нельзя, напр. Грановский, Герцен, должны были уступать им во всех спорах, при зарождении партий (чем и усиливалась неприязнь). Герцен был хорошо знаком с политикою, нынешним состоянием западных государств, впрочем, позднее. Грановский знал их историю, преимущественно политическую, анекдотическую. Белинский ничего не знал порядочно; начав и кончив свое образование в «Телеграфе», который был для него гимназией, университетом и академией, он пробавлялся после

сообщениями от своих товарищей, из вторых и третьих уст и подвергался их влиянию, пел с голосу, кроме, разумеется, отделения литературной критики, где он показал достоинства далеко, впрочем, не безусловные.

Хомяков был в настоящем значении слова столько же западником, разумеется по-своему, как и восточником (славянофилом). Это был ум всеобъемлющий. Западные *богословы*, протестанты и католики признавали его достоинства. Оксфордский университет принимал его с почтением. Гегель был любимым его противником в *философии*. О познаниях в *истории* свидетельствует его «Семирамида». *Литература* западная была ему своя, и из Шекспира, напр., он мог прочесть вам сколько угодно стихов наизусть. Ничто новое на Западе не укрывалось от его всесторонней любознательности. Последнюю американскую войну он мог разобрать как у себя на ладони, и он разбирал, бывало, все марши Мак-Кленана, Ли, как будто они происходили в окрестностях Москвы или около его Богучарова. Точно так же он мог бы подавать советы северным экспедициям, как вернее отыскивать Франклина.

Я напечатал где-то шуткой, еще при жизни Хомякова, что если б он родился в другом государстве, то, верно, устроилось бы общество для его эксплуатации: наводить его в разговоре на какие угодно предметы и возбуждать к спору, который был его стихией и в котором ум его развертывался во всем блеске, мысли били ключом у него из головы – оставалось только собирать и записывать.

Киреевский воспитан был на немецкой и английской словесности. Философия потом сделалась главным его занятием, и он был в Мюнхене желанным собеседником Шеллинга. Отцам церкви предался он впоследствии.

Что сказать о Шевыреве, предаваемом невежами всяким ругательствам? Я не думаю, чтобы в Европе был где-нибудь профессор, который был бы так равномерно знаком со всеми литературами, древними и новыми, со всеми языками европейскими, как Шевырев. Платона, Лукиана он переводил еще в молодости. О немецкой, французской и английской литературе нечего говорить. Гёте отдал справедливость его критической

проницательности, с чем поздравлял его Пушкин. О Шекспире осталась целая книга, такая же, как о Данте. Итальянская и испанская литература были ему знакомы как русская. Его курс о западной литературе, в пяти или шести томах, был бы насущным приобретением для большинства даже и теперь; но при нашем равнодушии, при нашем легкомыслии он тлеет до сих пор (вместе с его избранной библиотекой) в кладовых лоскутного трактира. Какие труды поднял Шевырев в продолжение трех лет для Московского университета, приготавливая к его столетнему юбилею историю и биографический словарь профессоров, т. е. материалы для истории *западного* просвещения в России, – вообразить трудно! Мне до сих пор больно вспомнить о его трудах и о тех наградах, которые он получил за них...

И таких-то людей наши невежи, наши сектанты могли и могут упрекать в неуважении к науке и литературе Запада! и этих-то людей легкомысленные фельетонисты берутся судить, взводя на них великие напраслины и умалчивая об их настоящих убеждениях; а толпа им верит, как верила Ноздреву у Гоголя, и восклицает, с негодованием пожимая плечами: славянофилы! славянофилы!

Запад гниет – это выражение, употребленное в какой-то статье «Москвитянина» Шевыревым, попало на зубы западникам, и вот уже лет тридцать, как оно переворачивается ими на все стороны, треплется по всем газетам и журналам и подвергается всяким площадным насмешкам и ругательствам. Нет ни одного пошляка, который бы с самодовольством не прокричал: Запад гниет, ха-ха-ха! Тридцать лет западники стараются разглашать, что это выражение написано на знамени славянофилов. Старшие западники в жару споров, а младшие по слепой ненависти никак не хотят до сих пор понять, в каком смысле употреблено было это выражение, или не имеют добросовестности сознаться в опрометчивости своего заключения.

«*Душа убывает на Западе*», – сказал или повторил и во многих местах пояснил один из самых крайних западников, самый сильный между ними – Герцен!

Что же, разве это не одно и то же значит, что Запад гниет! В сочинениях представителей Запада – Милля, Кине и прочих – можно указать множество мест в подтверждение этой мысли, которая сделалась чуть ли уже не общим местом в западной литературе, у проповедников, философов, моралистов, публицистов, – но не дошла еще до наших доморощенных философов и рыцарей свистопляски.

Неугодно ли вам прочесть последнее слово западной науки в сочинении Эдварда Гартмана, переданное русским читателям в мастерском (и уже обруганном в фельетоне «Петерб. ведомостей») изложении варшавского профессора Струве.

«Сочинение это, – говорит Струве, – несмотря на обширность свою, равно на неохоту современной публики читать серьезные, особенно же философские произведения, издано в 3 года 4 раза, и притом во всех почти газетах и журналах, даже многих специальных, было оцениваемо до того лестно и сочувственно, что нельзя сомневаться в том, что мы имеем пред собой книгу, принадлежащую к числу знаменательнейших произведений новейшей философской литературы».

На с. 588, 617 и след. Гартман откровенно объясняет, что человечество приближается к дряхлой старости, на которой естественным образом и уменьшается желание и возможность читать и усвоить себе строго научные труды; вместо юношеской силы и живого интереса ко всем новым мыслям и умственным произведениям все более расширяется стремление к удобствам жизни, к комфорту и спокойствию, вследствие чего и наука должна принять форму общедоступную, способствующую к усвоению ее без особенного труда и напряжения.

«Искусство, – говорит Гартман (с. 619), – будет для человечества в зрелом возрасте тем, что берлинская фарса вечером для берлинского биржевого купца». Такая же участь постигнет и науку; а потому нельзя удивляться, что при подобном взгляде на современную публику Гартман старался изложить свои взгляды в форме сколь возможно легкой и неутомительной, чтобы ленивый и умственно вялый «старичок нашего времени без труда мог понять и усвоить себе его воззрения».

Ну, что скажут на это наши незванные путеводители? Не согласятся ли они, что если Запад не гниет, то, по крайней мере, *нравственно* подгнивает.

Г-н Пыпин предъявляет во многих местах своего талантливой очерка те же самые приговоры о славянофилах, которые высказывались западниками в первых попытках, не разбирая нисколько ни лиц, ни обстоятельств, ни времени, когда было произнесено то или другое положение и в каком смысле.

«Западное направление, – говорит он например, – ожидало спасения от большего распространения образованности, от усвоения европейского знания. Другое (т. е. славянофильское) направление также искало лучшего, но от настоящего оно бросилось к прошедшему» (с. 59).

Совершенная несправедливость! В том-то и дело, что славянофилы, точно так же как и западники, «ожидали спасения от большего распространения образованности, от усвоения европейского знания», но в духе христианском, в духе Православия, в духе народном, своеобразно, а не подражательно!

«Вражда к преобразованиям Петра и к петербургскому периоду не один раз высказывалась славянофилами с крайней нетерпимостью, и старина восхвалялась с самым решительным предпочтением» (с. 49).

Здесь немного упущено из виду! К *чему* из петербургского периода выказывалась вражда? *Что* в старине восхвалялось самым решительным предпочтением? Бироново правление, например, не одобрит и ящика для просьб, приносившихся царю Алексею Михайловичу, не осудит ни один заклятый петербургский западник!

«Надежда стать основателями нового периода в национальном сознании», которую г. Пыпин приписывает славянофилам, – принадлежит к числу громких фраз, не заключающих в себе ничего вещественного. Никакой предвзятой надежды никто не питал, а выражал свои мысли и желал их распространения, как желает того всякий, имеющий свое мнение о каком бы то ни было вопросе, в какой бы то ни было области.

О таких нелепостях, как мечтания славянофилов среди их увлечений о *падении* западной цивилизации, о намерении их обращать католиков и протестантов в Православие, не стоит труда и говорить!

Хомяков, Киреевский превозносили истину нашего Православия; но что мы делали и делаем иногда с этой истиной, великой и священной, чего достигали с ней вчера или третьего дня, как употребляем и возделываем ее нынче, — о том не найдете вы нигде безусловных восхвалений. Православие не виновато, если по другим посторонним соображениям оно было относимо иногда на задний план и принуждаемо отказываться от своей миссии, даже от друзей своих и приверженцев.

В основе русской истории лежит мир, а не война; в принятии христианской веры господствовало согласие, а не насилие, как на Западе. Это исторические были, которым соответствуют многие явления в истории и в жизни, даже до последнего великого события, освобождения крестьян от крепостной зависимости, и отвергать их ввиду того, что приложения их изменялись иногда или изменяются вследствие тех или других обстоятельств, могут только не имеющие очей видети и ушей слышати.

Смирение и терпение принадлежат к числу отличительных свойств русского характера и находят себе подтверждение, по правилам строгой исторической критики, во многих явлениях русской истории и жизни. Эти свойства имеют многих великих представителей, которых имена произносит с любовью и законной гордостью всякий друг отечества.

Даже господствующая обличительная литература и все ругательства, которыми осыпают легкомысленные невежи наших заслуженных деятелей, есть извращенный, изуродованный вид того же смирения, которое не терпит, по существу своему, никакой похвалы. Укажите мне что-нибудь подобное в другом европейском народе, у немцев, французов, англичан, испанцев, итальянцев, шведов, датчан, голландцев! Кто осмелился бы ругаться так, как у нас ругаются, над древностью, над великими своими людьми, того закидали бы камнями.

Славянофилы, и в особенности писатели «Москвитянина», которых иногда соединяет г. Пыпин, иногда разделяет, по своему благоусмотрению, обуреваемые квасным патриотизмом и официальной народностью, любя выставлять вещественные силы России и хвалиться ими, содействуют ослеплению. Это обвинение повторяется при всяком случае досужими фельетонистами.

Это обвинение принимаю я исключительно на свой счет, как и должен, кажется, по словам г. Пыпина, и отвечаю: я говорил часто и повторял, что нам дано десять талантов, но покажите мне, где я сказал, что нами приобретено еще десять талантов, которыми имеем право гордиться? Я говорил о десяти талантах с указанием обязанностей, возлагаемых этими щедрыми дарами, с указанием тех наказаний, которые угрожают рабам ленивым и неверным, и тех наград, которые получают рабы верные, возделавшие малое, ими полученное. Я говорил всегда о возможности, *если...* и если этого *если* не состоялось, то и все предыдущее уничтожалось как небывалое. Вся суть и вызывалась и заключалась в этом *если*, а говорить прямо, без околичностей, разве было возможно?

Одним словом, переберите и рассмотрите все сочинения славянофилов и писателей «Москвитянина»: найдете ли вы одну строку, коей было бы похвалено что-нибудь нехорошее, недостойное, нечестное, неблагородное?

Еще более – в самую тяжкую минуту нашей государственной жизни, что сказал Хомяков, начиная изречением Писания: не уклони сердца моего в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех?

Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил.
Вставай, страна моя родная,
За братьев! Бог тебя зовет,
Чрез волны гневного Дуная,

Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод.
Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданиям тяжело.
Своих рабов он судит строго,
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!
В судах черна неправдой черной,
И игом рабства клеймена.
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.
О недостойная избранья!
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой.
Душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совести растленной
Елеем плача исцели.
И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сечь,
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом – то Божий меч.

Историческая верность требует заметить, что вещий поэт, которого слова должны были быть вылиты из золота, принужден был дать подписку графу Закревскому, что не будет давать для чтения никому своего бессмертного стихотворения. Он исполнил данное слово и не давал никому своего стихотворения, но написал другое:

Не в пьянстве похвальбы безумной,
Не в пьянстве гордости слепой,
Не в буйстве смеха песни шумной,
Не с звоном чаши круговой,
Но в силе трезвенной смиренья
И обновленной чистоты
На подвиг грозного служенья
В кровавый бой предстанешь ты.
О Русь моя! как муж разумный,
Сурово совесть допросив,
С душою светлой, многодумной,
Идет на Божеский призыв:
Так, исцелив болезнь порока
Сознанием, болью и стыдом,
Пред миром станешь ты высоко
В сиянье новом и святом.
Иди, тебя зовут народы,
И совершив свой бранный пир,
Даруй им дар святой свободы.
Дай мысли жизнь, дай жизни мир.
Иди, светла твоя дорога:
В душе любовь, в деснице гром.
Грозна, прекрасна, ангел Бога,
С огнесверкающим челом¹.

Многое подобное можно привести и из современной прозы «Москвитянина», печатной и рукописной, но публичной.

С. 60. «Славянофильский идеал иногда был так двусмыслен... что в них видели иногда союзников обскурантизма».

И Дон-Кишоту ветряные мельницы казались иногда какими-то богатырями, с которыми он должен был сражаться! Хомяков, Киреевский, Шевырев – посвятившие всю жизнь науке – союзники обскурантизма!

¹ Вот этого-то поэта Белинский мешал с грязью – такова бывала верность его суждений!

Чему и кому помешали славянофилы или писатели «Москвитянина»? Какую полезную мысль остановили, какое вредное действие усилили?

Г-н Пыпин, не зная никого из славянофилов лично, наслушавшись, может быть, от пристрастных почему-либо свидетелей, окружил себя какими-то мифическими призраками и вращается большей частью в атмосфере общих положений, которые перемешиваются вместе с лицами и перетасовываются им по благоусмотрению; он наматывает и разматывает, в том или другом смысле, два клубка, восток и запад, не соображая нимало, что у востока есть свой запад и у запада свой восток. Он старается обойти те положения славянофилов, которым не мог бы не отдать справедливости: об их преданности просвещению, об их занятиях науками, об заслугах в литературе, — и останавливается преимущественно на тех положениях, на которые возражать может. Для опровержения он выбирает большей частью крайности или даже злоупотребления, но разве можно по крайностям или злоупотреблениям судить о каком бы то ни было учении?

Славянофилы говорят то, славянофилы утверждают это, но ведь нужно же разобрать, кто именно говорит то и кто утверждает это, а не смешивать.

Славянофилы не составляли никогда так называемого общества, которое имело бы свой особенный катехизис, то есть исповедовали бы убеждения, равно для всех обязательные. Они не собирались даже никогда вместе, по чьему бы то ни было приглашению, а только случайно и по большей части толковали вдвоем или втроем, не имели никогда специальных намерений и никогда не условились действовать совокупными силами. Они не знали даже вполне, да и не заботились о том, что каждый из них думал или как судил о том или другом предмете. Между ними господствовала совершенная свобода, и каждый из них имел свой собственный образ мыслей, который вырабатывался у него независимо от прочих, подвергаясь, разумеется, только их влиянию, посредственному или непосредственному. Любовь к Отечеству, стремление к просвещению, желание свободы законной, а не необузданной, о чем г. Пыпин почти и не упоминает, разве вскользь, — вот убеждения, которые

одушевляли всегда славянофилов и к которым примыкали все прочие. Было, разумеется, еще несколько главных положений, в которых все сходилось между собой, но и в тех были разные степени: в одних более, в других менее. *Русская самостоятельность, своеобразие, одним словом, народность, национальность – вот средоточие всей системы!* В неглавных положениях встречалось иногда совершенное разногласие.

Бывали случаи и периоды охлаждения между иными вследствие недоразумений или крайностей, которые другим казались опасными и даже вредными для дела в данных обстоятельствах.

Ко времени Крымской войны относится самое живое сближение и самое искреннее согласие; предметом рассуждений сделались господствовавшая система, славянская взаимность и потом крепостное право.

Вместо общих обвинений, основанных на предубеждении, вместо выдержек, нахватанных с задними мыслями из разных времен и от разных лиц, лучше было бы для г. Пыпина последовать общему правилу науки, которое гласит: «Излагая исторически учение, какое бы то ни было, необходимо прежде всего представить основные его положения, сколько их было; потом исчислить его последователей, отыскать зародыш, происхождение всякого положения и проследить его развитие, кому принадлежит оно, в той или другой степени, кем было принято, развиваемо, кем отвергаемо или доведено до крайностей».

Точная хронология в таких случаях необходима, а говорить в общих выражениях, смешивая четыре разные периода и четыре разные поколения или слоя, действовавшие и говорившие в совершенно различных обстоятельствах, говорить притом с предвзятыми на веру мнениями, без знакомства даже с доступными источниками, – это позволительно или извинительно в торопливом фельетонисте, а не в почтенном сане историка: ошибки тут неизбежны и в рассуждениях, и в заключениях, – а если еще присоединятся личности!

Извлеки таким образом главные положения из сочинений и статей славянофилов и разобрав, кому из них какое принадлежит, он мог бы судить об них основательнее и оценивать их по удельной тяжести.

Он увидел бы тогда яснее, что совокупность этих положений ни у кого из славянофилов не выражалась в такой степени и в такой живости, как у Хомякова, и что Киреевскому принадлежит собственно развитие положения о Православии. Он увидел бы тогда, что имя любезного, доброго, горячего, благонамеренного юноши Валуева не только странно, но смешно видеть рядом с этими его учителями, с которыми он даже говорить не мог, а только мог бы слушать!

Ознакомившись получше с литературой вопроса, г. Пыпин увидел бы, что многие его возражения давно уже известны в среде самого славянофильства.

Чтоб уяснить для г. Пыпина вопрос о мнениях славянофилов, опровергнуть повторяемые им без проверки обвинения, отстранить нелепые взводимые на них напраслины, я расскажу документально из первого периода один случай, который приходит теперь на память.

* * *

Среди первых препинаний западников с славянофилами Грановский, в конце 1844 или начале 1845 года, на своей лекции в университете сказал к чему-то студентам, что явились в Москве люди, которые вместо того, чтоб идти вперед, зовут русское общество назад и, вынудив из могилы мертвый труп, хотят его оживить¹.

Вслед за выходкой Грановского на лекции в «Московских ведомостях» напечатана была статья о Бретани и ее жителях, которая заключалась несколькими словами в том же смысле. Статья приписывалась также Грановскому, но после сделалось известным, что она принадлежала тогдашнему редактору ведомостей, Е. Ф. Коршу.

¹ Не то же ли самое, не те ли зады повторяет теперь г. Пыпин говоря: «Староверство вооружалось философскими доказательствами; во имя народа проповедовалось отрицание той образованности, которая едва бросала корень в русском обществе, – можно было подумать, что в этих людях старый обскурантизм встречал новых союзников. Аргументы, которыми новая школа защищала свои мнения, были такого свойства, что казались не только ошибочными, но вредными, потому что действительно открывали путь для настоящего обскурантизма» (с. 70).

Я написал ответ, который и был напечатан в «Москвитянине», принявшем тогда совершенно чистое славянофильское направление, имея редактором Ивана Киреевского, главу славянофилов, по мнению г. Пыпина.

В ответе не изменено, не прибавлено, не исключено ни одного слова, и следовательно, он призван торжественно настоящей *profession de foi*¹ славянофильскою (которая, впрочем, соблюдалась и в «Москвитянине» в продолжение шестнадцати лет от первой книжки до последней). Во всех сочинениях старших и младших славянофилов ни прежде, ни после не было никогда никакого противоречия с этим ответом.

Судя по статье г. Пыпина, ясно, что мой ответ через 30 почти лет не потерял своего смысла и может быть возобновлен с прежней целью.

«В 25 нумере “Московских ведомостей” (1845) помещена статья под заглавием “Бретань и ее жители” – статья прекрасно написанная, ясная, легкая, живая; я прочел ее с большим удовольствием, находя в ней доказательство нового увлекательного таланта, который появляется в области русской словесности.

Но мое удовольствие было не без примеси: автор, воздавая хвалу западным хроникам средних веков, рассудил почему-то бросить тень на наши и как будто с состраданием произнес, что «средний век не существовал для нашей Руси, потому что и Русь не существовала для него».

В 1830-х годах, излагая в одном из журналов того времени систему европейской истории Гизо, только что появившуюся у нас, я имел честь заметить знаменитому профессору о его односторонности и сказать, что истории Запада нельзя выразуметь вполне, не обращая внимания на другую половину Европы, на историю Востока, шедшего с ним параллельно, Востока, который представляет значительные для науки видоизменения всех западных учреждений и явлений: точно так натуралист должен исследовать все произведения, все виды, принадлежащие к одному классу, если хочет составить себе полное, основательное понятие об этом классе.

Не думал я, чтоб через 15 лет, – когда наука ступила столько шагов вперед после того, как издано в свет столько свидетельств, доведших эту

¹ Исповедание веры, изложение своих взглядов (*фр.*). – *Сост.*

мысль до очевидной убедительности, – пришлось мне повторить тот же упрек своему соотечественнику, который, увеличив сверх меры ошибку, не может даже привести и оправданий Гизо.

Не странно ли, в самом деле, чтоб в наше время, когда одна археографическая комиссия издала томов двадцать древних документов, не говоря о частных трудах, не странно ли встретить, даже в образованном классе, людей столько *запоздалых*, столько *отсталых* или столько *ослепленных*, которые, имея пред своими глазами Петрову Россию, могут смело, не запинаясь, выговаривать, что этот колосс, готовый и вооруженный, произошел из ничего, без всякого предварительного приуготовления, без среднего века, – людей, которые не хотят даже слушать другой стороны, старающейся понять, объяснить это всемирное историческое явление, отыскать его причины ближние и дальние, его постепенности, – людей, которые решились с непонятным упорством коснуть в своем непростительном неведении и даже распространять свое мнение, – которые просто *затыкают себе уши*, зажимают себе глаза, восклицая с Чванкиной Княжнина:

Хоть вижу, да не верю!

Средний век у нас был, скажу я неизвестному автору, был, как и в Западной Европе, но только под другою формою; тот же процесс у нас совершался, как и там; те же задачи разрешались, только посредством других приемов; те же цели достигались, только другими путями. Это различие и составляет собственно занимательность, важность русской истории для мыслящего *европейского* историка и философа. И у нас было введено христианство, только иначе, мирно и спокойно, с крестом, а не с мечом; и мы начали молиться единому Богу, но на своем языке, понимая свои молитвы, а не перелепывая чуждые звуки; и у нас образовалось духовенство, но духовное, а не мирское; и мы преклонились пред ним, но пред его словом и убеждением, а не властью. В политическом отношении было также разделение, междоусобная война, централизация, единоедержавие. У нас не было, правда, рабства¹, не было гордости, не было инквизиции, не было феодального тиранства; зато было значительное са-

¹ Полное закрепление крестьян принадлежит уже к новому времени.

моуправление, патриархальная свобода, было семейное равенство, было общее владение, была мирская сходка! Одним словом, в среднем веке было у нас то, об чем так старался Запад уже в новом, не успел еще в новейшем и едва ли может успеть в будущем. Мы явили свои добродетели и свои пороки, мы совершили свои подвиги, мы имели свои прекрасные моменты, мы можем указать на своих великих людей...

Но довольно! Доказывать, что русская история имела свой средний век, не значит ли доказывать, что белокурый может также называться человеком, как и черноволосый? Не значит ли доказывать, что между всякими двумя краями всегда бывает середина?

Неизвестный автор не может уклониться от моего обвинения тем, что он отрицал существование на Руси только западного среднего века, не может, ибо об этом говорить нечего. Разве нужно сказывать, разве нужно кому-нибудь напоминать, что на Руси не было, например, Парижа или Лондона? Это знает всякий, и не будет спорить никто. У нас, разумеется, не было Парижа, но была Москва; у нас не было Тауэра, но был Кремль; у нас не было западного среднего века, но был восточный, русский, – что и хотел я доказать, *довести до сведения* автора и его читателей, а может быть и последователей.

Петр Великий, по необходимости, вследствие естественных географических отношении России к Европе, должен был остановить народное развитие и дать ему на время другое направление. Кто из нас не воздаст должной чести этому необыкновенному гению, кто не удивляется его беспримерным трудам, кто не оценивает его спасительных подвигов, кто, наконец, не благоговеет пред его любовью к Отечеству?

Но прошло уже слишком 100 лет, как он скончался, и полтора ста, как он начал действовать, а новое время идет быстрее древнего. Период Петров оканчивается: главнейшие дела его довершены, первая задача его решена, ближайшая цель его достигнута, то есть: северные враги наши смиренны, Россия заняла почетное место в политической системе государств европейских, приняла в свои руки европейское оружие и привыкла обращаться оное с достаточною ловкостью, может по усмотрению употреблять все европейские средства и пособия для дальней-

шего развития своей собственной, на время замиравшей жизни во всех ее отраслях.

Занимается заря новой эры: русские начинают припоминать себя и уразумевать требования своего времени; для избранных становится тяжким иностранное иго, умственное и ученое; они убеждаются, что, склоняясь под оным, они не могут произвести ничего самобытного, что чужеземные семена не принимаются, не пускают корней или производят один *пустоцвет*; они убеждаются, что для собрания собственной богатой жатвы нельзя поступать пока иначе, как *возделывать свою землю*, т. е. разрабатывать свой язык, углубляться в свою историю, изучать характер, проникать дух своего народа во всех сокровенных тайниках его сердца, на всех горных высотах его души, одним словом, *познавать самих себя*. Они убеждаются, что настало время испытывать свои силы, и блестящий успех вознаграждает некоторые усилия!

Время безусловного поклонения Западу миновалось, разве от лица людей запоздалых, которые не успели еще доучить старого курса, между тем как начался уже новый. Им можно посоветовать, чтоб они постарались догнать уходящих и стать наравне с своим веком, в чувствах уважения к самобытности, следовательно, своенародности и, следовательно, старины.

Только таким образом, продолжу я им наставление, можем мы исполнить ожидания самой Европы, ожидания всех друзей общего блага; только таким образом можем мы исполнить свои человеческие обязанности. Мы должны явиться на европейской сцене – стану употреблять их любимые выражения – своеобразными *индивидуумами*, а не безжизненными автоматами; мы должны показать там свои лица, а не мертвенные дагерротипы каких-то западных идеалов. Своим голосом должны мы произнести наше имя, своим языком должны мы сказать наше дело, а не на чуждом жаргоне, переводя из немецкого компендиума и французской хрестоматии; наконец, посредством своих мотивов мы должны выразить наш *пафос*: иначе нас не примет наша старшая братия; с презрением, или много-много с состраданием, они отвратят взоры от жалких подражателей, которые тем несчастнее, чем кажутся себе счастливее.

В Германии не допускаются отголоски, даже самые верные, не только *фальшивые*; а одни самобытные звуки.

Оставя шутки, я должен заключить это объяснение о том, как понимаю я и *некоторые друзья мои* наше время касательно науки, какими представляются нам наши обязанности, наши отношения к ученой Европе и отечеству, заключить ответом на литературные клеветы, взведенные на нас с самых первых номеров “Москвитянина”, т. е. 1841 г.

На нас разносят клевету, будто мы не уважаем Запада. Нет, мы не уступим нашим противникам в этом чувстве уважения; мы изучали Запад, по крайней мере не менее их; мы дорого ценим услуги, оказанные им человечеству; мы свято чтим тяжелые опыты, перенесенные им для общего блага; мы питаем глубокую благодарность за спасительные указания, которые сделал он своим собратьям, мы сочувствуем всему прекрасному, высокому, чистому, где бы оно ни проявлялось – на Западе и Востоке, Севере и Юге; но мы утверждаем, что старых опытов повторять не нужно, что указаниями пользоваться должно, что не все чужое прекрасно, что время указало на Западе многие существенные недостатки, что, наконец, мы должны иметь собственный взгляд на вещи, а не смотреть по-прежнему глазами французов, англичан, итальянцев, пруссаков, австрийцев, баварцев, венгерцев и турок. Ясно ли теперь для читателей, что эту клевету разносят на нас напрасно?

Напрасно разносят на нас еще клевету, что мы хотим воздвигнуть из могилы мертвый труп. Мертвый труп противен нам, может быть, более, нежели кому иному. Нет, душа бессмертная, которая обитала в этом трупе, привлекает наше внимание, возбуждает наше благоговение. И в каком западном просвещенном государстве, в каком немецком университете, давно ли изучение древности, даже мексиканской, эфиопской, стало награждаться подобной насмешкой, называться намерением воскрешать мертвецов?

Напрасно взводят на нас клевету, будто мы поклоняемся нечестиво неподвижной старине. Нет, *неподвижность* старины нам *противна*, столько же как и бессмысленное *шатанье* новизны. Нет, не неподвижность, а вечное начало, русский дух, веющий нам из заветных недр этой

старины, мы чтим богобоязненно и усердно молимся, чтоб он никогда не покидал святой Руси, ибо только на этом краеугольном камне она могла стоять прежде и пройти все опасности, поддерживается теперь и будет стоять долго, если Богу угодно ее бытие. Старина драгоценна нам как родимая почва, которая упитана не скажу кровью, – кровью упитана западная земля, но слезами наших предков, перетерпевших и варягов, и татар, и Литву, и жестокости Иоанна Грозного, и революцию Петра Великого, и нашествие двадцати язык, и наводнение легионов духов, в сладкой, может быть, надежде, что отдаленные потомки вкусят от плода их трудной жизни, а мы *несмысленные*, мы хотим только плясать на их священных могилах, радуемся всякому пустому поводу, ищем всякого предлога, даже несправедливого, наругаться над их памятью, забывая примеры нечестивого Хама, пораженного на веки веков в лице всего потомства, за свое легкомыслие.

Неизвестный автор статьи о Бретани, которая подала мне повод выразить теперь свое мнение, бросил, так же, может быть, нечаянно, камень в древнюю нашу историю, сказав с насмешкой, что “мы хоть недавно, но решительно распростились с своей неподвижною стариною, с безвыходным застоєм котошихинской эпохи и, благодаря Богу и Петру Великому, пошли вперед путем обновленной жизни и многосторонней деятельности”.

Благодарю за выбор представителей!

Избави нас, Боже, от застоя котошихинской эпохи, но и сохраните нас, высшие силы, от котошихинского прогресса – прогресса Котошихина, который изменил своему Отечеству, отрекся от своей веры, переменил свое имя, отказался от своего семейства, бросил своих детей, женился на двух женах и кончил свою несчастную жизнь от руки тех же иноплеменников, достойно наказанный за свое легкомысленное и опрометчивое отступничество»!..

Dixi et salvavi animam¹.

Из одной этой записки читатели увидят, как смотрели славянофилы на существенные вопросы, бывшие предметом споров: они все приняты

¹ Сказал и тем спас свою душу (*лат.*). – *Сост.*

в соображение, и обо всех упомянуто более или менее, кроме религиозного, до которого касаться было еще ненужно и неудобно. (Религиозный вопрос развит был преимущественно впоследствии, даже больше других, у Хомякова и Киреевского.) Здесь найдут они, надеюсь, и полное, хоть и краткое опровержение тех нелепостей, которые до сих пор навязываются славянофилам, несмотря на то, что 30 лет назад они были вполне опровергнуты!

Перестаньте же, господа, повторять свои зады, которые наскучили всем серьезным людям, и вспомните хоть то, что вы зоветесь прогрессистами.

Я пойду еще далее: если славянофилы, ни старые, ни молодые, не могут прибавить ничего существенного к этой исповеди, то и западники не осмелятся теперь отречься ни от единого в ней слова, разве от проклятия Котошихину! Что же заключить из этого? Что западники *bon-gré, mal-gré*, волей-неволей, сами притягиваются к этому учению, и не могут уже отказываться от его положений и что славянофильское учение распространяется концентрическими кругами и захватывает пространства западного больше и больше, какие бы усилия ни употребляла вражья сила.

Мне остается объяснить некоторые частности, относящиеся к вопросу, и отвечать на посторонние, *не научные* обвинения г. Пыпина.

«Славянофилы были притом, — говорит он, — преисполнены гордости своей системой, и противники их не могли простить им этих притязаний: во-первых, эти высокомерные притязания далеко не были ими доказаны; во-вторых, оставалось не выяснено отношение славянофильства к авторитету, к официальной народности» (с. 55).

Ответ: первые славянофилы были старше первых западников и относились к ним как профессора к студентам, которые между тем заявляли свои притязания, прежде чем (обратим на них слова г. Пыпина) «(их) заслуги (?) дали (им) на то какое-нибудь право». Очень естественно было для славянофилов относиться к ним свысока, а оскорбительные подозрения западников, которых они, разумеется, не скрывали, должны были произвести еще большее раздражение.

«В то время, как противоположное направление встретилось с практическими вопросами действительности, эта школа дольше оставалась дилетантской системой, которой удобно было витать в отвлеченностях, не особенно заботясь о практических выводах» (с. 53).

А крестьянский-то вопрос – кем был разрабатываем первоначально и в историческом, и в статистическом, и практическом отношениях, начиная со статьи Хомякова о крестьянских условиях, помещенной в «Москвитянине» 1842 года, с возражением на нее Татаринова и статьи Кошелева в «Земледельческой газете» в 1847 или 1848 году, до последних трудов Кошелева, Самарина, князя Черкасского в редакционных комитетах и комиссиях? Множество их мнений находится еще в рукописи, и мне недавно попало письмо Хомякова к Я. И. Ростовцеву по поводу изданных последним, кажется, в чужих краях писем об освобождении крестьян.

Желательно было бы узнать от г. Пыпина, чем обнаружилась встреча западнического направления с практическими вопросами действительности?

Забавнее всего, что историк переменяет роли и действия славянофилов приписывает западникам, а действия западников славянофилам – с больной головы на здоровую...

С «Москвитянином» г. Пыпин не знает, что делать: ему непременно хочется отделить так названных им писателей «Москвитянина» от славянофилов, и он помыкает ими по усмотрению, а в конце концов оказывается все-таки полное согласие между ними, по собственным его словам, а именно:

«Что касается до “Москвитянина”, то с ним славянофилов в то время почти *невозможно* было *отличить*. Если философия г. Погодина не пускалась в такие глубины, как философия Киреевского и Хомякова, то критическое понимание было *одно и то же*. “Москвитянин” как журнал г. Погодина и Шевырева видел отличительные черты русской народности и русской истории *в том же, в чем* находили их славянофилы: Шевырев изображал православное благочестие русской старины *в столь же*

ярких красках, и славянофилы с удовольствием должны были читать в его лекциях, что любомудрие древних русских мыслителей превышает глубиной философию Гегеля. Кроме *общей любви к старине*, достойной служить образцом для настоящего по “цельности воззрения”, – “Москвитянин” *сходился* с славянофилами и в *частных представлениях* русской истории по поводу статьи г. Погодина – “Параллель русской истории с историею западных европейских государств”. Славянофилы находили, что его мысль о коренном различии между историей западной и нашей – *неоспорима* и противоположения Запада и Востока у них *очень сходны*. “Москвитянин” терпеть не мог Запада и распространял теорию о его гниении – которая почти *совершенно равняется* тому мнению, какое имели и имеют о Западе славянофилы» (с. 72).

«Самые теории очень трудно было различить, потому что осуждение Запада и у славянофилов было достаточно категорическое» (с. 94).

«Славянофильские теории являлись рядом с рассуждениями Погодина, Шевырева, и проч., и между ними не раз можно было заметить *большое согласие*» (с. 54).

«Впрочем, еще до этого времени славянофильские писатели в печатной литературе примыкали нередко к людям *близкого с ними, но тем не менее особого* направления в “Москвитянине”» (с. 53).

Итого: о религии и Православии славянофилы и писатели «Москвитянина» у г. Пыпина говорили одно и то же, о русской истории одно и то же (последним она принадлежит преимущественно); о характере русского народа – одно и то же; о наших силах, о наших задатках – одно и то же. Что же остается в различии? Чтò есть такое у славянофилов г. Пыпина, чего нет у его же писателей «Москвитянина»? Прибавлять ли, что славянофилы г. Пыпина принимали участие в издании «Москвитянина» от начала его до конца, кроме годов издания особых сборников; и что глава славянофилов, по рассуждению г. Пыпина, был несколько времени издателем «Москвитянина», уже совершенно славянофильского, – где принимали, однако же, участие и прежние писатели «Москвитянина»?..

Г-н. Пыпин придумал очень хорошее слово: официальная, казенная народность; жаль только, что он не объяснил порядочно, что разумеет под нею, да и употребляет ее он слишком произвольно.

Спросим его предварительно: у Державина, Ломоносова, Карамзина, Жуковского, Пушкина, Гоголя какая была народность – официальная или нет?

Кажется – он считает ее официальной, ибо говорит, что органами официальной народности «стали, между прочими, некоторые из лучших наших писателей» (с. 58).

Славянофильство г. Пыпин считает также очень близким к официальной народности (с. 56).

Но обращается он гневом на одного «Москвитянина», который, как козел искупления, «представил-де весьма непривлекательный сбор казенных взглядов официальной народности» (с. 54).

Г-н Пыпин разумеет, кажется, под господствовавшей казенной народностью знаменитую формулу Уварова: Православие, самодержавие, народность. Так ли?

Я должен распространиться несколько о ней. Прежде всего замечу историку, что эту, хорошо, неодносторонне понятную формулу принимают до сих пор многие серьезные русские люди, знакомые с историей, с народом, с жизнью. (Укажу на сей час прочитанную статью г. Константинова (псевдоним?) в «Русском вестнике» (1873 г. № 2).

Можете ли вы порицать их безусловно? Что же делается тогда с вашей свободой мнений? Или – вы исповедуете свободу мнений только для себя?

Карамзин стоял в свое время за самодержавие, хоть и был «республиканцем в душе».

Вальтер Скотт был отъявленный тори, но ни один *англичанин* и не думает заподозрить его любовь к свободе.

Между нынешними легитимистами во Франции разве нет людей честных, благородных, умных, любящих искренно и горячо свое отечество?

Кастелляр в Испании желает республики федеративной, а Олосага – единой!

Неужели г. Пыпин думает, что уваровская формула играла роль еще где-нибудь, кроме отчетов министра, т. е. самого автора? В литературе она служила только охранением для охранения мыслей, излагавшихся иногда под ее покровительством; во всяком случае, нельзя было говорить об одном члене формулы отдельно от других. Впрочем, и о трех вместе говорено было немного. Давления никакого она не производила и производить не могла. У кого были мысли, тот мыслил про себя или выражал их, если имел то искусство, которым, по мнению Карамзина, можно говорить что угодно, несмотря ни на какие цензурные путы. А у кого не было мыслей, а только ощущения, тот молчал или отделялся междометиями и разглагольствовал дверям, затворенными за бокалом шампанского, снискивая себе тем дешевую популярность.

В уваровской формуле появилось впервые слово «народность», в официальном языке до тех пор неслыханное. За одно это слово должно помянуть добром Уварова, а так как мысли живут, развиваются, зреют, то за этим словом последовали и другие – однородные.

Я посоветовал бы историку поразмыслить о том с точки зрения научной, а не случайной, чтоб быть справедливее во всех опрометчивых заключениях!

Г-н Пыпин, приписав славянофилам «положение, очень близкое к официальной народности», должен, однако же, сознаться, что они не пользовались благосклонностью высших сфер, ибо продолжение «Московских сборников» было запрещено и сотрудники получили некоторое особое предостережение.

А вот к сведению г. Пыпина и соответствующие известия о «Москвитянине»: укажу только на напечатанные и официальные.

В 1842 году, в начале «Москвитянина», писано было тайному советнику Уварову (министру просвещения): «...в последние годы некоторые

журналы, и в особенности “Москвитянин”, приняли за особенную тему выставить живущих под владычеством Турции и Австрии славян как терпящих особые угнетения и предвещать скорое (?) отделение их от иноплеменного ига». «Возбуждать участие к политическому порабощению некоторых славянских народов, представлять им Россию как главу, от которой могут они ожидать лучшего направления в будущности, и явно рукоплескать порывам к эмансипации, – заключало это донесение, – едва ли можно считать такую пропаганду неопасною?»

Министр Уваров, благоволивший к «Москвитянину» и его редактору, препроводил донесение к московскому генерал-губернатору с шутивым приглашением принять меры против угрожающей для Москвы опасности от статей «Москвитянина». Князь Д. В. Голицын, благоволивший также к «Москвитянину» и его редактору, написал к Уварову шутивную записку, когда тому случилось вскоре приехать в Москву: «Venez, mon cher, et cherchons les moyens pour détourner la guerre entre la Russie et la Porte Ottomane»¹.

Последние, приведенные в донесении слова «едва ли можно считать не опасною», указывают, кажется, еще на другое, т. е. предшествовавшее донесение, о котором мне не случилось, однако же, узнать ничего.

В последнем году «Москвитянина» цензурная история разыгралась гораздо печальнее: увольнением двух цензоров за пропуск какой-то ничтожной повести! И каких цензоров? М. Н. Похвиснева, бывшего тогда при попечителе В. И. Назимове и первым лицом в управлении округа, а потом занимавшего много лет с честью высокое место начальника Главного управления по делам печати. Второй уволенный цензор был Д. С. Ржевский. Я заблагорассудил тогда прекратить издание «Москвитянина», хотя и имел все нужные для издания средства.

Около того же времени (1856) я напечатал одну статью в «Le Nord», кажется по поводу войны англичан в Индии, где слегка коснулся в заключение об ожидаемом у нас решении крестьянского вопроса и должен был дать подписку графу Закревскому, что не буду печатать ничего за границей без разрешения.

¹ «Давайте, мой дорогой, поищем средств отвести войну между Россией и Оттоманской Портой» (фр.). – *Сост.*

Г-н Пыпин свидетельствует, что «Москвитянин» «не пользовался уважением» (с. 72). Считаю себя обязанным заступиться за «Москвитянина» и спросить: у кого именно он не пользовался уважением?

В «Москвитянине», от первого года до последнего, принимали участие и помещали статьи: Жуковский, которому отчасти он одолжен и своим существованием (равно как и князю Д. В. Голицыну), как подавший первую мысль и помогавший к приведению ее в исполнение; князь Вяземский, Гоголь, Даль, гр. Ростопчина, Максимович, Глинка (Ф. Н.), Дмитриев (М. А.), Вельтман, Аксаков (С. Т.), Горский, Стурдза, Загоскин, Мельгунов, Квитка, Ознобишин, Раич, Павлова, Миллер (Ф. Б.), Буслаев, Грот, Срезневский, Щуровский, Григорьев (В. В.), Иакинф, Давыдов, Сахаров, Снегирев, Беляев, Лешков, Березин, Спасский. Не говорю уже об отделенных г. Пыпиным славянофилах: Хомякове, Языкове, Аксакове, Самарине, Попове и проч.

В «Москвитянине» были помещены пять первых комедий Островского, из коих первая – «Банкрот» («Свои люди сочтемся») – могла и на свет выйти только благодаря его ходатайству, через попечителя В. И. Назимова.

В «Москвитянине» были помещены все первые повести Писемского, Потехина, Кокорева (И. Т.), все первые опыты Щербины, Мея, Берга, Мина, Фета. Не нужно распространяться здесь о материалах для «Русской истории» и «Истории Русской Словесности», по которым московский «Русский архив» и петербургскую «Русскую старину» можно считать детьми «Москвитянина».

Осмелюсь ли указать г. Пыпину на имена митрополита Филарета, архиепископов Иннокентия и Филарета? Осмелюсь, потому что могу рассказать следующий случай: преосвященный Иннокентий присылал мне свои проповеди о временах года, помещенные в «Москвитянине». В проповеди на весну одно место о лесах, предназначенных на общую пользу, показалось мне двусмысленным, и я, по тогдашнему времени, выразил ему опасение, как бы цензура не увидала здесь чего-нибудь коммунистического, – а сам послал между тем проповедь в духовную цензуру.

Иннокентий ответил мне: «Исправьте как хотите», а в то же время проповедь пришла ко мне из цензуры сполна пропущенной. Мне не хотелось исправлять подозрительное место и посылать на новую цензуру, и я выпустил книжку с проповедью в первоначальном ее виде: авось пройдет! Однако не прошло благополучно. Князь Меншиков отозвался будто: *notre archeveque Innocent n'est pas très innocent*¹. Я слышал, что Иннокентию был даже запрос об его учении, и он отвечал: «Я учу и учил всегда, чтоб неимущим имущие давали добровольно, но никогда не учил, чтоб неимущие брали у имущих насильно». Мне не случилось после спросить Иннокентия, справедлив ли был этот анекдот; но это мимоходом.

Г-н Пыпин говорит, что «писатели “Москвитянина” не пользовались репутацией» (с. 53). Здесь я не спрашиваю у него, потому что сам г. Пыпин отвечает вперед на этот вопрос, заявляя торжественно о вражде западников к «Москвитянину» – такой вражде, что даже к его славянофилам враждовали они преимущественно за их согласие с писателями «Москвитянина»! Это сознание повторено несколько раз. Враждою этой я горжусь до сих пор столько же, сколько благорасположением людей противного образа мыслей, и, занесенный в черную книгу, осыпаемый бранью при всяком удобном и неудобном случае, думаю сам про себя с удовольствием: видимое желание противодействовать отрицательному направлению в «Московском вестнике» (1827–1830), «Москвитянине» (1841–1856), «Русском вестнике» (1867–1868) не оставалось без успеха даже по их собственному невольному сознанию.

Забавнее всего, что г. Пыпин, витая в областях воздушных, а не на исторической почве, мнением своим полагает, что «в основании славянофильства была известная нравственно-общественная сила, но, столкнувшись в своем развитии с тяжелыми общественными условиями, эта сила не сохранила-де правильного направления и впала в одностороннюю крайность, *в которой остается до сих пор*» (с. 50).

Любопытно было бы узнать, какое направление он считает правильным, в чем состоит крайность, в которой она находится? Кто ее

¹ «Наш архиепископ Иннокентий не так уж невинен» (фр.). – *Сост.*

представители и в чем они обнаруживают свою деятельность? Слова, слова и слова!

Что касается лично до меня в статье г. Пыпина, то объясняться с ним я не имею ни охоты, ни нужды, ни времени. Меня дожидает уже мнение г. Иловайского, которому обещал я подстрочный разбор его стародавной, впрочем, фантазии, а потом черед за Сусаниным, которого обещал «Гражданину» оборонить от г. Костомарова, а там еще первые князья киевские, глубоко оскорбленные тем же историком, а там начаты еще газетные заметки...

Труды мои налицо. В продолжение 50-ти с лишком уже теперь лет не было не только года, но не было даже месяца, едва ли недели, без какой-либо статьи (кроме исследований и вообще занятий по русской истории, которой посвящаются утра), и я не отрекаюсь ни от одной своей строки. Еже писах – писах. Смею надеяться, что найдутся всегда беспристрастные судьи, которые рассмотрят *всю* мою деятельность, обсудят прю с противниками и воздадут каждому свое. Quod potui – feci, (et facio) meliora faciant poteates¹.

Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883 годы)

Вступление

Бывши свидетелем многих великих событий, совершившихся в Отечестве нашем, вспоминая, хотя смутно, 1812 год; – сохраняя живо в памяти последние годы царствования Императора Александра I и последовавшие затем происшествия, много нравственно пострадавши в тридцатилетнее царствование Николая I; – принимавши более или менее деятельное участие в великих преобразованиях, которыми ознаменовалось нынешнее царствование; – прослуживши в так называемом

¹ Что могу – делаю (и делал), как можно лучше (*лат.*). – *Сост.*

Царстве Польском более двух лет, едва ли не самых замечательных в истории нашего господства в этом крае, потрудившись посильно во вновь введенных земских и мировых учреждениях, которым горячо сочувствовал; — не чуждавшись никогда литературы и положивши в эту народную сокровищницу свою малую лепту; — бывши в коротких сношениях со многими замечательными людьми моего времени и оставаясь из моих сверстников одним из последних; — считаю долгом писать *мои записки*. Решаюсь более не откладывать как потому, что начин есть уже, как говорят, половина дела, так и потому, чтобы не испытать участи некоторых из моих друзей и приятелей, которые имели то же доброе намерение, но все откладывали и — сошли в могилу, его не исполнивши. Да поможет мне Бог совершить дело, которое со временем может быть полезным.

13 апреля 1869 г.

Глава I (1806–1824)

Род и родители. — Детство. — Юность. — Мерзляков. — Шлецер. — Грек Байло и греческий язык. — Сверстники. — Московский университет и выход из него. — Кружок для самообразования. — А. П. Елагина.

Родился 9 мая 1806 года в Москве близ Сухаревой башни, на 1-й Мещанской улице в доме отца моего, ныне принадлежащем купцу Перлову. Род наш идет от Аршера Кошеля, выехавшего из Литвы при вел. кн. Василии Иоанновиче, служившего ему в звании воеводы и получившего от него поместье. Дед мой был богатый человек и пользовался большим почетом в Москве, где он жил на Девичьем поле в своем доме (впоследствии принадлежавшем Мальцовым, а ныне Черняевскому училищу). Он беспрестанно задавал пиры, и в особенности когда приезжали из Петербурга сильные там люди, с которыми он был в родстве или доброй приязни. Дед мой жил так открыто и безрасчетно, что сыновьям своим, которых у него было шестеро, оставил очень много долгов; и дети должны были для уплаты их распродать имения, оставивши себе только небольшие вотчины в Рязанской и Ярославской губерниях. Отец мой, старший из

сыновей, Иван Родионович, был как 14-летний юноша отдан на руки дяде его Мусину-Пушкину, бывшему тогда послом в Лондоне. Выучившись вскоре английскому языку, отец мой выпросил у своего дяди позволение поступить в Оксфордский университет, где и пробыл три года. Когда ему было около 20 лет, он приехал курьером в Петербург. Там он понравился кн. Потемкину, который и взял его к себе в адъютанты. Отец мой пользовался особенным благорасположением своего начальника; но когда однажды он был замечен императрицей ради его ума и красоты и призван был ею к себе, то светлейший тотчас командировал его во внутренние губернии, и отец мой более в Петербург не возвращался. В царствование имп. Павла он вышел в отставку с чином подполковника, женился на княжне Меншиковой и поселился в Москве. Здесь отец мой жил скромно, занимался науками, особенно историей, и приобрел общее к себе уважение. Он имел от первой жены четырех дочерей и одного сына, умершего еще в детстве. Когда отец мой лишился первой своей жены, тогда, по истечении некоторого времени, в 1804 году он избрал себе в подруги девицу Дарью Николаевну Дежарден (Desjardins), дочь французского эмигранта, родившуюся в России и крещенную по православному обряду. От нее он имел одного сына Александра, пишущего эти строки. Отец и мать моя были люди высокого ума, большой начитанности в области французской литературы и характера, приобретшего им общее уважение.

Первое, несколько живое и определенное мое воспоминание относится к 1812 году. Семейство наше обыкновенно в мае переезжало в подмосковную, с. Ильинское Бронницкого уезда. Тут в этот злополучный год отец мой получал газеты и письма с известиями о вторжении врага в пределы Отечества. Отец мой, старец под 60 лет, не допускал мысли, чтобы Наполеон мог добраться до Москвы, а тем еще менее – в ней расположиться и оттуда далее идти во внутренность империи, а потому на все убеждения моей матери в том, чтобы из подмосковной ехать куда-либо далее, отец мой отвечал шутками и отказами. Известия о Бородинской битве и об отступлении Кутузова с армиею сильно опечалили моего отца; и тогда начались приготовления к отъезду. Наконец замужняя сестра моя, остававшаяся с мужем в Москве и только что разрешившаяся

от бремени, приехала к нам и привезла известие, что на следующий день французы должны вступить в Москву и что все русские власти из нее уже выбирались. Тогда решен был наш отъезд; и в день вступления Наполеона в Москву мы выехали из подмосковной и направились на г. Коломну, где едва нашли себе кой-какую квартиру, ибо из Москвы все уезжало и многие предпочитали этот путь отступления. Большая дорога от Бронниц до Коломны была запружена экипажами, подводами, пешими, которые медленно тянулись из белокаменной. Грусть была на всех лицах; разговоров почти не было слышно; мертвое безмолвие сопровождало это грустное передвижение. Молодые и люди зрелого возраста все были в армии или ополчении; одни старики, женщины и дети были видны в экипажах, на телегах и в толпах бредущих. Воспоминание об этом – не скажу путешествии – о странном, грустном передвижении живо сохранилось в моей памяти и оставило во мне тяжелое впечатление.

В Коломне мы не могли оставаться как потому, что негде было жить, так и потому, что мародеры французские показывались уже между Бронницами и Коломной. По получении известий о московских пожарах отец мой решил ехать в Тамбов, где прежде губернаторствовал, а потом просто жил родной его брат. Из Коломны опять почти все разом тронулись, и на перевозе через Оку была страшная давка, толкотня и ужасный беспорядок. Во все время нашего переезда до Тамбова слухам, рассказам не было конца; казалось, что Наполеон идет по нашим пятам. В Тамбове мы наконец поселились как должно; и тут матушка и сестра мои выучили меня читать и писать по-русски. Помню, мне было ужасно досадно, что меня не пускали в армию, и я постоянно спрашивал у матери: скоро ли мне можно будет идти на Бонапарта?

Из пребывания нашего в Тамбове осталась у меня в памяти вначале общая грусть, причиненная успехами Наполеона, а впоследствии – общая радость при получении известия об отступлении, а потом о поражении и бегстве врага. В декабре мы возвратились в нашу подмосковную, где в доме, подвалах, сараях и проч. нашли все разграбленным. Несколько дней мы пили чай из посуды, бывшей в нашем дорожном погребце и ели на деревянных блюдах и из деревянных чашек, которые брали у дво-

ровых. Отца моего особенно огорчало то, что разграбление, как из рассказов оказалось, было произведено менее французами, чем нашими же крестьянами и некоторыми дворовыми людьми. Это было для него тем большее, что он считал себя одним из лучших помещиков своего времени и постоянно обходился со своими крепостными людьми либерально, как и подобало человеку, воспитанному в Англии и слывшему в Москве «либеральным лордом».

Весной отец и мать поехали в Москву и меня взяли с собой. Обгорелые стены каменных домов; одинокие трубы, стоявшие на местах, где были деревянные строения; пустыри и люди, бродящие по ним, – все это меня так поразило, что доселе сохраняю об этом живое воспоминание. Вскоре мы возвратились в деревню. Тут и мать, и отец занялись моим обучением. Отец учил меня русскому языку и слегка географии и истории; мать учила меня французскому, а дядька-немец – немецкому языку. Я сильно полюбил чтение; так к нему пристрастился, что матушка отнимала у меня книги. Особенно сильное действие произвела на меня вышедшая в свет в 1816 году Карамзина «История Государства Российского». Из сперва вышедших восьми томов я сделал извлечение, которое заслужило одобрение моего отца. 7 ноября 1818 года я имел несчастье его лишиться. Я очень жалел о нем; но еще более сокрушался о матери, которая была глубоко поражена этим горем и постоянно со слезами о нем вспоминала и говорила.

Лето мы проводили в деревне, а зиму в Москве. Когда мне минуло 14 лет, то матушка моя вместо обыкновенных второстепенных учителей дала мне профессоров. Двое из них имели на мое образование сильное действие: Мерзляков по русской и классической словесности и Шлецер¹ по политическим наукам. Мерзляков бывал иногда великолепен, но, к сожалению, часто ленился, и нередко любимый им «ерофеич» связывал его язык и путал его понятия до того, что он вовсе не мог преподавать. В хорошие дни он прекрасно объяснял свойства русского языка и приобщивал к древним классикам. Это и побудило меня учиться по-гречески сперва у кандидата университета В. И. Оболенского, а потом у грека Бай-

¹ Х. А. Шлецер (1774–1831) – сын знаменитого историка Августа Шлецера. – *Сост.*

ло, человека очень образованного, издавшего в Париже на счет братьев московских греков Зосимов нескольких классиков (Плутарха, Исократа и др.). Успехи мои в греческом языке были таковы, что я стал читать греческих классиков почти без лексикона, знал наизусть первую песнь «Илиады», перевел несколько книг Фукидидовой истории Пелопонесской войны и много отрывков из Платоновой республики, а Ксенофонта читал, как будто он писал по-русски. Латинский язык я знал порядочно; но он остался для меня языком мертвым. Особенно помогло мне в усвоении греческого языка то обстоятельство, что Байло говорил со мной по-новогречески. После двух-трех лет я выражался на новогреческом наречии довольно свободно. Древний греческий язык мне нравился и по собственной его красоте, и потому, что его простой, естественный склад речи казался мне очень схожим со славянским и даже русским слогом. Это и заставило меня много переводить с греческого на русский язык.

Шлецер, хотя немец, следовательно, человек мало живой и большой теоретик, вводил меня в немецкую науку, и этим он был для меня весьма полезен. Он познакомил меня с Геереном и вообще приустраслил меня к немецкой литературе. Сам Шлецер был человек очень умный, очень ученый и весьма общительный. Я ожидал с нетерпением его уроки, которые вместо полутора часа продолжались и два, и три часа.

В это время, т. е. в 1820–1822 годах, познакомился я с некоторыми сверстниками, которых дружба или приязнь благотворительно действовала на дальнейшую мою жизнь. Первое мое знакомство было с И. В. Киреевским. С ним мы познакомились на уроках у Мерзлякова. Мы жили на одной улице (Большой Мещанской) в первых двух домах на левой руке от Сухаревой башни. Часто мы возвращались вместе домой; вскоре познакомились наши матери; и наша дружба росла и укреплялась. Меня особенно интересовали знания политические, а Киреевского – изящная словесность и эстетика; но оба мы чувствовали потребность в философии. Локка мы читали вместе; простота и ясность его изложения нас очаровывала. Впрочем, все научное нам было по душе, и все нами узнанное мы друг другу сообщали. Но мы делились и не одним научным – мы передавали один другому всякие чувства и мысли: наша дружба была

такова, что мы решительно не имели никакой тайны друг от друга. Мы жили как будто одной жизнью.

Другое мое знакомство, превратившееся в дружбу, было с кн. В. Ф. Одоевским. С ним мы вскоре заговорили о немецкой философии, с которой его познакомили возвратившийся из-за границы профессор М. Г. Павлов и И. И. Давыдов, заведовавший университетским пансионом, в котором воспитывался кн. Одоевский. Кроме того, в это же время я сошелся с В. П. Титовым, С. П. Шевыревым и Н. А. Мельгуновым. Здесь я упоминаю о них только мимоходом, потому что впоследствии об этих сверстниках я буду иметь случай говорить обстоятельнее.

В сентябре 1822 года я поступил в Московский университет по словесному факультету. Тут я слушал лекции Мерзлякова – о словесности, Каченовского – о русской истории, Гейма – о статистике, Давыдова – о латинской словесности и Двигубского – о физике. Эти лекции оставили во мне мало живых воспоминаний: профессора читали, а мы их слушали только по обязанности. Возбудительного, животворного они нам ничего не сообщали. Тут познакомился я с М. П. Погодиным; но в это время мы мало близились, ибо он уже выходил из университета, а я туда только поступал; но хорошо помню, что он был отличным студентом и всегда славно отвечал на вопросы профессоров. Ведь тогда профессора хотя читали и говорили, однако вместе с тем и предлагали слушателям вопросы, как то теперь делается в средних и низших учебных заведениях.

В следующем, т. е. 1823 году, Совет университета сделал постановление, в силу которого студенты должны были слушать не менее восьми профессоров. Это нас, студентов, сильно раздражило и даже взбесило, и многие не захотели подчиниться такому распоряжению. Тогда нас, «бунтовщиков», призвали в правление, и ректор А. А. Прокопович-Антонский объявил нам, что если мы вольнодумничаем и не хотим исполнить требование Совета, то должны выйти из университета. Мы доказывали ректору невозможность с пользой, т. е. с надлежащими приготовлениями, слушать восемь курсов; но он твердил свое и выражался так повелительно и даже дерзко, что иные покорились воле начальства, а человек десять (и я в том числе) подали просьбы об увольнении из университета.

Освободившись от университета, где мы мало учились и много времени тратили напрасно, я налег на чтение и возобновил уроки у Мерзлякова, Шлецера и других преподавателей, которые мне живо передавали разные знания. В это время особенно полезной была для меня дружба с И. В. Киреевским, с которым мы занимались вместе и друг друга оживляли и поощряли. Всего более занимали нас немецкие философские сочинения. Около этого времени мы познакомились с даровитым, весьма умным и развитым Д. В. Веневитиновым, к прискорбию, рано умершим. Немецкая философия и в особенности творения Шеллинга нас всех так к себе приковывали, что изучение всего остального шло у нас довольно небрежно, и все наше время мы посвящали немецким любомудрам. В это время бывали у нас вечерние беседы, продолжавшиеся далеко за полночь, и они оказывались для нас много плодотворнее всех уроков, которые мы брали у профессоров. Наш кружок все более и более разрастался и сплотнялся. Главными самыми деятельными участниками в нем были: Ив. В. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин, кн. В. Одоевский, Титов, Шевырев, Мельгунов и я. Этим беседам мы обязаны весьма многим как в научном, так и в нравственном отношении. Не могу также не упомянуть здесь о благодетельном влиянии, которое имели на меня и Киреевского наши матери, т. е. моя и его, Авдотья Петровна Елагина, друг Жуковского, женщина высокообразованная и одаренная чрезвычайно любящим сердцем. Они руководили нами очень умно, давая нам полную свободу в выборе и предметов для занятий, и наших приятелей. Они были между собой дружны и действовали заодно ко благу своих детей.

В 1824 году мы держали с Киреевским экзамен в университет, требовавшийся указом 1809 года для поступления на службу. Много забавных воспоминаний оставил в нас этот экзамен. В статистике, за кончиною профессора Гейма, экзаменовал нас Мерзляков, который столько же мало ее знал, сколько обстоятельно и весьма педантически ее знал покойный Гейм. Цветаев экзаменовал в политической экономии, едва знавши первые начала этой науки. Председательствовал на экзамене ректор Антонский, недовольный моим «вольнодумным» (так он выражался) выходом из университета. Он всячески ко мне придирался; мне удава-

лось очень ловко ему отвечать, и из этого выходили презабавные сцены. По окончании наших испытаний возник между профессорами важный спор о значении слов «весьма» и «очень». Цветаев, у которого Киреевский брал уроки римского и естественного права и политической экономии, хотя и с небольшим успехом, хотел написать Киреевскому «весьма хорошо», а мне, хорошо знавшему эти науки, но не бравшему уроков у Цветаева и даже во время экзамена неоднократно его одурачивавшему, он думал написать «очень хорошо». Тогда Мерзляков вступился за меня, и после долгих споров решено было написать и тому и другому одинаковую аттестацию.

Глава II (1825)

Поступление на службу в Московский архив иностранных дел. — Сослуживцы. Характер службы. — Литературные и философские занятия. — Внутреннее положение России в 1822–1825 годы. — 14 декабря 1825 года. — Присяга Константину Павловичу и Николаю Павловичу. — Аресты. — Коронация Николая I.

По окончании экзамена и я, и Ив. В. Киреевский поступили на службу в Московский архив иностранных дел. Мое вступление было очень оригинально. После кончины моего отца попечителем надо мной, по просьбе моей матери, был дядя мой и друг моего отца Родион Александрович Кошелев, который жил в Петербурге и пользовался особенной дружбой Александра I. По просьбе дяди последовало Высочайшее повеление об определении меня на службу по упомянутому архиву. Такое необыкновенное определение на службу произвело сильное впечатление на начальника архива А. Ф. Малиновского, который, узнавши, что я вместе с матушкой нахожусь в деревне, в Сапожковском уезде Рязанской губ., и, будучи обязан в месячный срок рапортовать об исполнении Высочайшего повеления, решил не тревожить моей матушки и меня и по эстафете передал Сапожковскому уездному суду приведение меня к присяге на верность службе. Уездный суд в это время был не в городе, а в уезде — на меже, в с. Кравском. Такое необычайное поручение и

странный чин актуариуса (14-го класса), коим я был определен, свели почти с ума уездный суд. Судья (г. Ремизов) и его товарищи не знали ни как принять такого высокого сановника, ни как достойно исполнить такую чрезвычайную на них возложенную обязанность. Как теперь вижу смущение, страх и неловкость этих уездных властей в таком экстренном случае и не могу забыть их радости и поздравлений, когда это великое дело было наконец совершено.

В архив почти одновременно поступили, кроме Ив. Киреевского, Дм. и Алек. Веневитиновы, Титов, Шевырев, Мельгунов, С. Мальцов, Соболевский, двое кн. Мещерских, кн. Трубецкой, Озеров и другие хорошо образованные московские юноши. Служба наша главнейше заключалась в разборе, чтении и описи древних столбцов. Понятно, как такое занятие было для нас малозавлекательно. Впрочем, начальство было очень мило: оно и не требовало от нас большой работы. Сперва беседы стояли у нас на первом плане; но затем мы вздумали писать сказки так, чтобы каждая из них писалась всеми нами. Десять человек соединились в это общество, и мы положили писать каждому не более двух страниц и не рассказывать своего плана для продолжения. Как между нами были люди даровитые, то эти сочинения выходили очень забавными, и мы усердно являлись в архив в положенные дни — по понедельникам и четвергам. Архив прослыл сборищем «блестящей» московской молодежи, и звание «архивного юноши» сделалось весьма почетным, так что впоследствии мы даже попали в стихи начинавшего тогда входить в большую славу А. С. Пушкина.

В это же время составилось у нас два общества: одно литературное, а другое философское. Первое под председательством переводчика «Георгик» С. Е. Раича (Амфитеатрова) собиралось сперва в доме Муравьева (на Большой Дмитровке, где помещалось Муравьевское военное учебное заведение и где впоследствии были училище проф. Павлова, Дворянский клуб и лицей господ Каткова и Леонтьева), а потом на квартире сенатора Рахманова, при сыне которого Раич был воспитателем. Членами этого общества были: Ф. И. Тютчев, Н. В. Путья, кн. В. Ф. Одоевский, В. П. Титов, С. П. Шевырев, М. П. Погодин, Ознобишин, Тома-

шевский, Алек. С. Норов, Андр. Н. Муравьев и многие другие. Наши заседания были очень живы, и некоторые из них даже блестящи и удавались присутствия всеми любимого и уважаемого московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына, Ив. Ив. Дмитриева и других знаменитостей. Тут изящная словесность стояла на первом плане; философия, история и другие науки только украдкой, от времени до времени, осмеливались подавать свой голос. Мне удалось там прочесть некоторые переводы из Фукидида и Платона и отрывки из истории Петра I, которою тогда я с любовью занимался.

Другое общество было особенно замечательно: оно собиралось тайно, и об его существовании мы никому не говорили. Членами его были: кн. Одоевский, Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров. Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед; христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше Евангелия и других священных писаний. Мы собирались у кн. Одоевского, в доме Ланской (ныне Римского-Корсакова в Газетном переулке). Он председательствовал, а Д. Веневитинов всего более говорил и своими речами часто приводил нас в восторг. Эти беседы продолжались до 14 декабря 1825 года, когда мы сочли необходимым их прекратить как потому, что не хотели навлечь на себя подозрение полиции, так и потому, что политические события сосредоточивали на себе все наше внимание. Живо помню, как после этого несчастного числа кн. Одоевский нас созвал и с особенной торжественностью предал огню в своем камине и устав, и протоколы нашего общества любомудрия. Но возвратимся несколько вспять и расскажем о положении дел в последние годы царствования Императора Александра I.

Смутно вспоминаю я о либеральных толках, бывших в 1818–1822 годах, особенно между военными, возвратившимися из Франции после

событий 1812–1815 годов; но очень положительно и ясно сохранились в моей памяти жалобы на слабость Императора Александра I в его отношениях к Меттерниху и Аракчееву. И старики, и люди зрелого возраста, и в особенности молодежь – словом, чуть-чуть не все беспрестанно и без умолка осуждали действия правительства, и одни опасались революции, а другие пламенно ее желали и на нее полагали все надежды. Неудовольствие было сильное и всеобщее. Никогда не забуду одного вечера, проведенного мною, 18-летним юношей, у внучатного моего брата Мих. Мих. Нарышкина; это было в феврале или марте 1825 года. На этом вечере были Рылеев, кн. Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы; а все свободно говорили о необходимости *d'en finir avec ce gouvernement*¹. Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление; и я на другой же день утром сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил тогда Рожалин, только что окончивший университетский курс со степенью кандидата. Много мы в этот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления. Вследствие этого мы с особенной жадностью налегли на сочинения Бенжамена Констан, Рое-Коллара и других французских политических писателей; и на время немецкая философия сошла у нас с первого плана.

Никогда не забуду того потрясающего действия, которое произвели на нас первые известия о 14 декабре. Хотя уже знали, что Император Александр I скончался, что скрывали его смерть, что в Петербурге в правительственной сфере происходили толки и переговоры и что в обществе было сильное волнение, однако известия об явном бунте нас сильно поразили: слова стали переходить уже в дела.

В этот промежуток времени, т. е. между получением известий о кончине Императора Александра и о происшествиях 14 декабря, мы часто, почти ежедневно, собирались у М. М. Нарышкина, у которого сосредоточивались все доходившие до Москвы слухи и известия из Петербурга. Толкам не было границ. Не забуду никогда одного бывшего в то время

¹ Покончить с этим правительством (фр.). – *Сост.*

разговора о том, что нужно сделать в Москве в случае получения благоприятных известий из Петербурга. Один из присутствовавших на этих беседах кн. Николай Иванович Трубецкой (точно он, а не иной кто-либо — хотя это и невероятно, однако верно: вот как люди меняются!), адъютант гр. П. А. Толстого, тогда командовавшего корпусом, расположенным в Москве и ее окрестностях, брался доставить своего начальника связанного по рукам и по ногам (*avec les mains et les jambes liés*). Предложениям и прениям не было конца; а мне, юноше, казалось, что для России уже наступал великий 1789 год.

В первых числах декабря по указу Сената присягнули в Москве Императору Константину Павловичу, и целые десять дней все просьбы подавались на его имя и указы писались от его имени. Эта присяга принесена была совершенно просто — без всяких особенных обстоятельств. Не таковая была присяга Императору Николаю Павловичу. Тут сочли нужным принять разные чрезвычайные меры. В соборе присягали одни сенаторы и высшие сановники; а прочие чиновники присягали особо по каждому ведомству.

Ночью разосланы были повестки насчет этой присяги. Меня разбудили в 4-м часу; я не мог более заснуть и до рассвета проходил по своей комнате. В 8 часов я поехал к Ив. Киреевскому и вместе с ним к Венициновым. Много мы толковали и были крайне взволнованы; но, несмотря на то, в 11 часов собрались в Архиве коллегии иностранных дел для принесения присяги. Наш добрый начальник А. Ф. Малиновский был в крайнем смущении и испуге. По распоряжению свыше военный караул при архиве был утроен и солдаты снабжены патронами. Командовал не унтер-офицер, даже не простой офицер, а целый майор. Воображали, кажется, что архивные юноши произведут подражание петербургскому возмущению. Но у нас все прошло самым спокойным образом, и только Соболевский в шутку, вполголоса, при попарном нашем шествии в церковь пропел «Марсельезу».

Хотя в Москве все было тихо и скромно, однако многие, и мы в том числе, были крайне озабочены и взволнованы. Известия из Петербурга получались самые странные и одно другому противоречащие. То гово-

рили, что там все спокойно и дела пошли обычным порядком, то рассказывали, что открыт огромный заговор, что 2-я армия (тогда армия состояла из двух отделов, один находился под начальством графа Остен-Сакена, а другой – гр. Витгенштейна) не присягает, идет на Москву и тут хочет провозгласить конституцию. К этому прибавляли, что Ермолов также не присягает и со своими войсками идет с Кавказа на Москву. Эти слухи были так живы и положительны и казались так правдоподобными, что Москва или, вернее сказать, мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских. Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и комп., ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали.

Вскоре начали в Москве по ночам хватать некоторых лиц и отправлять их в Петербург. Очень памятно мне арестование внучатного моего брата и коротко мне знакомого Вас. Серг. Норова¹; лично при этом я находился, и это событие меня очень поразило. Сидим мы у Норова и беседуем. Вдруг около полуночи без доклада входит полицеймейстер и спрашивает, кто из нас Вас. Серг. Норов. Когда хозяин встал и спросил, что ему нужно, тогда полицеймейстер объявил, что имеет надобность переговорить с ним наедине. Норов попросил нас уйти на время наверх к его матери. Опечатали все бумаги Норова, позволили ему только в сопровождении полицеймейстера взойти к старухе-матери, чтобы с ней проститься, и повезли его в Петербург. Этот увоз произвел на мать ужасное действие – она словно рехнулась. Он произвел и на нас всех сильное впечатление. Вскоре, также ночью, увезли в Петербург Нарышкина, Фанвизина и многих других. Это навело всюду и на всех такой ужас, что почти всякий ожидал быть схваченным и отправленным в Петербург. Рассказы из Петербурга о том, кого там брали и сажали в крепость, как

¹ В. С. Норов, старший брат А. С. Норова, бывшего впоследствии министром народного просвещения, служил прежде в лейб-егерском полку, считался отличным служакой, страстно любил военное дело и вышел в отставку по особому случаю. Вел. кн. Николай Павлович при фронте разругал его и, стукнувши ногой по земле, обрызнул его грязью. Норов подал в отставку, и все офицеры полка сделали то же. Это было сочтено за бунт. Норов и многие из офицеров были переведены тем же чином в армейские полки. Несколько времени спустя Норов получил отставку и поселился у матери в Москве.

содержали и допрашивали арестованных и проч., еще более увеличивали всеобщую тревогу. Матушка очень за меня боялась, положила меня спать подле своей комнаты; ей постоянно чудилось, что за мной ночью приехали, и потому, на всякий случай, она приготовила в моей комнате теплую фуфайку, теплые сапоги, дорожную шубу и проч. Этих дней или, вернее сказать, этих месяцев (ибо такое положение продолжалось до назначения Верховного суда, т. е., кажется, до апреля) кто их пережил, тот, конечно, никогда их не забудет. Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец. Эти события нас, между собой знакомых, чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня.

Я было забыл рассказать об одном, хотя в самом себе и неважном событии, однако вполне характеризующем то прожитое время. В январе, во время ежедневных новых арестов, объявляется, что тело покойного Императора будет провезено через Москву и что по этому поводу имеет быть торжественная встреча. Всех нас, архивных юношей, нарядили в мундиры и отправили к Серпуховской заставе, откуда мы пешком попарно вместе с другими ведомствами должны были торжественно шествовать до Кремля. Между тем прошел слух, что в Москве готовится манифестация против покойного и царствующего Императоров. В Петербурге вздумали, что в «крамольной» Москве предполагается выбросить из гроба тело покойного Императора и таскать его по улицам в знак общего негодования за назначение Николая Павловича наследником Императорского престола. Войска, под предлогом большей торжественности, а действительно из опасения манифестации, были в усиленных рядах расставлены по обеим сторонам улиц от Серпуховских ворот до Кремля и в самом Кремле, и сверх того, велено было солдатам иметь заряженные ружья. Таким образом, церемония грозила превратиться в событие, но таковым оно являлось только Петербургу, а здесь никто и не думал воспользоваться этим случаем, чтобы произвести возмущение. Все прошло совершенно спокойно и чинно; тело

Императора было поставлено в Архангельском соборе, тут оно просто-яло три дня; мы по очереди дежурили, а народ усердно приходил поклоняться праху; а на четвертый день также спокойно и чинно проводили тело до Петровской заставы.

Наконец дожили мы до мая и думали разъехаться по деревням; но начальник наш Малиновский получил приказание из Петербурга по случаю предстоящей коронации никого не увольнять в отпуск. Следовательно, приходилось нам жить в Москве, и мы положили ознакомиться с московскими окрестностями. Вследствие этого нашего решения мы постепенно посетили пешком все приближные местности белокаменной, и как все эти прогулки совершены были нами вместе, то они также сильно содействовали к скреплению нашей дружбы. Я вспоминаю о них с особенным чувством и знаю, что я им весьма многим обязан.

Слухи о предстоявших приговорах Верховного суда не переставали волновать Москву; но никто не ожидал смертной казни лиц, признанных главными виновниками возмущения. Во все царствование Александра I не было ни одной смертной казни, и ее считали вполне отмененною. С легкой руки Николая I смертные казни вошли у нас как бы в обычай; и при благодушном Александре II они совершались не раз и уже не производили того потрясающего действия, какое произведено было известием о казни Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Пестеля и Каховского. Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, нет возможности: словно каждый лишился своего отца или брата.

Вслед за этим известием пришло другое – о назначении дня коронования Императора Николая Павловича. Его въезд в Москву, самая коронация, балы придворные, а равно балы у иностранных послов и у некоторых московских вельможей – все происходило под тяжким впечатлением совершившихся казней. Весьма многие остались у себя в деревнях; и принимали участие в упомянутых торжествах только люди, к тому обязанные по службе. Император был чрезвычайно мрачен; вид его производил на всех отталкивающее действие; будущее являлось более чем грустным и тревожным.

Глава III (1826–1830)

Отъезд в С.-Петербург. — Знакомства. — Служба в Министерстве иностранных дел. — Образ жизни. — Кончина Д. В. Веневитинова 1827 г. — А. С. Хомяков. — Д. Н. Блудов. — Составление «Общего устава для лютеранских церквей в империи». — Д. В. Дашков. — К. А. Булгаков. — Е. А. Карамзина. — Девушка Россети. — В. А. Жуковский. — Бар. Дельвиг.

Вскоре после коронации, т. е. в сентябре 1826 года, я отправился в Петербург на службу. Во время пребывания в Москве великих мира сего родственником нашим кн. С. И. Гагариным был я представлен графу Несельроде, управлявшему тогда Министерством иностранных дел. Он пригласил меня приехать в Петербург, обещая поместить меня в свою канцелярию. По приезде в Петербург я явился к дяде моему Род. Александ. Кошелеву, определившему меня, как выше было сказано, на службу. Он пользовался в Петербурге еще сильным влиянием и большим почетом, хотя блистательные времена для него уже прошли вместе с кончиной Императора Александра. Дядя принял меня очень ласково и пригласил меня к себе обедать по воскресениям и четвергам, а иногда посещать его и по вечерам, когда он за мной придет. Он был в это время уже слеп, но сохранял полную деятельность ума. У него в доме я познакомился с кн. А. Н. Голицыным (который, по их мартинистским связям, бывал у него ежедневно), со Сперанским, В. П. Кочубеем и многими другими административными знаменитостями. Старик дядя очень меня любил и в декабре того же года (1826) предложил мне жить у него и быть камер-юнкером, что он предполагал исходатайствовать через кн. А. Н. Голицына. Оба эти предложения меня смутили; но я решился тотчас же их отклонить. Отказаться от первого было нетрудно, я представил дяде, что у него в доме в 10 часов гасятся свечи и все предается покою; а мне приходится ездить на балы и вечера и возвращаться домой во 2-м и 3-м часу. Но устранить второе предложение было гораздо труднее: он считал придворную атмосферу самой лучшей, даже единой возможной для благомыслящего человека и верным путем к достижению почестей и политического влияния. Когда я ему сказал, что очень благодарен за его

обо мне заботливость, что приму с глубочайшей признательностью всякое его попечение и старание к доставлению мне места и работы, но что придворным быть я не чувствую себя способным, тогда старик пришел в гнев и ужас и сказал мне: «*Mon cher, vous finirez mal; avec de telles idées on n'avance pas, mais on se prépare la Sibérie ou pire que cela*»¹. После этого объяснения дядя был со мной холоден месяца два, но потом смягчился и стал опять благосклонен. Впрочем, не раз возвращался к мысли нарядить меня в камер-юнкерский мундир, чего я решительно не хотел, ибо всегда считал придворные звания, мундиры и обязанности лакейством, и притом тем худшим, что оно не вынужденное, а добровольное.

Гр. Нессельроде поместил меня не в собственную свою канцелярию, а в отделение ее, которым заведывал гр. Лаваль и которому поручено было делать выписки для Императора из французских, английских и немецких газет. Сперва на мою долю достались немецкие газеты, но они вскоре ужасно мне надоели; они были немногим лучше наших русских, та же безжизненность и то же отсутствие политического смысла. Я начал учиться по-английски, желая получить английские газеты. Наша канцелярия состояла сперва из трех чиновников: Кремера, меня и Витте. Первый был человек очень умный и весьма способный и заведовал французскими и английскими журналами, а Витте был великолепным и неутомимым переписчиком — он как будто гравировал все наши выписки. Кремер был впоследствии секретарем нашей миссии в Вашингтоне, потом поверенным там в делах и наконец генеральным консулом в Лондоне, где и окончил свою жизнь. Витте остался в Петербурге, получая чины и ордена; но его я совершенно потерял из вида. Вскоре вступил к нам в канцелярию воспитанник лицея Александр Крузенштерн, впоследствии сенатор и еще состоящий в живых. Как я уже несколько попривык к английскому языку, которым я занимался очень усидчиво, то, по совету Кремера, взял на себя английские газеты и передал немецкие Крузенштерну. Начальником нашим был сын французского эмигранта, гофмейстер гр. Лаваль. Хотя он был человек умный, но своим царедворством он нас очень забавлял. Перед поездкой во дворец он

¹ «Дорогой мой, вы плохо кончите; с такими идеями вы не только не преуспеете, но и уготовите себе Сибирь или еще что-нибудь похуже» (фр.).

был всегда очень озабочен, словно готовился к священнодействию, а в важных случаях сперва он даже заезжал в католическую церковь и заказывал там молебен или что-то в этом роде. Особенное внимание он обращал на кухмистерскую часть в своем доме, давал славные обеды, и этим он поддерживал свое значение в Петербурге.

Служба моя шла не блистательно; но у меня оставалось много времени для собственных занятий, для выездов в большой свет, для посещения приятелей и даже для кутежа.

В Петербурге я был не один из москвичей. Кн. Одоевский еще прежде меня переехал в Петербург, женился на О. С. Ланской и поступил на службу по Министерству народного просвещения, а именно в Комитет иностранной цензуры. Вскоре после меня приехал к нам Д. В. Веневитинов и определен был в Министерство иностранных дел, по департаменту внутренних сношений. Не замедлил переездом в Петербург и В. П. Титов. Мы все часто виделись и собирались по большей части у кн. Одоевского. Главным предметом наших бесед была уже не философия, а наша служба с ее разными смешными и грустными принадлежностями. Впрочем, иногда вспоминали старину, пускались в философские прения и этим несколько себя оживляли.

Вскоре мы были поражены большим горем. Д. Веневитинов при самом приезде из Москвы был вытребован или взят в 3-е отделение собственной канцелярии и там продержан двое или трое суток. Это его ужасно поразило, и он не мог освободиться от тяжелого впечатления, произведенного на него сделанным ему допросом. Он не любил об этом говорить; но видно было: что-то тяжелое лежало у него на душе. В марте он занемог тифозной горячкой; около двух недель был болен, и 15 марта он скончался. Эта смерть нас ужасно поразила и огорчила. Мы отпели его у Николы Морского, и тело его отправили в Москву.

Во время болезни Д. Веневитинова, за которым и днем и ночью мы ухаживали, я близко сошелся с А. С. Хомяковым, с которым я прежде был только знаком. С этого времени мы стали часто видеться, и тут начало той дружбы, которую прервала только кончина незабвенного Алексея Степановича.

Окончился 1827 год; наступил и 1828-й; делание выписок из английских журналов прискучило мне до крайности и тем более, что умный и веселый Кремер от нас выбыл и отправился в Североамериканские Штаты. Он был замещен милым и весьма неглупым, но мало живым остзейцем гр. Медем. Гр. Нессельроде несколько раз обещал перевести меня в свою канцелярию, но только обещал и ничего не делал. Следующий случай заставил меня искать иной службы. Был концерт у графини Лаваль; я сидел подле прелестной гр. Сологуб (впоследствии Обресковой), за моим стулом стоял один приятель (Мертваго), который, увидевши, что гр. Нессельроде стоял подле меня, довольно громко сказал мне: «Кошелев, подле тебя стоит твой начальник, уступи ему свой стул». Вzbешенный этими словами, я ответил ему также не тихо: «В обществе у меня нет начальников; если ты другого мнения, то принеси для него стул». Нессельроде вскоре отошел, но, вероятно, с мыслью: «Это – карбонари; для нас такие люди непригодны». Вскоре после того барон Николас, наш посланник при Копенгагенском дворе, просил о назначении меня секретарем при тамошней миссии, но гр. Нессельроде не изъявил на то согласия. Это и побудило меня искать службы по иному министерству. Вскоре представился для того благоприятный случай. Д. Н. Блудов, управлявший в то время духовными делами иностранных исповеданий и бывший делопроизводителем комитета, учрежденного под председательством гр. В. П. Кочубея для преобразования разных частей государственного управления, пригласил меня к себе на службу. Я был прежде знаком с Д. Н. Блудовым; но особенно хлопотал обо мне кн. Одоевский, который в это время уже был по особым поручениям при Блудове. Я остался числящимся по Министерству иностранных дел с откомандированием к статс-секретарю Блудову.

Мой новый начальник был очень умен, образован и крайне добр; но характером он был слаб и труслив. В те дни, когда он отправлялся к Императору, он был весь не свой: не слушал, не понимал того, что ему говорили, вскакивал беспрестанно, смотрел ежеминутно на часы и непременно посылал поутру сверять свои часы с дворцовскими. Зато, когда возвращался от Императора, не получивши нагоняя, он был детски весел, не ходил, а

летал по комнатам и готов был целовать всякого встречного. Добра делал он очень много, был доступен для всякого и готов выслушивать каждого, кому он мог чем-либо быть полезным. В большой упрек ему ставили написанное им донесение следственной комиссии по делу 14 декабря. Конечно, оправдывать его я не буду; но в извинение его могу сказать, что он в этом уступил воле Императора как по слабости характера, так и потому, что он надеялся смягчить меру наказания для виновных, выставив многих менее преступными, чем увлеченными даже до крайностей.

Блудов был большой и своеобразный «пурист» в русском слоге, и от этого он исправлял до смешного все бумаги, которые подавались ему к подписи. Сколько он любил исправлять, столько он не любил и почти не мог первоначально сам писать бумаги. Манифесты, изданные во время моего при нем служения, и важные рескрипты, порученные ему к написанию, были сочинены все мной и кн. Одоевским, но ни одно мое или его слово в них не сохранилось. Получив от Императора приказание написать какой-либо манифест или иную важную бумагу, Блудов тотчас призывал одного из нас и сообщал, что нужно высказать в требуемой бумаге. Я писал, как мог; Блудов обыкновенно хвалил мою работу, оставлял ее у себя; ночью он принимался ее исправлять, и к утру не оставалось в сочиненной бумаге ни одного моего слова. Затем кое-как мы разбирали его каракульки, переписывали и вновь ему представляли. Снова начинались переправки, которые продолжались до той минуты, когда он должен был везти бумагу к Императору. Уверенность, что каждая бумага подвергнется тысяче и одному исправлениям, отнимала охоту что-либо написать хорошо. Однажды я решился испытать: я ли пишу плохо или мой начальник одержим страстью исправлять все, что ему попадает под руку. Одну, не очень важную бумагу, Блудовым особенно жестоко исправленную, я отложил в сторону на несколько недель – и после ему подал ее, как будто мной только что написанную. Блудов, как и всегда, похвалил и ночью всю ее исчеркал и не оставил ни одного из прежних своих собственных слов. Это меня совершенно успокоило, и я получил убеждение, что мой умный начальник одержим недугом исправления и того, что неплохо.

Несмотря на это, служба у Блудова была очень приятна. Кроме самого милого обхождения со своими подчиненными, для меня интересно было то, что он поручал мне весьма важные и весьма секретные дела. Особенно интересовали меня бумаги по Преобразовательному комитету, где Блудов и Д. В. Дашков были делопроизводителями. Хотя труды этого комитета почти ни к чему не привели, однако тут затронуты были почти все преобразования, ныне произведенные. Вопрос об освобождении крепостных людей был неоднократно обсуждаем; и плодом этих совещаний был указ об обязанных крестьянах, который, правда, остался мертвой буквой. Хотели преобразовать и Государственный Совет, и Сенат, и губернские учреждения, и из этого вышли указы, ничего не преобразовавшие. Самые важные и принесшие добрые плоды постановления были: указ о полюбовном размежевании и Высочайшее повеление о составлении свода законов.

Дело, в котором я принял в то время прямое и довольно сильное участие, было составление Общего устава для лютеранских церквей в империи. Образован был комитет из одного епископа (С.-Петербургского), четырех суперинтендентов, четырех светских председателей консисторий и двоих членов-делопроизводителей – одного для немецкой редакции статск. сов. Лерхе и одного для русской редакции – меня. Председателем был назначен сенатор граф Тизенгаузен. Комитет работал две зимы, имел около сотни заседаний и наконец представил свой проект устава. Тут в первый раз пришлось мне иметь дело с остзейцами, с их привилегиями и с их партикуляризмом. Они видели, что в их порядках многое плохо, что существование в трех провинциях и на острове Эзеле различных церковных правил относительно одного и того же предмета более чем неразумно и неудобно и что необходимы обобщения и изменения; но каждый отстаивал свое, ссылаясь на свои привилегии. Председатель всячески старался привести членов к единогласию, но почти все решения утверждались большинством голосов. И странно было то, что протестантское духовенство оказывалось менее упорным, чем светские члены консистории и особенно ландраты Мандель и Кампенгаузен. Не раз приходилось мне крепко отстаивать желания правительства, клонившиеся к объединению постановлений для протестантских церквей в империи.

Всего противнее для остзейцев была мысль об учреждении в Петербурге генеральной консистории для всех протестантских церквей России. Однако и эта мысль прошла в комитет хотя при самом слабом большинстве и при самом сильном давлении со стороны председателя и главноуправляющего Блудова. Некоторые члены сказались больными. Ландраты, эстляндский – Мандель и лифляндский – Кампенгаузен, были в бешенстве. Устав этот был рассмотрен в Государственном совете, одобрен с незначительными изменениями, высочайше утвержден и опубликован. За труды мои по этому делу я был произведен в коллежские асессоры.

Эта полученная мной награда заслуживает особого рассказа. Д. Н. Блудов не раз прежде представлял меня к наградам; но Император постоянно меня вычеркивал и однажды даже сказал Блудову: «C'est un mauvais homme; je vous conseille d'être sur vos gardes avec lui»¹. В настоящем случае Блудов написал обо мне такой доклад, что мне совестно было его читать. На основании его следовало меня произвести не в следующий чин, а прямо в статские советники. Д. Н. Блудов закусил удила и поехал во дворец с твердой решимостью отстоять свое представление. Император был в добром духе, прочел доклад, усмехнулся и сказал: «Видно, ты этого очень желаешь, изволь, но ты мне за него отвечаешь». Блудов поклонился и отвечал: «Вполне принимаю ответственность за представляемого мной Кошелева».

Во время моего служения у Блудова мне пришлось месяца три или четыре быть под начальством Д. В. Дашкова. Блудов, уезжая за границу, с Высочайшего соизволения передал своему другу Дашкову свои обязанности как по Главному управлению духовными делами иностранных исповеданий, так и по Преобразовательному комитету. Вследствие этого я должен был по отъезде Блудова явиться к исправляющему его должность. Являюсь; докладывают обо мне: «просит подождать». Жду час, два; снова докладывают и снова «просит подождать». Наконец уже 2-й час; я прошу вновь доложить и в ответ получаю: извиняется, что сегодня не может принять. Ухожу с твердым намерением не возвращаться к нему, пока сам он за мной не придет. Проходит три, четыре дня, и яв-

¹ «Это дурной человек; я советую нам быть с ним осторожным» (фр.).

ляется ко мне курьер с приглашением к министру. Иду; Дашков тотчас меня принимает, и до возвращения Блудова я почти не выходил из его кабинета. Тут я имел случай довольно коротко узнать этого даровитого, истинно государственного человека. Он был по природе очень застенчив, а потому не любил новых людей и всячески избегал официальных приемов. Поэтому и меня он не решился принять в первый раз, когда я к нему являлся. Вообще он не отличался деятельностью и трудолюбием; напротив того, он был ленив и дела любил откладывать до завтра; но когда необходимо было что сделать, то он работал и день и ночь без устали. Взгляд его на дела был светлый и обширный. Во время моего при нем нахождения ему необходимо было перед отъездом Государя представить ему доклад об устройстве княжеств Молдавии и Валахии. Он принялся за работу вечером, проработал всю ночь и весь день, и в следующую затем ночь работа была готова. Доклад был великолепный: на 10–12 листах мелкого письма почти не было помарок и одно последовательно вытекало из другого. Не помню, в каком именно году был с Дашковым очень замечательный случай. По высочайшему повелению Сенат как верховный суд судил поляков из западных губерний за участие в каком-то заговоре. По недостаточности улик Сенат оправдал обвиненных. Император Николай был этим весьма недоволен и приказал дело это перенести в Государственный Совет. Дашков как министр юстиции в оправдание решения Сената произнес прекрасную речь, и большинство Совета, за исключением князей Чернышева и П. М. Волконского, утвердило приговор Сената. Император в негодовании возвращает дело в Государственный Совет с замечанием: Сенат, придерживаясь буквы закона, мог оправдать обвиненных, но Государственный Совет должен был руководствоваться государственными соображениями, а потому рассмотреть ему это дело вновь, с государственной точки зрения. Дашков опять произносит речь в Совете, который, за исключением двоих вышепоименованных членов, остается при прежнем решении.

Журнал Совета отправляется к Государю, который, вопреки своему обычаю, держит этот журнал почти две недели и возвращает с утверждением мнения большинства. Дашков во все это время не имел доклада

у Государя; но по накопившимся делам ему необходимо было испросить у Императора личный доклад. Час доклада назначается, и Дашков, отправляясь во дворец, думал возвратиться оттуда уже частным человеком. Государь принимает его очень милостиво и говорит: «Ну, Дашков, мы с тобой поспорили, но я надеюсь, что это нашей дружбе не повредит». Этот рассказ мной слышан от самого Дашкова.

Много в Петербурге я ездил в общество, был почти со всеми знаком, играл в карты, но особенную отраду находил в посещении двух домов — Константина Яковлевича Булгакова и Екатерины Андреевны Карамзиной, вдовы историографа.

Прежде чем говорить об этих двух домах, не могу не сказать несколько слов о том, что я чуть-чуть не сделался полным картежником. Петербургская жизнь содержала в себе мало животворного и очень располагала к пользованию всякими средствами нескучно убивать время. Мои петербургские приятели гр. Медем, Бальис, Фонтен и некоторые другие очень любили играть в карты, а именно в экарте. Умеренно в молодости я ничем не мог заниматься. Начавши играть в карты, я к ним пристрастился и считал почти напрасно прожитым тот день, в который мне не удавалось играть в карты. Это препровождение времени превратилось вскоре в страсть, и мы проводили вечера и даже ночи за картами, так что иногда прямо из-за карточного стола поутру, напившись чаю, отправлялись на службу. К счастью моему, я как-то занемог и дня два оставался один. Письма Киреевского, беседы с Одоевским, Хомяковым и некоторыми другими друзьями и собственное неудовлетворение ведомою мной жизнью заставили меня опомниться, и я решился более в карты не играть. Вскоре приятели мои, узнавши о моей болезни, посетили меня, потребовали карт; они были им тотчас поданы, но сам я играть не сел. Приятели мои сперва не верили моему решению, посмеялись над ним, всячески увлекали меня в игру, но я устоял на своем и до отъезда моего из Петербурга более карт в руки не брал. Впоследствии в Москве я играл в вист по малой игре, но вскоре это мне надоело, и я совершенно и навсегда отказался от карт.

В доме Булгакова с самого начала моего пребывания в Петербурге я был принят как свой. Жена К. Я. Булгакова, волошанка, не была особенно

привлекательна ни разговором, ни обхождением, но он был весьма добр, умен и умел сосредоточить в своем доме все, что было замечательного в Петербурге в административном и общественном отношении. Он был со всеми в самых лучших отношениях, делал очень много добра, помогал и советами, и заступничеством и особенно любил молодых людей, которые у него были, как у себя дома. Тут я познакомился с гр. Каподистрия, с маркизом Паулуччи, с гр. Матушевичем и другими знаменитостями того времени. Хотя Булгаков был только почт-директором, однако личный его авторитет в Петербурге был таков, что его ходатайства уважались всеми министрами, и когда он хотел кому помочь, то всегда достигал своей цели. Он умел сделаться необходимым для самих министров: не все они были между собой в хороших отношениях, а между тем все часто имели друг в друге надобность, а потому Булгаков был между ними посредником, и притом посредником всегда удачным. Через Константина Яковлевича я узнал, почему Император Николай был ко мне нерасположен и считал меня *un mauvais homme*¹. Гр. Бенкендорф, управлявший тогда III Отделением Собственной Е. И. В. канцелярии, по просьбе Булгакова пригласил меня к себе и показал мне разные обо мне собранные сведения и в особенности перехваченное на почте письмо Киреевского ко мне, которое было совершенно ложно истолковано и даже вполне извращено. Киреевский в своем письме говорил о необходимости революции в нашем умственном и нравственном быте; а тайная полиция вообразила или с умыслом представила, что тут идет речь о революции политической, к которой душевно расположен был писавший, а равно и тот, по заключению III Отделения, к кому было написано письмо. А как Николаю Павловичу постоянно чудилась революция, то этот донос и крепко засел ему в голову.

В доме Е. А. Карамзиной собирались литераторы и умные люди разных направлений. Тут часто бывал Блудов и своими рассказами всех занимал. Тут бывали Жуковский, Пушкин, А. И. Тургенев, Хомяков, П. Муханов, Титов и многие другие. Вечера начинались в 10 и длились до 1 и 2 часов ночи; разговор редко умолкал. Сама Карамзина была жен-

¹ Дурным человеком (фр.). – *Сост.*

щина умная, характера твердого и всегда ровного, сердца доброго, хотя, по-видимому, с первой встречи холодного. Эти вечера были единственные в Петербурге, где не играли в карты и где говорили по-русски.

На вечерах у Е. А. Карамзиной познакомился я с девицей Россети и страстно в нее влюбился. Мы виделись с ней почти ежедневно, переписывались и наконец почти решились соединиться браком. Меня тревожила ее привязанность к большому свету, и я решился написать к ней с изъяснением страстной моей к ней любви, но и с изложением моих предположений насчет будущего. Я все изложил откровенно; и она ответила мне точно так же; и наши отношения разом и навсегда были порваны¹. Несколько дней после того я был совершенно не способен ни к каким занятиям; ходил по улицам как сумасшедший, и болезнь печени, прежде меня мучившая, усилилась до того, что я слег в постель. Доктора сперва разными лекарствами меня пичкали и наконец объявили, что мне необходимо ехать в Карлсбад.

Д. Н. Блудов выхлопотал, конечно не без большого труда, дозволение мне ехать за границу, потому что в это время, вследствие Июльской революции во Франции и последовавших затем беспорядков и возмущений в Польше и Германии, Император почти никому не разрешал отъезда в чужие края. Я почти обрадовался усилению моей болезни; вполне предался мысли о заграничном путешествии; и в несколько дней все приготовления к отъезду были окончены.

Заканчивая рассказ о петербургской моей жизни, я считаю нужным сказать еще несколько слов о замечательных людях, с которыми я был там в сношениях. Особенно я любил В. А. Жуковского, который ко мне был очень расположен, вероятно, вследствие того, что друг его, Авд. Петр. Елагина, меня ему особенно рекомендовала. Чистота его души и ясность его ума сильно к нему привлекали. По вечерам я встречал у него Крылова, Пушкина, бар. Дельвига и других; беседы были замечательны по простоте и сердечности. Сам Жуковский, хотя жил в Петербурге и к тому же при дворе, поражал чистотой своей души. Пушкина я знал до-

¹ Эта девица Россети впоследствии вышла замуж за Н. М. Смирнова и по своему уму и любезности сделалась известной в среде литературной и в высшем обществе Петербурга и Москвы.

вольно коротко; встречал его часто в обществе; бывал я и у него; но мы друг к другу не чувствовали особенной симпатии. <...>

Глава IV (1831–1832)

Поездка за границу. — Берлин. — Дрезден. — Веймар. — Знакомство с Гёте. — Франкфурт и Рейн. — Женева и лекции Росси. — Париж. — Лондон. — Лорд Morpeth. — Гр. А. Ф. Орлов. — Карлсбад. — Болезнь матери и возвращение в Москву.

В первых числах июня 1831 года, когда уже оказалась холера в Петербурге, отправился я в Любек на пароходе «Николай I». Плавание наше было благополучно. Вид безбрежного моря, чувство нахождения между небом и бездонной водой и вообще новизна образа жизни на пароходе приводили меня в восторг; но особенно радовало меня то, что я покончил с Петербургом, с его суетами и дрязгами, что я удаляюсь от места, где в последнее время так много сердечно прострадал, и что теперь как будто начинаю новую жизнь.

По прибытии в Травемюнде нас не спустили на землю и нам объявили, что так как в Петербурге холера, то мы должны остаться на пароходе в карантине семь дней. Начались переговоры, и державный Сенат г. Любека наконец разрешил нам *nach purification*¹ сойти на землю. Нам предложили ванны и обкуривание наших вещей, на что мы охотно согласились, и в тот же день к обеду сошли на землю немецкую. Несмотря на сильные боли в печени, вид иностранного, хотя и маленького, города и многого другого, чего я прежде не видывал, произвел на меня сильное впечатление. Мысль, что я нахожусь в стране Канта, Шеллинга, Шиллера и Гёте, меня приводила в восторг. Мне все казалось замечательным, разумным, прекрасным. Самый немецкий обед в Травемюнде найден мной отменно вкусным, а гостиница по своим удобствам и чистоте — чуть-чуть не баснословной. Любек своеобразием и древностью зданий чрезвычайно меня поразил: казалось мне, что я расхаживаю по древней Германии. Гамбург, его отели и Jungferstieg меня очаровали. В первый же день я обежал чуть не весь

¹ После очищения, дезинфекции (нем., фр.).

Гамбург, и хотя к вечеру чувствовал крайнюю усталость, однако едва ли не последний ушел с Jungferstieg'a. Из Гамбурга отправился в Берлин. Даже тихая езда немецкого Eilwagen'a (скорого дилижанса. — нем.) меня не сердила; напротив, я был доволен, что могу все рассматривать и многим любоваться. Берлин произвел на меня неприятное впечатление: он напомнил мне Петербург своими правильными и однообразными улицами. Я посетил лекции Шлейермахера, Ганса, Савиньи и некоторых других немецких ученых знаменитостей. Эти трое поименованные ясностью изложения и взгляда на преподаваемые предметы произвели на меня глубокое впечатление. Шлейермахер говорил так просто, с таким глубоким убеждением и с такой задушевностью, что производил на слушателей самое сильное действие. Ганс живостью своей речи и пламенностью своего воображения всех очаровывал, и хотя преподавал юридические науки и был противником всеми уважаемого Савиньи и исторической школы, однако сумел приобрести многочисленных и горячих сторонников и учеников и пользоваться между и над ними сильным авторитетом. Савиньи привлекал слушателей изящностью своего изложения, обширной ученостью и глубоким смыслом своих соображений.

Хотя в Берлине мне было вовсе не скучно, напротив того, мне хотелось все осмотреть и послушать поболее лекций в университете; однако время бежало, и мне необходимо было спешить в Карлсбад. Из Берлина я поехал в Лейпциг, где пробыл недолго. Тут был со мной очень забавный случай. Я пошел в театр и, как русскому подобает, взял самое дорогое место в ложе, заплативши за него целых 20 грошей. Сперва сажу один; потом входит в ложу старичок и отвешивает мне почтительный поклон, затем входит другой человек не старых, но вполне зрелых лет. Они раскланиваются очень вежливо и в разговоре беспрестанно величают друг друга титулом *Noheit* (высочество). Оказалось, что я сидел в обществе владетельных принцев.

Из Лейпцига я отправился в Дрезден, где любовался и картинной галереей, и музеями, и Брюловской террасой, и не знаю, что не возбуждало моего восторга. Прежде отъезда из Дрездена я решился посетить Саксонскую Швейцарию. Рано утром отправился я из города пешком и на дороге захожу в королевский увеселительный замок *Pilnitz*. Вхожу

в сад, иду на одно возвышение, откуда чудный вид на окрестности, и тут, найдя одного старца, сидящего на скамье, почтительно ему кланяюсь. Вступаем в разговор, и я высказываю сожаление, что не мог получить дозволения на осмотр замечательной крепости Konigstein; говорю, что обращался по этому предмету с просьбой к нашему посланнику, но что он мне советовал не настаивать на этом, потому что саксонское правительство неохотно дает такие разрешения. Старец нашел, что русский посланник несправедливо отозвался насчет саксонского правительства, спросил мою карточку и предложил мне выслать в Konigstein желаемое дозволение. С благодарностью принял это предложение, раскланялся и ушел. Тут же в саду мне удалось узнать, что мой собеседник был сам король Саксонский. Четыре дня я провел в Саксонской Швейцарии, и наслаждениям моим не было границ. Когда я пришел в Кёнигштейн, то позволение для осмотра крепости было уже там получено, и сам комендант мне все показывал. Это такая крепость, которую взять невозможно, ибо она стоит на неприступном со всех сторон утесе, и ее можно только голодом принудить к сдаче. Особенно замечателен тут колодезь, чрезвычайно глубокий и дающий отличную воду.

Из Дрездена через Теплиц я поехал в Карлсбад, где и поселился на Alte Wiese (Старом лугу. – *нем.*) в доме zum roten Here (у красного сердца. – *нем.*). <...> Из Карлсбада я направился на Веймар, куда газеты и другие публикации сзывали поклонников Гёте на открытие памятника, ему воздвигавшегося в тамошней публичной библиотеке. Предполагалось поставить там сделанный известным французским ваятелем Давидом бюст Гёте и совершить это торжество 28 августа в 82-ю годовщину от рождения великого поэта. <...> Гёте за два дня до этого торжества уехал из Веймара, опасаясь слишком сильных ощущений от этого празднества. Я присутствовал при церемонии открытия бюста, был представлен великой княгине Марье Павловне, участвовал в обеде, данном по подписке, и был приглашен на вечер к великой княгине. И она, и герцог были очень любезны; тут я видел цвет веймарского общества. Вечер показался мне очень оригинальным. Когда все собрались, тогда герцог и великая княгиня вышли очень торжественно, сказали каждому несколько слов и затем раскланялись. Я думал, что вечер

тем и кончился, а потому собирался уезжать; но наш посланник гр. Санти меня остановил и объяснил, что кончилось только представление и начинается вечер. Вечер был совершенно запросто, и великая княгиня была приветлива, мила и обязательна донельзя. Главным предметом разговора был, разумеется, Гёте. Великая княгиня познакомила меня с другом Гёте канцлером Мюллером и поручила ему представить меня Гёте, как скоро он возвратится. Отсутствие его продолжалось 10 дней; и в это время я был несколько раз приглашен и к обеду, и на вечер в Бельведерский дворец. И герцог, и великая княгиня были постоянно весьма любезны; а однажды их любезность дошла до того, что после обеда они пригласили меня остаться у них и на вечер, а чтобы мне не ехать в город и оттуда не возвращаться, они поручили своему сыну, ныне царствующему герцогу, тогда 13-летнему юноше, вместе с его попечителем показать мне парк, оранжереи и теплицы и занять меня до вечера.

Наконец возвратился Гёте в Веймар, и я тотчас получил от канцлера Мюллера приглашение посетить Гёте на следующий день в 11 часов утра. Не могу выразить, с каким трепетом я приближался к дому Гёте, входил на его крыльцо и наконец позвонил. Служанка, вышедшая ко мне навстречу, тотчас пригласила меня войти, указала мне гостиную, а сама пошла докладывать обо мне хозяину. Стены комнаты, в которую я вошел, были увешаны картинами и гравюрами, а в углах стояли статуи-антики. Я еще не успел осмотреться, как отворилась дверь из кабинета и вошел Гёте. Хотя лицо его мне было весьма известно из множества портретов, мной виденных, однако глаза живого Гёте и выражение его лица меня поразили. Когда мы сели, то Гёте тотчас начал говорить о великой княгине, о счастье Веймара, обладающего таким сокровищем, и проч. Потом он заговорил о великом нашем Императоре, о могуществе России и проч. Мне хотелось навести Гёте на предмет более интересный, а потому позволил себе маленькую ложь, сказавши Гёте, что Жуковский ему кланяется. «Ах, – подхватил Гёте, – как счастлив действительный статский советник фон Жуковский, имея лестное поручение заботиться о воспитании наследника всероссийского престола». Дальнейший разговор продолжался в этом же смысле, и я ушел более чем разочарованный.

На следующий же день я хотел уехать из Веймара, откланявшись поутру великой княгине и герцогу; но рано утром я получил от Гёте записку, которой он приглашал меня к себе на вечер. Нельзя было не принять приглашения; и я был вполне вознагражден за неприятное утро, проведенное у Гёте. Гостей было немного: канцлер Мюллер, живописец Мейер и еще человека три или четыре. Ни о великой княгине, ни о русском Императоре не было и помина. Разговор весь был литературный. Гёте жаловался на то, что политика и реализм убивали всякую изящную литературу и искусство и что последние в их нынешнем положении, не имея возможности ни прямо переделать людей, ни подчиниться их временным требованиям, должны стать на высшую точку, открыть или указать людям иной, новый мир и покорить их силой новых мыслей. Мейер говорил также очень умно. В 10³/₄ часов канцлер Мюллер встал и тем подал сигнал к отъезду. Я простился с Гёте и на другой же день отправился в Франкфурт-на-Майне¹.

Тогдашний Франкфурт, как и почти все немецкие города, переносили меня в средние века, и я находил особенное удовольствие бродить по городу особенно вечером. <...> С берегов Рейна чрез Страсбург я отправился в Швейцарию. Великолепный собор в Страсбурге с чудной башней и французская обстановка жизни меня так заинтересовали, что я там остался три дня. Затем любовался падением Рейна при Шафгаузене, исходил пешком Обе-Ланд и в дилижансе доехал до Лозанны, где после несколькихдневного пребывания сел на паром и прибыл на зимовье в Женеву.

Тут я нашел огромное русское общество, потому что пребывание в Париже русским в этом году (1831–1832) было воспрещено. Я поселился в верхнем городе в качестве нахлебника в одном очень хорошем семействе, г. де Карро. Он, жена и дочери его (довольно пожилые) были и умны, и любезны. Они познакомили меня с лучшими домами в Женеве. Тут не раз беседовал я со знаменитым ботаником Декандалем, с химиком Деларивом, с филеллином Ейнаром и особенно часто с даровитым криминалистом и политикоэкономом Росси, который впоследствии был

¹ До сих пор было мною написано в 1870 г.; затем долго я не писал. Погодин, гостивший у нас в деревне осенью 1872 г., прослушавши мною написанное, уговорил меня продолжать записки, и я принялся опять за них 20 октября 1872 г.

пэром Франции и наконец первым министром в Риме во время либерального порыва Пия IX. Русское общество в эту зиму было в Женеве очень многочисленно; были полдюжины Нарышкиных, столько же, коли не больше, князей и княгинь Голицыных и много разного калибра военных, статских и отставных русских. Из женщин особенно замечательна и интересна была Марья Антоновна Нарышкина, которая и тут не могла еще забыть роли, которую она играла в Петербурге по милости связи своей с Императором Александром I. Тут встретил я и старых друзей С. П. Шевырева с его воспитанником кн. Александром Волконским и С. А. Соболевского. Зиму провели мы очень приятно и весьма полезно. Все утра посвящены были слушанию лекций отчасти в академии, а отчасти на дому у профессоров. Мы слушали ботанику у Декандоля, химию у Деларива, уголовное право и уголовное судопроизводство у Росси. Сверх того, мы слушали у сего последнего публичные лекции о швейцарской истории и частные, только для нас восьми человек предназначенные, за особую плату, о государственном и международном праве. Лекции этого итальянца на французском языке приводили нас в восторг. Он излагал свои мысли чрезвычайно ясно, последовательно и заключительно, рассказывал события необыкновенно живо и заинтересовывал нас так, что часы казались нам получасами. Росси полюбил нас, а мы его; и его частные для нас лекции нередко продолжались не час, а два и даже три часа. Этот человек развил во мне много новых мыслей и утвердил во мне настоящий либерализм, который, к сожалению, у нас редко встречается, ибо в среде наших так называемых либералов по большей части встречаются люди, проникнутые западным доктринерством и руководящиеся чувствами и правилами скорее деспотизма, чем истинного свободолюбия и свободомыслия. Этому добру на меня влиянию знаменитого Росси я весьма многим обязан по деятельности моей и по делу освобождения наших крепостных людей и по управлению делами в Царстве Польском.

Зима 1831–1832 года посреди прилежных утренних занятий и живых вечерних развлечений прошла так быстро, что наступил апрель как бы неожиданно. Тогда русские начали разъезжаться, и я решился хотя взглянуть в Париж.<...>

Как Париж в то время был для русских запрещенным плодом и как я тогда числился на службе по Министерству иностранных дел, то по приезде в Париж я счел долгом немедленно явиться к нашему послу графу Поццо ди Борго и сказать ему, что я только проездом в Лондон и останусь в Париже не более трех дней. Посол принял меня очень любезно, позвал меня к себе обедать и сказал, что я могу здесь оставаться столько времени, сколько мне угодно. Я очень обрадовался этому позволению и решился пожить в Париже сколько возможно.

В продолжение моего пребывания в Париже я часто был приглашен на обед к гр. Поццо ди Борго, и его беседы за столом и в послеобеденное время были чрезвычайно интересны. Он вовсе не был закупоренным дипломатом и говорил обо всем весьма свободно и охотно; ум его был столько же жив, сколько и глубок; и эти беседы могли считаться почти лекциями о современных событиях. Как этот государственный человек выше Нессельроде и комп.!

Имевши письмо от России к герцогу Броли, я не замедлил к нему отправиться. Он пригласил меня к себе на вечера по четвергам. Тут в первый же вечер я познакомился с Гизо, Кузенем, Вилменем, Мишле и другими замечательными людьми. Тут также впоследствии я познакомился с молодым Тьером. Эти вечера были для меня так интересны, что я не пропускал из них ни одного и уходил домой одним из последних. Черноволосый, с пламенными глазами и увлекательной речью Кузен, всегда спокойный, рассудительный и красноречивый Гизо и живой, многоречивый и разнообразием своих сведений поражающий Тьер были для меня особенно интересны, и я старался их всего более слушать. Сам хозяин дома был человек высокого ума, пользовался большим авторитетом в обществе и принимал гостей чрезвычайно любезно. На этих вечерах не было дам, и все чувствовали себя как дома.

Я посещал и лекции, и театры, осматривал достопримечательности Парижа; и часто приходилось жалеть, что дни заключали в себе мало часов. В конце мая, когда я располагал отправиться в Лондон, гр. Поццо ди Борго предложил мне туда курьерскую экспедицию. Я с радостью принял это предложение, потому что пребывание в Париже причинило сильный ущерб моему кошельку.

В Лондоне я пробыл месяц. Кроме осмотра достопримечательностей этой столицы, я как дипломат, т. е. как служащий по Министерству иностранных дел, имел случай посещать дома высшего английского общества. Тут познакомился я с разными знаменитостями того времени – с лордами Греем, Пальмерстоном и др. Англия особенно интересовала меня по своей конституционной жизни, и я часто посещал парламент. <...>

Не могу не рассказать одного случая, бывшего со мной в Лондоне и делающего великую честь одному из наших главных сановников прошлого царствования. Приезжает в Лондон в качестве чрезвычайного полномочного посла по бельгийским делам граф А. Ф. Орлов. Мы надеваем мундиры и являемся к нему. Со всеми нами он тут только знакомится; он был очень обходителен, прост и любезен. В этот же день мы, русские, обедали у гр. М. С. Воронцова, приехавшего навестить своего отца, который постоянно жил в Лондоне. За обедом было человек около двадцати, все русские, и разговор был очень оживлен. Гр. Орлов обращается к советнику посольства Кокошкину и спрашивает его: «Не хочешь ли ты также с нами туда ехать?» Кокошкин очень почтительно отвечает: «С большим удовольствием, Ваше сиятельство». Меня это покорило, и я говорю своему соседу, секретарю посольства Ломоносову: «Ну, как он и нас тыкнет?» Едва я успел это сказать, как Орлов обратился ко мне с словами: «А ты?» Я ему ответил: «С тобою я охотно всюду поеду». Внезапно воцарилась мертвая тишина, и хозяин дома поспешил завести иной разговор. Я же подумал про себя: «Случай с Нессельроде надломил мне шею; нынешний ее доломает и, пожалуй, даст Императору Николаю утешение сказать: прав я был, когда говорил о Кошелеве: *C'est un mauvais homme* (это дурной человек. – *фр.*)». Обед кончился; Орлов подходит ко мне и очень любезно мне говорит: «Так завтра я вас жду, и мы вместе поедем». С этого дня мы были неразлучны: вместе осматривали главные достопримечательности Лондона, а иногда и обедали в тавернах. В одну из наших бесед гр. Орлов мне рассказал с величайшими подробностями, как ему удалось легко усмирить бунт в новгородских военных поселениях. Император Николай непременно хотел, чтобы он отправился туда с достаточными войсками; но Орлов настаивал на том, чтобы ему дозволено было ехать туда одному

с адъютантом. Наконец Император согласился. Орлов поскакал туда в коляске; собирал по разным местам бунтовавших поселян и своими речами привел всех в раскаяние, и они на коленях, со слезами, просили прощения. Проходит несколько лет, я приезжаю в Петербург и как откупщик являюсь в Сенат. Граф Орлов, как только обязанности председателя позволяют ему оставить свое кресло, подходит ко мне, вспоминает, как хорошо мы проводили время в Лондоне, и зовет меня к себе. В 1849 году, когда почти никому не выдавали заграничных паспортов и когда московский генерал-губернатор гр. Закревский мне отказал в выдаче такового, я вздумал обратиться к графу Орлову с просьбой помочь мне в получении паспорта, необходимого мне для поездки за границу по причине тяжелой болезни моей жены. Через неделю я получил от гр. Орлова ответ, в котором он меня уведомляет, что докладывал о моей просьбе Государю Императору и что последовало высочайшее разрешение на выдачу заграничного паспорта мне с женой, детьми и находящимися при мне лицами. О графе, возведенном впоследствии в княжеское достоинство, А. Ф. Орлове я сохранил навсегда самое отрадное воспоминание и с великим удовольствием рассказываю об его в отношении ко мне действиях. К сожалению, мало у нас таких сановников: большая часть из них только и ищет, как бы молодых людей, особенно мало угодливых, пригнуть и придавить.

<...> На возвратном моем пути в Россию был со мной забавный случай. Приехал я под вечер один в коляске на какую-то почтовую станцию одной из наших западных губерний. Начальник станции советовал мне у него переночевать, ибо приходилось мне далее ехать лесами, где часто бывают грабежи и убийства. Как после польского мятежа, только что усмиренного, много по лесам блуждало разбойников, которые нападали на путешественников и их обирали и даже умерщвляли, и как слухи об этом всех приводили в трепет, то начальник станции считал долгом предупреждать проезжих и советовать им вечером не пускаться в путь. Я очень торопился, и пуще всего мне противно было показаться как бы трусом. Я велел скорее закладывать лошадей и отправился в путь. Как только мы въехали в лес, то почтарь или ямщик заиграл на своем рожке, и не замедлили двое верховых явиться и поздороваться с ним на не из-

вестном мне языке (по-польски). Это мне показалось что-то подозрительным, и я извлек из своей палки меч, желавши, по крайней мере, не без боя сдаться разбойникам. Вскоре, однако, я заснул, и когда приехали на станцию, то меня разбудили. Тут я узнал, что эти двое, которых я принял за разбойников, вызванных моим почтарем, были сторожа, обязанные провожать путешественников. Как часто ложные страхи задерживают наши действия и служат к усилению ложных слухов.

Глава V (1833–1834)

Служба в Московском губернском правлении.

По приезде в Москву я нашел матушку уже выздоравливающей. Мы провели остаток лета в подмосковной, а на зиму возвратились в Москву. Здоровье мое совершенно поправилось, и зиму провели мы очень приятно с друзьями моими Киреевскими, Хомяковым, Свербеевыми, Баратынским (поэтом) и другими старыми и новыми приятелями. В течение зимы я познакомился и довольно близко сошелся с московским генерал-губернатором, всеми любимым и уважаемым кн. Д. В. Голицыным, который стал уговаривать меня поступить советником в Московское губернское правление, в которое ему уже удалось поместить очень порядочных людей. В феврале (1833) я поехал в Петербург, и Блудов очень мило и настоятельно побуждал меня возвратиться к нему на службу. Я забыл прежде сказать, что из-за границы я должен был послать просьбу об увольнении меня от службы; ибо, по законам, не могли мне дать нового, т. е. третьего отпуска. Раздумье мое было сильнейшее: мне очень хотелось возвратиться на службу к Д. Н. Блудову, который в то время был уже министром внутренних дел; а матушка, которой здоровье видимо слабело, уговаривала меня остаться в Москве. При этом раздумье наступило лето, и мы уехали в подмосковную. Осенью (1833) получил я в деревне от Б. К. Данзаса, моего хорошего приятеля и близкого человека кн. Д. В. Голицыну, письмо, которым он приглашал меня от имени последнего приехать в Москву. Приезжаю; кн. Голицын объявляет мне, что открылась ваканция советника 1-го отде-

ления губернского правления, и сильно убеждает меня поступить на эту ваканцию. Я не отказываюсь и не изъявляю согласия и прошу дать мне неделю на окончательное решение. В Москве я остановился не в своем доме, а у Ив. В. Киреевского, который за отъездом матери и вотчима в деревню оставался один во всем доме. На другой день после моего разговора с генерал-губернатором я получил от него бумагу, которой он меня уведомлял, что он дал предложение губернскому правлению о допущении меня к исправлению должности советника по 1-му отделению и что сам входит в Прав(ительствующий) сенат об утверждении меня в этой должности. Что ж – окончательно отказаться или вступить в должность? Киреевский убеждал решиться на последнее; матушка, хотя и отсутствующая, сильно желала того же. Надел фрак и поехал к генерал-губернатору, объявляя, что подчиняюсь его насилью. Это было 10 октября 1833 года.

Я всегда и всем занимался страстно. В Петербурге в несколько месяцев я выучился английскому языку, так что мог бегло читать английские газеты и делать из них выписки. Там же я было сделался таким карточным игроком, что проводил несколько ночей сряду за картами. В Москве зимой 1832–1833 года случайно я зашел в tir Prevost (тир Прево. – *фр.*) на Кузнецком мосту; тут знакомая молодежь уговорила меня выстрелить из пистолета; вместо цели я попал в потолок; это меня взбесило, и я дал себе слово сделаться отличным стрелком и до того не покидать пистолета. Почти целую зиму до отъезда в деревню я ежедневно выстреливал по сто зарядов и сделался одним из первых стрелков в Москве. Так и своими обязанностями советника я занялся с увлечением. Старался все узнать, все привести в порядок, и через шесть месяцев мое отделение было уже в отличном порядке. <...>

Глава VI (1835)

*Женитьба 4 февраля 1835 г. – Начало занятий сельским хозяйством. –
Участие в откупах. – Поездка за границу. – Эмс. – Париж. –
M-me Lagranciere.*

Давно я был знаком с семейством Скарятиных и состоял в приятельских отношениях с двумя старшими сыновьями, Федором и Григорием

Скарятинными. Первый очень усердно занимался живописью и был один из основателей Московских художественных классов, а другой убит был впоследствии в Венгерской кампании. В этом доме я познакомился с воспитывавшеюся у своей тетки девицей Ольгой Феодоровной Петровой-Солововой. Она мне очень понравилась по складу своего ума и по серьезности своих занятий. В декабре я сделал предложение, и 4 февраля 1835 года мы были повенчаны.

Весной этого же года случилось другое событие, которое имело также решительное влияние на мою остальную жизнь. Хотя оно касалось только лично меня, но я не могу не рассказать его с некоторой подробностью. Да простят будущие мои читатели эту выходку моего субъективизма.

В первых числах мая приехал в Москву Император и с ним вместе несколько придворных. В числе последних был кн. В. В. Долгорукий (кажется, обер-шталмейстер), с которым я был давно знаком. Я отправился к нему с визитом и нашел его весьма расстроенным вследствие полученных им донесений из рязанского имения его матери, которым он управлял. После обычных приветствий он шутя сказал мне: «Будьте моим благодетелем, освободите меня от рязанского имения, которое мне не приносит, а из меня высасывает последние деньги. Купите его у меня; я вам его дешево отдам». Узнавши, что дело идет о сапожковском имении, мне известном как соседу, я изъявил склонность быть благодетелем кн. Долгорукого и тем охотнее, что у меня были деньги, хотя и небольшие, и что я искал купить имение. Тотчас я получил от него приказ для осмотра имения и даже для обревизования его конторы. Нимало не медля, я отправился в свое родовое имение с. Смыково, а оттуда в имение кн. Долгорукого – в с. Песочню. Осмотревши имение и несколько обревизовавши его контору, я убедился, что имение хорошо и что бездоходность его происходит от плохого управления. Возвратившись в Москву 9 мая, я тотчас отправился к кн. Долгорукому, который поражен был моим быстрым возвращением и думал, что я вовсе отложил и поездку мою для осмотра. В несколько минут торг у нас был окончен, и за 725 тыс. ассигнациями я приобрел 9 т(ысяч) десятин в хорошей части Сапожковского уезда с тремя тысячами десятин строевого леса. На имении было много разных за-

прещений; а потому он выдал мне доверенность на управление, получил от меня в задаток сто тысяч и обязался выдать мне купчую в 9-месячный срок. Мы положили большую неустойку (в 200 тыс. руб.), и свидетелями по этому домашнему условию были кн. Д. В. Голицын и гр. М. Ю. Виельгорский. Дела кн. Долгорукова, этого русского барина, честного, доброго и весьма неглупого человека, были до того запутаны и находились в таком беспорядке, что к сроку, хотя и довольно отдаленному, он никак не мог выдать условленной купчей. За два месяца до срока он прислал своего поверенного в полное мое распоряжение с уполномочием тратить на расходы сколько нужно денег и с просьбой только не взыскивать с него неустойки. Купчая была наконец совершена почти через год после заключения домашнего условия.

Эта значительная мной сделанная покупка изменила все мои предположения относительно дальнейшей моей деятельности. Я вышел в отставку, переехал в деревню и предался со страстью хозяйству. Это занятие было для меня делом не совершенно новым. Матушка моя была хорошей хозяйкой и приучала меня к хозяйству с ранних лет: несколько раз она посылала меня одного в рязанское имение.

Я нашел купленное имение в крайнем беспорядке. Господской запашки почти не было; я постепенно ее увеличивал расчисткой и распашкой кустарника, которого было много и который не приносил никакого дохода. Скотоводство было ничтожное, я умножил и улучшил свои стада. Лес вырубался зря, и кража леса считалась промыслом почти дозволенным: в город возили лес на продажу из песоченских рощей не только ночью, но и днем. Я обрыл их канавами и устроил строгий надзор за лесниками. Всего хлопотливее и затруднительнее было для меня винокурение на находившемся в имении заводе. Я никогда до того времени не бывал ни на одном винокуренном заводе; а тут приходилось управлять делом весьма значительным. Счастье в этом случае послужило мне лучше умения. Тогда все винные заподряды производились казной. Торги в Рязани в первый год моего хозяйничанья не состоялись потому, что заводчики нашли низкими цены, назначенные казной на вино. Я отправился оттуда в Москву, и, узнавши там, что цены на хлеб везде падали, я

тотчас же возвратился в Рязань и вечером подал вице-губернатору, тогда управлявшему казенной палатой, объявление с согласиём принять поставку вина в размере 150 т. ведер, т. е. на всю конкуренцию моего завода. Весь заподряд состоял из 600 т. ведер. На следующее же утро другие заводчики также изъявили согласие на принятие поставок в размере конкуренции их заводов – на 900 т. ведер. При равном удовлетворении всех заводчиков мне приходилось получить менее ста тысяч ведер. Но я потребовал, чтобы мне как первому, изъявившему согласие на принятие поставки, даны были все мной просимые 150 т., угрожавши в противном случае отправить по эстафете жалобу к министру финансов. Вице-губернатор после долгих, но напрасных споров и увещаний согласился на мое требование; и я, оставив за собой 100 т. ведер в самые удобные для меня города и сроки, сдал 50 т. ведер другим заводчикам и взял с них отсталого по 50 коп. на ведро. Оставленная за собой стотысячная поставка дала мне барыша более 75 коп. на ведро; и таким образом получил я с завода в первый год моего хозяйничанья около ста тысяч дохода. Это значительно исправило положение моих финансов, которые были шибко потрясены покупкой имения, и дало мне возможность предпринять в хозяйстве разные нововведения и улучшения.

В конце этого года (1835) я лишился нежно мной любимой матери, а в начале следующего я был обрадован рождением сына. Летнее и осеннее время мы проводили в деревне, а зимы – в Москве, куда мы приезжали в конце ноября или в начале декабря; я же ежемесячно совершал поездки в деревню. В Москве мы мало ездили в так называемый *grand monde* (высший свет. – *фр.*) – на балы и вечера, а преимущественно проводили время с добрыми приятелями Киреевскими, Елагиными, Хомяковыми, Свербеевыми, Шевыревыми, Погодиным, Баратынским и проч. По вечерам постоянно три раза в неделю мы собирались у Елагиных, Свербеевых и у нас; и сверх того довольно часто съезжались у других наших приятелей. Беседы наши были самые оживленные; тут выказались первые начатки борьбы между нарождавшимся русским направлением и господствовавшим тогда западничеством. Почти единственным представителем первого был Хомяков, ибо и Киреевский, и я, и многие другие еще принадле-

жали к последнему. Главными самыми исключительными защитниками западной цивилизации были Грановский, Герцен, Н. Ф. Павлов и Чаадаев. Споры наши продолжались далеко за полночь, и мы расходились по большей части друг другом недовольные; но о разрыве между этими двумя направлениями еще не было и речи.

Потребность сильной внешней деятельности и винокуренный завод вовлекли меня в откупа. В 1838 году я взял вместе с соседом по имени Колюбакиным на откуп свой город Сапожок с уездом. Но вскоре болезнь жены моей заставила нас ехать за границу, где она пробыла полтора года, а я два раза туда ездил, бывши в необходимости по делам возвращаться в Россию.

Лето 1839 года мы провели в Эмсе и потом в Баден-Бадене, где жена осталась и на зиму под попечительством известного доктора Гегерта. Я возвратился туда в начале февраля, и мы вскоре отправились в Париж, куда приехали в самые первые дни министерства Тьера, т. е. *ministère du 1 mars* (министерства 1-го марта. — *фр.*) <...>

Глава VII (1836–1848)

*Служба в должности предводителя дворянства и ее характер. —
Выход из откупов 1848 г.*

<...> Я получил из Сапожка известия, что наш предводитель В. И. Колюбакин скончался, что я как кандидат утвержден в этой должности, что в наших краях и почти во всей России голод и что присутствие предводителя совершенно необходимо в уезде по случаю раздачи пособий от правительства помещикам на прокормление крестьян. Вследствие этого мы решились немедленно возвратиться восвояси.

Мы прямо приехали в деревню, и я тотчас отправился в Сапожок. Вступив в должность предводителя, я имел возможность прекратить разные злоупотребления, было вкравшиеся в раздачу пособий. Исправлял мою должность уездный судья, который обще с уездным стряпчим и земским исправником, сторговавшись с управляющими богатых имений

графов Шувалова и Остерман-Толстого, назначил им в выдачу на прокормление крестьян и на обсеменение их полей огромные суммы – по 15 тыс. руб. каждому, а бедным дворянам предполагал отказать в ссуде за недостатком денег. Я тотчас изменил это назначение, не дал пособия ни одному помещику, который сам был в состоянии помочь крестьянам, и оделил деньгами всех мелкопоместных помещиков, которых в уезде было очень много и которые сами почти умирали с голода. Четверть ржи доходила до 40 рублей на монету. Крестьяне по большей части ели мякину и желуди с прибавкой $\frac{1}{3}$ или $\frac{1}{4}$ части ржаной муки. Тут я имел случай убедиться в огромном количестве мелкопоместных дворян, в их бедности и невежестве. Весьма многие из них, получая пособия, не могли сами в том расписаться за незнанием грамоты. Тут также я узнал страшные злоупотребления помещичьей власти. Отсюда начало последующих моих стремлений к ограничению помещичьей власти и к освобождению крестьян и дворовых людей от крепостной зависимости. <...>

Зимы, как прежде сказал, мы проводили в Москве, но в это время я много разъезжал по откупам; ибо на следующее четырехлетие я снял с торгов в Сенате восемь городов, из которых сдал два и остался при шести. Дела откупные пошли ужасно дурно; убытки были страшные. Было время, что рубашка, которая была на мне, уже не мне принадлежала, и сверх того я подвергал разорению несколько семейств, доверивших мне свои деньги и земли. Это удесятерило мою деятельность, я не давал себе покоя и был совершенно погружен в откупное дело. Друзья мои, и в особенности Киреевский, жестоко меня за это бранили. Последний даже начинал во мне отчаиваться и опасаться, чтобы я окончательно не погряз в этом болоте; но Хомяков его успокаивал и говорил, что человек, который погружался по уши в немецкую философию, не может сгинуть в откупах. Я вошел в эти дела, не зная их в сущности, увязивши в них свое состояние и доверенные мне капиталы; я уже не мог покинуть откупа, хотя они с каждым днем становились мне все противнее и противнее. Наконец обстоятельства вообще улучшились, и я несколько исправил положение своих дел. Как только гнет нужды перестал меня давить, откупные дела стали для меня просто невыносимыми; я воспользовался

первой возможностью их сдать, и впоследствии, несмотря на приглашения, с разных сторон ко мне поступавшие, я уже более к ним не возвращался и считал себя весьма счастливым, что от них отделался не только без убытка, но даже с барышом. <...>

Глава VIII (1849–1850)

Возврат к умственным занятиям. — Первые попытки к освобождению крестьян в 1847–1850 гг. — Наше положение в 1848–1853 гг. — Так называемый славянофильский кружок. — А. С. Хомяков. — И. В. Киреевский. — К. С. Аксаков. — Ю. Ф. Самарин. — Чаадаев. — Герцен. — Учение славянофилов и западников.

Когда я несколько успокоился насчет своих финансовых дел, т. е. еще до передачи откупов, летом 1847 года я погрузился в чтение богословских книг. Зимние беседы с Хомяковым и Ив. Киреевским были главной побудительной причиной к этим занятиям. Мне совестно было, что, считавши себя христианином и просвещенным человеком, я всего менее знал основания моих верований. Чтение святых отцов особенно к себе меня привлекло, и я в одно лето прочел почти все творения Иоанна Златоустого и много из сочинений Василия Великого и Григория Богослова. Эти занятия меня оживляли, поднимали, и я чувствовал себя как бы возрожденным.

Вместе с богословскими чтениями я не покидал и политических книг и журналов. В особенности начинала меня сильно занимать мысль об освобождении крепостных людей. Прожитое время в деревне и в делах не ослабляло, а усиливало во мне убеждение в необходимости этого преобразования.

Осенью 1847 года я решился вновь возбудить против себя гнев благородного дворянства. Как в декабре должно было рязанское дворянство собраться на выборы, то я вздумал сделать ему предложение насчет упорядочения отношений помещиков к их крепостным людям, т. е. сделать первую попытку к прекращению крепостного права на людей. Составленное в этом смысле предложение было мной в сентябре предъявлено рязанскому губернскому предводителю дворянства, который пришел от

него в ужас и объявил мне, что без разрешения из Петербурга он, конечно, не решится передать мое предложение на обсуждение дворянства. Тогда я решился обратиться с письмом прямо к министру внутренних дел. Я препроводил к нему самый проект предложения, которое я хотел сделать дворянству, и испрашивал на то его разрешения. Я нисколько не скрывал об этом моем намерении и даже охотно сообщал как проект, так и черновое письмо к министру; губернский же предводитель дворянства усердно рассказывал всем, кого он только видел, о моих злостных намерениях и действиях. А потому и не удивительно, что слух о них быстро распространился по губернии. Благородное дворянство негодовало, находило, что за это мало меня четвертовать, и готовилось в предстоявшем собрании излить на меня всю свою желчь. В ноябре я получил от Л. А. Перовского, тогдашнего министра внутренних дел, отношение, которым он сообщил мне, что докладывал о моем предложении Государю Императору и что хотя оно вполне согласно с видами правительства, однако его величество находит неудобным в настоящее время подвергать это дело обсуждению дворянства. К этому министр присовокупил, что если бы я желал подать такой благой пример по моим имениям, то такие мои действия вполне заслужили бы одобрение его величества. <...>

В это же время я написал статью, в которой, не осмеливавшись проводить общую мысль об освобождении крепостных людей, я убеждал помещиков на основании Высочайшего указа, изданного 12 июня 1844 года, освобождать дворовых людей, заключая с ними условия. Эта статья под заглавием «Охота пуще неволи» была мной отправлена 3 ноября 1847 года в редакцию «Земледельческой газеты», которой редактором тогда был А. П. Заблоцкий-Десятовский. Я выбрал эту газету потому, что она слыла либеральной и по-тогдашнему была действительно таковой по милости покровительствовавшего ей министра государственных имуществ Киселева. Статья моя была напечатана, но с изменением заглавия: «Добрая воля сильнее неволи» и со значительными урезками. <...>

В феврале 1848 года произошла во Франции революция, которая отозвалась у нас самым тяжким образом: всякие предполагавшиеся преобразования были отложены, и всякие стеснения мысли, слова и дела были

умножены и усилены. В 1849 году я написал письмо к министру внутренних дел с испрашиванием некоторых мер к облегчению выпуска на волю дворовых людей. <...> На это мое письмо я не получил никакого ответа.

В 1850 году на основании вышеупомянутого приглашения 1847 года я представил министру внутренних дел проект освобождения моих крестьян с наделением их земель, в их пользовании состоявшей, и с выдачей мне выкупных денег по сорока рублей серебром за десятину. И на это мое письмо я не получил никакого ответа. Предложения мои были вполне согласны с Высочайшей волей, мне объявленной в 1847 году, и требования мои не могли быть сочтены неумеренными; но февральская революция так подействовала на наше правительство, что оно предпочло молчанием отвечать на мои предложения.

С 1848 года до начала Крымской войны прошло время для нас столь же однообразно, сколько и тягостно. Администрация становилась все подозрительнее, придирчивее и произвольнее. Тогдашний московский генерал-губернатор граф Закревский стяжал себе в этом отношении славу неувядаемую. Он позволял себе вообще действия самые произвольные; но мы, так называемые славянофилы, были предметами особенной его заботливости. Он нас не мог терпеть, называя то «славянофилами», то «красными», то даже «коммунистами». Как в это время всего чаще и всего больше собирались у нас, то генерал-губернатор подверг нашу приемную дверь особому надзору, и каждодневно подавали ему записку о лицах, нас посещавших. Смущало и приводило в недоумение гр. Закревского только то, что весьма часто посещал меня кн. Сергей Иванович Гагарин, член Государственного Совета, старик, которого уже никак нельзя было заподозрить в революционных замыслах. Это, вероятно, и удерживало гр. Закревского от разных произвольных действий, которые бы он себе позволил против меня. Эти пять лет (1848–1853) напомнили нам первые годы царствования Николая I и были даже тяжче, ибо они были продолжительнее и томительнее. Одно утешение находили мы в дружеских беседах небольшого нашего кружка. Они нас оживляли и давали пищу нашему уму и нашей жизни вообще.

Здесь считаю уместным поговорить несколько обстоятельно о нашем кружке. Он составиля не искусственно – не с предварительно опре-

деленной какой-либо целью, а естественно, сам собою, без всяких предвзятых мыслей и видов. Люди, одушевленные одинакими чувствами к науке и к своей стране, движимые потребностью не попугаями повторять, что говорится там – где-то на Западе, а мыслить и жить самобытно и связанные взаимной дружбой и пребыванием в одном и том же городе – в древней столице – в сердце России, – эти люди видались ежедневно, обсуживали сообща возникавшие вопросы, делили друг с другом и общественные радости (которых было очень мало), и общественное горе (которого было в избытке), и таким образом незаметно даже для самих участников составилась кружок единокдушный и единомысленный. Он составилась так незаметно, что нельзя даже приблизительно определить года его рождения. Он имел влияние сперва слабое, а потом все более и более действенное не только в литературе, но и в общественной, даже политической жизни России; а потому некоторые сведения о людях, его составлявших, и вообще о направлении этого кружка будут, думаю, не лишними, и тем более что эти люди как отдельно, так и в совокупности подвергались разным упрекам, насмешкам, клеветам и обвинениям, которых они нимало не заслуживали и которые главнейше исходили из того, что вообще мало знали эти личности, не понимали или не хотели понять их убеждений и даже нередко умышленно представляли последние в извращенном виде.

Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бы бесследно с лица земли, если бы в числе его участников не было одного человека замечательного по своему уму и характеру, по своим разнородным способностям и знаниям и в особенности по своей самобытности и устойчивости, т. е. если бы не было Алексея Степановича Хомякова. Он не был специалистом ни по какой части, но все его интересовало; всем он занимался; все было ему более или менее известно и встречало в нем искреннее сочувствие. Всякий специалист, беседуя с ним, мог думать, что его именно часть в особенности изучена Алексеем Степановичем. Хомяков мог с полной справедливостью о себе сказать: *nihil humanum a me alienum puto* (ничто человеческое мне не чуждо. – *лат.*). Обширности его сведений особенно помогали, кроме необыкновенной живости

ума, способность читать чрезвычайно быстро и сохранять в памяти навсегда все им прочтенное¹. Весьма замечательно было в Хомякове свойство проникать в сокровенный смысл явлений, схватывать их взаимную связь и их отношения к целому – к тому единому, которое проявляется в истории человечества; и при этом чрезвычайная последовательность и устойчивость в главных основных убеждениях. Не Хомяковым ли указано нашей интеллигенции действие Православия на развитие русского народа и на великую будущность, Православием ему подготовленную? Не Хомяковым ли впервые глубоко прочувствована и ясно сознана связь наша с остальным славянством? Не им ли угаданы в русской истории, в русском человеке, и в особенности в нашем крестьянине, те задатки или залого самобытности, которых прежде никто в них не видал, даже не подозревал и которые, однако, должны возратить нашу отчасти слишком высоко и отчасти слишком униженно о себе мыслящую интеллигенцию на настоящую родную почву? Все товарищи Хомякова проходили через эпоху сомнения, маловерия, даже неверия и увлекались то французской, то английской, то немецкой философией; все перебивали более или менее тем, что впоследствии называлось западниками. Хомяков, глубоко изучивший творения главных мировых Любомудров, прочитавший почти всех Св. Отцов и не пренебрегший ни одним существенным произведением католической и протестантской апологетики, никогда не уклонялся в неверие, всегда держался по убеждению учения нашей Православной Церкви и строго исполнял возлагаемые ею обязанности. С юности и до самой кончины он неуклонно соблюдал церковные установления. В Париже, где в первый раз он был еще в молодых летах, им во время Ве-

¹ В подтверждение этого рассказу два случая, которых я был свидетелем. Купил я три-четыре книги серьезного содержания; Хомяков выпросил их у меня на одну ночь; поутру рано книги были мне возвращены. Я читал эти книги две-три недели; и потом при разговоре о них я увидел, что Хомяков прочел их вовсе не бегло и многое в них заметил и подчеркнул, что ускользнуло от моего внимания. А вот образчик его памяти. Однажды при богословском споре Хомяков сослался на одного Св. Отца, которого творения имелись только в академической библиотеке, что при Троице-Сергиевской Лавре. Мы усомнились в верности цитаты, особенно потому что знали, что Хомяков более десяти лет не был у Троицы. Он положительно назвал сочинение и сказал, что приведенная им цитата находится на 10 или 12 странице книги. Мы написали к одному приятелю в Лавре; и он вполне подтвердил не только самую цитату, но и страницу, указанную Хомяковым.

ликого поста не был нарушен строгий пост. Хомяков рассказывал, что, когда в Петербурге он был юнкером и потом офицером, товарищи его, мало знавшие установление своей Церкви, говаривали ему: «Уж не католик ли ты, что так строго соблюдаешь посты?» Он это делал не потому, что считал сухоядение верным путем ко спасению, а потому что посты установлены нашей Церковью, что он не признавал за ее исповедниками права самовольно изменять ее установления и что не хотел отделяться в этом отношении от народа, строго соблюдавшего посты. Безусловная преданность Православию, конечно, не такому, каким оно с примесью византийства и католичества являлось у нас в лице и устах некоторых наших иерархов, но Православию Св. Отцов нашей Церкви, основанному на вере с полной свободой разума. Любовь к народу русскому, высокое о нем мнение и убеждение в том, что изучение его истории и настоящего быта одно может вести нас к самобытности в мышлении и жизни, составляли главные и отличительные основы и свойства образа мыслей Хомякова¹. Эти мысли свои он проводил всего больше в наших беседах, где они находили почву самую благодарную, особенно вследствие того, что философия, даже немецкая, далеко не вполне нас удовлетворяла; что мы чувствовали потребность большей жизненности в науке и во всем нашем внутреннем быте и что все мы ощущали и сознавали необходимость прекращения разрыва интеллигенции с народом – разрыва, вредного для обоих, равно их ослаблявшего и препятствовавшего самостоятельному развитию России. Усиливали влияние Хомякова на нас следующие обстоятельства: полнейшая простота и искренность во всех его словах и действиях, отсутствие в нем всякого самомнения и всякой гордости и снисхождение его к людям, доходившее до того, что он отрицал существование дураков, утверждая, что в уме самого ограниченного человека есть уголок, в котором он умен и который нужно только отыскать. Еще помогало Хомякову в усилении его на нас влияния то, что он вовсе не был доктринером, безжизненным систематиком, требовавшим безусловного подчинения провозглашенным им догматам. Он охотно подвергал

¹ Он вовсе не был «народником» в смысле Шишкова или последующих так называвшихся славянофилов под знаменем «Руси»; нет, он был далек от таких узких и вредных учений.

обсуждению самые коренные свои убеждения, вовсе не выдавал себя за непогрешимого или за проглотившего всю науку докторанта и любил вести споры по Сократовой методе. Хотя Хомяков никогда не выдавал себя за либерала, но никогда не укорял кого-либо в либерализме. Он уважал и ценил его и сам был отменно либерален как в своих мнениях и действиях вообще, так и в отношениях к собеседникам и даже к противникам, старавшись им доказать несостоятельность их убеждений и не позволяя себе действовать ни на кого, хотя словом, насильственно. Он легко переносился на точку зрения своих противников; иногда даже нарочно защищал крайние мнения в противоположность другим крайним мнениям. Так, не раз случалось ему прикидываться даже скептиком в спорах с людьми формально суеверно-набожными; и, напротив того, он выказывал себя чуть-чуть не формалистом или суеверной старухой в спорах с людьми отрицательного направления. Это заставляло некоторых плохо его понимавших говорить, что Хомяков любит только спорить и что у него нет твердых постоянных убеждений; кто же хорошо его знал, тот видел в этом только способ, вовсе не предосудительный, часто весьма удачный и Хомяковым особенно любимый, к уяснению и уничтожению заблуждений и к утверждению того, что он считал истиной. Хомяков был столько же устойчив в своих основных убеждениях, сколько расположен к изменению второстепенных мнений по требованию обстоятельств и согласно полученным сведениям. В этих последних мнениях он вовсе не коснел: он постоянно развивался и очень охотно принимал все, что наука и жизнь доставляли нового. Хотя он скончался на 57-м году своей жизни, однако, зная его, можно утвердительно сказать, что если бы он дожил и до глубокой старости, то он не пережил бы себя; в нем было так много внутренней жизненности и восприимчивости к внешнему миру, что застой был для него невозможен.

Знаю, что заслуги и достоинства Хомякова еще далеко не оценены как следует, что его богословские сочинения, приведшие в трепет и ожесточение иезуитов, заставившие призадуматься некоторых англичан и протестантов и возвратившие к Православию многих колебавшихся и блуждавших сынов нашей Церкви, в России еще запрещены и провозятся

только в виде контрабанды¹; и что его творения вообще, по большей части, покоятся на полках в библиотеках и книжных лавках. Думаю, однако, что недалеко то время, когда наконец великая польза деятельности Хомякова будет общесознана; и тогда нашему кружку будет поставлено в заслугу, что он содействовал к развитию мыслей Хомякова и что пшеничное зерно пало не на бесплодную землю.

Вторым деятелем в нашем кружке был Иван Васильевич Киреевский. Он был очень умен и даровит; но самобытности и самостоятельности было в нем мало, и он легко увлекался то в ту, то в другую сторону. Он перебивал локкистом, Спинозистом, кантистом, шеллингистом, даже гегельянцем, он доходил в своей неверии даже до отрицания необходимости существования Бога; а впоследствии он сделался не только православным, но даже приверженцем «Добротолюбия». С Хомяковым у Киреевского были всегдашние нескончаемые споры: сперва Киреевский находил, что Хомяков чересчур церковен, что он недостаточно ценил европейскую цивилизацию и что он хотел нас нарядить в зипуны и обувь в лапти; впоследствии Киреевский упрекал Хомякова в излишнем рационализме и в недостатке чувства в делах веры. Прения эти были чрезвычайно полезны как для них самих, так и для нас, более или менее принимавших в них участие. Эти беседы продолжались далеко за полночь и часто прекращались только утром, когда уже рассветало. Они оба друга высоко ценили, глубоко уважали и горячо любили. Деятельность И. В. Киреевского по разработке с православной точки зрения разных философских вопросов была весьма полезна и значительна. Его последние статьи, помещенные в «Русской беседе», явили в нем высокого и глубокого русского мыслителя, равно чуждого как ограниченности и сухости рационалиста, так и мечтательности и туманности мистика.

Другими собеседниками нашими были М. П. Погодин, С. П. Шевырев, П. В. Киреевский и некоторые другие лица. Первые двое никогда вполне не разделяли мнения Хомякова, находивши, особенно в первые годы, что по духовным делам он слишком протестантствовал и что русскую историю он

¹ Слава Богу, теперь эти сочинения уже не запрещены и даже напечатаны без всяких урезок в Москве (1882).

переделывал по-своему, находил в ней то, чего там не было, и влагал в нее свои измышления. Впрочем, впоследствии времени произошло некоторое сближение в мнениях Погодина и Шевырева с убеждениями так называемых славянофилов. П. В. Киреевский весь был предан изучению русского коренного быта, с любовью и жаром собирал русские народные песни, не щадил на это ни трудов, ни издержек и принимал деятельное участие в прениях только тогда, когда они касались любимых его предметов.

Впоследствии вступили в наш кружок две замечательные личности – Константин Сергеевич Аксаков и Юрий Федорович Самарин. Оба они были очень умны и даровиты; и хотя они были чрезвычайно дружны, однако свойства их ума и дарований были совершенно различны. В первом преобладали чувство и воображение: он страстно любил русский народ, русскую историю и русский язык и делал в двух последних поразительные, светоносные открытия. Правда, часто он впадал в крайности, и мысли, самые верные в основе, становились в его устах парадоксами; но любовь, которою все у него одушевлялось, приобретала ему друзей и последователей и усиливала его влияние в обществе, и особенно на женщин. Ю. Ф. Самарин действовал совершенно иными орудиями: у него по преимуществу преобладали критика, логика и диалектика. Тружеником был он примерным: во всю жизнь он учился; никакие трудности и работы его не утруждали; своим железным терпением он все преодолевал. Он действовал сильно и в литературе, и в общественной, даже политической жизни; он приобретал много ценителей и почитателей, но мало приверженцев и друзей. Оба они глубоко уважали Хомякова, высоко ценили его деятельность и признавали себя постоянно и охотно его учениками. Они принимали в наших беседах самое живое участие и вскоре сделались в нашем кружке первостепенными деятелями. Не могу здесь не упомянуть об Иване Сергеевиче Аксакове, тогда только вышедшем в отставку, поселившемся в Москве и начинавшем с нами все более и более сближаться. Тогда он был чистым и ярким западником, и брат его Константин постоянно жаловался на его западничество. О нем я буду иметь случай говорить впоследствии и не один раз.

Сообщая сведения об этом кружке, нельзя не упомянуть о людях, более или менее принимавших участие в наших беседах, хотя они вовсе не

разделяли наших общих убеждений. Такими были Чаадаев, Грановский, Герцен, Н. Ф. Павлов и некоторые другие умные и замечательные люди. Чаадаев охотно бывал на наших вечерних собраниях; но он особенно любил, чтобы его посещали по понедельникам утром. Тут происходили горячие богословские и исторические споры; Чаадаев постоянно доказывал превосходство католичества над прочими вероисповеданиями и неминуемое и близкое его над ними торжество. Не менее настойчиво Чаадаев утверждал, что русская история пуста и бессмысленна и что единственный путь спасения для нас есть безусловное и полнейшее приобщение к европейской цивилизации. Легко себе вообразить, что такие мнения не оставались без сильных возражений со стороны Хомякова, и споры были столь же жаркие, сколько и продолжительные. С Герценом прения были более философские и политические. Начинались они всегда очень дружелюбно и спокойно, но часто кончались настоящими словесными дуэлями: борцы горячились и расставались с неприятными чувствами друг против друга. Грановский, Н. Ф. Павлов и другие усердно поддерживали Герцена. Эти препирательства ожесточали наших противников; и они позволяли себе против нас вообще и против Хомякова в особенности даже клеветы. А мы пользовались делаемыми нам возражениями для полнейшего развития наших мнений и вовсе не относились враждебно к нашим противникам. За недостатком доводов они осыпали нас насмешками и сильно сердились; а мы смиренно им замечали: «*Tu te fâches, Jupitère, done tu as tort*» («Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». – *фр.*). Это особенно их бесило.

Нас всех, и в особенности Хомякова и К. Аксакова, прозвали «славянофилами»; но это прозвище вовсе не выражает сущности нашего направления. Правда, мы всегда были расположены к славянам, старались быть с ними в сношениях, изучали их историю и нынешнее их положение, помогали им чем могли; но это вовсе не составляло главного, существенного отличия нашего кружка от противоположного кружка западников. Между нами и ими были разногласия несравненно более существенные. Они отводили религии местечко в жизни и понимании только малообразованного человека и допускали ее владычество в России только на время, – пока народ непросвещен и малограмотен; мы же на учении Христовом,

хранящемся в нашей Православной Церкви, основывали весь наш быт, все наше любомудрие и убеждены были, что только на этом основании мы должны и можем развиваться, совершенствоваться и занять подобающее место в мировом ходе человечества. Они ожидали света только с Запада, превозносили все там существующее, старались подражать всему там установившемуся и забывали, что есть у нас свой ум, свои местные, временные, духовные и физические особенности и потребности. Мы вовсе не отвергали великих открытий и усовершенствований, сделанных на Западе, — считали необходимым узнавать все там выработанное, пользоваться от него весьма многим; но мы находили необходимым все пропускать через критику нашего собственного разума и развивать себя с помощью, а не посредством позаимствований от народов, опередивших нас на пути образования. Западники с ужасом и смехом слушали, когда мы говорили о действии народности в областях науки и искусства; они считали последнее чем-то совершенно отвлеченным, не подлежащим в своих проявлениях изменению согласно с духом и способностями народа, с его временными и местными обстоятельствами, и требовали деспотически от всех беспрекословного подчинения догматам, добытым или во Франции, или в Англии, или в Германии. Мы, конечно, никогда не отвергали ни единства, ни безусловности науки и искусства вообще (*in idea*); но мы говорили, что никогда и нигде они не проявлялись и не проявятся в единой безусловной форме; что везде они развиваются согласно местным и временным требованиям и свойствам народного духа; и что нет догматов в общественной науке и нет непременных повсеместных и всегдашних законов для творений искусства. Мы признавали первой, самой существенной нашей задачей изучение самих себя в истории и в настоящем быте; и как мы находили себя и окружающих нас цивилизованных людей утратившими много свойств русского человека, то мы считали долгом изучать его преимущественно в допетровской его истории и в крестьянском быте. Мы вовсе не желали воскресить Древнюю Русь, не ставили на пьедестал крестьянина, не поклонялись ему и отнюдь не имели в виду себя и других в него преобразовать. Все это — клеветы, ни на чем не основанные. Но в этом первобытном русском человеке мы искали, что именно свойственно русскому

человеку, в чем он нуждается и что следует в нем развивать. Вот почему мы так дорожили собиранием народных песен и сказок, узнаванием народных обычаев, поверий, пословиц и проч. Замечательно, что то, что мы тогда говорили и утверждали, что возбуждало негодование и насмешки западников, сделалось теперь мнением и воззрением почти всех и каждого. Кто теперь не за связь с славянами? Кто теперь не за изучение русской старины, обычного народного права и других особенностей нашего народного быта? Кто теперь не признает в них глубокого смысла и великого для нашей будущности значения? Кто теперь отвергает действие народности в науке и искусстве? Конечно, есть еще пункты, и весьма важные, в которых так называемые славянофилы стоят особняком и весьма расходятся с так называемыми западниками; но прежняя борьба и прежний антагонизм между ними ослабли и остались более в воспоминании, чем в действительности. Кстати, здесь мимоходом сказать, что нас всего более обвиняли в китаизме, т. е. во вражде к прогрессу и в упорной привязанности к старым обычаям и формам. Время в этом отношении нас, кажется, всего лучше оправдало. Мы стояли не за обветшалое, не за мертвящее, а за то, в чем сохранялась жизнь действительная. Мы восставали не против нововведений, успехов вообще, а против тех из них, которые ложно таковыми казались и которые у нас корня не имели и не могли иметь. Не мы ли были самыми усердными поборниками освобождения крестьян, и притом с наделением их в больших по возможности размерах земель? Не мы ли оказались самыми ревностными деятелями в земских учреждениях?

Подняли, одушевили, двинули вперед Россию не доктрины французские, английские или немецкие, а те чувства и мысли, которые живут в русском православном человеке и которые теперь почти противоположны западноевропейским стремлениям и понятиям. Новейшие события и настроение Англии и даже Франции во время борьбы славян на Балканском полуострове должны, кажется, отрезвить самых ярых западников. Настоящими прогрессистами и либералами были и теперь оказываемся мы, а не те, которые этими эпитетами себя величали. А называть нас следовало не славянофилами, а, в противоположность западникам, скорее, туземниками или самобытниками; но и эти клички неполно бы нас

характеризовали. Мы себе никаких имен не давали, никаких характеристик не присваивали, а стремились быть только не обезьянами, не попугаями, а людьми, и притом людьми русскими.

Глава IX (1851–1856)

Поездка за границу и В. А. Жуковский. — Поездка в Лондон на Всемирную выставку 1851 г. — «Сборник» И. С. Аксакова. — Война с Турцией и Европой. — Смерть Николая I и вступление на престол Александра II. — Записка о финансовых средствах России к продолжению борьбы с Турцией и Европой. — Издание «Русской беседы». — Ее значение. — Смерть И. В. Киреевского 1856 г.

Зимой 1850–1851 года, когда жена моя с детьми проводила зиму в Баден-Бадене, и я туда поехал в феврале. Там я нашел В. А. Жуковского, с которым я прежде был в сношениях довольно коротких, а в это время особенно сблизился. Наши беседы были ежедневны и весьма продолжительны. Много мы с ним гуляли и всего более говорили о ближайшем будущем для России; и он меня в этом отношении весьма успокаивал, утверждая, что Наследник престола (нынешний Император) одарен значительным здравым смыслом, весьма добр и исполнен благонамеренности. Все это вполне подтвердилось впоследствии. Для большего меня в том удостоверения он давал мне читать собрание писем Великого князя к нему. Одно из них поразило меня своей дельностью и своим изложением. Письма эти писались, как видно, без всякого приготовления; мысли излагались по мере и в том порядке, в каком они приходили в голову, и в письмах много было помарок. В упомянутом особенно меня поразившем письме вот в чем было дело. Жуковский писал к наследнику о том, чтобы побудить Императора к освобождению Иерусалима и ко взятию его под общее управление всех христианских держав. Наследник ему отвечает, что он вовсе не разделяет мнения своего наставника насчет того, что такое событие желательно: «Пусть враги Христа, — говорит он, — оскверняют это священное место своими действиями; это все-таки сноснее, чем осквернение его интригами и враждою христианских держав; а это неминуемо при нынешнем поло-

жении католичества». Письмо это, довольно длинное, проникнуто было замечательным здравым практическим смыслом.

Жуковский с особенным удовольствием сообщал о своих предположениях насчет устройства своей дальнейшей жизни. Он хотел поселиться в Москве и предпринять разные литературные труды. Он расспрашивал меня о московской молодежи, об университете, об Обществе любителей российской словесности и высказывал желание и надежду содействовать к оживлению умственной деятельности в Москве. Мы отпраздновали в Баден-Бадене день рождения (29 января) В. А. Жуковского¹, и я по моим делам должен был отправиться в Россию. К великому прискорбию, не суждено было мне более с ним свидеться: он скончался 12 апреля 1852 года.

В том же 1851 году в августе я поехал из деревни через Москву, Петербург, Берлин и Кале в Лондон на Всемирную выставку. Все мной там виденное — мои впечатления и замечания — я изложил в особой статье «Поездка русского земледельца в Англию и на Всемирную выставку». Эту статью я напечатал в «Московском сборнике», изданном Ив. Сер. Аксаковым в Москве в 1852-м году. <...>

Кстати, об этом «Сборнике». Зимой 1851–1852 года мы сговорились издать общими силами сборник, в котором предполагали хотя отчасти высказать наши мнения по разным вопросам и который мы хотели выпустить в четырех книгах. Высказали мы свои мнения весьма скромно. Главные статьи 1-го тома сборника были: И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России»; А. С. Хомякова «Предисловие к русским народным песням, собранным П. В. Киреевским»; и К. С. Аксакова «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности». Хотя в этих статьях не было ничего резкого, смелого, а тем менее возмутительного, однако они произвели почти переполох в Петербурге — в администрации и в тамошних повременных

¹ Насчет дня рождения В. А. Жуковского возникли в последнее время недоумения и разногласия. В разрешение их сообщаю письмецо, мною от него полученное.

«За 68 лет перед сим, т. е. 1783 года января 29, случилось, что я родился. Нынче я праздную этот день с моими родными. Прошу вас у нас отобедать и быть за моим семейным столом представителем России. Прошу и вашу супругу. Мы обедаем в три часа ради моего тестя. Прошу вас отвечать, можете ли быть к нам, — преданный В. Ж.»

изданиях. Там почуяли какой-то новый высказывающийся дух. Высшая цензура страшно взволновалась, однако не решилась арестовать уже выпущенную с одобрения цензуры первую книгу «Сборника»; но предписано было Московскому цензурному комитету препроводить в Петербург все статьи, представленные для 2-й книги. Эти статьи также не заключали в себе ничего противного ни религии, ни нравственности, ни даже существующему порядку вещей; однако они не только были все запрещены, но авторы их были обязаны подпиской ничего не печатать без пропуска их сочинений высшей цензурой в Петербурге. Во 2-й книге «Сборника» имела быть также помещенной моя вторая статья «Поездка в Англию», но хотя она и не подверглась запрещению, но, однако, не была возвращена цензурой и пропала без вести.

В 1853 году началась война с Турцией и предчувствовалась борьба с Европой. Уничтожение турецкого флота под Синопом всех русских несколько оживило. Правительство, занятое военными приготовлениями и действиями, менее обращало внимание на дела внутреннего управления. Казалось, что из томительной, мрачной темницы мы как будто выходим если и не на свет Божий, то, по крайней мере, в преддверие к нему, где уже чувствуется освежающий воздух. Высадка союзников в Крым в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слишком огорчили, ибо мы были убеждены, что даже поражения России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение, хотя отчасти бессознательное, было в том же роде.

Не могу здесь не сказать нескольких слов об объявленном в 1854 году ополчении. Несмотря на то, что войны против мусульман за единоверцев и единоплеменников всегда встречали в России народное сочувствие, манифест об ополчении принят был всеми сословиями не только холодно, но даже с тяжелым чувством. Как наборы рекрутов всегда возбуждали вой и плач, так и ополченцев провожали, как будто они отправлялись на тот свет; не видно было в народе никакого одушевления, хотя дело уже шло о защите своей земли. В дворянских собраниях заметно было то же: шли в ополчение только те дворяне, которые с приличием не могли от того

уклониться; а кого освобождали лета, здоровье или особенные семейные обстоятельства, те, с едва скрываемой радостью, отказывались от чести и долга защищать свое отечество.

20 февраля 1855 года получено было в Москве известие о кончине Императора Николая Павловича и о восшествии на престол Императора Александра II. Это известие немногих огорчило, ибо нелегко было для России только что закончившееся продолжительное тридцатилетнее царствование; но особенно тяжело и удушливо оно было с 1848 года. Тут подозрительности и своеволия администрации не было пределов. В тот же вечер после присяги Хомяков, Ив. Киреевский и еще несколько приятелей собрались у нас, и мы с надеждами выпили за здоровье нового Императора и от души пожелали, чтобы в его царствование совершились освобождение крепостных людей и созыв общей Земской думы. Слава Богу и великому нашему Государю, первое наше горячее желание уже исполнилось, а к исполнению второго положено необходимое и твердое основание введением уездных и губернских земских учреждений.

В конце 1854 года я составил записку «О финансовых средствах России к продолжению борьбы с Турциею и Европою». В этой записке я изложил, что как во время войны нет возможности заключить внешний заем, то неизбежно обратиться только к внутренним средствам; что при громадных уже произведенных выпусках кредитных билетов нельзя и думать об их значительном умножении; что необходимо оживить, усилить и утвердить государственный кредит внутри государства и что для этого вернейшим средством был бы созыв выборных от всей земли Русской, ибо это одно может превратить государственную войну в народную и тем открыть правительству доступ к частным средствам страны, которые теперь тщательно от него скрываются. Эта мысль была мне внушена особенно тем, что объявленное ополчение вызвало менее сочувствия, чем неудовольствия и жалоб на то, что в нужде к нам обращаются, а при благоприятных обстоятельствах нас и знать не хотят и что вообще содержат в тайне все дела государственного управления. Эту записку я предполагал в конце февраля через Государя Наследника повергнуть на благоусмотрение Государя Императора; но внезапно изменившиеся об-

стоятельства, т. е. кончина его, заставили меня отсылкой этой записки помедлить, и я ее отправил только 9 мая к молодому Императору. Судьба ее печальна и комична: в конце июня в деревне через станowego пристава я получил извещение, что мое «всепопданнейшее прошение» с запиской через комиссию прошений препровождено по принадлежности к министру финансов. Более об этом я уже ничего не слышал. В удостоверение того, что мысль о созыве общей Земской думы, о чем впоследствии я так много писал, была плодом не внезапного вдохновения, а многолетнего размышления и изучения нашего быта. <...>

Падение Севастополя, разные другие поражения и дипломатические переговоры хотя нас и огорчали, однако мы не унывали, ибо чаяли наступления лучших для России дней. Мы даже настолько ожили, что осенью 1855 года приступили к положительным переговорам об издании журнала, что всегда составляло нашу любимую, самую пламенную мечту. А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и я съехались в Москву и порешили издавать журнал сперва в виде четырех книг в год, назвать этот журнал «Русскою беседой» и быть мне его издателем-редактором. И. В. Киреевский не мог приехать в Москву и письмом уполномочил меня действовать за него на наших совещаниях вполне неограниченно. Затем предстояло нам преодолеть еще немало препятствий к осуществлению нашего намерения: исходатайствовать дозволение на издание журнала и выхлопотать снятие запрещения, наложенного на некоторых из нас, как было сказано выше, по случаю задержанного 2-го тома «Московского сборника», издававшегося И. С. Аксаковым. В число постоянных сотрудников «Русской беседы» вошли Ив. С. Аксаков, кн. В. А. Черкасский, И. Д. и М. В. Беляевы, Т. И. Филиппов и многие другие.

По поводу сотрудничества кн. Черкасского считаю нужным сказать несколько слов. Хотя впоследствии он часто считался так называемым славянофилом, а иногда даже становили его и во главу этой партии, но он никогда таковым не был и расходился с нами в самых существенных убеждениях. Он вовсе не считал православного Христова учения основой нашего мировоззрения, высказывался беспрестанно против сельской общины и любил насмехаться над народом-кумиром, коему, по его мнению,

будто поклонялись Хомяков и К. Аксаков. Черкасский как отменно умный человек признавал, что в нашем направлении более силы и будущности, чем в противоположном, т. е. тогдашнем западном, он находил особенное удовольствие в наших беседах и дорожил связями с нами. Ради этого он согласился предоставить мне право вычеркивать из его статей все то, что окажется противным нашему направлению, или требовать от него изменений в этом же смысле. Только на этих условиях мы и согласились принять кн. Черкасского в постоянные сотрудники «Русской беседы».

Попечитель Московского учебного округа В. И. Назимов, заведовавший тогда цензурным делом в Москве, был хорошо расположен ко мне и еще лучше расположен к Т. И. Филиппову, долженствовавшему быть моим помощником по изданию «Русской беседы». Министром народного просвещения был тогда А. С. Норов, мой внучатный брат, с которым я был в самых коротких отношениях. Оба они высказали нам свое полнейшее сочувствие и обещали свое покровительство. Казалось, дело в шляпе. Но не так вышло на самом деле. Проявились опасения и подозрения; пошли справки; завязалась пространная переписка; и только после моей поездки в Петербург, т. е. в феврале, получено было наконец желаемое разрешение. Но и этим дело еще не кончилось: необходимо было снять вышеупомянутое запрещение с главных сотрудников «Беседы», ибо иначе приходилось бы все их статьи предварительно посылать в Петербург, что задерживало бы их напечатание, по крайней мере, на многие месяцы. Как я не был в числе лиц, подвергшихся запрещению, то и не мог ходатайствовать о его снятии. Тогда отправился в Петербург А. С. Хомяков, которому с помощью гр. Д. Н. Блудова и некоторых других лиц удалось наконец достигнуть этого счастливого результата.

«Русская беседа», имевшая выходить четыре раза в год: в январе, апреле, октябре и декабре, появилась первой книгой только в апреле. Хлопоты по получению разрешения на издание журнала и по снятии запрещения с сотрудников были таковы, т. е. так продолжительны и томительны, что не раз приходили мы почти в отчаяние. И. В. Киреевский, живший тогда в деревне и принимавший в этом деле самое живое участие, настоятельно советовал оставить намерение издавать журнал и тем избавиться от хлоп-

пот с цензурным ведомством; но Хомяков и я, мы положили не отступать перед препятствиями и истощить все средства к их устранению. Только в начале марта мы могли напечатать нашу программу и приступить к печатанию самого журнала. Хомяков написал прекрасное предисловие, которое мы все вполне одобрили¹. В первой же книге «Беседы» были помещены статьи Ю. Ф. Самарина – «О народности в науке», И. Д. Беляева – «Критика на обзор исторического развития сельской общины в России», соч. Чичерина» и заметка К. Аксакова «О русском воззрении». Эти статьи и предисловие Хомякова вызвали ожесточенные возражения и насмешки со стороны всех повременных изданий в Петербурге и Москве. Ни одна газета и ни один журнал не отнеслись к нам сочувственно. Истины, ныне сделавшиеся почти общими местами, тогда нами высказанные, сочтены были журналистикой и в обществе какими-то парадоксами, заявленными нами в припадках сумасшествия или в насмешку над здравым смыслом. Особенно поразило многих и очень многих утверждение, что народность имеет великое значение в науке; что последняя разрабатывается в различных видах различными народами; что каждый из них влагает в нее свою особенную лепту; что чем народ самобытнее, тем своеобразнее разрабатывает науку, и тем большую услугу он ей оказывает, и тем более ее обогащает и что наука не есть отвлеченное творение человечества вообще, а произведение различных народов, действовавших на этом поприще согласно особенностям своего духа и своих местных и временных условий и обстоятельств. Это мнение страшно оскорбило и взбесило господ ученых, и Катков, издатель журнала «Русский вестник», разразился целым рядом самых едких статей. Петербургские журналы от него не отстали, но предпочли действовать более сподручными орудиями: насмешками, колкостями и даже клеветами. Русская община, общественное землевладение, обычное право, воззрение православного на Божий мир и проч. – все это вызвало всякого рода глумления, укоры, брани и клеветы. Отвечали мы мало и спокойно и продолжали свое дело безостановочно. Мы вели его в таком согласии и так единодушно, что в течение пятилетнего существования журнала не возникло ни одного сколько-нибудь серьезного столкно-

¹ Оно напечатано и в «Русской беседе», и в сочинениях А. С. Хомякова издания 1861 и 1878 г.

вения или недоразумения между сотрудниками и издателем-редактором. Хотя я действовал самостоятельно и твердо, а в числе сотрудников были люди весьма самобытные и в особенности пылкий и вполне своеобразный К. С. Аксаков, однако мне удалось благополучно и успешно пройти через все стремнины и между всех утесов. Конечно, в этом мне много помогал А. С. Хомяков, который своим добродушием и своей диалектикой всех обезоруживал. Из этой эпохи не могу не рассказать нескольких случаев, отчасти замечательных, отчасти забавных.

Нас, так называемых славянофилов, страшились в Петербурге, т. е. в администрации, пуще огня. Там считали нас не красными, а пунцовыми, не преобразователями, а разрушителями, не людьми, а какими-то хищными зверями. Министр народного просвещения А. С. Норов после выхода нескольких книг «Русской беседы» встретил меня в Петербурге следующими словами: «Ничего; продолжайте, как начали, и вы будете иметь во мне верного защитника. Признаться: я вас шибко боялся – думал, что вы занесетесь Бог весть куда. Нет – ничего. Вас ругают только журналы и газеты – это не беда». Когда однажды К. С. Аксаков посетил А. С. Норова во время его пребывания в Москве, то последний с особенным чувством радости сказал мне: «Я видел Аксакова. Я ожидал найти в нем если не тигра, то медведя; а он очень вежлив и даже, кажется, благодушен».

Когда напечатана была в № 2 «Беседы» 1858 года статья г. Даскалова под заглавием «Возрождение болгар», где говорилось о распрях между царьградским патриархатом и болгарам и обвинялся первый в притязательности и корыстолюбии, то редакция «Русской беседы» получила через Московский цензурный комитет грозную бумагу от обер-прокурора Св. Синода. Эту бумагу я тотчас отправил к А. С. Хомякову, находившемуся тогда в деревне, и просил его немедленно изготовить ответ. Хомяков составил прекрасный – скромный, но весьма твердый ответ, который я дал переписать и тотчас подписал и отправил в Цензурный комитет. Этим дело и закончилось¹.

Летом 1857 года отправлена была к цензору Н. Ф. Крузе моя статья «По поводу журнальных статей о замене обязанной работы наемною и

¹ Он напечатан в полном собрании сочинений Хомякова.

о поземельной общественной собственности». В этой статье говорилось об общинном крестьянском землевладении и намекалось довольно ясно о выгодах и необходимости уничтожения крепостной зависимости людей. Целых два-три месяца статья эта ко мне не возвращалась. В сентябре по возвращении из деревни в Москву я решился ехать к цензору, желавши узнать об участи моей статьи. Н. Ф. Крузе мне сообщил, что он в крайнем затруднении: статья очень хороша, мысли, в ней высказанные, ему вполне сочувственны; но имеется в нем опасение, как бы за пропуск этой статьи не досталось и ему, и журналу. Я прошу Н. Ф. Крузе возвратить мне статью, ибо не желаю подвергать его ответственности. Благородный цензор берет перо и с пропуском статьи к напечатанию мне ее возвращает. К счастью, напечатание этой статьи совпадало с обнародованием Высочайшего рескрипта 20 ноября 1857 года; и таким образом, и цензор, и журнал не подверглись никакой ответственности. «Русс. беседа», наш кружок и я в особенности в 1856 году понесли великую потерю: 11 июня в Петербурге скончался Иван Васильевич Киреевский. Он было принялся очень усердно и горячо за писание философских статей для «Беседы»; но ему оказалось необходимым ехать в Петербург, где старший его сын держал в лицее выходной экзамен. Там от холеры в несколько дней он скончался на руках сына, А. В. Веневитинова и гр. Комаровского. Эта утрата нас всех очень огорчила; а я с ним схоронил как будто половину себя.

Не могу здесь не рассказать одного приключения, незначительного самого по себе, но хорошо характеризующего как только что тогда пережитые времена, так и московского генерал-губернатора гр. Закревского, вполне пропитанного правилами покойного Императора.

Я прежде говорил о ненависти этого высокого сановника к нам, так называемым славянофилам. В ожидании приезда в Москву молодого Императора, долженствовавшего в августе короноваться, гр. Закревский решился на подвиг блистательный. Бороды и зипуны, которые носили Хомяков и Константин Аксаков, возбуждали его крайнее негодование. Он вздумал обязать их подпиской не показываться в публике в этом «костюме» и не носить бороды. Хомяков и Аксаков, озадаченные таким требованием, к сожалению, дали требуемую подписку. Затем приезжает и ко

мне московский обер-полицеймейстер. Как он был человек мне знакомый и ко мне ездил и не по делам, то сперва он беседует со мной и о том, и о другом и наконец решается сообщить просьбу генерал-губернатора о сбритии моей бороды. Предупрежденный случившимся с моими друзьями, я отвечаю обер-полицеймейстеру, что прошу передать его сиятельству мою покорнейшую просьбу – оставить мою бороду в покое. «Если же это невозможно, – прибавил я, – то придется взять меня силой и обрить меня в цирюльне». Этим и закончился поход генерал-губернатора против моей бороды и более о ней уже никакого разговора не было.

Глава X (1857–1860)

Эпоха уничтожения крепостного права. — Рескрипт 20 ноября 1857 г. — Проекты освобождения. — Журнал «Сельское благоустройство» и его прекращение от цензурных стеснений. — Рескрипт на имя рязанского губернатора 1858 г. — Работы в комитетах в звании члена от правительства. — Борьба партий. — Проект освобождения крестьян с землею. — Слабохарактерность Ростовцева. — Отъезд за границу. — Прага. — Вена. — Швейцария. — Италия. — Встреча с Кавуром. — Париж. — Брюссель. — Остенде. — Вел. кн. Елена Павловна. — Брошюра «Депутаты и Редакционные комиссии по крестьянскому делу». — Замечания на доклады Редакционной комиссии. — Отъезд в деревню. — Недовольство Редакционной комиссией. — Смерть А. С. Хомякова 1860 г. — Его личность.

Теперь подхожу я к великой эпохе уничтожения на Руси крепостной зависимости людей.

Еще в 1856 году Государь, принимая в Москве предводителей дворянства, сказал им, что в быте крепостных людей необходимо сделать изменения и что желательно произвести их сверху, прежде чем они потребуются снизу. Вследствие этого и в обществе и в официальных, даже в придворных сферах пошел сильный говор о предстоящих преобразованиях в быте крепостных людей. Но решительный толчок этому делу дан был обнародованием Высочайшего рескрипта от 20 ноября 1857 года на имя виленского генерал-губернатора Назимова. Это обнародование произвело сильнейшее действие во всей империи: одни страшно перепуга-

лись – были, так сказать, ошеломлены; другие обрадовались; многие и весьма многие просто не поняли значения этого события. Из Петербурга и Москвы тревога перешла в губернии, и там недоумениям и страхам не было границ; все спрашивали друг друга: «Что же теперь делать?» Копии с упомянутого рескрипта разосланы были не только к губернаторам, но и к губернским предводителям дворянства и сопровождались внушительными отношениями. Первый ответный адрес на высочайшее имя по случаю этого рескрипта поступил, кажется, из Нижнего Новгорода; затем все губернии, одна за другой, хотя и с горем в душе, изъявили готовность приступить к указанному великому делу – улучшения быта крепостных людей. На представленные адреса давались каждой губернии высочайшие рескрипты и учреждались губернские комитеты.

Рассказывали, что в Петербурге в высшей администрации была сильная борьба против опубликования рескрипта к виленскому генерал-губернатору и в особенности против официальной рассылки этого документа к губернаторам и губернским предводителям дворянства прочих губерний империи. Во главе оппозиции стоял председатель Государственного Совета кн. Орлов; и он решился всем авторитетом своего звания и своей опытности подействовать на молодого Императора. Он отправился во дворец, приказал о себе доложить Государю, и как в это время из кабинета Императора выходил старик гр. Адлерберг, то Орлов сообщил ему в коротких словах о цели своего приезда. Входит он в кабинет Императора, говорит ему самым сильным и настойчивым образом против опубликования упомянутого рескрипта и почти на коленях умоляет Государя не открывать эры революции, которая поведет к резне, – к тому, что дворянство лишится всякого значения и, быть может, и самой жизни, а его величество утратит и престол. Когда кн. Орлов выходил из кабинета Государя, то ожидавший его выхода гр. Адлерберг спросил его: «Ну, что?» – «Потрясен, – ответил с довольной улыбкой кн. Орлов, – и рескрипт не будет опубликован». Еще не успел кн. Орлов отъехать от дворца, как доклад министра внутренних дел об обнаружении рескрипта был уже Государем утвержден и тотчас возвращен по принадлежности. На следующий день этот рескрипт появился в официальной газете.

Когда в обществе сильно заговорили об освобождении крепостных людей и правительство становилось во главе этого движения, тогда я решился принять в этом деле самое горячее участие. Для достижения этой благой, постоянно бывшей у меня в виду цели я вздумал действовать двумя способами: составлением и оглашением проекта по этому предмету и издаванием журнала, исключительно посвященного делу уничтожения крепостной зависимости людей на Руси.

Об этом составлявшемся мною проекте, которого главные основания я охотно сообщал всем, кто только меня о том спрашивал, много заговорили в Москве; и в декабре 1857 года я получил от кн. Василья Андреевича Долгорукова, начальника 3-го отделения Собственной его величества канцелярии, письмо, которым он по высочайшему повелению просил меня прислать для представления Государю Императору копию с моего проекта. При этом он удостоверял меня, что в этом случае он действует не как начальник 3-го отделения, а как мой знакомый и как генерал-адъютант. Я тотчас ему ответил, что за счастье счел бы немедленно исполнить волю Государя Императора, но что записки мои еще не готовы; что теперь с особенным рвением примусь за окончательную их отделку и что не премину их к нему, кн. Долгорукову, препроводить, как скоро они будут закончены. Тогда я сильно принялся за свои «Записки», и через три недели они были готовы. В одно и то же время подобные же записки были составлены Ю. Ф. Самариным и кн. В. А. Черкасским. Когда наши записки были готовы, т. е. в январе 1858 года, мы их прочли друг другу; и оказалось следующее: Ю. Ф. Самарин предлагал только расширить и сделать более удобоисполнимым прежний указ об обязательных крестьянах. Кн. Черкасский имел в виду освобождение крестьян только с усадьбами. Мой проект был самый радикальный: я предлагал выкуп крестьян с землей, находящейся в их владении. Такое освобождение должно было совершиться в двенадцать лет; предполагалось сперва предоставить помещикам право в течение первых трех лет входить с крестьянами в добровольные сделки насчет количества выкупаемой земли, ее цены при *maximum'e*, установленном от правительства по разным губерниям, и насчет сроков уплаты и границ отводимого на-

дела. Потом имелось в виду назначить трехгодичный срок, в течение которого условия о выкупе должны составляться при посредничестве выборных от дворянства и от крестьян. Наконец, в третий уже шестилетний срок при продолжении действия первых двух способов имело вступить в действие обязательное определение всех условий выкупа через чиновников, от правительства назначенных. По выслушании моих записок Ю. Ф. Самарин пришел в ужас от радикальности предлагаемых мной мер и сказал: «Нет! не посылайте этих записок; они перепугают в Петербурге и заставят идти назад». А кн. Черкасский, напротив того, выразился так: «Нет! отправьте их непременно. Хотя ваши записки действительно радикальны; но не беда – из большого можно убавить и все-таки останется довольно. Петербург надо обстреливать». Записки мои были окончательно набело переписаны в трех экземплярах – для Государя, для кн. Долгорукова и для министра внутренних дел; и в первых числах февраля они были отправлены в Петербург. Впоследствии мои записки, как и многие другие, были переданы сперва в Главный комитет по крестьянским делам, а потом в Редакционные комиссии, учрежденные под председательством генерал-адъютанта Я. И. Ростовцева. И тут, по отзывам членов комитета и комиссий, мои записки оказались самыми радикальными; но мой радикализм остался таковым не на долгое время; вскоре он был значительно превзойден, и меня чуть-чуть не зачислили в отсталые. <...>

Зима 1857–1858 годов была в Москве до крайности оживлена. Такого исполненного жизни, надежд и опасений времени никогда прежде не бывало. Толкам, спорам, совещаниям, обедам с речами и проч. не было конца. Едва ли выпущенный из тюрьмы после долгого в ней содержания чувствовал себя счастливее нас, от души желавших уничтожения крепостной зависимости людей в отечестве нашем и наконец получивших возможность во всеуслышание говорить и писать о страстно любимом предмете и действовать как будто свободно. Другие и, к сожалению, весьма многие волновались от страха и успокаивали и утешали себя только тем, что это дело не может осуществиться, что поговорят, поговорят о нем, и тем оно и покончится; а потому они не скупились на

словоизвержения и пуще всего угощали своих собеседников возгласами и застрачиваниями. В обществе, даже в салонах и клубах только и был разговор об одном предмете – о начале для России эры благих преобразований, по мнению одних, и всяких злополучий, по мнению других; и московские вечера, обыкновенно скучные и бессодержательные, превратились в беседы, словно нарочно созданные для обсуждения вопроса об освобождении крепостных людей. Одним словом, добрая старушка Москва превратилась чуть-чуть не в настоящий парламент.

В это время, а именно в конце декабря 1857 года, я решился при издаваемой мной «Русской беседе» выпускать ежемесячно, в виде особого прибавления, книжки под заглавием «Сельское благоустройство», посвященное исключительно делу освобождения людей от крепостной зависимости. Постоянными сотрудниками обещались быть Ю. Ф. Самарин, кн. Черкасский и некоторые другие. Я поехал в Петербург, выхлопотал там без особых затруднений разрешение на издание этого журнала и в феврале выпустил первую книжку «Сельского благоустройства». В этом журнале, особенно в первых его книжках, я поместил много своих статей; а библиографические сведения, с краткими критическими отзывами, не подписанные особыми буквами, все составлены мною. «Сельское благоустройство» расходилось хорошо, сотрудники являлись со всех сторон; и это происходило главнейше оттого, что я помещал статьи без всякой исключительности, наблюдая только за тем, чтобы статьи были дельные и прилично написанные. У меня был не недостаток, а излишек в статьях; и главный труд заключался в их прочтении, в выборе лучших из них к напечатанию и в составлении примечаний к тем статьям, которые противоречили мнениям редакции. Занявшись исключительно «Сельским благоустройством», я воспользовался обязательным предложением И. С. Аксакова и временно передал ему главные труды и заботы по изданию «Русской беседы». Сначала «Сельское благоустройство» в цензурном отношении мало меня затрудняло; корректуры возвращались мне цензором скоро и почти без поमारок; но с осени 1858 года пошли из Петербурга конфиденциальные циркуляры; а в конце года предписано было оттуда препровождать на процензорование в Петербург все ста-

ть, сколько-нибудь несогласные с заявленными видами правительства. В первых месяцах 1859 года затруднения по цензуре сделались невыносимыми; почти все статьи отправлялись в Петербург; там они задерживались по два, по три месяца и возвращались оттуда не только с пометками, но иногда даже со вставками, противоречащими главной мысли автора. Вследствие этого январский номер вышел только в феврале, а февральский – в апреле вместе с объявлением о прекращении издания «по причинам, от редакции не зависящим», т. е. по невозможности исполнять требования цензуры. Хотя это прекращение издания было для меня очень прискорбно, однако я вынужден был на это решиться, потому что трудно противу рожна прати.

По воспоминанию Высочайшего рескрипта на имя рязанского губернатора в начале лета 1858 года разосланы были к дворянам приглашения на уездные собрания для выбора членов в губернский комитет. Мне чрезвычайно хотелось участвовать в деятельности этого комитета; но я не имел никакой надежды на избрание в члены его сапожковским дворянством, считавшим меня одним из главных виновников предстоявшего бедствия для российского дворянства и потому заслуживающим, по крайней мере, колесования. Проезжая из Москвы через Рязань, я посетил губернатора г. Клингенберга, который предложил мне быть членом комитета от правительства. Я спросил его, не обязаны ли члены от правительства поддерживать все мнения и требования Министерства внутренних дел, и сказал ему, что, душой преданный делу освобождения крепостных людей, я не могу принять на себя защиту того, что счел бы для этого дела вредным. По получении от него успокоительного ответа я изъявил согласие на принятие на себя обязанностей члена от правительства и вскоре был утвержден в этом звании министром внутренних дел. Точно так же поступил Ю. Ф. Самарин и князь Черкасский. <...>

В одном из осенних номеров «Сельского благоустройства» помещена была статья кн. Черкасского, в которой было сказано, что нежелательно, чтобы теперь внезапно были отменены телесные наказания в крестьянском быту, и тем более что сами крестьяне считают их еще необходимыми. По этому поводу поднялись в журналистике ужасные

крики, брани и глумления. Кн. Черкасский как автор статьи, а я как издатель журнала, в котором она была помещена, были просто-напросто привязаны журналистикой к позорному столбу. Заведующий в мое отсутствие из Москвы изданием «Русской беседы» и печатанием «Сельского благоустройства» И. С. Аксаков счел долгом за нас заступиться и в статье, напечатанной в «Московских ведомостях», имел неосторожность сказать, что странно и неприлично нападать на людей, которые в настоящее время борются в губернских комитетах, отстаивая права и интересы крестьян «против своекорыстия и невежества». Эта статья подняла страшные бури в комитетах и в Туле против кн. Черкасского, и в Рязани против меня. Члены большинства Рязанского комитета подошли ко мне в зале наших заседаний и спросили меня, буду ли я отвечать на клевету, напечатанную г. Аксаковым в «Московских ведомостях»? На это я им отвечал: «Как я буду действовать в настоящем случае – еще не знаю; но, во всяком случае, не считаю себя обязанным отдавать в том кому-либо отчет». <...>

На следующий же день я отправился из Рязани с искренним желанием туда более не возвращаться; а потому я велел все уложить для перевозки в Москву. Хотя мне очень не хотелось возвращаться в Рязань, однако я предвидел, что высшее правительство на это не согласится и что всячески будут меня уговаривать на возврат к занятиям в Комитете; а потому, проезжая через Москву, я виделся с одним рязанским помещиком и моим добрым приятелем Д. Ф. Самариным и заручился его согласием на принятие звания члена от правительства на место Маслова, который в Комитете постоянно действовал против меня и с которым я решительно не хотел там оставаться.

По приезде в Петербург в тот же день я отправился к министру внутренних дел Сергею Степановичу Ланскому. <...>

С. С. Ланской вполне одобрил мои условия и в тот же день поехал с докладом к Государю, который приказал этот доклад рассмотреть на следующий же день в Главном комитете по крестьянскому делу.

Вечером я поехал к Я. И. Ростовцеву, с которым я был прежде знаком и который был членом упомянутого Главного комитета. Я рассказал ему как

случившееся в Рязани, так и содержание моего письма к министру внутренних дел. Он обещал поддерживать в Комитете мои условия.

В Комитете были, как мне рассказывали, жаркие прения. Одни предлагали раскассирование всего Рязанского губернского комитета, другие требовали, согласно с представлением губернатора, исключения четырех членов и выговора Комитету; но Ланской и Ростовцев настаивали на безусловном принятии моих предложений. Последнее мнение наконец восторжествовало, и оно удостоилось Высочайшего утверждения. Д. Ф. Самарин по моей просьбе был назначен вторым членом от правительства по Рязанскому комитету.

В Москве я пробыл недолго; и как только Д. Ф. Самарин собрался к отъезду, то мы вместе отправились в Рязань. <...>

В феврале, когда в Комитете были покончены прения о разных вопросах по крестьянскому делу и приступлено было к редакции проектов, во время Масленицы я счел нужным съездить на несколько дней в Петербург. Там уже были учреждены под председательством Я. И. Ростовцева Редакционные комиссии по крестьянскому делу. В это мое там пребывание я провел целый вечер в беседе *tete-a-tete* с Ростовцевым, и мои мнения по этому делу так ему понравились, что он пригласил меня по окончании дел в Рязанском комитете быть членом упомянутых Редакционных комиссий. Я изъявил полную на то готовность и уехал из Петербурга совершенно уверенный, что буду участвовать в разработке крестьянского дела и в высшей инстанции. В марте кн. Черкасский и Ю. Ф. Самарин получили письменные приглашения в члены Редакционных комиссий, и первый по эстафете из Тулы, а последний по почте – из Самары – спросили меня о том, когда я думаю ехать в Петербург для принятия участия в трудах Редакционных комиссий. Я ответил и тому, и другому, что еще не получил никакого письменного приглашения, но что, во всяком случае, не уеду из Рязани, не окончивши тут своего дела. Проходит и апрель, а я все не получаю ожидаемого приглашения. Почти все приглашенные уже туда отправились; начались там самые важные работы, а я сижу у моря и жду погоды. В конце апреля я решился уехать в деревню.

Но на месте мне не сиделось, и я вздумал ехать за границу и проездом побывать в Петербурге, а именно у Ростовцева. Мои сборы были

недолгие; в половине мая я был уже на берегах Невы. Поутру в 10 часов я отправился к Ростовцеву, который жил тогда на даче, кажется, на Аптекарском острове. Я встретил Ростовцева на крыльце отправляющегося на прогулку. Он хотел возвратиться домой, но я просил его позволить мне сопутствовать ему в его прогулке. Разговор во все время нашего пешеходства был самый живой и почти дружеский; но я заметил, что утонченной учтивостью и разными любезностями он старался скрыть или изгладить неловкость своего в отношении ко мне положения. На вопрос его, долго ли я пробуду в чужих краях, я отвечал, что, не имея теперь никакого особенного занятия, я хочу погулять и отдохнуть и останусь за границей столько времени, сколько вздумается. Он спросил меня, где за границей я думаю несколько времени оставаться, и просил у меня «разрешение» присылать ко мне журналы Редакционных комиссий, выразив желание, чтобы я сообщал ему мои на них замечания. По возвращении нашем в его дом он передал мне полный экземпляр уже состоявшихся и напечатанных журналов Редакционных комиссий и взял мои адреса и в Карлсбад, и в Остенде; затем мы распростились. Ни тогда, ни после я не мог узнать на-верное причины, почему меня не пригласили в Редакционные комиссии. Уверен, что не Ростовцев тому виной, ибо он оставался ко мне весьма благорасположенным и очевидно было его желание, чтобы я участвовал в трудах находившихся под его председательством комиссий. Говорят, что имя мое, включенное в список членов Редакционных комиссий, вызвало в Главном комитете самые сильные прения и что меня забраковали главнейше потому, что я был журналистом-издателем-редактором «Русской беседы» и «Сельского благоустройства». Пуще всех, говорят, настаивал на моем исключении граф В. Н. Панин, который говорил, что уже главу славянофилов неприлично и невозможно приглашать в правительственную комиссию.

Через Берлин я поехал в Карлсбад, где пил воды, брал ванны и старался освободить себя от желчи, накопленной в Рязани. Там я получал аккуратно высылаемые на мое имя журналы Редакц. комиссий.

[Здесь следует «вставка» из «Дневника» А(лександра) И(ванови)ча за 1857 г. – По окончании курса вод в Карлсбаде Александр Иванович от-

правился в Прагу и Вену; о пребывании своем здесь он говорит в своем «Дневнике» то, что следует далее. (*Примеч. издат.*)]

Прага 1857 г. Июля 6/18. Поутру рано я отправился ходить по городу. Прелесть как город живописен, и сверх того с последнего моего пребывания в нем он много украсился. Особенно промышленная часть значительно развилась: магазины хороши и более жизни на улицах. В 9 часов я отправился к В. В. Ганке, которого нашел свежим, бодрым и отменно радушным. С ним мы долго беседовали, от него узнал многое насчет умственного движения в Чехии. Движение идет вперед, теперь оно глубже захватывает. После пошел к Шафарику, которого я нашел в болезненном и крайне расстроенном положении. Виден еще отменно умный, исполненный потухающей жизни человек, но уже развалины того, что некогда было. Ему запрещено писать, читать и даже говорить о предметах, могущих его волновать. Доктора полагают, что у него водяная в голове. После обеда я гулял по городу, посетил сады на Schutzen и Sophien островах, а вечером был в «Чешской беседе». Меня ввел туда В. В. Ганка, и там провел я время крайне приятно, найдя там истинно славянское радушие и гостеприимство. Тут познакомился я с гг. Ербеном, Шумовским, Томичеком, Запом и друг<ими>. Всего более беседовал я с первыми тремя. В Ербене я нашел отменно умного, просвещенного, живого, горячего человека. В Шумовском – умного и неутомимого лексикографа, а в Томичеке умного, милого и крайне добродушного человека; невольно что-то к нему притягивает. Много было разговоров о том и о сем. Но я их запишу завтра, ибо еще кой-что недостаточно объяснено. Насчет цензуры, то хотя ее нет, но постановлено, что всякая книга должна быть представлена в полицию за три дня до выпуска в продажу, так что всякая полиция сделалась цензором. Газеты представляются до выпуска за 3 часа. Книга или газета воспрещается и конфискуется, и это особенная милость (которую надобно выпрашивать), чтобы позволено было некоторые листы перепечатать. Вообще свобода книгопечатания менее, чем при цензуре. Еще вещь замечательная: в Карлсбаде, в Мариенбаде и в Праге я заметил, что все австрийцы, как немцы, так и славяне, никогда не говорят свободно, не оглянувшись: не подслушивает ли их кто-нибудь. Система доносов чрезвычайно сильно организована, и, поживши в Австрии, чувствуешь, что какой-то гнет на вас лежит. Нельзя сказать, чтоб австрийское правительство много книг конфисковало, но страх этой меры таков, что писатели почти ничего не смеют писать, а издатели еще менее издавать, что могло бы

быть конфисковано; но вообще в Австрии народ пишущий и издающий небогат, и такая мера для них разорительна.

Июля 7/19. Поутру с г-ном Ганкой и московским профессором Матушенковым мы отправились сперва в церковь Св. Тына (по-немецки *Teun*), где было богослужение. Церковь прекрасная, и богослужение отправлялось очень хорошо; орган очень благозвучный, проповедь – по-чешски. Потом пошли мы в Градчины. Вид Градчин и оттуда на Прагу чудо как хорош, но некоторые церковные башни в городе уже уничтожены. Церквей так много, что некоторые уже заперты. Одна церковь в Градчинах чисто византийской архитектуры. Г-н Ганка, который свеж, молод и бодр, несмотря на седьмой десяток, имеет сильнейшее желание, чтобы в Праге был русский консул и чтобы одна из запертых церквей отдана была восточному Православию. Народ здесь вовсе не *Papistisch gemeint* (предан папе. – *нем.*). Он набожен, но в нем не видно тесно католического направления. В Градчинах мы посетили чудный собор Св. Витта (*Veit's Dom*). Во дворец мы не пошли. Тут зимой живет Император Фердинанд; а летом он в своем замке, который в нескольких милях от Праги. Его любят за его доброту; а нынешнего Императора шибко не жалуют. Его не считают умным и говорят, что всем заправляет его мать, которая умна и хитра. Как Градчины, так и самая Прага представляют вид города упадающего. Чудные дворцы в упадке, или пусты, или превращены в казармы и богоугодные заведения. Потом мы исходили малую часть города (*die kleine Seite*) и после 4-х часовой ходьбы возвратились домой. Г-н Ганка все время был на ногах, ни разу не присел и был бодр и жив. Он всякий день купается и много плавает и вообще наслаждается полным здоровьем. После обеда мы отправились в экипаже на прогулку в Бубенгах. Сад прекрасный, и виды чудные. Оттуда мы поехали на народный праздник св. Маргариты, установленный с древних времен. На этом празднике народу было очень много, но как нашли тучи, то многие уже возвращались, когда мы туда ехали. Были качели, разные балаганные представления, но главное удовольствие составляли танцы – вальс. Вальсировали чисто по-немецки. Этот праздник носит на себе, как и все в Праге, преимущественно характер немецкий. Вечером был я в «Беседе».

Июля 8/20. Поутру ходил к Ганке, Шумовскому, Томеку, Томичеку и наконец к Шафарику. У последнего сегодня сидел долее, чем в первый раз. Видны лишь развалины человека, но и в развалинах заметна сила и ум. Мы говорили довольно. Он сам шел на разговоры серьезные, и я не имел духа его с них своротить. Он говорил, что теперь народное направление серьезнее и общее, чем прежде, хотя в нем бодро-

сти, силы и гения несравненно менее. Великая беда наша, говорил он, что у нас нет денежных средств, ибо все наши вельможи во вражьем стану, – они все сделались немцами, не живут в Праге, не говорят по-чешски и хотят быть австрийцами; от чужих, т. е. из-за границы, принимать нам пособие есть дело чисто невозможное. Эти деньги нам сделают более вреда, чем пользы. Как бы секретно это дано ни было, правительство австрийское то узнает, и оно нас за это не накажет явно, но будет всячески притеснять, лишит со временем места и всячески выместит. Вы, русские, особенно Погодин, заявлял он, имеете всегда в общении с нами какие-то политические виды, – этим вы вредите и себе, и нам, и делу. Не заботьтесь о нас, заботьтесь о себе; встаньте сами на ноги; глядя на вас, и мы постараемся быть чехами и делать общее «Славянское дело». – «Русских чехов, – говорил он, – теперь остается только один Ганка; он остаток прежнего движения; теперь чехи хотят быть чешскими чехами. Мы не враждебны, напротив, кротки, благорасположены к русским; но входить в русские интересы мы не только не можем, но даже и не желаем. Движение народное продолжается, но оно идет глубже. Теперь во всех чешских школах учат по-чешски; чешский язык между нами, не аристократами, сделался общественным языком, чего прежде не было». Шафарику теперь 62 года, он родился в 1795 (Ганка в 1791, а Палацкий в 1798 г.). Он собирается путешествовать. Теперь он библиотекарем, получает жалования 1500 гульденов, квартиру и отопление. Он не в нужде. Палацкий в деревне, и я не мог с ним познакомиться. Я познакомился с Шумовским, издателем лексикона, с Томичеком, переводчиком разных русских повестей; с Запом, профессором реальных школ, издателем археологических «Памяток»; с Пуркинью – профессором физиологии; с Воцелом – профессором археологии. К сожалению, не имел возможности познакомиться с Томеком (не застал его дома и не встретил в «Беседе») и с Рителсбергом, который в большой бедности, которого нигде не встретил и о котором я, к сожалению, вспомнил только вечером, перед отъездом. После обеда пришли ко мне Ганка и Ербен, и мы отправились с последним смотреть паровую мельницу, устроенную у заставы под Прагой.

Июля 9/21. Ганка пришел меня проводить, и в 7 часов я был уже на железной дороге. Мы приехали в Вену в 7 с половиной, но целый час разбирались со своими вещами и только к 9 часам были в гостинице.

Июля 10/22. Все утро провел я у М. Ф. Раевского, говорили очень много и о весьма многом. Положение славян очень грустно: великая апатия; полное разединение между славянскими народами. Дворянство славянское все превратилось

в немецкое, и остальные славяне без денежных средств ничего делать не могут. Сверх того, как только проявится между славянами замечательный, энергичный человек, то правительство тотчас дает ему какое-либо выгодное место, и он делается австрийским чиновником. Чиновникам не позволено ничего печатать без согласия их начальства; в газетах же писать им безусловно запрещено. Славяне вообще бедны, и казенное место доставляет им средство существовать, – вот почему нет почти никакого движения в славянстве. Ходили в библиотеку к Миклошичу, но не застали его там. Возвратились в город в 7 часов, нашли у М. Ф. Раевского профессора и декана здешнего Лютеранского Коллегиума славян Кузмина <...>. Очень рад был я с ним познакомиться. Человек он умный, живой и общительный. Мы говорили с ним обо многом. Матица чешская самая деятельная. Моравская – находится в руках католиков, и они направили ее к своей цели. Галицко-русская – во Львове и иллирийская – в Загребе (Аграме) действуют порядочно. Сербская – в Песте и славянская – в Клагенфурте чуть дышат. Вообще деятельности их теперь очень слабы по недостатку материальных средств. Старые члены умирают, а новых поступает мало, ибо правительство смотрит весьма подозрительно на всех деятельных и новых членов «Матиц». Движение славянское вообще теперь слабо.

11/23 июля. В 12 часов были с Раевским у Миклошича в Публичной библиотеке и оттуда отправились к Вуку Стефановичу Караджичу. Застали его дома; он стар, но еще очень жив; он говорил много, очень живо, был очень приветлив. Он особенно работал над соединением славян. К нему пришли Кузмин, с которым я вчера познакомился, и Урбар, протестантский священник, очень ревностный славянин. Оба они словаки. В половине 10-го мы все вышли от Караджича и пошли вместе и зашли к священнику Раевскому, у которого просидели до 12-го часа. Словаки имеют сильнейшее желание быть славянами; для них одно литературное единение кажется недостаточным, но какое же им иное? Не должно их обманывать и следует проповедовать одно духовное единение, ибо оно одно возможно. Урбар очень пламенный человек и умный. Он сильно действует на народ. Славянская газета только одна издается в Вене Лихардом и имеет около 1000 подписчиков. Бедово положение славян еще тем, что из своей братьи они не знают, кому можно довериться, ибо из них беспрестанно переходят на сторону австрийцев.

12/24. В первом часу имел долгий разговор со словаком Гурбаком. Их не должно называть словаками; они себя называют словенами, а наречие словенским. Оно очень близко к чешскому, так что чешское, моравское и словенское мож-

но считать одним языком. Руссинское всего ближе к малороссийскому, шлезское (Wasser-Polaken) – к польскому. К сербскому очень близки хорватское и словенское, т. е. южные наречия. Из народного словенского (словацкого языка) часть наречия всего ближе к чешскому, другая к польскому, третья к руссинскому. Мы весьма уговаривали Гурбака издавать журнал, но политического издавать он не может, ибо нужно представить обеспечение в Вене в 6 т., а в других городах в 3 тыс. гульденов; а чисто литературный журнал, где нельзя разбирать и толковать об общественных вопросах, никто читать не будет. Теперь для нового журнала минута неблагоприятная, ибо австрийское правительство даже на немецкие журналы все более и более налагает. Беда славян, что решительно у них нет центра и что они все совершенно без сообщений. «Русская беседа» произвела здесь вообще прекрасное действие.

Вечером был у Раевского, где познакомился с доктором Клуном. Он живой, умный и приятный в обществе человек. Он обещался быть деятельным сотрудником «Русской беседы». Мы много говорили о разъединении славянском в отношении веры, языка, политического и общественного быта. Он бодр и говорил, что между южными славянами, т. е. сербами, хорватами и словенцами, есть движение и что единение подвигается.

[Здесь оканчивается «Дневник» и продолжаются «Записки». (*Примеч. издат.*)]
<...>

Хотя Венеция в это время была еще австрийским владением, но собственно немецкого там не было ничего, и она являлась итальянским по преимуществу городом.

Из Венеции через Милан я отправился по направлению к Швейцарии. Ехавши на лошадях, в коляске, я должен был ночевать в городе Domo d'Ossola. Въезжая в город, вижу большое волнение в народе и шум необычайный. Узнаю, что причиной этого – приезд в город знаменитого Кавура, вышедшего в отставку по причине Виллафранкского мира между Францией и Италией. Так счастливо случилось, что я на ночевку попал в ту же гостиницу, где остановился и Кавур. По занятии номера я иду в общую залу, выхожу на балкон и вижу, как Кавур расхаживает по улице между народом, шумно его приветствующим. С балкона люблюсь я этим зрелищем; немного времени спустя входит на балкон и сам Кавур. Кланяюсь ему и прошу от иностранца принять дань уважения и удив-

ления; завязывается между нами разговор. Затем мы вместе ужинаем и узнаем, что едем оба в одно и то же место – в Женеву. На другой день мы выезжаем в одно время, – он в своем, а я в своем экипаже; останавливаемся довольно часто, выходим из колясок и вместе любуемся прелестными видами от Domo d'Ossola до Martigny; обедаем и ужинаем вместе. После ужина, на второй день, идем гулять, завязывается у нас крайне интересный разговор о происходящем в России освобождении крепостных людей и о русской общине. Разговор этот был так жив и завлекателен, что не чувствительно мы прогуляли до второго часа ночи. В заключение Кавур сказал мне насчет русской общины следующие замечательные слова: «Да, я вижу, что вы имеете такое учреждение, которое спасет вас от многих бедствий, ныне терзающих Европу и грозящих ей в будущем нескончаемыми беспорядками. Вы очень счастливы: для вас будущность не страшна». Тут же мы порешили с следующего дня ехать до железной дороги не в разных экипажах, а в одном. И по железной дороге, и на пароходе до Женевы мы ехали вместе, и только тут мы расстались; он тотчас поехал на дачу к другу своему Делариву, а я остался в Женеве. Знакомство с этим замечательным человеком доставило мне великое наслаждение: еще я не встречал ни одного иностранца, который бы так хорошо, живо и полно понял наш народный дух и превосходство нашей общины, как Кавур. Видно было, что он постигал не одним умом, а и душой. Имел я дело с бар. Гакстгаузеном, которому наконец мы втолковали смысл и значение русской общины и который прекрасно о ней написал в своей книге о России; но видно было, что это учреждение он понял только умом – как статистический факт, а вовсе не как зародыш, как залог великой будущности России. В Кавуре я нашел не пламенного итальянца (да он и не итальянец) и не болтливую, живую, легкомысленную француза. Великое счастье для Италии, что судьбы ее попали в руки савойца, который соединял жар итальянца с основательностью и обширностью взгляда истинного государственного человека. В нем были и замечательное спокойствие, и большая сила воли, и редкая положительность в мнениях, и неутомимая, жизни преисполненная деятельность. В нем виден был истинно великий человек.

Погостивши недолго в Женеве, я отправился в Париж, где пробыл около недели. Любовался я тут новыми бульварами, новыми улицами и новыми громадными зданиями; но скорбел об участи Франции, угнетенной ловким мошенником, вскарабкавшимся на ее престол.

В Брюсселе виделся с Погенполем и много говорил о направлении «Nord'a»... советовал ему менее извиняться, менее нас маскировать в европейское платье и стараться быть более русским. Я говорил ему, что необходимо завести настоящих русских корреспондентов в России и отдавать отчет о движении умов; что «Nord» не должен принадлежать ни партии славянофилов, ни партии западников, но быть благонамеренным, самостоятельным. Еще мы много говорили о необходимости завести книжную торговлю русскими книгами в Берлине, Лейпциге, Вене, Праге, Триесте, Брюсселе и Париже. Вечером я приехал в Остенде.

В Остенде я нашел целую кипу ожидавших меня журналов Редакционных комиссий. Прочитавши эти журналы, я увидел, что комиссии уже перешагнули через мой проект относительно как величин наделов, так и прав, предоставляемых крестьянам по самоуправлению, и что они чересчур вдавались в регламентацию. В Остенде я нашел также приглашение прибыть в Петербург в числе прочих депутатов от губернских комитетов или, вернее выразиться, в числе прочих представителей разных сочиненных Комитетами проектов. <...>

Я был в полной нерешимости: ехать ли мне или нет в Петербург по вызову, мной полученному в качестве члена от Рязанского комитета? Из журналов Редакционных комиссий я видел, что не могу поддерживать многие из их положений; зная состав губернских комитетов, я был вполне уверен, что с членами, имеющими от них прибыть, я еще менее могу согласиться. Следовательно, мне предстояло спорить и с теми, и с другими; а одному и у горшка каши не спору. Вследствие этого я вовсе не желал ехать в Петербург и почти решился отказаться от этой поездки. На полученное письмо от кн. Черкасского и Самарина, которые убеждали меня скорее прибыть в Петербург, я отвечал в этом именно смысле, о чем сказал и Вел. княгине. Она весьма не одобрила моего решения и всячески убеждала меня не отказываться от поездки в Петербург. Около 20 августа я получил теле-

грамму от кн. Черкасского и Самарина, которой они вновь убеждали меня поспешить приездом в Петербург, прибавляя, что если я не приеду, то поступлю дурно. Великая княгиня, узнавши от меня об этой телеграмме, еще более настаивала, чтобы я немедленно отправился в Петербург. Наконец я решился ехать и прибыл туда на пароходе из Штеттина 25 августа в тот самый час, когда члены от Комитетов были собраны под председательством Я. И. Ростовцева в первое торжественное заседание.

Я не буду здесь рассказывать о том, что делали депутаты в Петербурге и какие невзгоды они там испытали; все это подробно описано в брошюре, изданной мной в Лейпциге в 1860 году под заглавием «Депутаты и Редакционные комиссии по крестьянскому делу». Перечитавши теперь эту брошюру, вижу, что все в ней написанное верно и написано действительно *sine ira et studio* (без гнева и пристрастия. – *лат.*). <...>. Позволю себе рассказать здесь только то, что лично до меня относится и что, само собой разумеется, не могло войти в состав упомянутой книжки.

Опасения, которые я имел до приезда в Петербург насчет того, что мне придется разойтись с моими приятелями, членами Редакционных комиссий кн. Черкасским и Ю. Ф. Самариным, на деле оправдались и даже в таких размерах, каких я и не предполагал. В первый день моего приезда в Петербург они сильно и настойчиво убеждали меня не принимать участия в совещаниях депутатов и стать на почве, усвоенной Редакционными комиссиями. Как на это я не мог согласиться, то впоследствии они старались узнавать от меня о намерениях и действиях депутатов и склонить меня им не вторить и, напротив, защищать предположения Редакционных комиссий. Как приятелям моим не удалось ни то, ни другое, то вскоре почувствовалось между нами охлаждение.<...>

Составивши замечания на все доклады Редакционных комиссий, за исключением только тех, которые относились к выкупу, я вечером отвез мои записки к Я. И. Ростовцеву, который во все это время был ко мне особенно благосклонен и с которым в этот вечер мы пробеседовали довольно долго. На другой день поутру я получил от него записку с приглашением посетить его в 11 часов утра. Когда я к нему приехал, тотчас он меня принял и сказал мне, что не знает, как меня благодарить «за мои глубоковод-

ные, лучезарные замечания; что теперь он уже никак меня не отпустит из Петербурга и что я должен помочь Комиссиям в исполнении великого дела, высочайшею властью на них возложенного». Вдобавок Ростовцев мне сказал, что всю ночь он читал мои замечания и поражен был их основательностью и практичностью. Я благодарил его за лестные его отзывы о моем труде и изъявлял готовность под его руководством еще усиленно потрудиться по этому делу. Через неделю я повез к генер. Ростовцеву мои замечания на последние доклады Комиссии о выкупе, но не застал его дома. На следующий день я вновь отправился к генер. Ростовцеву, но не был принят; а когда я поручил служителю спросить, в какое время угодно ему приказать мне приехать с последней моей работой, то Ростовцев велел мне сказать, что я могу теперь же оставить мои бумаги. Я исполнил его волю, но она показалась мне довольно странною. Через несколько дней я возвратился к генер. Ростовцеву в то время дня, когда он обыкновенно принимал; но швейцар очень положительно сказал мне, что генерал не принимает, чего прежде никогда не бывало. На следующий день я опять поехал к генер. Ростовцеву, и как мне сказали, что он не принимает, то я отдал письмо, которым я просил разрешить мне отъезд из Петербурга в случае, если мое присутствие более не нужно. Через три дня я получил от министра внутренних дел уведомление, что как по извещению председателя Редакционных комиссий мной исполнены все мои обязанности, то к отъезду моему не предстоит никаких препятствий. Таков был окончательный результат последнего восторженного отзыва Ростовцева о моей работе; и мы более на сей земле с ним не видались.

Через несколько дней после того я виделся с кн. Черкасским, который мне сказал, что мои замечания или, вернее сказать, мой пасквиль на труды Редакционных комиссий были Ростовцевым переданы Н. А. Милютину и ему и что они растолковали восторженному дураку настоящий смысл моего труда, который достоин занять видное место между творениями губернских комитетов. Этот отзыв кн. Черкаского разъяснил мне до того непонятную перемену отношений ко мне Ростовцева, но вместе с тем он просто меня ошеломил. Неужели, подумал я, утрачена мной способность выражать мои мысли и лишился я смысла к пониманию значения слов?

Для успокоения моей совести я передал моим приятелям А. Н. Попову и кн. Одоевскому черновой экземпляр моих замечаний с просьбою их прочесть и сказать мне, заключается ли в них что-либо похожее на пасквиль? Оба они нашли, что мои замечания очень дельны и что в них нет и тени пасквиля. Перечитавши их теперь, я и сам вполне убедился, что, кроме раздраженного самолюбия, никто не мог найти в моих замечаниях что-либо похожее на пасквиль¹. <...>

По возвращении из Петербурга (ноябрь 1859 года) я недолго остался в Москве и поспешил в деревню ради хозяйственных моих дел. Тут и тогда я счел долгом изложить на бумаге о действиях и приключениях депутатов по крестьянскому делу в Петербурге. Эту записку, как выше сказано, я напечатал за границей в Лейпциге под заглавием «Депутаты и Редакционные комиссии по крестьянскому делу».

В декабре возвратился я в Москву на зиму. Тут расскажам, суждениям и спорам не было конца, и мы провели очень оживленную зиму. Хомяков вполне одобрил мои действия в Петербурге, а равно и мои замечания на труды Редакц. комиссий, поданные мной Я. И. Ростовцеву. Хомякова особенно оскорбляли предположения Комиссией, клонившие к уничтожению или потрясению крестьянского общинного землевладения, к введению, в виде общего правила, приговоров сельских сходов по большинству голосов и к установлению страшной регламентации по крестьянскому самоуправлению. К. С. Аксаков был до того взбешен предположениями Ред. комиссий, что написал против их проектов свои возражения в виде писем, которые и напечатал за границей. А. С. Хомяков изложил свое мнение по этому делу в письме к Я. И. Ростовцеву, которое и отправил к нему, а копии с этого письма посланы им были к разным высокопоставленным лицам и в том числе к гр. Блудову. Это письмо в недавнем времени было напечатано в «Русском архиве» 1876 года, а потом в полном собрании сочинений А. С. Хомякова (изд. 1878 г.). <...>

Весной 1860 года разъехались мы по деревням и никак не думали, что с Хомяковым мы более не увидимся. Вдруг в конце сентября я получаю в де-

¹ Эти мои замечания напечатаны на 167 страницах в Трудах Редакционных комиссий в отделе приложений под заглавием «Отзывы членов, вызванных из губернских комитетов».

ревне эстафету о его кончине, последовавшей 23 сентября в Данковском его имении в селе Ивановском. У него открылась холера; он лечил себя гомеопатически, не хотел обратиться ни к какому врачу и на третий день болезни окончил свою жизнь. При его кончине был только сосед его Л. М. Муромцев. Старший сын Хомякова Дмитрий, приехавший по эстафете, отправленной Муромцевым, уже не застал отца в живых и мог только присутствовать при его отпевании и предварительных похоронах. Я приехал в с. Ивановское уже после отъезда сына и имел только возможность отслужить панихиду по покойном и поклониться временной его могиле. Тело А. С. Хомякова было после перевезено в Москву и там похоронено в Даниловом монастыре подле прежде скончавшейся его жены. Огорчение мое было глубокое; я чувствовал, как будто лучшая часть меня отошла из сего мира.

Да! Хомяков был человек более чем замечательный; он соединял в себе редкие способности при необычайной для русского устойчивости. Он был богослов православный и вполне разумный: даже митрополит Филарет, спрошенный по предмету французских брошюр Хомякова, не мог не признать их православности и только полагал несвоевременным обнародование их на русском языке. Русские гегельянцы, насмехавшиеся над русским платьем Хомякова, над его постничеством и его руссомазией, не находили в его мнениях ни отсутствия свободного обсуждения, ни влечения к мистицизму. Французские брошюры Хомякова, напечатанные за границей, раскрыли многим русским дух, смысл и значение Православия и произвели сильное впечатление на некоторых разумных католиков и на протестантов, чувствовавших в своем церковном учении недостаток в вере и душевную в ней потребность. Творения Хомякова по этой части еще слишком мало оценены и должны в будущем иметь на человечество значительное действие. Хомяков не был приверженцем немецкой философии, господствовавшей у нас в то время: он отдавал полную справедливость заслугам и достоинствам Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля; но он находил, что их учения страдают беспочвенностью и что они так искусственно и многосложно построены потому, что западное любомудрие утратило единый возможный путь к истине. Как поэт и литератор, Хомяков положил в русскую сокровищницу значитель-

ные лепты, которые имеют особенную ценность потому, что он едва ли не единственный русский, который во всю жизнь, с детства и до гроба, неизменно высказывал одни и те же чувства и убеждения и постоянно старался направлять русский ум и сердце к людям своим или единоплеменным и к предметам близким и туземным. В последнем отношении Хомяков оказал нам, русским, услугу громадную. До него отчизнолюбие и отчизноведение проявлялись в тощих, узких и отчасти смешных выходках Шишкова и комп. Хомяков первый проникся истинным духом русского народа и его истории и указал нам настоящие наши нужды и потребности, наши народные свойства и ту цель, к которой мы должны стремиться. Он действительно был источником нового у нас умственного направления, которое прозвано нашими противниками славянофильским, но которое много объемистее и существеннее того, что под этим словом обыкновенно понимается и, конечно, благородным потомством будет признано истинно русским. Вечная память тебе, благовестителю!

Глава XI

Отмена откупной системы.

По оставлении мной откупов – в 1849 или 1850 году – я составил записку о необходимости замены откупов введением акцизного сбора с вина и пива. Я доказывал в этой записке, что откупа столь же вредны для народа и государства, сколько они невыгодны и для казны; что они развращают народ, препятствуют улучшению его хозяйства и извлекают из него всякими, самыми предосудительными способами последние его трудовые деньги; что нет возможности и думать о сокращении взяточничества, пока будут существовать привилегированные нарушители законов, вынужденные своим положением подкупать агентов власти; и что из тяжелого питейного налога при благоприятных обстоятельствах часть его поступает в казну, а остальное в карманы откупщиков, а при недовыручках казна должна не только рассрочивать платежи, но и слагать откупщицьи недоимки. Из этого я выводил необходимость уничтожения откупов и замены их прямым

акцизным сбором в пользу казны с вина и пива. Эту записку в свое время я препроводил к министру финансов г. Вронченко; никакого известия о дальнейшей судьбе ее я не имел. Проходит десять лет, и вдруг я получаю от министра финансов г. Княжевича, со ссылкой на упомянутую записку, приглашение принять участие в комиссии, учреждаемой в Петербурге с целью составления проекта о замене откупов системой акцизного сбора. <...>

Вообще пребывание мое в Петербурге произвело на меня тяжелое впечатление. Открывшаяся борьба в административном круге и в обществе между приверженцами старых порядков и правил и сторонниками нововведений и преобразований видимо усиливалась и грозила обессилить действия правительства и дать перевес придворной партии, с негодованием относящейся к возведенным реформам.

Глава XII (1861–1862)

19 февр. 1861 г. — Новые условия хозяйствования. — Зима 1861–1862 г. «Моск. общество сельского хозяйства» и председательство в нем. — Брошюра о Земской думе «Какой исход для России из нынешнего ее положения?» — Книга «Конституция, самодержавие и Земская дума». — Отъезд за границу. Бар. Гакстгаузен. — 2-я Всемирная выставка в Лондоне 1862 г. — Зима 1862–1863 г. — Семейное значение 1863 года.

Наконец настало 19 февраля 1861 года. Все положения по крестьянскому делу были Высочайше утверждены; но они не были обнародованы в этот день только потому, что это число пришлось на Масленицу и что боялись беспорядков на этой пьяной неделе. Обнародование произошло почти во всей России на первой неделе Великого поста. Все совершилось тихо и спокойно. Все предсказания о волнениях, бесчинствах и даже бунтах в крестьянстве оказались вполне неосновательными. Если кое-где и были небольшие беспорядки, то они происходили от распоряжений местной администрации, чересчур усердствовавшей при обнародовании Высочайшего манифеста.

Возвратившись в Москву, я там долго не остался, а поспешил с семейством в деревню, где следовало вводить новый порядок хозяйства.

Крестьяне приняли дарованную им свободу очень благодушно и скромно — без всяких шумных изъятий радости и без бурных попыток пользования волей. Всего труднее было завести у них правильное самоуправление, соблюдение заключенных ими условий и охранение помещичьих полей от потравы и помещичьих лесов от порубок; леса крестьяне продолжали считать своими и без удержки пускали в них своих лошадей. Надо отдать справедливость русскому дворянству: оно доставило вначале великолепных посредников. Эти общественные деятели, за немногими исключениями, действовали в первые шесть лет вовсе не в сословном духе, а старались установить порядок, равно безобидный для землевладельцев и для крестьян. Уставные грамоты были составлены и утверждены в положенный двухгодичный срок, и над этим посредники вообще много и хорошо потрудились.

Осенью 1861 года я предложил всем своим крестьянам переход с барщины на оброк или на выкуп; но они не согласились. Проявились по деревням добрые люди, которые стали внушать крестьянам, чтобы они не шли ни на какие сделки с помещиками; что вскоре выйдет новая воля с предоставлением им даром не только всего их надела, но и всей остальной помещичьей земли, и что останутся в обязательных отношениях к помещикам только те крестьяне, которые до того вошли с ними в какие-либо добровольные сделки. Крестьяне охотно верили этим людям, и потому даже переходы на оброк во многих местностях приостановились. У меня крестьяне большей частью в следующем году перешли на оброк; и мне предстояло заняться устройством вольнонаемной обработки полей.

Не так трудно было завести орудия, лошадей и для них сбрую, как нанятых рабочих заставить исполнять принятые ими на себя обязанности и работать не по-барщински, а как следует вольным рабочим, получающим жалование и хорошие харчи. Это было чрезвычайно затруднительно в первое время; но, к прискорбью, эти трудности не устранены и по настоящее время, и главнейше потому, что крестьянское самоуправление идет вообще плохо. В этом особенно виноваты посредники, последовавшие за первыми: сколько прежние посредники были деятельны и заботливы о крестьянах, столько их преемники были ленивы, нерадивы и своими действиями воскрешали плохих помещиков былого времени. Прямых ослушаний со сто-

роны рабочих было мало; но они портили лошадей и орудия и вообще работали лениво. Предстояло их перевоспитывать, и это труд был немалый. Они уходили домой, и крестьянское начальство не оказывало надлежащей помощи к их возвращению к хозяевам. Лето провел я в больших хлопотах и немалых неприятностях; с радостью встретил зиму, которая давала мне возможность несколько отдохнуть в Москве. <...>

В течение зимы 1861–1862 года, а именно между половинами декабря и января я съездил в Дрезден, где жена моя по причине нездоровья проводила зиму. Осенью и в начале зимы я написал ряд статей, в которых я излагал тогдашнее положение дел в России и указывал на единственный, по моему мнению, путь к их упорядочению. Напечатать эти статьи в России было невозможно; а потому я решился издать их за границей под заглавием «Какой исход для России из нынешнего ее положения». Я воспользовался моей поездкой за границу для исполнения этого намерения и напечатал эту книжку в Лейпциге. В ней наши внутренние обстоятельства были изложены довольно верно и наглядно, и, думаю, в первый раз печатно была высказана мысль, что для завершения дела освобождения крепостных людей, для прекращения существовавших у нас везде беспорядков и злоупотреблений и для водворения единства и большего смысла в управлении вообще необходимо призвать на совет, как то делалось в прежние времена, представителей из всех местностей империи, т. е. созвать общую земскую думу. Эта моя книжка прошла небесследно; многие соотечественники выразили мне сочувствие к высказанным в ней мнениям; а барон Гакстгаузен напечатал ее в немецком переводе, снабдив ее написанным им введением, в котором он воздал хвалы автору и подтвердил верность его описания и дельность его предположений. Но мне были сделаны и словесно, и письменно разные возражения и в особенности против моего мнения о необходимости удержания самодержавия для России и о непригодности для нее существующих в Западной Европе конституций. Многие думали, что я так высказался только потому, что желал этим средством обеспечить себе безопасный возврат и пребывание в России. Это побудило меня написать и издать в Лейпциге летом 1862 года новую книжку под заглавием «Конституция, самодержавие и Земская дума». В этой книжке я еще более уяснил свои мысли о само-

державии и конституции; старался доказать необходимость первого и непригодность последнего для России и обстоятельно отвечал на сделанные мне по этим предметам возражения. Эту книжку написал я за границей и напечатал в три дня в Лейпциге перед возвращением в Россию.

Пребывание жены за границей, желание видеть вторую Лондонскую выставку, здоровье мое, несколько потрясенное разными хлопотами и неприятностями, и пуще всего потребность в оживлении себя после мертвящего бездействия, наступившего вслед за крайне возбужденными годами 1858–1861, решили меня в июне 1862 года ехать в Карлсбад, а оттуда в Англию на 2-ю Всемирную лондонскую выставку.

В Карлсбаде я встретил барона Гакстгаузена, которого я не видал с его отъезда из России, т. е. с 1844 года; а между тем так много нового и великого совершилось в России, а потому нашим беседам не было конца. Между прочим, я благодарил его за перевод моей брошюры, произведенной под его наблюдением и за его предисловие к ней. Мы постоянно виделись на прогулках, часто вечером пили с ним шоколад, нередко навещали друг друга на наших квартирах и сверх того были много раз приглашены на обеды и ранние вечера к вел. княгине Елене Павловне. Главным предметом разговора было совершившееся в России освобождение крепостных людей. Он сознавался, что никогда не воображал, чтобы такое великое дело могло совершиться так легко, чтобы дворянство так усердно помогло в этом случае правительству и чтобы крестьяне, еще малообразованные, так разумно и так спокойно приняли дарованную им волю. Немало толковали мы и о предлагаемом мной созыве Земской думы. Он вполне одобрил эту мысль и находил, что путь, мной указываемый к сближению царя с народом и к водворению порядка и разумности в управлении, есть единственно верный и возможный в России. Я сообщил ему о намерении моем несколько пояснить и пополнить первую брошюру составлением и изданием второй брошюры, которую я предполагал той же осенью издать. Из Берлина я отправил к нему эту книжку в постоянное его место жительства, кажется, куда-то в Шлезию.

Вел. княгиня Елена Павловна была вообще к русским чрезвычайно любезна и удостаивала меня своим особенным благорасположением. С ее согласия я затеял подписку между русскими на сооружение церкви;

она первая подписалась, и мне удалось собрать довольно значительную сумму, которую на хранение я передал в городское управление, изъявившее готовность отвести нам бесплатно место под церковь. В следующие годы занимались этим граф Анд. Пет. Шувалов и Мусин-Пушкин. Они, к сожалению, предпочли устроить русскую церковь в одном доме, уже существующем: отделали его, снабдили всем нужным и, кажется, через два года освятили церковь. <...>

Зима 1862–1863 года прошла в Москве почти так же, как и предыдущая: много толковали в обществе о последствиях освобождения крестьян. Помещики всего более жаловались на рабочих, но доставалось и посредникам, и правительственной администрации. Распоряжения министра внутренних дел П. А. Валуева и усиление строгости цензуры по делам печати особенно вызывали общее неудовольствие.

1863 год был для меня лично очень важен тем, что сын мой женился, а дочь моя вышла замуж. Свадьба сына совершилась в Саратове, а свадьба дочери у нас в деревне. Эта свадьба заняла часть лета этого года.

Глава XIII (1863–1867)

Положение о земских учреждениях. — Положение о крестьянах в Царстве Польском. — Учредительный комитет. — Аудиенция у Александра II. — Поезд в Варшаву. — Наместник гр. Берг. — Управление финансами в Царстве Польском. — Кн. Черкасский. — Устав о питейном сборе. — Каменноугольные копи в Домброве. — Разногласия. — Аудиенция у Императора. — Первое земское собрание в Сапожке. — Бюджет Царства Польского на 1866 г. — Разработка каменного угля. — Н. А. Милютин. — Отъезд из Варшавы за границу. — Записка Государю «О делах Царства Польского».

Зима 1863–1864 года была особенно оживлена и интересна. Сперва известия из Петербурга о предстоявшем, а впоследствии суждения о состоявшемся обнародовании «Положения о земских учреждениях» занимали всех и каждого. Не только при случайных съездах толковали об этом нововведении, но были нами нарочно назначаемы частные собрания, в которых обсуживались главные статьи этого «Положения» и меры к приведению их в исполнение. Многие были недовольны «Положением»,

находивши, что круг действия земских учреждений и права, предоставленные земству, слишком ограничены. Другие, и в том числе и я, доказывали, что на первых порах вполне достаточно и того, что нам дали, что следует усердно заняться разработкой и пользованием этого малого, нам отмеренного, и что если мы исполним эту нашу обязанность добросовестно и со смыслом, то и большее придет само собой. Эти наши беседы значительно послужили к уяснению дела, и положено было единогласно принять живое участие в предстоявших съездах для выбора гласных, а затем и в самых земских собраниях.

В конце февраля 1864 года приехал из Петербурга в Москву кн. В. А. Черкасский, который вместе с Самариным под главным руководством Н. А. Милютина участвовал в составлении нового «Крестьянского положения для губерний Царства Польского». «Положение» это было окончательно утверждено Государем 19 февраля 1864 года, и предстояло его приводить в действие. Вместе с тем предположено было произвести значительные перемены в устройстве самого управления этим краем, а именно образовать на этот конец под председательством наместника особый, из немногих членов, «Учредительный комитет» и на главные административные должности назначить русских. Вследствие этого кн. Черкасский по соглашению с Н. А. Милютиным и по его поручению предложил мне быть членом «Учредительного комитета» и сперва иметь наблюдение за финансовой администрацией Царства Польского, а впоследствии и принять на себя обязанности главного директора, т. е. министра финансов. Как ни заманчиво было это предложение и как оно ни соответствовало моей склонности к финансовым делам, я боялся изъявить согласие на принятие предлагавшихся мне тяжелых обязанностей. Я прочел новое «Положение» для крестьян Царства Польского и увидел, что хотя права собственности польских помещиков и принесены в жертву цели лучшего устройства быта тамошнего крестьянства, однако такая мера ввиду прежних страшных притеснений его со стороны землевладельцев и недавних действий дворянства против правительства даже не грешит против справедливости. Сверх того, нельзя было не признать, что для окончательного закрепления этого края русской державе совершенно необходимо было приобрести расположение крестьян и сократить власть и влияние шляхты. А потому самое «Положение» не противо-

речило моим убеждениям; но, зная хорошо кн. Черкасского и Н. А. Милютина, я опасался, что этот закон будет не последней военной мерою для прекращения волнений в Царстве Польском, а началом, источником других мер к стеснению и уничтожению шляхетства, за которое я, конечно, в сущности не стоял, но которое в настоящее время я считал незаменимым, а потому заслуживающим некоторого снисхождения и охранения. К тому же всякие натяжки и произвольные действия всегда были мне противны, а их-то я и ожидал и опасался от людей, представивших мои замечания на труды Редакционных комиссий чем-то вроде памфлета. Сверх того, мне хотелось с самого начала земских учреждений принять в них самое деятельное участие. Все эти причины побудили меня отклонить предложения, сделанные мне через посредство кн. Черкасского. Вскоре он уехал в Петербург и затем в Варшаву, откуда о том же предмете завязалась у нас переписка. Кн. Черкасский всячески уговаривал меня принять сделанное через него предложение; Ю. Ф. Самарин, находившийся в то время в Москве, убеждал меня в том же смысле, выставляя преимущественно то, что мы обязаны в крайних случаях жертвовать своими хотениями и даже убеждениями. Я заявлял некоторые условия; переписка продолжалась; а в конце апреля я уехал в деревню. Там в самых первых числах мая я получил от Н. А. Милютина как от статс-секретаря официальное письмо, в котором он сообщил мне от Высочайшего имени приглашение приехать в Петербург. Пришлось мне туда ехать; и я немедленно отправился в путь. По приезде в Петербург я тотчас навестил Н. А. Милютина, который немедленно докладной запиской довел до сведения Государя о моем приезде. На другой же день я получил приглашение на аудиенцию в Царское Село на следующее утро в 1 час. Я отправился туда по железной дороге, бывши еще в полной нерешимости, ехать ли мне в Варшаву или нет. В уме моем я решил так: если Государь примет меня как человека, ошастливленного получением высокого места по управлению, то я, разумеется, приму назначение на словах, поеду в деревню и оттуда скажусь больным; если же прием будет иной, то делать нечего, я решусь ехать в Варшаву. Мне случилось ехать в вагоне с г. Платоновым, статс-секретарем по делам Царства Польского; с ним я прежде был знаком; тут мы еще более познакомились. Придворная карета меня ожидала, и во дворце отвели мне особое помещение. Без четверти час я отправился в апартаменты Государя;

ему обо мне доложили, и я тотчас был принят. «Знаю, – сказал мне Государь, – что Вам тяжело оставить частную жизнь, к которой Вы привыкли, но я Вас прошу принести эту жертву Отечеству и принять на себя обязанности члена Учредительного комитета с управлением финансами Царства Польского. Уверен, что Вы в этом мне не откажете». Эти слова решили мою поездку в Варшаву; я изъявил полную готовность исполнить волю Государя, но просил его только не возлагать на меня тотчас управление польскими финансами, которые мне были совершенно неизвестны, и дать мне два-три месяца хотя для поверхностного с ними ознакомления. Государь согласился на это и дозволил мне ехать в Москву и деревню, устроить там мои дела и не позже как через месяц быть в Варшаве. После чрезвычайно милостивой аудиенции Государь отпустил меня, крепко пожавши мне руку. В тот же день вечером я был у Н. А. Милютина, который был очень доволен, что аудиенция произвела на меня хорошее впечатление; и я обещал ему в самых первых числах июня быть в Петербурге и отправиться в Варшаву¹.

¹ Ввиду того, что Ф. В. Чижов написал свои записки, которых напечатание он отсрочил до истечения пятидесятилетия после его кончины, *считаю нужным упомянуть здесь о случившейся между мною и им размолвке.*

В то время, когда кн. Черкасский приезжал в Москву и предлагал мне быть членом Учредительного комитета с заведованием финансовыми делами Царства Польского, он убеждал Ф. В. Чижова принять должность председателя вновь учреждавшейся в Варшаве ликвидационной комиссии и имевшей заведовать тамошними выкупными делами. Как Чижов был до крайности самолюбив и имел о себе самое высокое мнение, то он обиделся тем, что ему предлагали второстепенную должность. Он от нее отказался и стал везде о том рассказывать и говорить, что он не намерен участвовать в окончательном подавлении и ограблении Польши. Вследствие этого всякие переговоры с ним были порваны. Ю. Ф. Самарин, знавший и от меня, и от кн. Черкасского, что я не наотрез отказался от сделанного мне предложения и что между нами даже продолжались переговоры, отъезжая за границу, имел неосторожность сообщить это в виде секрета Чижову, выразив ему сожаление, что он отказался от совершения доброго дела и вместе с тем сказал: «А Кошелев, вероятно, туда поедет». Раздосадованный этими словами, Чижов поехал о том благовестить по всем нашим общим знакомым; как из них некоторые не были расположены в пользу совершавшегося в Царстве Польском преобразования, то, разумеется, они одобрили его и осуждали мой поступок. Иные из них приехали ко мне даже с выражением удивления насчет намерения моего ехать в Варшаву. Я написал об этом к Самарину, находившемуся тогда еще в Варшаве, и он ответил мне очень милым письмом с самыми сердечными извинениями и с приложением очень резкого письма к Чижову, которое Самарин просил меня по прочтении отослать к Чижову. От этого и произошел между мною и Чижовым разрыв, который продолжался много лет и побуждал его не упускать никакого случая меня осуждать и мне вредить.

На следующий же день я отправился в Москву, где дал разным моим знакомым поручение — приискать мне молодых людей, которые желали бы поступить на службу в Царстве Польском и которые могли бы мне быть полезными по устройству вверявшихся мне дел. На обратном пути я приговорил в Москве троих молодых людей на службу в Варшаву, и одного из них (г. Остроумова) я даже взял с собой.

Распорядившись своими делами в деревне и в Москве, я поспешил своим отъездом и 8 июня прибыл в Петербург. Тут я много виделся с Н. А. Милютиным, от которого я узнал, что указ о назначении меня членом Учредительного комитета и Совета управления уже состоялся. 10-го поутру я отправился в Варшаву, и 11-го в 5 часов пополудни я туда прибыл. Кн. Черкасский встретил меня в вокзале, повез меня к себе обедать и потом отвез меня в Брюловский дворец, где назначено было мне помещение. Мне отведены были великолепные парадные апартаменты этого дворца; но для сна и работы я отыскал себе комнаты менее великолепные и более удобные.

На следующий день я надел мундир и отправился к наместнику гр. Бергу, который заставил надворного советника и милютинского избранника ждать целый час, принял меня стоя и даже руки мне не подал. В этот и следующие дни я посетил всех, кого следовало, и рассказывал, особенно людям, пользовавшимся благорасположением наместника, о странности и неприличии сделанного мне приема, вполне противоречившего милостивой аудиенции у Государя Императора. Это доведено было до сведения наместника, который в первое же заседание Учредительного комитета, минуя всех, прямо подошел ко мне, подал мне руку, очень любезно со мной разговаривал и в заседании посадил меня подле себя. По окончании заседания, продолжавшегося от 9 до 1 часа ночи, наместник позвал меня на следующий день к себе обедать. На обеде он был чрезвычайно любезен и в завершение, по окончании обеда, извинился, что в первый день заставил меня долго ждать, потому что ему не так доложили, как следовало, и что, бывши очень раздосадован разными докладами, он был в расстроенном положении духа.

Первые две-три недели я только знакомился с людьми и делами, и мое присутствие в Учредительном комитете и в Совете управления

было почти незаметно. Членами Учредительного комитета, кроме меня, были кн. Черкасский, исправлявший должность главного директора (министра) внутренних дел, Ф. А. Соловьев, заведывавший устройством крестьянских дел, В. А. Арцымович, сенатор и по преимуществу наблюдавший за судебным ведомством, а впоследствии председатель юридической комиссии, генерал Заболотский и генерал-полицеймейстер Ф. Ф. Трепов. Впоследствии был еще назначен Р. И. Брауншвейг; так что с председателем гр. Бергом нас было семеро. Г-н Брауншвейг прежде где-то был губернатором и затем, по представлению наместника, был назначен председателем ликвидационной комиссии по удовлетворению землевладельцев за отошедшие от них к крестьянам земли. В Совете управления, кроме поименованных лиц, были членами генерал-контролер И. И. Фундуклей, главные директора финансов, юстиции и народного просвещения гг. Багневский, Восинский и Дембовский. Вскоре вместо последнего назначен был главным директором народного просвещения Ф. Ф. Витте, чиновник в полном смысле слова. <...>

Вскоре я увидел, что и в Учредительном комитете, и в Совете управления имеются две партии, из которых одна под влиянием наместника составляла большинство, мало говорившая и еще менее руководившаяся настоящими государственными соображениями; а другая, состоящая из кн. Черкаского и Соловьева и поддержанная из Петербурга Н. А. Милутиным, образовывала меньшинство и отличалась способностями и трудолюбием, предприимчивостью и дерзостью; она много превосходила большинство и даже его угнетала. И большинство, и меньшинство считали меня принадлежащим к последнему; но я в течение некоторого времени держал себя совершенно нейтрально и подавал свой голос то с теми, то с другими, глядя по тому, чьи предложения более согласовались с моими убеждениями. Всего дружнее я был с кн. Черкасским; часто я у него обедал; видались мы ежедневно, спорили мы много, но расставались без неприязни и дурного чувства друг к другу. <...>

В течение первого месяца моего пребывания в Варшаве я старался и имел возможность близко познакомиться с ходом крестьянского дела в Царстве Польском и с правилами, которыми руководились главные

деятели по этой части, т. е. кн. Черкасский и Соловьев, и которые они внушали председателям и членам местных комиссий по крестьянским делам. <...> Я старался выяснить, что мы, русские, не в состоянии одни справиться с этим делом, что нам не следует становить польскую весьма способную интеллигенцию во враждебные против нас отношения, что можно и необходимо было крепким ударом ее хватить и даже ошеломить, что и было уже сделано, но что постоянно ее щипать, и колоть, и раздражать вовсе не политично и в интересах России невыгодно и что такой способ действия мне противен и вовсе не требуется и не оправдывается пользами русского дела.

Как имелось в виду передать мне заведование финансовыми делами Царства Польского и как такая передача отсрочена была только вследствие заявленной мной невозможности управлять делами, мне совершенно неизвестными, то даны были мне все средства к ознакомлению с ними. <...>

В октябре хотели было передать мне управление польскими финансами, но как бюджет на следующий год был уже составлен и притом не мной и как он подлежал обсуждению в Государственном Совете Царства Польского, то я просил отложить мое назначение до окончания рассмотрения бюджета в упомянутом учреждении. Как член Совета управления, я был через то и членом Государственного Совета, а потому я принимал участие в обсуждении в нем бюджета. <...>

Первым долгом я счел созвать к себе всех служащих в комиссии финансов и высказать им те правила, которыми я буду руководствоваться при управлении делами. Я объявил им между прочим, что на основании устава о гражданской службе в Царстве Польском буду требовать знания русского языка, что через шесть месяцев более не допущу перевода докладов с польского на русский язык и что они должны будут составляться по-русски, что чиновники, не знающие хорошо русского языка, не получают никаких наград, никакого повышения, а впоследствии не будут терпимы на службе и что только немногие исключения будут мной допущены в пользу престарелых заслуженных чиновников. Речь моя произвела очень хорошее действие: знавшие порядочно русский язык стали тотчас подавать свои доклады по-русски, другие сильно налегли

на изучение русского языка, и почти все дело производства до назначенного мной срока перешло на русский язык. Я не знал польского языка, в Варшаве я считал долгом ему не учиться, да и времени на то не было. Со всеми я говорил по-русски и в крайних случаях допускал объяснения на французском языке. Поляки как народ отменно способный чрезвычайно скоро привыкли к русскому языку, и все пошло у нас как нельзя лучше. Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, в первом часу главный директор официально принимал посетителей. Просьбы писались по-польски, и я тотчас передавал их находившемуся подле меня директору моей канцелярии, который переводил или заставлял их переводить, и мне их представлял уже в переводе. Кто-то из поляков подал мне просьбу, написанную по-русски, я тотчас ее прочел, написал на ней резолюцию и наблюдал за немедленным по ней исполнением. Вследствие этого просьбы по-русски участились, и через год почти перестали ко мне поступать просьбы по-польски.

Вскоре по вступлении моем в должность посетил меня председатель Общества польского поземельного кредита г-р. Тршетршевинский, и я, взяв в руки бумагу, только что от него полученную, сказал ему, что, конечно, на точном основании устава кредитного общества он имел полное право писать ко мне по-польски, но что об этом я желал с ним объясниться, для чего и оставил эту бумагу у себя на столе. «Что лучше, – спросил я его, – что выгоднее для общества, то ли, чтобы главный директор действовал в отношении к Обществу на строгом основании закона или чтобы, не отступая от него, он оказывал Обществу возможную благосклонность и снисходительность? Если Вы предпочитаете последнее, то я попрошу бы Вас писать ко мне по-русски». Председатель взял у меня польское свое отношение и на следующий же день прислал ко мне бумагу по-русски, и я из Общества поземельного кредита более не получал польских бумаг. Зимой первого года приезжает ко мне тот же председатель поземельного Общества и приглашает меня в общее собрание Общества, где по закону главный директор финансов должен председательствовать. Я изъявляю желание исполнить эту обязанность моего звания, но вместе с тем высказываю сожаление, что не имею возможности это сделать, ибо

как в заседании все происходит по-польски, то не могу произнести обязательной речи и глупо сидеть и слушать отчет на языке, которого я не понимаю. Тогда председатель Общества, упрасивая меня не отказываться от посещения Общества, предложил мне произнести речь по-русски и обещал устроить так, чтобы отчет был прочтен сперва по-русски, а потом по-польски. Так дело было нами улажено и исполнено. Вообще я должен сказать, что мне удалось распространить употребление русского языка гораздо более, чем в том успел мой товарищ кн. Черкасский, и только потому, что он требовал и прибегал к насилию, а я действовал учтивее и предоставлял самим полякам, мне в угоду, исполнять мое желание. Учтивость в Польше могущественнее, чем в какой-либо иной стране. Доходил до меня слух, что поляки находили мои отказы менее неприятными, чем даже удовлетворения их просьб кн. Черкасским. <...>

В течение зимы посетил нас из Петербурга Н. А. Милютин. Между нами, т. е. им, кн. Черкасским, Соловьевым и мной, были частые и продолжительные беседы, которые все более и более меня убеждали, что между нами существовали коренные разномыслия и что мы вполне согласно действовать не могли. Даже однажды я сказал Н. А. Милютину, что не лучше ли мне подобра-поздорову убираться из Варшавы, и просил его только доставить мне к тому приличную возможность. Я предвидел, что между нами неминуемо должны усиливаться разногласия, которые могут перейти и в большие неприятности, а потому я предпочитал заблаговременно удалиться. Но Н. А. Милютин и кн. Черкасский сильно против этого восстали и убеждали меня всеми возможными доводами выкинуть эту мысль из головы, настаивавши главнейше на том, что как цель у нас одна и та же, то в существенных мерах мы не можем расходиться.<...>

К Пасхе надворный советник Кошелев и коллежский асессор кн. Черкасский были украшены звездами и лентами Станислава 1-й степени. Признаться, недаром мы их получили. <...>

Управление финансами шло у меня порядочно: я был доволен своими служащими; они казались также мной довольными; доходы поступали исправнее прежнего; губернаторы помогали усердно; дела промышленные видимо оживились. <...>

Разные неприятности в Варшаве и в особенности перерешения, приходившие из Петербурга, заставили меня в конце августа 1865 года просить 28-дневный отпуск и ехать в Петербург для уяснения моего положения. Наместник разрешил мне передать исправление моей должности главного директора генералу Гецевичу, человеку умному, добросовестному и пользовавшемуся доверием как моим, так и наместника. Я отправился в Петербург, где через посредство статс-секретаря по делам Царства Польского г. Платонова я испросил у Государя аудиенцию. Принятый очень милостиво, я просил у Государя дозволение изложить ему обстоятельно положение дел в Варшаве. Он сел, пригласил меня сделать то же и разрешил мне вполне откровенно и подробно высказать все, что я имею ему сообщить. Я доложил Его величеству, что в Варшаве при ведении дел имеются два направления, что одно из них имеет в виду через доставляемое краю благосостояние окончательно укрепить его за Россией, а другое думает вернее достигнуть этой цели поддержанием существующей в Польше розни между сословиями и вместе с тем подавлением и разорением самого достаточного из них, что люди первого направления считают необходимым для более успешного хода тамошних дел привлекать к участию в них местную интеллигенцию, вообще очень способную и деятельную, а люди другого направления стараются вовсе ее устранять и заменять русской интеллигенцией, в которой у нас большой недостаток даже собственно для России, что эти несогласия, эта двойственность в направлениях чрезвычайно вредит ходу дел вообще и что необходимо водворить единство в администрации тамошнего края, без чего мы не достигнем никаких удовлетворительных результатов. Изложение мое было обстоятельное и продолжительное. Государь все время слушал меня с большим вниманием и участием, что я мог видеть из вопросов, которые он мне делал. В заключение моего доклада я просил Государя уволить меня, если мои убеждения и действия не соответствуют его видам и желаниям. Тогда Государь встал, обнял меня и сказал: «Нет! ты исполняешь мои желания; я вполне одобряю твои действия и прошу тебя продолжать так, как ты до сих пор действовал». Аудиенция была в Зимнем дворце, в кабинете Государя и продолжалась более часа.

Ободренный таким милостивым и положительным отзывом, я, конечно, решил вернуться в Варшаву; но как я имел 28-дневный отпуск, то отправился через Москву в свое рязанское имение. Этот мой приезд в деревню совпал с открытием в Сапожке первого уездного земского собрания, что я, признаться, имел в виду и при отъезде из Варшавы. Я был выбран в уездные гласные, хотя во время выборов в июне я был в отсутствии, т. е. в Варшаве. Отъезжая оттуда в конце августа, я очень желал видеть первое наше земское собрание, а в случае увольнения от службы по Царству Польскому думал усердно заняться земским делом. <...>

Считаю нужным здесь сказать еще несколько слов о польском обществе в Варшаве, о поляках и польках вообще. Конечно, я имел мало времени посещать польские гостиные и у себя принимать много гостей, но я должен был, по моему положению, посещать некоторые вечера у поляков и иметь, как выше сказал, день в неделю, когда по вечерам мы принимали наших знакомых русских и поляков. Вечера наши были обыкновенно очень многочисленны: и русские, и поляки охотно нас посещали. Даже польские дамы решились бывать на наших вечерах; в этом, конечно, великая заслуга жены моей, которая относилась к польским дамам очень просто и дружелюбно и тем побеждала их нерасположение к русским вообще. Почти с самого начала нашего пребывания в Варшаве поляки не только нас не чуждались, но даже в нас заискивали; но польские дамы долго не решались посещать наши вечера. Замечательно, как польки гораздо рьянее своих мужей и братьев за независимость и самобытность Польши. Между последними я встречал людей, уже убедившихся, что страна их сама по себе существовать не может, что ей остается только выбирать между зависимостью от России или от Германии, что даже присоединение к разношерстной и многочисленной Австрии для Польши невозможно и что потому лучше принадлежать к России добродушной, вовсе не себялюбивой, ведущей по большей части свои дела спустя рукава, чем к аккуратной, высоко о себе мнящей и строгой Германии. Встречал, хотя и очень немного, поляков, убежденных в необходимости примкнуть к России без задних мыслей и от души к ней присоединиться, но я не нашел ни одной польки, которая была бы так одушевлена

и так мыслила: они еще все имеют надежду на восстановление независимой, самостоятельной Польши. А польки так господствуют над своими мужьями, что те из последних, которые высказывают в отсутствие первых благоразумные мысли, молчат в их присутствии, улыбаются, но не смеют высказываться. Говорят, что молодежь теперь иначе мыслит и иначе расположена и прямо, искренно сознает необходимость слияния с Россией. Желаю этого от души, но мало этому верю. Не таковы наши порядки, чтобы кого-либо к нам привлечь; мы, пожалуй, сумеем даже и болгар от себя оттолкнуть¹. Поляки очень способны, умны, но образованность их странная: они считают себя очень просвещенными, чуть ли не самыми просвещенными людьми в целом свете, но собственного, самостоятельного образования они не имеют: их образование до крайности поверхностно и отстало. Поляки питаются воспоминаниями из своей давней истории и из понятий Франции отчасти аристократической дореволюционной, отчасти же революционной 1789–1792 годов.

Что касается до немецкой науки, то с ней они мало знакомы и относятся к ней с презрением. Вообще должно сказать, что поляки сами по себе очень умны, трудолюбивы и ловки, но основательности, самостоятельности и устойчивости в них очень мало; и если до сих пор мы их окончательно к себе не примкнули и ими не овладели, то виноваты не они, а мы — мы — и только мы. <...>

В апреле был получен указ об увольнении Платонова от управления делами статс-секретариата по делам Царства Польского и о возложении этих обязанностей на Н. А. Милютина. С этим мы лишились последней возможности что-либо докладывать Государю Императору помимо Милютина, который таким образом получил возможность делать все, что хотел, и всячески теснить людей, ему неприятных. Тогда же я сказал наместнику, что при этих обстоятельствах я недолго останусь при своей должности, что теперь не хочу уйти, ибо желаю кончить составление двух мной вырабатываемых проектов о податной реформе и о введении в Царстве Польском акцизной питейной системы, что последний проект почти готов, а первый будет мной представлен недель через шесть и что

¹ Это писано в 1878 г.; теперь (1882 г.) это отчасти нам уже удалось исполнить.

тогда по отсылке этих проектов в Петербург на другой же день я подам формальную просьбу по причине болезни об увольнении меня от всех обязанностей по Царству Польскому. Наместник вообразил, что это с моей стороны только вспышка вроде тех, которые он часто себе позволял, и что я не покину службы, много мне обещавшей и по части чинов, и по части лент. А на совет мой приискивать человека, кем меня заменить, он улыбнулся и сказал: «Надеюсь, что Вы нас не покинете».

Известие о покушении Каракозова на жизнь Императора нас всех ужасно поразило; а последовавшие затем распоряжения по полиции, жандармии и рескрипт к председателю Комитета министров кн. Гагарину заставили нас крепко призадуматься и опасаться, чтобы не настали в управлении вообще иные времена и не совершился поворот от реформ к мерам только репрессивным, чего в Петербурге многие желали и сильно домогались.

Двухлетние усиленные труды и разные неприятности со стороны некоторых моих товарищей (кн. Черкасского и Соловьева) и в особенности из Петербурга от всесильного там Н. А. Милютина действительно потрясли мое здоровье: желчь все более и более меня мучила, и нервы сильно расстраивались. Я крепко насел на окончание составляемых мной проектов...

По совести могу сказать, что в Варшаве я имел в виду преимущественно русское дело и ему служил от души и всеми силами, но не пренебрегал и благом тамошнего края. Думаю, что я кое-что сделал там для пользы России вообще и для блага тамошнего края. Произведенное мной преобразование податной системы побуждало поляков при всех последующих встречах постоянно и горячо меня благодарить за упорядочение и уравнивание налогов, ими платимых; а между тем сумму их я не понизил, а возвысил; и сверх того ежегодные недоимки, доходившие прежде до полутора миллионов, перестали существовать. Русский язык я ввел в финансовое делопроизводство без всякого насилия и притом во всей коллегии и прочно, как не удалось то сделать другим начальникам при помощи строгих распоряжений и взысканий. Вообще я оставил в этом краю добрую память, и думаю, этим сослужил своему отечеству луч-

шую службу, чем те, которые действовали иначе. Более тесное приобщение окраин к центру, т. е. обрусение, может быть произведено вернее и надежнее не насилиями, не самоуправством, не разными лишениями, а доставлением этим странам разных выгод, большей обеспеченности и пуще всего уверенности, что там – в центре – действуют в отношении к ним не неприязненно, не чужеядно. <...>

В октябре 1866 года я возвратился в Россию и прямо в деревню – в с. Песочню. Сапожковское уездное земское собрание было уже закрыто; я ознакомился в управе с тем, что было им сделано. Занимаясь своими хозяйственными делами, я счел, однако, нужным изложить Государю Императору в особой записке те причины, которые заставили меня просить об увольнении от должности, его доверием на меня возложенной. Откровенно и вполне спокойно я изложил положение дел в Варшаве и высказал в заключение, что считал долгом удалиться, ибо видел, что существовавшее там разногласие в управлении страшно вредит ходу дел вообще. Странно: моя записка пришла в Петербург на другой день после случившегося с Н. А. Милютиным удара, прекратившего его политическую деятельность. Впоследствии я узнал от гр. П. А. Шувалова, что она очень понравилась Государю и что на ее полях во многих местах он написал: «совершенно верно» и «вполне согласен».

Глава XIV (1867–1870)

Земская деятельность. — Зима 1866–1867 г. — Вторники. — Продажа Николаевской железной дороги. — Рязанское земство. — Смерть кн. В. Ф. Одоевского 1869 г. — Книга «Голос из земства». — Противодействие правительства земству. — Издание журнала «Беседа» 1871 г. — Председательство на съезде мировых судей. — Комиссия по уничтожению подушного налога. — Эмс. — Париж. — Остенде. — Рязанское губернское земское собрание. — Реакция в правительстве.

В ноябре (9-го) созваны были в первый раз почетные и участковые мировые судьи, избранные еще в марте, но утвержденные Сенатом только в октябре. Меня, почетного мирового судью, избрали председателем

мирового съезда; и я тотчас занялся устройством как канцелярии, так и прочих принадлежностей этого нового учреждения. 1 декабря как губернский гласный я был уже в Рязани, и в этот день 2-е очередное губернское земское собрание было открыто. <...>

Потрудившись немало, ибо необходимо было почти все заводить вновь, придумывать, как все лучше устроить и как удобнее привести в исполнение, мы окончили наши занятия 17 декабря, и 18-го собрание было закрыто губернатором. Из Рязани я отправился прямо в Москву на зимовье.

Зима 1866–1867 года прошла в Москве довольно оживленно. Гласные, приезжавшие из своих губернских собраний, мировые судьи, почетные и участковые, только что вступившие в отправление своих должностей, вновь открытые в Москве общие судебные учреждения, возвратившийся после катастрофы с Н. А. Милютиным в частную жизнь кн. В. А. Черкасский и ожидаемый в Москве Славянский съезд – все это чрезвычайно занимало, разнообразило и оживляло московское общество. У нас возобновились вечерние приемы по вторникам, которые очень усердно посещались нашими приятелями; разговорам и спорам не было конца; но между разномыслящими не было никакой неприязни. Кн. Черкасский, Самарины, Погодин, Ив. С. Аксаков, Юрьев, Лопатин и многие другие посещали нас очень аккуратно. В это время я особенно сблизился с С. А. Юрьевым, который своим умом, широким взглядом на вещи и на все происходившее и своим чистосердечием особенно меня пленил.

Никак я не ожидал, что кн. Черкасский так скоро возвратится к частной жизни в Москву. Нервный удар, положивший конец деятельности Н. А. Милютина, заставил кн. Черкасского приехать в Петербург. Он надеялся поступить на его место и оттуда заправлять польскими делами; но его враги, а их у него было много, и в особенности гр. П. А. Шувалов, напрягли все усилия, чтобы отвратить эту грозившую им беду. На аудиенции у Государя кн. Черкасский имел неосторожность высказать опасение, что система управления делами Привислянского края теперь может измениться и что потому он боится ехать в Варшаву. Государь на это ему сказал: «Нет! я эту систему поддерживаю». На другой же день состоялось назначение Д. Н. Набокова на место Н. А. Милютина, и кн. Черкасскому приказано

было возвратиться на его пост в Варшаву. Кн. Черкасский подал просьбу об увольнении, по которой и был немедленно уволен.

В эту же зиму мы особенно сблизились с М. П. Погодиным, который чрезвычайно много работал, все глубже и глубже проникался духом нашей истории и очень был занят предстоявшим съездом славян в Москве. Много мы беседовали о последнем и составляли разные планы насчет того, как им воспользоваться для большего сближения славян с Россией. Как жена и я были довольно коротко знакомы с Палацким и Ригером, то письмом в Прагу я пригласил их остановиться у нас в доме, на что они с благодарностью изъявили свое согласие. Этнографическая выставка, по случаю которой славяне съезжались в Москве, была не очень удачна; но прием, им оказанный со стороны города, был как нельзя более радушный. Городская дума приготовила для гостей квартиры, экипажи и смысленных руководителей. При встрече городской голова произнес краткое, но доброе приветствие и пригласил их в приготовленные для них помещения. Во главе славян был Палацкий, который в ответ городскому голове благодарил за радушное приглашение, но извинялся, что он и его зять Ригер лично не могут принять предлагаемой квартиры, ибо уже приняли ее у своего давнего приятеля г. Кошелева. Согласно прежде состоявшемуся соглашению между мной и городским головой я уступил городу моих гостей и выговорил только, что первый обед будет у меня. На следующий же день был обед у нас, на который я пригласил всех славян, меня посетивших, а из русских голову и наших приятелей. Обед был более приятельский, чем какой-нибудь демонстративный. Пили много здравниц; но как я воздержался от многословной речи, то и все последовали моему примеру. За обедом и особенно после обеда беседы были самые радужные и оживленные. Разъехались поздно вечером – после 11 часов.

Интересен, прост и мил был русский обед у Погодина; но особенно замечательным, хотя по результатам весьма неудачным, оказался обед, данный славянам городом в Сокольниках. Было произнесено там много речей; но одна из них, кн. Черкасского, произвела на многих гостей неприятное впечатление, а Палацкий и Ригер ею даже оскорбились. Оратор вздумал давать разные уроки славянам и высказывать, что Православие должно

быть основой сближения всех славянских народов. Католик Ригер отвечал кн. Черкасскому и в своей речи, очень умной, но не совсем сдержанной, позволил себе возражения даже колкие. Вообще обе речи произвели недоброе впечатление и оставили по себе неприятные следы.

Вскоре славяне уехали из Москвы, и я тотчас же отправился в деревню, где, кроме хозяйственных дел, я усердно занялся мировым съездом. Впрочем, и зимой я неоднократно ездил в Сапожок, ибо необходимо было хорошенько устроить и самые съезды, и делопроизводство на них. <...>

Зима 1867–1868 года прошла вообще тихо и довольно однообразно. Слухи и распоряжки из Петербурга были нерадостные; реакция там усиливалась, и если не принимала мер крутых, то не упускала случаев исподтишка – конфиденциальными циркулярами – всячески ограничивать и даже по-своему истолковывать высочайше утвержденные положения. Предоставленная законом 5 апреля 1865 года некоторая свобода печати все более и более стеснялась, а земские учреждения постоянно ограничивались в своей деятельности. Для меня начало 1868 года получило особое значение.

В конце истекшего года стало известным, что правительство желает продать Николаевскую железную дорогу. В Москве начали об этом много толковать, и вскоре из зажиточнейших людей столицы составилось общество на эту покупку. Пригласили туда меня, и я охотно в него вступил. Начались у нас собрания; вскоре обо всем столковались и избрали депутацию для представления ходатайства об уступке этой дороги Московскому товариществу, предлагавшему собрать необходимый для того капитал. В число депутатов был выбран и я. Нас было, кажется, пятеро, но главными деятелями были В. А. Кокорев и я. <...>

Зима 1868–1869 года в Москве прошла довольно вяло и скучно; реакция в Петербурге усиливалась, и это отзывалось на настроении Москвы и приезжих из внутренности России. Для меня эта зима была весьма грустна, потому что я лишился 27 февраля моего друга с детства кн. В. Ф. Одоевского, а 17 марта – доброго старого приятеля Н. П. Шишкова. Кн. Одоевский переехал в Москву в 1865 или 1866 году во время моего пребывания в Варшаве, очень усердно исполнял сенаторские

обязанности¹ и посвящал свободное время собиранию произведений древней и нынешней народной музыки, все более и более проникался ее духом и имел в виду содействовать по мере сил к развитию у нас своенародной музыки². Он принимал самое живое участие в наших беседах, даже земских, ибо он всем интересовался и мог вполне верно сказать: ничего человеческого не считаю для себя чуждым. Кн. Одоевского любили все, кто только его знал, ибо трудно было встретить человека добрее, ко всему доброму более сочувственного и вместе с тем весьма умного и даровитого. Если он мало произвел самобытного, то причиной тому увлечение его всякой встречавшейся ему умной мыслью, всяким проявлявшимся высоким чувством или благим намерением. Все его литературные произведения проникнуты сердечной добротой и отменной благонамеренностью и замечательны по их изящной форме. В нем я лишился последнего из трех моих сердечных с юности друзей. Кн. Одоевский имел намерение с закрытием Сената в Москве выйти в полную отставку и писать свои записки, для чего у него было собрано очень много материалов. Кончина его побудила меня следующим же летом опять приняться за мои «Записки», которые в 1869 году я довел до поездки моей в Варшаву, и набросить кое-что относительно моего там пребывания. Теперь (июнь 1882) надеюсь довести их до настоящего времени.

Кончина Н. П. Шишкова была для меня не таким сердечным горем, но я любил его и особенно его беседы. <...>

В эту же зиму я издал особой книгой («Голос из земства») разные статьи, написанные мной летом, осенью и зимою, по главным тогда выдвинувшимся земским вопросам. Перечитывая эти статьи теперь (1882), я поражен верностью высказанных мной тогда опасений и, к несчастью, оправдавшихся даже с приростом; но, к прискорбию, я уже не нахожу ни в себе, ни в земских людях вообще тех надежд и чувств, которые там вы-

¹ Это не фраза, а факт: он оставил по себе более 40 толстых книг, в которые он записывал собственноручно содержание и решения по делам, в рассмотрении коих он участвовал. Эти книги хранятся в сундуке, переданном мною в Московскую публичную библиотеку. Там же находятся и другие рукописи кн. Одоевского.

² Все музыкальные бумаги кн. Одоевского переданы еще его покойной женой в Московскую консерваторию.

сказаны были живо и искренно. Да! если и тогда администрация противодействовала земским учреждениям, то она это себе позволяла урывками и исподтишка, а теперь она действует открыто и как бы во исполнение служебного долга. В гражданах же самых образованных и ретивых более чем заметно сильное охлаждение к земскому делу; а журналистика если и помещает статьи по земским вопросам и действиям, то исполняет это как бы в очищение совести и без всякой веры в успех. <...>

Наше осеннее уездное земское собрание было скромно, но дельно; мы разрешили много местных вопросов, возбужденных управой и некоторыми гласными и просителями, сделали разные полезные постановления и обратили особенное внимание на сельские школы и медицинскую часть. <...>

Зима 1869–1870 года в Москве не представила ничего особенного: по вторникам у нас собирались, толковали и о том, и о сем, но ничего особенно оживлявшего не было. Ездил я в Петербург <...> По возвращении в Москву в частых и дружеских беседах с С. А. Юрьевым зародилась у нас мысль издавать под его редакцией ежемесячный журнал. Мы окончательно ничего не порешили, разъехались по деревням; но эта мысль засела в наши головы; летом мы об этом переписывались, а осенью – в сентябре или октябре – С. А. Юрьев приехал ко мне в Песочню, и мы согласились привести в исполнение это наше общее желание и положили: ехать С. А. Юрьеву в Петербург для получения разрешения на издание такого журнала. Первою мыслью было назвать его «Русской беседой», но я этого не пожелал; и мы решили в память покойной, но в отличие от издававшегося под моей редакцией журнала назвать просто «Беседа». Впоследствии я особенно был этим доволен, ибо как «Русская беседа» с начала и до конца была проникнута одним духом, так в «Беседе» появлялись статьи, с которыми я далеко не был согласен и которые меня даже сердили. Она заключала в себе много хороших статей, и по направлению вообще нельзя было ее не одобрять, но редактор ее С. А. Юрьев по своему добродушию иногда принимал и помещал произведения вовсе не пригодные и даже противные нашим общим убеждениям. <...>

Глава XV (1871–1875)

Зима 1871–1872 г. — Статьи в «Беседе» и между ними: «В чем мы нуждаемся?» — Сожжение двух книг «Беседы» и ее прекращение. — Сапожковское земство. — Книга «Наше положение», 1871 г. — Эмс. — Ю. Ф. Самарин. — Положение о народных училищах. — Крепостники, либералы и искатели мест в земстве. — Зима 1874–1875 г. — Валуевская комиссия 1873 г. — Книга «Об общинном землевладении в России», изд. в Берлине. — Дополнение к книге «Наше положение». — Знакомство с Лорис-Меликовым. — Либеральный цензор. — Земские дела в Рязанской губернии. — Александровская учительская семинария. — Смерть М. П. Погодина 1875 г. — Кончина Ю. Ф. Самарина 1876 г.

Зима 1871–1872 года прошла в Москве и скучно, и грустно. По вторникам собирались у нас, как по обыкновению, но разговоры были не живы и мало интересны. Даже издаваемая С. А. Юрьевым «Беседа» мало нас оживляла. Слухи и официальные известия из Петербурга нас тревожили и огорчали. Я писал для «Беседы» разные статьи, большей частью финансовые, но писал более по долгу, чем по охоте. Одна моя статья «В чем мы всего более нуждаемся?» наделала много шума; на нее обратили внимание и в обществе, и в журналистике; и это доставило редактору «Беседы» конфиденциальное внушение впредь воздержаться от помещения подобных статей. Вообще цензура становилась все строже и бессмысленнее, и количество самых стеснительных и нелепых циркуляров, официальных и конфиденциальных, росло с каждым днем. Атмосфера все более и более сгущалась, а жизнь становилась пустее и безотраднее.

Так протекли и 1872-й, и 1873-й годы. В конце первого из них, т. е. второго года существования «Беседы», по определению Комитета министров сожгли две ее книги и воздержались от сожжения третьей только вследствие обещания, данного С. А. Юрьевым, прекратить издание журнала. О последнем, т. е. о прекращении журнала, оба мы не плакали, ибо труд этот при тогдашних обстоятельствах становился с каждым днем все тяжче, менее производительным и менее отрадным. Указ июня 1872 года передал печать в полную зависимость администрации; и мы, закрывши «Беседу», почувствовали себя как-то свободнее.<...>

После губернского земского собрания в конце декабря 1873 года приехал я в Москву и нашел в обществе то же грустное, безжизненное настроение, как и в предыдущие годы. Да иначе и быть не могло. И печать, и земские собрания в своих действиях были до крайности стеснены. Собирались у нас по вторникам, но живого слова почти не было слышно.

Почти ежегодно зимой я ездил в Петербург и там оставался около недели и виделся там с людьми, и во власти состоящими, и вне ее обретающимися. Все тяжче и тяжче становились впечатления, которые оттуда я увозил. До 1866 года приятно и как бы животворно было туда ездить. Хотя уже и тогда так называемые консерваторы захватывали все более и более власти в свои руки и старались если и не уничтожить, то, по крайней мере, сокращать благие действия предпринятых реформ; но они еще интересовались тем, что происходило в Москве и во внутренности империи, расспрашивали, со вниманием слушали то, что им сообщалось; и видно было, что они хотя несколько уважали общественное мнение и не совсем презирали заявлявшиеся потребности страны. В последнее время и министры, и их подчиненные, и даже люди, не во власти состоящие, а так себе в Петербурге живущие, совершенно перестали расспрашивать о том, что делается вне Петербурга; вся наша пространная многолюдная страна перестала для них как бы существовать, и весь их мир сосредоточился в Петербурге и почти в сфере одной дворцовой жизни. Своим ушам не веришь, и уму кажется непонятным, как люди, прежде и умные, и даже либеральные, могли превратиться в существа и бездушные, и почти бессмысленные.

Это крайне тяжкое положение нашей страны и грустное настроение моего духа заставили меня написать книжку, которую я озаглавил «Наше положение». В Москве я ее читал кое-кому; и все находили, что наше положение вполне верно мной изображено. И сам я был доволен моим произведением, что случалось со мной нечасто. Напечатать эту книжку в России было немислимо. Двенадцать лет я ничего не печатал за границей и пробаивался кое-как нашей свободой печати; но наступило такое время, что молчать считал невозможным, а иметь дело с цензурой — немислимым, а потому я решился ехать за границу по окончании наших земских выборов. (В этом году избирались гласные на четвертое трехлетие.) Я решился на

это тем охотнее, что чувствовал потребность в эмских водах. 21 июля я отправился из Москвы через Смоленск в Варшаву. Тут виделся я с несколькими поляками и всего более провел времени и много беседовал с переехавшим из Москвы проф. Симоненко. Мрачное мое настроение от этих бесед нисколько не прояснилось, а, напротив того, оно еще более сгустилось. Да! мы все делаем, чтобы раздражать наши окраины.

24 июля я был уже в Берлине. Тут я познакомился с книжным магазином Бера и особенно с его главным приказчиком Неманом, человеком очень умным и милым. Он взялся напечатать мою книжку в Лейпциге и обещал присылать ко мне корректуры в Эмс. Перечитавши еще раз мою рукопись и сделавши в ней некоторые исправления, я передал ее Леману и отправился из Берлина. В Эмсе пил воды, брал ванны, много гулял и читал и особенно много беседовал с Ю. Ф. Самариным, который также туда приехал пользоваться водами. Я сообщал ему корректуры моей книжки, которые получал в Эмсе, и он одобрил начертанную мою картину. Обыкновенно мы с Ю. Ф. Самариным много спорили, но на сей раз в Эмсе мы как-то пели в унисон.

Из Эмса через Франкфурт поехал я в Лейпциг для окончания просмотра и исправления корректур моей книжки. Тут я пробыл несколько дней, из которых один был посвящен немцами празднованию Седанской победы. Удивительно, как немцы, отменно умные в книгах, крайне глупы в практической жизни. Каких нелепостей при этом праздновании они не совершили! – Получивши несколько экземпляров отпечатанной моей книжки и отправивши один из них при всеподданнейшем письме в Петербург к Государю Императору, я поехал из Лейпцига на Берлин и Петербург; 2 сентября я был уже в Москве, а 5-го – в Песочне.

25 мая в этом году (1874) состоялось новое положение о начальных народных училищах, которым значительно и в враждебном земству духе изменялось прежнее по сему предмету положение 1864 года. В течение шести лет я был председателем уездного училищного совета по его избранию; на основании нового закона председательство возлагалось на предводителя дворянства. Вследствие этого я передал ему эти обязанности и думал отказаться и от членства в совете. <...>

Эта зима (1874–1875), как и предыдущие, была вообще безжизненна и ничем замечательным не ознаменовалась. С приятелями видался я довольно часто; много мы толковали и о том, и о сем, и всего более о недавно тогда изданных трудах так называемой Валуевской комиссии «по исследованию нынешнего положения сельского хозяйства и сельской промышленности в России». Как эти труды напечатанные, раздававшиеся довольно щедро и даже пущенные в продажу, возбудили вновь и в обществе, и в литературе жаркие прения об общине и общинном владении и заставили меня написать книжку и напечатать ее за границей, то считаю нужным на этом несколько приостановиться.

В 1872–1873 году была учреждена по высочайшему повелению под председательством министра государственных имуществ П. А. Валуева комиссия из разных тайных и действительных статских советников, представителей разных ведомств: Министерств внутренних дел, финансов, уделов и государственных имуществ. Для придачи ей пущей важности были затребованы сведения из 958 разных источников и составлены из доставленных сведений многотомные своды; сверх того, приглашались в заседания комиссии многие эксперты из разных сфер и сословий. Обстановка комиссии, как из сказанного видно, была великолепная и напоминала или, по крайней мере, имела в виду напомнить английские парламентские комиссии. Она имела не менее 52 заседаний. Затем издан был обширный и очень обстоятельный доклад с четырьмя толстыми томами приложений. Одна из главных причин застоя сельского хозяйства в России и слабого его развития заключалась по сведениям, собранным комиссией, в общинном крестьянском землевладении, а потому принятие мер если и не к немедленной, законом произведенной его отмене, то к постепенному его сокращению и упразднению составляло, по мнению комиссии, неотложную и неперемennую задачу для администрации и законодательной власти. Доклад написан довольно ловко; все показания крестьян и приглашенных экспертов, защищавших общинное землевладение, были изложены в докладе коротко и в общих выражениях, а доводы и соображения противников общины были тщательно собраны и рельефно выставлены. В бытность мою в Петербурге зимой 1873 года я был также приглашен как эксперт в эту комиссию, и мои слова в сокращенном

виде нашли место в толстых томах приложений. Замечательно, как бюрократия сумела из разнородных, даже противоположных и самых положительных показаний составить доклад как будто беспристрастный и на добытых данных строго основанный, а действительно выражавший только личное мнение министра – русского по фамилии и немца-остзейца по понятиям и чувствам. В газетах, в месячных журналах, даже в салонах завязались вновь жаркие споры об общине и общинном землевладении; противники их всячески старались представить их и в революционно-социалистических, и в ретроградных видах, искали схоронить эти ненавистные чудовища и на их могилах устроить панские или баронские суды и порядки. Начал я писать по этому поводу статью для какого-нибудь русского журнала, но она разрослась, приняла образ не вполне цензурный, и я решил отправить ее в Берлин, где она и была напечатана в марте 1875 года в виде отдельной книжки под заглавием «Об общинном землевладении в России».

Книжка моя «Наше положение», напечатанная в прошлом году в Берлине, прошла не бесследно. Хотя в России она подверглась безусловному запрещению, однако проникла туда в значительном числе экземпляров; и в Петербурге, и в Москве много о ней говорили, и по поводу ее предложено было мне много вопросов и высказано много недоумений и возражений. Она удостоилась перевода на немецкий язык, а выписки из нее печатались в «Times» и других английских журналах. Тайная наша полиция соблаговолила также обратить внимание на это мое произведение, произвела кое-где захваты и допросы, а начальник III Отделения докладывал об этом даже Государю Императору; но от его величества не последовало по этому предмету никакого карательного повеления. Предложенные мне вопросы и заявленные мне недоумения и возражения побудили меня написать новую книжку в виде продолжения к «Нашему положению». Позволю себе здесь повторить сказанное мной в предисловии к новой моей книжке «Общая Земская дума в России», напечатанной в Берлине в августе 1875 года. Думаю, что это повторение будет здесь уместно:

«Книжка моя “Наше положение”, встреченная многими с сочувствием и доставившая мне несколько приятных отзывов, подверглась в России, к крайнему моему прискорбию, безусловному запрещению.

За что?

За то ли, что в ней проповедовались какие-либо безбожные или безнравственные нигилистические мнения? Нет! самый строгий православный христианин не найдет в ней ни одного мнения, ни одного выражения, хотя сколько-нибудь противного учению нашей Церкви или заповедям христианской нравственности.

За то ли, что в этой книжке содержатся выходки против самодержавия или против личности царствующего Государя или вообще против верховной власти? Конечно, нет! ибо не мог я говорить, чего не думаю; а я вполне и глубоко убежден в необходимости самодержавия для России, считаю великим счастьем незыблемость верховной власти в нашем Отечестве, искренне предан своему Государю и от души его люблю за великие им совершенные преобразования и за личные его ко мне милости.

За то ли, что в моей книжке высказаны какие-либо революционные начала, возбуждения к неповиновению вообще или к вражде одного сословия против другого? Нет! сто раз нет! Я совершенно чужд революционизма и по характеру, и по убеждениям, и по летам, и по моему положению вообще. Смело вызываю самого придирчивого следователя и самого беззастенчивого доносчика узнать, где я возбуждал какие-либо страсти или лица к противодействию правительству, или к борьбе сословий между собой, или к каким-либо другим противозаконным действиям.

За что же, наконец, безусловно запрещена в России моя книжка?

За то, что в ней высказаны некоторые правды насчет настоящего нашего положения и действительного ведения у нас дел, что они изложены хотя и без злобы и насмешки, но и без утайки и прикрышки и что тем нарушается гармония лжи, которою стараются все прикрыть.

Грустно, очень грустно, что дома, между своими нельзя откровенно беседовать о наших общих нуждах и что необходимо прибегать к берлинским или лейпцигским станкам, чтобы свободно передавать свои мысли и чувства. Прискорбно и то, что надо ехать за границу или прибегать к нарушению таможенных правил, чтобы достать и прочесть книги об России – книги не нигилистические, не революционные, не безнравственные,

а только имеющие свойство правдивости относительно нашего отечества. Неужели это требуется государственной пользой и спокойствием страны?

Объясню здесь в коротких словах цель ныне печатаемой книжки.

В конце изданной в прошлом году книжки “Наше положение” мы вывели необходимость учреждения у нас государственной Земской думы и не высказали нашего мнения о том, как и из кого ее составить. Какие права ей предоставить? Какие обязанности на нее возложить? Какой круг деятельности ей очертить? К этому мы присовокупили: “Эти и другие вопросы разрешить нетрудно. Самое существенное – убедиться, что мы не можем долее оставаться в том положении, в каком находимся, что нам необходимо из него выйти и что единственный к тому путь и способ есть учреждение сказанной думы”. Многие, изъявляя свое сочувствие к этой мысли, предлагали мне разные вопросы: Как согласовать существование такой думы с самодержавием? Предоставлять ли ей рассмотрение государственной сметы доходов и расходов? Будет ли эта дума вправе отказывать правительству в расходах, которые она сочтет излишними, в установлении новых налогов или в усилении уже существующих? Если дума не будет вооружена решительным голосом, то будет ли она иметь какое-либо значение? Все ли проекты законов должны проходить через думу или самодержавная власть сохранит за собой право издавать такие и помимо думы? Как производить выборы гласных? На какой срок их избирать? В какое время им собираться и долго ли должны продолжаться их собрания? Еще много других вопросов было мне предложено; из них я убедился, что большинство вопросителей сбивалось на европейский конституционализм, которого я вовсе не имею в виду, и что необходимо изложить обстоятельно то мнение, которое я себе составил о деятельности предполагаемой мной Земской думы.

Вот повод к написанию и изданию этой книжки. Авось она заставит иных призадуматься, других – высказать свои, быть может, лучшие по сему предмету мысли, а цензуру, наконец, убедиться в моих антиреволюционных, истинно консервативных и искренне верноподданных чувствах и мнениях.

Еще два слова.

И вновь изданная мной в Берлине книжка «Об общинном землевладении» подверглась запрещению!

Это за что?

Разгадка причины этого запрещения уже превышает мои умственные силы.

Думал, что упрекнут меня за то, что такое сочинение, русским охранительным духом проникнутое, напечатано мной не в России и что тем я ограничил и затруднил его обращение в стране нашей. Нет! Цензура эту книжку запретила.

11/23 июля 1875. Эмс».

В первых числах мая отправился я в деревню, объехал все свои хозяйства, сделал нужные по ним распоряжения, произвел как член училищного совета экзамены по сельским школам и был 16 июня уже в Москве, а 17-го отправился за границу. В Берлин приехал 20-го, там пробыл недолго, уговорился с Бером насчет печатания моей новой книжки и 23-го был уже в Эмсе. Там была жена моя, вскоре туда приехали Погодины. Тут познакомился с М. Т. Лорис-Меликовым.

Вот как это случилось. Выпивши стакан «Кесселя», я прогуливался, подходит ко мне незнакомый русский, называет себя и говорит: «Я прочел Вашу книжку “Наше положение”, вполне сочувствую Вашим взглядам и желаниям и непременно пожелал с Вами познакомиться». Тотчас мы разговорились; в тот же день он был у меня, и обедали мы вместе. С этого дня и до отъезда мы были неразлучны, вместе обедали, гуляли и вечера проводили. Никогда не забуду этих трех недель, проведенных в Эмсе с Погодиным и Лорис-Меликовым. Наши беседы были столь же интересны, сколько и дружественны. Никак я не думал тогда, что с Погодиным я проводил последние дни и что, расставшись в Эмсе, мы более не увидимся. Лорис-Меликов произвел на меня очень приятное и сильное впечатление: он поражал не только своим умом и простотой обхождения, но и сердечностью и полнотой жизненности во взглядах и понятиях. На другой день после нашей первой встречи мы были с ним как старые приятели, и хотя военный, армянин, проведший большую часть своей жизни на Кавказе, он смотрел на вещи и события как русский гражданин и как человек современно развитый.

Погодину и Лорис-Меликову по вечерам я иногда читал писавшуюся мной тогда книжку «Общая Земская дума»; они мне делали замечания, предлагали вопросы; и из этого выходили очень интересные и живые беседы. <...>

На возвратном пути пробыл я в Берлине целую неделю, исправлял корректуры моей книжки и читал произведения русских нигилистов-анархистов. Им я просто дивился: бессмыслица, полное незнание духа и потребностей русского народа и даже его языка. Из Берлина я поехал в Петербург и был 24 августа в Москве, а 2-го уже в деревне – с. Песочне. Из Берлина и эту мою книжку, как и прежние, при всеподданнейшем письме отправил в Петербург к Государю Императору. <...>

В Рязани, в самый разгар наших земских прений и действий, я получил известие о кончине М. П. Погодина. Это известие, хотя я его и ожидал, сильно меня огорчило. После того, что мы расстались в Эмсе, он с женой своей поехал в Гамбург к кн. П. А. Вяземскому, а оттуда через Мюнхен возвратился в Россию. В Смоленской губернии он остановился у сына, и в половине октября он был уже в Москве. Тут он бодро принялся за работу и писал ко мне, что чувствует себя очень хорошо. В ноябре он произнес в «Славянском обществе» очень хорошую речь по поводу борьбы славян на Балканском полуострове. Но вскоре затем стал чувствовать в оконечностях – в руках и ногах – несвободное движение, которое постепенно усиливалось и распространялось на другие части тела. Затем лишился способности говорить и наконец в последние десять дней даже перестал узнавать людей, ему близких. Он скончался 8 декабря на 76-м году своей жизни. Мы знакомы были с университета, т. е. более пятидесяти лет, а очень сблизились после кончины А. С. Хомякова, т. е. с 1860 года. Тут мы сделали друг для друга необходимыми, и наши отношения все более и более учащались и скреплялись. В М. П. Погодине я лишился последнего единомыслящего друга.

В конце марта (1876 г.) поражены мы были совершенно неожиданным известием о кончине Ю. Ф. Самарина в Берлине. В декабре он уехал из Москвы, очень усердно занялся в Берлине изучением внутреннего управления Германии, съездил на несколько дней в Париж и возвратил-

ся в Берлин. Тут он занемог, и, нашедши неудобным лежать больным в гостинице, он переселился в один известный Krankenhaus (больница. — нем.), где и скончался. Грустно было для нас лишиться такого прекрасно-го человека и такого полезного и даровитого деятеля; но трагичность его кончины нас особенно поразила. Имея огромную семью — мать, братьев, сестру — и состоя в дружбе и приязни с весьма многими, он умирает в полном одиночестве, посреди людей чужих; сердечно и глубоко любя Россию и ее народ, он оканчивает жизнь на чужбине; воевавши постоянно и горячо против немцев, он в последние свои дни и часы окружен только немцами; известный не только в России, но и в Европе, он умирает в немецкой Krankenhaus'e под чужим именем; наконец, православный христианин и ревностный поборник Православия, он не имеет утешения веры при последних страданиях (священник приезжает, но находит его уже в беспамятстве), и Церковь Православная при русском посольстве не впускает к себе тело усопшего, и он отпевается в протестантской церкви! Это ужасно!

Утешительно только одно: это действие, произведенное кончиной Ю. Ф. Самарина, и сочувствие ему, заявленное обществом и печатью и в Москве, и в Петербурге. Все газеты и журналы без всякого различия мнений сожалели об утрате скончавшегося и говорили о его значении для России, о его трудах и заслугах. Речам и статьям по этому поводу не было конца. На панихиды в Петербурге и Москве стекались со всех концов города и знакомые, и незнакомые. На похоронах в Москве было стечение людей огромное, и только блистал своим отсутствием представитель власти — московский генерал-губернатор (говорят, что он из Петербурга получил телеграмму, воспрещавшую ему быть на похоронах).

Умирали и прежде значительные мыслители и деятели, даже такие, как Хомяков и Гоголь. Друзья и знакомые оплакивали их и изъявляли покойным свою любовь и уважение; но общество и печать относились к ним холодно, и только на время умолкали осуждения и насмешки со стороны противников насчет мнений покойников. Но по случаю кончины Самарина едва ли не в первый раз общество живо высказало сочувствие к скончавшемуся общественному деятелю; а печать забыла прежние ра-

спри и разногласия и соединилась в воздаянии покойному заслуженной похвалы. Много этому содействовало то, что Самарин никогда не кадил власти, печатал многие свои произведения за границей и был если и не гоним, то заподозрен и нелюбим правительством. Но и это обстоятельство не уменьшает значения общего сочувствия. Наше общество и наша печать сильно страдают лакейством. Слава Богу, что иные чувства у нас пробуждаются. Такое явление было немыслимо 30 лет тому назад. Видно, хотя несколько мы двинулись вперед.

Похороны Погодина были многолюдны и торжественны. Но тогда хоронили тайного советника, разных орденов кавалера, заслуженного профессора, академика и никогда не бывшего в оппозиции в отношении к правительству. Все власти принимали участие в церемонии, а жители хоронили своего родного. Теперь предавали земле коллежского советника, не принявшего орден св. Владимира, ему данного за общественную службу, и остававшегося более 30 лет в частной жизни.

Хотя в последние годы отношения между мной и Самариным несколько изменились, мы много спорили и расходились в мнениях по некоторым даже важным вопросам, однако мы сохранили друг к другу прежние чувства благорасположения и уважения. А потому его неожиданная кончина меня очень огорчила.

Глава XVI (1876–1877)

Зима 1875–1876 г. — 70-летний возраст и передача хозяйства сыну. — Поездка на юг России. — Бразильский Император Дон Педро. — Зима 1876–1877 г. — Одушевление в пользу славян. — Война с Турцией. — Народное воодушевление. — Пожертвования. — Земские дела. — Сан-Стефанский мир. — Весна 1877 г. — Смерть кн. Черкасского. — Берлинский трактат. — Речь И. С. Аксакова в Слав(янском) комитете. — Всемирная выставка в Париже 1878 г.

Зима 1875–1876 года в Москве вообще кое-как протекла: съезжались, сообщали друг другу разные нерадостные слухи, толковали, даже спорили; вести из Боснии и Герцеговины словно оживляли общество;

но действительной жизни нигде не было. Наступила весна, и все были рады разъехаться.

Лето с семейством провел я в селе Песочне. Тут и тогда совершался новый перелом в моей жизни. Мне стукнуло 70 лет, до этого времени я энергично занимался своими хозяйственными делами. Прежде я любил даже с увлечением земледелие и вообще сельское хозяйство, винокурением и винной торговлей занимался я также довольно охотно. Но в последние годы эти занятия и хлопоты стали меня тяготить. Вследствие этого я пригласил сына принять на себя под моим наблюдением управление главным имением. Он приехал ко мне в первых числах июня, и мы все лето до 1 сентября вместе занимались хозяйственными распоряжениями, а после первого сентября с дочерью и ее дочерьми отправился в Крым, где я еще никогда не бывал. Мы пробыли несколько дней в Киеве, посетили лавру, Николаевский мост, церковь Андрея Первозванного и вообще много ходили, ездили, любовались. Тут свиделся я со старым приятелем М. В. Юзефовичем, которого нашел очень подряхлевшим и еще более приверженным к насильственной русификации поляков. Много мы с ним поспорили; у него провел очень приятно вечер, на который он пригласил для меня многих интересных киевлян.

Одесса произвела на меня странное впечатление: город не русский и не иностранный, а просто торговый. Навестил давнего своего знакомого, попечителя учебного округа г. Голубцова, обедал у него и познакомился со многими профессорами – Григоровичем, Дювернуа и др. Посетили мы университет и его музеи; но все это являлось как-то странным, менее учеными и учебными учреждениями, чем какими-то торговыми заведениями. Объехали мы гавани, много по ним ходили, дивились их оживлению; но без грусти на третий день сели на пароход, отправлявшийся в Севастополь.

Переезд из Одессы в Севастополь был очень удачен: погода была великолепная, никто не страдал морской болезнью, а я просто блаженствовал и еще раз убедился, что мне следовало быть моряком. Вместе с нами ехал бразильский Император, человек умный, совершенно простой в обхождении и очень любезный в разговоре. Много мы с ним бесе-

довали. На следующий день в 10 часов утра после 19-часового плавания мы были уже в Севастополе.

Тут провели мы целую неделю и приятно, и грустно. Приятно потому, что посетили Малахов курган, 4-й бастион, французское кладбище, вновь строившийся собор, братское кладбище и проч. Собор обещал быть очень замечательным по своей архитектуре, а братское кладбище было чрезвычайно интересно по памятникам и надписям на могилах павших героев. Были мы также в Инкермане и любовались там пещерами и особенно церковью, вырубленной в горе. Целый день посвятили мы Бахчисараю, Успенскому скиту и Чуфут-Кале. Мы наслаждались и узнавали много нового, крайне интересного. Но вместе с тем Севастополь производил на нас и очень тяжелое, грустное впечатление. После двадцатилетнего замирения Севастополь – великолепнейшая гавань на Черном море, святыня для России в патриотическом отношении – оставался почти в том же виде, в каком он был после ухода врагов; почти три четверти зданий представлялось развалинами; город почти безлюден; на улицах почти никого не встречали; лавчонки пустые – во всем и везде отсутствие жизни и заботы о крае. Замечательно, что чудные доки, переданные, не знаю чего ради, обществу пароходства и торговли, являлись также не живым поприщем компанейской деятельности, а обязательным местопребыванием как бы казенной службы и работы.

В седьмой день нашего пребывания в Севастополе мы решились на следующее утро отсюда отправиться далее. Мы заехали в Георгиевский монастырь и ехали до Байдарских ворот, наслаждавшись только прекрасной погодой и хорошим воздухом. Но грустно было видеть, что чудный край и по почве, и по климату оставался как бы пустыней в плохо обработанном, почти заброшенном виде: поля кое-как всцарапанные, луга кое-где скошенные и сенные стога, изредка по ним разбросанные. У Байдарских ворот при въезде к побережью мы остановились; картина моря и живописного берега нас просто очаровала; несмотря на резкий ветер и даже приближавшийся дождь, долго мы не могли решиться сесть опять в коляску и ехать далее. Наконец мы двинулись вперед и не пону-

кали нашего ямщика, а, напротив того, постоянно его удерживали, ибо на каждом шагу представлялись самые очаровательные виды.

Вся дорога до Ялты – восхитительная. Переночевавши в Мердыне, мы поутру приехали в Ялту, где не без труда нашли для себя пригодную квартиру. Гулянья в самой Ялте не завлекательны; но окрестности ее прелестны. Мы постепенно объехали Ливадию (куда нужно было выхлопотать билет), Орианду, Алупку, Юрзуф, Массандру, Никитинский ботанический сад, Могарач и проч. Природа везде восхитительная; но и искусство кое-где немало сделало. Всего приятнее и дольше мы пробыли в Алупке, где Воронцовы много сделали для украшения местности и кое-что для удобства посетителей. В Ялте очень мало о них заботятся: обеды везде только сносны, прогулки общественные и тесны, и плохо содержимы, книжной лавки ни одной, и газет нельзя было купить, и можно было очень немногие из них прочесть только в клубе, помещавшемся на оконечности города. Вообще в Ялте мало сделано для удовлетворения потребностей приезжей публики, но зато не упускали случаев брать с нее за все втридорога.

Проживши в Ялте около месяца, мы решились оттуда выехать 16 октября. Испортившаяся погода и слухи, все более и более настоятельные, о приближающейся войне с Турцией заставляли многих, и нас в том числе, ускорить отъезд, который мы прежде назначили на самые последние дни октября. Мы поехали на Алушту, где мы обедали, много гуляли и ночевали. На следующий день мы отправились в Симферополь, где также пробыли день. Дорога и самый город очень интересны и красивы. Оттуда по железной дороге поехали в Харьков и Тулу, где я своротил на Ряжск и к себе в с. Песочню. <...>

Зима 1876–1877 года прошла в Москве много оживленнее предшествующей. Известия с Балканского полуострова всех живо интересовали. Толки об отправляющихся туда добровольцах, действия московского Славянского комитета и слухи о предстоявшей войне с Турцией волновали и общество, и печать. Еще никогда не было в России столько славянофилов, как тогда; одушевление в пользу славян росло и распространялось. «Голос», высказывавшийся против войны и за мирные переговоры, возбуждал сильные против себя негодования, и даже я перестал его за-

щищать и читал его с большим неудовольствием. Слова, сказанные Государем в Кремле при возвратном его проезде из Ливадии в Петербург, всеми с восторгом повторялись. И. С. Аксаков имел в Москве большое значение. Весной объявлена была война Турции, и всеобщий восторг не имел границ; земства, города, частные лица, даже крестьянские общества жертвовали, каждый по своим средствам, более или менее значительные суммы на военные издержки, а также в пособие славянам или прямо, или через посредство Славянского комитета. Общее одушевление было таково, что оно напоминало 1812 год, когда для отражения вторгнувшегося в наши пределы врага вся Россия вооружилась и готова была идти для спасения отечества. <...>

Лето я провел спокойно в деревне, с жадностью читая газеты и еще занимаясь вместе с сыном хозяйственными делами. Известия из армии нас и радовали, и сильно тревожили. <...>

В ноябре этого 1877 года скончался в Москве Ф. В. Чижев, человек очень умный и дельный. Долго мы с ним были в коротких приятельских отношениях; но после 1864 года, как было мной рассказано прежде, эти отношения совершенно изменились. Сперва мы было вовсе раззнакомились, но А. П. Елагина в день Пасхи 1868 года нас свела, и мы стали опять друг к другу ездить; но добрая приязнь между нами уже не восстановилась. Он написал свои «Записки» и завещал отдать их на хранение в Московскую публичную библиотеку и не печатать их до истечения 50 лет после его смерти. Это распоряжение многим показалось довольно странным, но оно нисколько не удивило людей, коротко его знавших. Хотя Ф. В. Чижев был человек хороший и по своим дарованиям и трудолюбию весьма замечательный, и некоторые учреждения (Купеческий и Взаимного кредита банки, Ярославская железная дорога и др.) обязаны ему своим первоначальным устройством и ведением, однако он имел некоторые странные слабости; он был до крайности самолюбив, хвастлив, и даже солгать ему ничего не стоило. Случалось мне бывать вместе с ним при разных приключениях, и его о них рассказы бывали таковы, что приходилось думать, что я или отсутствовал, или был в забытии во время рассказанных им событий. Шибко боюсь, что записки Чижова

сообщат потомству много небылиц и представят деяния как его, так и других в ином виде, чем как они происходили.

Зима в Москве была очень оживленная. Сперва слухи о Сан-Стефанских переговорах всех сильно интересовали, и толки о них были самые разнообразные. Иные москвичи были довольны получавшимися известиями и радовались, что дело идет хорошо и к миру. Другие крепко негодовали на то, что наши войска не взошли в Царьград и что не там подписывается мирный договор. Наконец получено было известие, что 19 февраля в Сан-Стефано подписан мирный трактат, но его условия долго оставались не положительно известными. Это умножало слухи и усиливало споры. Когда условия перестали быть тайной, хотя и не были формально объявлены, то разногласия в обществе и в печати не стихли, а, напротив того, стали высказываться еще с большей страстностью. Особенное негодование возбуждал «Голос», и его ругали с пеной у рта.

В это же время получено было известие о кончине кн. В. А. Черкасского, который состоял при вел. кн. Николае Николаевиче, командовавшем в Турции нашей действовавшей армией. Кн. Черкасский скончался в самый день подписания Сан-Стефанского трактата. Не решаюсь судить о его тамошней деятельности, ибо рассказы о ней людей самых достоверных и добросовестных так разноречивы, даже противоречивы, что решительно нет возможности составить себе верное и положительное о ней заключение. Я знал кн. Черкасского более тридцати лет, был свидетелем его деятельности в Петербурге, Варшаве и Москве и находился с ним в весьма коротких отношениях, которые временно изменялись, но никогда не прерывались. Кончина его была для нас утратой не столько сердечной, сколько реальной, ибо он мог быть еще очень полезен для России, где дельных людей становилось как-то мало. Когда тело его привезли в Москву, то с грустью мы его похоронили в Даниловом монастыре.

Весной 1878 года я поехал в деревню и оттуда в июне возвратился в Москву, где все, кого я видел и каких бы мнений кто ни был, высказывали свое негодование по случаю изъявленного нашим правительством согласия на конференции в Берлине и еще более по поводу слухов о том, что там происходило. И выбор представителями России одряхлевшего

кн. Горчакова и бывшего начальника III Отделения гр. Шувалова сильно тревожил людей, дороживших достоинством России и участью славян. И. С. Аксаков выразил эти чувства в довольно сильных словах в заседании Славянского комитета, бывшем в июне. Речь свою И. С. Аксаков передал мне с просьбой ее напечатать за границей, что я охотно исполнил, ибо вполне ей сочувствовал. Проездом из Москвы в Берлин заехал я к А. Д. Градовскому, который проводил лето под Вильной на своей даче. Я нашел А. Д. Градовского в таком же грустном настроении, в каком и мы все были. В Берлине я увидел немцев, ликовавших по поводу того, что в их городе и под председательством их канцлера собирался конгресс и решались судьбы Европы. Восторг немцев был безумен и оскорбителен для иностранцев и особенно для русских. В бытность мою в Берлине 1/13 июля подписан знаменитый трактат. Лилась река пива, и немцы от радости чуть не плясали *Unter den Linden* (под липами. — *нем.*).

В Берлине я остался недолго; общее ликование было слишком тяжело для русского. Прочитавши там несколько русских брошюр и купивши несколько книг, я поспешил в Эмс. Там нашел много русских и особенно рад был опять съехаться с Лорис-Меликовым, тогда уже возведенным в графское достоинство. Много он мне рассказывал интересного о военных событиях за Кавказом, о взятии Карса и проч. Мы ежедневно вместе обедали, много гуляли и по вечерам часто сходились. Еще более любил я этого человека. В Эмсе пробыл я три недели, пил воды, брал ванны и пуще всего много гулял.

Оттуда пароходом я поехал на Майнц и по железной дороге на Люцерн, где пробыл день и возобновил в памяти все, прежде там виденное. <...> Особенно расстроило и огорчило меня полученное известие из Москвы о закрытии Славянского комитета и о высылке из Москвы И. С. Аксакова. Он избрал себе местом пребывания имение свояченицы Е. Ф. Тютчевой в Владимирской губернии. Славянский комитет и еще более И. С. Аксаков были очень неприятны петербургским властям, и они воспользовались его речью, чтобы прихлопнуть первый и выпроводить последнего из Москвы. Это известие так сильно на меня действовало, что я почувствовал себя неспособным продолжать писание книжки, которую я предполагал окон-

читать еще за границей и напечатать в Берлине. Не в таком возбужденном и расстроенном положении можно написать что-либо разумное, а потому и отказался от мысли издать новую книжку. <...>

Глава XVII (1878–1880)

Земские дела 1878 г. — Зима 1877–1878. — Политические убийства и беспорядки в администрации. — Книжка «Что же теперь делать?», изд. в Берлине. — Земские занятия. — Покушения на жизнь Императора 19 ноября под Москвою. — Взрыв в Зимнем дворце 5 февр. — Назначение Верховной комиссии. — 25-летие царствования Александра II. — Облегчение печати. — Совещания рязанского земства с министром нар. просв. о народных школах. — Записка об этом министру. — Издание газеты «Земство».

Из Берлина через Петербург возвратился я в Москву, а оттуда отправился немедленно в Песочню. <...>

Зиму провели мы в Москве и тяжело, и грустно. Рассказы людей, приезжавших из внутренности страны и из Петербурга, о происходивших везде беспорядках в ходе административных дел, об общем постепенном обеднении и об ухудшающихся действиях земских, городских и судебных учреждений сильно нас тревожили и огорчали. Все более и более стесненная печать лишала возможности высказывать свободно и откровенно мысли и чувства и сообщать предположения насчет мер к уврачеванию удручающих нас недугов. Затеи нигилистов, их сборища, волнения, ими причиняемые, и разные их преступные покушения нас крайне озабочивали. Известия об убийстве кн. Кропоткина в Харькове, о покушении 2 апреля на жизнь Императора всех страшно поразили. Установление временных генерал-губернаторств, объявление некоторых местностей на военном положении и усиление вообще власти местной администрации мало нас успокаивали и удовлетворяли. В феврале я ездил в Петербург, не по делам, а просто из любопытства; но оттуда привез я мало успокоительного. Нигде о беспорядках, происходивших в высших и средних сферах администрации, не пришлось мне наслушаться столько, сколько в Петербурге. Виделся я со многими сановниками и чиновниками, и они не

воздерживались от рассказов о происходившем в других министерствах и в высших правительственных учреждениях; они не скрывали даже и того, что по необходимости они сами должны были допускать и у себя и признавались, что не знают, что им делать. Несостоятельность высшего управления оказывалась еще большей и менее сомнительной, чем несостоятельность местной администрации. Очевидно было, что у лучших людей отпадали руки от дела и что не теряли бодрости и надежд только те администраторы, которые не имели в виду общее дело, а заботились только о своих личных интересах. Таких людей было, конечно, немало, но и они приличия ради вторили общим жалобам и сетованиям.

Не без внутренней, правда, эгоистической радости уехал я в деревню с намерением в первых числах июня отправиться за границу, где жена моя с дочерью и внучатами ради лечения уже находилась в Вене. Объехавши свои хозяйства, занявшись ими, сколько было необходимо, отбывши свои обязанности члена училищного совета по экзаменам в сельских школах и окрестивши новорожденную дочь моего сына, я отправился в Москву, а оттуда в Петербург. Тут кое с кем виделся и собрал кое-какие мне нужные сведения и отправился в Берлин.

Еще зимой я задумал написать новую брошюру по поводу тяжкого переживаемого нами времени и напечатать ее в Берлине. Во время моих переездов в вагонах я много об этом думал и в Москве и Петербурге старался из газет и разговоров почерпнуть необходимые по разным предметам данные и сообразить их с собственными сведениями и понятиями. В Берлине я занялся почти исключительно чтением разных русских вновь вышедших в свет книг, книжек и газет, запрещенных в России, также купил и взял с собой некоторые немецкие сочинения о современном положении и о социалистических движениях. Из Берлина через Дрезден, Прагу и Вену поспешил я на воды в Глейхенберг, где уже находилось мое семейство. Там пробывши несколько дней, мы отправились в Эмс, где и мне, и жене моей необходимо было пить воды и брать ванны. На сей раз в Эмсе никого особенно замечательного я не встретил и ничего важного не узнал: виделся и с соотечественниками, и с немцами; все были недовольны существующими порядками и жаловались неустанно;

немцы особенно усердно и сильно ругали Бисмарка, но во всем подчинялись его железной воле. <...>

В Эмсе и Шевенинге я усердно писал и исправлял предполагавшуюся к напечатанию в Берлине книжку и 6 августа отправил ее в рукописи к книгопродавцу Беру, издателю моих заграничных произведений, и обещал вскоре быть в Берлине для исправления корректур. Я озаглавил свою книжку так: «Что же теперь делать?». Главный смысл ее высказан был в заключении, которым она заканчивалась: «Да! Положение наше более чем трудно. Тревожит нас нигилизм; но эта язва поразила тело России только извне и только вследствие других недугов, которыми мы действительно страдаем. Обеспечьте наш частный быт; – осуществите местное самоуправление согласно первоначальной мысли, его нам даровавшей; – дайте земле русской возможность через людей, ею излюбленных, высказывать общественное мнение о пользах и нуждах страны и участвовать в устройстве и ведении ее общих дел; – предоставьте русским людям то право, которым пользуются граждане всего образованного мира, – право свободно и за своей ответственностью высказывать свои мнения и чувства; и не станет у нас нигилизма и, что еще важнее, – не станет и других недугов как томящих, обессиливающих и убивающих». И эту книжку, как и предыдущие, я издал с прописью своего имени и с отсылкой одного ее экземпляра при всеподданнейшем письме к Государю Императору. И эта книжка, разумеется, была в России цензурой запрещена.

Из Берлина отправился я через Вильну и Смоленск в Москву, где пробыл очень короткое время и поспешил в деревню. <...>

Приехавши в Москву еще в октябре, я нашел, что летние вакансии и пребывание в деревне никого не успокоили и не оживляли. В Москве была та же духота и то же невольное бездействие; везде и всеми повторялись те же жалобы и сетования; только так называемые нигилисты-анархисты от времени до времени пробуждали спавших и дремавших своими дерзкими и преступными выходками. Злодейское покушение 19 ноября на жизнь Государя Императора посредством подкопа близ Москвы под Московско-Курскую железную дорогу и счастливое спасение Государя от этой опасности поразили в Москве все население: и радовались, и печалились, и

недоумевали; страхи и заботы охватили всех. Едва начинали было успокаиваться, как пришло из Петербурга еще более ужасное известие о взрыве в Зимнем дворце. Это случилось 5 февраля, и на следующий же день слухи об этом наполнили Москву изумлением. Сперва им не верили, да и как было верить покушению, произведенному в самом дворце, – на его взрыв! Наконец получены были об этом происшествии официальные известия. Вскоре затем пришел и указ об учреждении под главным начальством графа Лорис-Меликова Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Графу Лорис-Меликову были даны огромные права, и назначением этой комиссии было «положить предел беспрерывно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок». Этот указ и в особенности возложение на гр. Лорис-Меликова этой великой и трудной задачи произвели во всей России отрадное действие, ибо этот человек сумел приобрести общую любовь и доверие не только как полководец, но еще более как мудрый распорядитель на Волге против распространившейся и свирепствовавшей чумы в Ветлянке. Выбор людей в комиссию и прокламация, изданная гр. Лорис-Меликовым, несколько успокоили и оживили общественное мнение. Особенно всем нравились в изданной прокламации следующие слова: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни, от перерыва которой наиболее страдают интересы самого общества».

19 февраля было везде торжественно, но грустно отпраздновано двадцатипятилетие царствования Императора. Народ и значительная часть интеллигенции любили Государя, были ему благодарны за освобождение крепостных людей и другие его реформы, но вместе с тем все чувствовали, что дела шли не так, как следовало, и все были более или менее недовольны. Надежды, возлагавшиеся на Верховную комиссию и особенно на ее начальника, животворно действовали на население и на общественное мнение страны; но все чего-то ждали и еще более опасались.

Известия о покушении в Петербурге на жизнь гр. Лорис-Меликова и о казни виновного, сведения о политических процессах в Киеве и дру-

гих городах и о разных арестах, обысках и дознаниях, произведенных во многих местностях империи, страшно тревожили и волновали общество. В Москве при встречах первые слова непременно были: «Что нового?» 10 марта я поехал в Петербург и из любопытства, и из желания видиться с гр. Лорис-Меликовым. Я нашел его бодрым, чрезвычайно занятым, спокойным мыслящим и действующим и вовсе не отчаивавшимся в успешном исполнении возложенной на него задачи. Я пробыл неделю в Петербурге, виделся с ним почти ежедневно, но все урывками, ибо у него с утра до поздней ночи постоянно бывало по несколько лиц с докладами. В этот раз хотя я не имел с гр. Лорис-Меликовым продолжительных и серьезных разговоров, но мог удостовериться только в том, что он пребывал в тех же убеждениях, в каких прежде был, и что главные надежды он возлагал не на ограничительные и карательные меры, а на сближение власти с населением, на непосредственное узвание от него общих нужд и на его содействие усилиям правительства. «Не торопите нас, не будьте слишком взыскательны; дайте нам время осмотреться, и тогда без вашего совета и содействия мы не обойдемся», – вот слова, которые гр. Лорис-Меликов неоднократно высказывал и мне, и другим. Приятно мне было еще более убедиться в том, что он тверд без самонадеянности и вовсе не боится сознаваться в своем неведении того или другого, просить совета и с большим вниманием его выслушивать. Как он не похож был на петербургских сановников! Петербург был еще в страхе и недоумении, и вследствие того все партии приутихли. Я уехал из Петербурга с некоторыми надеждами на улучшение хода дел вообще – чувство, которого я давно не испытывал при отъездах с берегов Невы.

Вскоре затем последовавшее назначение рязанского губернатора Н. С. Абазы начальником Главного управления по делам печати и незамедлившееся увольнение гр. Толстого от должностей министра народного просвещения и обер-прокурора Св. Синода очень обрадовало и успокоило общественное мнение. Еще бывши в Петербурге, я уже знал, что Н. С. Абаза не принимал предложенной ему должности иначе, как под условием учреждения комиссии для пересмотра положения по делам печати с введением в него взысканий по суду за проступки по этой

части. Слухи об этом быстро распространились и в обществе, и в печати; а потому вступление г. Абазы в должность было приветствовано с особенной радостью и с надеждами. Что же касается до случившегося накануне Пасхи увольнения гр. Толстого, то оно было принято чуть-чуть не всеми как лучшее красное яичко, каким Государь мог похристоваться с Россией. Ненависть к этому министру была всеобщая; отцы и матери учившейся молодежи, узнавши об этой отставке, служили благодарственные молебны за спасение их детей от гибели. Конечно, еще никто и никогда введенными порядками в гимназии и университеты столько не содействовал успехам крамолы, как гр. Толстой. Безжизненность и формалистика его классической системы притупляли юношей, заставляли их выходить из учебных заведений недоучками и устремляли их в ряды нигилистов-анархистов. Назначение г. Сабурова, попечителя Дерптского учебного округа, министром народного просвещения не обрадовало и не опечалило страны, ибо его вообще мало знали, и слухи о его способностях были различны.

Лето провел я в деревне, но в июле по делам был в Москве; и тут однажды вечером в беседе с В. Ю. Скалоном возникла у нас мысль издавать еженедельную земскую газету. Оба мы были уверены в добром расположении гр. Лорис-Меликова к земству вообще, оба веровали в великое значение земства для России и признавали необходимость для него сосредоточенного органа. Хотя мы ничего не порешили, однако эта мысль сильно засела в наши головы. <...>

В числе побудительных причин к изданию собственной газеты было для меня следующее обстоятельство: И. С. Аксаков также предполагал издавать еженедельную газету и даже приглашал меня быть его сотрудником. В последние годы хотя мы оставались в самых приятельских отношениях, однако в мнениях, даже существенных, мы значительно разошлись: он упрекал меня в отступничестве от славянофильства и в том, что я поддался влиянию моих приятелей-либералов; я же обвинял его в утрате того животворного духа, которым особенно отличался и был так велик Хомяков, и в упорном удержании некоторых особенностей и случайностей славянофильства, которые в свое время имели смысл, но ныне

вполне его утратили. В обществе и литературе продолжали нас обоих считать единомышленниками-славянофилами; и это было мне очень неприятно, ибо я был глубоко убежден, что пора так называемых славянофильства и западничества безвозвратно миновала, что теперь русские не единицами, а вообще расположены к своим единоплеменникам и что теперь все разумные наши соотечественники более или менее глубоко сознают необходимость изучать свое, развивать его и им проникаться, но вместе с тем отнюдь не чуждаться того, что выработано народами, предупредившими нас на поприще общечеловеческого быта и образования. Прежде споры с И. С. Аксаковым бывали у нас частые и продолжительные; казалось, что мы приходили даже к соглашениям, но затем писались им статьи и высказывались мнения, которые отзывались каким-то отжившим славянофильством. Его статьи и речи были талантливы, но грешили недостатком единства, основательности и выработки. Мне особенно неприятны были выходки Аксакова против либералов, против правового порядка, земских учреждений, новых судов и проч. Этим он становился явно против нас, сторонников предпринятых реформ, и как бы под знамя Каткова, который всегда был противником мнений, высказывавшихся в «Русской беседе», и которого мы никогда не считали правомыслящим, добросовестным и полезным деятелем. Ни Хомяков, ни кто-либо из нас никогда не высказывался против либерализма, либералов и всего того, чем ограждаются личные и имущественные права людей; мы даже упрекали западников в недостатке либерализма, ибо они навязывали народу учреждения, постановления и мнения, которым он нисколько не сочувствовал. Прибавка «лже» к слову «либерал» нисколько не изменяла смысла нападок, а показывала только самомнение человека, употреблявшего это слово: он считал только себя здравомыслящим либералом, а остальной люд – глупцами или мошенниками. Молчать при наступивших обстоятельствах было для меня трудно, почти невозможно, помещать же мои статьи кое-где и в изданиях, мне не сочувственных, было неприятно и ничем не вынужденно, а участие в газете И. С. Аксакова могло повести к полному с ним разрыву, чего я вовсе не желал. Это обстоятельство особенно побудило меня сойтись с В. Ю. Ска-

лоном и деятельно участвовать в его газете. Газета под заглавием «Земство» была разрешена: ее издатель остался весьма доволен приемами в Петербурге со стороны лиц, во власти состоявших, и мы положили с первых чисел декабря начать выпуски номеров нашего издания.

Глава XVIII (1881–1882)

Эпоха добрых веяний. — Зима 1880–1881 г. — Статьи для газеты «Земство». — Циркуляр министра внутр. дел. — Рязанское земство. — Встреча с гр. Лорис-Меликовым за границей. — Брошюра «Где мы? куда и как идти?» — Указ 30 мая 1882 г. о назначении гр. Д. А. Толстого министром внутр(енних) дел и общественное настроение поэтому. — Дача в с. Волинском. — Брошюра «Что же теперь?» — Статья в «Голосе» «Наша великая беда». — Губернское земское собрание в Рязани и «Сборник статистических сведений по Рязанской губернии». — Эгоисты и анархисты.

<...> Закрытие Верховной распорядительной комиссии, упразднение III Отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, передача дел, в них производившихся, в Министерство внутренних дел и назначение во главу этого министерства гр. Лорис-Меликова произвели в Москве и во внутренности империи самое радостное и успокоительное действие. Это совершилось 6 августа. Такое скорое и неожиданное возвращение к обычному законному ходу дел всех поразило, ибо привыкли к тому, что у нас долговечно лишь временное, чрезвычайное, и никто не полагал, что лица, облеченные сверхзаконными полномочиями, так скоро их с себя сложат и поспешат стать на почву закона. Это оживило и значительно успокоило страну. Хорошо помню, как вдруг изменилось общее настроение и как усилились общие надежды на лучшее будущее и чувства благодарности Государю и исполнителям его воли за возврат к прежде предпринятым благим реформам. <...>

Слухи и газетные известия о беседе министра внутренних дел с редакторами петербургской повременной печати распространились по России быстро и везде возбудили надежды и оживление. Долго общество и остальное население страдали от перерыва по проведению в исполнение

начатых реформ и даже от попятного от них движения, что особенно было тяжело после первого оживленного десятилетия царствования. Программа администрации, сообщенная гр. Лорис-Меликовым, была также благонамеренна, как и благоразумна: она обещала то, в чем все нуждались и чего все желали, – развитие дарованных прав и учреждений. Она не понравилась только крепостникам, но и те в себе затаили свое неудовольствие. Вскоре затем учрежденная под председательством П. А. Валуева комиссия для пересмотра законоположений и временных правил о печати возбудила надежды на обеспечение ей некоторой самостоятельности и ответственности не по произволу администрации, а по суду.

Возвратившись из деревни в Москву, я поспешил отправиться в Петербург, где мне очень хотелось видеть гр. Лорис-Меликова и побеседовать с ним о предполагаемых им дальнейших действиях по управлению. От него узнал я много интересного. На созвание Земской думы он никак не надеялся получить соизволение Государя; но он имел в виду собрать общую, довольно многочисленную комиссию из выборных от земств, а где таковые еще не образованы, из лиц, приглашенных правительством. Неоднократно мы об этом толковали, и если не во всем соглашались, то, по крайней мере, я вынес из этих разговоров убеждение, что министр внутренних дел расположен все возможное сделать для оживления и утверждения земских учреждений. Виделся и много толковал о наших финансовых делах с вновь назначенным министром финансов А. А. Абазой и с его товарищем Н. Х. Бунге. Оба они были старые мои знакомые, а потому наши беседы были живы и интересны. Их тогда очень занимал соляной налог, которого отмена от них требовалась. Я виделся в Петербурге и со многими другими во власти состоящими людьми, и все казались мне как бы перерожденными и иными, чем какими были прежние сановники. Давно, очень давно я не выезжал из Петербурга с такими хорошими воспоминаниями и надеждами.<...>

Зима 1880–1881 года была в Москве довольно оживлена. Мы, т. е. я и Скалон, писали много статей для «Земства» по преобразованию и улучшению земских учреждений, и много таких же статей нам доставляли и пересылали. И. С. Аксаков с немногими своими единомышленниками

проповедовал в своей «Руси» какой-то странный возврат к самобытности, позволял себе самые резкие выходки против либералов, против правового порядка и проч. и ограничивался общими фразами насчет предлагавшихся им преобразований. Мы с ним не полемизировали, но явно расходились в наших стремлениях. С. А. Юрьев издавал, при денежных пособиях г. Лаврова, человека благонамеренного, искренно любившего просвещение, но недостаточно развитого, ежемесячный журнал «Русскую мысль». В нем помещались очень хорошие статьи; но это издание не имело, однако, решительного направления – оно выражало и настоящий русский дух и вместе с тем оглашалось (и нередко) беллетристикой в чисто западном направлении. Юрьев оставался верен своим убеждениям, но из уважения к г. Лаврову нередко помещал статьи, которым не мог сочувствовать. Вечера у нас по вторникам и у разных приятелей по другим дням были живы и интересны, чувствовалось что-то животворившее и обещавшее водворить нас на почву производительную. Вдруг 1 марта вечером прошел слух, а второго утром получено было и положительное известие об ужасной кончине Императора.

Это известие всех страшно поразило, огорчило, ошеломило. Подробности о совершенном злодеянии исполнили всех ужасом. Во всех слоях народа грусть, страх и изумление овладели людьми. Где и чего тогда не говорили. По селам стали распространять слухи о том, что дворяне убили царя за лишение их крепостных людей. В городах пугали смутами по деревням. Даже в войсках не было совершенно спокойно. Рассказы о беспорядках против евреев в Елизаветграде, Киеве и других южных городах усиливали общее беспокойство. Целых два месяца Россия была в каком-то странном смущении и оцепенении; не только руки отпадали от всякого дела, но даже ум и чувства как будто омертвели. Покойного Государя любили, обожали освобожденные крестьяне и бывшие дворовые люди, но душевно были к нему расположены и преданы в обществе все лично его знавшие и те, которые много слышали о его сердечной доброте, о его всегдашнем расположении ко всякому доброму делу. Едва ли кто из русских самодержцев был вообще так любим, как Александр II. Всякий русский с чувством от души говорил: «Вечная тебе память!» <...>

В деревне остался я недолго и поспешил за границу, где находились жена и дочь с детьми. В Москве пробыл только один день и в Берлине тоже, и 29 мая я был уже в Париже. Эта республиканская столица на сей раз не произвела на меня никакого особенного впечатления; но еще более утвердился в мнении, что республика тут не восояси, а пребывает гостьей. Нет! с такою роскошью и безнравственностью эта форма управления как-то не вяжется. <...>

С гр. Лорисом и его семейством мы ежедневно вместе обедали, иногда гуляли и часто проводили вечера в живой беседе. Чем более узнавал этого человека, тем лучшее производил он на меня впечатление. Многие упрекали Лориса в крайней хитрости и утверждали, что как армянин он чужд русского духа. Зная его коротко, могу положительно сказать, что в нем русского духа более, чем в весьма многих русских и что хотя он провел свою жизнь преимущественно в военной службе, однако в нем замечательны способности государственного человека. В этом я особенно убедился во время кратковременного его управления Министерством внутренних дел; он не был ни легкомыслен и спешен, как его преемник, ни умственно близорук и косен, как преемник его преемника. Великое достоинство Лориса то, что он не страдает довольно общей болезнью наших сановников – всеведением – и очень внимательно выслушивает то, что ему говорят, и относится хотя критически, однако уважительно к высказываемому другими.

В Шлангенбаде я окончил свою брошюру. Из Шлангенбада я отправился в Берлин. Тут прожил я целую неделю и напечатал свою книжку. Главная мысль и цель ее была выразить то невыносимое положение, в котором мы тогда находились, и еще раз, и как можно сильнее, указать, что единственное для нас спасение есть созыв общей Земской думы. Я высказывался вполне за самодержавие против бюрократии и конституции и за прекращение той неизвестности и неопределенности, которые после 1 мая душили Россию. Один экземпляр этой книжки при всеподданнейшем письме я отправил к Государю и по одному экземпляру к гр. Игнатьеву и Коханову. Многим моя книжка очень понравилась, и я получил о ней даже письменно весьма лестные отзывы; но не знаю, удостоилась ли

она прочтения со стороны Императора. Видел многих лиц из Петербурга, но никаких об этом сведений не получил¹.

* * *

3 июня 1882. Указ 30 мая о назначении гр. Толстого министром внутренних дел всех поразил. Что это такое? Давно ли вся Россия ликовала по случаю его удаления с поста министра народного просвещения, и вдруг через 14 месяцев его назначают на важнейший у нас пост – министра внутренних дел?! Что это – насмешка над общественным мнением или чистое безумие? Неужель этот человек еще недостаточно сделал вреда России? Неужель думают охранить себя тем, что призывают катковщину к управлению и принятию насильственных мер? Просто руки от всякого дела отпадают.

4-е июня, с. Волыньское. Странно, грустно, отчаянно теперешнее наше положение: все недовольны, даже и те, у кого власть в руках, и те, по чьим рецептам как будто действуют. Понятно, что мы, разных сортов либералы, до крайности недовольны, ибо все делается как будто нам на смех и нам в раздражение; но консерваторы, какие-то самобытники и проч. должны бы радоваться и торжествовать, а между тем и они недовольны. По мнению одних, чересчур выдвигают крестьян, не восстанавливают власти дворянства и делают шаг вперед и два назад. По мнению других, как будто проповедуют русскую самобытность, а на деле и во внешней политике всем уступают, а во внутренней оставляют всю силу и власть в руках бюрократии и сами не знают, что говорят. Третьи же (Катков и комп.), требующие самых быстрых и крепких мер к прекращению якобы завещанной прошлым царствованием распущенности, к обузданию крамолы в жизни вообще и в печати и к водворению хотя едва ли ими самими понимаемой и во всяком случае ими еще

¹ Здесь оканчиваются собственно «Записки» Александра Ивановича, но в его «Дневнике» за 1882–1883 год находятся «материалы» для «Записок», которым он не успел дать надлежащей обработки. Эти материалы составляют прямое продолжение «Записок», и потому я помещаю их здесь непосредственно за «Записками» без изменений, в форме «Дневника» (издательница Ольга Кошелева).

не указываемой энергии, приходят в отчаяние, что действие законов не приостанавливается, что администрации не предоставляют полной воли в действии и что висельницы не воздвигаются и ружья не заряжаются для расстреливания всех тех, кто им не по вкусу. Этих господ всех трех разрядов гораздо труднее удовлетворить, чем либералов даже самых крайних. Правда, Катков и комп<ания> причисляют и крамолу к либеральному стану; но ее так же справедливо причислить и к консерваторам всех оттенков. Думаю, что даже последнее будет много справедливее, чем первое, ибо крамола зародилась на почве недовольных, ими питается и развивается. Все разряды населения недовольны нынешним положением, необъясненностью их прав, произволами администрации и законами, как прежним временем завещанными, так и ныне как *Deus ex machina* появляющимися. Либералы проповедуют в том или другом виде предоставление народу, т. е. всем гражданам империи, участие в законодательстве и в администрации. Противники либералов это именно отвергают, а желают все это сосредоточить в своих руках. Следовательно, кто раздражает и усиливает общее неудовольствие, те и приготавливают и утучняют почву для развития крамолы.

4 июня. Страшная у нас теперь путаница не только в делах, но и в мнениях и даже в чувствах. Есть, конечно, люди, и их немало, без собственных мнений и повторяющие то, что слышали от других или прочли в газетах или журналах, но люди хоть несколько мыслящие теперь звонят каждый в свой колокол. Какая тому причина? Конечно, в этом отчасти виновны: во 1-х, поверхностность полученного нами в юности образования; во 2-х, двойственность всего нашего быта в течение последнего 26-летнего царствования, и в 3-х, полнейшая неопределенность и неизвестность нынешнего нашего положения. Последнего царствования нельзя не помянуть добрым словом: в течение его много совершено великих и благих дел; но, к сожалению, мало было последовательности в осуществлении предпринятых реформ: возвещалась, предпринималась великая реформа, и вдруг делались шаги назад, и администрация действовала как будто вопреки только что обнародованного закона. Заподозревались люди, всего более расположенные к предпринятым реформам,

и в последние пять, шесть лет до катастрофы в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года полнейшее бездействие верховной власти и коверкание администрацией всех прежде утвержденных реформ. Кратковременная диктатура гр. Лорис-Меликова и его министерство было оживили Россию и возбудили и надежды, и деятельность; но ужасная катастрофа 1 марта погрузила Россию в горе, уныние и ужасное недоумение. Манифест 29 апреля 1881 года и увольнение Лориса, Милютина и Абазы еще более усилили упомянутые тяжкие чувства. С тех пор появляются: то положение об усиленной охране, правила о поднадзорных, то указ об обязательном выкупе, о частной отмене подушной подати, о крестьянском поземельном банке, следовательно, и благие, и стеснительные мероприятия в одно и то же время.

Как при этих обстоятельствах, при беспрестанно сменяющихся ожиданиях и опасениях, при поддерживаемых и администрацией, и ходом дел колебаниях быть нам спокойными и устойчивыми в мнениях и действиях? Очевидно, что правительство более склонно к мнению тех, которые проповедуют меры репрессивные, недоверие к земству и даже к суду и сокращение свободы во всех возможных видах. Они пользуются не только полной свободой в высказывании своего мнения, но безнаказанно и дерзко говорят о том, о чем другим не позволено и заикаться (о земских соборах и пр.). Их противники-либералы должны говорить иносказательно или неясно и неполно, а «Москов<ские> ведомости» и «Русь» пользуются этим, чтобы упрекать либералов в неясности, неопределенности и даже в сродстве с крамолами.

Наконец указ 30 мая положил конец этим неопределенностям. Тот человек, которого увольнение от Министерства просвещения было с восторгом принято во всей России, этот человек теперь назначается на важнейший пост в империи – министра внутр<енних> дел. Что это такое: насмешка над общественным мнением или желание нанести ему оскорбление.

Этот указ должен обрадовать крамолу и Каткова с комп. и погрузить в печаль и отчаяние всех искренно преданных отечеству и верховной власти. Как бы это не было началом смут и других бедствий! Это просто ужасно. <...>

1-го июня переехал я в с. Волыньское, а жена приехала 8-го. Разложился, устроился и принялся перечитывать свои «Записки» и приводить в порядок разные для них материалы. Полученное 31 мая и подтвержденное 1 июня известие о назначении гр. Толстого министром внутренних дел меня ошеломило и только позволяло мне телесную, а не умственную работу. При перечтении моих «Записок» гр. Толстой не сходил у меня с ума; я бросал чтение и отправлялся гулять по рощам, окружающим с. Волыньское; наконец, после нескольких дней, так проведенных, я решился переломить себя и приняться за свои «Записки». С напряжением всех своих сил читал, исправлял и переписывал свои «Записки», но гр. Толстой тут как тут. Даже эпоха моего пребывания в Варшаве 1864–1866 годов не могла вполне освободить меня от этого призрака. Он меня давил и прерывал нить моих мыслей и занятий. Кое-как продолжал свои занятия; но во время прогулок гр. Толстой особенно мной овладевал; его прошедшее и от него ожидаемое и катковские торжествующие статьи постоянно меня придавливали. Зарождалась у меня мысль – написать брошюру и напечатать ее за границей. В конце июня эта мысль мной овладела, и я принялся за эту работу. Эта работа шла у меня быстро, ибо весь я был ею захвачен. <...> 7-го я уехал в Рязань, где хотелось мне видиться с старым моим приятелем В. П. Титовым и узнать от него, какое действие в Петербурге произвело назначение Толстого.

У Титова я провел время очень приятно и узнал от него, что и в Петербурге назначение Толстого всех поразило, хотя и ожидали увольнения Игнатьева. Это назначение главнейше и почти исключительно – дело Победоносцева. Узнал от Титова, что и в Петербурге недовольство всеобщее и что никто ничего не знает и ни в чем не уверен. Это я знал и прежде, но он еще более меня в этом удостоверил. После обеда я от него уехал и вечером был в Москве.

По возвращении принялся опять за свою брошюру и придумал ей заглавие «Что же теперь?». К 1 августу она была готова, прочел ее Скало-ну и жене. В следующие дни исправлял ее, а 8-го вечером отправился в Берлин. <...> В Берлине напечатал свою брошюру «Что же теперь?». Я ею доволен. При всеподданнейшем письме отправил ее к Государю и один экземпляр к Коханову. <...>

В ноябре я написал статью «Великая наша беда» и послал ее в «Голос». Там напечатали в <номере> (?) 11 декабря. Эта статья очень не понравилась Толстому, который за нее сделал предостережение «Голосу» и запретил розничную продажу «Московскому телеграфу», перепечатавшему отрывки из этой статьи. Все это произвело на меня самое тяжелое действие, и я лишился возможности что-либо делать и даже читать! – Тяжело! – *20 января 1883*. Всегда или почти всегда (за исключением ноября 1880, т. е. времени управления гр. Лорис-Меликова) выезжал я из Петербурга с тяжелыми впечатлениями, но они никогда не были таковы, как в нынешний раз. Всегда было больно видеть людей самонадеянных, собой довольных, верующих в бюрократизм или, по крайней мере, не признающих возможности ничего иного, людей, заправляющих делами страны, которой они вовсе не знают, не чувствующих потребности ее узнать и считающих население как бы для них, для их административных занятий созданным. В нынешний раз я нашел в Петербурге некоторую перемену: самонадеянность заменилась отсутствием всякого доверия к чему или к кому бы то ни было и отсутствием всякого положительного мнения; они верят мало в бюрократизм, но еще менее во все остальное; страх ими овладел, и они ищут спасения или, по крайней мере, охраны в одних произвольных ограничительствах и карательных (repressives) мерах. Петербург своим неведением, что завтра будет, чего опасаться и чего ожидать, просто поразителен. Это не дом умалишенных, а дом слабоумных. А между тем он управляет огромным русским государством.

Жить со дня на день – без определенного плана на будущее – неудобно и для частного человека; но это совершенно невозможно для администрации какого-либо государства. А между тем так живет теперь наша администрация; никто из лиц, во власти состоящих, не имеет определенного плана на завтрашний день; все думают, как бы прожить нынешний день и протянуть до вечера. Такая неопределенность и неизвестность – бедовы, убийственны. Один (Победоносцев) говорит: надо сообразить, со всех сторон изучить дело, может оказаться и то, и другое, и третье, пуще всего нельзя торопиться – повременим; другой (гр. Толстой): уж слишком много было у нас преобразований и нововведений, необходимо

остановиться и поотдохнуть и всем дать поосмотреться, пока я министр, всячески буду удерживать status quo; а остальные заявляют делом: мы на все согласны – лишь бы нам остаться на своих местах. Вот в коротких словах смысл нынешней нашей администрации.

Видел в Петербурге многих: гр. Лорис-Меликова, Градовского, Кавелина, Валугева, Салтыкова, Унковского, Абаза (Н. С.), Т. Филиппова, Трепова, Титова, Евреинову и многих других. Теперь оптимисты те, которые думают, что так администрация долго идти не может и ударит в стену лбом через год и никак не дольше двух лет. А пессимисты думают, что, пожалуй, и пять, и десять лет пройдут так, по милости общей уступчивости и апатии. Готов присоединиться скорее к последним, чем к первым; разве заботящийся о нас грешных Николай Чудотворец выведет нас из беды.

Очень любопытную для меня вещь узнал я в Петербурге: статья моя «Великая наша беда», напечатанная в «Голосе» 11 декабря 1882 года, произвела в Петербурге страшный шум. Никакая моя брошюра и статьи не производили такого действия, как эта, и главнейшая причина этому то, что на нее прогневался Государь, что Толстой дал «Голосу» предостережение и что в высших сферах вообще она возбудила негодование. Номера «Голоса» с этой статьей продавались по 1, 2, 3 и до 5 руб. за экземпляр. В Английском клубе знакомые выражали мне полное сочувствие, и даже незнакомые знакомились со мной и благодарили меня за эту статью. Вот что значит запрещать статьи или книги!

1 февраля 1883. Крайне тяжкие дни (25–30 января) прожил я в Рязани; они были для меня даже тяжелее, чем дни, проведенные в Петербурге. Там я видел, что нам нечего вскоре ожидать доброго от высшего правительства: оно пошло путем противоположным тому, которым Александр II было оживил Россию и готовил нам гражданское, истинно человеческое существование. Теперь Победоносцевы и Толстые в силе; пожалуй, долго они ее удержат. В этом вина наша только отчасти. В Рязани, в мире земском, вся вина лежит на нас. Самый просвещенный, самый развитый класс людей в России составляет дворянство; а между тем, попавши во власть случайно, по милости некоторых узаконений и

обстоятельств, оно одушевляется и руководится узкословными и даже чисто личными интересами. <...> Неужель Россия идет назад и молодые больше реакционеры, чем даже те, которые уже жили и действовали во время крепостного права. – Грустно!

Кто хуже – эти своекорыстники или анархисты? Последние – безумцы – лично становятся даже преступниками; но большинство из них действует не из личных выгод, а согласно своим ошибочным убеждениям и с целью помочь страждущей темной братии; они жертвуют жизнью и бесстрашно подвергают себя наказаниям. А первые очень холодно, рассудительно, расчетливо преследуют свои выгоды, а до других, до земства, до отечества им нет дела. Действия этих своекорыстников и вызывают, и порождают анархистов, а потому первые много хуже последних. – Грустно!

Конец «Записок».

Болезнь, сведшая Александра Ивановича в могилу, началась в апреле 1883 года плевритом, который затем осложнился болезнью сердца. Май, июнь и июль он провел в Эмсе, Висбадене и Остенде; это лечение несколько оживило его, но он не чувствовал полного облегчения. В августе мы возвратились с ним в деревню (Песочню) и оттуда в конце сентября в Москву. Хотя Александр Иванович по временам и чувствовал болезненные припадки, тем не менее вообще он был бодр, свеж и деятелен, как всегда, и ни в чем не отступал от своего обычного образа жизни. Накануне своей смерти он был настолько бодр и крепок, что занимался вечером в финансовой комиссии Московской городской думы до 10 часов, и, воротясь домой, он еще провел около двух часов в кругу семьи и некоторых друзей, а утром в 9-м часу 12 ноября (1883 г.) его уже не стало. Он скончался почти без агонии. Тело Александра Ивановича похоронено на Даниловском кладбище под Москвой. Периодическая наша печать дружно и сердечно почтила память своего усопшего собрата и земского деятеля теплым словом сочувствия и уважения.

От издательницы.

Ф. И. Буслаев
Мои воспоминания

Посвящается моим ученикам и ученицам

<...>

IX.

<...>В числе приставников, поневоле дежуривших на лекциях при своих питомцах, находился один человек, который вполне заслуживает этого сравнения по неукоснительному исполнению высокого призвания быть руководителем и охраною своего собственного сына, еще мальчика шестнадцати лет, вступавшего теперь на новое и великое поприще науки и жизни. Это был Федор Васильевич Самарин, отец поступившего вместе с нами в университет, по словесному отделению, Юрия Федоровича, впоследствии знаменитого государственного деятеля по освобождению крестьян.

Приступая теперь к перечню некоторых из моих университетских товарищей своекоштного разряда, начну с Юрия Федоровича.

В то время богатые и знатные дворяне приготавливали своих сыновей к вступительному в университет экзамену у себя дома, и не только в своих поместьях, но и в самой Москве, где тогда был очень хороший дворянский институт; впрочем, он предназначался для дворян средней руки и ограниченных средств. В гимназиях по преимуществу учились дети горожан и местных чиновников и, как вы уже знаете, приобретали очень скудные познания, которые не могли удовлетворять требованиям образованных людей из высшего дворянства. Этим объясняется настоятельная потребность того времени учреждать в благовоспитанных зажиточных семействах сколько возможно полные и правильные домашние школы для своих детей с надлежащим количеством воспитателей и наставников. Такая домашняя школа, примерная и образцовая, процветала в Москве более двадцати пяти лет в семействе Федора Васильевича Са-

марина, начиная с детства Юрия Федоровича и потом по мере возрастания его пятерых братьев. Это домашнее учебное заведение оставило по себе самые светлые из моих воспоминаний о старинной Москве, потому что я сам лично принимал в нем участие много лет сряду в качестве наставника и экзаменатора и мог вполне оценить высокие достоинства отца семейства, когда он с сердечным рвением, а вместе и с неукоснительной точностью и примерным благоразумием исполнял обязанности директора и инспектора своей родной школы.

На летнее время эта образцовая школа из московского дома Самариных, находившегося на углу Тверской и Газетного переулка, переносилась в их имение Измалково, отстоящее от Москвы в двадцати верстах по Смоленской дороге, и обучение в ней без всякого перерыва и в том же порядке шло, как и в Москве. Экипаж, запряженный четверней, с пунктуальной точностью часов и минут ежедневно доставлял учителей из города в деревню и отвозил назад. Радужие и приветливая угодливость, с какими Федор Васильевич там принимал нас, своих сотрудников по школе, теперь в моих воспоминаниях получают какую-то мечтательную, поэтическую окраску благодаря одному семейному преданию, которое, вероятно, займет видное место в фамильной хронике Самариных. Будучи женихом, Федор Васильевич подарил своей невесте Софье Юрьевне (урожденной Нелединской-Мелецкой) очень богатое ожерелье. В течение всего первого года их супружества Софье Юрьевне ни разу не привелось надеть на себя эту драгоценность, и она предложила своему мужу дать этому заветному подарку другой и более полезный для нее вид, купивши на цену ожерелья подмосковную деревню, и таким образом было приобретено Измалково.

Чтобы дать вам понятие о предусмотрительности и благоразумной сметливости Федора Васильевича в выборе наставников для Юрия Федоровича, достаточно будет сказать, что эта домашняя школа при самом начале своем дала Московскому университету двух преподавателей, из которых один был гувернером Юрия Федоровича, именно – Пако, впоследствии лектор французского языка, а другой – его учителем латинского и русского языков, логики и словесности – магистр Московской Духовной академии, а потом профессор эстетики, Николай Иванович Надеждин.

Когда мы с Пако были товарищами по преподаванию в филологическом факультете Московского университета, он много интересного рассказывал мне о фамилии Самариных из того далекого времени, когда Юрий Федорович был еще мальчиком, и, между прочим, сообщил мне один прелюбопытный анекдот, который по своей исторической значительности должен занять место в моих воспоминаниях, если только он не был уже напечатан где-нибудь прежде.

Во второй половине двадцатых годов нашего столетия Самарины находились в Риме. Однажды Софья Юрьевна с детьми поехала кататься в коляске, запряженной парой лошадей. При ней в экипаже были Юрий Федорович с своим гувернером Пако и двухлетний Миша на руках у няньки (он давным-давно помер чахоткой, вскоре по окончании университетского курса). Прогулка была направлена к базилике Maria Maggiore, и экипаж, обогнув по площади эту церковь, въехал в длинную и прямую улицу, упирающуюся в площадь базилики Иоанна Латеранского.

В то время улица эта была одна из самых глухих и пустынных, между огородами и виноградниками, от которых с обеих сторон отделялась она непрерывно тянувшимися высокими каменными стенами, которые кое-где перемежались воротами. На всем ее протяжении, с обеих же сторон, шли широкие тротуары, отделенные от проезжей дороги высокими и развесистыми деревьями, которые в солнечный день манили гуляющих под свою освежительную тень. <...> Но извините, римские воспоминания далеко увлекли меня, и я немножко заболтался. Мы оставили Самариных, когда они только что повернули с площади Maria Maggiore в ту пустынную улицу (как она называется, теперь не припомню). Проехав несколько минут, Софья Юрьевна, желая пройти в тени деревьев, вышла из коляски, а за ней и Пако с Юрием Федоровичем; но ребенок, покоясь на коленях няньки, так увлечен был удовольствием кататься на лошадях, что расплакался, когда его хотели взять с собой. Надобно было оставить его с нянькой в экипаже. Таким образом, Софья Юрьевна с своей маленькой свитой шла по тротуару, а рядом по дороге тихонько тащилась коляска. Вдруг из ворот выскочил осел с двумя корзинками по обоим бокам и заверещал благим матом; лошади шарахнулись в сторону, а потом во

весь опор помчались вперед вдоль по улице. Пако, ошеломленный внезапностью переполоха, мог мне припомнить из этих мгновений тревоги и отчаяния только то, как несчастная мать, обезумев от ужаса, стремглав бросилась вслед за уносящимся от нее ребенком, как она не раз спотыкалась и падала и все не уставала бежать. Но только что коляска домчалась до площади Иоанна Латеранского, Пако, постоянно вперяя свои взоры вдаль, вдруг заметил, как мелькнула какая-то фигура около взбесившихся лошадей, и они мгновенно остановились. Когда все трое добежали до спасенного от гибели Миши вместе с нянькой и экипажем, они увидели красивого молодого человека, щегольски одетого и в светлых перчатках, который держал под уздцы обеих лошадей. Это был Луи-Наполеон, будущий император французов.

Теперь от фамилии Самариных перехожу к обещанному уже мной коротенькому перечню тех из своекоштных студентов моего времени, с которыми тогда или потом, много лет спустя, приводилось мне вступать в более или менее близкие отношения. Все они были только из двух факультетов – филологического и юридического; что же касается до своекоштных медиков и математиков, то из них ни с кем вовсе не был я даже и знаком. Начну с филологов, следуя алфавитному порядку. <...>

Катков, Михаил Никифорович. Знаменитый публицист и редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника». Сначала был профессором философии в Московском университете, а впоследствии – директором основанного им вместе с Леонтьевым лицея цесаревича Николая. <...>

Панов, Василий Иванович. Он был моложе меня по курсу годами двумя, и потому в ту пору я мало его знал, но зимой 1840–1841 года сошелся с ним товарищески в Риме, и потом мы были с ним хорошими приятелями и в Москве, о чем разные подробности сообщу вам в свое время. <...>

Князь Черкасский. Известный государственный деятель, особенно прославившийся своими административными качествами в Болгарии по освобождении ее от турецкого ига. В студенчестве я не был с ним знаком, да и после того очень редко с ним встречался, потому не знаю ни имени его, ни отчества; но живо представляю его себе и теперь в студенческом мундире по одному случаю, который крепко застрял в моей

памяти. Когда помощник попечителя, Дмитрий Павлович Голохвастов, женился на Новосильцевой, то взял себе в шафера именно этого самого князя Черкасского. <...>

Наше студенчество от 1834 по 1838 г. было настоящей эрой, которая отделяет древний период истории Московского университета от нового, и, как нарочно, это была именно самая середина нашего четырехгодичного курса. По ту сторону этой грани старое здание университета, старые профессора с патриархальными нравами и обычаями и такая же старобытная администрация, доведенная к концу до самоуправства, а по эту сторону – новое здание университета, отмеченное и на его фронтоне 1835 годом, целая фаланга новых и молодых профессоров, только что воротившихся из-за границы, где обучались каждый по своей специальности, а одновременно с ними вместе явился и новый, тоже молодой (всего сорока лет), попечитель Московского учебного округа, граф Сергей Григорьевич Строганов, тогда еще свитский генерал, с серебряными эполетами и такими же аксельбантами, а потом генерал-адъютант, один из немногих любимцев Николая Павловича и его ровесник по годам, а при новом попечителе и новый инспектор, наш возлюбленный Платон Степанович Нахимов, в амуниции моряка, по чину капитан второго ранга. <...>

Подобно античному театру, в наших увеселительных представлениях были действующие лица и хор. Не по предварительному избранию из нашей среды, а по дарованиям и храбрости, были нашими героями Юрий Федорович Самарин и князь Борис Васильевич Мещерский, а все мы составляли дружный хор.

Представления эти в ту пору соединялись в моем воображении с одним из воспоминаний моего детства. Солдаты, стоявшие у нас в Пензе постоем, разыгрывали в каком-то сарае смехотворную интермедию о Дон-Жуане, его слуге Педриле (так переименовали они Лепорелло) и о командоре – не помню, как они его звали, генералом или губернатором. У нас в аудитории был свой Дон-Жуан – Самарин, свой Лепорелло, его наперсник и пособник – князь Мещерский и своя грозная статуя Командора – в фигуре профессора, восседающего на кафедре. Эту интермедию

Юрий Федорович дополнял тем, что состоял при нашем командоре в должности ординарца, вестового и глашатая, именно глашатая, в полном смысле этого слова.

Каченовский читал нам лекции от 12 до часу, в полдень – как раз время завтрака. Потому слушание или, точнее, неслушание каждой его лекции мы начинали завтраком. Архитриклином, а попросту – нашим кормителем был Самарин. В то время на Моховой, против старого здания университета, была колбасная Маттерна с небольшим рестораном. Оттуда перед лекцией университетский солдат доставлял Самарину по числу всех нас целую грудку пирожков в большом свертке на манер сахарной головы. Самарин всегда сидел на конце передней скамейки перед кафедрой, но налево от нее и потому ближе к выходной двери. Как только начнется лекция, он вытащит из-за стола этот пакет с угощением и пустит его по рукам товарищей, но так, чтобы пакет передавался от одного к другому на виду у всех, высоко над столом. Завтрак начинался только тогда, когда у каждого из нас будет по пирожку, а держать его надобно также на виду и откусывать понемножку, чтобы продлить эту сцену для наших зрителей, столпившихся у растворенной настежь двери. <...>

Согласно духу времени и научным требованиям от профессоров нашего факультета, Степан Петрович Шевырев и Михаил Петрович Погдин, каждый усердно предаваясь своей специальности, далеко раскидывались в своих интересах по широкому поприщу литературы в качестве журналистов, критиков и беллетристов. Впрочем, об их литературном и общественном значении, об их отношениях к Пушкину, Жуковскому, о их дружбе с Гоголем и о многом другом столько уже было печатано, что я нахожу излишним повествовать вам обо всем этом в моих воспоминаниях. Ограничусь только тем, что более касается лично меня.

В первый год университетского обучения Шевырев читал нам вместе с юристами, так сказать, приготовительный курс, имевший двоякое значение: во-первых, по возможности уравнивать сведения поступивших в университет прямо из дому или из разных учебных заведений, казенных и частных, с неустановившейся еще для них всех одинаковой программой обучения, и, во-вторых, теоретически и практически на письменных

упражнениях укрепить нас в правописании и развить в нас способность владеть приемами литературного слога.

В лекциях этого курса Шевырев знакомил нас с элементами книжной речи в языке церковнославянском и русском, отличая в нем народные или простонародные формы от принятых в разговоре образованного общества. С этой целью он читал и разбирал с нами выдержки из летописи Нестора по изданию Тимковского, из писателей XII века и из древнерусских стихотворений по изданиям Калайдовича, из «Истории» Карамзина, из произведений Ломоносова, Державина, Жуковского и особенно Пушкина. При этом вдавался в разные подробности из книги Шишкова о старом и новом слоге, из заметок Пушкина о русском народном языке. Все это, низведенное теперь в программу средних учебных заведений, было тогда свежей новостью на университетской кафедре, как вы сами можете ясно видеть, припомнив сказанное мной об Иване Ивановиче Давыдове.

Эти лекции Шевырева производили на меня глубокое, неизгладимое впечатление, и каждая из них представлялась мне каким-то просветительным откровением, дававшим доступ в неисчерпаемые сокровища разнообразных форм и оборотов нашего великого и могучего языка. Я впервые почувствовал тогда всю его красоту и сознательно полюбил его. Чтобы дать вам понятие о силе животворного действия, оказанного на меня Степаном Петровичем в его филологических наблюдениях и анализах, достаточно будет сказать, что они воодушевляли меня и были положены в основу моих грамматических и стилистических исследований, когда я работал над составлением моего сочинения: «О преподавании отечественного языка» (издано в 1844 г.). Невыразимо радостно и лестно было мне видеть в экземпляре этого сочинения, подаренном мной Степану Петровичу, отметки его собственной рукой на полях страниц: «моя мысль», «мое замечание».

Приготовительный курс, о котором идет речь, был читан Шевыревым в первый раз именно нам. А начал он свои лекции в Московском университете историей иностранных литератур: еврейской и индийской. Лекции эти произвели большой эффект не только между студентами и профессорами, но и в избранной московской публике, переполнявшей аудиторию Степана Петровича. Когда мы поступили в университет, они были уже

отпечатаны, и я на первом же курсе с жадностью читал их, наслаждаясь и восторгаясь. Тогда же заронилась во мне мысль учиться по-еврейски и по-санскритски, но я привел ее в исполнение впоследствии при помощи моих казеннокоштных товарищей. Еврейскому языку учил меня, как вы уже знаете, Войцеховский, а потом санскритскому Коссович.

На первом же курсе с не меньшим интересом прочел я обстоятельную монографию о Данте и его «Божественной комедии», представленную Шевыревым в факультет для снискания права читать лекции в Московском университете. Уже тогда я пленился великим произведением Данта, и в течение всей моей жизни было оно любимым для меня чтением в часы досуга и наконец сделалось предметом моих многосторонних исследований, когда по поводу шестисотлетнего юбилея дня рождения Данта читал я студентам лекции о нем и о его времени целые три года сряду.

До Шевырева в нашем университете читалась только теория словесности вроде упомянутого мной курса Давыдова. Степан Петрович обновил кафедру этого предмета историею литературы, сначала только иностранной, а потом уже при нас и русской. Сверх того, он читал нам целый год теорию поэзии в историческом развитии. Свой курс без разделения на лекции и с некоторыми дополнениями издал он в виде диссертации и защитил ее на публичном диспуте для получения степени доктора. Эта книга, хотя немножко и устарелая, до сих пор пользуется у нас заслуженным авторитетом. Ее постоянно рекомендовал я своим слушателям, когда читал им на первом курсе энциклопедическое введение к специальным занятиям по филологии, лингвистике и литературе с указанием важнейших источников и пособий.

Из иностранной литературы Шевырев читал нам историю греческой поэзии. Особенно заинтересовало меня и прочно улеглось в моей памяти, что сообщал он по Вольфу о позднейшем прилаживании и сочетании отдельных рапсодий в искусственные формы целых эпосов, названных «Илиадой» и «Одиссеей». Не помню, ставил ли тогда Шевырев в параллель с гомерическими рапсодиями наши былины, или после, когда читал нам историю русской литературы, но во всяком случае эта мысль в первый раз пришла мне в голову со слов Степана Петровича.

Нам же в первый раз стал читать Шевырев в Московском университете историю русской литературы, как и тот приготовительный курс. Готовясь к своим лекциям, он сам постепенно разрабатывал источники русской старины и народности по рукописям, старопечатным книгам, народным песням и преданиям. Неослабный интерес, возбуждаемый в профессоре беспрестанными открытиями в новой, еще вовсе не разработанной области науки действовал на нас обаятельной свежестью воодушевления. По крайней мере мне чудилось, будто мы идем по только что проторенным путям в непроходимых лесах и дебрях, по следам отважного проводника, который на каждом шагу открывает нам все новые и новые сокровища родной земли. В этих лекциях Степан Петрович уже пользовался знаменитым собранием русских песен, которое принадлежало Петру Васильевичу Киреевскому.

Этот курс истории русской литературы впоследствии внес Шевырев в свои публичные лекции с разными изменениями и дополнениями, которые крайностями чрезмерного славянофильского направления, как вам должно быть известно, навлекли на него целую бурю озлобленных нареканий.

В заключение о читанных нам лекциях Шевырева я должен прибавить, что каждую из них он тщательно писал своим четким, красивым почерком на листах с отогнутыми полями, на которых вкратце обозначал содержание каждого параграфа или абзаца. Следуя примеру моего незабвенного учителя, и я в течение всего моего многолетнего профессорства каждую лекцию писал, только не так четко и старательно и без всяких отметок на полях страниц.

О лекциях Михаила Петровича Погодина говорить много не буду, потому что все, что я мог и умел сказать о нем как о профессоре, предложено в речи, читанной мной вскоре по его кончине в публичном заседании Общества любителей российской словесности. Она напечатана в 2-м томе «Моих досугов», а цитировать самого себя я не намерен.

На первом курсе он читал нам из всеобщей истории о религии, политике, торговле, о нравах и обычаях древних народов, по известному сочинению Герена (Heeren). Именно тогда я живо почувствовал и оце-

нил великое значение народного быта, на разработку которого в пределах русской земли я посвятил большую часть моих ученых работ. Лекции Погодина я постоянно записывал с его слов и каждую старательно и любовно составлял, пользуясь добытым из университетской библиотеки немецким оригиналом, и как благодарил я тогда Александра Христофоровича Зоммера, что еще в пензенской гимназии научил он меня толково разбирать немецкую грамоту! Лекции по Герену, составленные студентами, Погодин напечатал, и в эту-то книгу попала частица и моей работы, самая ранняя и первая проба пера, удостоившаяся печати.

На старших курсах Погодин читал нам уже настоящий свой предмет – историю России. В этих лекциях больше всего заинтересовал меня вопрос о скандинавском происхождении варягоруcсов. Я обратился к Михаилу Петровичу с просьбой указать мне какое-нибудь руководство для изучения древних немецких наречий. Он назвал мне грамматику Якова Гримма и велел обратиться за этим сочинением к профессору Редкину, читавшему тогда в Московском университете энциклопедию и философию права. Таким образом, из уст Погодина в первый раз услышал я имя великого германского ученого, который своими многочисленными и разнообразными исследованиями потом оказывал на меня такую обаятельную силу, так воодушевлял меня, что я сделался одним из самых ревностных и преданнейших его последователей.

Погодину же я обязан великой благодарностью и за то, что он первый научил меня читать и разбирать наши старинные рукописи, во множестве собранные в его так называемом древлехранилище, которое помещалось тогда в собственном его доме на Девичьем поле. Эти занятия мои начались вот по какому случайному поводу. Знаменитый чешский ученый Шафарик для своих филологических работ имел надобность в точной копии с одной из самых древнейших наших рукописей, которая находилась в древлехранилище. Это была хорошо известная специалистам «Толковая Псалтырь» XI века, так называемая Евгениевская, по имени митрополита Евгения, которому прежде принадлежала. Погодин поручил мне снять эту копию. Работа оказалась для меня в высокой степени полезной и была не особенно трудна, потому что древняя рукопись

составляет только малую часть всей Псалтыри. В пособие для справок он снабдил меня старопечатным текстом и ныне принятым исправленным.

Одновременно с этой работой он познакомил меня на образцах по оригиналам с разными почерками старинного письма: с уставным, полууставным и с скорописью, мудреные завитки которой учил разбирать меня по складам.

Таким образом, мое университетское обучение разделялось по двум местностям: в аудитории и в Погодинском древлехранилище. Сказанного почитаю достаточным, чтобы дать вам понятие о моей безграничной благодарности Михаилу Петровичу за все, чем я обязан его попечениям и заботам о моем образовании в продолжение всех четырех лет студенчества, начиная, как вы уже знаете, с самого поступления моего в университет и с водворения в казеннокоштном общежитии. Он же, как увидите потом, был для меня руководителем в первых опытах моих на широком пути журнальной литературы.<...>

В конце мая 1838 года я окончил университетский курс.

XIX.

<...> К великой моей радости, приехал в Рим мой университетский товарищ Василий Иванович Панов и тотчас же отыскал меня. Так и хлынуло на меня родною атмосферой наших аудиторий, где мы оба воодушевлялись лекциями Шевырева, Погодина и Крюкова. Он говорил мне о Москве, о наших товарищах и друзьях, а я — о чудесах Рима, предлагая ему свои услуги быть его проводником по римским галереям, музеям, церквам, дворцам, виллам и развалинам. На первый раз он поместился в гостинице, но вскоре нанял себе очень поместительную квартиру близехонько от нас на via Sistina, в той ее половине, которая спускается от Сapo-le-Case к площади Барберини, на левой стороне, если идти от нас. Вы не осудите меня за эти топографические подробности, когда узнаете, что дом, где занимал квартиру мой милый Панов, должен быть памятен и дорог сердцу всякого русского человека, который любит и высоко ценит свое отечество.

Однажды утром в праздничный день сговорились мы с Пановым идти за город и именно, хорошо помню и теперь, в виллу Albani, которую особенно часто посещал я. Положено было сойтись нам в *café Greco*, куда в эту пору дня обыкновенно собирались русские художники. Когда явился я в кофейню, человек пять-шесть из них сидели вокруг стола, приставленного к двум деревянным скамьям, которые соединяются между собой там, где стены образуют угол комнаты. Это было налево от входа. Собеседники болтали и шумели: это был народ веселый и беззаботный. Только в том углу сидел, сгорбившись над книгой, какой-то неизвестный мне господин, и в течение получаса, пока я поджидал своего Панова, он так погружен был в чтение, что ни разу ни с кем не перемолвился ни единым словом, ни на кого не обратил хоть минутного взгляда, будто окаменел в своей невозмутимой сосредоточенности. Когда мы с Пановым вышли из кофейни, он спросил меня: «Ну, видел? познакомился с ним? говорил?» Я отвечал отрицательно. Оказалось, что я целых полчаса просидел за столом с самим Гоголем. Он читал тогда что-то из Диккенса, которым, по словам Панова, в то время был он заинтересован. Замечу мимоходом, что по этому случаю узнал я в первый раз имя великого английского романиста: так и осталось оно для меня навсегда в соединении с наклоненной над книгой фигурой в полусвете темного угла.

Когда Панов устроился в своей квартире, Гоголь поселился у него и прожил вместе с ним всю зиму 1840–1841 г. На все это время Панов, забывая, что живет в Риме, вполне предался неустанным попечениям о своем дорогом госте, был для него и радушным, щедрым хозяином, и заботливой нянькой, когда ему нездоровилось, и домашним секретарем, когда нужно было что переписать, даже услужливым приспешником на всякую мелкую потребу.

В жизни великого писателя всякая подробность может иметь важное значение, особенно если она касается литературы. Гоголь желал познакомиться с лирическими произведениями Франциска Ассизского, и я через Панова доставил их ему в том издании старинных итальянских поэтов, которое, уже вы знаете, рекомендовал мне мой наставник Франческо Мази.

Как-то случилось, что в течение двух или трех недель ни разу не привелось нам с Пановым видаться: ко мне он перестал заходить, я нигде его не встречал, спрашивал о нем у наших общих знакомых, но и от них о нем ни слуху ни духу, — совсем запропастился. Наконец, является ко мне, но такой странный и необычный, каким я его никогда не видывал, умиленный и просветленный, будто какая благодать снизошла на него с неба; я спрашиваю его: «Что с тобой? Куда ты девался?» — «Все это время, — отвечал он, — был я занят великим делом, таким, что ты и представить себе не можешь; продолжаю его и теперь». И говорит он это так сдержанно, таинственно, чуть не шепотом, чтобы кто не похитил у него сокровище, которое переполняет его душу светлой радостью. Будучи погружен в свои римские интересы, я подумал, что где-нибудь в развалинах откопан новый Лаокоон или новый Аполлон Бельведерский и что теперь пришел Панов сообщить мне об этой великой радости. «Нет, совсем не то, — отвечал он, — дело это наше родное, русское. Гоголь написал великое произведение, лучше всех Лаокоонов и Аполлонов; называется оно: “Мертвые души”, а я его теперь переписываю набело». Тут в первый раз услышал я загадочное название книги, которая стала потом драгоценным достоянием нашей литературы, и сначала вообразил себе, что это какой-нибудь фантастический роман или повесть вроде «Вия»; но Панов разуверил меня, однако не мог ничего сообщить мне о содержании нового произведения, потому что Гоголь желал сохранять это дело в тайне.

В конце прошлого столетия во время своего пребывания в Риме Гёте жил на Корсо в одном из домов, на стене которого теперь красуется надпись на мраморной доске, извещающая всех и каждого, что здесь жил тогда-то великий поэт Гёте. Зимой 1874–1875 года я провел вместе с женой в Риме, и мы напрасно отыскивали тот дом, в котором наш Гоголь изготовлял свои «Мертвые души» для печати. Тогда я обратился к скульптору Антокольскому, и он обещал навести точные справки об этом доме с тем, чтобы на стене его поместить такую же мраморную доску с надлежащей надписью. Не знаю, исполнил ли он свое намерение. Если кому из вас угодно будет осведомиться о местожительстве Гоголя в Риме зимой

1840–1841 года, я должен предупредить вас, что нижняя половина улицы Систины называлась тогда *via Felice*.

Немногие друзья, товарищи и знакомые, которыми я окружил себя в Риме, как вы сами видите, не могли отвлекать меня от моих любимых занятий. Одни из них были моими наставниками, руководителями; в беседах с другими я освежал свои досуги новыми для меня интересами или просто рассеивался немножко и отдыхал от своих работ и ученых экскурсий. <...>

XXII.

<...> Мои друзья и товарищи по казенному общежителю в студенческих номерах разбрелись из Москвы по разным городам учительствовать в гимназиях, за исключением Коссовича, который, как вам известно, не имел ни малейших способностей быть собеседником. С ним я только учился по-санскритски; какое же тут развлечение? Класовский возвратился в Москву уже гораздо позже.

К моему счастью, в это тяжелое для меня время я случайно столкнулся с двумя молодыми людьми, которые были своекоштными студентами, когда я жил в казенных номерах. Один был на словесном факультете, известный уже вам Василий Иванович Панов, с которым я подружился в Риме, а другой – юридического факультета, Александр Николаевич Попов; с ним я прежде не был знаком. Оба они были в университете товарищами старшему сыну графа, Александру Сергеевичу, и вместе с ним кончили курс. Из своего полка, стоявшего где-то около Петербурга, он часто приезжал к нам в Москву в отпуск и оставался с нами по целому месяцу, а иногда и больше. Он был человек веселый и милый, добрый товарищ и остроумный собеседник. Вечера, когда он был свободен от общественных развлечений, проводил в дружеских беседах по-студенчески с ними обоими и со мной. Искусство и классические древности, Рим и берега Средиземного моря, «Русская Правда», о которой Попов писал тогда свою магистерскую диссертацию, Гоголь, которого так любовно чествовал Панов, сравнительная грамматика и филология с Боппом, Поттом

и Гриммом, исследованиями которых битком набита была моя голова, дорогие воспоминания о часах, проведенных нами вместе в аудиториях Московского университета, с забавными анекдотами о наших профессорах и товарищах – вот, сколько мне помнится, были главные предметы наших бесед и нескончаемых споров, попеременно с веселым хохотом и остротами, в которых Попов не уступал графу Александру Сергеевичу, а по игривой способности отчеканивать их рифмами и превосходил его. Василий Иванович Панов по деликатной чувствительности своего мягкого нрава вносил минорные нотки в наш общий хор, а мое отъявленное педанство было постоянной мишенью, в которую А. Н. Попов метко направлял свои стрелы, оперенные рифмами. <...>

Оба наши милые товарищи, Александр Николаевич и Василий Иванович, были славянофилы. Они ввели меня в этот интересный, высокообразованный кружок тогдашнего московского общества. Благодаря им я познакомился с Алексеем Степановичем Хомяковым, Константином Сергеевичем Аксаковым, с Киреевскими, Свербеевыми, Васильчиковыми, с поэтом Языковым и его племянником Валуевым, который приходился также племянником и Хомякову, женатому на сестре Языкова. К этому же кружку принадлежали мои милые профессора Погодин и Шевырев, хотя не в одинаковой степени разделяли его убеждения, первый – меньше, второй – вполне, а также и незабвенный товарищ по университету Юрий Федорович Самарин. Какими-то судьбами сюда же примкнулся самый равнодушнейший ко всевозможным партиям и сектам дорогой мой товарищ по студенческому общежитию, бесподобный чудак Каэтан Андреевич Коссович – надобно думать потому, что давал уроки классических языков племяннику Хомякова Валуеву и был несказанно осчастливлен тем, что Хомяков подарил ему очень дорогой санскритский словарь Вильсона, напечатанный в Калькутте.

Говорить вообще о славянофильстве я, разумеется, не буду. Оно давно уже заняло надлежащее себе место в истории умственного, нравственного и политического развития русской жизни. Когда очутишься в среде самого движения, не оглянешь всей толпы, а сталкиваешься лишь с отдельными лицами. На мое счастье это были люди передовые тогдашнего

общественного движения. Но и об историческом значении их говорить нечего; оно более или менее всем известно. Расскажу вам только о моих личных сношениях с некоторыми из них.

Будучи равнодушен к их славянофильским убеждениям и идеям, я высоко ценил их нравственные достоинства, безукоризненную чистоту их помыслов, гордую независимость духа, соединенную с милым простодушием, иногда доходящим до детской наивности. Я любил их сердечно и вместе уважал глубоко как недостижимые для меня образцы высшего совершенства, какое человеку доступно. Таковы были для меня Константин Сергеевич Аксаков и Петр Васильевич Киреевский. Тут же к ним прибавлю еще двоих, но из другой, неславянофильской среды, моих незабвенных товарищей, профессоров Сергея Дмитриевича Шестакова и Тимофея Николаевича Грановского.

Киреевский жил на Остоженке, по левую руку, если идти от Пречистенских ворот, в своем собственном доме близ церкви Воскресения. Дом был каменный, двухэтажный, старинный, с железной наружной дверью и с железными решетками у окон нижнего этажа, как есть крепость. Уцелел в таком виде от московского пожара 1812 года, он стоял в тенистом саду, запущенном, без дорожек. На улицу выходила эта усадьба только сплошным забором с воротами. Кажется, дом этот существует и теперь, но уже в обновленном виде. Петр Васильевич занимал верхний этаж и жил, сколько мне известно, один-одинехонек; женат он не был. Большая комната из передней, вроде залы, была и приемной для гостей, и рабочим для него кабинетом, с неровным, щелистым и протоптанным полом. Мебели всего было – ветхий диван у глухой стены, придвинутый к окну, а против него у другого окна большая деревянная коробка, запертая висячим замком; у стены против окон дубовый шкаф с книгами; у дивана большой четвероугольный стол и вдобавок ко всему до полдюжины разнокалиберных стульев и кресел.

Меня очень интересовала эта бабья коробка под замком, и когда я ближе познакомился с Петром Васильевичем, решил удовлетворить своему любопытству и спросил его, какое сокровище хранит он так бережно заперти и всегда перед своими глазами. «Так я вам не говорил? – сказал он

в ответ. – А здесь хранятся народные песни, былины и духовные стихи, которые много лет я собирал повсюду, где случалось бывать. Между ними много и таких песен, которые записаны моими друзьями и знакомыми. Вот эту пачку дал мне сам Пушкин и при этом сказал: “Когда-нибудь от нечего делать разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам”. И сколько ни старался я разгадать эту загадку, – продолжал Киреевский, – никак не мог сладить. Когда это мое собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные».

По различию в наклонностях и занятиях московские славянофилы делили свои ученые интересы по специальностям с особым представителем для каждой. Хомяков взял себе всеобщую историю и богословие; он был великий диалектик и отличался бойкостью и силою доводов в диспутах с раскольниками, которые его очень уважали. Иван Васильевич Киреевский был философ; энергичность его философских взглядов оценила сама цензура строгими запрещениями. Юрий Федорович Самарин блистательно заявил свою специальность в образцовых работах о государственном, политическом и экономическом строе русской земли с ее окраинами. Ученой специальностью Константина Сергеевича Аксакова был русский язык и его грамматика, которой он хотел дать своеобразный вид соответственно неисчерпаемой глубине народного духа. Степан Петрович Шевырев в своих публичных лекциях был для славянофилов представителем по истории русской литературы.

На долю Петра Васильевича Киреевского, кроме народной поэзии, выпала русская история, которой в течение всей своей жизни он усердно занимался, но, сколько мне известно, очень немногое успел напечатать. В этом деле он вполне удовлетворял славянофилов, потому что не жаловал Петра Великого.

Только в этом смысле и могла годиться для них история русского народа. Представьте себе, какая злополучная судьба постигла этого благодушного врага преобразований, совершенных Петром Великим! Киреевский никогда не мог примириться с тяжелой, досадливой мыслью, зачем нарекли также и его при крещении Петром, а не каким-нибудь другим именем. И он не на шутку горевал, как Тристрам Шенди, отец которого

столько же ненавидел это имя, как если бы назвали его сына Иудой в честь предателя Искарота.

Значение Константина Сергеевича Аксакова в среде московских славянофилов далеко не ограничивалось специальными пределами русской грамматики. Он был вдохновенный оратор и рьяный поборник эмансипации в тяжелые времена сурового режима. Нравом был он столько кроток и незлобив, как Петр Васильевич Киреевский, но отличался от него неукротимой пылкостью, которая дает великую силу страстно любить друзей и презрительно ненавидеть врагов. Вместе с тем был он так благодушен и сострадателен, что не только человека, и мухи не обидит. Врагами его были не сами люди, а их принципы, помыслы и дела. Я уверен, что для воплощения своих идей он не задумался бы принести себя в жертву и радостно пошел бы на любое место, чтобы, сгорая на костре, предъявить миру свое исповедание, как христианские мученики времен Нерона. Он мог достигнуть такого нравственного совершенства в своем незлобии к вражеским силам, потому что был чист и невменяем, как младенец. Недаром товарищи и друзья называли его не Константином Сергеевичем, а ласкательно, как малого ребенка: «Конста».

В то время я, безусловно, предпочитал славянофильское общество западникам, которые, впрочем, и не составляли тогда такого замкнутого кружка и множились врассыпную. Да они и мало были мне известны. Многие из них стали знамениты уже впоследствии. В начале сороковых годов Тургенев не думал, не гадал, что судьба решила быть ему великим писателем и после Пушкина первым мастером русского слова. Станкевич в 1840 году умер в Италии и унес с собой все надежды и упования, которые на него возлагались. Белинский еще не успел заявить тогда гениальных способностей критика, который насквозь был проникнут врожденным ему эстетическим вкусом и тонким чутьем отгадывать на первых порах только что зачинающееся литературное дарование.

Впрочем, московские славянофилы были не так брезгливы, чтобы не допускать в свой интимный кружок кое-кого из западников. Они дружелюбно – и доверчиво относились к Тимофею Николаевичу Грановскому, к Герцену, даже к Чаадаеву, которого величали католическим аббатиком.

Двух последних я впервые увидел на вечере в одном славянофильском семействе. Это было – как сейчас вижу – в угольной комнате, довольно просторной, с двумя окнами на улицу и с одной дверью в гостиную. У глухой стены против двери на диване с двумя или тремя дамами сидела молодая и красивая хозяйка и курила сигару, – папиросы тогда еще не вошли в общее употребление. Ее муж переходил из одной комнаты в другую, занимая одиноких гостей или прислушиваясь к беседам говорящих между собой. Против хозяйки от двери к заднему углу у стены был тоже диван; на диване сидят рядышком Чаадаев с Хомяковым и горячо о чем-то между собой рассуждают; первый в спокойной позе, а другой вертится из стороны в сторону и дополняет свою скороговорку жестами обеих рук. Для Алексея Степановича Хомякова разговаривать значило вести диспут. В этом деле он был неукротимый боец: свои состязания ловко и задорливо умел тянуть до бесконечности. Когда же противник начинал с ним соглашаться, он придерется к какому-нибудь его словечку или обмолвке, бросится в сторону и является перед ним с новым запасом вооружения, дает другой оборот спору и другую обстановку и повторяет такую атаку до тех пор, пока тот не выбьется из сил.

У окна в углу, близ дивана с дамами, в кресле сидел неизвестный мне господин, лет тридцати, среднего роста, плотного сложения, с коротко стриженными волосами; круглое и полное лицо без бакенбард и усов, в темно-синем фраке с металлическими, позолоченными пуговицами, гладкими, без гербов. Он был спокоен и медлителен в движениях и неразговорчив, лишь изредка перемолвится с хозяйкой или даст короткий ответ престарелому Александру Ивановичу Тургеневу, который, наклонив голову и сложив руки за спиной, шагал взад и вперед по комнате и, останавливаясь там и сям, прислушивался к говорящим. Легкий гул оживленной беседы время от времени покрывался зычными возгласами Константина Сергеевича Аксакова, который пылко ораторствовал в соседней комнате. Меня очень заинтересовал господин в синем фраке с позолоченными пуговицами. Как и зачем попал сюда, думалось мне, этот петербургский чиновник, такой приформленный и этикетный? К моему крайнему удивлению, мне сказали, что это Герцен. Он только что воротился из Вятки, куда был сослан.

Обстоятельства так счастливо для меня сложились, что в течение нескольких месяцев мне привелось раза по два и по три в неделю видеться с Иваном Васильевичем Киреевским, коротко с ним сблизиться и сердечно полюбить его. Нам удобно было заходить друг к другу, потому что мы жили в соседстве: я на Знаменке у графа, а он в одном из переулков между этой улицей и площадью храма Спасителя. Это было в конце зимы и в начале весны 1845 года. На это время Погодин уезжал куда-то из Москвы, и за него издавал «Москвитянина» Киреевский, а в помощь себе и в сотрудничество пригласил меня. Я работал у него для библиографии и критики; под мелкими статьями своего имени не подписывал, за исключением одной, которую означил инициалами, о чем скажу вам сейчас. Из библиографических отзывов помнятся мне теперь только два. Один был серьезного тона и вполне одобрительный о книге графа Сперанского, содержащей в себе лекции о красноречии, которые читал он, еще будучи молодым профессором Духовной академии. Другой отзыв о каком-то ученом сочинении Греча по литературе и по русскому языку я покусился настроить в занозливом и балагурном стиле барона Брамбеуса и «Северной пчелы», с разными глумливыми подковырками, а под статьей с мальчишеской замашкой подписал Ф. Б.: пускай, дескать, читатели подумают и обрадуются, что Фаддей Булгарин поссорился наконец со своим закадычным другом Гречем и печатно обругал его.

Из крупных рецензий поместил я тогда в «Москвитянине» всего две. Одна была об издании «Слова о полку Игореве» с обширными примечаниями Дубенского. На основании строгого филологического метода братьев Гриммов я довольно жестко нападал на толкования издателя и предлагал свои, которые давали тексту новый смысл, более значительный и жизненный, соответственно старинному быту, преданиям и народной поэзии. В другой я критически разбирал главу о местоимениях из общей или философской грамматики, которую составлял тогда для Академии наук Иван Иванович Давыдов. Будучи вооружен достаточными сведениями по сравнительной грамматике Боппа и по истории русского и других славянских наречий, я легко открыл в этой статье значительные промахи. Этим, конечно, я не оскорбил бы своего наставника и профес-

сора, которому был во многом обязан, если бы выразился спокойно и прилично, а не запальчиво и насмешливо. Сверх того, угораздило меня задеть его личность довольно прозрачными намеками, которые кое-где я вставил в виде примеров, как употребляются местоимения синтаксически в целом предложении. Цензор не заметил этих непристойных выходов и пропустил статью целиком; когда же были они обнаружены и подхвачены злословием, Иван Иванович не на шутку рассердился и обзывал меня молокососом и нахалом; впрочем, к великой моей радости, впоследствии смиростивился ко мне, как вы увидите из его переписки со мной, о которой будет сказано в своем месте.

Итак, в среде московских славянофилов я узнал и полюбил бесподобных людей, а не их славянофильство. Мне и в голову не приходило задаваться мыслью, в чем и как отличает себя эта партия от западников. Это меня нисколько не интересовало. Потому и о себе самом я не мог догадываться, кто я таков, славянофил или западник. На этот вопрос натолкнул меня один случай, который живо выступает в моей памяти.

Это было в Кунцеве, где каждое лето проводил граф со своим семейством до конца пятидесятых годов, когда возвратился он из Москвы в Петербург. Дач было тогда в Кунцеве наперечет, около полдюжины. Граф и графиня с детьми помещались в большом двухэтажном доме, где теперь живет летом владелец усадьбы Солдатенков; мне отведены были две комнаты в каменном флигеле, направо от дома. Другой такой же флигель насупротив этого, а также и по обеим сторонам два одноэтажных дома отдавались внаймы другим дачникам. Кроме того, было еще три дачи: одна в саду, переделанная из бани, так и слыла банею; другая за липовой рощей называлась Гусарево и третья на дороге к Проклятому месту – Монастырка, получившая это прозвище оттого, что здесь когда-то жила княгиня Голицына, выбывшая из монастыря. На этом месте теперь одна из дач Солодовникова. Утрамбованных широких дорожек по ту сторону тогда не было, и мы пробирались по узенькой тропинке, протоптанной по обрыву вдоль крутых берегов Москвы-реки мужиками и бабами из Крылатского и Татарова. Чтобы отдохнуть, бывало, присядешь на гладкое местечко той тропинки, а ноги спустишь в обрыв, перед

бесподобной панорамой, расстилающейся далеко внизу по ту сторону реки; налево – Хорошово с садами и огородами, а направо – широкая равнина на несколько верст вплоть до горизонта, по которому тянутся длинной полосой дачи Петровского парка с царским дворцом. Привольно было тогда разгуливать по Кунцеву. Повсюду тишь и гладь да божья благодать. Не то что теперь.

Однажды на закате солнца пришли ко мне Дмитрий Львович Крюков, который жил тогда близ Кунцева в Давыдове, и гостивший у него Тимофей Николаевич Грановский. Они хотели захватить меня с собой на прогулку. Кроме того, у Крюкова была и другая цель. Он работал тогда над переводом Тацитовых «Аннал» и для выработки своего слова усердно изучал памятники русской литературы старинной и народной. Чтобы взять у меня кое-что по этому предмету, оба они принялись пересматривать мои книги, расставленные на полках, и немало дивились разнообразному их содержанию. Тут стояли рядом: «Иоанн Екзарх Болгарский» Калайдовича и «Немецкая мифология» Якова Гримма, Остромирово Евангелие и Библия на готском языке в переводе Ульфила, памятники русской литературы XII столетия и сравнительная грамматика Боппа с его же санскритским словарем, «Суд Любуши» и отрывки древнечешского перевода Евангелия, изданные вместе в одной книге Шафариком и Палацким, а рядом «Дорийцы» Отфрида Миллера, русские былины и песни Кирши Данилова, Краледворская рукопись и чешские «Старобылые Складанья» (т. е. стихотворения) в изданиях Ганки, сербские песни Вука Караджича вперемежку с томами «Божественной Комедии» Данта, которая всегда была при мне неотлучно, и Сервантесов «Дон-Кихот», на чтении которого я учился тогда испанскому языку, и многое другое, чего теперь не припомню; но названные книги, без всякого сомнения, находились тогда в моем кунцевском кабинете, потому что действительно были мне нужны для моих ученых работ, предпринятых именно в то самое время.

Крюков и Грановский полагали меня настоящим славянофилом и теперь приходили в недоумение при виде такой разнокалиберной смеси моих ученых интересов, которые широко и далеко выступали из узких пределов славянофильской программы. «Что же вы такое? – спрашивали они

меня. – Славянофил или западник?» – «Да и сам не разберу», – им отвечал я. Именно с этих пор стал занимать меня этот вопрос, но нисколько не беспокоить, потому что я не придавал ему большого значения. Теперь не могу припомнить, скоро ли сложилось мое убеждение по этому предмету, но в главных пунктах было оно, кажется, вот какое.

Несмотря на мою любовь к Италии и на благоговение к ученым трудам Якова Гримма, назвать себя западником я решительно не мог, по крайней мере в том смысле, как это прозвище прилагается к Чаадаеву или к Белинскому. Не стану же я, думалось мне, вместе с Чаадаевым поклоняться римскому папе и в качестве «московского аббата» прислуживать ему за обедней, хотя бы даже и в Сикстинской капелле: я давно знал, что не боги обжигают такие скудельные горшки; не стану вместе с ним же позорить Византию, потому что знаю высокое ее призвание в средневековой истории просвещения не только в России, но и в остальной Европе, потому что восхищаюсь великими произведениями византийского искусства, базиликами времен Юстиниана в Равенне, Палатинской капеллой в Палермо, собором апостола Марка в Венеции и так далее до бесконечности. Я не презирал вместе с Белинским «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», как он сам выразился о «Трех портретах» Тургенева; напротив того, я посвящал себя на прилежное изучение именно русских преданий и их глубокой старины; я не глумился и не издевался вместе с Белинским над нашими богатырскими былинами и песнями, а относился к ним с таким же уважением, как к поэмам Гомера или к скандинавской Эдде. После всего этого, думалось мне, какой же я западник.

Постольку же не мог я назвать себя и славянофилом. Не меньше Константина Сергеевича Аксакова я любил русский язык, но изучал его не по методу мечтательных умозрений заодно с ним, а всегда пользовался точным микроскопическим анализом сравнительной и исторической грамматики. В наших преданиях, в стародавних обычаях, в былинах, песнях и сказках славянофилы видели заветные тайники народных сокровищ доморощенной мудрости, равных которым по их глубине не было и нет во всем мире; для меня же все это служило интересным и ценным материалом, к которому я старательно подбирал сходные, а иногда и почти одина-

ковые факты из других народностей, преимущественно из родственных по происхождению, т. е. индоевропейских. Славянофилы восхищались образцовым строем русской семьи, русской общины и земщины, русским третейским судом и другими особенностями так называемого обычного права. Мне гораздо интереснее было анализировать только терминологию семейных отношений, именно самые слова: отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, свекровь, сноха, — и на основании законов сравнительной грамматики возводить их к санскритскому языку для очевидного доказательства, что наши предки в незапамятные времена вместе с собой вынесли из своей азиатской прародины уже вполне благоустроенную семью. По географической карте Шафарика и московские славянофилы, увлеченные панславизмом, мечтали об изгнании немцев из Австрии, чтобы сокупить чехов, лужичан, словаков, сербов, поляков и других их соплеменников в одно великое панславянское государство, между тем как я, начинив свою голову параграфами немецкой мифологии Якова Гримма, представлял себе умирительную картину примирения германцев со славянами в идеальной апотеозе асов и ванов, из которых сложилось дружественное и родственное сонмище скандинавского Олимпа.

Но довольно об этом. Больше не стану утомлять вас разными подробностями о занимавшем меня вопросе. На моих глазах зачиналась междоусобная война славянофилов с западниками, и я, не думая, не гадая, очутился между двумя враждебными лагерями, но, сыскав себе укромное местечко, спрятался в своей маленькой крепостце до поры до времени от выстрелов того и другого.

XXIII.

Теперь я должен рассказать вам кое-что о моих обязательных занятиях. Кроме учительства в третьей гимназии и исполнения разных поручений графа вместе с уроками его детям, у меня было еще одно официальное дело. Я был тогда прикомандирован в качестве помощника или, так сказать, чиновника особых поручений по кафедре русской литературы к Степану Петровичу Шевыреву. <...>

XXIV.

Иван Иванович Давыдов, получив место директора Педагогического института, оставил в конце 1846 года кафедру Московского университета и переселился в Петербург. На его место был принят я в качестве стороннего преподавателя, потому что, не защитив магистерской диссертации, я не имел права быть адъюнктом. Таким образом – говорю это с особенной гордостью – я был в Московском университете первым по времени приват-доцентом. Мне дано было четыре лекции в неделю: две на первом курсе математического факультета по теории словесности и две на втором курсе филологического факультета по сравнительной грамматике и истории церковнославянского и русского языка. <...>

Теперь обращаюсь к моему доцентству. В лекциях сравнительной грамматики по Боппу и Вильгельму Гумбольдту я ограничился только общими положениями и главнейшими результатами в той мере, сколько было мне нужно, чтобы определить отличительные черты группы славянских наречий и указать им надлежащее место в среде других индоевропейских языков.

Историю русского языка я вел в связи с церковнославянским и на первый раз остановился на Остромировом Евангелии. Меня особенно интересовал тогда вопрос о первобытных и свежих формах языка, еще не тронутых и не переработанных на новый лад искусственными ухищрениями переводчиков Священного Писания. Для этой цели мне были нужны не сухие, бессодержательные окончания склонений и спряжений, а самые слова как выражения впечатлений, понятий и всего мирозерцания народа в неразрывной связи с его религией и с условиями быта семейного и гражданского. Таким образом, я разделил свой курс истории языка на два периода: на языческий с мифологией и на христианский. Извлечения из этих лекций я напечатал в 1848 году в виде магистерской диссертации под заглавием: «О влиянии христианства на славянский язык. По Остромирову Евангелию». <...>

Чтобы познакомить вас с некоторыми подробностями моего диспута, сообщаю вам следующее мое письмо к Александру Николаевичу Попо-

ву в Петербург, доставленное мне издателем «Русского архива» Петром Ивановичем Бартеневым:

«Любезнейший Александр Николаевич. Наконец диссертация моя прошло сквозь огонь и воду, т. е. напечатана и защищена. Диспут был 3 июня, в четверг; спорили долго, от 12 почти до 4 часов. Возражали Шевырев, Бодянский, Катков, Леонтьев и Хомяков. <...> Хомяков начал свои возражения общим замечанием: что теперь некоторое время наука в Европе остановилась в своем развитии, и нам, русским, только одним, предстоит обрабатывать ее, а потому моя диссертация для него приятное явление. Затем нападал на меня за излишнюю осторожность в сличении языка славянского с санскритским и приводил примеры: из его слов я вывел, что он считает санскрит местным наречием языка русского. Наконец, Шевырев сделал общее заключение обо всем диспуте и заявил, что были нападения частные, более обращенные на период мифологический, но собственно мой предмет о влиянии христианства на славянский язык остался за мною, и я сидел в своей крепости, как он выразился, непобедим». <...>

XXV.

<...> Вслед за тем как прогнали Гофмана из Московского университета, прекратились и наши товарищеские сходки. В мероприятиях бдительной прозорливости предполагалось, что посеянные им у нас зловередные семена западного мятежа могли дать ядовитые ростки. И вот теперь именно из того самого факультета, к которому принадлежал Гофман, несколько молодых профессоров собираются еженедельно в один и тот же день и час и в разных местах, о чем-то толкуют, а посторонних гостей в свое общество не допускают. Это не даром; тут что-то не ладно. Но, слава Богу, нас предупредили вовремя, и дело обошлось без передряги.

Но московским славянофилам пришлось плохо. Улики были налицо. Ничем не стесняясь, они привыкли откровенно высказывать свои задушевные убеждения и смелые планы не только в интимном кружке друзей, но и в многочисленных собраниях. Стоило только изложить в подробном протоколе их своеобразные мнения, идущие вразрез с принятым поряд-

ком вещей, и самое тяжкое обвинение в их крайней неблагонамеренности будет готово. Так и сделали, присовокупив к такому протоколу поименный реестр обвиненных. Впрочем, до поры до времени их оставили на свободе и наказали только тем, что взяли с них подписку решительно ничего не печатать из своих сочинений.

Осадное положение нашего университета под грозной опалой тянулось до годовщины его столетнего юбилея 12 января 1855 года. В этот незабвенный день император Николай Павлович осчастливил нас великой милостью. Он повелел немедленно устранить все неудобные стеснения, недавно вызванные временной необходимостью, и привести университетские порядки и льготы в прежнее их положение.

Ко дню юбилея профессорами нашего университета было изготовлено несколько изданий. Главным деятелем и руководителем в этих работах был Степан Петрович Шевырев; он же написал и историю Московского университета. Что касается до меня, то по его же указанию и плану я составил целую монографию о нескольких избранных рукописях Синодальной библиотеки с приложением раскрашенных снимков, чтобы дать точное понятие об орнаментации заставок и заглавных букв русских писцов от XI столетия и до XVI. Монография эта вошла в состав палеографического сборника, который был издан тоже ко дню юбилея. Лично для меня имеет она большое значение. В ней, по указанию Степана Петровича, я в первый раз коснулся русской орнаментики, которая впоследствии стала одним из любимых предметов моих исследований. <...>

XXVIII.

<...> Принадлежать к какой-либо партии было противно моему нраву и обычаю. Вы уже знаете, что я умел сохранить свою независимость в борьбе славянофилов с западниками; точно так же оставался и потом в нейтральном положении между консерваторами и либералами. Я думал, что если какой-нибудь принцип разлагается на две противоположности, то каждая из них легко может дойти до бессмысленных и вредных крайностей. Потому я сочувствовал многому, что находил существенным

и ценным в убеждениях и взглядах обеих враждующих партий, устраняя от себя безрассудные и опрометчивые увлечения той и другой. <...>

П. И. Бартнев **Воспоминания**

<...>

На первых курсах в университете в занятиях я особенно сошелся с сыном священника Замоскворецкой церкви Петра и Павла Соколова Петром Алексеевичем, носившем по матери фамилию Безсонова (таков был обычай у духовенства; старший брат Михаил звался по отцу Соколовым), и Александром Николаевичем Прейсом, младшим братом известного петербургского профессора славянских наречий. Прейс, как и Безсонов, жил тоже очень далеко от меня, на Донской улице в доме родителей. Мы сходились в университете, где поочередно клали фуражки наши на первой скамейке от кафедры, чтобы лучше слышать слова профессора и записывать лекции. Но было еще другое место нашего свидания – это на Спиридоновке, в доме позднее князя Волконского; внизу этого дома жил учитель греческого языка во 2-й гимназии Каэтан Андреевич Коссович. Он был уроженец города Слуцка и до такой степени беден, что нанимал себе помещение на чердаке у еврея; там были развешаны еврейские шубы и теплые платья, и молодой Коссович ими укрывался. В сущности, он был белорусс, а не поляк. Николай Павлович, мечтая помирить поляков с русскими, приказал, чтобы польских юношей помещали на казенный счет при наших университетах. В 1829 году, когда последовало воссоединение униатов, к Коссовичу пришел полицейский чиновник с предложением присоединиться, и тот, конечно, записался в Православие, а по окончании курса должен был в течение известного срока прослужить учителем гимназии. Способность к языкам у него была удивительная; кроме отличного знания языков новых и обоих классических, он занялся языками восточными, читал свободно по-еврейски и арабски, но в особенности полюбил санскрит, этого праотца языков индоевропейских, с его богатой словес-

ностью, с этими поэмами в несколько сот тысяч стихов, со многими произведениями драматическими. В «Московском сборнике» 1847 года поместил он «Торжество светлой мысли», а небольшую поэму «Сказание о Дгруве» издал отдельной книжкой и посвятил красавице Елизавете Николаевне Делоне, дочери француза-доктора и некоей Тухачевской, которая была замужем за богатым петербургским купцом Кусовым, но покинула его (сыном петербургского головы). Эта Лиза Делоне влюбила в себя многих, в том числе и Михаила Никифоровича Каткова, который думал на ней жениться, вел с ней большую переписку в те годы, когда она с отцом, сделавшимся инспектором врачебной управы, жила в Симбирске; но когда Делоне вернулась в Москву, Катков разглядел наконец ее кокетство, сразу прервал с ними всякие сношения и не замедлил жениться на только что прибывшей из Одессы княжне Софии Петровне Шаликовой. Коссович же продолжал быть ее обожателем в течение многих лет, пока она в Петербурге не вышла, наконец, замуж за известного психиатра Болинского, от которого имела много детей и который, говорят, бивал ее.

Мое знакомство с Коссовичем (счастливое событие в моей жизни) началось с моего университетского товарища Степана Никитича Тьер-Мыкыртычьянца (профессор Клин, бывало, затрудняясь произнести его имя, обращаясь к нему, говорил по-латыни *tu cujus nomen difficile est dictu*, т. е. ты, коего имя трудно выговорить). Родители его, богатые закавказские из Орбубата армяне, вели торговлю шелком с Москвой и вместе с тюками шелка поручили приказчикам своим отвезти в Москву и мальчика-сына для обучения. По какому-то случаю с этими приказчиками сошелся француз Реми, у которого было в Москве учебное заведение, и, пользуясь армянским богатством, взял к себе мальчика. Коссович, узнав о том, просто из милосердия выручил мальчика из французских лап, и приказчики поселили его с собой, для чего нанята была прекрасная квартира рядом с церковью Георгия Победоносца на Нижней Лубянской площади. Кое-как Степан Никитич определился в студенты словесного факультета и даже кончил курс, никогда не зная не только спряжений, но и склонений латинских. Тут выручали мы его, на экзаменах вызывали по азбучному порядку: Бартенев, Безсонов экзаменовались гораздо раньше того, чья фамилия начиналась

буквой М. Они обыкновенно брали у профессора билеты не один, а два и, сдавши экзамен, уводили Мыкыртычьянца в нижние сени, где заставляли его наизусть учить, что надо было отвечать по украденному билету. С грехом пополам он что-то бормотал, и ему ставили отметку «3». После каждой такой проделки обязан он был вести нас в Сокольники и угощать чаем и разными снедями у самоварницы. <...>

По желанию армян-приказчиков Коссович продолжал некоторое время опекать Тер-Мыкыртычьянца и у него встретил меня. Он был другом поэта Языкова и восторженно читал стихи его. У Языкова оценил и полюбил его А. С. Хомяков, женатый на сестре поэта Екатерине Михайловне. Другая сестра, Прасковья Михайловна, была за богатым симбирским помещиком Петром Александровичем Бестужевым-Рюминым. Она просила Хомяковых сыскать студента к ним на лето для приготовления в 3-й класс гимназии среднего сына Мишу. Хомяков обратился к Коссовичу, и тот назвал меня. В мае 1849 года Коссович повез меня на Собачью площадку в маленький кабинет Алексея Степановича, он только что вышел из спальни в шелковом ватном халате с привешенными на шнурке ключами и с густыми взъерошенными черными, как смоль, волосами. Могу повторить за себя слова одного из поклонников Магомета: он схватил меня за сердце, как за волосы, и не отпускал больше прочь. Любовь и благоговение его памяти и до сей минуты не покидают меня. Переговоры были самые короткие. Старший сын Бестужева, студент Владимир, повез меня в Сызранский уезд в село Репьевку (ныне станция железной дороги), где за 75 руб. платы прожил я до конца августа. <...> Прасковья Михайловна была очень добрая женщина, и мне у них было хорошо. Репьевка стоит на Волге, и стерляди во всевозможных видах съедались нами чуть ли не ежедневно. Сосед-помещик и родственник, тоже Бестужев, слыл вольнодумцем и подшучивал над Прасковьей Михайловной и ее супругом, оскорбляя их благочестие. <...> Ученик мой Миша был не из ретивых, однако экзамен свой выдержал, привезенный в Москву отцом. Мы, т. е. он с сыном и я, поместились на углу Собачьей площадки и Большого Николо-Песковского переулка во флигеле Хомяковского дома над лавкой. Когда Бестужеву надо было возвращаться, он сказал мне: я помещаю Мишу у Хомяковых в боль-

шом доме наверху, хотите жить там же? Платы вам не будет никакой, но Вы иной раз не откажетесь помочь Мише в уроках, и Алексей Степанович об <этом> предупреден. Я тотчас согласился и мне пришлось до весны 1850 года прожить в постоянном общении с Хомяковым. В следующем году открывалась в Лондоне первая Всемирная выставка, чтобы дать Коссовичу возможность познакомиться с прибывшими туда индейцами, Хомяков поручил ему отвезти на выставку свое изобретение, паровую круговращательную машину, и для этой поездки дал ему 5 тысяч рублей. (Позднее в Петербурге на книгах Коссовича видел я надпись: благодеяние А. С. Хомякова.) Каэтан Андреевич передал мне потом, что он в Лондоне сблизился с одним индейским семейством и в нем нашел себе взаимное обучение: молодую индианку учил он по-гречески, а она его своему языку. Коссович чуть не влюбился в нее, но, бывало, она откроет ладони, и они все желтые, что ему как европейцу внушало чувство отвращения и тотчас охлаждало его влюбчивость. Я забыл сказать, что еще в 1849 году я, Безсонов и Прейс несколько месяцев сряду учились у Коссовича санскриту и к Рождеству принесли ему в подарок ящик сигар. Он страшно переконфузился и объявил нам, что сам будет нам покупать сигары, лишь бы мы не бросали учиться. Я запасаюсь санскритским лексиконом Боппа и до того преуспевал, что прочел целых пять небольших санскритских произведений, а на 2-м курсе подал Шевыреву в виде сочинения статью о разнице подлинной поэмы «Наль и Дамаянти» с переводом, который сделал Жуковский по немецкому переводу Рюккерта. Эти занятия прекратились с отъездом Коссовича в Петербург на должность редактора ученых работ при Императорской Публичной Библиотеке, созданную для него благодаря графу Блудову, который его узнал, приезжая в Москву на освящение Кремлевского дворца. Когда Коссович ездил в Лондон, он навестил Жуковского во Франкфурте; тому нужен был учитель для двух детей его, Коссович наговорил обо мне, и Жуковский написал в Москву к Кошелеву, чтобы навеститься, что я за человек (письмо это напечатано в приложениях биографии Кошелева). Пока шли переговоры, не удавшиеся потому, что Жуковский сам все собирался возвратиться в Россию, тот же Коссович поместил меня учителем к внукам графа Блудова, Ивану и Дмитрию Шевичам, с жалованьем в 3000 рублей

ассигнациями. Из квартиры Коссовича в Петербурге, куда он меня вызвал из Москвы, переехал я к Лидии Дмитриевне Шевич на Пантелеймоновскую улицу на углу Моховой в дом Плеске.

Но возвратимся к Москве в дом Хомякова. Жену его, милую и кроткую Екатерину Михайловну, видал я только в столовой. Она редко приходила к нему в кабинет, где всякое утро шли беседы неумолчно веселого ее супруга с его гостями. Тут встречался я с Гоголем, который производил на меня одного неприятное впечатление: это был какой-то недотрога, довольно скудно одетый, но с великолепным бархатным жилетом с золотой цепью часов. Помню, как, возвратившись из университета с лекции Каткова о психологии, разговорился я с Гоголем о том, достигнут ли психологи до того, чтобы явственно представить, что должен был ощущать Одиссей, когда, перед тем как придти во дворец Алкиноя, он после стольких испытанных бедствий молился Афине в предгорной роще. Гоголь капризничал: подавали ему чай, и он находил то слишком полный стакан, то не долито, то мало сахара, то слишком много. По большей части он уходил беседовать с Екатериной Михайловной, достоинства которой необыкновенно ценил. Ее кончина в январе 1852 года очень его поразила, и он заболел своей смертельной болезнью.

Алексей Степанович обедал около 3-х часов и, окруженный целой толпой детей своих с их гувернантками, неумолчно говорил, уверяя, что детей своих лишил он дара слова. Помню, как однажды, когда мы уходили вместе из дому, он мне сказал, что его многоречие может приносить пользу, так как не все же можно записывать. После обеда, выкурив трубку и полежав несколько минут на диване, он садился за письменный стол и принимался за свою Семирамиду, как Гоголь прозвал большой труд о всемирной истории. Случайно Гоголь, подойдя к рабочему его столу, увидал в его тетради имя Семирамиды и окрестил все сочинение этим именем. Стихи он клал на бумагу, когда они совсем были готовы у него в голове и, сочиняя, иной раз произносил какой-нибудь стих. В августе 1856 года прознес он мне двустишь:

Его елеем помазует
Она святых своих молитв.

В день коронации я пришел к Блудовым, и старик стал мне читать стихи на коронование Александра Николаевича, написанные будто бы Константином Аксаковым. «Это не аксаковские, а хомяковские стихи», – сказал я ему. «Вы вечно спорите: стихи написал Аксаков». – «Нет, Хомяков». Помещенное двестишье вскрыло для меня сочинителя. Стихи эти вовсе не художественны, но они достопамятны тем, что в них нет ни слова лести. Хомяков, как и многие, возлагал на нового Государя большие упования. Может быть, от Жуковского Хомяков знал, что Александр Николаевич в душе был страстный охотник, и это Хомякову было любо; он говорил, что следует написать картину «Счастье России», изобразить на одном полотне царя Феодора, забравшегося на колокольню Симонова монастыря и звонящего к вечерне, царя Алексея с соколом в руке, и царицу Елизавету с бокалом венгерского, и Александра II, когда он подстреливает медведя: во все четыре царствования был простор русскому уму. Охота, действительно, служила царю освежительным отдохновением, но он к концу царствования перестал уезжать на нее после того, как обер-егермейстер граф Ферзен из ненависти застрелил на охоте своего помощника Владимира Яковлевича Скарятин (к которому Государь особенно благоволил). В Петербурге распространился слух, будто Скарятин убит от неосторожного выстрела, сделанного самим Государем. Когда потом брат убиенного казанский губернатор Николай Яковлевич Скарятин приехал в Петербург, Государь призвал его в свой кабинет и поразил его вопросом: «Скарятин, веришь ли ты, что я честный человек?» Скарятин отвечал, что не может понять этого вопроса. «Веришь ли ты, что если бы я убил твоего брата, как говорят в городе, то я усомнился бы объявить о том и подвергнуть себя церковной эпитемии; веришь ли, Скарятин?» – повторил Государь и зарыдал. Но Александр Николаевич терпеть не мог Хомякова. Великим постом 1856 года в Москву приехал граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, под начальством которого некогда в Турецкую войну 1828–1829 гг. служил Хомяков. Ему давали торжественный обед в Московском Дворянском Собрании как доблестному защитнику Севастополя. В течение обеда герой праздника беспрестанно говорил с Хомяковым, приехавшим на обед в обыкновенном своем платье, вроде полукафтання. Вскоре затем приехал

в Москву Государь и спросил первого тогдашнего московского вельможу князя Сергея Михайловича Голицына про этот обед, на котором произносилось много речей в похвалу графа Остен-Сакена. «Не знаю, Государь, не расслышал, но там всех громче говорил какой-то Хомяков, одетый в поддевку». Вслед за тем на Страстной неделе утром при мне полицейский чиновник приехал к Хомякову с бумагой, в которой ему приказывалось обрить бороду (эту бумагу я тогда себе взял). Потом Хомяков был вызван к Закревскому, который сообщил ему Высочайшее повеление не только не печатать стихов своих, но даже не читать их никому. «Ну, а матушке можно?» – спросил Хомяков. «Можно, только с осторожностью», – улыбаясь, сказал Закревский, знавший Хомякова еще с Петербурга, когда тот служил в конной гвардии и бывал у его матери. Сбритие бороды по Высочайшему повелению, конечно, огорчило его мать Марию Алексеевну (рожденную Киреевскую). Я узнал ее, когда она уже не сходила с постели и тем не менее командовала всем многолюдным домом. Екатерина Михайловна, любя мужа, кротко выносила ее. Окруженная приживалками и женской прислугой, она вмешивалась во все и, бывало, присылала свою девку в кабинет к Алексею Степановичу с разными выговорами.

Тот посылал ей ответ. Она возражала, и эти разговоры оканчивались тем, что девка являлась в кабинет и произносила: «Матушка приказала сказать, что у Вас козлиная борода». У нее был старший сын Федор Степанович, служивший в Министерстве иностранных дел и потом при Паскевиче на Кавказе, где он и умер в ранних летах. «Этот-то что, дурак, совсем дурак, а вот мой Федя!» – неоднократно говаривала она мне, когда я достаивался приглашения посидеть у нее в спальне. Муж ее, Степан Александрович (умер в 1836 г.), напротив, очень любил сына Алексея; он был человек весьма образованный, хороший математик, но *bon vivant*¹ и в Английском клубе проигрывал большие деньги. По летам жилал он в селе Липицах Сычевского уезда Смоленской губернии, она в Богучарове под Тулой. Однажды пожаловала она к нему в шестиместной карете. Он вышел к ней на крыльцо, и она, выйдя из кареты, при собравшейся дворне дала ему пощечину и немедленно велела ехать обратно. Она была очень

¹ Кутила (фр.).

прибежна к Церкви и строго держалась всех церковных обычаев, но за молебен священнику с причтом давала только по четвертаку; и тем не менее много лет спустя по ее кончине зашел я в их приходскую церковь Николая на Песках, по окончании вечерни старик священник узнал меня и благодарно вспоминал про Марию Алексеевну, сообщив, что, когда жена его заболела чахоткой, Мария Алексеевна подарила ей прекрасную корову, чтобы она могла отпоить себя молоком. Она прожила более 80-ти лет; в последние годы сделалась кротче и в июль 1857 года тихо скончалась в Москве; все семейство было уже в деревне, оставался с ней один Алексей Степанович. Утром я пришел к ней в спальню, и она с горячностью стала говорить мне о новом тарифе: «Что это Царь-то наш наделал! Совсем продал нас англичанам». К вечеру я пришел в другой раз, и ее уже не стало. Ее повезли хоронить в Богучарово.

Но я еще ничего не говорил об университете. С самого первого курса был я счастлив тем, что главным профессором был у нас Степан Петрович Шевырев, великий трудолюбец, идеалист, строго православный и многостороннейше образованный. У него нельзя было перейти с курса на курс, не подав какого-нибудь доказательства о труде дельном. На первом курсе я с Безсоновым составил словарь по всем произведениям древней нашей письменности до татарского нашествия: все вышедшие из современного употребления слова писали мы на карточках, таких карточек, расположенных в азбучном порядке, накопилось у нас 17 больших сигаретных ящиков. Все они остались у Безсонова, который-таки был захватчив, и куда у него делись, не ведаю. На втором курсе я подал Шевыреву упомянутую выше статью о «Наль и Дамаянти». На третьем сделал перевод целой книжки Goethes Selbstcharakteristik aus seinen Beiefen¹ (очень было трудно переводить). На четвертом не помню что-то. Шевырев жил в собственном доме в Дегтярном переулке близ Тверской, и от 6 до 7 часов вечера студенты могли приходить к нему для бесед, для советов, для выбора книг из его библиотеки; кроме того, он завел в университете особую студенческую библиотеку. Младший мой товарищ Тихонравов злоупотреблял его добротой: забрал у него в разное время до 100 книг и не отдавал их. Однажды

¹ Самохарактеристика Гёте по его письмам (нем.).

Шевырев говорит мне: «Усовестите Тихонравова, мне самому эти книги нужны». Вслед затем, когда я пришел к Шевыреву: «...не трудитесь, – сказал он мне, – я писал о книгах отцу Тихонравова и получил от него ответ, что он удивляется моему к нему обращению, так как уже несколько лет как он проклял своего Николая Саввича». И этот господин впоследствии был ректором университета и под шумок возмущал студентов против правительства. Отец его служил экзекутором в Глазной больнице и был закладчиком. Проигравшиеся члены Английского клуба брали у него деньги за большие проценты. В том числе и граф А. Ф. Ростопчин. По окончании курса Тихонравов списал у Погодина, без его ведома, письма графа Ф. В. Ростопчина к князю Цицианову и поместил их в своей статье о графе Ростопчине в «Отечественных записках», тогда как письма были даны Погодину только для прочтения. Увидав их в печати, владелец страшно рассердился и печатно заявил о поступке Тихонравова; тогда тот предъявил к взысканию унаследованные им от отца ростопчинские векселя, и это было началом ростопчинского разорения. Подали ко взысканию другие заимодавцы, граф продал свои московские дома и уехал служить в Сибирь в Кяхту, где его единственный сын был воинским начальником, а оттуда поступил на службу в Иркутск исправником. На святки 1849 года Шевырев передает мне и Безсонову по 25 рублей, сказав, что эти деньги даны ему одним желающим остаться в неизвестности человеком для выдачи прилежным студентам (позднее мы узнали, что это был Гоголь). Мы поехали с Безсоновым к Троице, где поставили свечу за землю Русскую, а Шевыреву поднесли перламутровый разрезальный ножик, в котором вместо рукоятки было серебряное сердце. Это соответствовало Шевыреву, который, по нашему мнению, одарен был дорогим сердцем и расчленяющим умом. К несчастью Шевырева он вовлекся в литературную борьбу с так называемыми западниками, необузданно громил их на своих лекциях и терял наше уважение, и тогда К. К. Павлова написала на него стихи:

Преподаватель христианский,
Он духом смел, он сердцем чист,
Не злой философ он Германский

Не незаконный Гегелист...
Не выносим его смиренью
Лишь только близкого успех.

Зимой 1857 года в заседании Исторического общества у его председателя А. Д. Черткова Шевырев заспорил с графом Бобринским и был жестоко избит им, так что не одну неделю пролежал в постели, и профессора-медики навещали его. Профессор Леонтьев, взоидя на кафедру, сказал студентам: «Поздравляю вас, господа, нашу кликушу побили», – вот до чего ожесточилась борьба. Несчастный Шевырев уехал за границу, прожил несколько лет в любимой и столь знакомой ему Италии, затем в Париже, читая лекции на французском языке о русской словесности, там и скончался в 1864 году. За 10 минут до смерти подозвал он к себе единственную дочь свою Екатерину и продиктовал ей стихи:

Когда состав слабеет, страждет плоть
Средь жизненной и многотрудной битвы,
Не дай мне мой Помощник и Господь
Почувствовать безсилие молитвы!

Вдова с двумя сыновьями и дочерью похоронили его на Ваганьковском кладбище в Москве. Благодарная к нему память никогда меня не покинет.

Русскую историю читал Соловьев Сергей Михайлович без всякого воодушевления и с возмутительной холодностью. Не мудрено: у него было столько других должностей. <...>

Катков читал редко психологию, логику и историю философии, все три предмета очень смутно и неудобопонятно, притом по целым месяцам он не являлся на кафедре по нездоровью. Это был сухой, бледный, чахоточный человек. Мы думали, что он не проживет долго. <...>

Богословие читал протоиерей Петр Матвеевич Терновский. Как мы смеялись, когда он, разбирая учение энциклопедистов, закончил одну из своих лекций словами: «Следующий раз нанесем мы окончательный удар Вольтеру». Высокого роста, грузный, с неприятным голосом, не вызывал

он никакого сочувствия; но потом, когда он оставил университет и поступил священником на Новую Басманную в церковь Петра и Павла, то оказался добросердечным и во всех отношениях почтенным пастырем. Помню экзамен в присутствии Филарета. Мне достался билет о почитании храма Божия, и по счастью я незадолго перед тем читал проповедь о том самого Филарета. Стоявший у стола Терновский кидал на меня строгие взоры, так как я отвечал вовсе не по его учебнику, а по Филаретовской проповеди. Владыко милостиво мне улыбался, и Терновский вынужден был поставить мне 5.

В это время я много читал Филарета и вообще был благочестив, может быть потому, что дома у нас было плохо, нечего было посылать мне, и я перебивался кое-как. Помню, как после заутрени у Егория на Лубянской площади христосовался я с каждым из нищих и раздавал им по копейке из тощего моего кошелька.

Мне еще надо кое-что напомнить о моих профессорах. О бедном Шевыреве немногие знают, что он первый дал Бобринскому пощечину. Приехал он на заседание усталый от дневной работы, а Бобринский появился после жирного обеда. Глухой председатель Чертков не мог предотвратить сцены, которая началась с того, что Бобринский стал говорить о том, что нам нечего послать на Парижскую Всемирную выставку, кроме сеченой задницы русского мужика. «Граф, Вы говорите не по-русски». Тогда Бобринский подошел к нему и назвал низкопоклонником, заполучившим себе в жены незаконную племянницу генерал-губернатора. «А ты сам-то кто такой? Ведь твой отец незаконнорожденный» – и с этими словами нанес ему удар по щеке. Тогда высокорослый силач повалил тщедушного профессора и стал топтать его ногами. Из Петербурга приказано было выслать Бобринского из Москвы и Шевырева также по выздоровлении его. Это последнее приказание было отменено по заступничеству фрейлины Анны Алексеевны Акуловой (воспитательницы королевы Ольги), а Бобринский через несколько месяцев был утвержден предводителем тульского дворянства.

О Грановском добавлю, что он не подавал студентам примера трудолюбия и, можно сказать, первый из профессоров стал искателем милости

студентов. Шевырев говорил нам «ты» до окончания курса, а Грановский всем жаловался. Помню, был я у него, когда он жил в Хлебном переулке в доме Забелина. Он мне и другим студентам стал рассказывать, будто Филарет добивается, чтобы его сделали министром народного просвещения на место графа Уварова, с которым тогда сделался паралич и про которого он мне рассказывал потом, что тот называл свое министерское служение постоянным убеганием от лютого зверя, т. е. от Николая Павловича. Меня же лично Грановский оскорбил, назвавши Жуковского придворным льстецом; я же любил стихи Жуковского с первых классов гимназии и довольно дерзко возражал Грановскому, а ходить к нему перестал. Прибавлю, что позднее, когда Анненков, купивший у наследников Пушкина за 5 тыс. рублей право издать его сочинения, уверил их, что только ему удастся при этом избежать преследований цензуры, так как родной брат его был членом негласного цензурного комитета, я пошел к Грановскому и передал ему, что в Московском цензурном комитете получена была бумага, воспрещавшая мне печатать в «Московских ведомостях» мои статьи о Пушкине, так как оглашением неизданных стихов могу повредить успеху издания Анненкова. Между тем другой брат Анненкова был в Нижнем губернатором и на ярмарке 1855 года приказывал полиции выдавать приезжим купцам билеты на получение сочинений Пушкина, взимая с каждого по 12 рублей (это мне сказывал В. И. Даль, служивший тогда в Нижнем начальником Удельной палаты). Грановский, возмущенный воспрещением мне печатать, написал Анненкову укорительное письмо. Надо знать, что перед тем я послал в Петербург в «Отечественные записки» мою статью о «Роде и детстве Пушкина», вовсе не думая о вознаграждении, как через несколько времени статья появилась; Грановский зовет меня к себе и вручает полученные им для меня от издателя «Отечественных записок» Краевского 45 рублей. Это был первый мой заработок за мои печатные труды. Однажды Грановский говорит мне: «Я знаю, что Вы даете уроки; что Вам за охота; возьмитесь лучше за переводы. Приятель мой Фролов (Николай Григорьевич), переводчик Гумбольтова Космоса, затеял издавать “Магазин земледования и путешествий”, ступайте к нему от моего имени». Фролов жил тогда в собственном доме в Харито-

ньевском переулке, во флигеле которого отвел помещение Грановскому и супруге его Елизавете Богдановне (рожденной Мюльгаузен). Фролов немедленно навалил на меня переводы из Риттера с весьма скудной платой по 6 рублей с листа убористой печати. Я перевел ему историю распространения кофе, верблюда, янтаря и еще что-то; затем он поручил мне переводить статьи академического издания Бера и Гельмерса *Beiträge zur [Geschichte] des Russischen Reiches*¹. Этого было для меня много, и я, желая сделать угодное А. П. Елагиной, отдал ей часть для перевода. Некогда, в дни своей молодости, по поручению Жуковского, она много переводила с иностранных языков для московских книгопродавцев, и ей приятно было в старость заняться той же работой. Но, превосходно владея языками, она не умела быть точной, а перевод ее сдавал я Фролову заодно с моими, и оказалась нескладница. <...>

На лето по окончании курса я, конечно, уехал в Липецк и не знал, что мне дальше делать, как в октябре получил письмо от Коссовича, приглашавшего меня занять место учителя у внуков графа Блудова, Шевичей. Снарядив меня в путь, маменька зажгла свечи перед иконами, и, помолвившись с ней, я принял ее благословение; это был последний раз, что я ее видел. Ей оставалось с небольшим год жить на свете. Забыл о Нащокине. Это был лучший друг Пушкина, и я, уже в то время занимавшийся Пушкиным, вошел с ним в близкое знакомство. Он жил у Неопалимой Купины близ Девичьего поля и, проводя довольно безобразную жизнь, промотавши большое состояние, вел богомольную жизнь, и к нему приходили разного рода старцы и калики перехожие, что не мешало ему заниматься и столоверчением. Неоднократно получал он крупные наследства, и тогда гостеприимству его не было пределов, а потом вдруг не на что было купить дров, и он топил камин старой мебелью. Молодая супруга его, Вера Александровна, не унывала. У них часто бывал художник Эммануил Александрович Мамонов, мой тогдашний приятель, с которым я сблизился впоследствии у Елагиных. Конечно, роскошная жизнь кончилась бедностью. Дочь, учившаяся в петербургском Екатерининском институте, сошлась с подругой княжной Волконской, и когда

¹ Труды по истории русской империи (нем.).

последняя в 1856 году вышла за французского посла при нашем дворе графа Морни, то поступила к ним в дом, где, конечно, участь ее была не красна. А мать ее прожила в Москве очень долго, постоянно переходя от жизни роскошной к полной нищете. Она очень искусно умела выпрашивать себе милостыню, и такова была любовь многих к покойному ее мужу, что ей давали помногу, в том числе граф Виельгорский и в особенности князь П. А. Вяземский. Перед прибытием двора в Москву он обыкновенно напишет ей несколько рекомендательных писем; она оденется очень прилично и с письмом от князя Вяземского не получает отказа в щедrom пособии, на которое немедленно поведет кратковременную широкую жизнь. Ведь муж ее был друг Пушкина: этого было достаточно, чтобы развязывать кошельки и выдавать ей не десятки, а сотни рублей. Она являлась для того и в Общество любителей российской словесности; например, благотворительная Александра Васильевна Протасова была ею так разжалоблена, что наняла ей годовую квартиру, снабдила всем нужным для порядочного житья. С меня она взимала не более 10 рублей за один раз. Доход приносили ей и предъявляемые ею письма Пушкина к ее мужу, случайно сохранившиеся. Павел Воинович говорил мне, что особенно жалел он об утрате некоторых писем. Так, в одном из них, уже за несколько месяцев до смерти, Пушкин просил у него достать 5000 рублей, чтобы уплатить мелкие долги петербургской жизни и уехать на постоянное жительство в Михайловское, на что и Наталья Николаевна соглашалась. Но у Нащокина на этот раз денег не было. Так иногда судьба в зависимости от мелкого обстоятельства.

Я забыл сказать о Федоре Ивановиче Буслаеве, которого лекции я усердно слушал. Он не отличался ни красноречием, ни талантливостью; его преподавание всегда было сухо, хотя и очень дельно. Феденька Дмитриев в своих стихах об одном университетском празднике прозвал Буслаева «искателем милости студентов». Действительно, он зазывал к себе многих из нас, но для работы. Мы читали у него старинные рукописи, и мне случалось списывать полностью у него знаменитые вопрошания Кирика, которые Калайдович напечатал в очень сокращенном виде. Буслаев впоследствии преподавал историю древней русской словесности

Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу. Эти обширные лекции напечатаны после смерти Буслаева графом С. Д. Шереметьевым. Изложение ведется сравнительно с немецкой древней словесностью и не делает чести русскому профессору, что он в Зимнем дворце восхвалял немецкую словесность и не одушевлял наследника Русского престола уважением к памятникам нашей родной речи. Вообще Буслаев сделал много для так называемой науки, но в то же время отвалил юношество от чтения церковнославянского языка, к которому относился как к языку мертвому или языку Сандвичевых островов, забывая, что вся Русь в течение многих веков воспитывалась на этом третьем классическом языке и облагородилась возвышенностью изреченных на нем понятий. Я разгадал Буслаева, когда вышел в свет один из томов «Московского сборника», изданный Иваном Сергеевичем Аксаковым. В нем помещено было несколько русских песен с предисловием Хомякова и послесловием П. В. Киреевского. Буслаев сказал мне: «Песни оплеваны спереди одним, а сзади другим»; это обличило для меня в нем полную бездарность и угодливость перед властями, которые в то время преследовали так называемых славянофилов. К тому же противно мне было, что Буслаев дурно отзывался о семье своего благодетеля графа С. Г. Строганова, с которым ездил он в Италию, где и пленился католичеством. Невольно хотелось спросить его: «Да зачем же вы издаете лицевой Апокалипсис и пишите к нему обширное предисловие, тогда как содержание Апокалипсиса Вам противно?»; а самое обилие его списков доказывает, как любили читать его наши предки. <...>

Жил я перед своим отъездом в Петербург на Моховой в доме университетском, рядом с церковью Георгия на Красной Горке, где верхнее помещение занимал помощник попечителя Павел Васильевич Зиновьев, а нижнее – письмоводитель университетского правления некто Пиуновский. Он был из духовного звания, и отец его, конечно, назывался Певуновским, но он для пущей важности несколько изменил свое фамильное имя; комната у меня была прекрасная, окнами на Моховую, но было неудобство, что вход с заднего двора, застроенного университетскими учреждениями, так что пробраться ко мне надо было из Долгоруковского

переулка. Поэтому мои друзья и знакомые предпочитали просто стучаться ко мне в окно и по ночам влезали ко мне в комнату прямо с Моховой к негодованию полиции и Пиуновского. Раз ночью провожал я засидевшего товарища и перед окном поскользнулся и расшиб себе жестоко ногу. Провожать меня пришла вместе с Безсоновым его старая няня и сказала мне: «Будешь во времени, мого милушку помяни», – указывая на Безсонова. Провожала меня и кухарка Марфа, которая в разговоре со мной о предстоящем мне житье выразилась: «Знаешь, батюшка, ведь Русские цари правят, как медведи в лесу: гнут не парят, переломят не тужат». Я двинулся в путь 19 ноября 1851 года по открытой с 1 ноября того же года железной дороге. У многих путешественников было по множеству узлов, подушек и съестных припасов. Со мной ехал наш профессор политической экономии Вернадский, и он сказывал, что он уже едет второй раз и что в первые дни по открытии дороги в залу к едущим подходила какая-то старушка и каждого крестила. Оправдались стихи Шевырева:

...и катится путь железный
От Невы и до Кремля.

В Петербург я приехал прямо к Коссовичу, и он дня через два повел меня на Моховую в дом Плеске, во 2-м этаже которого (жила) вторая дочь графа Блудова Лидия Дмитриевна Шевич с тремя сыновьями, из которых мне надлежало обучать Ваню (ныне разбитого параличом члена Государственного Совета) и покойного Митю (бывшего посланником в Японии, а потом послом в Мадриде). Третий брат, Сережа, был тогда еще лет 7-ми. <...>

Граф Блудов со старшей дочерью девицей Антониной жил особо на Итальянской же в доме Бодиско, почти рядом с пассажем. Шевичи туда ездили редко, да и Блудов приезжал к Лидии Дмитриевне только иногда к обеду, а раз приехал произвести экзамен своим внукам. Этот экзамен прошел блестяще. Как удивился старик, когда один из его внуков прочел ему стихи Огарева: «Ночь тиха, на небе тучи...». Он никак не ожидал, что какой-то неизвестный ему Огарев пишет прекрасные стихи. А сам он был

великий охотник до стихов и любил читать из Державина, Жуковского, Батюшкова и очень редко Пушкина, так как Пушкина он недолюбливал, потому что Пушкин звал его «тестом» в противоположность Дашкову, прозванному «бронзою». Беседы с графом Блудовым и мои расспросы у него были для меня тем, что немцы зовут *historische Vorstudien*¹. В то время почти ничего не позволялось печатать о русской истории XVIII века вследствие ненависти Николая Павловича к памяти Екатерины Великой, внушенной ему его матерью; Блудов же был необыкновенно словоохотлив, и я внимал ему... <...> Коссович на первых же порах моей петербургской жизни повез меня к старику живописцу (писавшему стенные священные картины в Исаакиевском соборе) Николаю Аполлоновичу Майкову. Это была маленькая дружная семья, средоточием которой была мать москвичка, родом Гусятникова. Мне очень там понравилось, но я не мог часто посещать Майковых за неимением времени. Там я познакомился с Гончаровым, довольно гордо себя державшим. Младший сын Леонид, тогда 15-летний мальчик, сделался впоследствии мне другом. Он унаследовал свойства своих родителей и не походил на старшего своего брата Аполлона, который был несносен тем, что чересчур охотно читал стихи свои и негодовал, если слушатель не довольно внимательно внимал ему.

Погодин снабдил меня курьезной записочкой (дорожа бумагой, он имел обыкновение писать на клочках, оторванных от полученных им писем) к Соболевскому. Тот жил на Выборгской стороне за церковью Самсония на устроенной им Мальцовской прядильной фабрике. Это был холостяк, истинный друг книг и всякого просвещения, человек трезвого образа мыслей и по душе несравненно лучше, чем он казался. Подобно многим незаконнорожденным людям, он брал наглостью и всякого рода выходками. Любопытно, что в молодости своей писал он нежные идиллические стихи. В то время, когда я узнал его, он не сообщал мне своих метких эпиграмм; позднее, когда он переселился в Москву, я очень с ним сблизился и много от него наслушался. Думаю, что он любил меня и хотя был скупенек, но мне подарил на память, когда я женился, прекрасный цельного красного дерева круглый поставец. В моей памяти и в моих за-

¹ Историко-подготовительные занятия (нем.).

писях сбереглась большая часть его стихов, этих образцов эпиграмматической поэзии. Он был то же, что Марциал в римской литературе.

Противоположность ему я встретил в Петре Александровиче Плетневе, тогдашнем ректоре Петербургского университета. Я редко пропускал его «субботы», на которые съезжались к нему любители словесности и тихой беседы. Вторая жена его, Александра Васильевна, рожденная княжна Щетинина, была женщина редких душевных свойств. Она что-то вроде поэзии Тютчева: глубина и своеобразное изящество. У них было два сына, и с ними воспитывался мальчик Лакиер, внук Плетнева от первого его брака, сын Ольги Петровны, скончавшейся чуть ли не в самый год свадьбы своего отца и почти ровесницы Александры Васильевны. С Плетневым до конца его жизни я был в беспрестанной переписке. Мы сходились в общей любви не только к Пушкину, но в особенности к Жуковскому. Он заместил Жуковского в занятиях уроками трех Великих Княжон, дочерей Николая Павловича. Александр Николаевич по своему воцарению позволил ему приходить к себе по утрам, но он мало этим пользовался. Не раз говорил он мне, что свезет меня к Императрице-Матери, которую называл милой старушкой, но я был до того застенчив и не нарядлив, что отвергал всякую мысль о том. Когда Плетнев болел в Париже, Великая княгиня Мария Николаевна сердобольно и почтительно навещала его. Я же счастлив тем, что вдова Плетнева почти на смертном своем одре позвала меня к себе в спальню, перекрестила, велела себя перекрестить и поцеловала меня. Как мне было радостно, что старший мой сын Ваня случайно встретился со старшим сыном Плетнева Александром, тотчас дружески сошелся с ним, не зная про мою близость с его родителями. Университетские беспорядки, которые приходилось унимать Плетневу, действовали на его здоровье, хотя студенты любили его. У него образовалась рана под ложечкой, и его послали лечиться в Париж, и там Александра Васильевна высасывала гной из его раны. Там он и умер. Тело его привезено в Александро-Невскую лавру, и Государь был на его похоронах. Кто-то уподоблял его старой, обросшей мохом бутылке драгоценного вина. <...>

Блудов по матери своей, рожденной Татевой, был богат. Старшая его дочь, незабвенная для меня и для всех, знавших ее, графиня Антонина

Дмитриевна, не походила на сестру свою и на обоих братьев, которые оба держали себя довольно высокомерно. Она была, при самом широком образовании и уме, отменно сердобольна и пламенно любила Россию, история которой была ей хорошо известна, потому что отец ее был близок к Карамзину, которого называл *mein Vaterlicher Freund*¹. Кроме того, графиня была женщина глубокого непоказного благочестия и сознательно исполняла все обряды и обычаи нашей Церкви. У нее часто бывали домашние службы, она ездила в Казанский собор молиться за Государя, когда ему предстояло подписать какое-нибудь важное государственное решение. Помню графиню в ее приезды в Москву (где она останавливалась во дворце, в нынешней квартире Степанова), как она, бывало, на коленях молится у Спаса на Бору, близ мощей Стефана Пермского, держась рукой за поставленный впереди ее стул. Много позднее, когда Митя Шевич, уже посланником Японским, поехал со мной осматривать Кремлевский дворец, я сказал сопровождавшему нас камер-лакею, что это племянник графини Блудовой; тот отменно воодушевился и стал распространяться в похвалах ей. Она и отец ее расположились в мою пользу и потому, что знали про мою близость к Хомякову, которого стихи и все направление были им сочувственны. Графиня немедленно сблизила меня со своим питомцем Костицем, молодым даровитым сербом, жившим у них в доме. Графиня мне рассказывала, что однажды она видела сон, в котором покойная мать ее упрекала ее в том, что она проводит дни без всякой цели в жизни. Наутро ей докладывают, что внизу просится к ней войти какой-то молодой человек, который привез ей письмо из Вены от ее брата. Этот брат, граф Андрей Дмитриевич, служивший тогда при Венском посольстве, писал ей о передрыге, происшедшей в дипломатическом венском кружке: молодой серб, приехавший учиться артиллерии в Венское артиллерийское училище, когда его повели на площадь перед училищем для произнесения присяги, во всеуслышание воскликнул: «Как стану я присягать царю Швабу!» Его, разумеется, тотчас уволили, и родители решили послать его для продолжения науки в Петербург. Графиня сочла этот неожиданный приезд Костица материнским для себя заветом. Костиц <был> определен

¹ Мой друг-отец (нем.).

в петербургское артиллерийское училище, но проводил время у Блудовых, т. е. в самом высшем обществе. В довершение очарования он писал стихи, хотя по-сербски, но довольно приятные русскому слуху. Некоторая его дикость и полная искренность приманили к нему Петербургское аристократическое общество. Когда наступила война, он отличился под Свеаборгом, но, конечно, в богатой обстановке министерского дома скоро избаловался, и года через два графиня насилу от него избавилась: он поехал весной в Сербию и там сошел с ума.

Сочувствие к славянам, к их освобождению от турецкого и австрийского ига занимало все помыслы графини. Говорили даже, что сербский владетельный князь Михаил Обренович выражал намерение на ней жениться. Я видел у Блудовых и Черногорского владетельного князя Даниила, в лице которого слепая русская политика дозволила разлучиться духовному и светскому званию: до того времени в течение столетия Черногорией правили митрополиты из рода Негошей. Я тоже увлекся славянскими сочувствиями и перевел историю Сербии немецкого профессора Ранке. К первому изданию этой книги Мамонов сделал рисунки на обертку. Книжка выдержала два издания. Народные сербские песни (которыми восхищался и Гёте) были также мной изучаемы. Разумеется, в петербургском обществе многие смеялись над графиней, а Соболевский написал:

Я не причастен секте оной,
И в панславическом жару
Перед Болгарскою Мадоной
Я на колени не паду.
Противны синие чулочки
Хотя б и в пожилых летах,
Хотя б на министерской дочке,
На камер-фрейлинских ногах.

Весной 1853 года, когда я уже не был при Шевичах, графиня пригласила меня из Москвы в Петербург погостить у нее на Страстной и Святой неделях. Я прожил у них припеваючи. Тогда я им привез еще

не изданную предсмертную поэму Жуковского «Агасфер, или Вечный Жид», которую в Москве дала мне списать с подлинника поселившаяся на Полянке в доме Поземщикова Елизавета Алексеевна Жуковская. Это удивительное произведение <писалось> до смерти, оставалось долго потом неизданным, а издатель или, вернее, сам граф Блудов искажили его, и только в позднейшем уже издании Ефремов восстановил поэму по представленному мной ему моему с подлинника списку.

Вообще граф Блудов одержим был страстью поправлять и вылащивать слог не только свой, но и чужой. В особом портфеле <лежал> целый ряд манифестов Императора Николая Павловича, которые поручено было ему составлять. Чиновник его, А. Н. Попов, сказывал мне, что была большая мука с бумагами, которые графу Блудову приходилось подписывать. Он все был недоволен их слогом и помногу раз переправлял, так что от написанного Поповым или Деляновым (будущим министром народного просвещения) не оставалось почти ничего. То же самое проделывал он и с 12 томом «Истории государства Российского», который Карамзин не успел кончить и издание в свет которого взял на себя Блудов (причем помощником ему был Константин Степанович Сербинович, вкравшийся к Карамзину в чтецы, бывший униат, впоследствии редактор журнала Министерства народного просвещения, а потом директор канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода, имевший большое значение в синодальных целях). Рукопись 12-го карамзинского тома, не исправленная Блудовым, должна быть весьма любопытна.

Я прожил у Шевичей всего полтора года, но сохранил наилучшие отношения с моими учениками, с их теткой и дедом; только мать, когда я уже оставил их, изменила холодное со мной обращение, а впоследствии, постигнутая горем, сделалась даже мягка и разговорчива. У нее и у ее отца и сестры царелюбие господствовало; беспрестанно слышались восторженные отзывы о разных великих князьях и великих княгинях. Графиня Антонина составила даже записку – похвальное слово Императору Николаю. <...>

И еще до отъезда к брату ездил я на Девичье поле к Михаилу Петровичу Погодину, который стал благоволить ко мне с самого времени

моего студенчества. Он, узнав от Шевырева про мою работоспособность, однажды навестил меня в рабочей моей келье, просидел довольно долго и вслед за тем прислал ко мне целый воз своего «Москвитянина», который он издавал с 1841 года. В благодарность я составил указатель статей «Москвитянина» по истории русской, этнографии и по истории русской словесности. Указатель этот я напечатал во «Временнике» Общества истории и древностей, откуда дали мне несколько оттисков, один из коих повез я к Погодину и был встречен бранью и криками: «Как же Вы смели со мной поступить так? Глядите: напечатано “Указатель к Москвитянину”, а не поставлено, кем он издавался?» Я благодушно отнесся к этому крику. Потом было у меня с ним еще столкновение: я поместил в «Москвитянине» какую-то статью мою о Жуковском, и он мне за нее вынес всего 6 рублей. Тогда я положил себе правилом не иметь с ним никаких денежных сношений, и мы до конца дней его (1875 г. декабря 8-го) оставались в наилучшей дружеской связи, простиравшейся и на наше семейство. Я от всей души любил его, и он ценил мое трудолюбие и любознательность, называя меня за мои расспросы «дразнилкою». «Когда льют колокол, – говорил он, – то бросают в растопленную медь кусочки дерева, необходимые для того, чтобы к ним собирался всякий сор и медь становилась чище; эти деревяшки называются дразнилками. Так и к вам прилипает всякая библиографическая мелочь». По возвращении моего от Шевичей Погодин советовал мне заняться биографией Жуковского 12 апреля 1852 года, прибавляя, что это будет угодно Государю. Чтобы собрать сведения о Жуковском, дал он мне кургузую записочку к Авдотье Петровне Елагиной, которая жила тогда близ Арбатской площади на Пречистенском бульваре во 2-м этаже довольно большого дома Шеншиной.

Знакомство с Елагиными принадлежит к немногим вполне счастливым обстоятельствам моей жизни. Я полюбил их от всего сердца, и эта семья сделалась мне как родная. Пришел я к ним весной 1853 года поутру, в большой зале встретила меня полустарушка без чепчика, она расхаживала по комнате, очевидно уже напившись кофе, который стоял приготовленный для остальной семьи. Она состояла тогда из двух сыновей и девицы в летах, Марии Васильевны Киреевской, дочери от первого брака.

Вскоре вышла к кофе Екатерина Ивановна, жена старшего из Елагиных, Василия Алексеевича. Она была высокого роста, сухощава, бледна, вовсе не красива. Она месяца два перед тем произвела на свет первое свое дитя Алешу – утеху всей семье. Муж ее преисполнен был к ней привязанностью. Рассказывали потом, что однажды, когда она была больна и лежала в постели, он, боясь ее беспокоить скрипом двери, влез в комнату через окошко. Вообще он был чужак; однажды шел он по Маросейке недалеко от лютеранской кирки, и встретившийся ему немец принял его за пастора и спросил, когда начнется служба. Он был необыкновенно начитан, человек самых благородных побуждений, но в политическом отношении завзятый либерал, что, может быть, происходило оттого, что его отец, Алексей Андреевич, был сослуживцем во время Наполеоновских войн и другом декабриста Гавриила Степановича Батенкова. Кроме того, когда Василий Алексеевич подрастал, у них в доме бывал поэт Мицкевич, и в Польский мятеж сочувствия Василия и брата его Петра Васильевича Киреевского были на стороне поляков.

Он выучил и жену свою по-польски, и они читали Мицкевича, о чем, впрочем, узнал я после их смерти, тогда как я с самого отрочества моего относился к католицизму и полякам почти враждебно. Брат Василия, Николай Алексеевич Елагин, был, напротив, человек трезвого ума и с большой склонностью ко всему изящному и художественному. Образование обоих прошло под воздействием их двух старших братьев, Ивана и Петра Васильевичей Киреевских, из которых первый женат был на Наталье Петровне Арбеновой. <...> У них в доме Авдотьи Петровны, где они жили только одни, собирались по воскресеньям вечером. Я нередко бывал там, любя и уважая Ивана Васильевича, которого беседа, как и произведения, всегда была не только умна, но и художественна. В последний раз я видел Наталью Петровну у богатой и благочестивой старушки. <...> Когда летом 1856 года умер в Петербурге ее муж, я немедленно поехал к Авдотье Петровне в ее Петрищево Белевского уезда, от которого в нескольких верстах находилось село Долбино Киреевских. Я должен был поехать в Долбино навестить вдову в ее вдовстве <...> С тех пор я уже никогда больше не бывал у нее. Много горя приняла от нее Авдотья Петровна, ко-

торая из всех своих детей наиболее любила ее мужа, своего первенца, и, действительно, он был в семье самый даровитый, почти гениальный человек. Младшего его брата, Петра Васильевича, еще до знакомства моего с их матерью встретил я однажды у А. С. Хомякова. Он ходил в какой-то венгерке, волосы обстрижены в кружок, в одном кармане трубка с табакком «Пан Табачинский», в другом «Пани Спичинская», т. е. спички и мешок для выбиваемой из трубки золы. Он изумил меня тотчас же, как зашла речь о Петре Великом, называя его совершенно спокойно не иначе, как чертом. Много позже, за границей, прочел я книгу Ренана об Антихристе, доказывающую, что этим именем первоначально называли христиане Нерона за его мучительства. И действительно, Петр Великий мог казаться нашим предкам тоже Антихристом: не даром по его приказанию первенствующий пастырь церкви Стефан Яворский сочинил и напечатал книжку «Об истинном пришествии Антихриста». Подданных надо было разуверять, что Царь их не антихрист. Петр Васильевич, вставая с постели, спрашивал слугу своего Самойлу: «Погляди в окно, не начали ли бить немцев?» И это не в шутку. Между тем он был человек обширнейшего образования и начитанности, знал он много языков и перевел с английского книгу Вашингтона Ирвинга о Магомете, которую я в 1857 году напечатал для «Русской беседы». Нрава он был самого кроткого, но лень в последние годы одолела его, и он затруднялся написать самое простое письмо и для сокращения писания придумал в начале писать *хам, хам, хам* и в конце тоже, поместив в середине то, что было ему нужно, и затем подписав свое имя. Собирался он в дорогу по целым неделям. В Москве же жил только по зимам, сначала в собственном доме на Остоженке, а большую часть года проводил у матери, у брата в их поместьях и в своей Киреевской Слободке под Орлом, ныне купленной Валерием Николаевичем Лясовским у его племянника Сергея Киреевского. Там я гостил у него почти целую неделю. Полевым и домашним хозяйством занимались живший с ним землемер и его семейство; сам же Киреевский довольствовался очень скудной пищей. Я у него почти что голодал и тем не менее в беседе с ним чувствовал себя как нельзя лучше. Заслуга его перед Россией в собирании народных песен. Впоследствии он разъезжал по разным местам и в разные губернии для их

записывания и, как говорил, потерял однажды чемодан, в котором находились записки одного из его предков про времена Петра Великого, конечно осудительные. Сам Петр Васильевич издал только один отдел собранных песен, это так называемые «духовные стихи», и издал превосходно, выбравши из разных списков то, что было наилучшего. Для этого надо было иметь особую опытность и художественное чувство. Я еще помню, как в Москве в Охотном ряду Великим постом старик крестьянин на возу, привезенном с каким-то товаром, медленно и благоговейно распевал стих об Алексее Божьем человеке. Петр Васильевич так любил брата Ивана, что пережил его всего четыре месяца. Он был очень дружен также со сводным братом своим Василием Елагиным и его женой Екатериной Ивановной, которая по его кончине не задумалась уплатить его долги из полученного ею наследства после Александра Павловича Протасова.

Перлом этой милой мне семьи была Марья Васильевна Киреевская, олицетворение скромности и глубокого непоказного благочестия. Она два раза прекрасным своим почерком переписала всю Библию в русском, в то время запрещенном, переводе алтайского миссионера Макария, посланного в бедный Волховской монастырь неподалеку от елагинских поместий и сделавшегося их другом. Марья Васильевна отменно чтит своего духовника Терновского, священника при церкви Вознесения у Серпуховских ворот. Бывало, ранним-рано съездит она к нему к заутрени, а в 8 часов уже сидит за чайным столом и поит семью кофе и чаем. Авдотья Петровна не особенно ее за это жаловала. Действительно, она совершенно предалась отцу Сергию и, подражая ему, постилась до изнеможения. В сентябре 1859 года она жила одна у него и до того измолилась и испостилась, что сил у нее больше не достало. Уезжал я в Воронеж к своей невесте и нанятому извозчику велел остановиться у церкви Вознесения, где отпевали Марию Васильевну. Накануне я стоял в небольшой ее комнате при ее гробе, и тут мне показали ее поминальник, в котором записаны были имена Петра и Сарры, т. е. мое и сестры моей. Терновский говорил над ее телом такую проповедь, что в церкви, наполненной молящимися, многие плакали. Обыкновенно он говорил не приготавлиаясь. Тут черные, густые волосы у этого сухопарого пастыря, казалось, вздымались, и сам

он походил на изображение Иоанна Крестителя на известной картине Иванова. Накануне похорон я был у него, и он как бы извинялся передо мной в кончине Марии Васильевны. «Что скажет про меня Авдотья Петровна?» – говорил он мне недоумительно. Правда, что в августе того же года изнывала в посте и молитве его поклонница Елизавета Николаевна Кривцова, рожденная княжна Репнина. В Успенский пост, питаюсь одним картофелем и редькой, она занемогла холерой и скончалась, оставив несовершеннолетних сына и дочь. Знаменитый своими проповедями, Терновский привлекал к себе в церковь толпы богомольцев. Филарет не мог уговорить его к принятию монашества, дабы ему быть архиереем. Он скоро после Марии Васильевны скончался и велел похоронить себя на кладбище того же Донского монастыря, где она легла. На похороны ее приезжала только одна Екатерина Ивановна Елагина.

Чуть не с первого дня знакомства Авдотья Петровна отдала мне читать и позволила списывать целые кипы писем к ней Жуковского, который был незаконным братом ее матери, Варвары Афанасьевны Юшковой, рожденной Буниной, дочери белевского воеводы Афанасия Ивановича. Мать Жуковского была турчанка, взятая в плен после покорения Бендер графом Паниным в 1770 году и привезенная к Бунину крепостным его человеком, который, как и многие другие крестьяне Тульской и Орловской губернии, уходили по паспортам в маркитанты, т. е. занимались мелочной торговлей при наших войсках. Авдотья Петровна была на шесть лет моложе Жуковского и с самого раннего его возраста любила Василия Андреевича, одной из первых учительниц которого была ее мать, образованная и прекрасно игравшая на фортепиано (†1791). Жуковский был постоянным, ежедневным предметом воспоминаний Авдотьи Петровны, которая связывала его имя с памятью своей самой близкой подруги и двоюродной сестры Марии Андреевны Протасовой, дочери Андрея Ивановича и Екатерины Афанасьевны (рожд. Буниной). Жуковский и Мария Андреевна многие годы были влюблены друг в друга. Жуковский называл Авдотью Петровну Своей Поэзией. Этого достаточно, чтобы выразить то обаяние, которым она пользовалась и в своей семье, и в близком обществе. Письма ее таковы, что в сравнении с ними знаменитые письма m-le de Sévigné ка-

жуются приторными. Она до конца жизни любила занятие словесностью и в Дерпте за несколько месяцев до кончины перевела проповедь, сказанную там одним пастором. Все, что она ни делала, выходило как-то изящно. Она хорошо рисовала и вышивала шелками; ничего в ней не было такого, что в ученых женщинах называется синечулочеством. С какой ясностью и теплотой вспоминала она прошедшие годы своей жизни; когда я ее знал, она уже схоронила целый ряд детей своих и иной раз со слезами на глазах говорила: «Рахиль плачущися чады своих и не можаша утешитися яко не суть». Конечно, моя с гимназии любовь к Жуковскому, знание наизусть многих стихов его и то, что сам он незадолго перед смертью намеревался пригласить меня в учителя к его детям, послужили к моему сближению с Авдотьей Петровной и ее семейством, которое отличалось взаимной горячей дружбой. Второй Елагин, так называемый Николушка, пригласил меня летом того же 1853 года бывать у них в родовом Юшковском поместье его матери, селе Петрищеве, верстах в 15-ти от города Белева и в 12-ти от села Мишенского, которое было местом рождения Жуковского, которое досталось сестре Авдотьи Петровны Анне Петровне Зонтаг и ныне принадлежит внучатой ее племяннице Марии Васильевне Безрр, дочери Василия Алексеевича и Екатерины Ивановны Елагиных. Я поехал в Петрищево вместе с приятелем их дома университетским товарищем Василием Елагина Эммануилом Александровичем Мамоновым. Это был отменно даровитый человек, вполне художник, писавший карандашными очерками, а иногда и масляными красками очень схожие портреты, по большей части заочно. В то же время нравы его были весьма нечисты, а связь с Нашокиными предосудительна по отношению к матери этого семейства. В Петрищеве небольшой деревянный, но чрезвычайно уютный дом в два этажа с обширным садом, множеством яблок и особенно замечательным крыжовником, ягоды которого были как мелкие китайские яблочки (говорят, они и теперь роятся такие же, и в Москве на Петровке их покупают у Марии Васильевны). Это был поистине

Огромный запущенный сад,
Приют задумчивых дриад.

Авдотья Петровна отменно любила растения и цветы; бывало, в день ее рождения (11 января 1789 г.) и именин (1 марта) в комнатах у нее было тесно от цветов и мелких деревьев, которые привозились ей в подарок. Сама она в этом году должна была остаться в Москве, чтобы в ней водворить вдову Жуковского Елизавету Алексеевну с двумя ее детьми. Авдотья Петровна ездила к ней навстречу в Петербург, а в Москве поселила ее у себя, пока она не наняла себе дома в Замоскворечье на Полянке у купца Поземщикова. Ей нужно было помещение подешевле, так как вдовья пенсия ее (5 000 руб.) была вдвое меньше того, что получал Василий Андреевич. Авдотья Петровна часто писала в Петрищево к сыну. Она несколько тяготилась большими расходами, в которых вынуждало ее пребывание Жуковских. Между ней и молодой вдовой полного согласия не было, так как сия последняя говорить по-русски не умела и к русскому быту совсем была непривычна. Между тем имя Жуковского было предметом разговоров. Я вернулся из Петрищева в конце июля, говел, приобщался Святых Тайн в приходской древней церкви св. Иоанна Предтечи, и в этот же день Авдотья Петровна повезла меня на Полянку. С некоторого рода благоговением глядел я на Елизавету Алексеевну, но разговаривать с ней затруднялся, так как в то время еще плохо знал по-немецки. После уже, только в 1856 году после коронации, когда новый Государь возобновил ей пенсию ее мужа, она пригласила меня давать уроки ее Саше и Павлу, но уроков почти не было, так как, вернувшись из Сокольников, она простудилась и 21 сентября 1856 года скончалась, а дети ее увезены к ее брату Рейтерну, женатому на Лазаревой-Станицевой.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем сборнике отсутствуют разделы с воспоминаниями об А. С. Хомякове и И. С. Аксакове, так как Институтом русской цивилизации уже изданы отдельные книги, посвященные им:

Иван Аксаков в воспоминаниях современников // Сост., предисл. и коммент. Лебедевой Г. Н. / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2014. – 544 с.

А. С. Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников // Сост., предисл., примеч. А. Д. Каплина / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2015. – 608 с.

Раздел I

И. В. и П. В. КИРЕЕВСКИЕ

Ф. Сидонский

Речь при отпевании Ивана Васильевича Киреевского

Издается по первой публикации: Русская беседа. – 1856. – № 2. – С. 1–4

Речь, прочитанная протоиереем Федором Федоровичем Сидонским (1805–1873) – ключарем Казанского собора в С.-Петербурге, автором книги «Введение в науку философию» (СПб., 1833) – при отпевании И. В. Киреевского, была напечатана в журнале «Русская беседа» (1856. № 2. С. 1–4), а затем в виде отдельного оттиска из него.

Отпевание И. В. Киреевского проходило в С.-Петербурге в Знаменском Входоиерусалимском храме. По окончании отпевания гроб с телом покойного доставили на вокзал, чтобы препроводить его в Москву и далее на место вечного упокоения в Козельскую Введенскую Оптину пустынь. Похоронили И. В. Киреевского у алтаря соборного храма.

А. С. Хомяков
Иван Васильевич Киреевский

Издается по первой публикации: Русская беседа. – 1856. – № 2. – С. 3–8.

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – основоположник славянофильства, богослов, философ, историк, поэт, публицист.

А. В. Маркович
Воспоминание о Петре Васильевиче Киреевском

Издается по первой публикации: Русская беседа. – 1857. – № 2. – С. 17–23.

Маркович Афанасий Васильевич (1822–1867) – фольклорист, этнограф, композитор. Входил в Кирилло-Мефодиевское братство, в связи с чем в 1847 году был выслан в Орел, где служил помощником правителя канцелярии губернатора.

В. И. Аскоченский
В Оптиной пустыни

Издается по первой публикации: *Аскоченский В. И.* [Подп: Отсталый] В Оптиной пустыни // Домашняя беседа для народного чтения. – 1861. – Вып. 4. – С. 61–66.

Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813–1879) – православный мыслитель, церковный историк, публицист, писатель, журналист, издатель, поэт, искусствовед, церковный композитор и дирижер.

[1] *Леонид* (Наголкин Лев Данилович) (1768–1841) – иеросхимонах, преподобный оптинский старец. Основатель старчества в Оптиной пустыни.

[2] *Макарий* (Иванов Михаил Николаевич) (1788–1860) – преподобный оптинский старец.

[3] *Киреевская* (рожд. Арбенева) Наталья Петровна (1809–1900) – супруга И. В. Киреевского, благотворитель, издатель святоотеческих сочинений.

Н. А. Елагин
Материалы для биографии И. В. Киреевского

Публикуется (в сокращении) по первому изданию: *Киреевский И. В.* Собр. соч. В 2-х т. – М.: Тип. Бахметева, 1861. – Т. 1. – 201 с.; Т. 2. – 443 с.

Елагин Николай Алексеевич – сводный брат И. В. и П. В. Киреевских.

**История обращения
Ивана Васильевича**

Публикуется по первому изданию: *Киреевский И. В.* Собр. соч. В 2-х т. – М.: Тип. Бахметева, 1861. – Т. 1. – С. 285–286.

Существенную, если не определяющую роль в изменении всего мировоззрения И. В. Киреевского сыграл его брак с Натальей Петровной Арбеновой (в апреле 1834 г.), о чем повествует «История обращения Ивана Васильевича», записанная А. И. Кошелевым со слов Н. П. Киреевской.

Существует и другой вариант, опубликованный в «Домашней беседе» ее редактором-издателем В. И. Аскоченским.

В нашем издании помещается кошелевская запись.

Кошелев Александр Иванович (1806–1883) – славянофил, публицист, журналист, общественный деятель, принимал самое активное участие в издании журнала «Русская беседа», являясь одним из его учредителей.

***К. Д. Кавелин*
Авдотья Петровна Елагина
(биографический очерк)**

Публикуется по первому изданию: *Кавелин К. Д.* Московские славянофилы 40-х годов // Северный вестник. – 1877. – 7 и 8 июля.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885) – историк, правовед, социолог, публицист.

***В. Н. Лясковский*
Братья Киреевские. Жизнь и труды их**

Публикуется (в сокращении) по первому изданию: Братья Киреевские. Жизнь и труды их. – СПб.: Изд. Об-ва ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III, 1899. – 99 с.

Лясковский Валерий Николаевич (1858–1938) – историк, публицист, педагог.

Окончил физико-математический ф-т Московского ун-та (1880), затем учился на филологическом ф-те. «Почти мальчиком» познакомился с И. С. Аксаковым, летом 1876 г. помогал ему разбирать корреспонденцию Славянского комитета. В. Н. Лясковский был и в теплых отношениях с А. Ф. Аксаковой (в архивах сохранились ее письма к нему), посещал аксаковские «пятницы», сотрудничал в газете И. С. Аксакова «Русь».

С 1882 г. служил в архиве МИД. С 1884 г. переехал в свое небольшое орловское имение Дмитровское-Истомино. По соседству находилось имение Киреевка (Киреевская слободка) братьев И. В. и П. В. Киреевских (умерших в 1856 г.), где жила вдова Ивана Васильевича – Наталья Петровна (рожд. Арбенева). В 1898 г. В. Н. Лясковский купил Киреевку, сохранил и разобрал архив Киреевских и написал первые биографии об основоположниках славянофильства (Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения // Русский архив. – 1896. – Кн. 3. – С. 337–510; Отд. изд. – М., 1897; Братья Киреевские. Жизнь и труды их. – СПб., 1899. – 99 с.).

В. Н. Лясковский служил в земстве, был попечителем церковноприходских школ, директором народного училища в Орле.

После революции жил в Орле, писал воспоминания. Имение его вскоре было конфисковано, а вместе с ним и библиотека Киреевских, разоренная и уничтоженная. Арестован в 1937 г., погиб в заключении.

Раздел II К. С. АКСАКОВ

И. С. Аксаков Очерк семейного быта Аксаковых

Публикуется по: *Аксаков И. С. Письма. Ч. 1. – М., 1888. – С. 9–36.*

Очерк остался незавершенным.

Первая публикация начиналась анонимным объяснением: «Иван Сергеевич имел намерение написать биографию своего брата, которая и должна была обнимать историю всего славянофильского кружка за то время, когда он собирался в доме Аксаковых. Написано Иваном Сергеевичем было только введение к этому труду, содержащее характеристику его родителей и некоторые воспоминания детства».

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – публицист, поэт, общественный деятель, славянофил, младший сын С. Т. Аксакова, младший брат Константина Аксакова, зять Ф. И. Тютчева.

К. С. Аксаков

Воспоминание студентства 1832–1835 годов

Публикуется по: Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. – М., 1989. – С. 312–334.

Статья писалась в начале 1855 г. к 100-летию юбилею Московского университета и предназначалась не для печати, а для прочтения в кругу друзей.

Впервые опубликована (со значительными сокращениями) И. С. Аксаковым в его газете «День» (1862. № 39 29 сентября и № 40 6 октября).

Подготовлена полностью к печати Е. А. Ляцким (СПб., 1911).

В книге «Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников» (М., 1989. С. 312–334) Н. И. Цимбаев опубликовал ее по рукописи К. С. Аксакова (ИРЛИ. Ф. 3. Аксаковых. Оп. 7. Ед. хр. 29), исправив ряд неточностей.

Нами публикуется в сокращении по этому изданию.

В. С. Аксакова

Дневник

Публикуется (в сокращении) по первому изданию: Минувшие годы. – 1908. – № 8, 12.

Неоднократно переиздавался.

Аксакова Вера Сергеевна (1819–1864) – дочь С. Т. Аксакова, сестра К. С. и И. С. Аксаковых.

Бицын Н. <Н. М. Павлов>

Воспоминание о Константине Сергеевиче Аксакове

Печатается по первой публикации: Русский архив. – 1885. – Кн. 3. – С. 371–415.

Лучшие воспоминания о К. С. Аксакове, биография которого была тогда совершенно неизвестной читателям.

Николай Михайлович Павлов (писавший под псевдонимом «Н. Бицын» и образованным от него криптонимом «Н. Б.») (1835–1906) – публицист, литературный критик, историк, писатель, общественный деятель, крестник С. Т. Аксакова и многолетний близкий сотрудник изданий И. С. Аксакова.

Со славянофильскими изданиями связана вся творческая жизнь Павлова – начиная с первой автобиографической повести «Год в школе» (Русская беседа. 1859. Кн. II–VI). Интерес к отечественной истории привел его к сотрудничеству с журналом П. И. Бартенева «Русский архив». Для этого журнала написан и очерк о Константине Аксакове. Позднее здесь же были помещены следующие статьи Павлова и сопровождаемые его предисловиями публикации материалов, связанных с семьей Аксаковых и московскими славянофилами: Из переписки И. С. Аксакова с Н. М. Павловым о древней русской истории (Рус. архив. 1887. № 8. С. 469–494); Детский сон К. С. Аксакова (1888. № 3. С. 163–164); Гоголь и славянофилы (1890. № 1. С. 139–159); Из семейной переписки стариков Аксаковых. Письма Т. С. и М. Н. Аксаковых (1818–1835) (1894. № 9. С. 99–136); Из переписки С. Т. Аксакова с П. А. Плетневым о Гоголе (1846) (1895. № 5. С. 117–119); Застольное слово К. С. Аксакова на обеде, данном в Москве гр. Д. Е. <Остен->Сакену (Там же. С. 119–120); Из переписки А. О. Смирновой с Аксаковым (1896. № 1. С. 142–160); Сергей Тимофеевич Аксаков как цензор (1898. № 5. С. 81–96). Павлов стал первым издателем полного варианта «Истории моего знакомства с Гоголем» С. Т. Аксакова (1890. № 8).

Нельзя исключать, что непосредственный толчок к написанию воспоминаний в 1885 г. дала ближайшая к ним по времени лживая статья «борзописца» А. Н. Пыпина «Константин Аксаков. 1817–1860» (Вестник Европы. 1884. № 3. С. 145–177; № 4. С. 589–618).

По убеждению Н. М. Павлова, не кто иной, как К. С. Аксаков, первый показал, что «жива русская народность кругом, куда ни погляди». В этом «удивительном прозрении» и видится ему главная историческая заслуга славянофильства.

Раздел III Ю. Ф. САМАРИН

Д. Ф. Самарин
Самарин Юрий Федорович

Публикуется (в сокращении) по: *Самарин Д.* Самарин Юрий Федорович // Русский биографический словарь: в 25 т. Т. 18. – СПб.-М.: Тип. В. Демакова, 1904. – С. 133–146.

Самарин Дмитрий Федорович (1827–1901) – младший брат Ю. Ф. Самарина, издатель его сочинений, к которым составил ряд обширных предисловий, писатель, общественный деятель, долгое время влиятельный гласный Московского земства, сотрудник изданий И. С. Аксакова и «Московских ведомостей».

В конце 1850-х выступил со статьями в защиту славянофильства в «Московских ведомостях», «Парусе» и «Молве», а позднее продолжал сотрудничать в «Дне», «Современных известиях», «Руси», «Москве», «Современной летописи» и других изданиях консервативного и славянофильского направления.

Отдельно издал брошюру «Поборник вселенской правды» (СПб., 1890), в которой доказал, что Вл. С. Соловьев в «Очерках из истории русского сознания» («Вестник Европы» 1889 г.) неверно изложил учение славянофилов.

Протоиерей А. И. Ключарев
Слово
при погребении Юрия Федоровича Самарина

Публикуется по первому изданию: Православное обозрение. – 1876. – № 4. – С. 685–690.

«Слово», произнесено 30 марта (12 апреля) 1876 г., духовником Ю. Ф. Самарина – протоиереем А. И. Ключаревым (1820–1901), ставшим впоследствии широко известным в православном мире архиепископом Харьковским и Ахтырским (1882–1901).

В 1860–1870-е годы о. А. И. Ключарев пользовался в Москве редким уважением как даровитый, глубокомысленный проповедник и опытный духовник. Еще более его дарования (как архипастыря) раскрылись на Харьковской кафедре.

Протоиерей В. Н. Нечаев
Речь в 9-й день
по кончине Ю. Ф. Самарина

Публикуется по первому изданию: Православное обозрение. – 1876. – № 4. – С. 691–693.

Нечаев Василий Петрович (с 1898 – епископ Виссарион) (1823–1905) – с 1853 г. – священник московской церкви святого Николая в Толмачах. Выдающийся духовный писатель и проповедник.

Протоиерей И. Л. Янышев
Речь перед панихидой
на Петерб<ургской> станции Николаевской железной дороги

Публикуется по первому изданию: Православное обозрение. – 1876. – № 4. – С. 693–695.

Янышев Иоанн Лукич (1826–1910) – протоиерей, ректор (1866–1883) СПб. Духовной академии, духовник царской семьи (с 1883), член Св. Синода (с 1905).

И. С. Аксаков
Речь о Ю. Ф. Самарине
(Сказана в заседании Славянского комитета 18 апреля 1876 г.)

Публикуется по первому изданию: Православное обозрение. – 1876. – № 4. – С. 710–714.

Похвальное слово
почившему в Бозе Юрию Федоровичу Самарину,
произнесенное Тихоном, епископом Саратовским и Царицынским

Публикуется по изданию: Православное обозрение. – 1877. – № 3. – С. 367–371.

Тихон (Покровский Александр Павлович) (1821–1885) – епископ (с 1869 г.) Ладожский, первый викарий СПб. митрополии, епископ (с 1873 г.) Саратовский и Царицынский, архиепископ (с 1882 г.) Волынский и Житомирский, выдающийся проповедник.

Слово в похвалу Ю. Ф. Самарина,
произнесенное Тихоном, епископом Саратовским и Царицынским,
в Крестовой церкви, в присутствии членов Саратовского отделения
Прибалтийского Братства Христа Спасителя, марта 19 дня 1877 г.,
после панихиды, пред возглашением вечной памяти

Публикуется по изданию: Православное обозрение. – 1877. – № 4. – С. 857–861.

К. Д. Кавелин
Московские славянофилы
сороковых годов

Публикуется (в сокращении) по первому изданию: *Кавелин К. Д.* Московские славянофилы 40-х годов // Северный вестник. – 1878. – 20, 23, 24 января.

Раздел IV
Д. А. ВАЛУЕВ

Биография Д. А. Валужева

Печатается по: Биография Д. А. Валужева // Татевский сборник. – СПб., 1899. – С. 84–100.

Впервые опубликовано: Биография Дмитрия Александровича Валужева. – М.: Тип. А. Семена, 1846. – 22 с. Подп.: В.

С. П. Шевырев
Воспоминание о Д. А. Валужеве

Печатается по: *Валужев Д. А.* Начала славянофильства / Сост., предисл., и комм. Ю. В. Климакова. Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – С. 346–350.

Впервые опубликовано: Московские ведомости. – 1845. – № 156. – 29 декабря.
Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – филолог, историк, публицист, литературный критик, профессор Московского университета, академик (с 1852 г.).

А. С. Хомяков
Письмо Ю. Ф. Самарину
17 декабря 1845 г.

Печатается (в сокращении) по тексту: *Хомяков А. С.* Полное собрание сочинений. Т. VIII. – М.: Университетская типография, 1900. – С. 259–260.

А. С. Хомяков
Письмо Г. Вильямсу 1846 г.

Печатается (в сокращении) по тексту: *Хомяков А. С.* Полное собрание сочинений. – Прага: Типография д-ра Ф. Скрейшовского, 1867. – С. 376.

Вильямс (Williams) Монир (1819–1899) – британский индолог и санскритолог, профессор санскрита Оксфордского университета, знакомый Д. А. Валуге.

А. С. Хомяков
Д. А. Валуге

Печатается по тексту: *Хомяков А. С.* Полное собрание сочинений. Т. III. – М.: Университет. тип., 1900. – С. 394–404.

Впервые опубликовано: Библиотека для воспитания. – 1846. – Отд. 1. – Ч. VI. – С. 242–269 (2-й пагинации).

Раздел V
ВОСПОМИНАНИЯ О СЛАВЯНОФИЛАХ
И СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ

М. П. Погодин
К вопросу о славянофилах

Публикуется по первому изданию: Гражданин. – 1873. – № 11. – С. 347–352; № 13. – С. 415–420.

А. И. Кошелев
Мои записки (1812–1883 годы)

Публикуется (в сокращении) по изданию: *Записки Александра Ивановича Кошелева* (1812–1883 годы). – М.: Наука, 2002. – 492 с.

Впервые опубликовано: *Записки Александра Ивановича Кошелева* (1812–1883 годы): С 7 прил. – Berlin: B. Behr's Verlag (E. Bock), 1884. – XII, 272, 232 с.

От издательницы

Издавая в свет «Записки» моего мужа, я считаю нужным сказать относительно их несколько слов. «Записки» свои Александр Иванович начал писать 13 апреля 1869 г. и окончил незадолго до своей кончины (1883 г. ноября 12-го дня); «Записки» обнимают собой период времени с 1812 по 1883 г., следовательно, 70 лет.

После кончины Александра Ивановича мое искреннее и вполне естественное желание было издать его «Записки» в России, т. е. дома, на своей родине, которую он всегда горячо любил и которой он честно служил до своего последнего вздоха, чему свидетельством, между прочим, служат и самые «Записки» его. Ознакомившись ближе с содержанием «Записок», оказывается, что печатание их в России при существующих теперь цензурных требованиях возможно не иначе как со многими выпусками и сокращениями.

Не желая ради цензуры исказить и сокращать «Записки» дорогого мне человека, я решила, как это для меня ни тяжело, напечатать их за границей совершенно в том виде, в каком они вышли из-под пера моего мужа. Я только позволила себе ради удобства читателей сделать разделение «Записок» на главы, предпослав каждой главе ее содержание, чего сам Александр Иванович не успел сделать. Сверх того, согласно его указанию в одном из его дневников я сделала в его «Записки» вставки, которые взяты мной из дневников 1857, 1882, 1883 гг. Затем третье приложение к «Запискам» «Поездка русского земледельца в Англию на Всемирную выставку 1851 г.» мной сокращено опущением подробностей, которые теперь утратили значение.

Как только цензурные условия нашей печати позволят, я сочту долгом издать эти «Записки» и в России.

*Москва, 1884.
Ольга Кошелева.*

Сверено по: **Русское общество 40–50-х годов XIX в. Ч. I. Записки А. И. Кошелева.** – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 237 с.

Чижов Федор Васильевич (1811—1877) – общественный деятель, ученый, сторонник славянофилов, издатель и редактор общественно-политических журналов и газет, организатор железнодорожного строительства, меценат.

Ф. И. Буслаев
Мои воспоминания

Публикуется (в сокращении) по первому отд. изданию: *Буслаев Ф. И. Мои воспоминания.* – М.: Издание В. Г. Фон-Бооля, 1897. – VIII, 387 с.

От издателя В. Г. Фон-Боля

Федор Иванович Буслаев родился 13 апреля 1818 г., умер 31 июля 1897 г. Тотчас по окончании курса в Московском университете в 1838 г. он начал свою педагогическую, а с 1842 г. – литературно-ученую деятельность; первая окончилась в 1881 г., когда Федор Иванович отказался от чтения лекций в Московском университете; ученые же занятия Федора Ивановича прекратились вместе с празднованием его пятидесятилетнего юбилея в 1888 г. <...>

Один из его друзей посоветовал ему заняться диктовкой своей биографии и своих воспоминаний. Сначала Федор Иванович не соглашался на это, говоря, что он не может сообщить ничего интересного; однако после настояний и уговоров согласился приняться за эту работу, а начавши ее, продолжал уже не только охотно, но даже с увлечением. <...> Воспоминания свои Федор Иванович писал в течение 1889, 1890 и 1891 гг.; они, как впрочем все, выходившее из-под его пера, оказались написанными талантливо и дают весьма важные указания для уяснения недавнего прошлого русской литературы и истории Московского университета. <...>

Настоящее издание «Моих воспоминаний» Ф. И. Буслаева мы сохранили в том виде, в каком они были напечатаны в «Вестнике Европы» в 1890, 1891 и 1892 гг.; при этом мы восстановили ту орфографию, которой держался сам автор, указывая при диктовке своих записок на те слова, в правописании которых он не соглашался с Гротом. <...>

П. И. Бартенев **Воспоминания**

Публикуются (в сокращении) по первому изданию: *Бартенев П. И. Воспоминания* / Публ. [вступ. ст. и примеч.] А. Д. Зайцева // *Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах.* – М.: Студия ТРИТЭ: Рос. архив, 1994. – С. 47–95. – [Т.] I.

Бартенев Петр Иванович (1829–1912) – историк, археограф, библиограф. Происходил из старинной дворянской семьи. В 1851 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета.

В начале 1850-х годов Бартенев познакомился с П. А. Вяземским, П. А. Плетневым, С. А. Соболевским и другими современниками Пушкина и одним из первых приступил к собиранию документов о жизни и творчестве поэта. В те годы Бартенев служил в Московском архиве Министерства иностранных дел, заведовал журналом «Москвитянин», сотрудничал в журнале «Русская беседа»,

где сблизился со славянофилами (А. С. Хомяковым, братьями Киреевскими, семьей Аксаковых).

В 1863 г. Бартенев основал исторический журнал «Русский архив», издателем и составителем которого оставался до самой смерти. Кроме того, подготовил и ввел в научный оборот значительные комплексы исторических источников, главным образом XVIII–XIX веков.

Бартенев составил библиографические указатели к периодическим изданиям «Русская беседа», «Москвитянин», изданиям Московского Общества истории и древностей Российских и другим. Состоял членом многих научных и общественных организаций, в том числе Московского Славянского благотворительного комитета (с 1858 г.), Общества любителей российской словесности (с 1859 г.), Русского Исторического общества (с 1867 г.), Московского Археологического общества (с 1873 г., с 1871 – член-корреспондент), Общества любителей древней письменности (с 1888 г.).

ИМЕННОЙ СЛОВАРЬ¹

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) – писатель, общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист.

Александр I Павлович (Благословенный) (1777–1825) – Император Всероссийский с 1801 по 1825 г., из династии Романовых.

Александр II Николаевич (1818–1881) – Император Всероссийский, Царь Польский и великий князь Финляндский (1855–1881), из династии Романовых. Вошел в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ. Удостоен особого эпитета в русской дореволюционной историографии – Освободитель (в связи с отменой крепостного права по манифесту 19 февраля 1861). Погиб в результате террористического акта, организованного партией «Народная воля».

Алексей Михайлович Романов (1629–1676) – второй царь из династии Романовых, сын Михаила Федоровича и его второй жены Евдокии. В его правление был принят Судебник (Соборное Уложение) (1649), произошло воссоединение Малороссии с Россией (1654).

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – революционер, анархист, один из идеологов народничества.

Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844) – поэт, переводчик.

Безсонов (Бессонов) Петр Алексеевич (1827–1898) – филолог, историк, славист, археограф, фольклорист. С 1879 – профессор кафедры славянских наречий Харьковского университета.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – критик.

Беляев Иван Дмитриевич (1810–1873) – юрист, историк, профессор кафедры русского законодательства Московского университета. Опубликовал значительный комплекс источников по русской истории. Главный труд – «Крестьяне на Руси» (первая публикация в «Русской беседе», 1859).

Бенкендорф Александр Христофорович (1782–1844) – граф, военачальник, шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения (1826–1844).

¹ Часть информации см. в Примечаниях.

Бибиков Дмитрий Гаврилович (1791–1870) – государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1843). В 1819–1821 гг. – владимирский, саратовский и московский губернатор. В 1837 г. назначен киевским военным губернатором, а также подольским и волынским генерал-губернатором. Активно проводил политику совершенствования управления в юго-западных губерниях России.

Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864) – граф, государственный деятель, министр внутренних дел (1832–1838), президент С.-Петербургской АН (1855–1864), председатель Государственного Совета (1862–1864) и Комитета Министров (1861–1864).

Блудова Антонина Дмитриевна (1812–1891) – графиня, дочь Д. Н. Блудова, писательница, известная своей благотворительной и просветительской деятельностью.

Бодянский Осип (Иосиф) Максимович (1808–1877) – историк-славист, издатель древнерусских, древнеславянских литературных и исторических памятников. Экстраординарный (с 1842), ординарный (с 1847) профессор Московского университета; начал чтение курса лекций по славянской истории, литературе, фольклору. Был близок к московским славянофилам.

Веневитинов Алексей Владимирович (1806–1872) – сенатор, брат Д. В. Веневитинова.

Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805–1827) – поэт, философ.

Венелин (Гуца) Юрий Иванович (1802–1839) – выдающийся ученый-славист.

Вине Александр (1797–1847) – французский теолог, публицист, пастор.

Вольтер (Voltaire) (псевд.; наст. имя и фамилия Мари Франсуа Аруэ, Arouet) (1694–1778) – французский писатель, философ, историк.

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) – поэт, литературный критик, общественный деятель.

Ганка (Hanka) Вацлав (1791–1861) – чешский филолог и поэт, деятель национального возрождения.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) – знаменитый немецкий философ.

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) – немецкий историк, критик, писатель, историк.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) – критик, публицист, писатель.

Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832) – знаменитый немецкий поэт, писатель, философ.

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) – французский историк и государственный деятель.

Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872) – славяновед, собиратель и исследователь былин. Предпринял с 30 июня по 27 августа 1871 г. поездку по Олонецкой губернии (где и умер), за время которой им было собрано 318 былин, прослушано 70 сказителей, что составило рукопись объемом 2000 страниц. Ему принадлежат значительные работы по истории («История балтийских славян», 1855, и «Борьба славян с немцами на балтийском поморье в средние века», 1861), которые не утратили своего значения.

Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887) – писатель, публицист, цензор, редактор газеты «Современные известия» (с 1867 по 1887 г.). Был близок к славянофилам.

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) – великий русский композитор, основоположник русской классической музыки.

Глинка Федор Николаевич (1786–1880) – поэт, литератор и редактор; декабрист.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – великий русский писатель.

Голохвастов Дмитрий Павлович (1796–1849) – помощник попечителя Московского университета (1831–1847) и попечитель этого университета (1847–1849).

Гомер (VIII век до н. э.) – легендарный эпический поэт Древней Греции.

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – историк-медиевист, общественный деятель. С 1839 г. читал лекции в Московском университете по древней, средневековой и новой истории, с 1845 г. экстраординарный, а с 1849 г. ординарный профессор.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) – драматург, поэт, дипломат, композитор, пианист.

Григорович Виктор Иванович (1815–1876 или 1877) – филолог-славист, профессор.

Гримм (Grimm) Якоб (1785–1863) – немецкий лингвист, сказочник. Один из основоположников мифологической школы в фольклористике, принадлежал к кружку гейдельбергских романтиков, возродивших интерес к народной культуре. Вместе с братом Вильгельмом Гриммом (1786–1859) собрал и издал «Детские и семейные сказки» (т. 1–2, 1812–1814).

Давыдов Иван Иванович (1794–1863) – профессор философии и латинской словесности Московского университета.

Даль Владимир Иванович (1801–1872) – ученый, писатель, этнограф, собиратель фольклора. Прославился как автор «Толкового словаря живого великорусского языка». Собранные песни отдал П. В. Киреевскому, сказки – А. Н. Афанасьеву.

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1895) – выдающийся русский мыслитель, ученый-естествоиспытатель, публицист.

Данте Алигьери (1265–1321) – знаменитый итальянский поэт.

«День» – газета, выходила в Москве в 1861–1865. Ее издателем-редактором был И. С. Аксаков.

Державин Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816) – поэт, представитель классицизма, значительно преобразивший его. В различные годы занимал высшие государственные должности, в т. ч. министр юстиции (1802–1803). Член Российской академии с момента ее основания.

Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович (1824–1883) – художник, публицист.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – великий русский писатель, мыслитель, публицист.

«Европеец» – «журнал наук и словесности», издававшийся Иваном Киреевским в Москве в 1832 г.

Екатерина II Алексеевна (1729–1796) – российская императрица (с 1762 г.).

Елагин Василий Алексеевич (1818–1879) – историк, публицист, близкий к славянофилам (брат по матери (А. П. Елагиной) И. В. и П. В. Киреевских).

Елагин Николай Алексеевич (1822–1876) – писатель, земский деятель, гласный и предводитель дворянства, брат В. А. Елагина, брат (по матери, А. П. Елагиной) И. В. и П. В. Киреевских, составил и издал «Белевскую вивлиофику» (история губернии и уезда Белева, 1858). В начале своего обширного труда Н. А. Елагин писал: «Издание Белевской вивлиофики предпринято было по совету Петра Васильевича Киреевского. Им внушена была первая мысль собрать и издать в исторической последовательности все, что уцелело памятников об нашей стороне».

Елагина Авдотья (Евдокия) Петровна (рожденная Юшкова) (1789–1877) – племянница В. А. Жуковского, мать П. В. и И. В. Киреевских. С 1817 г. замужем вторым браком за А. А. Елагиным, хозяйка одного из самых знаменитых московских литературных салонов, переводчица, собирательница литературного архива, в который вошла ее переписка со многими выдающимися русскими писателями и учеными.

Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) – полководец, дипломат.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – выдающийся поэт, прозаик, переводчик, педагог.

Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852) – писатель, драматург.

Закревский Арсений Андреевич (1783–1865) – граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, московский военный генерал-губернатор (1848–1859). Закрев-

ский относился к славянофилам с большой подозрительностью, видя в них чуть не революционеров.

Зонтаг Анна Петровна (рожд. Юшкова) (1785–1864) – писательница, сестра А. П. Елагиной.

Иловайский Дмитрий Иванович (1831–1920) – историк, публицист.

Иннокентий (Борисов Иоанн Алексеевич) (1800–1857) – святитель, архиепископ, богослов, церковный писатель.

Иоанн Златоуст (347–407) – святитель, архиепископ Константинопольский, Учитель Церкви.

Кавур Камилло Бензо ди (1810–1861) – граф, итальянский государственный деятель.

Калайдович Константин Федорович (1792–1832) – филолог, историк, археограф и естествоиспытатель, фольклорист.

Калачев Николай Васильевич (1819–1885) – историк, юрист, архивист, археограф, профессор кафедры истории русского законодательства Московского университета (1848–1852), академик (с 1883 г.). Управляющий Московским архивом Министерства юстиции. Издавал сборники материалов и исследований по истории, праву, русскому фольклору и т. п.

Кант (Kant) Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.

Караджич Вук Стефанович (1787–1864) – сербский филолог, историк, фольклорист, деятель национального возрождения, реформировал сербский литературный язык.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – историк, писатель, журналист, почётный член Петербургской Академии наук (1818). Автор «Истории государства Российского» (тома 1–12, 1803–1826) – одного из первых обобщающих трудов по истории России. Редактор «Московского журнала» (1791–1792) и «Вестника Европы» (1802–1803).

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». Преподавал в Московском университете в 1840–1850-х годах психологию, логику и историю философии. Полемические статьи Каткова создали ему репутацию «властителя дум» русского общества 1860–1880-х годов и обусловили его реальное политическое влияние.

Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) – историк, профессор Московского университета, глава «скептической школы» в русской исторической науке.

Киреевская (рожд. Арбенина) Наталья Петровна (1809–1900) – жена И. В. Киреевского.

Кокорев Василий Александрович (1817–1889) – предприниматель, экономист, сторонник сохранения и развития самобытных начал русской экономики.

Комаровский Егор Евграфович (1803–1873) – граф, цензор, знакомый И. В. Киреевского.

Коссович Каэтан Андреевич (1815–1883) – филолог, санскритолог, профессор Петербургского университета.

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) – историк, публицист, критик, писатель.

Крюков Дмитрий Львович (1809–1845) – латинист, профессор Московского университета.

Кулиш Пантелеймон Александрович (1819–1897) – писатель, поэт, фольклорист, этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель.

Ламанский Владимир Иванович (1833–1914) – историк, славист, геополитик, этнолог, публицист, критик, общественный деятель, проводивший идеи славянофильства.

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – выдающийся русский мыслитель, писатель, публицист, дипломат.

Леонтьев Павел Михайлович (1822–1875) – публицист, издатель, с 1847 г. профессор римской словесности Московского университета.

Лешков Василий Николаевич (1810–1881) – юрист, профессор Московского университета. Был близок к славянофилам.

Линовский Ярослав Альбертович (1818–1846) – профессор Московского университета по кафедре сельского хозяйства.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) – гениальный русский ученый во многих отраслях знаний, поэт, просветитель, один из самых выдающихся ученых мировой науки.

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888) – государственный деятель, администратор, генерал от кавалерии (1875), граф (1878), член Государственного Совета.

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) – поэт, переводчик, сын живописца Николая Аполлоновича Майкова.

Максимович Михаил Александрович (1804–1873) – фольклорист, издатель, профессор ботаники Московского университета; первый ректор университета Св. Владимира в Киеве; в 1857–1858 гг. редактор журнала «Русская беседа»; друг Н. В. Гоголя, член-корреспондент Петербургской АН (1871).

Малиновский Алексей Федорович (1762–1840) – археограф, сенатор, главный управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел.

Мальцов Иван Сергеевич (1806–1880) – литератор, сотрудник «Московского вестника».

Мельгунов Юлий Николаевич (1846–1893) – фольклорист, пианист, музыкальный теоретик. Собирал и исследовал русские народные песни.

Миллер Орест Федорович (1833–1889) – историк русской литературы, фольклорист, профессор.

Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) – государственный деятель, один из главных разработчиков Крестьянской реформы 1861 года; сенатор (1861), статс-секретарь (1864). Член Государственного Совета (1865–1867). Как статс-секретарь Его Императорского Величества для особых поручений, вместе с Ю. Ф. Самариным и князем В. А. Черкасским руководил «умиротворением» Польши; совместно разработал ряд предложений, одобренных императором, в том числе Положение от 19 февраля 1864 г., наделявшее землей польских крестьян.

Морошкин Федор Лукич (1804–1854) – юрист, профессор гражданских законов в Московском университете. Был сторонником «исконно русских начал», по своим воззрениям близок к славянофилам.

«*Москвитянин*» – журнал, издававшийся в Москве (1841–1856) М. П. Погодиным.

«*Московские ведомости*» – одна из старейших газет, издававшаяся в 1756–1917 гг. Принадлежала Московскому университету, но со второй пол. XIX в. эта связь стала номинальной. В 1850–1855 гг. редактором был М. Н. Катков, в 1863–1875-х – М. Н. Катков и П. М. Леонтьев, в 1875–1887 гг. – вновь М. Н. Катков.

Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874) – выдающийся духовный писатель, публицист, брат Н. Н. Муравьева-Карского и М. Н. Муравьева.

Муравьев Михаил Николаевич (1796–1866) – государственный деятель, генерал от инфантерии (1863), граф Виленский (1865). Во время восстания 1863 г. был назначен главным начальником Северо-Западного края (виленский, гродненский, ковенский и минский генерал-губернатор, командующий войсками Виленского военного округа, главный начальник Витебской и Могилевской губерний) с чрезвычайными полномочиями.

Надеждин Николай Иванович (1804–1856) – критик, журналист.

Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862) – граф, с 1822 г. министр иностранных дел, с 1844 г. – канцлер.

Нибур (Niebuhr) Бартольд Георг (1776–1831) – немецкий историк античности, критик и новатор в области филологических обоснований исторического исследования.

Николай I Павлович (1796–1855) – Император Всероссийский (с 1825 г.), третий сын Императора Павла I.

Норов Авраам Сергеевич (1795–1869) – писатель, в 1850–1854 гг. – товарищ министра народного просвещения, в 1854–1859 гг. – министр народного просвещения.

Огарев Николай Платонович (1813–1877) – поэт, публицист, революционер, друг А. И. Герцена.

Одоевский Владимир Федорович (1803–1869) – князь, писатель, философ, педагог, музыкальный критик. С 1846 г. – помощник директора Императорской Публичной библиотеки в Петербурге.

Островский Александр Николаевич (1823–1886) – выдающийся русский драматург.

Павлов Михаил Григорьевич (1793–1840) – профессор, философ, физик, минералог и агробиолог.

Павлов Николай Филиппович (1803–1864) – писатель.

Павлова (рожд. Яниш) Каролина Карловна (1807–1893) – поэтесса, переводчица.

Палацкий (Palasky) Франтишек (1798–1876) – чешский историк и политический деятель.

Панов Василий Алексеевич (1819–1849) – историк-славист, готовил к изданию славянофильские «Московские литературные и ученые сборники» за 1846 и 1847 гг.

Паскаль Блез (1623–1662) – известный французский ученый, философ, писатель.

Перовский Лев Алексеевич (1792–1856) – граф, в 1841–1852 гг. министр внутренних дел.

Петр I Алексеевич Великий (1672–1725) – сын царя Алексея Михайловича от второго брака с Н. А. Нарышкиной, царь (с 1682 г.), первый Император Всероссийский (с 1721 г.).

Платон (428 или 427 гг. до н. э. – 348 или 347 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля.

Плетнев Петр Александрович (1791–1865) – поэт и критик, впоследствии профессор российской словесности (с 1832 г.) и ректор Петербургского университета (1840–1861).

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – выдающийся мыслитель и государственный деятель, обер-прокурор Святейшего Синода (1880–1905).

Погодин Михаил Петрович (1800–1875) – историк, писатель, публицист, профессор Московского университета, академик (1841). В 1841–1856 гг. вместе с С. П. Шевыревым издавал журнал «Москвитянин». С 1830-х гг. начал собирать письменные и вещественные памятники русской истории, составившие обширную и весьма ценную коллекцию, т. н. Древлехранилище, большая часть которого в 1850-х была приобретена петербургской Публичной библиотекой.

Попов Александр Николаевич (1821–1877) – историк, член-корреспондент Императорской Академии наук.

Прокопович-Антонский Антон Антонович (1762–1848) – профессор Московского университета, в 1818–1826 гг. был его ректором.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – великий русский писатель.

Пытин Александр Николаевич (1833–1904) – литературовед, этнограф, академик Петербургской Академии наук (1898), вице-президент АН (1904); двоюродный брат Н. Г. Чернышевского.

Раден Эдита Федоровна (1825–1885) – баронесса, одна из замечательнейших женщин высшего русского общества. Издана ее переписка с Ю. Ф. Самариным.

Раевский Михаил Федорович (1811–1884) – священник русской посольской церкви в Вене. Поддерживал отношения со многими общественными и политическими деятелями славянских народов.

Раич Семен Егорович (1792–1855) – поэт, переводчик, журналист.

Рожалин Николай Матвеевич (1805–1834) – писатель, переводчик, друг семьи Киреевских.

Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) – генерал-адъютант, известный деятель крестьянской реформы.

«*Русская беседа*» – первый журнал славянофилов, издававшийся в Москве в 1856–1860 гг.

«*Русский вестник*» (1856–1906) – литературный и общественно-политический журнал, выходил в Москве (1856–1887) и С.-Петербурге (1887–1906). В 1856–1887 гг. редактором и издателем являлся М. Н. Катков. До 1861 г. – орган либералов-западников.

Руссо Жан-Жак (1712–1778) – известный французский писатель, публицист, философ.

Рыбников Павел Николаевич (1831–1885) – фольклорист, этнограф, собиратель былин. Во время служебных разъездов в Кижях, на Пудогге, Кенозере, в Каргополе и других местах записывал от крестьян былины, исторические песни, баллады. Опубликованные в 1861–1867 гг. «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (т. 1–4) открыли возможность широкой научной работы в этой области.

Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826) – поэт, общественный деятель, один из пяти казненных руководителей декабрьского восстания 1825 г.

Савиньи (Savigny) Фридрих Карл фон (1779–1861) – немецкий правовед и историк, знаменитый юрист, основатель исторической школы права.

Самарин Федор Дмитриевич (1858–1916) – общественный, государственный и церковный деятель славянофильского направления, надворный советник. Выборный член Государственного Совета (1907–1908), член «Московского кружка ищущих духовного просвещения». Сын Д. Ф. Самарина, племянник Ю. Ф. Самарина.

Сахаров Иван Петрович (1807–1863) – собиратель и исследователь фольклора, этнограф, палеограф. После него осталось обширное и замечательное собрание рукописей, приобретенное графом А. С. Уваровым.

Свербеев Дмитрий Николаевич (1799–1874) – дипломат, писатель, переводчик.

«*Сельское благоустройство*» – ежемесячный журнал, выходивший в Москве в 1858–1859 гг. под редакцией А. И. Кошелева и составлявший отдел «Русской беседы». Как орган славянофильства играл видную роль в истории освобождения крестьян.

Семен (Рене-Сесен) Август Иванович (1783–1862) – московский издатель.

Смирнова-Россет Александра Осиповна (1809–1882) – фрейлина двора, знакомая, друг и собеседник А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя.

Снегирев Иван Михайлович (1793–1868) – историк, этнограф, фольклорист, профессор по кафедре римской словесности и древностей Московского университета. Большой знаток русской старины.

Соболевский Сергей Александрович (1803–1870) – библиофил, библиограф, автор эпиграмм, друг А. С. Пушкина.

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) – историк, профессор (1845–1877), ректор (1871–1877) Московского университета. Автор многотомной «Истории России с древнейших времен», явившейся самым крупным произведением государственной школы в русской историографии, один из университетских преподавателей П. А. Безсонова.

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – граф (1839), государственный деятель. С 1808 г. ближайший советник Александра I, автор плана либеральных преобразований, инициатор создания Государственного совета (1810).

Спиноза Барух (Бенедикт) (1632–1677) – философ.

Срезневский Измаил Иванович (1812–1880) – филолог-славист, палеограф, этнограф, профессор, академик (с 1851 г.). Основоположник лингвистической географии в русском языкознании.

Станкевич Александр Владимирович (1821–1912) – писатель, брат Н. В. Станкевича.

Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) – писатель, публицист, поэт.

Стахович Михаил Александрович (1819–1858) – писатель, переводчик, фольклорист.

Стефан (Яворский Симеон Иванович) (1658–1722) – русский церковный и государственный деятель, богослов. С 1700 г. – митрополит Рязанский и Муромский; с 1701 г. – экзарх (блюститель патриаршего престола) – в годы, предшествовавшие упразднению патриаршества при Петре I. С 1721 г. – президент Духовной коллегии (Святейшего Правительствующего Синода). Выступал с осуждением протестантских воззрений и тенденций в Русской Церкви, насаждавшихся Петром I и Феофаном Прокоповичем.

Стеффенс Хенрик (1773–1845) – немецкий естествоиспытатель, уроженец Норвегии, философ, писатель.

Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – философ, публицист, критик.

Строганов Сергей Григорьевич (1794–1882) – граф, с 1835 по 1847 г. попечитель Московского учебного округа.

Строев Петр Михайлович (1796–1876) – археограф, историк.

Терновский Петр Матвеевич (1798–1874) – профессор богословия и церковной истории в Московском университете.

Титов Владимир Павлович (1807–1891) – писатель, историк, критик, друг И. В. Киреевского.

Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) – мыслитель, идеолог монархии, философ, публицист, социолог.

Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889) – граф, русский государственный деятель, член Государственного Совета (1866); обер-прокурор Святейшего Правительствующего Синода (1865–1880); министр внутренних дел (1882–1889).

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – граф, писатель, публицист и общественный деятель. В конце жизни за пропаганду еретического учения отлучен от Церкви.

Тургенев Александр Иванович (1784–1846) – историк, общественный, государственный деятель.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – писатель, поэт, публицист, переводчик, член-корреспондент Петербургской АН (1860).

Тьер (Thiers) Адольф (1797–1877) – французский государственный деятель, историк, член Французской академии (1833), глава правительства Франции (1836, 1840, 1871).

Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – поэт, дипломат, мыслитель, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской АН (с 1857).

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – русский государственный деятель, граф (1846). Член Российской академии (1831), почетный член (1811) и президент (1818–1855) Петербургской Академии наук, в 1833–1849 гг. – министр народного просвещения.

Феофан (Прокопович Елиазар, Елисей) (1681–1736) – архиепископ Новгородский, церковный и политический деятель, сподвижник Петра I в реформах Русской Православной Церкви, писатель и ученый.

Филарет (Дроздов Василий Михайлович) (1782–1867) – святитель, митрополит Московский и Коломенский (с 1826 г.), выдающийся церковный деятель, богослов и библиист.

Филиппов Третий Иванович (1825–1899) – государственный и общественный деятель, писатель, публицист.

Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762–1814) – немецкий философ, общественный деятель.

Ханыков Яков Владимирович (1818–1862) – картограф и географ, много сделавший для изучения Оренбургского края и прилегающих к нему территорий Казахстана и Средней Азии, принадлежал к талантливой семье Ханыковых.

Хомяков Димитрий Алексеевич (1841–1919) – православный мыслитель, старший сын А. С. Хомякова. На протяжении нескольких десятилетий (по сути, с юношеского возраста) предпринял малоафишируемые, но поистине неоценимые (и не оцененные по достоинству до сего дня) усилия по сохранению наследия А. С. Хомякова, уточнению нюансов его биографии, переводу, изданию, истолкованию и разъяснению его сочинений и переписки.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) – философ, публицист.

Черкасский Владимир Александрович (1824–1878) – князь, государственный и общественный деятель, славянофил, принимал участие в подготовке крестьянской реформы 1861 г. В 1877–1878 гг. возглавлял русскую администрацию в Болгарии.

Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) – юрист, историк, профессор по кафедре государственного права Московского университета.

Шафарик (Safarik) Павел Йозеф (1795–1861) – деятель словацкого и чешского национального движения, филолог, историк-славист, литератор.

Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564–1616) – английский драматург и поэт, один из самых знаменитых драматургов мира.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775–1854) – известный философ, представитель немецкой классической философии.

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт, драматург, теоретик искусства.

Шишков Александр Семенович (1754–1841) – адмирал, министр народного просвещения (1824–1828). Разработал и внедрил в жизнь знаменитый устав 1826 г.

Шлейермахер Фридрих Эрнст Даниель (1768–1834) – немецкий протестантский теолог, философ.

Щепкин Михаил Семенович (1788–1863) – выдающийся актер.

Эрбен (Erben) Карл-Яромир (1811–1870) – чешский поэт и историк, издатель сборника чешских народных песен (1852) и т. д.

Юрьев Сергей Андреевич (1821–1888) – публицист, русский литературный и театральный критик, издатель.

Языков Николай Михайлович (1803–1846) – поэт.

Якушкин Павел Иванович (1822–1872) – писатель, фольклорист, этнограф. С начала 1840-х гг. собирал произведения народного творчества, изучал народную жизнь. Более всего известен как фольклорист-этнограф, однако он был и талантливым писателем.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие. «Их подвиг – был подвиг народного самосознания»</i>	5

РАЗДЕЛ I

И. В. и П. В. КИРЕЕВСКИЕ

<i>Сидонский Ф.</i> Речь при отпевании Ивана Васильевича Киреевского.....	29
<i>Хомяков А. С.</i> Иван Васильевич Киреевский	31
<i>Маркович А. В.</i> Воспоминание о Петре Васильевиче Киреевском	36
<i>Аскоченский В. И.</i> В Оптиной пустыни	42
<i>Елагин Н. А.</i> Материалы для биографии И. В. Киреевского	47
История обращения Ивана Васильевича	79
<i>Кавелин К. Д.</i> Авдотья Петровна Елагина (биографический очерк).....	80
<i>Лясковский В. Н.</i> Братья Киреевские. Жизнь и труды их	96

РАЗДЕЛ II

К. С. АКСАКОВ

<i>Аксаков И. С.</i> Очерк семейного быта Аксаковых.....	161
<i>Аксаков К. С.</i> Воспоминание студентства 1832–1835 годов.....	173
<i>Аксакова В. С.</i> Дневник.....	200
<i>Бицын Н. <Н. М. Павлов></i> Воспоминание о Константине Сергеевиче Аксакове	248

РАЗДЕЛ III

Ю. Ф. САМАРИН

<i>Дмитрий Самарин.</i> Самарин Юрий Федорович	297
<i>Протоиерей А. И. Ключарев.</i> Слово при погребении Юрия Федоровича Самарина	321

<i>Протоиерей В. Н. Нечаев.</i> Речь в 9-й день по кончине Ю. Ф. Самарина ..	326
<i>Протоиерей И. Л. Янышев.</i> Речь перед панихидою на Петерб<ургской> станции Николаевской железной дороги	328
<i>Аксаков И. С.</i> Речь о Ю<рии> Ф<едоровиче> Самарине (Сказана в заседании Славянского комитета 18 апреля 1876 г.).....	331
Похвальное слово почившему в Бозе Юрию Федоровичу Самарину, произнесенное Тихоном, епископом Саратовским и Царицынским.....	336
Слово в похвалу Ю<рия> Ф<едоровича> Самарина, произнесенное Тихоном, епископом Саратовским и Царицынским, в Крестовой церкви, в присутствии членов Саратовского отделения Прибалтийского Братства Христа Спасителя, марта 19 дня 1877 г., после панихиды, пред приглашением вечной памяти.....	341
<i>Кавелин К. Д.</i> Московские славянофилы сороковых годов.....	346

РАЗДЕЛ IV Д. А. ВАЛУЕВ

Биография Д. А. Валуева.....	363
<i>Шевырев С. П.</i> Воспоминание о Д. А. Валуеве	375
<i>Хомяков А. С.</i> Письмо Ю. Ф. Самарину 17 декабря 1845 г.	379
<i>Хомяков А. С.</i> Письмо г. Вильямсу 1846 г.	380
<i>Хомяков А. С.</i> Д. А. Валуев.....	381

РАЗДЕЛ V ВОСПОМИНАНИЯ О СЛАВЯНОФИЛАХ И СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ

<i>Погодин М. П.</i> К вопросу о славянофилах	392
Записки Александра Ивановича Кошелева (1812–1883 годы).....	423
<i>Буслаев Ф. И.</i> Мои воспоминания	566
<i>Бартенев П. И.</i> Воспоминания	593
<i>Примечания</i>	621
<i>Именной словарь</i>	634

Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (подготовлено 19 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 200 томов).

Редактор Л. К. Молотилова
Корректор А. А. Полякова
Компьютерная верстка Е. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 11.05.2016 г. Формат 70 x 90 ¹/₁₆.
Гарнитура «Times». Объем 34,3 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (<i>вышел</i>)	Русская икона и религиозная живопись в двух томах (<i>вышли</i>)
Русское Православие в трех томах (<i>вышли</i>)	Русская архитектура и скульптура
Русское государство (<i>вышел</i>)	Русская живопись
Русский патриотизм (<i>вышел</i>)	Русский театр
Русское мировоззрение (<i>вышел</i>)	Русская музыка
Русский образ жизни (<i>вышел</i>)	Русская наука
Русская география	Русская школа
Русское хозяйство (<i>вышел</i>)	Русское воинство
Международные отношения	Памятники Отечества
Национальные отношения	Русские за рубежом
Русская литература (<i>вышел</i>)	Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

- Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.

Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожин В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверях, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.

Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верую разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.

Аверьянов В. В. Наш дух не сломен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знание. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего мирозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. В 3-х томах,
т. 1. – 1120 с.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

- Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
- Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
- Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
- Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
- Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
- Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
- Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
- Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
- Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
- Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
- Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
- Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
- Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
- Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
- Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
- Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
- Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
- Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
- Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
- Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
- Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
- Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
- Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
- Очерки истории русской иконы, 592 с.
- Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
- Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
- Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
- Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
- Русский государственный календарь, 728 с.
- Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
- Русская артель, 672 с.
- Русская община, 1376 с.
- Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
- Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
- Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
- Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
- Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
- Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
- Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
- Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.
- В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
- Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
- Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.

Катасонов В. Ю. Россия и Запад в XX веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.

Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.

Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия, 912 с.

В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналитический доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.

Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.

Платонов О. Пролог царевубийства, 496 с.

Платонов О. История царевубийства, 768 с.

Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.

Башилов Б. История русского масонства, 640 с.

Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.

Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.

Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.

Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.

Платонов О. Заговор царевубийц, 528 с.

Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.

Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)